

# **Антология украинской мысли**



**В. В. Лесевич**

**СОЧИНЕНИЯ**  
**в четырех томах**

**Т. 1**

Мелитополь  
Издательский дом  
Мелитопольской городской типографии  
2013

УДК 141.(477)  
ББК 83.3(4Укр)  
Л 50

Серия основана в 2007 г.  
**Редколлегия серии «Антология украинской мысли»**

Лазарев Ф. В. (председатель), д-р филос. наук;  
Кривега Л. Д. (заместитель), д-р филос. наук;  
Мозговая Н. Г., д-р филос. наук;  
Волков А. Г., д-р филос. наук;  
Сиднев Л. Н., д-р филос. наук;  
Суходуб Т. Д., к. филос. наук;  
Филиппенко Н. Г., к. филос. наук.

Редакторы издания – Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков,  
автор вступительной статьи – Б. К. Матюшко.

Л 50      **Лесевич В. В.** Сочинения: в 4 т. / ред. Мозговая Н. Г., Волков А. Г.,  
авт. вступ. ст. Матюшко Б. К. – Мелитополь: Издательский дом Мели-  
топольской городской типографии, 2013. – (Серия «Антология украин-  
ской мысли»).

ISBN 978-966-197-258-1 (полное издание)

Т. 1. – 2013. – 600 с.

ISBN 978-966-197-259-8 (том 1)

В первый том собрания сочинений украинского философа, ведущего пред-  
ставителя первого и второго позитивизма в Украине второй половины XIX – на-  
чала XX века Владимира Викторовича Лесевича включены статьи, представ-  
ляющие первый период его творчества. Они посвящены проблемам привлече-  
ния женщин к медицинской науке и практике, ознакомлению широких кругов  
общественности с достижениями естествознания и техники, в том числе и по од-  
ной из популярных книг того времени, исследованию древней языческой реак-  
ции, решению вопроса об историческом значении науки, истории развития идеи  
прогресса, философии истории на научной почве, послеконтовскому позитивиз-  
му, решению общих геологических вопросов, а также обзору новейших, по со-  
стоянию на 1871 год, публикаций о позитивизме.

Издание предназначено для специалистов в сфере гуманитарных наук, а  
также всех, кто интересуется историей философии.

УДК 141.(477)  
ББК 83.3(4Укр)

ISBN 978-966-197-258-1 (полное издание)  
ISBN 978-966-197-259-8 (том 1)

© Лесевич В. В., 2013  
© Матюшко Б. К.,  
вступительная статья, 2013.



## КРУПНЕЙШИЙ УКРАИНСКИЙ ПОЗИТИВИСТ

В истории философии внимание любого исследователя сосредоточивается, в первую очередь, на тех, кто сказал свое неповторимое слово, оставил идейным наследникам оригинальное учение. Гораздо меньше обращений к тем, чьи находки не отличаются новизной и яркостью, кто выступал в роли провозвестника, популяризатора учений, разработанных в других странах и философских традициях. Но очень часто именно такие мыслители выступают незаменимыми тружениками в деле поддержания преемственности между создателями всемирно известных систем и их продолжателями, следовательно, и в деле развития философии в целом.

К ним принадлежит и Владимир Викторович Лесевич. Ему пришлось одному пройти путь, на котором в Западной Европе и России проявили себя десятки, если не сотни философов и ученых. Чтобы лучше уяснить себе его роль в истории отечественной философии, представленную нами в нескольких штрихах в предыдущих предложениях, обратимся к одному из первых очерков об украинском мыслителе. Его автором является профессор Михаил Гордиевский, подписавший свою статью «Лесевич яко философ» псевдонимом «Михайло Журливий». «Горько признаться, – говорит он, – что у нас есть немало вполне образованных людей, которые ничего не слышали о Лесевиче, а было время, когда этого мыслителя знал каждый русский интеллигент, хоть немного интересовавшийся тем, что делалось в научной литературе. ...Строгий логик, тонкий и проницательный критик, большой знаток современных направлений западноевропейской философии, убежденный пропагандист своих идей – вот какой был Лесевич. ...Правда, его нельзя назвать «творцом», а только популяризатором, нельзя назвать «пророком», а только оповестителем. Но в этой роли популяризатора и оповестителя он был незаменим»<sup>1</sup>. В советский период имя украинского мыслителя не выходило из круга

---

<sup>1</sup> Журливий М. Лесевич як философ / Михайло Журливий // Основа. – 1915. – №3. – С. 74-89.

представителей русской философии, а каноном оценки его идей служило известное ленинское определение «первый и крупнейший русский эмпириокритик» в столь хорошо знакомой среднему и старшему поколению исследователей книге об эмпириокритицизме. Без соответствующей и других, связанных с ней ссылок, не обходилась даже небольшая статья с упоминанием о философе, не говоря уже о кандидатских и докторских диссертациях. Прошло почти сто лет, и в небольшой заметке известный российский историк философии Александр Ермичев высказывает мысли, по сути дела тождественные оценке Гордиевского. Хотя Лесевич «не оригинален» и «не избалован вниманием историков философии», но его «место в истории нашей мысли довольно своеобразное и значимое именно этой своеобразностью... Можно допустить, что как только историографы приблизятся к концептуальному анализу русской мысли (в полноте содержания идей «русской философии» и «философии в России»), внимание к полузабытому мыслителю обязательно пробудится»<sup>1</sup>.

Самым ценным и содержательным источником для изучения биографии украинского мыслителя и сегодня является статья Евгения Ганейзера «В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях», вышедшая в 1914 году на страницах журнала «Голос минувшего»<sup>2</sup>. Именно по ней, изобилующей ценными выдержками и приведенными целиком письмами Лесевича, можно проследить жизненный путь философа, его психологический портрет, а также становление и развитие его идейных ориентиров.

Владимир Лесевич родился 15 (28 по новому стилю) января 1837 года в селе Денисовка нынешнего Оржицкого района Полтавской области, «в дворянской, довольно состоятельной, старинной украинской семье, происходившей по фамильному преданию от сподвижников Богдана Хмельницкого, выходца из села Лесовичи (теперь

---

<sup>1</sup> Ермичев А. А. Об одной застарелой библиографической ошибке / Александр Александрович Ермичев // Вопросы философии. – 2001. – №8. – С. 188.

<sup>2</sup> Ганейзер Е. В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях / Евгений Ганейзер // Голос минувшего. – 1914. – №8. – С. 45-96.

Киевская губерния, Таращанского уезда<sup>1</sup>). Свою фамилию, несмотря на созвучие с названием этого села, Лесевичи связывали не с ним, а с украинским именем Лесь – Александр. Родоначальник Лесевичей после восстания Хмельницкого перешел на левый берег Днепра и поселился в местности, включенной вскоре в территорию Гадяцкого полка. В этом полке он, а потом и его потомки, неоднократно занимали значительные старшинские уряды (один из них, по семейному преданию, был гадяцким полковым судьей)<sup>2</sup>). Известно, что отец мыслителя, Виктор Владимирович, окончил Харьковский университет, «и умственные, книжные интересы были в нем сильно развиты, что в помещичьей среде того времени встречалось нечасто. Рассказывают, что он был очень религиозен и все свое время отдавал чтению книг преимущественно философского содержания»<sup>3</sup>. Мать философа происходила из помещичьей семьи Гербаневских из Пирятинщины. Она умерла при родах, а около 3 или 4 лет от роду Лесевич остался круглым сиротой. Ближайшей к нему стала бабушка по материнской линии, а опекуном вскоре был назначен один из двух братьев матери. Жива была и тетка Владимира, по мужу Катеринич. Именно бабушка, о которой Владимир Викторович сохранил самые светлые воспоминания, «была не совсем обыкновенная женщина. Вдумчивая и умная, с очень мягким характером, она горячо полюбила маленького внука, была его единственной защитой и руководительницей. Она-то и развила в ребенке лучшие стороны души, вопреки дурному влиянию остальных родных, среди которых ему пришлось жить, и от которых он не видел ни хорошего примера, ни хорошего к себе отношения»<sup>4</sup>. В доме Гербаневских, где прошло детство будущего мыслителя, даже не было книг, а все помыслы и желания были обращены только к обогащению. Владимиру в наследство досталось большое имение и тысяча крепостных крестьян, а родные старались внушить ему, что они ему благодетельствуют, что чуть ли не из милости содержат и воспитывают его. А ведь «по

---

<sup>1</sup> Киевская обл., Таращинский р-н, с. Лесовичи.

<sup>2</sup> Там же. – С. 46-47.

<sup>3</sup> Там же. – С. 47.

<sup>4</sup> Там же.

природе он был чуткий, живой, любознательный мальчик, нуждавшийся в ласке, участии. Постоянное игнорирование приучило его обособляться, углубляться в самого себя, вырабатывало в нем застенчивость, недоверчивость, вызывало чувство обиды. Он любил просиживать часами где-нибудь в уголке, забившись в кресло, и пытливо, но исподтишка всматривался во все окружающее с напряженным вниманием, развивавшем в нем природную наблюдательность»<sup>1</sup>.

В восемь лет Владимир остался без бабушки, и целых четыре года был крайне одинок. Его положение улучшилось тогда, когда мальчика перевезли из Полтавщины в Киев – сначала в гимназию, а затем, когда ему исполнилось 13 лет, – в артиллерийское училище. «В стенах училища, – продолжает Е. Ганейзер, – и жил Владимир Лесевич безвыездно до окончания курса, не посещая Родины даже во время летних каникул. В юности, вследствие замкнутости, он не умел заводить знакомств, и потому единственной точкой соприкосновения с внешним миром для него оставался дядюшка – чиновник Гербаневский, которого он навещал по праздникам»<sup>2</sup>.

После окончания училища Лесевич поступил на военную службу на Кавказ, несколько раз принимал участие в сражениях с горцами. В нем развилось отрицательное отношение к войне и сочувствие к народам, против которых ему по приказу следовало идти с оружием в руках. Именно в 1858 году, в возрасте 21 года, мыслитель впервые публикует свою статью «Женщина и медицина» в газете «Кавказ» (№№53 и 54), подписав псевдонимом «В. Викторов». Его первая работа вызвала оживленный интерес и настоящую полемику, которая была прекращена по желанию начальника края<sup>3</sup>. Отметим лишь, что известный историк философии Российской империи Яков Колубовский приводит в своем труде перечень восьми публикаций семи авторов по поводу статьи украинского мыслителя.

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 48.

<sup>2</sup> Там же. – С. 49.

<sup>3</sup> Колубовский Я. Материалы для истории философии в России. В. В. Лесевич / Яков Колубовский // Вопросы философии и психологии. – 1891. – №8. – С. 133-160. – С. 136.

Автор биографической статьи о Лесевиче сообщает, в свою очередь, о четырех записных книжках философа за 1854-1858 годы, написанных на русском, итальянском, польском и французском языках. В них содержатся «реляции Суворова, слова Петра В. (Великого, – Б.М.), «Слово» архиепископа Иннокентия, длинные выписки из Гоголя, стихи Мицкевича. Цитаты из Паскаля, Данте, Монтескье, Вольтера, С. Пелико, Ларошфуку перемешиваются с заметками по французской грамматике и перечнем всех греческих философов от Фалеса до Сократа. Любопытно отметить также особый интерес, проявленный Лесевичем к «Слову о полку Игоревом». В записной книжке 1855 года находим подробную библиографию «Слова» на русском, французском и польском языках. Затем следует запись «Плача Ярославны» в переводе на русский язык всех существующих на то время переводчиков, в списках и прозе – всего 8 переводов»<sup>1</sup>. Интересовался Лесевич также френологией, и «замечательно, что в IV книжке, записи которой велись на фоне войны, нет ничего военного. В ней много стихотворений Гейне, Мицкевича, А. Толстого, а также песни Беранже и подробнейшая классификация наук»<sup>2</sup>.

После службы на Кавказе, Владимир Викторович приехал в Петербург и поступил в Академию генерального штаба, что соответствовало плану родных относительно его воспитания и карьеры, однако он, «в сущности, уже перестал интересоваться и этой карьерой, и военной наукой. В годы пребывания в Академии он очень много читает, но не из области военных наук и не по предметам военно-академического курса, так что с трудом переходит с курса на курс»<sup>3</sup>. Здесь он переживает религиозный кризис, по словам автора фундаментального труда «Пути русского богословия» протоиерея Георгия Флоровского, «скорее по логике сердца, чем по логике ума»<sup>4</sup>. Ознакомившись с «Сущностью хри-

---

<sup>1</sup> Ганейзер Е. В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях / Евгений Ганейзер // Голос минувшего. – 1914. – №8. – С. 50.

<sup>2</sup> Там же. – С. 51.

<sup>3</sup> Там же. – С. 52.

<sup>4</sup> Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия / Протоиерей Георгий Флоровский. – К.: Путь к истине, 1991. – XVI, 600 с. – С. 293.

стианства» Людвиг Фейербаха за несколько ночей, он «стал столь же страстным отрицателем Бога, как раньше был страстным верующим в Него... В. Н. Леонтович, рассматривая вопрос о причинах религиозного перелома Лесевича, видит их не столько во влиянии научного чтения, сколько в психологических основаниях. В его душе жили страстная жажда независимости и огромная гордость, высоко ценимая им в людях. Ни за какую цену он не отдал бы человеческой независимости. Он не хотел бессмертия, так как оно связывалось с наличием чего-то высшего, чем человек, оно подчиняло человека»<sup>1</sup>.

Тогда же Владимир Викторович преодолевает развившуюся в годы драматического детства замкнутость, сблизившись со знаменитым профессором – Петром Лавровичем Лавровым, «имевшем в Академии большое влияние на формировавшееся тогда мировоззрение Лесевича, который был знаком с Лавровым и бывал в его доме»<sup>2</sup>.

После получения высшего образования в 1863 году, Владимир Лесевич женится на Лидии Парменовной Пичугиной, дочери генерала российской армии. Он подает в отставку как по желанию невесты, так и из-за опасения, что ему придется, как в юности на Кавказе, принимать участие в подавлении Польского восстания. «Все его симпатии были на стороне освобождения польского края от военно-полицейского гнета, придавившего братский народ»<sup>3</sup>. Мыслитель возвращается в Украину и откликается на призыв «идти в народ». Он раздает крестьянам села Денисовка полные наделы земли, а выкупные платежи распределяет следующим образом: 2000 рублей передает в мирской капитал, а на остальные 4000 открывает первую в Украине XIX века школу с преподаванием на украинском языке. В. Лесевич подобрал профессиональных учителей, а некоторые уроки вел сам. Но в условиях Российской империи (напомним, 1863-й – год печально известного Валуевского циркуляра, поставившего язык, а вместе с тем и существование украин-

---

<sup>1</sup> Ганейзер Е. В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях / Евгений Ганейзер // Голос минувшего. – 1914. – №8. – С. 53-54.

<sup>2</sup> Там же. – С. 54.

<sup>3</sup> Там же. – С. 55.

ского народа, вне закона) такая школа не могла иметь будущего. По доносу местного настоятеля началось расследование по части Министерства народного просвещения и органов местной власти, и школа была закрыта. Пожертвованные деньги были сначала использованы на устройство кассы взаимопомощи, а затем переданы в распоряжение крестьян, которые разделили их между собою и купили землю. Разбирательства и тяжбы вокруг школы прекратились только в 1893 году, то есть спустя 30 лет после начинания Владимира Викторовича<sup>1</sup>.

В это же время мыслитель познакомился со сказочником Родионом Федотовичем Чмыхало, со слов которого записал ряд произведений украинского фольклора. Пожалуй, самая известная из сказок денисовского казака Чмыхало – знакомая всем с детства «Рукавичка», а в конце XIX – начале XX века сам Лесевич станет одним из крупнейших исследователей устного народного творчества поистине мирового масштаба. В 1863–1864 годах он пишет новые небольшие статьи: «Научные вести» и «Популярные книги», опубликованные в 1864 году в разных петербургских изданиях.

Со второй половины 1860 годов украинский мыслитель живет в Петербурге. Здесь он публикует свои первые философские произведения: «Что такое магия?», «Вопрос об историческом значении науки и книга Уэвеля», «Очерк развития идеи прогресса», «Древняя языческая реакция», «Философия истории на научной почве», «Общие геологические вопросы и их решение», «Позитивизм после Конта», «Новейшая литература позитивизма», «Эмиль девятнадцатого столетия», «Модное суеверие» («Первые провозвестники спиритизма»). До 1875 года выходят в свет «Характерные черты развития философии и науки в Средневековье», «Первые провозвестники позитивизма», «Данте как мыслитель», «Классики (в позднейшем варианте – «Гуманисты») XIV и XV столетий».

В конце 1874 года Лесевич в качестве неофициального оппонента принимает самое активное участие в полемике вокруг магистерской диссертации «Кризис западной философии (против позитиви-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 56.

стов)» Владимира Сергеевича Соловьева, тогда еще только начинающего свой идейный путь. Кроме устных замечаний, высказанных на диспуте 21 ноября указанного года, украинский мыслитель выступает со статьей «Как иногда пишутся диссертации», в которой дается рецензия на работу Соловьева. Она подводит итоги первого периода творчества философа, в котором Лесевич выступает последователем основателей позитивизма.

1877 год ознаменовался выходом в свет первой книги Владимира Викторовича: «Опыт критического исследования основаначал позитивной философии», которая, вместе со статьей «Современная философская литература на Западе. Новый научный журнал», открывает второй, неокантианский период эволюции его философских взглядов. Ведущее место в нем занимает разработка гносеологического и психологического фундамента позитивистских идей, чему Владимир Викторович посвятил почти полтора десятилетия – до 90-х годов XIX века. Он издает вторую книгу – «Письма о научной философии» (1878), несколько циклов статей, выпущенных в 1891 году в виде третьей книги – «Что такое научная философия?». Лесевич продолжает полемику с Соловьевым, ведет дискуссию с другими видными представителями философской мысли Украины позапрошлого века – Николаем Яковлевичем Гротом и Алексеем Александровичем Козловым. Известен также ряд статей украинского мыслителя о буддизме: «Буддистский нравственный тип», «Новейшие движения в буддизме, поддерживаемые и развиваемые европейцами», «Религиозная свобода по эдиктам Асоки Великого», «Буддизм на Цейлоне». Но эти достижения возникли отнюдь не под ясным небом. Буквально через два года после выхода своей первой книги Владимир Викторович за связи с кружками народников без суда и следствия по личному приказу петербургского генерал-губернатора Гурко был отправлен в ссылку в Сибирь с конечным пунктом назначения в Якутской области, но, только благодаря ходатайству генерала Пичугина, она была заменена Красноярском. Причем для проезда от Петербурга до Енисейска понадобилось 66 дней, из них Лесевич 26 дней провел в пути и 40 – в тюремном заключении.



В Сибири, Енисейске и Красноярске, Лесевич прожил около трех лет, а затем получил разрешение вернуться в европейскую Россию, но с большими ограничениями, с запрещением въезда в столицы и с прикреплением к определенному месту жительства. Сначала ему была назначена Казань, потом Полтава, Тверь<sup>1</sup>. В 1888 году философ вернулся в Петербург. Он возобновляет полноценную публицистическую работу, сотрудничая с редакцией журнала «Русское богатство» вместе с Н. К. Михайловским и, среди других, со знаменитым земляком – Владимиром Галактионовичем Короленко. В идейном отношении начинается третий, завершающий период творчества украинского мыслителя – эмпириокритический. «Метод Авенариуса показался ему откровением высшей истины. В 90-х годах Лесевич был всецело поглощен Авенариусом»<sup>2</sup>. Ознакомлению философской общественности Российской империи со вторым позитивизмом посвящены такие статьи, как «Философские взгляды Огюста Конта», «От Конта к Авенариусу», «Философское наследие XIX века», «Эмпириокритицизм и импрессионизм», «Новые запросы современной науки». Первая из них появилась в печати в 1898 году, а последняя осталась в незаконченной рукописи. «Какую кропотливую работу, – пишет Е. Ганейзер, – он проделал с одной только разработкой совершенно новой терминологии! Ему пришлось создать более 50 терминов, не известных раньше в русском философском словаре. По поводу каждого термина у него шла переписка с Авенариусом и его кружком, обсуждалось каждое предложенное Лесевичем новое слово. Понятно, что для Владимира Викторовича философия Авенариуса была как бы его личным, кровным делом, за которое он мог биться с юношеским пылом и нетерпеливостью к инакомыслящим»<sup>3</sup>.

Кроме этого, в 1897-1899 годах мыслитель выступил во многих городах юга Украины и России с публичными лекциями на тему фольклора, творчества Даниэля Дефо и, конечно же, философии по-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 61.

<sup>2</sup> Там же. – С. 62.

<sup>3</sup> Там же. – С. 65.

зитивизма. По многочисленным отзывам и репортажам в местных газетах Одессы, Херсона, Екатеринослава, Лубен и других городов, эти лекции стали настоящей свежей струей в жизни интеллигенции. Часто публичные чтения Лесевича перерастали в собеседования, продолжавшиеся в кружках, собирающихся в частных домах. Доходы от них Владимир Викторович перечислял на благотворительные цели, в основном, поровну между «Литературным фондом» и местным учреждением с аналогичными целями<sup>1</sup>.

В 1901 году Лесевич подписал протест против избиения демонстрантов, в том числе писателей, на Казанской площади. Ответ власти не заставил себя долго ждать: философ, вместе с другими представителями Союза писателей, был на двухлетний срок выслан из Петербурга с запретом на проживание в университетских городах. Тогда же он пережил смерть любимой жены, Лидии Парменовны, и оправиться от такого тяжелого удара он не смог уже никогда<sup>2</sup>. Через год Лесевич получил разрешение приехать в Петербург в связи с болезнью дочери Юлии. Перед этим он издал в Одессе брошюру «Буддистские легенды и их отношение к буддистским догматам», пожертвовав гонорар и право на ее перепечатку школе для бедных еврейских детей<sup>3</sup>. Тогда же, в 1902 году, украинский мыслитель с несколькими спутниками, в том числе и Ганейзером, совершилграничную поездку. Он побывал в западной части Украины, находившейся тогда в составе Австро-Венгерской империи, остановившись на два дня во Львове, где хотел встретиться с Иваном Франко и Михаилом Грушевским. Он посетил Рим и Париж, где прочитал ряд лекций в Русской высшей школе, а также выступил на Международном социологическом конгрессе с докладом, в котором «обратил внимание на важное значение фольклористики для социологии, указав на то, что фольклор не только предоставляет богатейший материал для социологии, но и помогает выяснить отдаленнейшее происхождение разных форм жизни, верова-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 73.

<sup>2</sup> Там же. – С. 74.

<sup>3</sup> Там же. – С. 75.

ний, обычаев, а также знакомит социолога с психологией души народа»<sup>1</sup>. В. Лесевич также прочитал стихотворение на провансальском языке, чем вызвал громкие аплодисменты. В одном из писем он сообщает: «Ради фольклора я выучился по-голландски и теперь имею кое-что из их обильной фольклорной литературы»<sup>2</sup>.

Не забывал Владимир Викторович и своего украинского происхождения. Он «отрицательно относился к отщепенцам, отрекшимся от своего языка и своего народа... Внимательно следил за развитием украинской литературы и очень жалел, что не владел языком настолько свободно, чтобы писать на нем»<sup>3</sup>. Известно также, что его статья «Революционеры и естественный ход событий», опубликованная в «Вестнике народной воли», подписана псевдонимом «Украинец», а еще перед первой ссылкой В. Лесевич организовал в Петербурге украинское землячество для молодежи с целью издания сборников по изучению Украины. На его пожертвования Драгоманов в Женеве издавал украинские книги. Читая произведения своего будущего зятя, украинского писателя Владимира Леонтовича, мыслитель отмечает: «Я нередко сожалею, что посвятил свои силы не родному слову, а полез туда, где и без меня много. Настала, кажется, пора подумать и об этом темном народе, оставленном и забытом. Я с особым удовольствием думаю, что хоть Юлия попадет на верный путь и пойдет по нему рука об руку с человеком, который доказал свою способность успешно работать в этом направлении»<sup>4</sup>. В. Лесевич также состоял в крупнейшем украинском научном объединении – Научно-литературном обществе имени Тараса Шевченко («Наукове товариство імені Тараса Шевченка», НТШ) во Львове, которому завещал свою личную библиотеку.

На закате жизни, в 1905 году, философ, став историческим свидетелем первой русской революции и связанных с ней беспорядков и

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 77-78.

<sup>2</sup> Там же. – С. 78.

<sup>3</sup> Там же. – С. 87.

<sup>4</sup> Там же. – С. 89.

репрессий, высказал настоящее предвестие будущих семи десятилетий: «Я вполне допускаю наступление полного одичания и финальную катастрофу просвещения и культуры»<sup>1</sup>. Осенью того же года В. Лесевич переехал из Денисовки в Киев в семью дочери. После учиненного черносотенцами кровавого еврейского погрома, он передал раввину Лурье пожертвование в пользу пострадавших, а также свою статью «Оливия Шрейнер – провозвестница мира между людьми разных религий и национальностей» с правом издания ее отдельной брошюрой в пользу пострадавших от киевского погрома. Его последним печатным словом стали впечатления очевидца этого трагического события, опубликованные в местной газете<sup>2</sup>.

В ноябре Владимир Викторович заболел воспалением легких, одновременно проявилась и желчнокаменная болезнь, победить которую ему было не суждено. 13 (26) ноября 1905 года он отошел в вечность... Его память почтили В. Г. Короленко, близкие к мыслительно литературные и общественные организации. Будущий деятель Украинской Центральной Рады Сергей Александрович Ефремов, видный психолог и философ Георгий Иванович Челпанов напечатали в разных изданиях статьи, посвященные его жизненному и творческому пути.

Уже описанная нами эволюция философских взглядов В. Лесевича, прошедшая три периода: первый позитивизм, неокантианство, второй позитивизм, особенно эмпириокритицизм Авенариуса и его учеников, является общеизвестной среди историков философии. Чтобы понять ее сущностные обстоятельства, исходные данные, движущие силы и конкретные результаты, достаточно обратиться к истории естествознания нескольких последних веков, особенно позапрошлого, а также к особенностям возникновения, становления и развития идей позитивизма.

Учение родоначальника анализируемого философского течения Огюста Конта, изложенное в его шеститомном «Курсе положи-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 92.

<sup>2</sup> Там же. – С. 95.

тельной философии», представляет собой попытку эпистемологического и натурфилософского обоснования знаменитого закона трех стадий развития знаний о мире. Именно в 1830-1842 годах французский математик и первый создатель позитивизма представил на нескольких тысячах страниц текста свою систему взглядов. Она, как единственно адекватная, по его мнению, превращала философию в интегральную картину достижений и самых общих идей известного ряда положительных наук: математики, астрономии, физики, химии, биологии и социальной физики – социологии, науки об обществе, окончательно оформленной Контом как отдельной отрасли знания. Уже здесь, кроме отождествления философии с естествознанием, мы находим другой важнейший признак позитивизма – перенесение методов наук о природе в науки о культуре и обществе. Эти признаки, вместе с отвержением религии и традиционной философии, как изжитой и не соответствующей действительности «метафизики», в более или менее ярко выраженной форме сохраняются и в современных построениях четвертой волны позитивистской философии. Последние годы жизни Конта ознаменовались созданием первой, очевидно, самой показательной версии «религии человечества»: в «Положительном катехизисе» и «Системе позитивной политики» представлено учение о знаменитых Великом Фетише, Великой Сфере и Великом Бытии. Автор названных нами книг не только разработал догматику, систему обрядов и таинств, положительный календарь с почитанием новых святых – слуг человечества, составил тексты личных и общественных молитв, но и стал первосвященником нового вероисповедания, предстоятелем позитивистской церкви...

Такая перемена закономерно привела к расколу среди учеников Конта. Первая группа, принявшая и философию, и религию своего учителя, давшая целую плеяду новых священнослужителей в странах Западной Европы и Латинской Америки (кстати, девиз французского мыслителя «Порядок и прогресс» стал девизом независимой Бразилии; он начертан на белой линии, помещенной на ее государственном флаге), стала называться контистами. После ухода Конта в вечность, их лидером стал Пьер Лафит, лучший и любимый ученик основателя

позитивизма, взявший на себя по завещанию учителя разработку новой науки положительного ряда – этики, реформируемой по каноническому образцу предыдущих отраслей знания, включенных в позитивистскую систему.

Другая группа, во главе с биографом Конта, историком Эмилем Литтре, оценила наследие учителя противоположным образом. Ее участники провозгласили позитивную религию и связанную с ней политику результатом душевной болезни автора «Курса», приняв только философскую часть его наследия. По фамилии своего лидера они стали называться литтреистами, и именно им были близки представители этого философского течения в Российской империи вообще и в Украине в частности. Из русских авторов первое место в ней занимает философ, социолог, ближайший сотрудник Литтре, его соредактор Григорий Николаевич Вырубов, большую часть жизни проводивший в Париже. Он писал свои книги и статьи преимущественно на французском языке. Не отступил от литтреистской программы и уроженец Украины, потомок двух благородных испанских семей – Евгений Валентинович де Роберти (де ла Серда). Из представителей украинской философской мысли взгляды этого крыла учеников Конта разделяют Драгоманов и, конечно же, Лесевич.

В Англии мы находим, по крайней мере, двух, если не трех довольно оригинальных сооснователей позитивизма. Джон Стюарт Милль, сын известного философа и экономиста Джеймса Милля, прославился тем, что впервые почти через триста лет после трудов своего знаменитого предшественника – Фрэнсиса Бэкона – создал непревзойденное построение индуктивной логики. Его главное произведение – «Система индуктивной и силлогистической логики» – представляет нам образец соответствующего метода исследования и, по сути дела, может быть названо вершиной британского эмпиризма, корни которого уходят в Средневековье. Мыслителю также принадлежат книги «Огюст Конт и позитивизм», «Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона», «Основные вопросы позитивизма», посвященные естественно-научному, эмпирическому обоснованию философии. Кроме того, «Утилитаризм», «О свободе», «Размышления о

представительном правлении», «Подчиненность женщины», три тома «Политических и экономических рассуждений» – сделали его общепризнанным идеологом классического либерализма.

Не столь влиятельным и крупномасштабным по значимости, но, тем не менее, достаточно заметным выступает историк Генри Томас Бокль (в английской транскрипции – Бакл), автор известной книги «История цивилизации в Англии». Эта фундаментальная работа свидетельствует о применении позитивистских, естественно-научных по происхождению, теоретико-методологических установок в такой типично гуманитарной науке, как история. В этой связи крайне показательным является название одной из вводных глав сочинения Бокля «Влияние физических законов на общественное развитие». К слову, именно эта книга вдохновила Михаила Драгоманова на знаменитый «замысел составить очерк истории цивилизации в Украине».

Самым влиятельным среди английских позитивистов второй половины XIX века, крупнейшим философом викторианской эпохи выступает, конечно же, Герберт Спенсер. Мыслитель-энциклопедист, чьи произведения занимают первое место среди переведенных на русский и другие языки востока Европы, известен благодаря своей всеобщей теории эволюции, изложенной в книгах «Основные начала» и «Система синтетической философии». Ее отдельные элементы основательно разработаны в «Основаниях биологии», «Основаниях психологии», трех томах «Политических, экономических и философских опытов». Характер учения Спенсера обусловил его огромную популярность в образованных кругах Российской империи. Как отмечает Нина Уткина, «в России Спенсеру было оказано очень большое внимание, и, по сравнению с другими столпами позитивизма, он был наиболее читаемым автором»<sup>1</sup>.

Если Конт и его окружение считают основой позитивизма закон трех стадий и ряд положительных наук, то английские позитивисты не соглашались с таким схематическим подходом к определению фи-

---

<sup>1</sup> Уткина Н. Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России (вторая половина XIX века) / Нина Федоровна Уткина. – М.: Наука, 1975. – 320 с. – С. 52.

лософии, соответствующей науке в целом и естествознанию в частности. Уже Милль, как следует из нашего изложения, обращается к логике (и гносеологии вообще) для обоснования научности или ненаучности знаний. В таких условиях неминуемо возникает вопрос об исследовании познавательных способностей человека, делающих возможным достижение адекватности, истинности наших знаний. Этим объясняется и обращение позитивистов первой волны к психологии, как соответствующей науке, неотъемлемой части системы «научной» философии, отсутствующей в контовской классификации. Именно Спенсер, вместе со знаменитым немецким философом и психологом Вильгельмом Вундом, сыграл решающую роль в трансформации науки о душе из составной части метафизики в дисциплину экспериментального характера, в том виде, в каком она и знакома всем нам.

Открытие неевклидовых геометрий, закона сохранения энергии, периодического закона химических элементов, появление эволюционистских версий антропо- и социогенеза, а также другие достижения естествознания середины XIX века не только изменили научную картину мира, но и привели к трансформации философии позитивизма. Указанные нами в предыдущем абзаце вопросы становятся не просто фундаментальными, но и руководящими в философском осмыслении развития классической науки и ее постепенном переходе, совершившемся на рубеже позапрошлого и прошлого веков, к неклассической науке. Стало очевидным, что схематический характер контовского позитивизма не отвечает новым целям естествознания, как и основанной на нем философии, нуждаясь в новых решениях поставленных заданий. Успешно решить их можно было, исходя из типично кантианской и неокантианской дискурсивных установок: система философских наук строится на гносеологическом и психологическом основании. Больше всего предложений для выполнения этого задания мы находим в различных школах неокантианства, в первую очередь, феноменалистического направления. Так, Альберт Фридрих Ланге в своей книге «История материализма и критика его значения в настоящем» дает соответствующий докографический и аналитический материал; Фридрих Паульсен и Ри-



хард Авенариус в статьях лейпцигского журнала «Квартальник научной философии», основанного в 1876 году будущим создателем эмпириокритицизма, формулируют новую концепцию философии позитивизма. Особенности неокантианской методологии в позитивизме представлены в работе Карла Геринга «Философский критицизм». Сенсуалистическая концепция научного знания разработана в книге Эрнста Лааса «Идеализм и позитивизм. Критическое обоснование». Мысли, целиком вписывающиеся в указанный нами контекст, высказал в «Теории науки и метафизики с точки зрения философского критицизма» Алоиз Риль.

Революция в физике конца XIX века, связанная с открытием явления радиоактивности и элементарных частиц, а также созданием квантовой и релятивистской теорий, привела ко второй волне позитивизма. Наряду с эмпириокритицизмом Авенариуса ведущую роль в ней играет теоретико-методологическая система психофизики Эрнста Маха, известная по фамилии знаменитого физика как махизм. «Критика чистого опыта» Авенариуса, «Анализ ощущений», «Популярно-научные очерки», «Механика. Историко-критический очерк ее развития» Маха являются программными трудами второго позитивизма. Их объединяет следующее положение: научным можно признать только то знание, которое соответствует ощущениям человека, определяемым свободным от посторонних домыслов взаимодействием свойств окружающей среды и с адекватными выполнениями функций центральной нервной системы. Отсюда и ведущие термины: «индивидуум», «среда», «центральная система», «работа», «питание», «жизненный ряд», «принципиальная координация» и другие, призванные обосновать только что приведенное положение.

Этот небольшой очерк истории первых двух исторических разновидностей позитивизма и составляет формулу эволюции философских взглядов Владимира Лесевича. Его заслугой является то, что, несмотря на свою первоочередную роль популяризатора идей западных представителей исследуемого нами течения, украинский мыслитель, по сути дела, самостоятельно приходил к ключевым идеям трансформации позитивизма. Неокантианцы и основатели махизма и

эмпириокритицизма создавали свои «научно-философские» построения одновременно с Лесевичем. По словам выше цитированной российской исследовательницы, «то новое, что он привносил в позитивизм, сначала не было замечено, а потом оказалось, что идеи, к которым тянулся Лесевич, наилучшим образом изложены в трудах основателей эмпириокритицизма – Р. Авенариуса и Э. Маха»<sup>1</sup>.

В настоящем томе представляем часть произведений Владимира Лесевича первого периода его идейной эволюции. По ним можно проследить становление его философских взглядов, а также историко-философское обоснование идей первого позитивизма. При подготовке этого издания мы немного отошли от того порядка, в котором опубликовала три из пяти запланированных томов собрания сочинений своего отца Юлия Владимировна Леонтович. Издательница в 1915 году анонсировала, что «в первый и второй тома войдут статьи по вопросам философии. В третий – статьи общенаучного характера, в четвертый – литературно-критические, а в пятый – статьи по фольклору и исследованию религиозных учений»<sup>2</sup>. Руководствуясь, в первую очередь, хронологическим принципом, в предлагаемом читателю первом томе собрания сочинений Лесевича статьи взяты из третьего и первого томов издания 1915 года. Первая же его собственно философская работа – религиозоведческий труд «Что такое магия?» – ответ на спиритический бум в Российской империи начала 1870-х годов, а также «Модное суеверие» и философско-образовательная, педагогическая статья-рецензия «Эмиль девятнадцатого столетия», раскрывающие разнообразные грани творчества Лесевича, даются по прижизненным публикациям в различных периодических изданиях.

Известный историк философии протоиерей Василий Васильевич Зеньковский повторяет признание самого В. Лесевича, согласно которому началом его литературной деятельности является 1858 год. Философ «очень рано, начиная с 21 года, стал печатать в газетах и

---

<sup>1</sup> Уткина Н. Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России (вторая половина XIX века) / Нина Федоровна Уткина. – М.: Наука, 1975. – 320 с. – С. 124.

<sup>2</sup> Леонтович Ю.В. От издательницы / Юлия Владимировна Леонтович // Лесевич В. В. Собрание сочинений. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 647 с. – С. 8.

журналах статьи, преимущественно по вопросам позитивизма»<sup>1</sup>. Первой его работой является упомянутая нами в начале данного предисловия статья «Женщина и медицина»<sup>2</sup>. Она начинается словами, имеющими эффект бомбы: в тогдашнем обществе Российской империи женщины серьезно отстали от мужчин в умственном развитии. Причина такого неприемлемого состояния следующая: представительницы прекрасной половины отстранены от науки и образования. «В то время как мужчины, – говорит мыслитель, – увлекаемые благородным состязанием, быстро шагали в области прогресса, женщины... тратили время на изучение кадрилей и полек, терзали свое воображение интригами нелепых романов»<sup>3</sup>. На первый взгляд, ничего опасного и предосудительного здесь нет, ведь главное предназначение женщины – быть женой и матерью. Но, по причине отсталости, женщины не могут заинтересовать мужчин серьезно, потому и растет число браков по расчету, женятся на приданом, а не на женщине. Выход один: повышение уровня образованности женщин, в частности, массовое их привлечение к медицинской науке и практике, ведь «тот, кто считает, что теперешняя слабость женщины – ее нормальное состояние, очень ошибается. Причина такой слабости заключается в воспитании и образе жизни женщины, а всем известно, что как то, так и другое, очень мало или совсем не развивает этих сил»<sup>4</sup>.

Украинский мыслитель рассматривает главное замечание на свое предложение: медицина может убить чувство и сделать из женщины материалистку. Ответ его следующий: сами особенности женского характера являются наиболее соответствующими профессии медика, особенно в условиях мусульманского Кавказа. Кроме того, медицина, как и другие науки, повысят уровень умственного развития

---

<sup>1</sup> Зеньковский В. В. История русской философии / Василий Васильевич Зеньковский. – Москва-Харьков: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 890 с. – С. 685.

<sup>2</sup> Лесевич В. В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. – Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 705 с. – С. 653-661.

<sup>3</sup> Там же. – С. 655-656.

<sup>4</sup> Там же. – С. 655.

женщин, и «они станут разборчивыми в идеях, убеждениях и намерениях так же, как нынче разборчивы в нарядах». Наконец, «крут деятельности медика велик и предоставляет ему возможность видеть все виды бедности, все роды несчастий, и от любви к семье и близким возвышает до любви к человечеству... Человек верующий, с высокой душой, одаренный тонкой чувственностью, с ученым взглядом, не затуманенным каким-нибудь отдельным философским мировоззрением, не станет материалистом из-за изучения медицины»<sup>1</sup>. Здесь налицо факт неприятия традиционной философии, но вместе с тем, украинский мыслитель свидетельствует, что он не только далек от нигилизма писаревского образца, но и готов бороться с ним.

Статья «Научные вести»<sup>2</sup> призвана ознакомить публику с главными достижениями естествознания и техники по состоянию на начало 1860-х годов. Не обходится В. Лесевич и без рассуждений общемировоззренческого характера, цель которых – показать корни невежества, к сожалению, царящего в тогдашнем обществе, считающем себя образованным: «девять десятых так называемой образованной публики остаются при четырех стихиях, вычитанных из азбуки, при страхе и ужасе от комет и затмений»<sup>3</sup>. Эту отсталость он называет рутинной – повседневностью, не желающей оставлять устаревшие представления и идти вперед, «жалкий плод привычки и лени, по милости которой всегда берут верх идеи устаревшие и ложные»<sup>4</sup>. Еще более ярким является образ героев древнегреческих мифов, выступающих персонификациями прогрессивного и рутинного мировоззрения, – Прометея и Эпиметея. Эпиметей – человек, не желающий видеть достижений науки, техники и верить в них, в то время как Прометей – образ великого ученого, создателя новых изобретений. Старое, рутинное мировоззрение, не соответствующее современности, должно уйти в небытие: «А между тем, кто взвесит и

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 658.

<sup>2</sup> Там же. – С. 662-683.

<sup>3</sup> Там же. – С. 662-663.

<sup>4</sup> Там же. – С. 662.

оценит, чего стоили прометеям эти удивительные изобретения? Уж конечно, не эпитетей»<sup>1</sup>.

В. Лесевич сообщает о главных открытиях в астрономии, физике, химии XIX века. Это, среди прочего, исследования Уильямом Гершелем туманностей, изучение их структуры другими астрономами, обнаружение движения Солнца и других «неподвижных» звезд. Из новостей физики описано открытие Вильгельмом Бунзеном и Робертом Кирхгофом спектрального анализа, создание спектроскопа и его применение в химии. Названы новые на то время металлы: цезий, рубидий, таллий и индий. Украинский мыслитель выступает с важной идеей-прогнозом: подобно тому, как благодаря спектральному анализу открылась возможность обнаружить новые химические элементы, так и в будущем будут созданы спектральные обсерватории с целью исследования света далеких небесных тел<sup>2</sup>. Достаточно вспомнить об открытии Эдвином Хабблом в 1929 году знаменитого «красного смещения» в свете отдаленных галактик, ставшим основанием эруптивной космогонической гипотезы. Лесевич в доступной форме объясняет также физические принципы работы телеграфов систем Казелли и Бонелли, а также телефона. Лейтмотивом своей второй работы мыслитель сделал следующие слова: если новые идеи «тяжело проникают в публику и не скоро ею усваиваются, то это может служить тем большим понуждением для всякого, не терпящего застой и невежество, не переставать повторять о науке, деятельности, об общечеловеческих интересах, прогрессе»<sup>3</sup>.

Статья «Популярные книги»<sup>4</sup> представляет собою реферативное сообщение о книге французского писателя Артура Манжена «Ученое путешествие по моему кабинету». По сюжету, автор рассказывает о происхождении и назначении разнообразных предметов быта, переходя к основаниям и главным сведениям по физике, химии, биологии, элементам экологии и гигиены. Лесевич предваряет изло-

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 673.

<sup>2</sup> Там же. — С. 672.

<sup>3</sup> Там же. — С. 663.

<sup>4</sup> Там же. — С. 684-692.

жение труда Манжена рядом замечаний, главное из которых восходит к одному из правил метода Рене Декарта: изучать что-либо нужно внимательно и последовательно, не теряя связи с уже известным. Ведь в условиях тогдашней действительности «много наших туристов, как только пересекут границу России, обращаются в «бегунов». Раскольничья секта «бегунов» приписывает все бежать и бежать без остановки. Вот так и наши туристы: приедут из-за границы, а в головах сплошной хаос-кавардак: «какой-то город», «картина какого-то художника»...<sup>1</sup> В связи с вопросом о выборе между классическим и реальным образованием В. Лесевич приводит мнение А. Манжена: «Если под классическим образованием имеется в виду преподавание допотопных идей, соединенное с зубрением латыни, то такое образование, конечно, никуда не годится»<sup>2</sup>. На слова гостя французского автора, молодого человека, в которых высказано отрицательное отношение к естественным наукам, дается показательный ответ: «Если наука представляется вам бесплодной, если она вас пугает, то это только от того, что вы знакомы с ней по школьным учебникам, напичканным сухими доказательствами, цифрами и формулами, которые заслонили от вас величественный, могу даже сказать, поэтический характер этих наук»<sup>3</sup>. Чтобы избавиться от предрассудков по отношению к науке, преодолеть ограниченность личного кругозора, не отставать, в конце концов, от поступательного хода времени, рекомендация А. Манжена, а с ним и украинского мыслителя, одна: «Не переставайте обращаться к природе, этому неисчерпаемому источнику всякого творчества. Но к природе, серьезно изучаемой и добросовестно вопрошаемой, то есть к науке, никогда не стареющей и не истощающейся, беспрестанно изобретающей, открывающей, превращающей, проливающей свет на всякую вещь, исправляющей заблуждения, искоряющей предрассудки и направляющей человеческий ум на единственный путь, достойный его, – на путь к истине!»<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Там же. – С 688.

<sup>2</sup> Там же. – С. 685.

<sup>3</sup> Там же. – С. 685-686.

<sup>4</sup> Там же. – С. 692.

Последней из работ Лесевича 1864 года является небольшая реферативная статья «Древняя языческая реакция»<sup>1</sup>. Она написана по книге Мишеля Николя «Исследования по философии и истории религии» и состоит из четырех частей: «Неверы и религиозная реакция», «Правоверы», «Примирительные философы» и «Сравнение двух партий». Лесевич объясняет причины распространения атеизма и скептического отношения к традиционным религиям Римской империи в образованных кругах общества времен ее упадка прямым влиянием эллинистической философии: «Между просвещенными людьми было принято, что языческие верования и церемонии были изобретением политики; Еврипид провозгласил это мнение устами Сизифа, и с тех пор оно стало всеобщим. Упадок веры в оракулы замкнул уста прорицателей: пифия была нема. Немногие защитники древних верований объясняли это молчание тем, что вдохновлявшая ее сила, заключавшаяся в испарении земли, со временем исчезла. Но это пустое объяснение вызывало только смех. По мнению Цицерона, эта сила пропала с тех пор, как люди стали не так доверчивы. Философия решительно торжествовала. Выставляя ребячество языческих преданий, она провозглашала, что древность ошибалась во многом и что древние верования были разумно преобразованы временем и образованием. Неверие было всеобщим между просвещенными людьми — факт, не подлежащий сомнению»<sup>2</sup>. Но, вместе с тем, спустя полвека после смерти Цицерона, мы наблюдаем настоящую языческую реакцию, возвращение древнего суеверия. Особый интерес для Лесевича представляют неудачные попытки представителей как европейских, так и пришедших с Ближнего Востока, прежде всего, из Персии, дохристианских религий распространить свое влияние на все слои населения. Причем язычество, как показывает пример известного диалога

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. — М.: Книгоиздательство писателей, 1915. — 712 с. — 693-712.

<sup>2</sup> Там же. — с. 693.

христианского апологета III века Марка Минуция Феликса «Октавий», один из главных героев которого – язычник Цецилий – укоряет христиан в невежестве и непонимании настоящей, многобожной религии. Тем не менее, повторяет Лесевич за французским автором, все усилия как правоверов – защитников язычества, так и примирителей язычников и скептиков, были тщетными. Сами неоплатоники, думавшие защищать язычество, так мало защищали его, что один из отцов западной церкви<sup>1</sup> говорил: «Им стоило изменить только несколько слов в своей системе для перехода в христианство».

Важность «Древней языческой реакции» состоит в том, что данная публикация украинского мыслителя представляет собою один из многочисленных примеров собирания материалов для трудов большего масштаба и объема. Ссылку на книгу М. Николя мы найдем в статье 1873 года «Первые провозвестники позитивизма», в которой представлен образец применения позитивистской методологии специализированных историко-философских исследований.

Как мы узнаем из биографии В. Лесевича, со второй половины 1860-х годов он с семьей снова живет в Петербурге. Здесь, в 1866 году, в первом томе сборника «Луч», официальным издателем которого был известный русский мыслитель, общественный и политический деятель Петр Никитич Ткачев<sup>2</sup>, выходит статья «Что такое магия?»<sup>3</sup> Она интересна не только как первое значительное произведение Владимира Викторовича, но и как образец применения им позитивистской методологии в исследовании древнейших форм религии и их дальнейшем развитии. Давая определение магии, В. Лесевич выводит ее происхождение из антропоморфического взгляда на природу, свойственного мировоззрению первобытного человека, а также из такой его исторической формы, как мифология. Так, удовлетворяя

---

<sup>1</sup> Сноска в тексте Лесевича: Августин: «De vera Religione».

<sup>2</sup> Шахматов Б. М. Петр Никитич Ткачев / Борис Михайлович Шахматов // Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов. – М.: Правда, 1990. – 640 с. – С. 5.

<sup>3</sup> Лесевич В. В. Что такое магия? / Владимир Викторович Лесевич // Луч. Учебно-литературный сборник. – СПб.: Типография Рюмина и К<sup>о</sup>, 1866. – 815 с. – С. 331-362.



свои жизненные потребности за счет использования различных природных явлений, прежде всего, огня, человек «находит в окружающих его явлениях элементы, стимулирующие его творческую деятельность, которая обнаруживается в том, что человек олицетворяет, уподобляет себе эти явления, очеловечивает их. Такое отношение побуждает приписывать полезные явления расположению, любви к нему природы, а вредные – ее враждебности, злобе. Между человеком и природой возникает целый ряд воображаемых отношений – то дружественных, то враждебных. Он старается то умиловить, то запугать природу, в нем впервые проявляется мистицизм. Понятно, однако, что практическое и мистическое отношение к природе – это только разные стороны, которыми она представляется человеку. Тем не менее, они являются одновременно и совершенно сливаются в мало-сознательном разуме первобытного человека. Таким образом, сливаются в одну общую совокупность и практические приемы влияния на полезные и вредные явления, и мистические обряды, имеющие притязание держать в зависимости человекоподобные свойства природы. Средства эмпирической техники становятся мистическими и преобразовывают эту технику в таинственные обряды»<sup>1</sup>. Магия и является развитием этой эмпирической техники. Примечательно, что, сознавая ограниченность журнальной статьи, украинский мыслитель приглашает своих читателей к дальнейшему исследованию в данной области: «Я не пишу историю магии, а только ее общую характеристику, ее определение. Не загоняя себя в рамки исторической последовательности, я постараюсь собрать в одно целое все ее отличительные черты, чтобы сделать ее характеристику настолько полной, чтобы читатель, усвоивший мое воззрение, мог обнаружить присутствие магии там, где я, вследствие тесных рамок моей статьи или по другим причинам, не могу ему указать ее»<sup>2</sup>. Исследуя историю различных разновидностей религии, а также эволюцию форм культовой деятельности, украинский мыслитель обращает внимание на роль абстрагирования, а

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 331-332.

<sup>2</sup> Там же. – С. 342.

также постепенный отход от первоначального, явного антропоморфизма по мере увеличения доли науки и философского мышления в человеке. Главным результатом, полученным им, является не только вскрытие противоречивого характера магии, но фактическое определение ее роли как древнейшего мировоззрения, характеризующегося не только познавательными, но и практическими установками, призванными побудить человека к преобразованию окружающей действительности и себя самого, хотя вместе с тем и ограничивающее дальнейшее интеллектуальное развитие. «Едва только пробудилось сознание в человеке, как он инстинктивно почувствовал возможность повелевать окружающей его природой, и первые его усилия были именно в этом русле. Но, не имея еще идеи об изучении естественных явлений и управляющих ими законов, знанием которых он мог бы пользоваться в соответствии со своими желаниями, он вообразил себе природу такой, какой она показалась ему с первого взгляда. Он придумал ей хозяев, во всем подобных себе, и надеялся посредством влияния на них управлять ею. Сообразно с такими взглядами на природу, он придумал систему способов, которые должны были подчинить ему духов и демонов: исполнять его желания, доставлять ему все нужное, благоприятствовать ему во всем и даже открывать будущее. Таким образом, магия распространилась и охватила все потребности жизни. Их все она мечтала удовлетворить и, владея неразвитым и робким умом человека, заменяла ему всякое действительное знание, преграждая путь к истине. Такая претензия казалась человеку тем более основательной, что явления внутреннего мира были для него столько же (если не более) загадочны, как и явления внешнего мира. В них он находил неограниченное удовлетворение своего стремления к сверхъестественному»<sup>1</sup>.

Выход в свет русского перевода книги известного английского историка науки Уильяма Уэвеля «История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени», подготовленного в 1867 году ярким представителем материалистической философии, уроженцем

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 361-362.

Украины (нынешняя Сумская область), будущим критиком Лесевича Максимом Алексеевичем Антоновичем, а также русским издателем и историком литературы Александром Николаевичем Пыпиным, стал поводом для соответствующего отзыва со стороны украинского мыслителя. Он был опубликован в 1868 году в виде статьи «Историческое значение науки и книга Уэвеля»<sup>1</sup>. Лесевич обращает внимание на значение философии в духовной культуре, что заставляет если не усомниться в традиционном представлении об антифилософичности позитивизма, то признать, насколько важна роль философии для автора анализируемой статьи. «Не мудрено, что философия вошла самым важным элементом в историю цивилизации. Под формами культа, догмата, под постановлением юриста, в мифе, загадке, обычае, государственном перевороте стали искать (курсив в подлиннике, – Б. М.) *идею*»<sup>2</sup>. Но если идеи имели свои корни в общественной жизни, а самыми яркими воплощениями идеи выступают системы философов, то необходимо обратиться к истории идей, то есть, к истории философии. Но настоящее ее состояние оставляет желать лучшего. Это замечание свидетельствует о том, что Лесевич старается продолжить дело, начатое О. Контом и Г. Боклем, не удовлетворяясь достижениями авторов классических историко-философских трудов: «Имея значительные истории *философских систем*, мы имеем только часть дела, нужного для истории цивилизации. *Преемство идей* осталось неоткрытым. Мы имеем их выражение, систематическое соглашение, но мы не имеем их развития из их истинных начал, из жизни общества. Мы не имеем истории *философии*»<sup>3</sup>. Тем не менее, даже их заслуги отмечены следующим образом: «История философии должна заключать историю развития и перерождения мирозерцаний как в их содержании, так и форме, и в эту историю философии (не принадлежащую будущему) философские системы с их преемст-

---

<sup>1</sup> Лесевич В. В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – С. 1-24.

<sup>2</sup> Там же. – С. 4.

<sup>3</sup> Там же. – С. 5.

вом войдут лишь как элемент. Будем благодарны историкам философии последнего времени, что они разработали *этот* элемент для некоторых периодов в высшей степени добросовестно и полно. Однако не забудем, что задача будущего другая, что для истории цивилизации человечества важнее содержание мирозерцаний, чем их форма. Она принадлежит единицам, содержание же составляет важнейшее достояние общества: в нем выражается, как общество в данную эпоху *понимает* природу и жизнь, а не только бессознательно ими пользуется<sup>1</sup>. Программа новой, позитивистской, соответствующей выполнению поставленного выше задания истории философии такова: если самым важным для нее является содержание мировоззрений, или, по словам Лесевича, мирозерцаний, то «материал данного содержания должен быть для этого собран и как можно более тщательно обработан в специальном историческом развитии прежде, чем история идей может получить свою окончательную форму»<sup>2</sup>.

Важнейшими историками науки во времена жизни Лесевича являются: Конт, который «не только попытался внести исторический элемент научного развития в свою позитивную философию, отождествляя историческое развитие наук с рациональным развитием научных идей»<sup>3</sup>, и Уильям Уэвель, «строгий ученый; его учебники по математике и механике произвели переворот в английском преподавании этих предметов. В то же время он был одним из самых ревностных проповедников соглашения науки и религии»<sup>4</sup>. Его философская точка зрения «есть примирение Бэкона, Канта и английского предания»<sup>5</sup>. Его теорию знания, поясняет далее Лесевич, составляет дуализм идей и фактов как совершенно различных начал, принадлежащих двум разным мирам, но одинаково важных. Как специалист, прежде всего, по наукам неорганического мира, Уэвель, «вследствие своего понятия об индуктивной методе, весьма последовательно ис-

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 1-24.

<sup>2</sup> Там же. — С. 7.

<sup>3</sup> Там же. — С. 19.

<sup>4</sup> Там же. — С. 21.

<sup>5</sup> Там же. — С. 21.

ключил из своей истории математические науки. Но он не был последователен в том отношении, что не ввел психологию, политическую экономию и т. д. Он признается в этом во введении к первому тому, и говорит, что правильнее было бы назвать его сочинение историей главных наук, до сих пор основанных на наведении»<sup>1</sup>. Он пишет историю каждой науки отдельно, объединяя ее несколько эпох, славящихся важнейшими открытиями. Не зная Конта, английский автор «не развитие научной мысли в истории человечества, не развитие науки как *единой* имел в виду, но исторический материал для индуктивной философии наук»<sup>2</sup>. Лесевич акцентирует, что, несмотря на возможные возражения и сожаления читателей, Уэвель составил план и последовательно его выполнил. Хотя программа Огюста Конта еще никем не выполнена и настоящая история единой науки еще не написана, он «выполнил свое дело крайне добросовестно и хорошо... На его хронологические и библиографические данные можно, вообще говоря, положиться. Его оценка ученых и значения их работ для науки верна, и его книга представляет один из самых лучших материалов для истории науки»<sup>3</sup>.

В этом же 1868 году Лесевич печатает статью «Очерк развития идеи прогресса»<sup>4</sup>, являющуюся первым фундаментальным опытом историко-философского обоснования идей позитивизма. В аннотации к своему труду украинский мыслитель перечисляет практически все источники: французские и немецкие в подлинниках, английские – в русских переводах, обработанные им для создания «*широкой программы прогресса*»<sup>5</sup>. Среди прочего указана книга петербургского единомышленника и издателя Лесевича – Михаила Стасюлевича «Опыт исторического обзора главных систем философии истории».

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – С. 22.

<sup>2</sup> Там же. – С. 23.

<sup>3</sup> Там же. – С. 24.

<sup>4</sup> Там же. – С. 25-103.

<sup>5</sup> Там же. – С. 27.

Целью украинского мыслителя является «выяснение одного из наиболее употребительных понятий, в котором неизбежна некоторая темнота до тех пор, пока мы не изучим его происхождения и развития»<sup>1</sup>. Следует также указать на первые отрывочные проявления идеи прогресса и затем проследить все формы ее развития до наших дней, отметить ее связь с жизнью общества и его умственным развитием, указать на те влияния, которые способствовали ее развитию или замедляли его, не забывая, что идея прогресса синхронична с идеей регресса: «Верование в прошедший «золотой век», постоянную испорченность и падение человечества было чрезвычайно распространенным»<sup>2</sup>.

Лесевич прослеживает историю понятия прогресса от древности до XIX века. Первыми, кого он упоминает, Аристотель и Платон, Сенека и Плиний. Заслугой Платона является, например, присутствие в его «Государстве» «тех посредственных форм общественного развития, с помощью которых должен совершиться переход от развращенного современного ему состояния к очерченному им плану самых совершенных форм общественного развития»<sup>3</sup>. Из средневековых мыслителей отмечены Фома Аквинский и Гуго Сен-Викторский, ведь они вели речь о прогрессивных изменениях в религии, заключающихся в замене христианством язычества и иудаизма. Упомянуты также Амори Шартрский и Иоахим Флорский, причем последний из названных мыслителей «раздвинул пределы идеи прогресса, открыл широкий кругозор, которого не хотела видеть ортодоксия, но который увлекал будущие поколения»<sup>4</sup>. В связи с этим мы встречаемся с одной из первых, по словам выдающегося историка украинской философии Дмитрия Ивановича Чижевского, «необычайной под пером позитивиста оценкой (например, в целом

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 712 с. – С. 24.

<sup>2</sup> Там же. – С. 28.

<sup>3</sup> Там же. – С.29.

<sup>4</sup> Там же. – С. 33.

положительной оценкой Средневековья)»<sup>1</sup>: «Философия в своей сущности тождественна свободе мысли, и если действительно в эпоху Средневековья существовала хоть какая-нибудь философия, то существовала и известная свобода мысли, а если существовала эта последняя, то ортодоксия постоянно была под угрозой опасности столкновения с положениями, не согласующимися с ее догматами»<sup>2</sup>.

Совсем другой характер имеет эпоха Нового времени. Что касается Возрождения и Реформации, то в них имеют место две стороны: классическая, связанная с воспроизведением античного наследия, и реформационная, заключающая в себе обращение к самостоятельному научному развитию. Преимущество, конечно, отдается второй стороне<sup>3</sup>. В Новом времени ведущими мыслителями, разрабатывавшими идею прогресса, являются Бэкон и Декарт: именно с них «начинает отмечаться первенство умственной деятельности в ходе человеческого развития. Это первенство составляет главную характерную черту новейшего фазиса развития идеи прогресса и служит основанием дальнейшего развития этой идеи в полное и всестороннее учение о прогрессе»<sup>4</sup>.

Кроме упомянутых сооснователей философии Нового времени, Лесевич указывает Николя Мальбранша, Антуана Арно, Поля Николя, Блеза Паскаля, а также спор известного писателя-сказочника Шарля Перро с Николя Буало о противоборстве старого и нового.

Эпоха Просвещения выводит идею прогресса из придворных сфер в лагерь свободных мыслителей<sup>5</sup>, и «из абстрактной она делается практической и, отбросив произвольно поставленные ей пределы,

---

<sup>1</sup> Чижевський Д.І. Філософія на Україні. Спроба історіографії / Дмитро Іванович Чижевський. – Прага.: Сіяч, 1926. – 216 с. – С. 147-148.

<sup>2</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 712 с. – С.38.

<sup>3</sup> Там же. – С. 43.

<sup>4</sup> Там же. – С. 55.

<sup>5</sup> Там же. – с. 63.

ищет широкого и всестороннего применения в жизни»<sup>1</sup>. Крупнейшие представители этой эпохи, внесшие значительный вклад в развитие идеи прогресса, – Жан-Жак Руссо и Вольтер, причем последний имеет то преимущество, что «не ограничивается теоретическими размышлениями о нем (прогессе, – Б. М.), но смело вносит его в жизнь и громко проповедует его, как благу ю весть Нового времени»<sup>2</sup>. Особое место уделено прямым предшественникам Огюста Конта – Мари Жану Антуану Николаю Кондорсе и Анн Роберу Жаку Тюрго, ведь именно они, особенно Тюрго, представляют целостное учение о прогрессе, которое старается поставить вопрос о развитии человечества на почву положительной науки и «служит таким образом непосредственным прецедентом позитивной школы»<sup>3</sup>. Потрудились, каждый по-своему и в разной мере, на ниве разработки идеи прогресса и немецкие мыслители: Готхольд Эфраим Лессинг, Иоганн Гердер, Иммануил Кант.

Оканчивается небольшое исследование развития идеи прогресса цитатой из «Истории цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля, которая встретится нам через несколько десятков страниц, в статье «Философия истории на научной почве»: «Писать историю какой-нибудь страны, не принимая во внимание хода ее умственного развития, было бы то же самое, если бы астроном составил планетную систему, не включив в нее Солнца, свет которого дает нам возможность видеть все планеты и притяжение которого дает направление планетам и заставляет их вращаться в назначенных им орбитах...»<sup>4</sup>

Мы переходим к циклу из трех статей Лесевича, объединяемых одной общей темой: современное состояние позитивизма как философии, единственно соответствующей науке. К ним принадлежат: «Философия истории на научной почве»<sup>5</sup> (1869), «Позитивизм

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 67.

<sup>2</sup> Там же. – С. 71.

<sup>3</sup> Там же. – С. 89.

<sup>4</sup> Там же. – С. 103.

<sup>5</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 10-45.



после Конта»<sup>1</sup> (1870) и «Новейшая литература позитивизма»<sup>2</sup> (1871). Кроме того, между второй и третьей названными публикациями присутствует связующее звено в виде произведения, посвященного наукам о Земле, – «Общие геологические вопросы и их решения» (1870)<sup>3</sup>.

В первой из них находим само определение философии истории – это «выработавшееся в науке сознание законов жизни и развития человечества. Каждый момент этого сознания находится в такой тесной связи с жизнью и развитием самого общества в данную эпоху, что знакомство с этим состоянием возможно только при предварительном знакомстве с характером умственной деятельности самого общества»<sup>4</sup>. Оценивая в связи с этим классическую философскую традицию, Лесевич относится к ней, по крайней мере, скептически, в tone, даже более ироническом, чем в своих же опытах историко-философских поисков начала 1870-х годов. Так, ссылаясь на известных представителей левого гегельянства Давида Штрауса и Бруно Бауэра, он говорит, что трансцендентальная философия Фихте и гегелевская философия остались непонятыми, а «философия Шеллинга вообще перестала себя понимать, становясь все более и более нелогичной»<sup>5</sup>. Альтернативой по отношению к системам традиционной, в том числе и немецкой классической, философии выступают науки контовского ряда: математика, астрономия, физика, химия, биология, социология. Следовательно, согласно закону трех стадий, традиционная философия, соответствующая теологической и метафизической стадиям развития человеческих понятий о мире, должна уступить место науке, изучающей явления путем опыта и наблюдения. Наука, в свою очередь, «стремится прийти, в окончательном результате, к док-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 46-85.

<sup>2</sup> Там же. – С. 86-135.

<sup>3</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 712 с. – с. 218-250.

<sup>4</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 10-45; – С. 10.

<sup>5</sup> Там же. – С. 12.

трине, охватывающей все, что только может регулировать жизнь и развитие человечества. Она стремится к тому, чтобы стать не только истолковательницей, но и руководительницей жизни. Она ставит социальную систему конечной целью своей работы»<sup>1</sup>. Мировоззренческие ориентиры определяются еще яснее: «Многое остается недоступным научному исследованию, многое гадательно, неточно, неполно... Но справедливо заметил Фейербах, что никто не становится под водосточные трубы для того, чтобы укрыться от дождя... Возврата к прошлому нет, мы это знаем, и потому смело предпочитаем неполноту попыток, обобщающих наше положительное знание, мнимой законченности традиционного миросозерцания. Одной из замечательнейших попыток в этом направлении была попытка Ог. Конта. Социальная задача вполне ей не удалась, но решение ею философской задачи представляет в высшей степени замечательную ступень к достижению стремлений современной науки. На наших глазах тропинка, протоптанная Ог. Контом, превращается в широкую дорогу, и вместо системы, которую мы можем назвать *контизмом*, возникает *позитивизм*, или – чтобы не спорить о словах – научное миросозерцание, научная философия с непрестанно расширяющейся и теперь уже весьма широкой сферой влияния»<sup>2</sup>. Именно позитивизм призван заменить туманность мышления на его простоту, ясность, точность, определенность. Жизнь человека «становится человечнее, светлее, все более и более устраниаются из нее явления, оскорбляющие справедливость, препятствующие успехам цивилизации, нарушающие мир»<sup>3</sup>. Лесевич определяет также место философии истории в системе научного знания. В представляемой статье он практически впервые обращается к эпистемологической проблематике первого позитивизма. Речь идет о трех способах научного изучения явлений, доступных восприятию человека: наблюдении, опыте и сравнении. «Только до-

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 15.

<sup>2</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 15-16.

<sup>3</sup> Там же. – С. 16.

бытые этим путем результаты, – говорит философ, – оно (искусство изучения явлений, – Б. М.) считает вполне положительными данными и только ими пользуется для своих выводов и заключений»<sup>1</sup>. Если общественные явления принадлежат ведению социологии, то к ним применима соответствующая классификация и методология: «*Социальная статика* рассматривает условия существования или организацию общества, а *социальная динамика* изучает законы деятельности этой организации»<sup>2</sup>. Сделав попытку описать прогрессивное развитие жизни на основании эволюционной теории, Лесевич, по сути дела, приблизился к учению о ноосфере, окончательно оформленному Эдуардом Леруа и Владимиром Ивановичем Вернадским: «Биологическое исследование доказывает, что в царстве животных общеорганизмическая жизнь постепенно подчиняется животной жизни, и, по мере возрастания изменений, приближает эти организмы к человеческому организму. Итак, развитие человечества представляется нам, при этом сближении, самым высшим моментом общего хода развития органической жизни, начиная с простейших растений и оканчивая человеком. Этот взгляд на общее значение человеческого развития подтверждается анализом общественного развития, несомненно доказывающим, что высшие способности человека непрестанно стремятся к преобладающей роли в общей экономии человеческого существования»<sup>3</sup>. Он не перестает повторять, что решающей силой прогресса общества является умственное развитие, а его идеалом выступает человечность<sup>4</sup>.

Представленная нами работа Лесевича стала поводом к критической оценке со стороны ранее упомянутого нами М. Антоновича. В одном из выпусков своего журнала «Космос», в рубрике «Журнальное обозрение»<sup>5</sup>, высказано отрицательное отношение Антоновича к

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 20.

<sup>2</sup> Там же. – С. 21.

<sup>3</sup> Там же. – С. 21.

<sup>4</sup> Там же. – С. 24.

<sup>5</sup> См. Журнальное обозрение // Космос, 1869. – № 5. – С. 33-35.

главным мыслям украинского философа. Лесевич ответил своему критику в обширном подстрочном примечании к своей следующей статье.

В «Позитивизме после Конта» речь идет о том, что после перехода от метафизического к научному фазису развития знаний «разум отказывается от супранатурального и субъективно-умозрительного объяснения наблюдаемых им явлений, а обращается к знанию, науке, и, в обобщениях ее изысканий, ищет и находит желаемое объяснение, подлежащее, по самому существу своему, широкому и определенному развитию»<sup>1</sup>. По сути дела, это главная идея, обобщающая предыдущую статью, задача же настоящей – ознакомить читателя с произведениями западноевропейских и отечественных позитивистов, тем более что, несмотря на появление новых его сторонников в разных странах, «поверхностному наблюдателю могло показаться, что учение Конта лишено связи с идеалами века и не имеет будущего. Молчание, окружавшее его, имело, однако, совершенно частную, непреходящую причину – в ту эпоху, когда появился «Курс положительной философии», разобщение между наукой и философией решительно препятствовало пониманию философии, основанной на науке»<sup>2</sup>. Главное содержание статьи «Позитивизм после Конта» составляет, конечно, гносеологическая проблематика первого позитивизма. Украинский мыслитель знакомит читателей с полемикой между Литтре и Миллем, посвященной решению основных эпистемологических вопросов в связи с положительной философией Конта, изложенной в соответствующем «Курсе». Речь идет о предельном понятии философии, выше которого невозможны обобщения, возможностях и границах познания действительности, а также о характере, строении, функционировании и развитии научного знания. Если «предельное понятие супранатуральной философии, например, понятие о внемировой силе»<sup>3</sup>, то «вопрос о возможности логического ис-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 46.

<sup>2</sup> Там же. – С. 46-47.

<sup>3</sup> Там же. – С. 54.

следования, выступающего за предел, обозначенный понятием об этой силе, остается вечно открытым, так как супранатуралистический ответ, утверждающий, что за этим пределом *ничего* не существует, равнозначен с пожеланием идти дальше и обнаруживать необходимость принять положение, о котором идет речь, как *предельное*»<sup>1</sup>. Указав на то, что позитивизм отвергает непознаваемое в смысле содержания религии и классической философии, Лесевич утверждает: «Итак, предметом изучения позитивной философии есть действительность в теснейшем смысле этого слова, т. е. та часть Вселенной или космоса, которая в какой-либо мере может, во времени и пространстве, подлежать нашему наблюдению и опыту. Понятие о действительности есть, следовательно, то предельное понятие, о котором было рассказано выше. ...Положительная философия ничего не знает и знать не хочет о том, чего не знает наука, с которой она составляет одно нераздельное целое»<sup>2</sup>.

Значительное место в статье «Позитивизм после Конта» занимает ответ Лесевича своему критику М. Антоновичу<sup>3</sup>. Основной предмет столкновения украинского позитивиста с представителем материалистической, с нигилистическими тенденциями, мысли Российской империи – политические выводы либерального характера, которые можно сделать из статьи «Философия истории на научной почве». Непосредственно же спор идет о слове «экзегетика», употребленном Лесевичем в смысле историко-критического метода исследования священных текстов, прежде всего, Библии. Общеизвестно, что Антонович в свое время получил духовное образование, но примкнул к политическим кругам революционного характера, приняв соответствующие философские взгляды, столь ценимые в советский период. Поэтому он и утверждает, что «экзегетика не имеет *никакого* значе-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С.54.

<sup>2</sup> Там же. – С. 56.

<sup>3</sup> См.: Журнальное обозрение // Космос, 1869. – № 5. – С. 33-35. Заметка является редакционной, потому автор – М.А. Антонович – в ней не указан.

ния»<sup>1</sup>. На это среди прочего Лесевич отвечает так: «Очевидно, что если прогресс зависит от всей совокупности знаний, то он зависит также и от экзегетики, как науки, то есть от экзегетики штраусов и бауров, а не от семинарской, как думает мой критик»<sup>2</sup>. Следовательно, украинский мыслитель не поддерживает нигилистическое отрицание философии.

Статья «Общие геологические вопросы и их решения» гармонично сочетается с двумя предыдущими и завершает названный нами цикл, посвященный ознакомлению широких кругов образованной общественности Российской империи с позитивизмом О. Конта и его единомышленников. Поводом к ее написанию, скорее всего, стало разрушительное землетрясение, опустошившее в 1868 году многие местности Южной и Северной Америки. Здесь уместно напомнить, что на такую же масштабную природную катастрофу, постигшую в 1755 году европейский континент, Вольтер откликнулся «Поэмой на разрушение Лиссабона», а Кант – одним из своих известных естественно-научных трудов – статьей «О причинах землетрясений».

Украинский мыслитель так формулирует главные вопросы геологии: «Как произошла Земля? Что претерпела она с тех пор, как произошла? Каков ее состав в настоящее время?»<sup>3</sup> Но с этими общеизвестными вопросами неизбежно связаны разнообразные ответы, даваемые различными типами мировоззрения. Так, на супранатуралистической стадии развития наших знаний о мире ответы на эти вопросы определяются безусловными началами. «Постановка второго вопроса, – продолжает Лесевич, – непременно согласуется с антропоцентрической системой, неизбежно присущей всякому теологическому мировоззрению, а потому и решение вопроса суживается, ограничивая прошедшую историю Земли ее историей как человеческого жи-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 65.

<sup>2</sup> Там же. – С. 66-67.

<sup>3</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 713 с. – С. 218.

лица. Таким образом, теория происхождения Земли (геогения), будучи на этой ступени развития разума плодом фантазии, сливается с поэзией, разными легендами и т. п. Гимны Вед, космогония египтян, древнейшие сказания семитических племен и т. д. нисколько не отличаются в этом смысле. Описания же таких фактов, как землетрясения, наводнения, вулканические извержения и т. п. встречаются обыкновенно как эпизоды в сказаниях и легендах того или другого народа. Они до того искажены и извращены, что теряют свой геологический характер и являются только иллюстрациями теологического воззрения на природу»<sup>1</sup>. Этому «положительному изучению Земли совершенно чужды мифы, легенды и анекдоты. Если о них здесь и упоминается, то только потому, что своим возникновением они обязаны именно тем вопросам, с которыми имеет дело и наука»<sup>2</sup>.

Начало геологии, как положительной науки, украинский мыслитель связывает с именами Готлиба Абраама Вернера, Чезаре Дженерелли, Антонио Лаццаро Моро, Жоржа Кювье, Чарльза Ляйэлла, Пьера Лапласа, Гюттона, а также ряда античных (Аристотель, Страбон), средневековых (в основном, арабских – Омара Эль-Аалеми, Мухаммеда Казвини (Кацвини)) и ренессансных ученых (Леонардо да Винчи, Агрикола, Джероламо Фракасторо, Парацельса), чьи взгляды и излагает. Своеобразной путеводной нитью для Лесевича является уже известный нам по предыдущим статьям критерий научности знания: соответствие действительному опыту и отказ от «метафизики». Поэтому он и говорит, что «наша общая характеристика геологических воззрений может довольствоваться изложением взглядов только тех немногих ученых, которые, подобно Аристотелю и Страбону, стояли выше общего уровня.

Они больше других способствовали обособлению теорий, имеющих научную точку опоры наблюдения, в отличие от тех, которые опирались на выгороженном из критики авторитете или зыбком

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 218-219.

<sup>2</sup> Там же. – С. 219.

произволе фантазии и личного умозрения»<sup>1</sup>. Рассматривая вопросы о возникновении Земли, а также о причинах, обуславливающих характер недр и поверхности нашей планеты, украинский мыслитель отмечает, что наряду с деятельностью нептунических, гидросферных и плутонических, литосферных, в первую очередь, вулканических факторов, в изменении формы и строения земной коры участвуют органические существа — кораллы<sup>2</sup>. В связи с этим особое внимание уделяется дарвиновской теории естественного отбора, которая, кроме объяснения многих жизненных процессов, играет роль интегратора биологических и геологических знаний: «Громадная заслуга Дарвина заключается, впрочем, не только в том, что он сделал последний шаг к ниспровержению теории катаклизмов и завершил, таким образом, учение Лайэля о постепенном развитии жизни Земли. Дарвину принадлежит честь еще большей заслуги: он, по верному замечанию Гэккеля, создал опытное основание для великого принципа единства органической и неорганической природы, — принципа, разрешающего многие важные вопросы, над которыми так долго и тщетно работала умозрительная философия»<sup>3</sup>.

Статья «Новейшая литература позитивизма» выступает завершением цикла, к которому относятся две предыдущие публикации украинского мыслителя. Лесевич с особой яркостью выполняет назначение популяризатора идей европейского позитивизма не только по нововышедшим произведениям его представителей, но и по откликам на это философское течение и дискуссиям вокруг него, в том числе, и в ведущих журналах Российской империи. Уже из аннотации к этой статье следует, что ее автор, кроме книг Феликса Фуку «История работы», Клеманса Ройе «Происхождение человека и общества», критических замечаний о позитивизме Франсуа Лорана, Луизы Аккерман и кардинала Йозефа Раушера — особенно подробно остано-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 3. Статьи общенаучного характера. — М.: Книгоиздательство писателей, 1915. — 713 с. — С. 222.

<sup>2</sup> Там же. — С. 245.

<sup>3</sup> Там же. — С. 249.



ливается на таких исследованиях, как «Суздальцы и суздальская критика» Николая Константиновича Михайловского и магистерской диссертации Михаила Драгоманова «Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит», успешно защищенной великим украинским просветителем в Киевском университете святого Владимира в 1869 году. Лесевич называет Драгоманова «человеком, расположенным к позитивизму»<sup>1</sup>, и эта оценка стала решающей в определении философских взглядов великого украинского просветителя. Как отметил в свое время мой учитель, доктор философских наук, академик Григорий Иванович Волинка, Драгоманов именно в этой работе «в нескольких местах намекает на свои симпатии и надежды относительно позитивизма. Правда, намекает довольно осторожно и неуверенно. Речь идет о таких достоинствах позитивного течения, как рассмотрение истории с позиций закономерности, органичности, зависимости от умственного прогресса индивидов и общин (громад). И все. Но на основании этих намеков были сделаны категорические выводы о принадлежности мыслителя к позитивизму. С легкой руки Лесевича, Драгоманов до сих пор причисляется к позитивистскому течению. Но примем во внимание ту уже упомянутую осторожность, с которой Драгоманов относится к последнему»<sup>2</sup>.

Что касается первой работы, то неточность Михайловского состоит в следующем. Оценивая контистов, принявших учение основателя позитивизма целиком, русский мыслитель утверждает, что они уподобились «суздальцам»<sup>3</sup> – художникам-ремесленникам одно-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 125.

<sup>2</sup> Волинка Г.І. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Григорій Іванович Волинка // Матеріали перших міжнародних драгоманівських читань: 30 вересня – 2 жовтня 2003 р. / Укл. Г.І. Волинка, В.П. Сергієнко, Л.Л. Макаренко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Випуск 1. – 274 с. – С. 61-66. Цитата – С. 61-62.

<sup>3</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 120. См. также: Михайловский Н.К. Суздальцы и суздальская критика / Николай Константинович Михайловский // Отечественные записки, 1870. – № 4. – С. 145-205. – С. 172.

именного уезда тогдашней Владимирской губернии, промысел которых состоял в написании довольно однотипных по цветовой гамме икон, то есть крайней поверхностности. Если литтреисты остановились только на «Курсе позитивной философии», то неясно, каким образом они приняли эту часть идейного наследия Конта: на основании критического подхода или «по-суздальски»? Этот вопрос важен тем более, что Михайловский упоминает об украинском мыслителе, который относится к наследию Конта иначе, чем суздальцы, но, по словам автора «Суздальцев и суздальской критики», неизвестно, как именно. А ведь, ссылаясь на оценки взглядов основателя позитивизма, приведенные в нескольких работах Литтре, Лесевич подчеркивает: «Из этих слов Литтре видно, что о позитивистах нельзя сказать того же, что и о контистах»<sup>1</sup>.

Что касается диссертации Михаила Драгоманова, то из нее сделан ряд выписок: «Из историко-философских понятий последнего времени... сильно и оригинально выделяется только учение так называемого позитивизма, который, впрочем, дал еще мало исторических трудов»<sup>2</sup>. В другом месте: «Таким образом, положительное направление в науке об истории Римской империи получило поддержку не только от многих политико-социальных идей Нового времени, но и от историко-философской школы, которая теперь резче других выделяется и, несомненно, имеет перед собой блестящее будущее»<sup>3</sup>. Именно они дали повод к приведенной нами оценке Лесевичем взглядов Драгоманова. Приведя целую страницу из выводов работы Драгоманова, он отмечает, что здесь допущены три неточности: причисление Дрейпера к позитивной школе; утверждение, что философы и историки позитивной школы до сих пор еще не высказались ясно по самому важному пункту вопроса о прогрессе в истории, а именно – по вопросу

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 123.

<sup>2</sup> Там же, с. 125. См. также: Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит / Михаил Петрович Драгоманов. – К.: Университетская типография, 1869. – 390 с. – С. 387.

<sup>3</sup> Там же. – С. 125. Драгоманов. – С. 390.

о том, совершается ли он в жизни каждого народа или только в последовательной цепи народов, называемой человечеством; мнение, что позитивная школа не выработала еще точного и ясного взгляда на вопрос о переходе древнего мира в новый и на историческое значение Средневековья<sup>1</sup>.

Первую из них исправил уже сам Драгоманов: «Дрейпер... возвращается к сравнению развития по возрастам жизни народа и отдельного лица», к чему Лесевич добавляет: «Выражаясь языком положительной философии, это значит, что Дрейпер переносит выводы, добытые биологией, в область иерархически высшей науки, — социологии. Прием этот настолько противоречит началам положительной философии, что приходится все-таки исключить Дрейпера из числа историков позитивной школы»<sup>2</sup>. Для исправления других неточностей, украинский мыслитель ссылается на те сочинения Литтре, которые были знакомы Драгоманову, в первую очередь, на книгу «Варвары и Средние века».

Так, по вопросу о характере участия в прогрессе разных народов или всего человечества, украинский мыслитель обращается к введенному Литтре понятию «социальное тело», то есть цивилизованному человечеству как целому: «Социальное тело не есть совокупность народов, рассеянных по земному шару, это нечто более ограниченное. В первый раз различить его можно в Греции. Маленькие государства, покрывавшие эту страну, и их колонии, рассеянные в Азии, Сицилии, Италии, Галлии, Африке, составляли целое, связанное общностью цивилизации. ...Новая Европа создается в Америке. Можно предсказать, что по истечении не особенно значительного времени социальное тело займет собою всю Землю»<sup>3</sup>.

Историческое значение Средневековья, о котором говорят и Литтре, и Драгоманов, и Лесевич, состоит, по мнению французского

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. — М.: Книгоиздательство писателей, 1915. — 694 с. — С. 126.

<sup>2</sup> Там же. — С. 126-127. Подобную оценку взглядов Дрейпера Лесевич дал и ранее, в статье «Философия истории на научной почве». См. С. 31.

<sup>3</sup> Там же. — С. 127-128.

автора, в следующем: «Средние века вовсе не составляют бесплодной и обделенной эпохи, в которой прерывается традиция. Наоборот, Средневековье продолжало, через ряд затруднений, унаследованных и приобретенных, развитие, природу и направление которого они не изменили»<sup>1</sup>. И дальше читаем: «Точно так, как следят за учеником, переходящим из класса в класс, так можно следить за средневековым периодом в его постоянном прогрессе знания. Это общество, на самом деле, проходит курс учения, оно чувствует потребность знания, оно работает добросовестно, упорно и обозначает каждый век своего существования важными шагами в своем развитии, никогда не отступая назад к прошедшему, более темному»<sup>2</sup>.

Таким образом, украинский мыслитель получает из проведенного анализа следующие выводы: «1) что позитивная школа не может нести ответственности за мнения, высказываемые Дрейпером, труд которого г. Драгоманов весьма справедливо называет дилетантским; 2) что необходимые свойства всякого научного труда, точность и ясность, не чужды и историческим трудам позитивной школы и, что, следовательно, 3) мнение г. Драгоманова о достоинствах школы получает новое подтверждение»<sup>3</sup>, чем вносит весомый вклад в развитие украинского позитивизма, прежде всего, как теоретико-методологического основания исследовательской работы многих ученых-историков Киева и других университетских городов. Очевидно, что не осталась без соответствующего влияния и историческая мысль в России.

Отдельную статью Лесевич посвятил анализу русского перевода (1870) книги французского педагога Альфонса Эскироса «Эмил XIX века». Ее главной проблемой является выбор системы воспитания: или сообразно человеческой природе, или *ad hoc*. «Первое, – говорит украинский мыслитель, – имеет целью выработать в воспитыва-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. Т. 1. Статьи по философии. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 694 с. – С. 130.

<sup>2</sup> Там же. – С. 131.

<sup>3</sup> Там же. – С. 133.

ваемом человека с помощью средств, сообразных с его природой. Основанием оно выбирает данные, черпаемые из единственного источника, который может доставлять непреложные истины – из науки. Что касается второго, то оно ищет цель не в самом человеке, а вне его; оно подходит к нему с целью предвзятой, внешней»<sup>1</sup>. Образцом последней разновидности воспитания служит кастовая система в Индии, а также система образования Франции времен бонапартизма. Во второй половине XIX века актуальным становится вопрос о первой разновидности воспитания: насколько она обоснована? Эскирос, подобно своему предшественнику Жан-Жаку Руссо, излагает свои мысли в виде художественного произведения, повести. Главным принципом педагогики, которым руководствуются французские авторы, призванные развить лучшие естественные склонности человека, выступает единственный научный – антропологический<sup>2</sup> принцип. Украинский мыслитель обращает внимание на то, что «теория Руссо в целом гораздо более метафизична, чем научна: ее метафизическая сторона заслоняет собою научную сторону»<sup>3</sup>. Такая оценка имеет место по той причине, что в условиях Просвещения крайне трудно было провести естественно-научную точку зрения до конца: автор «Эмиля» еще пребывает в плену у классических философских идей. В век позитивизма путь обновления очевиден: «Так как законы человеческой природы раскрывает нам наука, то основанием теории естественного воспитания может быть только наука». Причем, по Лесевичу, одной физиологии, рекомендуемой Эскиросом, недостаточно: «Необходима та широкая и разнообразная совокупность данных, которые может доставить только наука о человеке – антропология, область которой охватывает не одни только физиологические, но и биологические, а также социологические вопросы»<sup>4</sup>. В этом и состоит преимущество системы, предлагаемой французским автором: после аналогичного опыта Руссо

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Эмиль девятнадцатого столетия / Владимир Викторович Лесевич // Отечественные записки. 1871. – № 5. – С. 1-31. – С. 1.

<sup>2</sup> Там же. – С. 6-7.

<sup>3</sup> Там же. – С. 8.

<sup>4</sup> Там же. – С. 17.

устранены все двузначности, а образование и воспитание поставлены на научную почву.

Завершает настоящий том обширная статья «Роль науки в период Возрождения и Реформации» (1868)<sup>1</sup>. Она состоит из шести разделов, рассматривающих биографию и историю, Европу в первой половине XV века, а также книгопечатание, Новый свет, протестантизм и предшественников Нового времени. С третьего по четвертый включительно указана четкая периодизация с точностью до года, охватывающая время с 1450 до 1539 года. Данная периодизация имеет, во многом, обобщающее значение в связи с исследованием предыстории позитивизма в предыдущих эпохах развития философии. Данное произведение, несмотря на указание ее автора на его связь со статьей об Узеле<sup>2</sup>, очевидно, принадлежит не Лесевичу, а его учителю, П.Л. Лаврову. Об этом одним из первых заявил известный литературный критик, публицист и социолог Александр Алексеевич Гизетти<sup>3</sup>. Не включил его в перечень трудов украинского мыслителя и Я. Колубовский. Отметим только, что, в сопоставлении с предыдущими статьями Лесевича, довольно рельефно выделяются некоторые стилистические особенности текста. Например, ссылка на «закон Гегеля», согласно которому «ум человеческий, схватив одну сторону предмета, непосредственно верную, замечает ее неполноту, разрушает ее, противопоставляя ей то начало, которое в ней не было взято в рассмотрение. Затем переходит к более полному воззрению, где удержана вся непосредственная верность первого начала, но дополненная усвоенным противопоставлением»<sup>4</sup>. Зная отношение Лесевича к диалектике, особенно гегелевской (см. оценку немецкой классической философии, данную буквально через год в статье «Философия исто-

---

<sup>1</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. – Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 713 с. – С. 104-217.

<sup>2</sup> Там же. – С. 104.

<sup>3</sup> См.: Гизетти А.А. Лавров, как «историк мысли» / Александр Алексеевич Гизетти // П.Л. Лавров. Сборник статей. – П.: Колос, 1922. – IV, 522 с. – С. 292-359. – С. 336.

<sup>4</sup> Лесевич В.В. Собрание сочинений / Владимир Викторович Лесевич. – Т. 3. Статьи общенаучного характера. – М.: Книгоиздательство писателей, 1915. – 713 с. – С. 105.

рии на научной почве»), невольно возникают сомнения в подлинности такого подхода. Вместе с тем, соображения о том, что «реальны в истории лишь личности»<sup>1</sup>, и указание на то, что «... с другой стороны, и естествоиспытатели, когда берутся за исторические труды по своей науке, слишком часто выказывают свое незнание с приемами и результатами исторической критики»<sup>2</sup>, а также многочисленные акценты на значении для зарождения новой, современной цивилизации науки в целом и отдельных ученых, философов и религиозных деятелей в частности, целиком вписываются в своеобразный историко-философский контекст соответствующих статей украинского мыслителя.

Этими работами, конечно, творчество Владимира Лесевича в первом, континентальном<sup>3</sup> периоде эволюции его философских взглядов, не ограничивается. Но в них намечены главные пути развития мысли крупнейшего представителя позитивизма в Украине: идеал научной философии, ее связь с предыдущими эпохами и содействие становлению свободной, всесторонне развитой личности.

Б. Матюшко

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же. — С. 112.

<sup>3</sup> Термин «континентальность», в подлиннике — «континентальная идея», по сути дела введен современной русской исследовательницей позитивизма, в частности, взглядов Лесевича, Ларисой Александровной Звездиной. Он означает первый позитивизм в версии, близкой к литтреистической (см. выше), но учитывающей философские находки не только Огюста Конта, но и других представителей первого позитивизма, и таким образом позволяет отличить точку зрения украинского мыслителя от континентальной (о континентах см. выше).

## ЖЕНЩИНА И МЕДИЦИНА<sup>1</sup>

Fa tutto cio che sta in te per essere  
utite cittadino e per indurre altri ah  
esser tali, e poi lascia che le cose va-  
dano come vanno<sup>2</sup>.

*Silvio Pellico*

Мы до такой степени привыкли к некоторым недостаткам нашего общества, что обычно и не замечаем их. Многие ли из нас обратили внимание на то, что наши женщины отстали в умственном и нравственном развитии от мужчин? Если кому и приходила эта мысль, то весьма немногие останавливались на ней. А между тем, в то время как мужчины, увлекаемые благородным соревнованием, быстро шагали в области прогресса, и каждое новое поколение дарило Отечеству людей, не только выполнивших свое назначение, но и сделавших еще больше, женщины совершенствовались только в вырезании фестончиков и воланчиков, тратили время на изучение кадрилей и полек, терзали свое воображение интригами нелепых романов, со дня на день становясь все большими кокетками, сплетницами и белоручками.

---

<sup>1</sup> Эта статья — первая литературная работа В. В. Лесевича. Она была напечатана в 1858 году в газете «Кавказ», редакция которой снабдила ее следующим примечанием: «Мы очень охотно помещаем эту статью, оживленную дельной и практической мыслью, достойной обратить на себя внимание, но вместе с тем мы также обязаны сказать, что не вполне разделяем с автором его строгий приговор современной женщине. Предоставляем нашим любезным читательницам выбрать себе ответчика из своей среды, и смело поднять перо на защиту прекрасного пола. Мы в особенности открываем столбцы нашей газеты для статей, написанных женской рукой, о таком слишком существенном и серьезном для них вопросе. Справедливость требует, чтобы и они в своем деле имели голос».

Статья была подписана: *В. Викторов*.

*Прим. ред.*

<sup>2</sup> Это все, что есть в тебе, чтобы быть полезным гражданином, а не вызывать других быть такими, а затем пусть все идет, как оно идет. *Перев. Е. В. Клименко.*



Женщины так отстали от нас, что не способны заинтересовать нас серьезно, поэтому, отчасти, так распространились браки по расчету, оттого столь многие теперь женятся на приданом, а не на женщинах. А если и бывают партии не по расчету, то они приходится на долю гувернанток, классных дам и вообще на исключения в женском обществе, погруженном в абсолютную *vis inertiae*. Но женщины говорят, как справедливо замечает г. М. В.<sup>1</sup>, что все поприща им закрыты, что, кроме классной дамы и гувернантки, они никем быть не могут. Боже мой! До чего может довести лень, пустившая глубокие корни. Как силен бывает предрассудок! «Многие женщины, – говорит г. М. В., – чем взяться за труд, скорее решатся взять милостыню, выйти замуж за ненавистного человека, втереться в чужое семейство, терпеть унижение, льстить, лгать, потворствовать слабостям и даже порокам». Как же низко ставят себя женщины, как мало предполагают в себе способностей! А между тем, есть несколько отраслей труда<sup>2</sup>, доступных как тому, так и другому полу. Посвятив себя этим отраслям, женщины вступят на тот же путь развития, что и мужчины, вследствие чего обратятся в полезных членов общества; выйдя из своего вечно зависимого положения, станут самостоятельными. Найдутся, может быть, такие, которые скажут, что в удел женщине дано чувство, а не разум, и что ее назначение быть матерью и женой такое важное, что странно требовать от нее чего-либо более. Но, с одной стороны, чувства не могут достичь полного и правильного развития при застое ума, да и одного чувства для жены и матери недостаточно.

С другой стороны, не всем же удастся выйти замуж, и очень многие вскоре после свадьбы лишаются мужей. Беспреданно встречаем мы непристроенных девиц и расстроенных вдов, лишенных возможности существовать одиноко, потому что без помощи мужчины они не могут сделать ни шагу. Но и мы, мужчины, немало винов-

---

<sup>1</sup> См. в №60 «Экономического указателя» за настоящий год статью г. М. В. «Женский труд».

<sup>2</sup> Их перечисляет г. М. В.: 1) торговля, 2) фабричное дело, 3) сельское хозяйство, 4) литература, 5) поэзия, 6) наука, 7) преподавание, 8) медицина, 9) искусства, 10) сценическое искусство, 11) пение и музыка и 12) ремесла.

ны в этом, мы увлеклись односторонним взглядом на женщин. Мы допустили и даже помогли им остаться в том состоянии, в котором застало их встрепенувшееся теперь общество. Мы приняли на себя все бремя жизни и сделали из женщины существо до крайности слабое, куклу, разряженную и мишурно блестящую. Мы *влюблялись* в женщин, но не *любили* их, потому что не желали им добра, говорили им тысячи глупейших комплиментов, ни разу не сказав правды. Трудились и работали за них, произвели и взлелеяли их леность.

Но справедливые напоминания и требования мужчин начинают появляться. Общество, затронувшее уже столько важных вопросов, вдохнувшее новую жизнь во все отрасли человеческой деятельности, не оставило без внимания самостоятельности женщин и их воспитания. Но женщины еще погружены в сон, особенно у нас на Кавказе: здесь они читают только повести и романы (да и то, переводные, значит – чуждые нашим нравам), от всякого серьезного заглавия бегут, как от чумы, а в газетах интересуются только объявлениями модных лавок. А потому современная реакция им или вовсе неизвестна, или они знают о ней кое-что по слухам. Между тем, на Кавказе женщины более чем где-либо нуждаются в самостоятельности вследствие частых и продолжительных отлучек мужей, братьев и вообще мужчин из семейства, а также по исключительной многочисленности вдов. А какая самостоятельность может быть у женщины пустой, ветреной, проводящей свои дни в безделье или за самой дрянной механической работой? Ничто не мешает ее несозревшим мыслям стремиться всеми, какими ни есть, силами к городским глупым сплетням, толкам, а воображению создавать странные (чтобы не сказать более) планы и воздушные замки на основании непонятных идей Занда или Дюма. И выходит из этого или *ровнехонько ничего*, или вольность, столь далекая от самостоятельности. Ну, так пусть же до поры до времени спят наши физически пухленькие и нравственно худошавые барышни, пусть им грезятся их кринолины со стальными обручами – эти особенного рода власяницы и вериги модного света, тогда как слишком пылкая их фантазия рисует им всю прелесть вновь изобретенных «*jurons-coquilles*». Пусть восхищаются тульями от шляпок, столь наивно принимаемыми за сами шляпки. Пусть делают, что хотят, а мы

без их ведома и спроса позаботимся об их будущем, постараемся вывести из того жалкого положения, в которое они ввергнуты своей недейтельностью и склонностью к тунеядству. Мы уже сказали, что г. М. В. перечисляет 12 отраслей труда, доступных для женщин, но составляющих по настоящее время почти исключительное достояние мужчин. Женщина-поэт, женщина-художник, артист, учитель-воспитатель – как ни редко, все же существуют; значит, остальным женщинам предоставляются живые примеры. Весьма желательно, чтобы эти примеры не остались без влияния, на что, при современном направлении общества, можно надеяться. Но *женщина-медик* будет явлением совершенно новым и отрадным. «Женщина-медик! Да что вы?» – вскрикнет, пожалуй, иной читатель. Сообразна ли с характером женщины эта обязанность, доступна ли ее уму эта наука, не требует ли она в ее душе всякое чувство, не сделает ли она из женщины материалистку, с ее ли силами перенести трудности, сопряженные с обязанностью медика? На это я скажу, что мало есть обязанностей, более сообразных с характером женщины, как обязанности медика. Женщине-медику предстоит являться ангелом-утешителем в поверженном в скорбь семействе, помогать страждущим, видеть восстановление сил опасно больных и сознать это плодом своих забот. Можно распространять вокруг себя радость, пробуждать благодарность в сердцах, заставить любить себя той любовью, какой никогда еще не любили женщину. Это ли не сообразно с ее характером? Доступна ли эта наука ее уму? Мне кажется, что доступна. И если мы видим теперь, что ум женщины в состоянии упадка и слабости, то это произошло от ложного воспитания и условий общественного быта, не давших им уму развиваться до возможных пределов. И я уверен, что распространение медицины (и других серьезных познаний) среди женщин научит их вникать и наблюдать, сообщит им основательность и критический взгляд, почти не встречающийся у наших дам. Они станут разборчивы в идеях, убеждениях и намерениях, как теперь разборчивы в нарядах. Я не думаю также, чтобы медицина убивала чувство, она развивает его. Круг деятельности медика велик и дает ему случай узнать все виды бедности, все роды несчастий, и от любви к семье и близким возвышает его до любви к человечеству. Женщина, посвятившая себя

медицине, войдет в отношения с людьми всех званий и сословий, что познакомит ее с их идеями, даст ей возможность всмотреться в жизнь, какова она в действительности, а не в романах. Это расширит круг ее собственных идей и сообщит им правильность, что, в свою очередь, даст истинное направление и развитие ее чувству, растрчиваемому теперь большей частью напрасно и не способному симпатизировать предметам общечеловеческих интересов. В то же время вид скорби, страдания, смерти отчасти закалит ее душу и уберет тот излишек чувствительности, которым одержима большая часть женщин, который делает из них членов, тяжелых не только в обществе, но и семействе. Пора, наконец, убедиться женщинам, что все эти обмороки, истерики и нервные расстройства делают их то жалкими, то смешными. Что от этих бед они могут избавиться не только разумным воспитанием, но и жизнью, полезной для общества, необходимо предполагающей борьбу, в которой они приобретут и телесные силы, избавляющие от истинных обмороков, и умственные, с помощью которых женщины поймут, что притворно падать в обморок — глупо.

Весьма ошибается тот, кто предполагает, что изучение медицины порождает материализм. Человек верующий, с душой возвышенной, одаренной тонкой чувствительностью, с ученым взглядом, не отуманенным каким-нибудь частным философским воззрением, не станет материалистом из-за изучения медицины. И так как женщине преимущественно свойственны эти качества, то я уверен, что она навсегда останется далекой от материализма. Предполагающий, что теперешняя слабость женщин — их нормальное состояние, очень ошибается. Причина такой слабости заключается в воспитании и образе жизни, а всем известно, что как то, так и другое, очень мало или вовсе не развивает этих сил.

И если мы предположим, что два или три поколения передавали постепенно одно другому слабость, изнеженность и расположение к недеятельности, то перестанем удивляться отвращению женщин к труду. И, может быть, нелегко женщине нынешнего века пробудить в себе давно утраченные силы, возродить терпение, усидчивость, находчивость, решимость — достоинства, необходимые трудящемуся, которых женщины совсем не имеют.

Решив эти вопросы, мы перейдем к ближайшему ознакомлению с новым, *возможным* и полезным членом общества – женщиной-медиком: «Не всем, может быть, известно, сколько претерпевают женщины от своей неуместной, хотя и естественной застенчивости с докторами, и сколько со своей стороны затрудняются доктора, когда вопросы, которые они вынуждены решать, выходят из общих правил, предписываемых приличиями. Это обоюдное затруднение влечет за собою трудность для доктора определить болезнь, а, следовательно, и ее лечение, и потому пациентка становится жертвой своей скромности и соблюдения одних из самых основательных законов светского общения. И как ни печально такое положение, но оно становится еще прискорбнее, когда мы припомним, что женщине предназначено играть важную роль в возрождении человеческого рода. Зачем, спросим мы, тронутые такой несправедливостью, от какого-нибудь легко устранимого недостатка общества, будут терпеть безвинно целые поколения? И отчего женщины, от которых зависит уничтожение этого недостатка, давно не взялись за труд, столь важный и столь достойный благодарности всякого, сочувствующего общему благу? Итак, польза замены дамских докторов женщинами-медиками очевидна. Чего же надо требовать от женщины-медика и чего она, в свою очередь, имеет право требовать? Вот о чем скажем мы теперь несколько слов. Женщине-медику следовало бы, по моему мнению, иметь общее основательное понятие о медицине и специально изучить женские болезни. Желательно было бы также, чтобы и лечение детских болезней перешло к женщинам-медикам. Сама природа назначила женщину хранительницей малолетнего возраста; женщины инстинктивно умеют угадывать потребности и страдания этих немых существ, а потому, мне кажется, ни одному доктору не удастся так скоро и удачно вылечить ребенка, как женщине-медику».

В соответствии с такими познаниями, права женщины-медика должны быть те же, как и у всякого получившего докторский диплом. По ее рецептам должны отпускаться из аптеки лекарства и ей должны предоставляться места в женских учебных заведениях, в женских отделениях больниц, женских монастырях и приютах. Причем следова-

ло бы, конечно, давать им положенное на этих местах жалование и награды. Вот цель, права и карьера женщины-медика. Всякий согласится, что такая женщина была бы достойна величайшего уважения. Общество сумело бы оценить отказ от пустяков ради науки, переход от мелочей к служению общей пользе. И с каким восторгом приветствовали бы женщину, стяжавшую кресты и звезды своими собственными трудами! Женщины-медики заменили бы у нас повивальных бабок, приобретающих большей частью практически свои познания и недостатки сведущих в медицине, чтобы не затрудниться при разнообразных случаях, представляющихся во время родов, и почти не способных помочь больной *до* и *после* них. А потому нередко приходится отсылать бабку и приглашать доктора, а я уже сказал, какие неудобства это влечет. Но не одни только роды требуют медицинской помощи: есть еще множество болезней, припадков и случаев, когда женщина нуждается в советах этой благодетельной науки. А так как большая часть этих случаев неохотно открывается доктору, то и неизбежен ущерб или здоровью, или приличию, особенно у девиц до замужества. На Кавказе, кроме этих причин, есть еще другие, исключительные. Значительная часть населения состоит из мусульман, как известно, ревнивых и подозрительных до крайности. Медицина у них (за исключением лечения ран, нанесенных оружием) находится в жалком состоянии, и если от распространения в городах русских медиков выиграло мужское население этих мест, то положение женщин весьма мало или совсем не улучшилось. Мне рассказывал один доктор в Дербенте, что он чуть не заплатил жизнью за свое желание помочь одной роженице. На следующий день он с ужасом узнал, что бедному ребенку, принявшему поперечное положение, оторвали руку и чуть не по частям вынули из утробы умиравшей матери. А отец, зная все это, грозил доктору кинжалом и не хотел слушать никаких доводов. Нет сомнения, что таких случаев много, и нельзя не согласиться, что женщина-медик – единственное средство избавиться от них. Именно женщина-медик, изучившая свое дело, а не повивальная бабка, которая, начав свое поприще неудачами и охватывая своими недостаточными сведениями только часть женских болезней, не в состоянии

принести всей требуемой от нее пользы, а у татар и доверия никогда приобрести не может. Итак, если обязанности медика сообразны с характером женщины, если они соответствуют ее призванию, развивают ее ум, чувство, силы и принесут всю требуемую пользу как для нее, так и для всего общества, если они возвысят женщин до степени самостоятельных членов общества и послужат инициативой всем другим, еще пребывающим во сне, то остается желать, чтобы мы поскорее узнали об успехах первой женщины-медика. Но, может быть, скажут, что у женщин не было возможности стать медиком, а оттого и упреки наши несправедливы. На это можно отвечать: так как женщины до сих пор не высказывали ни малейшей склонности к серьезным занятиям, а посвящение себя труду являлось у них исключением, а не общим правилом, то поэтому и не читались в женских учебных заведениях специальные науки. Соблюдение формальностей — чтение лекций с кафедры — не привело бы к цели, когда не согласовывалось с общим убеждением и когда женщины еще не были к тому подготовлены. Весьма справедливо замечает М. В.: «Книги есть и для всех доступны; учись и читай». Он говорит, *что есть множество молодых людей, получивших образование самостоятельно с помощью тяжелых лишений и самых скудных средств*. Среди женщин если и есть такие примеры, то они так редки, что едва ли кому известны. Кто же виноват? Окончив эту статью, я невольно задал себе вопрос: «Ну и что выйдет из всего этого?» Отрадные мысли стали приходить мне в голову, и было мне как-то весело. С минуту я надеялся, но Ларошфуко, не знаю в который раз, перепутал все мои мысли: «*L'esprit de la plupart des femmes sert plus á fortifier leur folie que leur raison*»<sup>1</sup>. А я так надеялся на женский ум!..

1858 г.

«Кавказ», №№53 и 54.

---

<sup>1</sup> Reflexions ov sentences et maximes morales. — Paris, 1665. — CCCXL.

## НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

### I.

Собственное движение Солнца и звезд. – Новейшие наблюдения. – Работы Брюссельской обсерватории. – Труды Ложье и д'Арреста. – Наблюдение лорда Росса за туманностями. – Спектральный анализ. – Состав Солнца. – Новые металлы. – Значение спектрального анализа в медицине и гигиене.

Что такое рутина?

Рутину, говорит один французский писатель, – это жалкое исчадие привычки и лени, по милости которой всегда и везде берут верх идеи ложные и застарелые, а рутина выдает их за истинные и живые.

Трудно себе представить, сколько из-за нее существует смешных предрассудков, нелепых суеверий и всевозможной ерунды. Но у рутины «твердокаменная» грудь, ее ничто не колеблет, даже самые жестокие удары очевидности. Целые годы неутомимых усилий и неопровержимых доказательств нужны для того, чтобы чуть-чуть сдвинуть ее с места и направить на новый путь. Напрасно вы, подобно Галилею, топнете ногой и с отчаянием крикнете «*e pur si muove!*» Рутину с видом тупоумнейшей важности ответит вам, что она верила, верит и впредь будет верить, что Земля стоит на месте.

И таким образом во всем: в большом и малом. В настоящее время, во второй половине XIX века, девять десятых так называемой образованной публики остается при четырех стихиях, вычитанных из азбуки, при страхе и ужасе от комет и затмений. И кто знает, сколько времени пройдет, пока луч света проникнет в этот глубокий мрак, в эту «белую Арапию», как называет один из героев последней комедии Островского эту бездну невежества и застоя. Пусть себе работа кипит на Западе, пусть ученые делают великие открытия, пусть прогресс будет не одним только пустым словом... Как же нам бросить свои милые привычки, свои удобные *сложившиеся* понятия и начать *переучиваться*, усваивать новые идеи и взгляды, когда мы



даже для наших дорогих, прекрасных денег еще не успели усвоить *нового* счета на серебро.

После этого, конечно, нельзя и требовать, чтобы научные идеи достаточно быстро проникали в публику и получали в ней право гражданства. Нельзя, например, требовать, чтобы, выучив из географии Арсеньева известную фразу о неподвижности Солнца, стали считать егодвигающимся. Или, выдолбив выражение «неподвижные звезды», отказались от этого понятия... Легко ли? Да и неподвижность все же как-то симпатичнее. Но если эти идеи с трудом проникают в публику и не скоро ею усваиваются, то это может служить тем большим побуждением для всякого, кому противны застой и невежество, — не переставать повторять о науке, деятельности, об общечеловеческих интересах, прогрессе. Всякий, кто сознает себя не спящим, должен, подражая жителям известного острова, посещенного Гулливером, щелкать по носу своего заснувшего ближнего и будить его.

Ну вот, например, я только что сказал о неподвижности Солнца и звезд, о которой случается не только очень часто слышать, но иногда и читать... Об этом-то на первый раз, и о других вопросах впоследствии я намерен говорить без всякой претензии на ученость и с единственным желанием и намерением популяризировать научные сведения и передавать новости о замечательных открытиях и изобретениях на Западе.

Я не знаю, понимают ли все те, которые до сих пор еще веруют в неподвижность звезд и Солнца, что они, выражая это верование, обнаруживают чрезвычайное невежество и на целое столетие отстают от современного состояния науки?

Открытие собственных движений звезд относится к прошлому веку. Галлей (1718) первый подозревал такое движение, а Жак Кассини (1738) несомненно доказал движение одной из них. Впоследствии Товия Мейер гораздо подробнее рассмотрел этот вопрос, изучив 80 звезд.

Наконец, после Уильяма Гершеля, Мессье, Медлера и других этот вопрос считается решенным, и астрономы перешли к определению направления и скорости этих движений.

Солнце, как одна из звезд Млечного пути, по неизбежной аналогии, тоже принадлежит этому закону. И действительно, еще Фонтельне, Бредлей, Т. Мейер и Ламберт довольно ясно выражали свои подозрения о поступательном движении Солнца в пространстве. Уильям Гершель (1788) не только окончательно доказал действительное существование такого движения, но даже определил положение точки на небе, к которой направляется Солнце со всей своей системой. По его мнению, эта точка находилась в созвездии Геркулеса. Конечно, такой результат при тогдашнем состоянии науки был не более чем приблизительным. Он подтвердился лишь впоследствии.

После Гершеля этим вопросом занимались Аргеландер, Лундаль, О. Струве и Галовой, наблюдения которых хотя и имеют между собою незначительные различия, но единогласно подтверждают, что Солнце несется к созвездию Геркулеса со скоростью  $7\frac{1}{2}$  верст каждую секунду, как вычислили В. Струве и Петерс.

Как ни точны приведенные здесь наблюдения, особенно новейших астрономов, но все же их было так мало, что окончательное определение, как направления, так и скорости Солнечной системы, еще впереди. Определения эти основываются на знании собственного движения звезд, изучению которого, несмотря на все утомительные трудности, с ним сопряженные, посвятили себя многие ученые, труды которых достойны глубокого уважения и благодарности, так как не только им, но и их потомству придется воспользоваться ими. Так, Брюссельская обсерватория около четверти века уже занята подобной работой. Г. Эрнест Кетле представил мемуары о собственном движении звезд в Королевскую академию наук. Первый каталог, изданный Брюссельской обсерваторией, описывает около 166 звезд, которые наблюдались в 1837, 1838, 1839 годах. Второй каталог включает в себе наблюдения, сделанные от 1848 до 1856 года. Над третьим каталогом, начатом в 1859 году, работают и теперь. Главная его цель – пересмотр всех звездных движений, достигающих  $1/10$  секунды в год и, кроме того, новые наблюдения над звездами старого каталога, которые не были еще рассмотрены. Для его окончания потребуется еще несколько лет, так трудна и кропотлива эта работа.

Но новейшая наука не останавливается на этом. Она не довольствуется гигантской работой над движением звезд Млечного пути, а чувствует себя в силах взяться за определение движения и направление самой звездной системы, называемой нами Млечным путем, или, вернее, Млечной туманностью. Для этого и ведутся наблюдения над движением туманностей в пространстве. Но прежде, чем скажем несколько слов об этих наблюдениях, вспомним, вместе с читателем, что такое туманность. Представьте себе, что мы унеслись в пространство на такое расстояние, что Солнце не только не показалось бы нам отдельной звездой, но и слилось бы со всеми прочими, и весь Млечный путь с его миллионами звезд представился бы нам в виде беловатого небольшого пятна, для рассмотрения которого потребовались бы уже сильнейшие телескопы. Вот это-то беловатое пятно и называется туманным пятном или туманностью. Такими туманностями наполнено небесное пространство за пределами Млечного пути. Все беловатые пятна, усматриваемые на небе, — целые миры, громадные звездные системы, распадающиеся под телескопами на бесчисленное множество светил. Теперь мы без труда оценим всю важность работ, предпринятых Ложье, занимавшимся определением собственного движения Млечной системы. Ложье мог достигнуть этого составлением точнейшего каталога туманностей. Изменение в положении туманностей, записанных в этом каталоге, сверенное с их положением, определенным последующими и притом весьма позднейшими наблюдениями, поможет определить как их собственное движение, так и движение Млечного пути. Каталог этот, издаваемый Ложье и д'Аррестом, послужил для сравнения в наблюдениях г. Анвера. Этот астроном поместил в №1393 «*Astronomische Nachrichten*» каталог положения 40 туманностей, которые он наблюдал в Кенигсберге в 1860 году и дополнил, таким образом, труд Ложье и д'Арреста. Понятно, впрочем, что время, которое прошло между двумя этими наблюдениями, так невелико, что в положении туманностей не могло быть замечено значительных различий. Кроме того, Дж. Гершель, по известиям «*Космоса*», издал в декабре новый общий каталог 2508 туманностей, согласно прежним и новым наблюдениям. Судя по каталогу, изданному

им в 1833 году и послужившим основанием новому, надо полагать, что этот труд совершенно безупречен. Таковы замечательные наблюдения, выходящие далеко за пределы нашего мира, проникающие в беспредельность пространства, но этим они не ограничиваются. Очевидно, что нельзя было не исследовать, насколько возможно, те предметы, движение которых теперь изучают. И действительно, наблюдения над туманностями достаточно долго занимали астрономов. Прежде большую их часть относили к массам разлитой мировой материи, еще не сконцентрировавшейся в отдельные системы Солнца. Но со времен Гершеля, а особенно после неумолимых наблюдений лорда Росса, эти туманности распались под телескопами на отдельные звезды. О последних наблюдениях мы и намерены сказать несколько слов. Уже около 25 лет прошло с тех пор, как ученый лорд посвятил себя исследованиям туманностей. Именно ему мы обязаны любопытнейшими открытиями по этой части. Он сам устроил огромные отражательные инструменты, величина зеркал которых доходила до 6 футов в поперечнике, а фокусное расстояние – до 56. Последний его телескоп был установлен в 1844 году, как известно, в парке Parsonstown, в Ирландии. Этим-то инструментом лорд Росс разложил те из туманностей, которые до него считались неразложимыми. Открытие спиральной туманности в созвездии Ловчих псов произвело на ученый мир сильное впечатление.

До этого открытия Дж. Гершель изображал эту туманность в виде кольца, разделенного на две ветви. Кольцо это состоит из мировой материи. Кроме того, в стороне от туманности было видно беловатое пятно, которое, как казалось, тоже ей принадлежало.

Заметим при этом, что данная туманность, в таком виде изображенная, весьма приблизительно представляла наш Млечный путь, видимый зрителю, находящемуся на огромном расстоянии по линии, перпендикулярной к плоскости, продольно пересекающей этот весьма сплюснутый шар. Таким образом, наш звездный мир представлялся как бы в зеркале, а верным подобием ему была эта туманность. Но под сильным телескопом лорда Росса это обыкновенное явление преобразилось в нечто такое, что еще никогда не подвергалось наблюде-

ниям астрономов. Вместо кольцеобразной формы была замечена свивающаяся спираль, имеющая около 12 оборотов, между собою различающихся и находящихся друг от друга на разных расстояниях. Что в особенности удивляло – вместо свойственного другим туманностям обыкновенного порядка, дающего постоянное равновесие, замечено самое сложное построение, находящееся в неустойчивом равновесии, управляемом динамическими законами, не применяющимися к подобным явлениям нашей Солнечной системы.

Лорд Росс, как и большая часть астрономов, был уверен, что эта туманность и вообще все спиральные туманности находятся в неустойчивом равновесии и не могут существовать в таком состоянии без особого внутреннего движения. Сколько нужно было веков и тысяч веков, чтобы привести целую массу солнц в такое устройство? Наше исчисление, ограниченное тесными пределами понятий, вытекающих из наблюдения окружающих нас предметов, не может дать об этом никакого понятия. «Transactions philosophiques» за 1862 год содержит мемуары знаменитого лорда, плод семилетних его трудов. К нему приложено семь таблиц, изображающих 43 туманности. Кроме того, он, вместе со своими помощниками Мичелем и двумя Стонеями, изучил 2300 туманностей северного каталога Дж. Гершеля. Многие из них были срисованы, в том числе 15, имеющих спиральную форму. Из всего этого видно, говорит г. Flammarion, что вторая половина XIX века ознаменовывается научными трудами необыкновенной важности. Еще несколько десятков лет – и вопросы, теперь не разрешимые, станут игрушками. Можно ли бояться, что мы идем слишком скоро или слишком далеко? Нет, как пространство, так и наука раздвигают свои пределы по мере того, как сказал Паскаль, как раздвигаются наши неутомимые желания и наше понимание.

«Ум имеет свои вечные права, – говорит Гейне в своих «Reisebilder<sup>1</sup>», – он облетел все страны Земли, взобрался на самые высокие горы, издавая крики восторга и победы. Он припомнил о многих вековых желаниях и сомнениях, принялся размышлять над

---

<sup>1</sup> Heine H. Reisebilder. – Berlin; Weimar: Aufbau-Verl., 1966.

чудесами дня и считать звезды ночи. Мы не знаем числа этих светил, блистающих на небесном своде, мы не проникли в интересные тайны земли и моря. Многие загадки, однако, уже разрешены, мы знаем много, отгадываем еще больше». На самом деле, день ото дня загадки эти, одна за другой, разрешаются, и то, что еще при жизни Гейне можно было только угадывать, мы теперь знаем.

Если бы, например, сказать Лавуазье, что не пройдет и века после его великих открытий, как станут подвергать химическому анализу само Солнце, что этот анализ будет проводиться посредством стеклянной призмы и экрана — быть может, великий гений усомнился бы в возможности такого чуда. И вот теперь, благодаря Бунзену и Кирхгофу, двум знаменитым гейдельбергским ученым, открывшим *спектральный анализ* и положившим начало так называемой *оптохимии*, дело это стало как простым, так и легким. Чтобы сделать ясным это замечательное открытие, опишем способ проведения опытов самого Бунзена, как их передает Парвиль в своих «Causeries scientifiques»<sup>1</sup>.

Бунзен проводит свои опыты в двух комнатах. В первой из них царствует безусловный мрак, только несколько лучей света проходят через щель, устроенную в ставнях. Впереди этой щели установлена стеклянная призма, а перед ней — большой белый экран.

По данному знаку лучи направляются на призму, и тотчас же на экране появляется яркое изображение всех цветов радуги с чрезвычайной ясностью. Начиная снизу, различаются следующие 7 цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Это опыт, часто проводимый физиками, но о котором нам непременно нужно упомянуть, чтобы быть понятными для всех. Цветное изображение известно в науке под названием *солнечного спектра*. Отчего он происходит? Припомним, что луч света сложен и состоит из разноцветных лучей, общее одновременное впечатление которых на сетчатую оболочку производит впечатление белого цвета. Известно, что круг, разрисованный в должной соразмерности всеми радужными цветами, при быстром вращении также кажется белым.

---

<sup>1</sup> Parville de P. Causeries scientifiques. — Paris, 1861.

Если внимательно рассмотреть солнечный спектр, то легко заметить, что он состоит не только из семи цветов радуги. На самом деле они сливаются между собою, так что нельзя определить с точностью линии их раздела. Таким образом составляются многочисленные промежуточные оттенки.

Если спектр рассмотреть еще ближе, то весьма отчетливо обозначится множество черных полос, идущих поперек изображения – сверху донизу. Можно сосчитать 500, 600, 700 и больше полос, в зависимости от мощности зрительной трубы, в которую их будут рассматривать.

Фрауэнгофер, впервые изучивший эти черные полосы, заметил 8 главных, обозначаемых обычно первыми буквами азбуки. Отличить их очень легко.

Эти черные линии спектра обнаруживают, что в солнечном свете нет лучей всех возможных оттенков. Объяснение причины этого явления мы представим тотчас, но прежде нам нужно ознакомиться еще с некоторыми опытами Бунзена.

В другой комнате, освещенной дневным светом, поставлен аппарат, называемый спектроскопом, который мы опишем в нескольких словах.

Этот аппарат состоит из ящика, разделенного поперечной перегородкой на два отделения. В одном из них располагается газовый рожок, в переднем – призма, а за ней зрительная труба, окуляр, который находится над ящиком. Свет от газа достигает призмы через отверстие, проделанное в перегородке и, проходя через призму, распадается. Стоит взглянуть в трубу, чтобы увидеть цветной спектр: сетчатая оболочка служит в этом случае экраном.

Только надо заметить, что спектр, получаемый в настоящем случае, отличается от солнечного спектра тем, что место темных линий занимают светлые цветные полосы. Причину их различий мы объясним ниже, а теперь нам предстоит проследить за интереснейшей и существеннейшей частью опыта. Возьмем несколько крупинок соли и бросим их в огонь аппарата Бунзена. В спектре тотчас же весьма явственно появится желтая линия. Бросим еще несколько кру-

пинок поташа, тогда увидим две новые линии — красную и фиолетовую. И таким образом всякий раз, когда мы будем вводить в огонь частицы нового тела, на спектре будут появляться особые характерные, блестящие линии разных цветов. И так всякое вещество как будто телеграфирует свое название посредством свойственных ему цветных линий. И, следовательно, всякий раз, когда какая-нибудь известная линия появится на спектре, можно будет с совершенной уверенностью утверждать, что соответствующее ей вещество входит в состав испытуемого тела.

Сам Бунзен так привык к этим опытам, что, пользуясь только памятью, мгновенно узнавал по спектру всякое новое постороннее тело, вводимое в огонь.

Если только хотите удостовериться в необыкновенной точности этого способа, возьмите маленькую агатовую ступку и начните толочь в ней поташ: вы тотчас заметите, что характерные линии этого вещества — красная и фиолетовая — покажутся на спектре. Это произошло от того, что при ударах пылинки поташа разлетались в воздухе и попадали в огонь. Из этого видно, что достаточно самой малейшей частицы, пылинки какого-нибудь тела, для обнаружения его присутствия в спектре. Чтобы убедиться в этом окончательно, возьмите  $2\frac{1}{2}$  фунта соли и разделите на миллион частей, а каждую такую часть еще на 3 миллиона. Достаточно будет одной доли последнего деления, чтобы вызвать в спектре черту, характеризующую присутствие натрия, составляющего металлическое основание поваренной соли. Но мы сказали, что спектральный анализ дает средство исследовать состав Солнца и определить, включает ли оно в себе те же элементы, что и Земля. Теперь нам легко будет показать, как это достигается.

Из нашего описания увидят, как все явления во Вселенной связаны между собой, и как от заключения к заключению можно дойти до самых удивительных результатов. Черные линии спектра, остававшиеся до сих пор загадкой для физиков, объясняются теперь с величайшей достоверностью, решая множество труднейших задач. Возьмем описанный нами аппарат Бунзена и приспособим его так, чтобы за лампой было установлено электрическое освещение, которое



можно включать и выключать по желанию. Устроив все таким образом, бросим в огонь крупинку натра и станем наблюдать за спектром.

Мы увидим тогда, что пока электрическое освещение не будет еще заметно, характерная желтая черта натра ясно на нем обозначится, но как только появится электрический свет, тотчас место желтой линии займет темная, почти черная линия. И сколько раз мы будем уничтожать и снова производить искру, каждый раз желтая и черная линии будут взаимно сменяться, до тех пор, пока в огне будет гореть натрий. Когда же он сгорит, ни желтая, ни черная линии больше не появятся. Что следует из этого опыта?

Очевидно, что мы здесь производим в малом размере то, что происходит на Солнце. Ядро этого светила заменяет в нем электрический свет, а светлая его оболочка – газовое пламя в нашем опыте.

Для произведения темной черты необходимо было положить в газовое пламя крупинку натрия, а Солнце, для произведения той же черной линии, должно содержать натрий в своей оболочке. Подобные опыты убедили Бунзена, что на Солнце, кроме натрия, есть калий, железо, магний, хром и никель, а меди и серебра нет.

Таковы громадные последствия спектрального анализа, и если бы только этим ограничивались выводимые из него последствия, то и тогда бы он уже заслуживал названия великого открытия, но эти последствия гораздо обширнее. Мы укажем главнейшие.

Так как малейшей частицы какого-нибудь тела достаточно для обнаружения его присутствия, то очевидно, что спектральный анализ составляет вернейшее средство для открытия новых химических элементов, ускользавших до сих пор от обыкновенного анализа.

Таким образом, испаря минеральную дюркгеймскую воду, Бунзен открыл новый металл – *цезий*, а затем рубидий, что значит «голубой» и «красный» – названия, соответствующие характерным чертам этих металлов. Немного позже английский химик William Crookes открыл *таллий*. По известиям же «Космоса», в конце прошлого года были открыты *индий* Рейхом и Ритгером, и *вазий* – Баром в Стокгольме<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Существование последнего металла оспаривал в Парижской академии Никлес (на заседании 2 ноября).

Весьма ясно также значение спектрального анализа в медицине. Здесь он дает могущественное средство для распознавания отравлений как посредством анализа ядов, так и отравленных трупов.

Вот еще какое, наконец, значение может иметь этот анализ, по замечанию Радо в «Гигиене».

Более двух третей земной поверхности покрыты мельчайшей пылью морской соли, приносимой ветрами. До сих пор ее присутствие не замечалось из-за крайней ничтожности, незаметной даже под микроскопом. Но теперь новое открытие Бунзена обнаруживает эти пылинки, в результате чего возникает вопрос: не имеет ли влияние недостаток или избыток этой пыли на происхождение эпидемических болезней? Быть может, что, производя ежедневные наблюдения над спектром, можно было бы открыть связь усиления и ослабления яркости желтой линии со степенью развития эпидемии. И тогда спектроскопы станут необходимыми не только для ученых, а будут устроены особые спектральные обсерватории. Но оставим предположения и окончим эту статью прекрасными словами одного французского ученого. Напрасно, говорит он, станут измерять глубину науки. Неожиданность здесь встречается на каждом шагу и поражает своими плодотворными последствиями. Всякий новый научный вопрос, кроме своей утилитарной цели, влечет за собой новые взгляды, преисполненные величия и поэзии.

Эта горячая деятельность прогресса производит в эти минуты истинное ослепление, легко объясняемое блеском зрелища и важностью добытых результатов.

## II.

Старый миф о Прометее и Эпиметее. — Как он соотносится с нашим временем. — Телеграфы: аппарат Морзе. — Успехи печатающих и автографических аппаратов с 1839 года. — Изобретение Казелли. — Его выгоды. — Казус с портретом императрицы Евгении. — Импровизация Россини, телеграфированная из Парижа в Марсель. — Мнение французского законодательного корпуса о системе Казелли. —

Применение к ней стенографии. – Аппарат Бонелли. – Его выгоды и недостатки. – Удивительное изобретение г. Рейсса. – Телефон. – Новость sous toute réserve.

Помните ли вы, читатель, чудный миф о Прометее, этот прекраснейший миф во всей истории? Если забыли, то позвольте мне напомнить его вам в двух-трех словах... Человечество находилось в первобытном состоянии, было невежественно, грубо, не знало ни наук, ни искусств. Великий титан Прометей видел будущее человечества и понимал, чего недоставало ему. Он отважился похитить священный огонь у Зевса и передал его людям: он положил начало общезнанию, знаниям, искусствам, наукам, всему умственному движению, которое составляет жизнь и славу человечества. Сам Зевс миродержавный не мог изменить совершившегося и, негодуя на Прометея, повелел приковать его к скале, где ежедневно орел выклевывал его печень, нараставшую потом для новых терзаний. Страдания эти, однако, не сломили героя, и он, гордый своими подвигами, не переставал посылать проклятия жителям Олимпа, пророча им верную гибель.

Поставьте рядом с этим другой миф, об Эпиметее. Этот младший брат Прометея является его противоположностью и представляется виновником бедствий, тяготеющих над человечеством. Напрасно Прометей отговаривал его жениться на Пандоре, напрасно предостерегал его от вскрытия принесенного ею в приданое ящика. Недальновидный Эпиметей делает и то, и другое, поспешно захлопывая крышку ящика только тогда, когда факт совершился: беды и несчастья были выпущены на свет. Хорошо, что ему осталось одно благо – надежда. Сколько прометеев с тех пор благодетельствовали человечеству и гибли! Сколько эпиметеев, наоборот, пакостили этому бедному человечеству, с пренебрежением относились к советам прометеев, наделяя людей благами столь же солидными, как, например, надежда.

Эпиметей видит в настоящую минуту, что Лиссабон может переговариваться с Оменом, а Лондон – с Тифлисом. Они, конечно, видят это, потому что ведь *это факт*. Сила, обращающая железо в магнит и притягивающая другое железо, обратилась в телеграф, и эпиме-

теи не могут не знать этого. Но когда Прометей в виде инженерного капитана представлял лет двадцать назад Французской академии науку *идею* электромагнитного телеграфа, она торжественно объявила, что это вздор, что проект не исполним и годится разве что для какой-нибудь детской игрушки.

И в настоящее время видят ли эпиметей, что приедет в одно прекрасное утро по железным дорогам и что возвестит телеграф?

Нет, они не видят этого, они видят только железную дорогу и телеграф.

Или если какому-нибудь Эпиметею сказать, что его крючковатый почерк можно в точности передать за тысячу верст за несколько минут? Эпиметей отвернется и станет хихикать.

Или, если сказать ему, что даже портрет его глупой рожи можно передать, вместе с его подписью, на какое угодно расстояние?

Эпиметей, опять-таки, будет хихикать.

А между тем, кто взвесит и оценит, чего стоили прометеем эти чудные изобретения?

Уж, конечно, не эпиметей.

Но прежде чем опишем эти в высшей степени замечательные произведения, припомним устройство телеграфного аппарата, действующего ныне почти во всей Европе<sup>1</sup>, для того, чтобы сравнить его с новейшими усовершенствованными механизмами.

Известно, что железо, при прохождении вокруг него электрического тока, становится мягким. Оно остается таким до тех пор, пока ток не прервется, после чего теряет это свойство до следующего воздействия тока. Представьте себе, что вблизи этого железа помещена железная пластинка. Очевидно, что притяжение этой пластинки на более или менее продолжительные сроки будет зависеть от нас. Таким образом, мы получаем возможность, скорым или медленным притягиванием этой пластинки, подавать известные условные знаки.

На практике это свойство магнита применяется следующим образом: в катушку проволоки вкладывается кусок железа, а к пластин-

---

<sup>1</sup> Мы говорим о телеграфном аппарате Морзе, который принят везде, кроме Англии, где употребляется игольчатый телеграф Витстона.

ке прикрепляется железная шпилька, над которой, во время действия телеграфа, часовой механизм тянет бумажную полоску. Когда один конец пластинки притянется к магниту под действием тока, то другой ее конец со шпилькой упрется в полоску бумажки и вдавит на ней точку или линию, смотря по продолжительности действия тока. Итак, мы можем произвести на бумажной полоске ряд линий и точек, разделенных между собой различными промежутками, соответствующими перерывам тока, более или менее кратким.

Из точек и линий составлена азбука (-a, -b, -c и т. д.), на которую и переводятся депеши для передачи.

На одной станции, предположим в Петербурге, сигналист посредством особого механизма пускает и прекращает ток, а на другой, хоть в Москве, получаютс я вдавленные, соответственно действию петербургского сигнала, точки и линии. Вот *вся суть* телеграфа Морзе, остальное – подробности. Переводы телеграмм на условную азбуку Морзе, как видно из этого описания, увеличивают шансы ошибок, особенно в тех случаях, когда телеграфист передает депешу на языке, ему неизвестном, или если в ней много собственных имен и цифр. Для предупреждения этих ошибок принято повторять собственные имена и цифры, находящиеся в телеграмме. Все это, разумеется, вредит скорости телеграфирования.

Аппарат Морзе доставляет в среднем не больше 20 депеш в час<sup>1</sup>. Чтобы достигнуть ста депеш, надо иметь в своем распоряжении 10 аппаратов и 10 сигналистов, по 5 на каждой станции, между которыми должно быть протянуто 5 проволок. Но в больших городах Европы число депеш бывает так велико, что даже такое развитие телеграфа недостаточное, и значительная часть депеш поневоле запаздывает. Таким образом, телеграф не достигает своей цели. Очевидно, что та система, которая при одинаковом числе аппаратов, проволок и сигналистов действовала бы вдвое или втрое быстрее, хотя и не представляла бы других выгод, была бы уже большим шагом вперед и принесла бы громадную пользу. Но последние изобретения,

---

<sup>1</sup> Как здесь, так и далее подразумеваются депеши в 20 слов.

кроме скорости, совмещают в себе и другие выгоды: простоту работы, верность, ясность и удобство контроля, а потому без преувеличения можно сказать, что телеграфы в настоящее время недалеко от совершенства и представляют одно из удивительнейших и замечательнейших изобретений новейшей науки. Но прежде чем опишем эти новые телеграфные системы, сделаем беглый обзор попыткам на этом поприще, предшествовавшим гениальным изобретениям Бонелли и Казелли.

С 1839 года, т. е. тогда, когда электрический телеграф не вошел еще во всеобщее употребление, английский ученый Гумфри Деви предлагал свой печатающий телеграф, но этот первый опыт был еще очень несовершенен: он требовал трех проволочных проводников и был слишком сложен. Позднее Бен в Америке предложил свой аппарат, который, подобно аппарату Морзе, мог только доставлять точки и линии, но не вдавливал их, а чертил на бумаге синей краской. Он был началом множества предложений, более или менее практичных, в Америке и Франции; *печатающие телеграфы* стали быстро совершенствоваться. В 1849 году английский физик Блеквель первым предложил *автографический* телеграф, точно воспроизводящий рукописи и рисунки (*fac simile*).

Наконец, последним в этом ряду предшественников Казелли и Бонелли стоит нью-йоркский профессор физики Гюге, предложивший новую конструкцию *печатающих* телеграфов. Телеграф этот печатает типографическими буквами – способом столь же остроумным, сколь и сложным. Способ этот в настоящее время испытывается во Франции и даже соперничает со способом Казелли<sup>1</sup>.

Вот старая карикатура Шама, – сказал однажды сотрудник «Patrie» Бертю своему другу Бонье:

– Здесь изображен какой-то господин, просящий доставить ему по телеграфу портрет его невесты.

---

<sup>1</sup> Более подробное описание этих телеграфов можно найти в следующих сочинениях: De Parville H. *Causeries scientifiques*. – Paris, 1862. Schellen H. *Der electromagnetische Telegraph*. – Braunschweig, 1867 и du Moncel. *Exposé des applications de l'électricité*. – Paris. 1872. – Tom V.

В то время, когда появилась карикатура, шутка эта была смешна, но ведь то, что было невозможно вчера, становится сегодня обычным делом, и телеграфы в настоящее время могли бы выполнить странное тогда требование господина, осмеянного Шамом.

– Интересно бы взглянуть на эту шутку, – отвечал Бонье.

– Ну, так нарисуйте же мне на этой посеребренной бумаге портреты всех нас, собравшихся здесь, – сказал Берту.

– Через полчаса, – продолжает рассказывать он, – я запечатал в конверт 12 портретов и отослал их в Марсель брату г. Казелли. На следующий день, в 9.00, в рабочей комнате аббата Казелли собрались оригиналы 12 отосланных портретов.

Мы уселись вокруг весьма простого аппарата, на который были положены два листа бумаги, предварительно смоченные в растворе синеродистого калия, и стали ждать действия машины. Не прошло и нескольких минут, как тонкая иголка стала бегать туда-сюда по бумаге, едва до нее дотрагиваясь. А вслед затем на бумаге стали показываться портреты, нарисованные накануне. Они развивались постепенно или, вернее, как бы выходили из бумаги тонкими слоями, причем черты имели прекрасный голубой цвет.

Когда портреты были окончены, положили новую бумагу, и на ней явились опять те же портреты.

– Господа, – сказал аббат Казелли, – дело очень простое. В Марселе, на аппарат, подобный тому, который вы здесь видите, были положены портреты, нарисованные обыкновенными чернилами. Платиновая игла этого аппарата движется по их поверхности точно так же, как здесь движется эта железная иголка. Концы обеих иголок соприкасаются на обоих краях линии в Марселе и Париже с телеграфными проволоками. Каждый раз, когда платиновая игла в Марселе встречает чернильные черты рисунка, в соединительной проволоке развивается *положительный* ток, наэлектризовывающий железную иголку, находящуюся здесь, и производящий химическую реакцию, которая обнаруживается голубыми черточками. Они состоят из синеродистого железа, произведенного разложением синеродистого калия, содержащегося в *приемном* листе бумаги.

А когда та же самая платиновая игла встречает посеребренную поверхность бумаги, покрытую чернилами, возникает *отрицательный ток*, препятствующий вышеописанному химическому процессу, и бумага остается чистой. Таким образом, прежняя упомянутая работа сигналистов заменяется легким надзором за аппаратом. Кроме того, посеребренные листы бумаги можно снабдить штемпелем телеграфного управления и пустить в продажу. Всякий, заплатив за такой лист цену одной депеши, может дома написать на нем все, что ему угодно, будучи уверен, что факсимиле с его рукописи дойдет по назначению. Ошибки перестают существовать; администрация избавляется от прежней ответственности. Кроме того, можно писать на каких угодно языках, посылать рисунки, карты, планы, таблицы, коммерческие счета. И, если нужно, отправить куда следует портрет преступника, не попавшего еще в руки правосудия.

– А сколько можно переслать депеш в час?

– От 30 до 35. Но когда наймут рабочих и сделают некоторые усовершенствования, он станет еще практичнее. Надо надеяться, что тогда это число увеличится еще на целую треть.

21 августа 1862 года аппарат Казелли принимал в Париже портрет императрицы Евгении, посланный из Лиона. В Париже погода была самая тихая, но где-то в Бурбонне разразилась сильная гроза, и вдруг на лбу этой прекрасной особы ясно обозначились знаками Морзе следующие слова: «Я жду с величайшим нетерпением твоего...»

Казус этот произошел от того, что проволока, соединявшая два аппарата Морзе, находясь вблизи к той, которая соединяла аппараты Казелли, была приведена сильным порывом ветра в соприкосновение с этой последней, отчего сюда и попали несколько слов той депеши, которая тогда передавалась. Для тех, кто знаком с устройством телеграфов, добавим, что на аппарате Казелли, для усиления действия тока, установлено *реле*, подобное тому, какое существует у Морзе.

Около трех лет назад появилось первое известие о телеграфе Казелли. Тогда все газеты говорили об этом удивительном изобретении и передавали любопытное известие об импровизации Россини, сыгранной в Марселе через несколько минут после того, как она была



написана в Париже. Но так как не было ни подтверждений, ни новых известий об этом открытии, то многие смотрели на него, как на научную фантазию или журнальную утку.

Но с тех пор система Казелли, называемая иными *пантелеграфией* (всеобщей телеграфией), другими – казеллографией, усовершенствовалась до такой степени, что о ней заговорили не только в ученом кругу, не только на публике, но даже во французском законодательном корпусе и сенате. Оба эти *многоголосные* учреждения успели вотировать закон о пантелеграфии.

Вот как относился докладчик по этому вопросу д-р Конно к изобретению Казелли:

– Выгоды системы Казелли не заключаются в одной только верности передачи телеграммы. Система эта, кроме того, бережет время, работает быстрее и лучше. Она позволяет получать депешу вдвойне, если к ней будет применена еще одна добавочная игла, что очень важно для контроля.

Перечислив все выгоды, на которые мы уже указывали, Конно добавляет:

– Во время грозы, когда атмосферное электричество, препятствуя правильности тока, перепутывало передачу телеграмм по всем другим линиям, линия Казелли не переставала действовать правильно и точно. Изобретение аббата Казелли – громадный прогресс в области электрических телеграфов. Мы поздравляем правительство с проведением над этим изобретением испытаний в большом масштабе.

Ко всему этому можно добавить, что если депеши, передаваемые по телеграфу Казелли, будут стенографированы, что дает возможность поместить в четыре раза больше содержания на одном и том же листке бумаги, то скорость передачи по этому телеграфу будет исключительная. И на самом деле, тогда можно будет передать 2400 слов в час!

Другое замечательнейшее из новейших открытий относится к *печатающим* телеграфам и принадлежит г. Бонелли. Оно принято в Англии и имеет там большой успех.

В чем же основной принцип *типотелеграфа* Бонелли? Представим себе телеграфную проволоку, примыкающую на каждой из двух станций к платиновому острию. Под острием, представляющим положительный полюс батареи, будем проводить полоску бумаги, пропитанную в растворе азотнокислого марганца и лежащую на железной, посеребренной линейке, сообщаемой с землей. Под другим острием, соответствующим отрицательному полюсу, проводится депеша, набранная обычными типографскими буквами и также сообщаемая с землей. Когда это последнее острие встречает выпуклость буквы, ток проходит и разлагает азотнокислый марганец приемной бумаги на второй станции. Таким образом, получаются коричневые знаки, прекращающиеся тогда, когда первое острие проходит по пустым промежуткам между буквами или их частями.

Но, очевидно, что эта последовательность коричневых знаков и белых промежутков недостаточна для обозначения формы буквы. Поэтому в телеграфном аппарате Бонелли устроено несколько платиновых игл, стоящих одна от другой на самом незначительном расстоянии, так что образуется нечто вроде гребеночки с пятью зубьями, которую и проводят вдоль по набранной строке букв. Если этой гребеночкой провести не по буквам, а по совершенно ровной поверхности, то на бумаге второй станции получится пять параллельных линеек, подобно линейкам нотной бумаги. Но в аппарате Бонелли гребеночка движется по ряду букв. Ясно, что эти линейки будут местами прерываться, и эти перерывы будут соответствовать форме набранных букв, а так как линейки расположены густо, то буквы выходят совершенно отчетливо и читаются так же легко, как и печатные.

Мы не станем описывать подробностей устройства аппарата Бонелли, читатель может сам догадаться, что этот аппарат крайне прост. Скажем только, что проведение гребеночкой по буквам достигается посредством движения вагончика по маленьким рельсам, расположенным на столе, к которому прикреплена гребеночка. Дело так практично, что за 12 секунд получается и передается одна депеша. Из этого видно, что скорость работы этого аппарата превосходит скорость аппарата Морзе в три раза. Кроме того, работа несравненно легче, и от ра-

ботников не требуется такого искусства, как от сигналистов, передающих телеграммы по нынешней системе. И, наконец, повторение слов делается излишним, телеграмма получается сразу, без ошибок.

Главные недостатки этой системы заключаются в том, что она требует пяти проволок и что устранение соприкосновений между ними может оказаться на практике затруднительным. Бонелли отвечает на эти замечания тем, что свое предложение он делает только для больших линий, на которых и без того 5 проволок, а так как с его аппаратом эти проволоки дадут большие результаты, то, следовательно, польза их несомненна. Что же касается второго замечания, то и оно не особенно важно, так как соприкосновение проволок мешает только отчасти ясности телеграммы и не путает ее знаки, как у Морзе. Притом же это неудобство можно устранить, проложив проводники под землей.

Все здесь решит опыт, а пока решение его весьма удовлетворительно. С некоторого времени типотелеграф Бонелли действует между Ливерпулем и Манчестером, и испытания его между Парижем и Булонью успешны. Вначале предложение Бонелли не имело успеха, ему не доверяли, но когда ему удалось провести свои опыты перед Палатой лордов, противоречия прекратились, и его системы были приняты в Англии. Перейдем теперь к открытию, превосходящему своей необычностью все, что до сих пор было изобретено, что, как говорят, и во сне никому не снилось, что поневоле кажется уткой... Но ведь и телеграф Казелли был когда-то уткой!.. «Наука, — говорит де Парвиль, — ежедневно осуществляет волшебные сказки доброго, старого времени».

Пропеть в Париже так, чтобы было слышно в Москве... Не чудо ли это? Морзе писал, не взирая на пространство, Бонелли печатает, о нем не справляясь, Казелли чертит и рисует, забывая о нем. Что же, если на самом деле Рейсс уничтожает пространство для живого слова?! Пожалуй, что чуда никакого и не окажется: новое открытие так же просто, как и все остальные.

«Многочисленная публика была собрана в большом физическом амфитеатре во Франкфурте. В ста метрах от этого амфитеатра

г. Рейсс, профессор физики в Фридрихсдорфе, поместил свой аппарат в одной зале, окна и двери которой были плотно закрыты. Вдруг публика, собравшаяся в амфитеатре, услышала приятный голос, исходящий как бы с потолка, затем прелестная мелодия наполнила залу, к великому удивлению присутствующих. Точно невидимые эльфы и гномы носились по воздуху... Эффект был поразительный». Дело в том, что г. Рейсс попросил одного франкфуртского артиста спеть, стоя за его аппаратом. В нескольких шагах от залы, где он пел, ничего не было слышно, в амфитеатре же, на расстоянии ста метров, звуки были совершенно явственными. Если бы амфитеатр был еще дальше, результат был бы тот же самый, потому что Рейсс пользуется электричеством, которое, как известно, действует на больших расстояниях. Итак, вот новый телеграф – акустический, или, как его окрестили, телефон. Остается теперь объяснить, хоть кратко, каким образом искусный физик достигает этого удивительного результата.

В зале, где проводился опыт, помещается деревянный пустой ящик кубической формы, в одной стороне которого проделано большое отверстие, а в другой – маленькое, закрытое тонкой, сильно натянутой пленой. С другой стороны ящика приспособляется платиновая пластинка таким образом, чтобы она упиралась в середину пленки. Другая пластинка из того же металла прикреплена так, что едва касается первой. Наконец, обе они соединены с противоположными полюсами гальванической цепи. Известно, что звук происходит от переменного сгущения и разрежения воздуха. Если перед широким отверстием ящика будет произведен звук, то волнообразное движение воздуха, им произведенное, заставит пленку прийти в колебательное движение. Она, повинаясь своему двигателю – звуку, будет двигаться назад и вперед, то соединяя, то разъединяя платиновые пластинки, что, в свою очередь, будет то пропускать ток, то препятствовать его прохождению. Итак, движения пленки будут вполне соответствовать звукам и будут тем сильнее, чем звуки эти выше, и наоборот. Так устроен собиратель звука. Рассмотрим теперь, как устроен его приемник.

Электрический ток проходит из залы в амфитеатр. Здесь Рейсс устраивает, на положенном расстоянии от слушателей, спираль из

медной проволоки, окружающей стальную вязальную иглу, упирающуюся в барабан. Игла при прохождении тока издает звук и передает окружающей среде воздуха то волнообразное движение, которое было произведено голосом певца в зале. «Но, не пускаясь в дальнейшие объяснения, – заканчивает де Парвиль, – положительно то, что факт существовал, и этого довольно». Хотя, по нашему мнению, этого мало. Так как этот факт, единственный в своем роде (притом он мог еще и не быть), а нам нужна ясная и отчетливая идея о нем для возможности проверки, но мы передаем его за новость вероятную и много обещающую в будущем, так как принцип ее чисто научный. Притом считаем нужным сказать, что, не встречая нигде подтверждений, мы передаем это известие, как говорят французы, «sous toute réserve».

1864 г.

«Русь», №№14, 16 и 17.

## ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ

*Arthur Mangin. Voyage scientifique autour de ma chambre.*

Араго, знаменитый автор «Общепонятной астрономии»<sup>1</sup>, доказывал однажды в кругу своих друзей, что популяризация науки, обработка ее на такой лад, чтобы она стала приятной и доступной всякому, — одно из самых высоких назначений нашего века.

— Притом же, — добавлял он, — это дело самое легкое.

— Высокое назначение, правда, — сказал ему кто-то из присутствовавших, — но легкое... едва ли? Я думаю, напротив, что оно самое трудное.

— Как так? — спросил Араго с живостью.

— Чтобы передавать науку, надо самому быть ученым; чтобы заставить любить ее, надо обладать живостью ума и остроумием. Но что может быть реже остроумного ученого? С другой стороны, люди живого, острого ума обыкновенно не учены. Ученый по природе тяжел и скучен; остроумный человек страдает поверхностностью, невежеством. Один пугает своей наукой и заставляет от нее бежать, другой распространяет ложь и заблуждения...

— Вся штука в том, как взяться за дело, — заметил Араго. — Пусть ученые изберут себе органами бойких писателей и людей красноречивых, а эти последние пусть идут за советами к ученым, таким образом, задача будет разрешена. Это ничуть не сложнее, чем сноровка Полишинеля, которую заимствовал Нодье у маленьких театров Елисейских полей. Известна ли вам эта забавная история? Нодье имел страсть к Полишинелю (наш Петрушка), и ему очень хотелось передать его гнусавый голос. Вот подходит он раз к ширмочкам, за которыми, как известно, играется эта комедия под открытым небом, и спрашивает у хозяина:

— Как это вы ухитряетесь говорить в нос?

— Ничего не может быть проще, — отвечает он, — все дело в сноровке.

---

<sup>1</sup> Араго Д. Общепонятная астрономия. — М., 1861.

– Да, понимаю, привычка. А долго ли надо упражняться?

– Нет, сударь, сноровка... вот вам и все.

– Что же это за сноровка?

– А вот этот маленький инструментик, – и уличный артист вынул изо рта нечто вроде маленького металлического колечка. Нодье попробовал и заговорил, как Полишинель.

– Берегитесь, – закричал ему артист, – не проглотите этой штучки, это иногда случается.

– Что? И эту самую вам уже случалось глотать?

– Три раза в течение вчерашнего и сегодняшнего дня.

Нодье выплюнул «сноровку» с ужасом и бегом домой. Дорогой, однако, он купил себе новую сноровку, которой пользовался только сам и глотал, сколько ему было угодно.

– Хотите ли, – добавил Араго, – чтобы я снабдил вас своей «сноровкой?» С ее помощью вы заставите любить и понимать науку людей самых глупых и пустых. Моя «сноровка» – чисто нравственная. Во время моих чтений я с первой лекции выбираю среди слушателей самую глупую, бессмысленную физиономию. Ее я не выпускаю из виду до конца курса. К этой-то физиономии я обращаюсь с самыми трудными и сложными доказательствами. Я до тех пор повторяю и возобновляю мои доводы, пока физиономия как бы осветится, как бы скажет мне: «Я понял». И когда дурак меня понял, тогда я уверен, что все меня поняли. Вот способ, которым я свел науку до уровня толпы. Вот моя «сноровка». Ею вполне обладает г. Артур Манжен – автор выписанной нами в заголовке книги. Простота его изложения такова, что тому, для кого они покажутся все-таки неудовлетворительными, мы даем добрый совет не браться за научные сочинения, а довольствоваться Бовой-Королевичем. Если уж очень хочется читать, – то романами московской страпни и т. п. Манжен придерживается того мнения, «что значительная энциклопедия может поместиться на четырехстах страницах хорошо написанной книги точно так же, как весь мир может содержаться на семи квадратных аршинах комнаты мыслящего человека».

Верность этого мнения он доказывает своей книгой, в которой, обозревая свое жилище, он по поводу термометра, камина, сигары, чашки кофе, т. е. вообще предметов, входящих в обиход каждого европейца, знакомит читателей с законами физики, ботаники, технологии, гигиены и т. д. Ряд интереснейших фактов, рассказанных бойким, живым, легким языком, если и не знакомит читателя с науками, к которым эти факты относятся, то, по крайней мере, прививает вкус к ним, заманивает его и доказывает как дважды два четыре, что наука не только не скучна, как еще до сих пор думают иные, но способна, напротив, быть источником самого живого и чистого удовольствия. В первой главе своей книги автор затрагивает чрезвычайно важный вопрос, так недавно еще истерзанный «Московскими ведомостями», об отличиях реального образования от классического. Манжен стоит, конечно, за реальное образование, но и классическое, по его понятию, имеет свою цену и значение. Пренебрегать им, во всяком случае, нельзя. Не надо забывать, впрочем, что классическое классическому рознь. Если мы под классическим образованием будем понимать проповедование допотопных идей, соединенное с зубрением латыни, то такое образование, конечно, никуда не годится. Другое дело, если образование это основано на новейших исследованиях и ставит своей целью верное понимание прошедшего. Тогда оно получает совсем иной характер и дает совсем иные результаты. Остается заметить только, что вопрос, поставленный таким образом, опять приводит к реальным знаниям, без которых верное понимание прошедшего немислимо. Это новое подтверждение второстепенного значения классических знаний и признание их настоящей роли.

К Манжену приходит молодой человек, которому совершенно чуждо естествознание и который питает к нему даже отвращение, считая изучение природы делом сухим и бесплодным.

– Глядя на вас, – говорит ему Манжен, – представляешь себе ребенка, который уверяет, что терпеть не может того или другого кушанья, хотя не пробовал его. Если наука представляется вам бесплодной, если она вас пугает, то потому только, что вы знакомы с нею по школьным учебникам, напичканным сухими доказательствами, ис-



пешренными цифрами и формулами, которые заслонили от вас величественный, могу сказать даже, поэтический характер этих наук. Вы, однако, не можете отрицать их обширной пользы, вы не сомневаетесь, что они со дня на день все больше и больше проникают даже в мелочи общественной и частной жизни, служа источником счастливейших изобретений и всего материального прогресса, которым вы окружены. Но эти видимые, осязаемые их достоинства, заставляющие вас питать к ним уважение, недостаточны для того, чтобы вы их полюбили. Вы даже не прочь, пожалуй, поставить им в вину слишком положительное направление, преобладающее у многих и несправедливо приписываемое их влиянию. Вы не знаете, что эти науки представляют истинную поэму природы, законы и тайны которой они нам раскрывают; что, далеко не иссушая сердца, они заставляют его биться для правды и добра; что они чудесный талисман человеческого могущества, и что каждый их шаг обозначен новой победой свободного гения человечества над слепыми силами, которым повинуетя вещество.

Можно надеяться, конечно, что человек, так понимающий естествознание и живо любящий природу, сумеет написать хорошую книгу, несмотря на ее тесные рамки. На самом деле, все наблюдения, весь горизонт ограничены его комнатой, по которой он на протяжении одного дня путешествует вместе с молодым человеком, согласившимся познакомиться таким способом с естественными науками. И вот они принялись «странствовать» по этой маленькой области, останавливаясь перед замечательнейшими предметами, ее наполняющими. Это не пустое «путешествие по комнате», предпринимаемое 60 лет назад графом де Местром для развлечения. Де Местр ходил по своей комнате и болтал, о чем попало, нес вздор, ему не было никакого дела до системы мира и метаморфоз материй. Совсем не то у Манжена, книга которого с брошюровкой де Местра имеет общее только заглавие. Манжен хочет стянуть, сконцентрировать весь мир в своей комнате и отыскать в ней все, что входит в сферу науки. Это обстоятельство придает его путешествию такой интерес, какого часто не имеют многие отдаленные поездки. Странствуя вместе с Манженом, вы не по дням, а бу-

квально по часам обогащаетесь новыми познаниями, избавляетесь от старых предрассудков и делаете у себя под носом такие открытия, каких бы, наверное, не сделали, десять раз съездив не только к себе в деревню, но и за границу. Итак, не смейтесь, читатель, над мыслью путешествовать по комнате.

– Чтобы путешествовать с пользой, – говорит он, – не надо много ездить, следует хорошо рассмотреть то, что достойно внимания. Истинно добрый совет для наших туристов, которые чуть только переедут за пределы России, как тотчас обращаются в «бегунов». Известно, что раскольничья секта бегунов предписывает бежать и бежать. Оставаться на одном месте запрещается. Вот так и наши туристы: бегут, бегут... И когда возвратятся, в голове у них «хаос-кавардак», поэтому вы беспрестанно слышите от них такие выражения, как «какой-то город», «картина какого-то художника» и т. д. Уж лучше бы им остаться дома и подражать Манжену.

А Манжен все пересмотрел в своей комнате и о каждой вещи рассказал столько любопытного, что, читая его описания, нельзя оторваться от книги.

Сидя у камина, он рассказал теорию теплоты и объяснил, что такое огонь. Странствуя далее, он повествует о составе воздуха, дает основные понятия о химии и знакомит с Лавуазье. Переходя к цветам, он касается ботаники и помещает здесь два рассказа: один о Жюсье, несшем через весь Париж в своей шляпе маленький отросток ливанского кедра, другой о Декли, перевозившем кустик кофейного дерева на Антильские острова и делившим с ним свою дневную порцию воды, которая отпускалась весьма малыми дозами. Оба эти рассказа так прелестны, что мы очень сожалеем о невозможности передать их полностью. Затем автор говорит о табаке, его приготовлении, изучает вопрос о влиянии табака на организм. Потом переходит к термометру, заспиртованной змее, чучелу птицы, и, по поводу всех этих вещей, без усталости притягивает внимание читателя к своему интересному рассказу.

Далее автор переходит к птицам и энергично упрекает грубое невежество, не умеющее отличать вредных птиц от полезных. Извест-

но, что и у нас охотники и разные любители пострелять бьют зря, что ни попало. А между тем, большая часть птиц приносит огромную пользу человеку, истребляя насекомых. Птиц даже мало для этой работы, и во Франции специально воспитывают и продают для этих целей жаб, которых недавно также неистово истребляли.

– Откровенно говорю, – продолжает Манжен, – не совсем-то приятно быть вынужденным держать у себя таких отвратительных жильцов и населять ими свой сад, но это заслуженный, хотя и запоздалый урок для человека. Он бы избавил себя от него, если бы пощадил своих естественных союзников, которые, охраняя его поля, огороды и сады, оживляют их своим щебетаньем, грацией и живостью. Правосудие, человечность, интерес побуждали уважать бедных птичек, но у человека есть инстинкт, который преодолевает такие соображения. Перед ним ни красота, ни грация, ни кротость не находят пощады: это хищный инстинкт истребления, удовольствие убивать. И когда к этому инстинкту, самому по себе столь уже сильному, присоединяется суетное хвастовство своей ловкостью, наслаждение достигает полноты, и прелесть убийства становится непреодолимой. Страсть охотника можно сравнить разве что со страстью игрока. Как игрок живет только у зеленого стола, так точно охотник забывает все: привязанности, долг, работу, лишь бы только бегать с ружьем и собаками по лесам и болотам. Он скучает во время невольного бездействия, накладываемого на него законами и административными распоряжениями. Он пробуждается, вознаграждается лишь с началом охоты. С каким удовольствием он покидает дела, семью, друзей и устремляется в погоню за своими жертвами! С какой гордостью он каждый вечер, покрытый грязью или пылью, усталый, умирающий с голоду, возвращается домой, опорожняет всю свою суму и рассказывает о подвигах дня!.. Убивать так приятно!.. Потому что, заметьте себе, охотник никогда не убивает для того, чтобы добыть дичи. Он даже не оправдывает себя желанием полакомиться, еще менее — нуждой. Нет, он убивает для того, чтобы убивать; это искусство для искусства... Это

доказывает, в какой степени был справедлив тезис, с таким красноречием развитый Жан-Жаком Руссо: «Человек по природе добр!»

Раздел, посвященный птицам, вышел у Манжена одним из самых интереснейших; видно, что автор очень любит этих милых животных, быт которых ему хорошо известен. Читатель, мало знакомый с орнитологией, встретит здесь кучу таких любопытных описаний, что можно с уверенностью пророчить ему серьезный переворот в идеях об этом предмете. Прочитав Манжена, он уже иначе, чем прежде, отнесется к царству пернатых и науке, ими занимающейся. Захочет, пожалуй, почитать Мишле (L'oiseau), книга которого здесь же рекомендуется, и еще что-нибудь... Ну, в добрый час, этого только и хочется всем *манженам* на свете.

В XII главе автор рассказывает о жемчуге и его добывании, сопряженном, как известно, с чрезвычайными опасностями.

«Прекрасные барышни, – говорит он, – наряжающиеся с такой радостью и гордостью, знают только, что он дорого стоит. Но им неизвестно, что за самое скромное из этих украшений, быть может, поплатился жизнью не один из несчастных, пускающихся на этот промысел только потому, что им есть нечего. И не говорите мне, что дамы перестали бы носить жемчуг, если бы они это знали. Заблуждение, чистое заблуждение! Узнав это, дамы так ухватились бы за жемчуг, что цена его утроилась бы или учетверилась. И вот почему. Страсть женщин к нарядам состоит из двух различных между собою элементов: первый заключается в желании нравиться, а потому они ищут то, что красиво и изящно, что способно возвышать их собственные прелести. Второй элемент – это тщеславие, суетность, заставляющие их придавать цену только тому, что считается редкостью, что привозится издалека, что стоило больших денег, трудов, даже опасностей. Значит, у меня есть основание сказать, что дамы будут польщены, когда получат возможность сказать, что почти каждое зерно их жемчуга представляет собою жизнь человека».

Затем автор рассказывает о производстве искусственного жемчуга в Китае и фальшивого в Риме и Венеции. Потом переходит в область минералогии, говорит о горном хрустале, графите, бриллиантах

и прочем. Затронув вопрос о значении углерода в природе, принимается за физиологию — объясняет процесс дыхания, кровообращения и причины теплоты тела животных. В XIV главе он толкует о сухости и влажности воздуха, об измерении степени сырости, о гигрометрах. Затем о барометре и его широком употреблении: Галилей, Торричелли, Паскаль проходят перед читателем с их чудными открытиями и изобретениями. Обо всем понемногу, но желание знать проснулось: более пространное изложение найдется в других книгах — читайте же, читайте. В следующих трех главах автор знакомит нас с производством белого оружия, в особенности с замечательными мастерскими в Толедо, потом переходит к огнестрельному оружию и, основываясь на последних открытиях, решает вопрос об изобретении пороха, которое, как известно, ошибочно приписывается Бертольду Шварцу. Далее следует рассказ о серных спичках, фосфоре, кофе и, по поводу кофейника, о паре, изобретении паровой машины, знаменитом Джемсе Уатте.

Особенно интересен рассказ Манжена о применении пара к мореплаванию. Здесь ему приходится разрушить старую басню об отношении Наполеона I к Франклину, основав на верных данных повествование. Надо заметить, что данный вопрос известен автору весьма близко, так как до издания своей последней книги он специально изучил его и написал два трактата, в которых ему удалось восстановить истину. Мы, к сожалению, не можем передать этого места из сочинения Манжена, так как оно слишком удлинило бы статью, но советуем обратить на него особое внимание, так как этот вопрос многими рассматривается превратно. В последних главах Манжен говорит об электричестве, телеграфах, не забывает и об астрономии, о которой дает общее понятие, заканчивает свою книгу просьбой не впадать в пошлость, филистерство...

«Чтобы избавиться от этого зла, — говорит он, — не переставайте возвращаться к природе — неиссякаемому источнику творчества, но к природе, серьезно изучаемой и добросовестно вопрошаемой. То есть, к науке, которая никогда не старится и не истощается, которая беспрестанно изобретает, открывает, преобразовывает, распространяет

свет на всякую вещь, исправляет заблуждение, искореняет предрассудки и направляет человеческий ум на единственный путь, которого он достоин, — на путь к истине!»

Итак, мы положительно хвалим книгу Манжена и искренно советуем каждому, мало знакомому с естественными науками, прочесть ее, в особенности молодым людям и дамам, для которых она преимущественно и написана. Но из этого еще не следует, что мы не видели в этой книге недостатков. Мы очень жалеем, например, что автор, при его умении популяризировать науку, ограничился 400 страницами крупной печати и, не взирая на это, потратил еще страниц 50 на пустую, бесцельную болтовню, встретить которую среди серьезного содержания книги как-то странно. Поэтому сведения, даваемые автором, вышли отрывочными, более раздражающими любознательность, чем удовлетворяющими ее. Это должно было побудить автора налечь на библиографию каждой из затрагиваемых им наук, но он упустил это из виду, и читатель, расшевеленный его рассказом, не знает, за что взяться, если не имеет другого руководителя. Есть еще и другие мелкие промахи, не портящие, однако, книгу, которая вполне достойна назваться дельной и полезной.

1864 г.

«Русск. бог.», еженед. газета

## ДРЕВНЯЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

*(По М. Никола)*

### I.

#### Неверие и религиозная реакция

Почти за столетие до начала христианской веры, языческая религия, давно уже опровергаемая философией, потеряла все свое обаяние и была, по-видимому, на краю гибели. Большая часть лиц, своим образованием и положением поставленная над толпой, считала высшим безумием<sup>1</sup> веру в богов, которым предание придало все человеческие страсти и которые только в том и имели превосходство над смертными, что их безнравственность была более яркой. Космологические объяснения стоиков, старавшихся сообщить религии символический характер, ни к чему не привели, а сделали ее только смешной. Между просвещенными людьми было принято, что языческие верования и церемонии были изобретением политики; Еврипид провозглашал это мнение устами Сизифа, и с тех пор оно стало всеобщим. Упадок веры в оракулов замкнул уста прорицателей: пифия была нема. Немногие защитники древних верований объясняли это молчание тем, что сила, ее вдохновлявшая и заключающаяся в испарении Земли, со временем исчезла. Но это пустое объяснение вызывало только смех. По мнению Цицерона, эта сила пропала с тех пор, как люди стали не так доверчивы. Философия решительно торжествовала. Выставляя ребячество языческих преданий, она провозглашала, что древность ошибалась во многом, что древние верования были разумно преобразованы временем и образованием. Между просвещенными людьми неверие было всеобщим — факт, не подлежащий сомнению. Но в каком отношении к языческим верованиям находился народ? Если бы патриции были в состоянии по своему произволу управлять

---

<sup>1</sup> Cicéron. De la nature des dieux. — Paris, 1935. — Liv. 1, §16.

умами, они, конечно же, не дали бы идеям, которые они считали принадлежностью философских умов, проникнуть в массы. Варрон, Цицерон, Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский, Диодор Сицилийский утверждали, что благо государства обязывало сохранить все языческие обычаи, которые, по их мнению, не имели никакого значения, а служили прекрасным средством для политических целей. Поэтому все, кто участвовал в управлении общественными делами, считали своей обязанностью поддерживать их в народе. Так, например, Цицерон тщательно скрывает свои убеждения, но уже поздно. Народ не хуже патрициев смеется над тем, что эти последние называют верованием невежд. Да как могло быть иначе? Плебеи не нуждались в уроках философии, чтобы научиться презрению к политеизму своих предков. Неверие проповедовалось открыто — словом и делом. Заседания сената не были столь тайными, чтобы до народного слуха не доходили насмешки над авгурами, которые там допускались. Наконец, с форума он слышал от самого Цицерона, не говоря о других менее осмотрительных ораторах, такие речи, которые неизбежно должны были поколебать его веру. Но что значило все это по сравнению с учениями, публично проповедовавшимися как положительный результат философии? Амафиний, Рабирий и Каций наводнили Италию общепонятными сочинениями, посвященными изложению учения Эпикура. Лукреций воспел его в своей известной поэме — «О природе богов»<sup>1</sup>. По словам Цицерона, она имела необыкновенный успех. Следует ли добавить к этому, что неверие патрициев обнаруживалось во всей их жизни? Презрение к богам, выражавшееся продажей, сожжением и разграблением храмов, изгнанием жрецов, убийствами, совершаемыми перед изображениями богов, — все это было верным средством для уничтожения народных верований. Если патриции хотели отличаться от народа ученой критикой верований, которые они осмеивали, считая их, впрочем, полезными для своего владычества, если они иногда не предполагали возможности распространения своих понятий в низших классах, то они заблуждались, и это заблужде-

---

<sup>1</sup> Лукреций Т. О природе богов. — М., 1876.



ние легко объясняется. Однако их желания были обмануты. В Риме и других центрах населения древнего мира неверие проникло в самые низшие слои общества. Об этом свидетельствуют все историки этой эпохи. Тит Ливий, Диодор Сицилийский, Дионисий Галикарнасский, которые, с презрением относясь к религиозным верованиям своего времени, оплакивают во имя политики и общественных интересов упадок политеизма, каждый раз, когда представляется случай, расхваливают их пользу для счастья народов. Цицерон, говоря о древних преданиях, полагает, что в его время ни одна старая баба им больше не верит. При виде повсеместных насмешек и оскорблений богов Гомера и обрядов Ромула и Нумы, можно было подумать, что настал последний час язычества. Ничуть не бывало. Варроны и цicerоны надеялись искоренить суеверие в пользу политеизма, а на деле произошло обратное. Языческая религия ослабевала все больше, а суеверие выигрывало то, что она теряла.

Цицерон мог заметить это у своих современников. Цесарь полагает, что смерть – это крайний предел нашего существования, но одновременно верит в заклинания.

Едва прошло 50 лет со времени смерти великого римского оратора, как уже самые нелепые поверья стали на одну ступень с решительнейшим неверием. Политеизм, основанный поэтическим гением образованного меньшинства Греции, с его изящными формами и отчасти нравственными тенденциями, побледнел. Причем оказалось, что под ним лежал несокрушимый слой верований в колдовство и заклинания, в безобразные видения, отвратительные обряды и бессмысленные амулеты, – верования, составлявшие весь религиозный капитал огромного большинства населения. Больше не признавали, что боги управляют событиями и пекутся о судьбе смертных, и тысячи томов, полных предсказаний, были распространены в Риме только среди частных лиц. Они не верили в будущее, смеялись над Елисейскими полями и вызывали тени умерших, чтобы выведать у них будущее, расспрашивая о пустых вещах. Разные восточные шарлатаны собирали значительную дань от глупой доверчивости высших клас-

сов; толпа же, между тем, теснилась вокруг колдунов низшего разряда, располагавшихся в цирке и на поле Тарквиния.

Суеверие было доведено до жестокости.

Общий голос обвинял жрецов Митры в принесении человеческих жертв. Император Адриан запретил впоследствии совершение этих таинств и изгнал из Рима жрецов этого кровавого культа.

Эти человеческие жертвы не представляют ничего невероятно-го в то время, когда все классы римского общества публично исполняют самые грубые и возмутительные обычаи. Одни погружают зимой три раза свою голову в мерзлый Тибр, другие на окровавленных коленях ползают вокруг поля Тарквиния, иные собирают по ночам для преступных и запрещенных законом обрядов кости мертвецов и траву, растущую на могилах. Из всех писателей первого века христианской веры, Валерий Максим полнее всего может дать понятие об этом повороте в религиозных понятиях того времени. Он собрал у всех предшествовавших ему писателей множество более или менее интересных анекдотов и расположил их по содержанию. Первая книга этой компиляции посвящена языческой религии. Все приведенные в ней факты представляют самые невероятные чудеса, большей частью забавно-нелепые: говорящий бык, потеющие кровью щиты, куски мяса, падающие с неба и т. п. Странно то, что большая часть этих рассказов заимствована у писателей, приводивших их как нелепые сказки, составлявшие пищу народной доверчивости. На протяжении одного века совершилась такая перемена и так далеко ушли от высокого и прямого разума Цицерона!

И, однако, Валерий Максим в глубине сердца верует не искренно. Писатель этот, столь превозносящий древних римлян за преданность религиозным верованиям, демонстрирующий такую полную веру в авгуры, сны и предсказания, посредством которых боги передают свою волю людям. Он с удивительным простодушием предполагает, что все языческие чудеса и знамения были выдуманы для того, чтобы внушить народу больше уважения к священным предметам, что Нума, Минос, Ликург и другие древние законодатели злоупотребляли простотой людей. Это возвращение к суевию было ли реакци-

ей религиозного чувства против неверия или следствием угрызений совести среди ужасной деморализации этой эпохи? Или же опасения за окончательную гибель общественного порядка, пошатнувшегося в своих основаниях от таких потрясений, как бедствия междоусобных войн, потеря свободы и установление деспотизма, снова привели все классы общества к языческой религии? Все ли эти причины воскресили брошенные верования и обряды? Анализировать этого мы не станем; мы намерены подтвердить только тот факт, что язычество ожило не вследствие угрожающего успеха христианства, как полагает Гиббон. Несомненно, что там, где христианство получало некоторое развитие, оно сначала настраивало против себя оппозицию, самым заметным последствием которой было возвращение толпы к алтарям народных богов. Но эти частные и отдельные движения обнаружились только во II веке. За пятьдесят лет до этого им предшествовало общее движение, вернувшее языческому миру старые суеверия. Языческая реакция совершилась, и дома частных людей наполнились изображениями Изиды и Митры раньше, чем христианство стало угрожать язычеству, раньше, чем оно вышло из мрака, сковывавшего его первые шаги, когда его имя еще не было произнесено и не стало известным в Римской империи. С первых же дней эта реакция разделилась на две противоположности. Первую вместе с Бенжамен-Констаном мы можем назвать языческим правоверием, вторая вводит в язычество род мистического рационализма.

Рассмотрим последовательно обе эти стороны языческой реакции.

## II.

### Правоверы

Не знаешь, чему больше удивляться в языческом правоверии – предположениям, о которых оно мечтает, или смелости, с какой оно их представляет. Восстановление политеизма таким, каким он был в самом начале греко-римской цивилизации, – вот чего языческое пра-

воверие хочет. И так как оно убеждено, что это ему не удастся до тех пор, пока не перестанут восхищаться сочинениями Платона, Аристотеля и Цицерона, то, во имя религии, оно осуждает, как неверие, все победы, сделанные разумом в последние четыре века над предрассудками, невежеством и заблуждением. Убеждения, с трудом понимаемые в конце эпохи философии, языческое правоверие выставляет с уверенностью, близкой к бесстыдству, если не к цинизму, и с упорством, не встречающимся у прежних писателей.

С особым усердием оно восхваляет именно то, что сильнее всего опровергалось и пробуждало наибольшее неверие в предшествовавшие века – сверхъестественную и антропоморфическую<sup>1</sup> стороны мифологических преданий. Философия в языческом правоверии представляется не более как нелепым распутством разума в тех случаях, когда она не была преступным возмущением против божественных установлений.

Партия эта, считая себя мстительницей оскорбленной религии и защитницей интересов богов, избрала своим призванием спасти общество, умирающее с тех пор, как оно разорвало связь со святыми преданиями старины. Последовательная в своих принципах, она с восстановлением религии связывала восстановление старинного порядка вещей. Она требовала, чтобы общество, отвергнув все опасные нововведения, которые извращенный гордостью разум считал улучшениями в науке и жизни, возвратилось к временам Рима до вторжения в него греческой философии, или, еще лучше, к тому, что было в Греции в эпоху Орфея.

Все, что было сделано с тех пор, было пагубным заблуждением, отречься от которого нужно было поскорее. Оно восхваляло учреждения той эпохи, которую можно назвать «средними веками» греко-римской истории, и в ожидании этого будущего, счастливого времени, смелейшие люди этой партии уничтожали сочинения, в которых опровергались древние предания.

---

<sup>1</sup> Придание богам человеческой формы и побуждений.

Но ошибочно было бы заключить из этого, что данная партия состояла только из лицемеров и невежд-фанатиков. Нет сомнения, что и те, и другие были в ней многочисленны, но наряду с шарлатанами и невежественной массой, составлявшей ее силу, она заключала в себе искренних людей, главный недостаток которых в том, что воображения у них было больше, чем рассудка, и набожности больше, чем просвещения, или же таких, у которых, при достаточной разборчивости ума, было мало образования и знаний, бывшими в таком случае скорее вредными, чем полезными.

Доказательство этому мы находим у Плутарха, который знакомит нас с некоторыми сторонниками языческого правоверия, между прочим, с поэтом Серапионом Афинским. В следующем веке Лукиан, преследующий их своими едкими насмешками, называет среди них лиц, богатых и имеющих положение в обществе, философов и врачей. Позднее – защитник языческого правоверия, являющий в «Октавии»<sup>1</sup> Минуция Феликса, хотя и не мыслитель, но человек, принадлежащий к образованному классу и обладающий значительной, для того века, степенью литературных и философских познаний. Не надо забывать, что падение началось в самой высшей сфере мысли греко-римского мира. Ослабевший и бессильный разум больше не понимает нравственной деятельности и энергии мысли. Философы работают без желания, умения различать, они трудятся над согласованием не согласующихся систем, принципы и характерные черты которых ускользают от умов, не способных к самостоятельному размышлению. Сократа, Платона, Аристотеля считают отголосками предшествовавших учений, переданных им непрерывной цепью мудрецов, и эти учения они, в свою очередь, передадут своим преемникам. В литературе, кроме истории, больше не появляется оригинальных произведений. Подражают древним, их комментируют и вообще занимаются ученой педантичной критикой. В политике видим, что общественные дела, которыми не умеют не только управлять, но и обсуждать, предоставляются произволу одного. Все склоняют головы, провозгласив само-

---

<sup>1</sup> Феликс М. Октавий. – СПб., 1895.

отречение главной добродетелью, и когда жизнь делается невыносимой – умирают. Героизм бессилия и ничтожества!

По мере того, как дряхлость делает успехи, все становятся менее чувствительными к тому, что так оскорбляло варронов и цicerонов. Чем меньше они способны отличать истину от лжи, тем легче подчиняются авторитетам.

После отречения ума, когда не остается ни деятельности, ни свободы, а рабство тяготеет над мыслью и жизнью, можно ли избрать в религии иной путеводитель, как только предание, которое, избавляя ум от поисков, суждений, сравнений, дает ему готовые понятия и установившиеся верования? Самой силой вещей оно навязывалось обществу – обессиленному и падающему. И если только что-нибудь нас может удивлять в этом всеобщем падении всего составляющего достоинство человека, так это, конечно, не внезапное восстановление языческой мифологии среди нравственной пустоты этой эпохи, а скорее насмешливое спокойствие немногих атеистов, достаточно уверенных в себе для противостояния течению. Или, еще больше, наивное самообольщение языческих философов, сознающих в себе достаточно силы для очистки этой кучи нечистот. В порядке вещей становится то, что к древним верованиям вернулось их прежнее обаяние. Они наводнили собой Римскую империю. Их торжество подняло всех, оставшихся верными философии. Споры, считавшиеся давно законченными, снова возгорелись. Опять нужно было защищать разум, выступать против суеверия и антропоморфизма, охранять религиозный спиритуализм<sup>1</sup> от грубых понятий древних времен. Но языческое правоверие не смутилось: оно выставило на свою защиту от сатиры и философии известное количество соображений, самих по себе довольно бедных. Они, будучи выставлены с уверенностью, свойственной этой партии, должны были произвести на выродившиеся умы этой эпохи некоторое впечатление. Эти доказательства образуют род апологии языческого баснословия и на протяжении трех веков служат защитой

---

<sup>1</sup> Т. е., религиозные понятия, где боги Олимпа переродились в бестелесные духовные силы, нравственный закон, всемирный разум, загробный суд и т. п.

от философов и скептиков, а впоследствии и против христиан. Не существует изложения всей совокупности этих различных доказательств, потому ли, что у этой партии не было довольно искусного человека для составления свода их учения, или потому, что не считали нужным изложить его письменно, или сочинения эти считались недостойными перейти в потомство. Но эти доказательства сохранены писателями, взявшими на себя их опровержение. Их легко собрать из их сочинений и, соединив между собою, дать понятие о средствах, употребляемых языческим правоверием для придания значения своей системе.

Содержание составляют два рода общих соображений, и, конечно, по мнению того времени, главнейшую часть апологии языческого правоверия. С одной стороны, полагают, что человеческий разум не может сам по себе возвышаться до познания божественных предметов, заключая из этого, что религии остается только обратиться к древним преданиям. С другой стороны, старались доказать, что благоденствие народов и счастье отдельных лиц всегда зависело от их благочестия, выводя заключение, что это составляет самый достоверный признак истинности и божественности древней религии.

Цецилий, устами которого Минуций Феликс защищает язычество, свои доказательства излагает в этом порядке, подкрепляя множеством исторических фактов, объясненных им в соответствии с теми заключениями, которые он хотел вывести.

К этим доводам в пользу божественного происхождения язычества добавляли еще и другие, извлекаемые из исполнения прорицаний оракулов.

Исполнение пророчеств пифии не было ли доказательством того, что она вдохновилась Аполлоном, и, в то же время, верным признаком божественности языческой религии? В этом убеждении поэт Серапион замечает, что ослабление доверия к оракулам пошатнуло веру в могущество и провидение богов. Апология языческого правоверия не заключалась только в этих общих соображениях: перечислялись подробно все заслуги, оказанные религией слабому человечеству. Она одна только имеет утешение для несчастных и надежды для

скорбящих, она одна умеет смягчать бедствия жизни, она одна располагает сердца богатых и сильных к призрению несчастных и излиянию даров милосердия на бедных и больных. Она, к тому же, стараниями жрецов поучает людей их обязанностям, дает им понятие об опасностях, которых следует избегать, предостерегает их от превратностей будущего, открываемого оракулами.

Ей обязаны большим благом: она единственная опора общества, которое не замедлило бы распасться.

На этом пункте особенно торжествовало языческое правоверие. У него не было достаточно проклятий для неверующих и полуверующих, этих «безумных, которые, работая над уничтожением или, по крайней мере, ослаблением древних верований, разрывали последнюю связь между людьми». Правоверы тем сильнее налегали на это рассуждение, что знали об ужасе, с которым смотрели богатые на полное бурь будущее, хотя и настоящее их было шатко. Кроме того, эта партия была уверена в помощи государственных людей, которые, каковы бы там ни были их личные убеждения, преследовали неверие, как причину общественного расстройств. Ни одна из древних институций не была упущена языческим правоверием, каждая упорно защищалась без малейшей заботы даже о здравом смысле. Так, варварский язык пифии, осмеиваемый и оспариваемый верующими, представлялся ими как образцовый, а непонимание его красот Серапион приписывал испорченности нравов.

Напрасно благоразумные язычники, как, например, Плутарх, думая спасти авторитет пифии, старались доказать, что из-за неправильности языка нельзя еще утверждать о лживости оракула: правоверные с презрением отвергали такие половинчатые мнения и считали их опасными заблуждениями. Все эти рассуждения и жалобы не были единственным оружием людей, принявших на себя защиту древней религии. Если верить им, то сами боги, взяв на себя защиту своего собственного дела, готовы были возвратить людей к подножию своих алтарей, приведя знамениями в замешательство безумную философию, осмеявшую чудеса, подтвержденные древностью. Корыстная набожность и суетное благочестие разносили по всей империи



рассказы о самых необыкновенных происшествиях. Повсеместно заговорили о заклинаниях, появлении привидений, о том, что священные статуи стали двигаться и говорить. Оракулы опять начали пророчить, и слова их постоянно сбывались. Вошло в моду быть верующим и набожным, точно так же, как за век перед тем было модно быть неверующим и философом. Все и каждый принимали за истину рассказы о чудесах, как совершающихся в их время, так и известных по преданию. Большинство греков и римлян состояло, по выражению Лукиана, из глупцов, бессмысленно жаждущих чудес, и всякий неверующий считался смешным и плохо воспитанным. Между тем, такой порядок вещей глубоко огорчал многочисленный класс людей, также любивших политеизм и желавших его возвращения к власти над душами, но которые не в состоянии были отказаться от требований своего разума и образования. Смелое ретроградное движение правоверов казалось им опасным для самого политеизма, потому что оно хотело восстановить самый грубый антропоморфизм, потерявший значение в глазах просвещенных людей. Они не хотели сохранить для себя одних свое философское понимание политеизма, надеясь, что их принципы могут стать популярными, подняв всех людей до их уровня. Притом же действия партии правоверных явно давали почувствовать возвращение эпохи древнего варварства, что не могло не пугать просвещенных людей. Надо было предотвратить это бедствие. За это-то дело и взялись люди, деятельность которых мы и намерены описать.

И хотя им это не удалось, потому что, вместо будущего, они обращались к прошедшему, но они хотели спасти права разума, они стояли за просвещение, что помогло им заслужить благодарность потомства, как бы ни были дурно направлены их усилия.

### III.

#### Примирительные философы

Описанное нами языческое правоверие было в глазах людей, о которых мы намерены говорить, уничижением политеизма. Замеча-

тельнейший писатель данной эпохи, первый и достойнейший представитель этого мнения – Плутарх – обнародовал вопреки противной партии специальный трактат, в котором он клеймит ее именем суеверия и не упускает случая показать всю лживость и опасность ее по отношению к верно понимаемому политеизму. Он говорит, что суеверие еще менее выносимо, нежели сам атеизм: оно не дает человеку покоя, наполняя мир страхами и ужасами, делая из богов существа злые и вредные. Дальше он упрекает правоверов в предоставлении атеистам предлога их неверию, которым неверующие пользуются, говоря, что лучше не признавать богов, чем верить в таких, которые терпят отвратительные суеверия. Потом он доказывает, что религиозный антропоморфизм – это произведение невежества, утверждая, что величайшее оскорбление божества – это предположение, что ему свойственны страсти, подобные человеческим. «По мне, – говорит он, – лучше пусть говорят, что Плутарха вовсе нет, чем утверждают, что Плутарх человек слабый, непостоянный, мстительный и раздражительный».

Именно с такой энергией в следующем веке Апулей отвергает и осуждает антропоморфические верования. По его мнению, суеверный культ грубой толпы, чуждой всего святого, разумного, истинного, не менее бесчестит богов, пребывающих в высоких областях неба, чем самое дерзкое презрение, неверие. Малое число неверующих кажется ему не столь опасным, как невежественный ужас, на котором основывается вера толпы. Наконец, чужеземные суеверия, распространяемые в Италии и Греции обманщиками, пришедшими с Востока, не менее опасны и ложны, по мнению рационалистов, чем те, которые произошли от мифологии Гомера. Плутарх, полный уважения к восточной мудрости, оплакивает бесчестие, наносимое ей плутами, которые под ее именем распространяют отвратительные и преступные обряды. Однако эти люди, преследуя суеверие, работали не для торжества неверия. Их набожность, менее шумная, чем набожность правоверов, была столь искренней, а идея, которую они составили себе о религии, была гораздо почтительнее. Для них религия – чувство, ос-

тавленное природой в душе, составляет главную и благороднейшую из ее потребностей. Потому-то и свойственна религия всем людям, и нет народа, который, под той или другой формой, не возносил бы своих молитв к божеству.

Плутарх полагает, что найдутся народы, которые не имеют ни литературы, ни домов, ни денег, ни царей, ни театров, но никогда не было и не будет таких, которые не признавали бы Бога.

Из всех благ, находящихся во власти человека, нет другого, которое так приближало бы к божественной природе и так способствовало бы его счастью, как данная его разуму способность знания богов. Это преимущество – источник чистейшего наслаждения и живейшего удовлетворения, какое только может испытывать душа. И тогда как для суеверного человека религия со всем ее великолепием преисполнена ужаса, она приносит Плутарху лишь самые приятные впечатления.

Святость религии так велика в его глазах, что он негодует на тех, кто вносит в храм одни лишь мирские интересы и вопрошает оракулов о предметах земной жизни, не относящихся к благу души.

Во многих своих сочинениях он восстает с гневом против людей, обращающихся к богам для того, чтобы узнать: хорошо или дурно сделают они, если женятся или отдадут свои деньги на проценты, или предпримут путешествие, а также против городов, которые интересуются: будет ли обильной жатва и не случится ли эпидемий?

Какая разница между этим языком и речами свирепого правовера, говорящего только о разгневанных богах и мести небесной! Это уже не беспокойный ум, который, не отдавая себе отчета ни о природе религиозных потребностей, им ощущаемых, ни о том, какова должна быть религия, которая может удовлетворить их, ищет в отдаленном и дурно понятом предании, в освященных временах и без критики принятых верованиях слепое решение задач, на которые он и смотреть-то не может прямо. Плутарх сам себе хотел объяснить предмет своей веры и, изучив его тщательно, убедился (или, по крайней мере, так ему казалось) в прочности своих верований, найдя в этой прочности мир и спокойствие, не известные суеверу. Это не значит, однако,

что он презирал учение, переданное ему предками, и что религия его была чисто философской. Как ни велико его доверие к своему разуму, однако, он все-таки не считает его способным разъяснить ему собственным своим светом важные вопросы, так близко касающиеся счастья его души. Он обращается к древним преданиям, признает их за божественные откровения и в своих разговорах опасается не только отрицать, но даже ослабить истину религиозных идей, вдохновленных богами и повсеместно принятых. По его мнению, отрицание и уничтожение оракулов должно повлечь за собой падение могущества и провидения богов. «Кто не остановится перед такими последствиями?» – задает он вопрос и добавляет, что когда обнаруживаются противоречия в божественных свойствах, следует избегать, прежде всего, чем-либо оскорблять веру, переданную предками как драгоценное наследие. Таково положение, занимаемое им по отношению к религии, положение, в которое становились вместе с ним все те, которые не хотели жертвовать ни философии религией, как делали неверующие, ни религии философией, как поступали правове-ры.

Они одинаково отвращаются от неверия и суеверия. Для того чтобы избежать противоречивых мнений правове-рия, они не хотят впадать в атеизм. Они претендуют на настоящую середину, на которой покоится истинная религия и которая равно удалена от обеих крайностей. Их дело состояло в том, чтобы согласовать древнюю религию с результатами философии, которые они считали неопровержимыми, или, как бы мы выразились теперь, предания с разумом. Это соглашение, кроме того, что было необходимостью для их собственного ума, казалось им самым действительным средством для победы над атеизмом, для истребления суеверия и придания религии всего ее блеска.

В действительности это соглашение было невозможно. Философия могла уступать, и она на самом деле уступила по многим пунктам, имевшим лишь второстепенную важность, и для которых, с некоторой ловкостью, легко можно было найти более или менее удовлетворительное объяснение. Но существовал один пункт, который не терпел никаких уступок, – фундаментальный, от него зависела вся

религия. Мы говорим о самой идее божества. Философия не могла признавать и утверждать, что бог духовный, нравственный, отец и благодетель людей, и боги священных преданий были запятнаны всеми пороками и преступлениями, свойственными человечеству. Каким образом очистить мифологию от этих антропоморфизмов и преобразовать эти рассказы о насилиях, битвах, прелюбодеяниях в поучения, способные просветить ум и освятить душу? Тут было самое серьезное затруднение. Для непредубежденных умов оно было неразрешимо. Сильная, последовательная философия разорвала бы свою связь с преданиями, пытаясь найти вне них более прочное и достойное основание для своей религиозной системы. Но то время было эпохой падения, и философия не избежала всеобщей заразы. Не способная на высокие усилия, она прибегла к уверткам, призвав себе на помощь аллегорическое объяснение – последнее средство умирающей теологии. Отвергая буквальный смысл религиозных преданий, в них был предположен скрытый смысл, непонятный для невежд, но видимый оком разума. Священные сказания были лишены исторического характера и стали мифами, предназначенными для представления в драматической форме философских и нравственных истин. Эта удобная теория дала простор воображению и помогла открыть в древней мифологии самый удовлетворительный спиритуализм. Этот способ был слишком уж произвольным, чтобы не разбудить оппозицию. Авторитет Платона и стоиков поддерживал его, но Платон не имел большого значения для правоверов, а стоики считались ими не более, как неверующими. Принять такой способ объяснения религии – значило подать руку атеизму, что привело бы к ниспровержению верования под предлогом утверждения их на более прочных основаниях. Правоверы должны были спросить у рационалистов, по какому праву они придавали аллегорический смысл таким сказаниям, буквальный смысл которых был ясен, положителен, неопровержим, и обвинить их, наконец, в том, что свой личный разум они выдавали за божественное откровение. Нельзя сомневаться в том, что затруднения эти были. Это доказывают старания, с которыми Плутарх пытается их устранить, а также труд, с помощью которого он хо-

чет утвердить положение, что религиозные предания не могут приниматься буквально. Утверждение, что первоначальные авторы религиозных сказаний хотели проповедовать натуральную теологию в аллегорической форме, можно считать очень ловким.

Но это утверждение нуждалось в более прочных доказательствах, чем доводы Плутарха, прежде чем оно само могло послужить доказательством. Также напрасно было предполагать, что сама нелепость рассказа насильно приводит к поиску сокровенного смысла. Правоведы не находили никакой нелепости в древних преданиях и применяли к ним то, что Серапион говорил о стихотворениях пифии. Они упрекали неверующих и рационалистов в потере способности понимать и чувствовать божественное. Несмотря на объяснения Плутарха, теория мифа стала слабой стороной рационализма. Доказательство этому содержится в повторяемых попытках его последователей поставить эту теорию выше всех опровержений.

Неоплатоническая школа, занимаясь этим делом, составила полную теорию из всех опытов своих предшественников. Но недостаточно было показать, что религиозные предания – только аллегории, их надо было еще объяснить и найти в них смысл. Тут возникли новые затруднения. Каким образом прийти к общему мнению насчет их толкования? Какое бы то ни было сказание, взятое буквально, оно имеет только один смысл. Если же его рассматривать как аллереорию, то оно получает бесчисленное множество объяснений. Это и было причиной, почему языческие предания безразлично приняли ту форму, которую каждому из их толкователей вздумалось им придать. Нередко можно было видеть, как философы, смотря по необходимости, придавали одному и тому же факту два противоположные между собой значения. Путаница была чрезвычайная.

Плутарх не знает, какого принципа придерживаться. То он на стороне стоиков, хотя обычно не соглашается, что мифология пытается объяснить космологические и физические явления. В другом месте он близок к мысли, что некоторые религиозные предания предназначены для сохранения памяти о великих деяниях царей, которым общественная признательность придала божественное происхождение.

Эта система, принадлежащая Эвгемеру, имеет свое основание в истории, но он не принимает ее полностью, боясь потрясти основания религии. Вообще он предпочитает следовать Платону и видеть в мифологии символы добродетелей и действий человеческой души.

Эти принципы господствовали в школе рационалистов, не исключая, впрочем, физического объяснения стойков. Мы не станем пересказывать здесь учения, заметим только, что принятие аллегорического толкования принесло свои плоды. Историческая часть все больше поглощалась философскими учениями, которые поначалу думали получить из нее только выводы, что привело к тому, что мифология стала, наконец, оболочкой мистической философии. Таков неизбежный конец всякой рациональной теологии, которая желает остаться последовательной со своими принципами. Она выходит из твердого намерения согласовать откровение с разумом и достигает чистой философии, не имеющей ничего общего с этим откровением.

#### IV.

### Сравнение двух партий

Изложив главные взгляды двух партий, разделявших язычество со времени его восстановления в середине I века христианской веры до окончательного падения алтарей богов Гомера, не бесполезно будет противопоставить их между собою для того, чтобы вывести из этого сравнения более ясную идею об их относительном значении. Мы ограничимся только самыми характерными чертами.

Две эти партии, как можно было заметить из нашего рассказа, представляли совершенно различные между собою системы. Правоверие рассматривало предания как сказания о действительных фактах, рационалисты же – как аллегории, заключающие в себе философское поучение.

Эта последняя система, развитая неоплатонической школой, принята новейшими учеными, которые, таким образом, выступают за языческий рационализм и против языческого правоверия. Неуместно

было бы теперь рассматривать этот вопрос, который не может быть разобран мимоходом и вовсе не составляет необходимости для нашей цели. Нам достаточно только заметить, что оракулы – единственная законная религиозная власть у греков и римлян – выразились в смысле, противоположном тому, который преобладал у философов и ученых. В общественном, официальном культе мифология была принята, как совокупность исторических фактов, и таким образом ее должен был понимать всякий, остававшийся верным религии своей страны. То, что в философских школах не довольствовались этими вульгарными верованиями и старались поставить их в большую сообразность с требованиями здравого разума, объясняется легко, это было даже неизбежно. Но эти теории, как результаты ученой критики предметов народной веры, принадлежали науке и никогда не принимались жрецами. Их постоянно изгоняли из храмов, и только тогда безнаказанно допустили в школы, когда ослабление веры не позволило применять наказания, некогда назначавшиеся неверующим.

Партия, которую мы обозначили именем правоверной, признавала и принимала как факты то, что рационалисты, в подражание Платону и стоикам, любили объяснять как мифы.

Она одна только была верной защитницей истинного язычества. И если наука ее осуждала — что ей было до того? Она обращалась к ней только для того, чтобы опровергать последнюю и показывать ее заблуждения. Рационалисты ошибались, когда выдавали себя за искренних язычников. В действительности они исповедовали другую религию, которая не имела ничего общего с язычеством. Только их достойный уважения характер позволяет избежать упрека в лицемерии, и потому правоверы, с языческой точки зрения отдавая справедливость искренности их религиозного чувства, могли порицать их только в неисполнении предписаний и наставлений народного культа. Имел ли право рационализм, со своей стороны, укорять правоверов в суеверии? Справедливо, что религия, в том виде, как представляли ее правоверы, была запутанным скоплением нелепых преданий, вздорных верований и смешных либо возмутительных обрядов. Но язычество Греции и Рима, то самое, которое целые века царило в хра-



мах, которое было признано законами и перешло в общественные обычаи, образовав собою народную веру, не было чем-либо иным. Как же это рационалисты, требовавшие восстановления древней религии, могли осуждать суеверия, которые и составляли эту религию? Этот упрек имел смысл в устах неверующих и не имел его, даже был в высшей степени несправедлив, в устах рационалистов. Правоверы были последовательны, нападая на философию, упрямо отвергая всю умственную культуру, ею произведенную, восхваляя древние нравы, варварство прежних времен, предрассудки и невежество. Язычество не могло существовать во всей своей полноте ни вместе с философией, ни без отталкивающих обычаев древности. Точка исхода была нелепа, но лишь она признавалась за истинную и полезную. Заключение выводилось неизбежно. Требуя их, правоверы были логичны; рационалисты же шли против логики, объявляя язычество спасительным и отвергая суеверия, принадлежавшие ему. В языческом мире было только два искренних положения – правоверов и неверующих. Середина, на которой, по мнению Плутарха, покоится истинная религия, была самообольщением. Атакованная с двух сторон, эта партия давала против себя оружие в руки как правоверов, так и неверующих. Сочинения, в которых были изложены ее мнения, служили богатым арсеналом для неверующих, которые черпали из них доводы против народных верований. С другой стороны, и правоверы передавали простому народу это уважение философов к древним верованиям, как доказательство истины последних. Таким образом, имя и авторитет Плутарха и тех, которые считали честью быть в числе его учеников, служили и неверующим, которых он презирал, и суеверам, бывшим для него ненавистными. Какие следуют выводы из этих соображений, как не те, что языческий рационализм ошибался относительно той самой религии, которую хотел восстановить, что он доводил непоследовательность до противоречий с самой собою, что у него, наконец, не хватало ловкости, необходимой для всякой партии. Но его заблуждения были заблуждениями века. Все, что есть истинного и великого, в совокупности его представлений, принадлежит ему вполне. Это была не логическая, а поучительная попытка разума согласовать то, что ни

в коем случае не согласовывалось, внести умеренную критику в область, не допускающую критики, и перенести священные кумиры в другую область, не терпящую никаких кумиров. Плутарх и его школа пытались сохранить традицию великой языческой цивилизации, не решаясь перенести ее на здоровую почву единомышленников Лукиана. Они отвращались от грубого варварства, угрожавшего древнему миру и мало-помалу его поглотившего. Но борьба между двумя направлениями шла насмерть. Конечно, трудно сказать, что несколько замечательных мыслителей этой школы, если бы они приняли точку зрения чистой критики, не дали бы миру впасть в невежество и поддержали бы традицию науки. Они все-таки составляли незначительное меньшинство в виду невежественного и жадного к чудесам населения, которое получило право больше участвовать в общественной жизни вследствие равенства всех подданных империи перед самодержавной властью цезарей. Но в этом положении, в каком мы видим дело, когда обаяние древности склоняло последователей Плутарха и Ямблиха к поклонению Платону и Пифагору, к попытке найти таинственное значение в мифах Ганимеда и атридов, когда насмешливый голос Лукиана раздавался одиноко – будущность человеческого разума была неизбежна. Осмеянные поверья Олимпа, испещренные аллегорическими объяснениями, подкопанных культами Митры, Сераписа, Изиды и других богов варварских пантеонов, не могли помочь человеку успокоиться. Сами неоплатоники, пытавшиеся защищать язычество, так мало защищали его, что один из отцов западной церкви<sup>1</sup> говорил: «Им стоило изменить только несколько слов в своей системе для перехода в христианство».

Древняя цивилизация должна была пасть вместе с древними религиозными формами.

1864 г.

«Заграничн. вест.», №11. VII.

---

<sup>1</sup> Августин А. Творения. В 4 т. – К., 1998. – Т. 1. Об истинной религии. (См. сноску во вступительной статье).

## ЧТО ТАКОЕ МАГИЯ?

### I.

При исследовании некоторых моментов истории развития человека, приходится часто, для лучшего разъяснения вопроса, начинать с глубокой древности. Но если такое начало бывает, в иных случаях, только полезно, то в отношении к магии оно необходимо. Ведь ее возникновение относится к первобытной эпохе человеческой жизни, а процветание, какому бы времени и месту оно ни принадлежало, доказывает уровень развития, недалеко отходящий от той первобытной эпохи. Потому-то, прежде чем приступить к изложению разнообразных проявлений магии (чтобы дать ответ на вопрос, поставленный во главе статьи), я позволю себе напомнить читателю о жизни человека в тех условиях, когда он находился в совершенной зависимости от природы.

Испытывая, как известно, всевозможные невзгоды и неудобства, причиняемые ему природой, человек, естественно, должен был постараться освободиться от них. Потребность такого освобождения и породила первоначальную чисто эмпирическую технику. Он нашел средства разводить огонь, изобрел выделку разных каменных и деревянных орудий, словом, нашел способы удовлетворения первых потребностей своей жизни. Но отношение человека к природе не ограничивается только практическими целями: он находит в окружающих его явлениях элементы, стимулирующие его творческую деятельность. Эта деятельность обнаруживается в том, что человек олицетворяет, уподобляет себе эти явления, очеловечивает их. Такое отношение побуждает приписывать полезные явления расположению, любви к нему природы, а вредные – ее враждебности, злобе. Между человеком и природой возникает целый ряд воображаемых отношений – то дружественных, то недружелюбных. Он старается то умиловить, то запугать природу, в нем впервые проявляется мистицизм. Понятно, однако, что практическое и мистическое отношение к природе – это

только разные стороны, которыми она представляется человеку. Тем не менее, они являются одновременно и сливаются в одно общее представление в малосознательном разуме первобытного человека. Таким образом, сливаются в одну общую совокупность и практические приемы, чтобы влиять на полезные и вредные явления с мистическими обрядами, способными держать в зависимости человекоподобные свойства природы. Средства эмпирической техники становятся мистическими и преобразовывают эту технику в таинственные обряды. Эта мистическая техника и образует собою то, что, при дальнейшем своем развитии, получает название магии, которая, хотя и в весьма измененном виде и часто под другими названиями, существует и до настоящего времени.

Средства первоначальной магии относились к настолько необходимым предметам в жизни<sup>1</sup>, что не могли долго оставаться тайной своих изобретателей, а стали общим достоянием, потеряв свою таинственность.

Но эпоха, в которую удовлетворение первых потребностей теряет свой магический характер, соответствует уже высшему моменту развития. Общедоступность способов, управляющих полезными и устраняющих вредные явления, наводит, естественно, на мысль об их причинности, т. е. на поиск таких явлений, к которым эти последние относятся как следствия. Пробуждается пытливость ума, но, действуя в области совершенно неизвестной и новой, она дает первоначально, вместе с небольшим числом положительных результатов, целую массу нелепостей и фантастических представлений. Опыт, лишенный теории, еще мог дать кое-какие ответы на простейшие вопросы, лежавшие в основе развития первоначальной техники. Однако разрешение многих других вопросов, более сложных, положительный ответ на которые может дать только наука, оставалось делом воображения.

---

<sup>1</sup> Im Anfang war alles Wissen Magie, selbst die Wissenschaft, Feuer hervorzulocken, woher die eigentlichen Priester Flamines oder Zünder hiessen. Der Erfinder der Töpferscheibe war ein Wundermann (Bastian A. Der Mensch in der Geschichte. – Berlin, 1860. – V. II. – S. 163).

Первое понятие о природе человек получает посредством зрения, но область этого чувства настолько мала по сравнению не только с целым миром, но даже с пространством, занимаемым Солнечной системой, что ограничивается практически только Землей. Тем менее, другие чувства человека дают возможность познавать природу и потому не могут ни в каком отношении способствовать открытию и объяснению явлений, лежащих за пределами атмосферы. Все это отводит нашему непосредственному наблюдению самую малую часть Вселенной, оставляя всю ее бесконечность в неизвестности. Поэтому естественно, что, составив идею о причинности и не находя причины какого-нибудь явления в сфере, подлежащей наблюдению, человек думал найти эту причину в неизвестной для него области мира. Эта область, ограниченная для человека XIX столетия открытиями науки, представляется совершенно иной дикарю, стоящему на самых низших ступенях развития. Не стесненному никакими знаниями, его творческому воображению открывается бесконечный простор, благодаря которому он переносит в неведомую область все причины явлений, находящихся вне его наблюдений. Таким образом, вся эта неведомая область является плодом его фантазии.

«Невидимое давление вихря с его разрушительными следствиями, тесно связанное со всеми явлениями внешнего мира, сильно поразило его ум, тем более, что с явлениями вихря он сопоставил физиологический факт присутствия дыхания в живом человеке и отсутствие в мертвом. Какой-нибудь тогдашний мыслитель высказал весьма вероятную для того времени догадку, всеми принятую и быстро усвоенную, что в атмосфере пребывают невидимые существа, проявляющиеся в ветре и преследующие тучи, руководящие планетами. Они однородны с тем, что дышит в человеке и что оставляет его с прекращением дыхания. Духи и души умерших наполнили атмосферу, вошли в народные поверья, потребовали тризн, жертв. Праотцы окружили потомков своими заботами, сделались предметами поклонения родичей. Невидимые существа, которым давно уже были присвоены человеческие страсти, облеклись в человеческую форму. Че-

ловеческие, семейные, родовые, гражданские заботы, романы и драмы перенеслись в мир невидимых правителей Земли. Водан летал, завывал над землей в зимние ночи. Увядание и оживление природы стало историей Адониса и Озириса. Желание человека связало этот невидимый мир с человеческими требованиями, человеческой жизнью, и Афина стала руководительницей героев Эллады, Афродита вступила в бой на стенах Илиона. Один занялся воспитанием викингов, Вишну воплотился в героя Кришну для блага человечества. Начиная с северных рун до Корана, все религиозные учения, созданные человеком, были для него откровением свыше»<sup>1</sup>, по его понятию, и созданием его воображения в действительности (здесь, конечно, речь идет не о христианстве).

Средства влиять на природу превратились в средства влиять на силы, управляющие природой, на духов и демонов, которыми человеческое воображение населило мир.

Магия, как техника, усовершенствовалась, расширилась и стала в глазах человека совокупностью способов и обрядов, при помощи которых можно было вступать в разнообразные отношения с миром демонов и духов, с миром, царившим над естеством, со сверхъестественным миром. В этом периоде, как и предыдущем, средства и способы влияния на природу были нераздельны со средствами и способами, созданными воображением и заключавшимися в заклинаниях, заговорах, таинственных формулах и т. п.

Естественно, однако, что общество той эпохи, погруженное в вечные споры и драки, было чуждо этому прогрессу, остававшемуся достоянием небольшого круга людей, поставленных особыми благоприятными обстоятельствами в исключительное положение. Этот круг – жреческая корпорация, получившая над остальной массой власть, имевшую чрезвычайное значение. Не подлежит сомнению, что эта власть и значение опирались именно на сравнительно больших знаниях и развитии жрецов, действия которых, несмотря на всю

---

<sup>1</sup> Лавров П. Три лекции о философии. – М., 1861. – С. 43.

их обыкновенность с точки зрения настоящей эпохи, были до такой степени непостижимы и удивительны для людей того времени, что считались сверхъестественными и чудесными действиями, возможными только при помощи высших сил.

Магия, как путь ко всему супранатуральному, отвечала стремлению всех и каждого в то время. Но пока каста жрецов не установилась окончательно, пока магия не получила значительной степени развития, общение с высшим миром существовало преимущественно в воображении. С того же времени, как жрецы стали доказывать свою силу не объяснимыми для толпы делами, это желание получило как бы некоторую реальность и постоянно удовлетворялось в храмах или жилищах магов. С этого момента всеобщая смутная пытливость к открытию средств общения со сверхъестественными силами в массах утоляется, вследствие чего более или менее специализируется в касте жрецов. Огражденные внушаемым ими уважением и стенами храмов от напора извне, они развивают магию до значительной степени и начинают, наконец, присваивать ей название тайной науки, обнаруживающейся то в грозных, то в благодетельных явлениях. Древние писатели оставили нам многочисленные указания на такие явления, выдавая их, конечно, за чудеса. Совершаемые частью заведомо как обман, частью – с полной верой в них, чудеса эти, как увидим ниже, распадаются на два рода явлений. Одни из них производились жрецами и магами при помощи сравнительно высших знаний, другие возникали благодаря их экзальтированному настроению. Однако ясно, что мы поступили бы крайне опрометчиво, если бы все без исключения факты отнесли бы к разряду выдумок только из-за того, что не сумевший объяснить их летописец выдает их за чудеса. Нет сомнения, что большая часть из них действительно плод вымысла, опиравшегося на невежество, легкое верие и страсть к чудесному. Но нельзя оспаривать и того, что есть и справедливые известия. Отделить одни от других – дело крайне трудное, мы можем только сказать вообще, что совершенно отвергать существование этих фактов и относить их все, без исключения, к разряду выдумок, мы не можем. Основывать суевер-

рия исключительно на одном обмане и вымысле было бы делом крайне неправдоподобным<sup>1</sup>.

Воображение человека свободно создает призраки сверхъестественного мира, его незрелый ум пылко стремится к общению с этим миром. Он жадно ищет средств для этого общения, ожидая от него неисчислимых благ, и нравственно покоряется человеку, который сумеет доказать ему свое превосходство, как результат таинственного общения с высшими силами. Вообще, когда человеку приходится переходить из вольной сферы творчества к вытекающим из нее обыденным, жизненным последствиям, принимающим форму подчинения и рабства, он может покориться только представителю высшей силы.

Знание природы дало жрецам эту силу. Огюст Конт замечает, что мирозозерцание этой эпохи способствовало, в известной степени, первоначальному развитию духа наблюдения. «Суеверия (например, гадания по полету птиц, внутренностям животных и пр.), кажутся нам в настоящее время нелепейшими, – говорит он. – Первоначально же они имели, кроме важного политического значения, философский, истинно прогрессивный характер, поддерживая энергический стимул постоянного наблюдения таких явлений, исследование которых не могло в эту эпоху непосредственно вызывать любознательность. К какому бы химерическому использованию ни предназначались наблюдения всякого рода, они накапливались, тем не менее, заблаговременно для лучшего использования впоследствии и, конечно, не могли быть тогда добыты иным путем. Не подлежит сомнению, например, по верному замечанию Кеплера, что астрологические химеры

---

<sup>1</sup> Quand l'in vraisemblance d'un fait est la principale objection que l'on oppose á sa realité, – говорит Сальверт, les temoignages qui l'attestent reprennent toute leur valeur, si l'on parvient á établir que l'in vraisemblance n'est qu'apparente. – И далее он продолжает: que la science autrefois servit á operer des oeuvres merveillesuses, propres á subjuguier l'indocilité et l'incrédulité des peuples, c'est une supposition si naturelle qu'on aurait quelque peine á la repousser, au moins par des raisons solides. Dans les récits merveilleux, qui sont parvenus jusqu'a nous, on peut donc retrouver quelques unes de ces connaissances mysterieuses: en suivre la recherche, c'est travailler á compléter l'histoire des sciences et l'histoire des hommes. Salverte E. Des sciences occultes. – Paris, 1843. – P. IX.



долго поддерживали интерес к астрономическим наблюдениям. Точно так же, мне кажется, анатомия должна была почерпнуть свои первые материалы в исследованиях, которые сами собой произошли из искусства авгуров определять будущее при помощи внимательного исследования печени, сердца, легких и пр. приносимых в жертву животных. В настоящее время даже существуют явления, которые до сих пор не подчинились истинно научной теории и которые заставляют некоторым образом сожалеть, что это первобытное учреждение наблюдений, несмотря на его большую опасность, было уничтожено прежде, нежели могло быть надлежащим образом заменено, не обеспечивая притом сохранения добытых сведений. Такова большая часть метеорологических явлений, и в особенности явлений грома, которые в древности были предметом тщательного и непрерывного исследования по отношению к искусству авгуров»<sup>1</sup>.

Чтобы высказанные здесь мысли не показались голословными, припомним некоторые из упомянутых выше фактов, вызывающих наименьшие сомнения. Аполлоний Тианский видел в одном из храмов Индии подвижный пол, который начинал подниматься и опускаться по знаку жрецов, стучавших своими жезлами. Все это было обставлено церемониями и обрядами, маскировавшими обман. Правдоподобность этого факта основывается на том, что в Элевзине существуют до сих пор, как говорит Сальверт, развалины храма Цереры, при осмотре которых обнаруживаются признаки двойного пола и следы машин, приводивших верхний пол в движение, подобно тому, которое видел Аполлоний в Индии. Плиний говорит, что Египетский лабиринт состоял из нескольких зданий, двери в которых были устроены так, что их нельзя было ни отворить, ни затворить, не произведя внутри здания страшный грохот, подобный раскатам грома. Всякому известна статуя Мемнона, издававшая, при первых лучах солнца, мелодичные звуки. Даже в древности некоторые свободные умы не принимали этого явления за чудо, а приписывали его действию искусно скрытого механизма. Сравнительно высшие знания жрецов доказы-

---

<sup>1</sup> Comte A. Cours de philos. positive. – Paris, 1853. – Т. V. – P. 96.

ваются еще тем, что им было известно приготовление снадобий, производивших на посетителей храмов усыпляющее и одуряющее действие. Некоторые из этих снадобий, как, например, те, которыми угощали посетителей Трофониевой пещеры, были так крепки, что все, спускавшиеся в эту пещеру, выходили оттуда слабыми, изнеможенными, тоскующими. Многие из них потом умирали. Снадобья, известные жрецам, имели, впрочем, во многих случаях врачебное свойство. Храмы Эскулапа были специально посвящены врачеванию, а жрецы этих храмов — асклепии — славились своим искусством в этом деле. Молва могла, конечно, преувеличить их познания, но то, что они имели некоторое значение, следует из того, что Ипократ воспользовался составленными ими описаниями болезней для своих сочинений. Зрелый виноград, выносимый жрецами при весенних празднествах, наполнение закрытых сосудов вином и другие фокусы, отчасти напоминающие кипение крови Януария в Неаполе, постоянно проводились жрецами и сильно поражали воображение народа.

Все эти факты подтверждают высказанное положение, что жрецам были небезызвестны некоторые эмпирические сведения и что только господствовавшее в массах мирозерцание могло и может придавать их технике таинственное значение, находившее всегда ловких эксплуататоров.

Но техника, как сказано уже, была только одной стороной магии. Теперь нам следовало бы обратиться к другой — мистической, но я считаю необходимым сказать прежде несколько слов с целью пояснения сделанного выше определения этой стороны магии и придания ему большей точности.

## II.

Вводя в определение магии учение о связи со сверхъестественным миром, я придаю ей весьма широкий смысл и заключаю в ее область такие явления, которые для многих могут показаться к ней не относящимися. Я уже дал, однако, понять, развивая мою мысль, что сделанное мною обобщение не только не включает в себе противоре-

чий, но, наоборот, уничтожает те, которые могли появиться в уме последовательно мыслящего читателя в том случае, если бы он дробил одну общую идею магии. Дробление этой идеи, ее распадение на части, нередко сливающиеся с другими сферами идей, происходит от того, что магия видоизменялась чрезвычайно часто и появлялась в разное время в разных местах под разными названиями. Смысл этих различий не всегда был понятен, и в представлениях об объеме и разветвлениях магии произошла некоторая путаница. Представленное мною общее определение включает в себе все ее проявления: от грубых суеверий фетишистов до спиритизма включительно, давая возможность читателю открывать ее там, где он, быть может, и не подозревал ее прежде. Чтобы еще яснее разграничить наше общее определение магии от магии в тесном смысле, т. е. понимаемой как колдовство или связь с нечистыми духами, — мы скажем несколько слов и о последней.

Ясность небосклона и величественность небесных явлений привлекла в самой глубокой древности жителей Ассирии и Вавилона к созерцанию, а потом и наблюдению этих явлений. Испытывая постоянно влияние Солнца и Луны, они боготворили эти светила, по аналогии приписав подобное же влияние и остальным светилам. Хаздимы, или халдеи, покорившие первоначальных обитателей Ассирии и принявшие их религию, образовали в их среде касту жрецов, посвятившую себя изучению небесных явлений с целью изучить божества, которым они поклонялись. Продолжительное и постоянное наблюдение привело их, наконец, к открытию некоторых законов, управляющих движениями светил. Изучение неба слилось у них с изучением высших существ, в результате чего произошла их астрономическая теология, содержащая учение о влиянии высших сил, т. е. в этом случае небесных тел, на судьбу человека. Она послужила впоследствии основанием астрологии. Впрочем, изучение небесных явлений и теологии не было исключительностью халдеев. Они хотя и подчинили все отрасли знания своей астротеологии, но и в них сделали сравнительно значительные успехи и прослыли большими чудодеями. Из-за недостатка данных нет возможности определить в настоящее время, каки-

ми средствами они пользовались, но нет сомнения, что эти средства были основаны на положительных, хотя и отрывочных знаниях. Они предсказывали будущее по внутренностям животных, а также пользовались заговорами и чарами, передавая эти сведения как тайну из поколения в поколение<sup>1</sup>. Когда победы Кира низвергли Вавилонское царство, сведения о религии халдеев начали проникать на запад, о ней узнали греки. Жрецы этой религии стали называться магами, а их тайная наука – магией. Таково происхождение этого слова и его первоначальное значение. Впоследствии к магии халдеев присоединились самые разнообразные восточные суеверия. Из-за этого под магией стали понимать целый хаос, образовавшийся из смешения разных теологических учений, верований во влияние светил, вызывание духов и чудесные свойства трав и снадобий. Все это соединилось с обрядами служения адским божествам по некоторому сходству с ними, и магия, наконец, получила смысл адской науки о связях и сообщениях с нечистыми духами, а также о различных чудесных действиях, совершаемых с их помощью. Этот смысл она сохранила более или менее навсегда. Итак, грек отличал мага от жреца, отводя тому и другому две не только различные, но даже противоположные области. Очевидно, однако, что в действительности такое различие – не больше чем результат личного взгляда, что оно совершенно произвольно и обусловлено историческими случайностями, определившими только одно внешнее различие форм и не коснувшимися сущности. Грек, считая жреца представителем своих религиозных убеждений, а мага – представителем восточных суеверий, мог видеть между ними громадное различие. Он мог быть лично глубоко убежден в непогрешимости, святости и важности своих верований, но мы знаем теперь, что его верования были такими же суевериями, как и те, которые он относил к магии. Жрецы, как и маги, вызывали духов, пророчествовали, творили чудеса – и делали ли они это во имя Зевса-громовержца или Озириса, или Трисмегиста и так далее, нет никакой разницы, они одинаково относятся к общей области суеверий. Те признаки, кото-

---

<sup>1</sup> Maury A. La Magie et l'Asrtoloque. – Paris, 1860. – Chap. II.

рыми мы охарактеризовали магию, точно так же характеризуют и суеверие вообще у какого бы народа и в какое время оно бы не господствовало. Возбужденное воображение и сравнительно большее развитие знаний в небольшом кружке, сохраняющем их втайне от большинства, – вот постоянные и неизменные причины возникновения и развития всяких суеверий и, наконец, магии в том смысле, который мы придаем ей. Магия в смысле колдовства должна быть рассмотрена, как частный случай магии вообще. Последняя была известна грекам раньше появления халдейских жрецов, она существовала одновременно с искусством этих жрецов и не завершила своего существования тогда, когда эти жрецы были забыты.

Я не пишу историю магии, а только ее характеристику, ее общее определение. Не загоняя себя в рамки исторической последовательности, я постараюсь собрать в одно целое все ее отличительные черты, составив ее характеристику настолько полно, что читатель, усвоивший мое воззрение, смог бы обнаружить присутствие магии там, где я, вследствие тесных рамок моей статьи или по другим причинам, не смог ему указать ее.

### III.

Я сказал уже в начале этой статьи, что человек находит в окружающих его явлениях природы элементы, стимулирующие деятельность его воображения. Природа служит ему как бы материалом, который он перерабатывает согласно со своими внутренними безотчетными побуждениями, которому придает форму, взяв за образец самого себя. Таким образом, в различных явлениях природы он видит проявление различных, но в общих чертах сходных с ним сил других каких-то, созданных его фантазией, существ, несравненно более могущественных и имеющих над ним полную власть. Придавая этим мифическим личностям все человеческие страсти, он относился к ним совершенно так же, как к людям. Желая подействовать на них, он прибегал к тем средствам, которыми пользовались люди в его время. И до сих пор еще в диких и полудиких странах можно приобрести се-

бе милость сильнейшего и заставить его выносить решения, соответствующие желаниям просителя, при помощи подарков и приношений. Приношения эти могут быть чрезвычайно разнообразными, но в первобытных обществах такого разнообразия быть не могло, и все приношения сводились к тому, благодаря чему человек существовал, т. е., к пище. Человек думал умиловить своих богов, принося им разные продукты, которыми сам питался, точно так же, как он приносил их в случае надобности другим людям. А так как это приношение было более или менее добровольное и делалось чаще всего в виде аванса, в счет будущих благ, то оно и получило название жертвы или жертвоприношения. Полагали, что боги, подобно людям, принимали эти жертвы и съедали их, а потому жертва называлась часто пищей богов<sup>1</sup>.

При выборе предметов для жертвоприношения, человек соотносился с их ценностью и полагал, конечно, что жертва тем легче достигала цели, чем она была ценнее. Поэтому-то богам, как существам высшим, выбирали то, что было лучшего и дорогого. Но для дикаря, питавшегося растениями и плодами, лучше и дороже всего были эти самые плоды и растения. И они действительно были самым древнейшим видом жертвы. Впоследствии к ним присоединились и отчасти их заменили хлебные зерна, а потом, когда и они стали слишком обычны, печения разного рода<sup>2</sup>. Наконец, еще позже стали приносить в жертву животных.

Первоначально, при господстве более грубых понятий о божестве, все эти предметы предлагались ему в том виде, в каком употреблял их сам человек. Впоследствии их стали сжигать, думая таким образом превратить грубую пищу людей в более тонкую и летучую пищу, пригодную богам. Первобытный антропоморфизм начинает переходить с этого времени в мистицизм, существенный характер кото-

---

<sup>1</sup> Между прочим, у греков. См. Maury A. Histoire des Religions de la Grèce Antique и других народов: *Leem Elohim*; у римлян Plinii C. *Naturalis historia*. – Weidmannos, 1866. – Т. II. – Р. 5.

<sup>2</sup> Maury A. Histoire des Religions de la Grèce Antique. – Paris, 1857. – Т. II. – Р. 118.

рого — отвлеченность — подлежал самому широкому и неопределенному развитию. Боги продолжали еще принимать пищу, но они принимали ее невидимо и до известной степени не по-человечески, противоестественно и, следовательно, непостижимо. Они глотали пищу где-то там в заоблачном пространстве в виде дыма и испарений. Ведь во многих местах указывают на огонь, как на средство, с помощью которого пища людей преобразуется в вещество, пригодное для невидимого, небесного существа.

Впрочем, указанная здесь причина сожжения жертвы была не единственной. У тех народов, у которых первоначальным фетишем был огонь, как например, у древних семитов, пища, буквально отдаваемая этому фетишу, само собой разумеется, сжигалась: фетиш пожирал пищу на глазах у жрецов и народа. Когда же огонь стал только символом высшего существа, обычай сжигать жертвы сохранился, и ему придали мистический характер, в общем сходный с приведенным выше. Запах, сладкий для божества, о котором говорили жрецы, ясно указывает на это.

Вот почему в самой глубокой древности жертва, сжигаемая полностью, получила название всесожжения. Но так как эта пища богов была священна в глазах верующих, то ей приписали особую, высшую сверхъестественную силу. Полагали, что можно некоторым образом уподобиться богам, т. е. исцелиться от болезней и очиститься от грехов, вкусив этой чудесной трапезы<sup>1</sup>. Тогда всякому захотелось принимать участие в съедении жертвы, и ее уже нельзя было сжигать полностью, а потому и оставлялись некоторые части, которые потом съедались присутствующими.

Мы уже сказали, что для жертвоприношений выбирались самые ценные предметы, т. е. имевшие для жертвовавших наибольшую важность. Но что могло быть ценнее хлеба, домашнего скота и вина для народа, занимавшегося не только выпасом скота, но и земледелием? Хлеб и домашний скот принадлежат к предметам первой потребности, без них мыслима только жизнь первобытно дикая, и важное их

---

<sup>1</sup> Richar F. Dunamics of Spiritual Life. — Berlin, 1979.

значение для человека всегда сознавалось. Вино всегда было самым дорогим напитком, его свойство развешивать человека делало его чем-то особенным, исключительным, достойным богов. Вино приносилось в виде возлияний, которые первоначально имели антропоморфический характер, т. е. вино предлагалось богам, как питье. Впоследствии ему тоже было придано совершенно мистическое значение, и оно употреблялось в культе, как символ жидкого начала жизни, тогда как хлеб был символом твердого начала.

Предметы жертв были вообще весьма разнообразны и выбор их иногда бывал даже весьма странен<sup>1</sup>, но несомненно, тем не менее, что хлеб, домашний скот и вино встречаются почти повсеместно и имеют главенствующее значение. Полагали, что приношение столь ценных предметов может умиловить божество и быть источником многих благ для человека. Но случалось, что во время войн, голода, моровых язв и других народных бедствий, не только обыкновенные, но даже усиленные дозы жертвоприношений не приносили желаемых результатов. Устраивались так называемые гекатомбы (100 быков), но бедствие не заканчивалось. В этих случаях надо было иметь только смелость последовательности, чтобы прийти к тем крайним заключениям, которые сами собой логически вытекали из идеи жертвы. Если божество не склонялось даже при виде гекатомб, то приходила мысль, не умиловится ли оно, получив в жертву нечто гораздо драгоценнейшее – жизнь человеческую? Казалось, что эта мера будет особенно действенна в тех случаях, когда жизнь принадлежала дорогим сердцу лицам, на которых покоилась надежда целых семейств и даже родов, а именно – детей, в особенности старших, первородных. И действительно, человек не останавливался перед этим ужасным выводом. Вообще можно сказать, что там, где существовали жертвы, непременно существовали и человеческие жертвы, если не по установлению, то,

---

<sup>1</sup> Les Moabites adoraient Baalphégor sur le mont Phégor. Des Rabbins disent, qu'on lui rendait hommage sur la chaise percée et qu'on lui offrait l'ignoble résidu de la digestion, comme au dieu Pet au Crèpitu. (Bastian A. Der Mensch in der Geschichte. – Berlin, 1860. – V. II. – S. 110).



по крайней мере, как частные примеры. У всех диких народов Африки и Австралии такие жертвы до сих пор еще обычны. Древние мексиканцы, галлы и арийцы также приносили их. У финикиян был праздник, на котором ежегодно приносились в жертву дети, причем, следуя общему понятию о значении жертвы, считали необходимым в виду очищения себя от грехов, отведывать тела и крови убитых жертв. Ликург запретил в Лаконии человеческие жертвы, заменив их тем, что детей секли до крови у алтаря Артемиды. Легенда об Ифигении основана также на обычае человеческих жертв. Такой же обычай существовал на Крите и почти во всех областях Греции, не исключая даже Аттики<sup>1</sup>. В Аркадии же, кроме того, ели принесенное в жертву тело, т. е. относились к нему как ко всякой другой жертве. Римляне, при нападении галлов, сочли необходимым для спасения города зарыть в землю двух галлов и двух греков по совету оракула. У аравитян до Магомета существовал обычай зарывать в землю живых девочек. В Индии до сих пор существует обыкновение приносить себя в жертву за грехи<sup>2</sup>. Наконец, такие примеры, как самопожертвование Курция, геройский поступок Кодра и другие отдельные примеры, представляемые историей всех народов древности, ясно доказывают всеобщность указанного выше воззрения на человеческие жертвы.

Кровь у многих народов в древности, у древних семитов, между прочим, считалась местопребыванием души и, следовательно, благороднейшей и тончайшей составной частью человеческого тела, достойной в высочайшей степени быть пищей богов. Отсюда происходит то особое мистическое значение, которое приписывали крови: полагали, что принесенная в жертву кровь имеет силу примирять человека с прогневанными богами. Таким образом, человеческая кровь заняла главенствующее значение в человеческих жертвах, став символом искупления человека посредством примирения его с прогневанным божеством. От пролития человеческой крови ожидали великих благ, но

---

<sup>1</sup> Подробности см. у Maury A. *Histoire des Religions de la Grèce Antique*. – Paris, 1857. – V. II. – P. 101.

<sup>2</sup> Boehinger H. *La vie askétique des Indous*. – Paris, 1860. – P. 31.

эти надежды возрастали до *maximum*'а, когда проливалась кровь того, кого считали необыкновенным человеком, героем и т. д. Эти идеи, по их логической связи с первой идеей жертвы, были не чужды всем древним народам<sup>1</sup>, а у некоторых они были связаны с особыми обрядами. У арийцев, говорит А. Мори, существовало сказание о происхождении напитка, называемого Сомы, которому приписывали чудесную силу избавлять от смерти, укреплять здоровье, продолжать жизнь и служить верным залогом будущего блаженства. Это сказание прославляло мученическую смерть героя Сомы, который для искупления мира позволил истолочь себя в ступке, видел члены свои раздробленными и умер лишь для того, чтобы снова ожить<sup>2</sup>.

Таким образом, Сомы арийцев представлялся воображению, замечает Мори, как гений победы и здоровья, как посредник и пророк, который под видом чувственной внешности позволял верующим в него принимать самого себя в пищу и тем поддерживал в их сердцах чистоту и добродетель. Поэтому ариец вкушал Сому до трех раз в день, полагая, что он воспроизводит жертву, принесенную его благодетельным гением.

Из этого видно, что жертвоприношения, а также обряды, воспроизводящие их символически (например, в культе Сомы), имея целью непосредственные отношения и связь с высшими существами, претендуя на совершение таких сверхъестественных действий, как искупление от грехов и исцеление от болезней, относятся к области магии и могут быть объяснены ее тенденциями. Разнообразие и подробности этих обрядов у разных народов и в разные эпохи обусловлены разнообразием божеств, к которым эти обряды относились, и различием взгляда на средства, которые могут задобрить их или принудить к тому или иному действию. Это приводит нас к указанию на самые общие черты, характеризующие духов и демонов у разных народов.

Мы уже имели случай заметить, что из всех человеческих чувств на первом плане должно быть поставлено зрение из-за обшир-

---

<sup>1</sup> См. Maury A. *Isis, der Mensch und die Welt*. – Hamburg, 1863. – V. II. – S. 117.

<sup>2</sup> Maury A. *La Magie et l'Asrtoloque*. – Paris, 1860. – P. 37.

ной охватываемой им сферы и разнообразия входящих в нее предметов. Поэтому-то зрение служит для человека лучшим вспомогательным средством в его борьбе со всевозможными препятствиями, возникающими в его жизни. Для первобытного же человека, у которого этих средств было особенно мало, зрение имело еще большее, совершенно исключительное значение. Теряя его, он неизбежно должен был терять самостоятельность. Но не только лишение зрения действовало на него таким образом: невозможность пользоваться зрением ночью, в глубоких пещерах и подземельях, имело те же последствия. Ночь в особенности, представляя явление неизбежное и беспрестанно перемежающееся с днем, наполнялась для него всеми как действительными, так и воображаемыми ужасами. В эту пору зверь незаметно подкрадывался к нему и нападал на него врасплох, змея невидимо подползала, жалила и часто причиняла смерть<sup>1</sup>. Наступала ночная прохлада, а за нею и холод, и человек, когда не был знаком еще с огнем, страшно страдал и приписывал свои бедствия мраку. Наконец, и после его знакомства с огнем, яркая противоположность между благами света, теплоты и злом мрака, холода представлялась ему еще ярче. Таким образом, понятие о мраке слилось у него с понятием о зле, а понятие о свете – с понятием о добре. А так как все явления природы не могли быть им понимаемы и всегда олицетворялись в его воображении, то он создал два различных рода духов – добрых духов света и злых духов тьмы. Доброму духу светлой выси (солнца, звездного неба, облаков) он противопоставил страшное существо преисподней (подземелья). Все, что вызывало в нем ужас, что заставляло зябнуть, он приписывал мраку, ночи и преисподней. Напротив, все, что его радовало, грело – свету, дню, небу.

В соответствии с этим общим разделением божеств, духов и демонов, разделением, встречаемым у всех народов, делились и жертвы, а также основывались различия обрядов, которыми обставлялось жертвоприношение. Так, например, цвета, посвящаемые разным бо-

---

<sup>1</sup> Змея – эмблема зла. Подползание ее тайком в удобное для нее время считалось признаком ее мудрости. На самом деле, это животное довольно глупое.

жествам, сообразовывались с явлениями дня и ночи, как символами этих божеств: белый, голубой, красный, иногда желтый были цветами добрых духов, черный и серый – злых. Животные, предназначенные в жертву, делились по их мастям: рыжие (красные) быки и овцы приносились божествам дня, черные и серые – божествам ночи. Все другие предметы, ценность которых, как было объяснено выше, делала их достойными богов, делились точно также: дерево красного цвета, красные цветы, красные ткани посвящались добрым духам, черные – злым. Храмы, жертвенники и разные принадлежности культа окрашивались в красный или черный цвет. Само служение совершалось по-разному: добрым божествам дня – весело и пышно при хвалебных песнях, торжественных танцах и в роскошных одеждах. Демонам преисподней – ночью, часто сопровождалось разными неистовствами и оргиями.

В Древней Греции, когда приносилась жертва олимпийским богам, то голову животного обращали к небу, когда же жертвоприношение совершалось в честь богов ада, то голову обращали вниз, к земле. Кроме предметов, безразлично приносимых всем богам, обычаем было назначать каждому божеству какую-нибудь специальность, которые были весьма различны в разных местностях. Кабанов приносили в жертву Афродите, поросят – Деметре, ослов – Приапу, собак – Гекате и т. д.<sup>1</sup>

Следуя везде установившейся идее о принесении в жертву всего лучшего, животные выбирались самые лучшие. В Греции существовало особое звание жреца, обязанностью которого и был этот выбор. Он руководствовался при нем общепринятым понятием о качествах животного, т. е. выбирал его для пищи богам точно так же, как бы делал это для стола какого-нибудь грека. У индусов и евреев взгляд на этот вопрос был более мистический, и животные выбирались по особым приметам, выяснение которых было установлено жрецами. Кроме того, существовал и обычай пожертвований (*ex-voto*), которые были разнообразны до бесконечности и стоили иногда весьма дорого.

---

<sup>1</sup> Maury A. Histoire des Religions de la Grèce Antique. – Paris, 1857. – V. II. – P. 99.

Все эти обряды, потерявшие в наших глазах всякое значение и потому представляющиеся ребяческими и пустыми установлениями, имели в глазах невежественного и суеверного народа значение чрезвычайно важное. В них он видел надежные и правильные средства для достижения желаемого посредством влияния на божества. Он относился ко всем этим вздорным мелочам с горячим чувством, страстью. Для его ума, лишенного мало-мальски верного понимания своих настоящих целей и хотя бы приблизительного знания средств для достижения этих целей и, притом еще, запуганного суевериями и лишенного самостоятельности, обстановка культа представлялась плодом глубокой мудрости. Для него она была таинственной, столь привлекательной для невежества. Эта таинственность была только одной стороной медали, изнанкой его собственного непонимания, и он верил, что непонятные для него обряды скрывают нечто реальное, управляющее его судьбой. Он и в случайном движении жреца, и даже в мычании подведенной к жертвеннику скотины видел намеки на такие великие истины, перед которыми он заранее стирался в прах и чувствовал все свое ничтожество.

Что же касается жреца, то в тех случаях, когда он обманывал народ, он являлся перед ним как искусный актер и втихомолку пользовался своим удобным положением как мог или как умел. Тогда же, когда он относился ко всему, что делал, с полной верой, то действовал по рутине и стоял на одном уровне с народом. Этот уровень не находился, однако, в застое. Его повышение влияло на внешние формы культа. Верования начали мало-помалу очищаться от грубого антропоморфизма, и многими обрядами, не совместимыми с новыми воззрениями, прекращали пользоваться. Забылось происхождение многих из них, они потеряли значение в смысле непосредственных отношений к божеству, лишились своего магического характера и остались воспоминаниями, символами мистических отношений между людьми и богами. К ним присоединились многие новые обряды, которые должны были символически представлять смысл новых, более отвлеченных, а, следовательно, и менее понятных для толпы воззрений. Все эти символические, а частью и оставшиеся магические обряды, соединились с мистико-драматическими представлениями раз-

личного происхождения. Таким образом образовались разные так называемые мистерии.

Мистерии встречаются почти у всех народов древности. Мы будем говорить здесь только о греческих мистериях, как о таких, которые достигли наибольшего развития. Они представляют наибольший интерес.

Мистико-магический характер этих мистерий, кроме жертвоприношений, которые в них входили, заключался в том, что при их помощи человек надеялся очиститься от совершенных им преступлений и удостоиться, таким образом, блаженства в будущей жизни. На самофракийских мистериях это очищение было предоставлено особому жрецу, так называемому Коэсу, который совершал это таинство во имя богов ада. Ему исповедовал свои грехи тот, кто хотел участвовать в мистериях, и получал отпущение<sup>1</sup>.

Другая чисто магическая черта этих мистерий заключалась в том, что посвященные в них, узнав таинственные формулы, открытые им жрецами, вызывали тех духов или те божества, в честь которых совершалась мистерия. Так, на самофракийских мистериях вызывали кабиров, и их появлению приписывали чудесное и благотворное влияние на человека.

Наибольшей славой в Греции пользовались элевзинские мистерии, которые совершались в Элевзине, неподалеку от Афин. Эти мистерии делись на малые и большие. Драматически представляя похищение Прозерпины или Кору, ее нисхождение в ад, а после восхождение на небо, они символически изображали те метаморфозы, через которые ежегодно проходила природа, неизменно оживая весной после своего зимнего оцепенения. Впоследствии их смысл стал еще бо-

---

<sup>1</sup> Лизандр, желая принять участие в этих мистериях, явился к Коэсу. Тот потребовал от него исповеди в самом большом из сделанных им преступлений.

– Ты требуешь этого сам или того требуют боги? – спросил Лизандр.

– Боги! – отвечал жрец.

– Так уйди же прочь, – сказал Лизандр, – если боги обратятся ко мне с вопросом, я им открою всю правду.

На подобное же требование Анталкид отвечал так: «Боги сами знают».

лее мистическим. Кора стала символом человеческой души, временно заключенной в темницу тела и потом возвращающейся в свое небесное жилище. Эта реабилитация Кору совершалась благодаря силе ее брата Иакха, воплощавшего тот же принцип, которым совершалось спасение Кору. Мало-помалу значение Иакха, как символа высшего начала, в этой мистерии взяло перевес, и в последнее время существования элевзиний он играл первую роль и был главной пружиной мистерии.

Вот описание больших элевзиний, предоставленное Ламэ. Они совершались в IV веке нашей эры в Афинах, во время пребывания Юлиана, прозванного отступником, перед его назначением цезарем: «Когда Юлиан прибыл в Афины, время малых элевзиний, на которых праздновалось рождение Иакха, уже прошло. Он решился проследить большие элевзинии в качестве миста, т. е. не просто как любопытный, а исполняя все обряды, участвуя во всех таинствах, будучи в одно и то же время и действующим, и зрителем. На протяжении месяца, предшествующего осеннему равноденствию, он постом, жертвоприношениями и молитвами готовился к таинствам. За десять дней до равноденствия иерофант<sup>1</sup> прочел собравшейся толпе условия, необходимые для участия в мистериях. На следующий день берег моря покрылся участвующими, совершавшими предписанные омовения. Вслед за тем в Афинах было совершено торжественное жертвоприношение в храме Цереры. После него участвовавшие в таинствах обращались к Эскулапу с молитвой о здоровье духа и тела. Наконец, на следующий день длинная процессия начала свое шествие: мистагоги несли изображение Иакха, за ними следовали мисты с ветвями в руках. Они исполняли священную пляску и пели гимны. Толпа приветствовала их криками радости и бросала перед изображением Иакха платя вдоль всего священного пути, по которому они двигались. В Элевзин прибыли уже с факелами. Следующую за тем ночь, а также день, продолжалось радостное празднество, но с наступлением второй ночи начиналось похоронное торжество.

---

<sup>1</sup> Иерофант – главное лицо мистерии. Он посвящал в таинства вновь вступающих, или мистов, которые были представлены ему посвященными прежде, или мистагогами.

Храм Цереры Элевзинской был построен в самую цветущую эпоху греческого искусства: размерами он был меньше самой маленькой из наших церквей. В это время он отличался чрезвычайным богатством, так как его еще не успели разграбить. Во время элевзиний он служил для жертвоприношений и других официальных торжеств греческого культа. У подножия холма, на верхушке которого отчетливо обозначалась его грациозная колоннада, была расположена обширная базилика, специально предназначенная для совершения мистерий. В ней происходили ночные бдения и там же, на хорах, мистагоги исполняли драматические представления. Вокруг базилики были разбиты навесы из пестрой материи, под которыми на протяжении так называемой святой недели народ обедал и спал днем. Совершение мистерий давало начало ярмарочному съезду, который располагался со своими лавочками тут же возле базилики. Весь день крик купцов, говор толпы и шум всякого рода придавал этой местности самый оживленный вид, но едва лишь заходило солнце – чрезвычайная тишина и безмолвие окутывали все кругом, раздавалось только пение жрецов и рыдание мистов.

Первое бдение началось пением в один голос. Один из жрецов напомнил содержание малых элевзиний: Кора, сорвав цветок нарцисса, была погружена во мрак ада. Тогда и вся земля погрузилась, подобно Коре, в отчаяние и мрак. Церера требовала у Вселенной возвращения ей дочери, но напрасно. Наконец Зевс, тронутый ее слезами, посетил ее, и у нее родился сын – Иакх, которому предназначалось великое будущее, и который должен был исправить зло, сделанное Корой. Сын вырос, он готов был осыпать человека благодеяниями и вступить в борьбу со своими врагами.

История этой борьбы составляла содержание больших элевзиний. Когда жрец окончил пение, началось представление. В древнейшие времена оно имело форму настоящей драмы, но по мере того, как исчезала наивность этих времен, пользоваться чисто сценическими средствами пробуждения религиозного чувства перестали. Они были заменены символическими обрядами, разными условными движе-



ниями, песнями и молитвами, в которых принимали участие все присутствующие.

Сначала изображалось пребывание Иакха на земле и его мирные победы. Он приглашал своих последователей на пир, на котором предлагал хлеб и вино. Он объявлял им, что родился, чтобы искупить Кору, чтобы снова вознести ее к богам, и что этот день должен быть для всех людей залогом счастья, приготовленного им богами.

Потом начиналась борьба этого божества с силами тьмы. Однажды, когда Иакх шел по берегу моря, морские разбойники хотели захватить его, но он превратился во льва и заставил их спасаться бегством. В следующий раз змея начала было душить его, но он задавил ее своими могучими руками. Эта борьба принимала многие другие формы, но, наконец, Иакх погибал. Тотчас же все факелы погашались в базилике, и толпа расходилась. Во время бдения в следующую ночь гроб павшего в борьбе Иакха воздвигался на хорах. При слабом свете восковых свеч виднелось его тело, над которым был распростерт прозрачный полог. Вся ночь проходила в рыданиях мистов. Гроб покрывали цветами. Женщины стригли себе волосы и прикладывались к ранам скончавшегося героя. Следующее затем бдение посвящалось похоронам Иакха и горю Цереры. Она срывала повязки со своей головы и покрывала свое лицо покровом: тот, который должен был вернуть ей дочь, похищенную адом, лежал мертвым. Ей не оставалось никакой надежды. Обещания Зевса были напрасны, ей самой хотелось умереть. Наклонившись к гробу своего сына, она взывала к богам, но одни только стоны толпы были ответом на ее сетования.

На следующий день эта великая скорбь начинала мало-помалу получать утешение. Появился Гермес и возвестил убитой горем матери, что Зевс ничего не забыл, что он сам провел ее сына в ад. Открыли гроб, а Иакха в нем не было. Тогда подруги Цереры припомнили те постоянные благодеяния, которыми Иакх всегда осыпал людей. «Люди каждое утро уверены, – говорили они, – что солнце снова появится и, однако, у них есть только одна причина для такой уверенности – надежда на богов. Сын Зевса не мог умереть, он, конечно, вновь появился на небе. Более счастливый, чем Орфей, он возвратился с той, за

которой спускался в ад». Тогда Церера, полная надежды и страха, окутывалась в голубое покрывало и улетала в жилище богов.

Следующий великий и последний день элевзиний был полностью посвящен ликованию. Действие переносилось на небо. Церера видела там сына, шествующего во всей своей славе в сопровождении богов, провозглашавших его своим владыкой. Он держал Кору за руку и подводил ее к Зевсу. Церера, полная восторга, долго держала ее в своих объятиях. Боги поздравляли ее.

Юлиан не пропустил ни одной подробности этих церемоний. Все виденные им действия и символы не были лишены смысла. Его восторг возрастал по мере того, как мистерии приближались к концу. В Иакхе он видел гения, сохраняющего и размножающего виды животной и растительной жизни посредством сочетания полов. Он знал, что Иакх в другом отношении был небесным посредником и даже создателем всего живущего. Но не столько чувственная, сколько скрываемая ею духовная сторона мистерии производила на него впечатление. Он знал, что Кора была не что иное, как его бессмертная душа, некогда обитавшая на небе и потом, вследствие своего неразумия, увлеченная на землю и заключенная в темницу плоти. Но божественный логос (слово) не оставил ее забытой в этой темнице. Он также воплотился и осветил своим идеальным светом мрак ее плоти. Он обратил душу к небу, вернул ей бессмертие, боролся за нее и вместе с нею – со смертью и вознес ее, наконец, к Зевсу»<sup>1</sup>.

В числе различных обрядов, входивших в состав мистерий, видное место занимали прикосновения к различным священным предметам<sup>2</sup>, их целование. Эти обряды имели таинственное значение, им приписывали чудесную силу. Разные предметы, бывшие в храмах и использовавшиеся при жертвоприношениях и мистериях, имели значение амулетов, т. е. таких предметов, на которые человек смотрел как на одно из средств, связывающих его со сверхъестественным и таинственным миром духов.

---

<sup>1</sup> Lamé E. Julien l'Apostat. – Pais, 1861. – P. 80-87.

<sup>2</sup> См. Maury A. Histoire des Religions de la Grèce Antique. – Paris, 1857. – V. II. – P. 335.

Амулеты возникли в эпоху фетишизма. Их идея ближе всего к этой первобытной форме верований. Для фетишиста, чуждого отвлеченных понятий, всякий предмет может стать предметом поклонения, так как недостаток его действительного значения он всегда восполняет воображением. Но кроме фетишей, к которым он относился как к божествам – подчиненно, он выбирал себе множество самых разнообразных предметов, которым хотя и приписывал почти такую же магическую силу, как и фетишам, но которые считал себе подчиненными. Он распоряжался ими как господин. Такого рода предметы, называемые амулетами, встречаются у всех диких народов в огромном количестве. Негр весь обвешивается ими, не решаясь без них выйти из дому. В число этих амулетов, или гри-гри, как их называют негры, попадают всевозможные предметы, начиная от раковины или грязной тряпки и заканчивая какой-нибудь европейской вещицей самой тонкой отделки. Обвешиваясь ими, негр думает избавиться от всех бедствий и неприятностей, какие ему могут угрожать. Когда он пугается чего-нибудь, то тотчас же хватается за свои амулеты, как за спасительное средство. Точно такие же амулеты встречаются и у дикарей Австралии. У древних германцев такое же назначение имели маленькие мечи, собачьи зубы и другие предметы.

При переходе к высшим мировоззрениям – политеизму и впоследствии монотеизму – амулеты не исчезают, так что можно сказать, что в этом отношении человек не перестанет оставаться на самой низкой ступени развития. Вся разница заключается только в том, что предметы для амулетов не выбираются так безразлично, как у фетишистов. Между этими предметами и божествами не существует уже того близкого родства, которое заставляет иногда путать гри-гри с фетишем. Впрочем, смысл и значение амулетов не меняется: они остаются той же связью между человеком и сверхъестественным миром, как и прежде, а потому от них продолжают ждать неисчислимых благ. Амулеты выбираются преимущественно среди предметов, выполняющих то или другое назначение в культе, но иногда их силу приобретают иные вещи посредством особых заклинаний, таинственных формул и т. п. В таком случае они называются талисманами. Амулеты

и талисманы известны всем народам. У магометан используются написанные на чем-нибудь главы из Корана или перечисления 99 имен Аллаха. У буддистов – фигурки демонов, у древних греков и халдеев – ожерелья, запястья, кольца с написанными на них таинственными формулами. У израильтян – так называемые филантерии, у католиков – медальоны, статуэтки и т. п. У древних римлян – кольца, диадемы и другие вещи с изображениями таинственных знаков и формул<sup>1</sup>. У древних египтян замечательнейшим амулетом было сделанное из камня или другого материала изображение навозного жука (*scarabeus cantharus*). Весьма интересное собрание таких жуков можно видеть в одной из галерей Эрмитажа.

Замечательными и наиболее чтимыми амулетами были всегда, как мы заметили уже, предметы, использовавшиеся в культе.

На первом месте здесь надо поставить изображения богов, и в особенности, статуи. Между ними и изображаемыми ими божествами всегда предполагалась некоторая таинственная связь, делавшая эти статуи священными. Наиболее суеверные предполагали даже, что боги иногда обитали в этих статуях. По этим причинам в Греции и Риме статуям поклонялись, как предметам, особенно близким богам, и надеялись влиять посредством поклонения статуе на само божество. Вследствие такого взгляда на них, богомольные люди старались лучше украсить и повысить их цену. Их покрывали золотом, дорогими тканями, драгоценными камнями, ставили вокруг них свечи и зажигали курения. Самые суеверные, путавшие понятие о божестве с его изображением, обращались к ним с молитвами и даже целовали их. Цицерон рассказывает, что у одной статуи Геркулеса в Агригенте рот и подбородок были совершенно истерты поцелуями ревностных поклонников<sup>2</sup>. Статуи в качестве амулетов, по народному поверью, совершали разные чудеса, исцеляли. Так, упомянутая выше статуя

---

<sup>1</sup> Les Romains recouraient, pour combattre l'effet des maléfices, du man vais vein et des sortilèges, au fascinum, sorte d'amulette qui était souvent un phallus, ou à un signe rappelant une idée obscène. Из чего можно заключить о разнообразии амулетов. См. Maury A. La Magie et l'Asrtoloque. – Paris, 1860. – P. 72.

<sup>2</sup> Maury A. Histoire des Religions de la Grèce Antique. – Paris, 1857. – V. II. – P. 50.

Геркулеса возвратила зрение одному рыбаку, видевшему перед тем чудесный сон. Другие излечивали от кашля, подагры, делали разные удивительные вещи, например, меняли выражение лица, сотрясали бывшими у них в руках копьями, наводили своим видом ужас на неприятеля и т. п.

Кроме статуй, хранились в храмах тела и кости героев, совершавшие не меньшие чудеса, чем статуи. Так, в храме Зевса Олимпийского в Афинах хранилась в золотом ящике кость плеча Пелоиса. Не меньше ее чтились в Греции палец ноги Пирра, тело героя Идаса, воспетого Гомером, тело Тезея, голова Орфея и многое другое.

Вещи, которые, по преданию, принадлежали разным героям, также хранились и творили чудеса. В греческих храмах таких вещей было множество, и так как обладание ими обогащало жрецов, то разным естественным предметам приписывалось чудесное происхождение. Так, например, в Трезеле показывали оливковое дерево, выросшее из палицы Геркулеса, воткнутой в землю.

Возвратимся к жертвоприношениям.

Мы сказали уже, что этот обряд был связан с идеей чудесности, которая выразилась в самых разнообразных проявлениях не только в отношении к самим жертвам, но и ко всему с ними соприкасающемуся. Наконец, она развилась до своих крайних заключений в стремлении, посредством тех же жертвоприношений, угадывать будущее. Магические обряды стали чудесными средствами для ответов на важнейшие вопросы человеческой жизни. Как восстановить нравственную чистоту и найти общий язык с богами, т. е., со своей совестью? Как умиловить божество и заставить его благоприятствовать человеку? Как найти скорое исцеление от болезней? Как отвратить от себя грозящее бедствие и найти опору в каждом частном случае? Как угадать будущее и раскрыть тайну всякой неизвестности? На все эти вопросы ответы находились в обрядах культа, а на последний из них – в самом процессе жертвоприношения. Когда приносилась жертва, то, естественно, сам собою возникал вопрос о том, приятна ли она богам, будет ли она принята ими, умиловит ли она их? Желая решить этот вопрос, стали наблюдать за всеми подробностями явлений, кото-

рыми сопровождался обряд и которые были вне власти приносящих жертву. Направление и сила огня, его цвет и другие подробности горения, как явления непонятного и потому таинственного, считались указаниями, по которым можно было делать заключения. Наблюдали за животными, подводимыми к жертвеннику, и в их движениях, голосе, положении тела искали такие же указания. Гадание по жертвам возникло, таким образом, из мысли о разрешении вопроса, непосредственно относящегося к самой жертве. Этот вопрос имел такую важность, что возможность его разрешения быстро привела к разрешению других вопросов. Возможность заглянуть в будущее при храмах переросла в целую систему прорицаний, способы которых со временем усложнились и разнообразились до чрезвычайности.

Упомянутые выше простые способы гадания по огню и виду приносимых в жертву животных встречаются у арийцев, пелазгов, греков и других народов. По крайней своей простоте они не могли удовлетворять, конечно, потребностям постоянно усложнявшейся жизни, поэтому начали изобретать новые способы гадания, достоверность которых могла быть объяснена только непосредственным внушением божества. Прежде всего, перестали гадать только по внешнему виду животного и перед тем, как сжечь, стали его вскрывать и смотреть на его внутренности. Но и этого было мало. Разные предметы в храмах и даже вне них давали повод жрецам к гаданию. Каждое из совершавшихся в храмах чудес, о которых было рассказано выше, например, сотрясение копьем статуи какого-нибудь бога и т. п., считалось таким или иным предзнаменованием. Сны, которые случалось видеть остающимся спать в храмах, тоже объяснялись как предсказания. Случайные звуки, крики, слова, которые вырывались при жертвоприношениях у присутствующих, получили тот же смысл. Наконец, в разных местностях были изобретены особые своеобразные способы гадания. Например, в одном из храмов Гермеса в Аркадии всякий мог погадать следующим образом: сразу надо было зажечь курение перед статуей этого бога и, положив в указанное место монету, прошептать свой вопрос на ухо статуе. Потом заткнуть уши и выйти на площадь, на которой первое услышанное слово и было ответом на вопрос. В

храме Геркулеса в Ахайе всякий гадавший бросал камешки на мраморный стол и, справившись с находившейся тут объяснительной таблицей, получал ответ в соответствии с положением брошенных камешков.

Народные суеверия, находя себе опору в имевшихся для них авторитетах, представителях культа, создали те бесчисленные формы гадания, которые сохранились до нашего времени. Толкование снов, виденных в храмах, перешло в толкование всяких снов. Мысль о предзнаменованиях, связанная с разными непонятными явлениями, стала всеобщей, и появление комет, например, стало ассоциироваться с народными бедствиями. Вообще воображение создавало самые дикие ассоциации идей и считало их истинами, так как мысль еще дремала, а знание, с его могущественной разрушительной силой, еще не появилось. Нередко предсказания и суеверия всякого рода, получая в глазах народа как бы подтверждение, укреплялись и распространялись. Так, например, упомянутая выше вера во влияние комет может считаться всеобщей. И неудивительно. Какая же комета на самом деле не сопровождалась народными бедствиями, когда комет так мало<sup>1</sup>, а бедствий так много?

Не стоит здесь перечислять разные способы гадания и вообще распространяться о них. Достаточно было связать это суеверие с общей массой всех других, о которых говорилось выше, и показать, что этот вздор – родной брат другому такому же вздору. Хотя он, однако, не разжалован и до сих пор считается у многих *образованных* людей совсем не вздором. Итак, сделанный нами обзор магии показал нам, что начатки знания, смешанные с разными суеверными обрядами, всегда составляли ее содержание. Едва только пробудилось сознание в человеке, как он уже инстинктивно почувствовал возможность повелевать окружающей его природой, и первые его усилия были направлены именно в этом русле. Но, не имея идеи об изучении естественных явлений и открытии управляющих ими законов, знанием ко-

---

<sup>1</sup> Ныне известно только от 500 до 600 комет, и то большая часть их не видна невооруженному глазу.

торых он бы мог пользоваться в соответствии со своими желаниями, он вообразил себе природу такой, какой она показалась ему с первого взгляда. Он придумал ей хозяев, во всем подобных себе, и надеялся посредством влияния на них управлять ею. В соответствии с таким взглядом на природу, он придумал систему способов, которые должны были подчинить ему духов и демонов, заставить исполнять его желания, доставлять ему все нужное, благоприятствовать ему во всем и даже открывать будущее.

Таким образом, магия расширилась, распространилась и охватила все потребности жизни. Всем им она старалась угодить и, владея неразвитым и робким умом человека, заменяла ему всякое действительное знание, преграждая путь к открытию истины. Такая претензия казалась человеку тем более основательной, что явления внутреннего мира были для него такие же (если не больше) загадочные, как и явления внешнего мира. В них он находил неограниченное удовлетворение своего стремления к сверхъестественному.



## ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И КНИГА УЭВЕЛЯ

(Сочинение Уэвеля В. История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени. В 3 т. / Пер. с англ. Антоновича М. А. и Пыпина А. Н., с примечаниями и биографическими приложениями, составленными по немецкому изданию Литтрова. – СПб., 1867.

Томы I, II. I-й выпуск III тома).

Появление в переводе столь замечательного произведения, как «История индуктивных наук...» Уэвеля<sup>1</sup>, не может быть оставлено без внимания. Мы считаем необходимым при этом указать читателям как общее значение предмета, о котором здесь идет речь, так и место, занимаемое недавно умершим автором в ряду писателей по этому предмету.

Во вторую четверть XIX века взгляд на историю и ее задачи существенно изменился: войны и церковные события, дворцовые интриги и дипломатические комбинации, наполнявшие почти все содержание истории до того времени, стали терять свое значение для историков. Они видели около себя богатую и влиятельную буржуазию, были современниками или ближайшими преемниками значительных национальных движений и чувствовали на себе и всем окружающем, что скромная книга или публицистическая статья иногда важнее официального закона, что за формами признанных учений и обрядов волнуется общественная мысль с ее знаниями, верованиями и предрассудками, что под однообразием администрации остается нетронутым разнообразие рас, языков, образа жизни, обычаев и привычек. Появились истории цивилизации, истории культуры, истории философии и т. д. Старались под пестрой наружностью событий обнаружить настоящую струю истории человечества. Конечно, при этом

---

<sup>1</sup> Это имя пишется и выговаривается разнообразно. У нас во многих трудах принято передавать его так, как сделали переводчики, но другие находят, что Whewele будет вернее Юэль.

обратились преимущественно к литературе, что было естественно, потому что писали ученые, горожане, более или менее удаленные от народа, кабинетные труженики, прошедшие большую часть своей жизни среди книг, для которых жизнь вне литературы представляла мало интереса. Тогда время не пришло еще, как оно не пришло, по-видимому, и теперь. Писать историю всего человечества, обращать внимание на огромное большинство, безграмотное, погруженное в предрассудки, заваленное безысходным трудом и нуждой, чуждое дипломатии и государственных соображений, не понимающее ни богословских, ни метафизических тонкостей, не знающее ни любимой трагедии, ни знаменитой картины. Эту толпу оставили пока в стороне, отмечая по временам периоды голода, разорения, эпидемий, нищеты или бунты масс, скоро раздавленных. Так поступали и средневековые писатели, и новые историки первой половины XIX века. Они захотели писать историю цивилизованного меньшинства, и это уже был значительный шаг вперед по сравнению с прежней историей Людовиков, Иннокентиев, Фердинандов и Лютеров.

Естественно, возникал вопрос: в чем же заключается история цивилизованной части общества? Ответ на него взят был историками первой половины XIX века из их современности. Это была эпоха поэзии и философии. В Германии Гете и Шиллер были какими-то лучезарными божествами, которым можно было только поклоняться. Даже не возникал вопрос относительно того, кто из них выше, божественнее. Под ними копошился целый мир полубогов: лириков, эпиков, драматургов. Романтики школы Тика и Ламот Фуку из кожи лезли, чтобы поставить своих божков-титанов хоть немного поближе к божествам первого разряда. Во Франции титаны завоевали Олимп: древние боги псевдоклассической эпохи были низвергнуты. Лирика Гюго и Ламартина была знаменательным открытием; публика толпилась под театрами с надеждой посмотреть Трибулэ и Антони; французский роман завоевал Европу с меньшим сопротивлением, чем оружие Наполеона. В Англии заканчивалась эпоха Байрона, Мура, Вальтера Скотта, Уордсворта. Понятно, что историки, видевшие такое значение изящной литературы, придавали ей особую важность во все периоды.

Но изящная литература имеет свои особенности, которые делают ее популярность или упадок не совсем верными признаками расцвета или упадка цивилизации. Оценка ее значения не отделима от оценки красоты формы. Самый компетентный писатель, если его произведения не отличаются красотой формы, не может занять высокое место в глазах беспристрастного историка изящной литературы, в то время как за самыми безнравственными флюгерами в области убеждений этому историку приходится признать иногда немаловажное значение. Развитие чуткости к красоте формы и способность воплотить схваченное впечатление в патетическую речь, не зависят ни от умственного развития, ни от гражданской доблести. Мы видели и *видим* примеры, что самые дрянные во всех отношениях личности могут быть замечательными художниками слова, кисти, резца или мелодии. Причины, развивающие в отдельной личности эту особенность, составляют еще не решенную психологическую задачу. Тем менее, можно решить вопрос о том, почему в данную эпоху одновременно появляется несколько оригинальных личностей, обладающих этой особенностью. Заметьте, я не говорю о массе подражателей, появляющихся на свет Божий благодаря привычке читать чужие произведения и восхищаться ими. Но почему одновременно жили Вергилий, Гораций, Тибулл, Овидий? Почему Гете, Шиллер и Байрон были современниками? Эти вопросы можно решить лишь путем предположений, которые здесь, во всяком случае, были бы неуместны. Но идем далее. Если великие эпохи художественного творчества нам неясны, как *следствия*, то можно ли их признать за важные исторические *причины* последующего развития? Едва ли. Вычеркните из всеобщих историй (во многих это и не упоминается до сих пор) страницы о великих поэтах времен Октавия Августа и спросите себя, многие ли из последующих явлений в истории человечества сделаются вам от этого неясными? Проанализируйте современную жизнь в ее главных проявлениях и скажите, сколько ее элементов восходит к поэтам начала нынешнего века? Главное и незаменимое влияние художников окажется в том, что они воплощают расплывающиеся стремления и отвлеченные мысли в бессмертные личности, понятные большинству, и, таким образом, ставят

современные вопросы на более определенную почву, помогая потомству легче разгадать их эпоху с помощью небольшого поэтического произведения, чем при посредстве многочисленных трактатов. Но, делаясь одним из лучших исторических *материалов* (в этом отношении только *замечательные* художники и дают *хороший* материал), искусство еще не приобретает исторического *влияния*. Это влияние существует, не спору, потому что воплощение нравственного идеала или отвлеченной идеи в художественный идеал усиливает действие первых на общество. Но степень влияния искусства на историю так неопределенна, что придать ему преобладающее значение в развитии цивилизации невозможно. Мы не можем более детально рассматривать этот вопрос, вполне достаточно будет, если читатель из вышесказанного сделает заключение, что периоды процветания изящной литературы, то есть одновременное появление нескольких замечательных художников слова, не могут быть рационально приняты за главные эпохи истории человеческой цивилизации, что прекрасная *форма* может быть лишь названа цветом этой цивилизации, а историку приходится обращать особое внимание на *содержание*.

Новая школа историков начала нынешнего века прекрасно поняла это, и вопрос, в чем именно следует искать содержание литературы, не поставил ее в тупик. Конечно, в философии. Это была эпоха, когда во всех немецких университетах самые многочисленные слушатели толпились около кафедр Шеллинга, Гегеля, их учеников и противников. Это было время, когда Кузен, Жуффруа, Мэн де Биран создавали французский психологический эклектизм. Немудрено, что философия вошла самым важным элементом в историю цивилизации. Под формами культа, под формулой догмата, постановлением юриста, в мифе, загадке, обычае и государственном перевороте стали искать *идею*.

Но затем возник вопрос: откуда появилась та или другая идея в ее многообразных формах в данную эпоху? Как рождаются, перерождаются и умирают идеи? Какова их преемственность? На это должна была отвечать и отвечала история философии. Германия и Франция дали весьма много замечательных произведений в этой области. Ли-

тература стала единственной живой областью философии с того времени, когда рухнул авторитет немецкого идеализма, а французский эклектизм поддерживался лишь влиянием административной централизации преподавания в руках *одного* университета. Но мало-помалу развивается сознание, что в этой замечательной литературе есть важный недостаток – односторонность. Возьмите историю философии Гегеля, Кузена или Риттера, замечательные истории философии Целлера или Брандеса, историю новой философия Куно Фишера, историю неоплатонизма Вашро или Симона, историю схоластики Гора или Руссло – везде вы найдете один характер. Философы разного времени являются какими-то уединенными мыслителями, перенимающими друг от друга традицию метафизических систем, живущих лишь со своей мыслью, не знающими почти ничего о современной им жизни, ее вопросах, борьбе, предрассудках. Это какой-то выделенный из всего остального мир. Но если философия имела *только* такое развитие, то она должна занимать столь же мало места в истории человечества, как история аскетов, передающих один другому свою келью в уединенной киновии и размышляющих о тщете всего мирского. Лишь то влияет на жизнь, что ее воспринимает и в ней участвует. Если в обычае и учреждении, в сказке и догмате, в действиях личностей и переворотах государств проявилась *идея*, то она не была лишь традицией, передававшейся от одного мыслителя другому, а имела свои корни в общественной жизни, а системы философов были лишь наиболее яркими ее воплощениями. Имея замечательные истории *философских систем*, у нас была только часть дела, нужная для истории цивилизации. *Преемственность идей* осталась нераскрытой. У нас есть их выражение, систематическое соглашение, но мы не имеем их развития из истинных начал, жизни общества. У нас нет истории *философии*.

Посмотрев внимательно на то, что входило в состав нынешних историй этого предмета, действительно можно усомниться в том, можно ли придать какое-либо значение в истории человечества этому содержанию. Атомы Демокрита и гемеомии Анаксагора, получеловеченные идеи Платона, демонический мир неоплатоников,

спор реалистов и номиналистов, предустановленная гармония Лейбница, *Я и не Я*, или безусловное новых идеалистов, — все эти метафизические создания *бесспорно* великих умов представляются такой дикой фантазией, если их взять самих в себе, такими чуждыми для жизни отвлеченностями, что у всякого нового человека невольно возникает вопрос: допустив даже, что это весьма интересные продукты мышления, что они представляют *между собою* генетическую связь, — что за связь существует между этими абстрактами и человеческой историей? Не могла ли последняя развиваться совершенно так же, как она развилась, если бы даже вовсе не существовало этих почтенных мыслителей? Неужели всего существеннее в цивилизации именно то, что доступно только особенно развитым единицам, рассеянным на пространстве нескольких тысячелетий? Если философия заключается *только* в этом, то за что ей давать в разумной истории человечества места больше, чем подвигам завоевателей или хитростям дипломатов?

Конечно, философия заключается не только в этом. Метафизические создания — лишь удобнейшие формы, в которых концентрируются и передаются миросозерцания, живущие в обществе, переплетенные со всеми его отправлениями, составляющие нераздельный с жизнью общества элемент этой жизни. В философских системах эти миросозерцания получают свое завершение: цельную, стройную форму, согласованную во всех своих частях и сформулированную в правильное учение. Только в этой форме они проявляют более полное влияние на жизнь, но форма *философских систем* — лишь *орудие* этого влияния, причина же лежит в *содержании миросозерцания*. Оно иногда долго бродит в отрывочных чертах в разных проявлениях жизни, по частям округляется различными *мыслителями*, пока не попадет в голову *философа*, способного облечь его в систему. История философии должна заключать историю развития и перерождения миросозерцаний, как в их содержании, так и форме, и в эту историю философии (еще принадлежащую будущему) философские системы с их преемством войдут лишь как элемент. Будем благодарны историкам философии последнего времени, что они разработали *этот* эле-

мент для некоторых периодов в высшей степени добросовестно и полно, но не забудем, что задача будущего другая, что для истории цивилизации человечества важнее содержание миросозерцаний, чем их форма. Она принадлежит единицам, а содержание составляет важнейшее достояние общества. В нем выражается, как общество в данную эпоху *понимает* природу и жизнь, а не только бессознательно ими пользуется.

В чем же состоит содержание общественных миросозерцаний? Это самый важный вопрос для истории цивилизации, и он должен быть решен прежде, чем эта история может быть построена надлежащим образом. Материал этого содержания должен быть собран и как можно более тщательно обработан в специальном историческом развитии прежде, чем история идей получит свою окончательную форму.

В миросозерцание человека входят два элемента – представления и понятия, полученные по преданию или вследствие влияния окружающей среды и *не проверенные* критикой, а также представления и понятия, проверенные критикой, доказанные, *продуманные*. Первые составляют область привычек, обычаев, верований, вторые – область знаний и теоретических взглядов. Теоретические взгляды сводятся на более или менее ловкое и стройное соглашение прочих областей точно так же, как обычаи при внимательном исследовании распадаются на привычки и верования. Затем эти три элемента – привычки, верования и знания – остаются, как основное содержание человеческих миросозерцаний, коренящееся в человеческих *потребностях*, развивающееся в самые разнообразные формы человеческой культуры и мысли. Например, в деятельность государственного человека, как в мечтания аскета; в промышленное предприятие, как в лирическую песнь; в жизнь островитянина Таити, как в систему философа.

Итак, в основу истории цивилизации должны лечь: история привычек, история верований, история знаний. Для первых двух материал представляется еще в сложном виде, как история культуры, история костюма, история религий и т. п. В этом сложном виде построение истории почти невозможно, и на все попытки на этом пути

можно смотреть лишь как на весьма почтенные труды, которые станут основой будущих работ, но весьма далеки от того, чем должны быть эти работы в последующее время. Недостаток сохранившегося материала, может быть, и никогда не приведет в этих областях к какой-нибудь стройной истории, разве только успехи психологии дадут возможность применить здесь выводной метод в такой мере, которая теперь была бы совершенно не научна. Несколько легче обработка истории знаний, тем более что издавна материал этой области собирался и представлялся частью в виде литературных произведений, частью – как основа ремесленных производств, продукты которых или подлежат прямому наблюдению, или засвидетельствованы исторически. Заслуга сближения философского построения с современным состоянием знаний принадлежит трем философам: Аристотелю, Франсису Бэкону и Огюсту Конту. Только первому это удалось в полной мере, потому что он был для своего времени и всесторонним ученым, и глубоким философом. Бэкон стоял, в отношении знаний, ниже уровня своих замечательных современников и смог только построить методику теории знания, но указал на важность исторической обработки литературы. Конту недоставало философского взгляда, но он первым резко выставил философское значение истории науки и попытался вывести эту историю из философских начал.

Отличие знания от науки – вопрос терминологического определения, и в его решении далеко не все согласны, но, кажется, вернее всего рассматривать науку как *понятное* знание, как сумму ответов на *определенно* поставленные вопросы. Все наши действия основаны на некоторых знаниях. Едва ли их можно отрицать в некоторой степени у животных, по крайней мере, высших. Они необходимы дикому, стоящему на низшей ступени человеческого развития, они входят в круг представлений самого невежественного ремесленника. Наука начинается с той минуты, когда мы *понимаем* основу наших действий, когда между элементами технического процесса и его результатом в нашем уме образовалась рациональная связь. Поэтому история науки основывается преимущественно на литературных памятниках. Она также не имеет нужды обращаться к весьма глубокой древности,



так как лишь определенная степень цивилизации обуславливает возможность *научного* понимания явлений. Ограничение программы делает составление истории науки легче, чем истории знаний, и, следовательно, более удобной подготовкой к последней. Большее затруднение возникает из-за того, что история науки требует строгого отделения последней как от области отрывочных знаний, так и от философских построений.

До сих пор история науки практически не имела места во всеобщей истории. Между тем, уже давно было понятно, что последней в некоторых местах не хватает чего-то для рациональной связи предыдущих событий с последующими. Для краткости укажу только на два пункта.

Издавна в средневековой и всеобщей истории существовал отдел под названием «Влияние крестовых походов». Он был более или менее обширен, в зависимости от остроумия и многословия писателей, но в общем неудовлетворителен. Потребность в нем возникала из очевидной разницы в жизни Западной Европы XIII века от жизни той же Европы в XI веке. Умозаключение было простым: изменение произошло. Одновременно с ним совершался ряд событий, о которых много написано в хрониках, романах и стихотворениях. Наверное, как предполагали, изменение было следствием *этого* ряда событий. Остается только узнать, как эта связь обуславливалась в частности. Но тут все остроумные соображения оказывались недостаточными – они объясняли одну часть случившегося изменения, но оставляли нетронутыми другие его стороны. Знакомство с мусульманским миром, как мы *теперь его знаем*, не могло иметь цивилизующего влияния. Мусульманский мир был тогда иной: владычество арабов было владычеством цивилизованного народа. Но крестоносцы встретили уже не арабов, а сельджуков, следовательно, объяснение не подходит. Правда, говорят толкователи, арабы влияли через испанские калифаты, и их сочинения, переводимые в многочисленных еврейских школах, послужили для пробуждения Европы. Оказывается, что крестовые походы были сами по себе, а рядом с ними шло другое, весьма сильное влияние, о котором мало писали, но которое оказалось очень зна-

читательным, а в отношении цивилизации даже преобладающим. Но посмотрим, что дали Европе арабы? Например, перевод древних авторов, которых перевели сами с сирийского языка. Конечно, гимназист, как и студент, прочитав или выслушав подобное общее изречение, немедленно представит себе «Энеиду» и «Илиаду», «Метаморфозы» Овидия и «Идиллии» Феокрита, драмы Софокла и комедии Теренция в многочисленных переводах с греческого и латинского на сирийский, с сирийского — на арабский и так далее. При этом гимназист или студент вспомнит то, что слышал о дурной латыни Средневековья, с которой его, заметим, никогда не знакомили. Он сделает вывод, что у средневековых читателей был весьма чуткий вкус к изящному, если они были в состоянии чувствовать подлинные красоты в переводах, по всей вероятности, крайне плохих. Так как об этом история не распространяется, то избранный нами гимназист, или студент, так и останется при своем убеждении: для него *вся* древняя литература, стоящая внимания, заключается в поэзии и истории. Если у него есть приятель по медицинскому факультету, тот расскажет ему, пожалуй, о Гиппократе и Галене, и то едва ли, потому что у наших медиков много времени отнимают современные врачи, и знакомиться с врачами древности им некогда. Но если упомянутый гимназист услышит эти имена, то большей частью окажется, что они ему чужды. Он только поймет, что вне поэзии и истории в древней литературе было еще кое-что. Допустим (совершенно невероятное предположение), что он заинтересовался вопросом и захотел справиться в иностранных книжках, переводили ли арабы этих новых для него знаменитостей. Он откроет тогда, что арабы *вовсе* не переводили и не сообщали Европе *ни одного* древнего поэта, что их знакомство с древним миром ограничивалось все такими же знаменитыми незнакомцами (для него, гимназиста) — Аристотелем, Евклидом, Архимедом, Гишпархом, Птолемеем. Когда же жили эти господа? Конечно, в век Перикла или Августа: насколько помнит ученик, других славных веков древней литературы не было. Увы, ни тот, ни другой *славный* век не дал ни одного из этих учителей. Они жили позже Перикла: одни в век презренных диадохов, другие — во второй период империи. Лишь

имя Аристотеля, учителя Александра Великого (только этим, большей частью, известного), звучит знакомо: гимназист, пожалуй, слышал, что Аристотель *сочинил* силлогизмы (за что не раз подвергался проклятиям юного поколения). Студент даже знает, что реалисты и номиналисты в своих спорах ссылались на Аристотеля, как метафизика. Но тут возникает противоречие. Как же это? Первое и самое знаменитое столкновение номиналистов с реалистами – столкновение Ансельма с Росцеллином, а оно предшествовало знакомству Европы с арабскими писателями. И опять, при внимательном рассмотрении, оказывается, что арабы познакомили Европу не с логическим и метафизическим учением Аристотеля (с ним были знакомы плохо, но все-таки были знакомы раньше), а с его трудами по *науке*. И все авторы, которых узнала Европа при посредстве арабов, были *ученые*. И замечательное изменение в образе мыслей средневекового цивилизованного общества в XIII веке должно быть приписано распространению древней *науки* при помощи арабов, так что неплохо было бы историкам заменить параграф «Влияние крестовых походов» более широким заголовком. Изменение средневековой жизни в упомянутый период останется совершенно неясным и непонятным ученику, если ему не будет объяснено, что:

1) влияние арабской цивилизации на европейскую заключалось главным образом во влиянии *научном*, и что *только* в этом отношении арабы были посредниками между древним и новым миром;

2) калифаты можно считать цивилизованными, выделив им видное место в истории человечества. Причем не потому, что в них строились великолепные дворцы и мечети, а потому, что в них были первостепенные для своего времени *школы*, а также частично была развита *наука*;

3) в древнем мире, кроме поэзии, истории и метафизики, мысль работала еще и в другом поле, и труды ее на этом поле были *самыми плодотворными* для последующей цивилизации. Это поле – *наука*. Без понимания древней науки мы будем иметь ложное понятие о Древней Греции и Древнем Риме, особенно об их влиянии на после-

дующее развитие человечества. Итак, рассмотрение *одной* эпохи истории привело нас к необходимости разделить рассмотрение истории науки на три периода жизни человечества.

Но перейдем к более новому времени. Между средневековой жизнью и второй половиной XVII века практически ничего не осталось похожего. Это не только изменение, а основной переворот (конечно, я говорю о цивилизованном меньшинстве). Историкам приходится внести здесь отдел столь же крупный, как тот, который заключается между древним и новым миром. Но где поставить предел? Какое событие здесь особенно заметно? Какое, если и маловажное само по себе, характеризует ярче всего происшедший перелом? Ромул Августул сам по себе ничто, но он *последнее* реальное доказательство древнего всемирного превосходства Рима. Поэтому 476 год остается общепризнанной точкой раздела. Он заключает событие, *символизирующее* собою существеннейшее явление периода: замену древнего мира средневековым. Но какое событие играло подобную роль в следующий переломный момент истории? Конечно, не падение Византии, остававшейся уже давно в стороне от общечеловеческой истории. Да и не поход Карла VIII в Италию – событие, еще недавно столь любимое поклонниками политического равновесия. Союзы, военные соперничества и стремление к завоеваниям составляют весьма сходную черту в деяниях всех завоевателей и в истории всех государств Востока и Запада. Союзы становятся обширнее и крепче, войны меняют характер вследствие появления удобств в международных отношениях, смешении национальностей. Следовательно, новый характер политических союзов с конца XV века надо искать не в них самих, а в том, что увеличило удобство отношений между европейскими государствами и сблизило членов европейского общества между собою. Идея политического равновесия – одно из многочисленных явлений, происшедших вследствие сближения европейских наций, но лишь тот историк может придавать этому явлению преобладающий символизм, для которого политические отношения кабинетов составляют

самый важный элемент истории. Эта точка зрения, кажется, принадлежит прошлому.

Историки, придающие большое значение цивилизации, замечают, что переворот совершился преимущественно в области мысли. Авторитет пап и римского учения, составляющий главный предмет мысли и главный центр действия в Средневековье, для приверженцев, как и для их противников, как бы внезапно теряет этот характер. Этот авторитет стараются *обойти*, оставить в стороне, предоставляя ему, как и Византии в Средневековье, жить, пока живет, но оставляя ему все меньше места в жизненных интересах. Какое же явление наиболее символизирует это изменение? «Конечно, – говорят немцы, – Реформация. Это был взрыв новой мысли, пробуждение новой Европы. Новая Европа создана Лютером и немцами». Что Реформация была протестом против папской власти, бесспорно, но насколько она характеризовала *новую Европу* – вопрос весьма сомнительный. Разбирать его подробно здесь не место, но укажу на немногие обстоятельства. Реформационное движение дало обширную литературу, но пусть современный критик сравнит ее, с одной стороны, с современной *руководящей* литературой, а с другой – с произведениями Фомы Аквината, Жерсона и других средневековых учителей последнего периода. Пусть он добросовестно признается, что это, скорее, возрожденная схоластика, чем предшественница мысли нашего времени. Остался ли хотя бы *один* живой вопрос из этой полемики или вся она перешла настолько же в невозвратное минувшее, насколько в него ушли вопросы, разделявшие Абеяра и Бернара Клервуйского, Августина и Пелагия? Скажут, что этот *второй* переворот мысли совершился в позднейший период. В таком случае и Реформация была только предшественницей Нового времени, а не его символом. Да и посмотрите, как недолго жила она настоящей жизнью: не прошло и 100 лет после смерти Лютера, как католический кардинал заключил союз с протестантским королем против католического императора в религиозной войне. Прочтите литературу так называемых *симплициссимусов*, то есть, литературу пройдох времени Тридцатилетней войны, перебегавших из лагеря в лагерь, и спросите себя: важную ли

роль религиозное движение играло в этой весьма распространенной литературе? Вы иногда остаетесь в недоумении: к какому исповеданию принадлежат и автор, и герой, но, во всяком случае, находите в них совершеннейший индифферентизм относительно папских булл или мнения Лютера. Реформация была последней попыткой возрождения средневекового мира, последним ярким явлением заканчивающейся истории, как некоторые римские императоры II и III веков, или римские юристы и неоплатоники были представителями последней борьбы древнего мира со средневековым. Они бессознательно вносили в свою деятельность новые элементы, неумолимо разрушавшие старое, но боролись за *старое*. Реформация все больше проникалась новой жизнью, она способствовала падению предшествовавшего ей строя, но хотела *поддержать* и *возродить* этот строй в его существенных основаниях. Она боролась за *старое*.

Историки романских народов придают особое значение эпохе так называемого *Возрождения*, то есть ближайшего знакомства с греческими оригиналами в XV и XVI веках, и поклонения, почти религиозного, древнему миру. Бесспорно, это был протест против авторитета Средневековья, для которого древний мир, как мир языческий, был предметом осуждения. Особенно ярко проявился этот протест потому, что прозвучал громче всего в Италии, около папского престола, и даже нашел сочувствие у некоторых пап. Но и поклонение древности не было характерным отличием новейшего мира от средневекового. Всем известно, каково было значение в схоластике, не говорю уже Аристотеля или Платона, а каких-нибудь остатков древней мысли: сокращений, извлечений и т. д. Что было налицо в монастырях XI или XII века, то читалось со страстью, изучалось до галлюцинации, переписывалось много раз. Да и было-то в этих монастырях чересчур мало древних порядочных авторов. И насколько уважение к древнему миру осталось непобедимо в Средневековье под грудой проклятий, которыми осыпали этот побежденный мир, видно из того обстоятельства, что легенда о *четвертом* учителе западной церкви, Григории Великом, говорила, что он вымолил из чистилища душу Траяна, тогда как в бретонской легенде св. Кадок молится о душе Virгилия. Жажда

изучать древний мир была тем сильнее, чем менее его знали. Там предполагали неисчерпаемую мудрость, всеобъемлющее знание. Эпоха Возрождения была лишь *продолжением старого*. Внезапно могло быть удовлетворено страстное желание прочесть греческих учителей. Причем недавно изобретенное книгопечатание позволяло распространять эти предполагаемые сокровища мысли с чрезвычайным удобством. Вся цивилизованная Европа бросилась на этот источник — и разочаровалась. Даже для главного учителя Средневековья — Аристотеля — наступила пора забвения: после Казабона (1590) и Дюваля (1619), на протяжении 172 лет, до Булэ (1791), его сочинения ни разу не издавались.

И на самом деле, новая Европа почувствовала, что ее жизненные вопросы отличаются от вопросов древнего мира. Его остатки вошли в новую жизнь, как обломки древних храмов и дворцов входили в Средневековье в постройку римских католических церквей, или как пища входит в состав живого организма. *Цельного* из него ничего не осталось. Юристы изучают римское право (в его самой жизненной форме — форме юстиниановских сводов), но государственный строй передовых народов Европы больше восходит к варварским витенагемотам и судам пэров, чем к постановлениям преторов, опираясь на теории естественного права и факты политической экономии, совершенно не известные древним. Профессора философии возводят свое учение к знаменитым именам Платона и Аристотеля, а профессора литературы превозносят неподражаемые красоты гомерических поэм, афинских драм, римской лирики. Но лишь с некоторым напряжением в учениях XIX века можно найти связь с древней академией и древним лицом: Гегель и Конт, Кант и Локк, Декарт и Бэкон — вот *бесспорная* генеалогия для большинства мыслителей, дальше идут очень тонкие соображения полумифического свойства. Что касается преемственности нашей изящной литературы от «Одиссеи», «Эдипа», «Лягушек» или «Оды меценату», то, признаюсь, сама мысль о подобной преемственности в области *оригинального* искусства мне непонятна, разве что как наш органический мир состоит из частиц, входивших во флору и фауну времен Аристофана. Замечу еще, что наши медики

(впрочем, не во всей Европе) сохранили обычай писать рецепты на языке учеников Галена, но каждый медик рассмеялся бы над невеждой, который бы серьезно спросил: насколько современная медицина сохранила традицию древних медиков. То, что и сохранилось в ней от их времени, прошло через критерий *новой* критики, войдя в новую науку на основе *современных* наблюдений, как бы оно никогда и не заключалось в древних сочинениях.

Возрождение и Реформация *не составляют* первой эпохи Нового времени. И то, и другое принадлежит *старому*. Средневековые формы были невыносимы для мыслящих людей. Как только им представился случай восстановить традицию древнего мира, они с жаром бросились это делать, хотя достаточно скоро этот путь оказался непроходимым. Попробовали вернуться к традиции первых веков нашей эры, до Августина и Афанасия, как этого требовали многочисленные сектаторы Средневековья: оказалось, что ни человек, ни народ, ни человечество не могут еще раз пережить свое прошлое. Новое время не отвернулось от этого прошлого, которое хотели восстановить периоды Возрождения и Реформации. Оно даже с большим уважением относится к своему прошлому, но не *поклоняется* прошлому, не пытается *вернуться* к нему и *научиться* от него. Оно его *изучает* для своих целей, со своей точки зрения.

Есть еще события, на которые указывают историки, как на грань между средневековым и новым миром, – это открытия Колумба, Васко де Гама и их сподвижников. Тут, бесспорно, мы имеем нечто новое, но спросим себя, в чем особый след этих событий? В государственном мире все продолжает идти по-старому. Колониальные вопросы и расширение круга государственной деятельности увеличили превосходство больших держав над малыми. Голландия и Англия заменили в торговом отношении Венецию, Геную и Ганзу, а колониальные компании – евреев и футтеров. Но политика и международные отношения в XVII и XVIII веках весьма мало отличаются от средневековых: тот же грабеж слабого сильным, то же возвеличивание подвигов завоевания, та же хищность в политических привычках. Даже почти те же приемы дипломатии: чем размен городов и провинций на



Вестфальском мире или переход итальянских владений в XVIII веке от членов австрийского дома к бурбонскому и обратно, чем все это отличается от семейного дележа городов между сыновьями Клотара I в VI веке? Формы несколько утонченнее, а сущность все та же.

Не считаю нужным даже развивать мысль, что *прямого* влияния на изящную литературу, богословские учения, философские теории или исторические взгляды великие открытия XV века вовсе не имели. Но они подействовали косвенно и на государственный строй, и на все те элементы цивилизации, которые я только что упомянул, и на которые практически исключительно было обращено внимание историков цивилизации. Проследить это действие можно, только изучив элемент, не рассмотренный до сих пор историками.

Открытие дальних стран подействовало значительнее других событий, но и многие другие, менее заметные явления, действовали раньше его или вместе с ним. Появились новые *потребности*, и оказалось, что их *нельзя* удовлетворить ни путем приобретенных *привычек*, ни путем унаследованных *верований*. Оставался только путь *знаний*. Долго цивилизованная Европа билась, ища этот путь: она искала *знания* в мистических заклинаниях магии, лабораториях алхимиков, расчетах астрологов, у Аристотеля и его комментаторов, на соборах, требовавших преобразования католичества, в нищенствующих орденах, проповеди катаров, вальдезцев, Виклефа, Гусса, Лютера, в кабале евреев и «Тимее» Платона. Но все это, оказавшись пережеванным старьем, не дало ей знания, все это не соответствовало потребностям нового. Лучшие умы возвращались снова и снова к задаче о знании, стуча во все двери, проводя годы в заключении, умирая на кострах или окруженные галлюцинациями. Привычки и предания заставляли рыться в тех же книгах, возвращали к тем же приемам. Но вот возник из океана новый мир, о котором не говорил ни один авторитет древности – ни по-еврейски, ни по-гречески, ни по латыни. Тщетно старались отыскать этот мир в преданиях: в половине XVI века европейская мысль привыкла к представлению, что она может знать нечто *новое*, что она должна употреблять для этого *свои* средства и что во многих случаях все авторитеты древности и Средневековья ей не по-

могут. Одинокó выступил скромный каноник с доказательством, что Птолемей (великий Птолемей!) ошибался, что Земля движется. Более смело сказал медик Карла V и Филиппа II, что Гален (непогрешимый Гален!) знал строение человека хуже, чем мы можем узнать это посредством прямого наблюдения. И вот, в начале XVII века, путь знания *найден*. Италия, Германия, Англия, Франция одновременно выдвигают могучие личности, которые не оспаривают существующего авторитета, как и порядка жизни, не хитрят, как итальянские отрицатели XVI века, не полемизируют, как сектаторы, но отмежевывают человеческой мысли огромную область, где авторитеты игнорируются. И рядом с Галилеем, Бэконом, Кеплером, Декартом (я упоминаю самые известные имена), выступают из самых различных политических партий Гроций, Мильтон, Гоббз. Мыслители сходятся на одном пункте: на том, что они возводят теорию права или теорию государства не к авторитету, а к *изучению* человеческой природы, требуя не ссылок, а *критики* и *собственного* исследования. Это люди *нового* мира, предшественники современности, к которым не трудно возвести генеалогию самых разнообразных сторон жизни, окружающей нас.

На самом деле, основательно вдумываясь, едва ли найдем какую-нибудь особенность современной Европы, которая бы не коренилась в научных приобретениях, особенно в строе мысли, унаследованном от начала XVII века. Огромное экономическое развитие, создавшее современную промышленность и торговлю, банки и акционерные общества, выдвинувшее буржуазию в первые ряды государственных сил Европы и заставившее министров прислушиваться к изменениям биржевых цен, опирается на успехи механики, физики, химии, политической экономии, на критику, приложенную ко всем явлениям природы и общества. Философские учения первой половины XIX века хотя и уверяли, что представляют развитие чистой мысли, мистического безусловного, но были обусловлены во всех своих частях успехами естествознания, языкознания и общественных наук. Для решения вопроса о неграх в Америке, как для обсуждения проекта железной дороги, мы должны начать с наблюдений, как делал Галилей, с безусловного сомнения, как требовал Декарт, с борьбы против *идолов*

нашей мысли, как выражался Бэкон. В какой бы то ни было области *настоящей* жизни, ссылка на авторитет теперь не может считаться доказательством, и эта привычка восходит к великим двигателям науки начала XVII века. С него началась *новая* Европа и вся ее история. Весь ее современный быт останется непонятным без объяснения того значения, которое имело в эту эпоху *научное* движение.

Может быть, я немного задержался на этих примерах, но мне хотелось доказать с их помощью необходимость истории науки не столько для специалистов (эти специалисты, вероятно, менее всего нуждаются в истории своей науки), как и для историков *вообще*, и для людей, желающих *понимать* историю. Не только история умственного движения немыслима без развития истории науки, не только любая история цивилизации должна заключать в себе историю науки, но и разумная история политических и экономических явлений в жизни человечества неизбежно обязана обратиться к этому источнику, если хочет остаться разумной.

Посмотрим же, что сделано в XIX веке для истории науки вообще.

Огюст Конт не только пытался внести исторический элемент научного развития в свою позитивную философию, отождествляя историческое развитие наук с рациональным развитием научных идей. Он посвятил этому развитию последние два тома своего курса (1841, 1842), но уже в общем плане сочинения, изложенном во второй лекции первого тома (1830), писал: «Мы, конечно, совершенно уверены, что знание истории наук в высшей степени важно... Поэтому мы рассмотрим с большим вниманием действительную историю основных наук, которые составят предмет нашего обсуждения, но мы это сделаем лишь в последней части этого курса... Анализируя общее развитие человечества, развитие, в котором история наук составляет самую важную часть, хотя больше всего пренебреженную» (изд. 1864, I, 65). В 1832 году он предложил Гизо, тогда министру общественного обучения, основать во Французской коллегии кафедру общей истории физических и математических наук. Он написал в своей записке от 29 октября, что при современном состоянии мысли, «человеческая наука, в ее положительных элементах, может быть изучена, как еди-

ная, и, следовательно, ее история может быть понята». Далее Конт говорил: «Точное наблюдение пути, по-видимому, часто не рационального, которым шел последовательно ряд гениальных людей с целью приобрести небольшое число точных и вечных знаний, составляющих область нашей современной науки, должно иметь большую привлекательность для всех возвышенных умов... Наконец, изучение философской истории наук представляется необходимым элементом в совокупности исторических исследований, представляющих теперь в этом отношении основной пробел... Чтобы надлежащим образом соответствовать своему назначению и принести пользу, подобный курс должен, по необходимости, охватывать совокупность всех основных наук. Ведь математика, астрономия, физика, химия и физиологические науки развились одновременно и под взаимным влиянием, поэтому невозможно излагать настоящую историю, то есть доказать настоящую филиацию их успехов, наблюдая исключительно некоторую их часть. Без этого понимания совокупности, курс научной истории ждет перерождение в простую библиографию или род биографических заметок». При этом Конт указывает на недостатки курса Кювье об истории физических наук. Эти недостатки обусловлены тем, что знаменитый натуралист не включил в свой курс историю математики и астрономии. Влиятельный министр-доктринер оставил без внимания записку и письмо Конта, и, отмечая в своих мемуарах впоследствии свое свидание с проповедником позитивизма, выразился с пренебрежением: «Если бы я и нашел нужным основать ее (кафедру истории наук), я, конечно, ни на минуту не подумал бы ее предоставить ему»<sup>1</sup>.

Программы Конта, собственно, еще не выполнил никто, но по частям историю наук разрабатывали многие, большей частью ограничиваясь довольно кратким очерком. Такова диссертация Плэйфэйра (умершего в 1819 году) об успехах физических и математических наук, начиная с эпохи Возрождения, помещенной в «Британской энциклопедии». Таково предисловие д'Орбиньи к «Словарю естествен-

---

<sup>1</sup> Memoires. – Vol. III. – P. 125.

ных наук»<sup>1</sup> (1842), исключаящее математику. Таков и прекрасный очерк (на 265 страниц) Александра Гумбольдта во II томе «Космоса»<sup>2</sup> (1847). Немного обширнее труд Поуэля (1834) об истории физических и математических наук, составляющий один том «Ларднеровской энциклопедии», но Поуэль исключил все науки организмов и, кроме того, закончил свое изложение Ньютоном. Все остальное вмещено у него в 28 страниц. Несравненно замечательнее книга Апелъта – «Эпохи истории человечества»<sup>3</sup> (1845, 1846), первый том которой был прочтен Александром Гумбольдтом, как он писал автору, в «первые же 40 часов по его получении, не пропуская ни строчки». Однако это уже не история науки, а попытка построить историю цивилизации на истории науки, попытка, которую повторил в наше время довольно несовершенно, неполно Дрейпер в своей «Истории интеллектуального развития Европы»<sup>4</sup>. Курс Кювье, о котором говорил Конт в своей записке, представляет самую обширную обработку предмета, но не включает математических наук, и, кроме того, знаменитый автор не успел его просмотреть, проверить подробности, а издание Мадлен де Сент Анж не заметило этого недостатка. Жалкая компиляция Фигье о жизни знаменитых ученых, которой вышло уже два тома, едва заслуживает внимания. В последние годы в Мюнхене появилась странная традиция издавать ряд специальных историй всех наук в Германии за последние три века, как будто современная наука у одного народа может быть выделена из явлений той же области у всех прочих. Все это лишь материал для будущей истории науки. Не считаю нужным упоминать труды, находящиеся еще в самом начале, или специальные истории различных наук, где, конечно, встретим самые важные и замечательные труды.

Вот приблизительно вся литература по истории наук вообще в наше время. Мне остается лишь указать на труд Уэвеля и на его отно-

---

<sup>1</sup> Д'Орбиньи А. Словарь естественных наук. – М., 1842.

<sup>2</sup> Гумбольдт А. фон. Космос. – М., 1847. – Т. 2.

<sup>3</sup> Апелът Э. Эпохи истории человечества. – Йена, 1846.

<sup>4</sup> Дрейпер Дж. История интеллектуального развития Европы. – М., 1862.

шение к этой литературе, в которой он представляет, конечно, самое замечательное явление.

Недавно умерший Вильям Уэвель всю свою жизнь посвятил Кембриджу, за исключением нескольких лет, когда он отказался от своего места, чтобы заняться химией. Это был человек, обладавший самыми разносторонними сведениями и одновременно чисто английского склада ума. Он был строгим ученым. Его учебники по математике и механике произвели переворот в английском преподавании этих предметов, и в то же время он был одним из самых ревностных проповедников объединения науки и религии. Его сочинение об отношении астрономии и физики к естественной теологии (1837) в этом отношении пользуется большой известностью. Противником школы Локка и Юма, защитником англиканского предания, является он и в своих нравственно-философских произведениях, связанных с его преподаванием нравственной философии, кафедру которой он занимал около 18 лет. Его философский взгляд – это объединение взглядов Бэкона, Канта и англиканского предания. Дуализм идей и фактов, как совершенно различных начал, принадлежащих двум разным мирам, но одинаково важных, составлял основу его теории знания. Переводчики доказали свое совершенное беспристрастие и свой чисто научный взгляд на предмет, выбрав для перевода сочинение автора, философские теории которого, насколько нам известно, диаметрально расходятся с их воззрениями.

Главная заслуга Уэвеля, конечно, заключается в двух его главных сочинениях: «Истории индуктивных наук»<sup>1</sup>, появившейся в 1837 году, и «Философии индуктивных наук, основанной на их истории»<sup>2</sup>, появившейся в 1840 году. Последнее сочинение в третьем издании распадается на две половины – «Историю научных идей»<sup>3</sup> и «Обновленный новый органон»<sup>4</sup>. Оба сочинения Уэвеля находятся в

---

<sup>1</sup> Уэвель В. История индуктивных наук. – М., 1837.

<sup>2</sup> Уэвель В. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. – М., 1840.

<sup>3</sup> Уэвель В. История научных идей. – М., 1861.

<sup>4</sup> Уэвель В. Обновленный новый органон. – М., 1852.

самой тесной связи друг с другом. О первом из них он говорит в предисловии к третьему изданию, поясняя, что оно представляет не пересказ фактов истории науки, а основание для философии науки. Он подтверждает во введении к первому тому, что оба сочинения получены путем изучения тех же писателей и могут служить друг другу дополнением. Второе сочинение охватывает историю наук, насколько эта история зависит от идеи, первое – историю наук, насколько она зависит от наблюдений. Во второе сочинение, как его элемент, Уэвель поместил очерки истории математических наук. Конечно, для всякого, не относящего, подобно Уэвелю, идеи и факты к двум различным мирам, история науки цельна лишь тогда, когда указывает, как идеи рождались из предшествовавших фактов, и как факты открывались вследствие наблюдения, руководимого развившейся раньше идеей. Поэтому, полагаю, переводчики будут поставлены в необходимость, для пользы своего труда, перевести и «Историю научных идей» Уэвеля. «Обновленный новый органон» менее важен в этом отношении. Уэвель назвал свою книгу «Историей *индуктивных наук*», но читатели, знакомые со взглядом Милля на индуктивный метод, заметят, что у Уэвеля понятие об индукции, ее определение и пределы, совсем иные, чем у Милля: это люди, принадлежащие разным лагерям не только в этом отношении, но почти во всех. Вследствие *своего* понятия об индуктивном методе, Уэвель весьма последовательно исключил из своей истории математические науки, но не был последователен в том отношении, поэтому не ввел психологию, политическую экономию и т. д. Он признает это во введении к первому тому, соглашаясь, что правильнее было бы назвать его сочинение «Историей главных наук», до сих пор основанных на индукции.

Его взгляд на историю наук, как на введение к философии наук, объясняет и огромную неравномерность отделов, посвященных различным наукам. Науки неорганического мира занимают у него почти в шесть раз большее место, чем науки органического мира, а астрономия с физикой – в два раза больше всего остального. Это само собою следовало из основной мысли автора, который на физических науках имел больше возможности объяснить приложения метода индуктив-

ных наук в его последовательных ступенях в истории, чем он мог это сделать в науках организмов. Конечно, следует иметь в виду и то, что Уэвель больше знаком с науками неорганического мира.

Прием автора таков: он пишет историю каждой главной науки отдельно, группируя ее вокруг нескольких эпох, когда совершились важнейшие открытия. Менее важные периоды он собирает вокруг этих эпох в виде *прелюдий* и *следствий* к рассматриваемым эпохам. Это прием очень ловкий. Едва ли не менее удобно для читателя, что автор разбивает историю науки на историю ее вопросов, так что ему иногда приходится возвращаться назад, и труды одного ученого разбиваются на многие главы.

Уэвель, конечно, не знал плана Огюста Конта, да если бы и знал, то цель его была совсем иная. Не развитие научной мысли в истории человечества, не развитие науки как *единой* имел он в виду, а исторический материал для индуктивной философии наук. Это и должен помнить читатель при оценке его сочинения. Не включая в свою историю развитие математики, Уэвель не мог уяснить ни появление Архимеда, ни Гиппарха, следовательно, древняя наука остается у него крайне отрывочной. Уэвель был чрезвычайно строг к Аристотелю, как уверяет школа Бэкона. Очерк науки в Средневековье вовсе не уясняет причин и связи явлений главных периодов в истории мысли того времени. И это понятно, потому что Уэвель не хотел восстановить эту историю, а только указать на недостаток тех приемов, которые создали новую науку и которые должны были войти в его философию наук. Точно также открытия конца XVII века остаются не совсем ясными, так как успехи математики в XVI и XVII столетиях не указаны. Вообще же раздробление *одной* истории на множество историй различных наук делает почти невозможным для читателя составление общей картины научного развития человечества. Но это не укор Уэвелю, так как он составил себе план и остался последователен в его выполнении. Читатель может пожалеть, что автор не поступил иначе, но не имеет права порицать его, если он хорошо выполнил свое дело.

А Уэвель сделал свое дело крайне добросовестно и хорошо. Если и есть недостатки в изложении периодов, наименее важных для его



цели, например, в изложении первого периода греческой мысли и развития Средневековья, то во всем остальном его труд чрезвычайно полезен и основателен. На его хронологические и библиографические данные можно, вообще говоря, положиться. Его оценка ученых и значение их работ для их науки верна, и его книга представляет один из самых лучших материалов для истории науки.

Этим материалом может пользоваться ученый специалист или человек, изучающий научную методику. Собственно, историку или человеку, желающему понять развитие научной мысли в человечестве, нужна совсем иная группировка фактов, необходимо иное построение предмета, а также дополнение его теми областями, которые оставлены Уэвелем в стороне. Повторяем: программа Огюста Конта еще никем не выполнена, и настоящая история *единой* науки не написана. А без этого и всеобщая история содержит весьма важные пробелы, многие непонятные периоды.

Мы должны быть крайне благодарны переводчикам, что они взялись ознакомить нашу публику со столь замечательным трудом, важность перевода которого уже была указана в примечании к переводу «Логики» Милля<sup>1</sup>. Весьма хорошо и то, что они дополняют свое издание примечаниями Литтрова. Но больше всего мы должны будем их поблагодарить, когда они выдадут обещанный ими четвертый, дополнительный том. Этот том уже не переводной, а оригинальный, заключающий развитие наук за последние 10 лет. Конечно, если этот том, по точности данных и верности оценки научных явлений станет на один уровень с книгой Уэвеля, то он найдет себе переводчиков и в Англии, и в Германии.

1868 г.

«Отеч. зап.», №3.

---

<sup>1</sup> Милль Дж. Система логики. – СПб., 1865. – Том 1. – С. 66.

## ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ИДЕИ ПРОГРЕССА<sup>1</sup>

Во все времена и всюду обычный ход человеческой жизни, несмотря на ее краткость, давал людям возможность почувствовать некоторые заметные изменения в общественном состоянии. Предание о ряде состояний, пережитых предками, соединяясь с личным наблюдением в одно представление, давало идею изменяемости и движения – свойств, присущих общественной жизни.

Сравнивая между собою различные моменты рассматриваемого ряда изменений, люди в весьма раннюю эпоху заметили, что эти изменения не повторяются, что одни и те же явления не возвращаются в известном последовательном порядке, как это, например, замечается в изменениях, сопровождающих смену времен года, а идут постоянно к чему-то новому. Отличие нового от старого пропорционально взаимному удалению двух сравниваемых моментов.

В связи с таким наблюдением, естественно, возникло субъективное отношение к самому процессу изменений. Смотря по мирозерцанию наблюдателя, этот процесс получал название совершенствования или падения, прогресса или регресса.

Только теория круговращения, по-видимому, противоречит этому наблюдению. Допуская изменяемость в определенные периоды времени, она утверждает, что периоды эти, сменяясь один за другим,

---

<sup>1</sup> Laurent F. Études sur l'histoire de l'humanité. — Paris, 1879; Javary A. De l'idée de progrès. — Paris, 1851; Comte A. Cours de philosophie positive. Paris, 1830; Littré É. A. Comte et la philosophie positive. — Paris, 1863; Льюис Г. Г., Милль Д. С. Оргюст Конт и положительная философия. — СПб., 1867; Radenhausen C. Isis. Der Mensch und die Welt. — Hamburg, 1863; Дрейпер Д. В. История умственного развития Европы. — СПб., 1875; Спенсер Г. Научные, политические и философские опыты. — СПб., 1899; Спенсер Г. Основные начала. — СПб., 1897; Ueberweg F. Grundriss der Geschichte der Philosophie. — Berlin, 1928; Бокль Г. История цивилизации в Англии. — СПб., 1864; Стасюлевич М. Опыт исторического обзора главных систем философии истории. — СПб., 1866; Hettner H. Literaturgeschichte des XVIII Jharhunderts. — Braunschweig, 1879-1881; Mastier A. Turgot, sa vie et sa théorie. — Paris, 1862 и некоторые другие сочинения, ссылки на которые находятся в статье.

повторяются и не представляют ни прогрессивного, ни регрессивного явления. Если бы можно было доказать, что эти периоды или круговращения действительно равнозначные, то отрицание изменчивости в смысле прогресса или регресса могло бы считаться серьезным. Но такое доказательство основывается только на произвольно избранных для сравнения элементах общественной жизни и на столь же произвольном устранении от сравнения других, не менее важных элементов, а потому оно и не имеет серьезного значения. Теория же, как искусственная и шаткая, критики не выдерживает.

Относительное значение того или другого из двух, упомянутых выше воззрений на общественное движение, в различные эпохи отличается.

В настоящее время идея прогресса принадлежит исключительно меньшинству. Чтобы найти ее, надо опуститься очень низко, до самых низов общества в умственном отношении. Только здесь не потеряло еще значения то туманное мирозерцание, которое бредит о чем-то вроде безвозвратно минувшего золотого века и видит так, как только оно одно может видеть не прекращающуюся порчу и падение человечества, слепо идущего к конечной катастрофе. Такое мирозерцание – результат глубочайшего невежества и совершенного извращения всех здравых понятий, к каким только мог привести человеческий разум. Отрицая естественные цели развития, оно заменяет их фантастическими и, в силу такой замены, рвет все свои связи с жизнью. Понятие о регрессе, вытекая из такого чуждого жизни мирозерцания, представляет замкнутую в себе самой чисто отрицательную идею, неподвижность которой составляет неперменное и безусловное основание ее существования.

Не имея возможности развиваться, идея регресса не имеет истории. Сложившись однажды, эта идея и потом, как мумия, передавалась из века в век. Заявление о ее существовании – это вся ее история. Если она и может иметь другую, то разве только историю своего постепенного исчезновения. Но эта история, очевидно, сливается с историей развития, понимаемого как прогресс.

Миросозерцание, не отрешающееся от жизни, рассматривает развитие человека как совершенствование, как прогресс, т. е. как такой ряд изменений, благодаря которому вырабатывается в человечестве перевес свойств собственно человеческих над свойствами, общими для всех животных. В этой внутренней перемене, обуславливающей все многосложные явления внешнего прогресса, и заключается его сущность. Первое прямое и отчетливо сформулированное указание на нее сделал Огюст Конт, но она подразумевается в каждом фазисе развития идеи прогресса и ею объясняются все попытки, сделанные когда-либо с целью понять прогресс и найти возможность руководить им.

Эта тесная связь идеи прогресса с жизнью и развитием человеческого общества делает ее столь же живой и изменяющейся, как это общество. Она, в одно и то же время, и идея прогресса, и идея прогрессивная.

Ее прогресс и составляет содержание ее истории. Эта история должна указать на первые отрывочные проявления и затем проследить все фазисы ее развития до настоящего времени. Следя за этим развитием, она должна подмечать ее связь с жизнью общества и его умственным развитием, указывая на те влияния, которые способствовали ее развитию или замедляли его. Таким образом, история идеи прогресса должна представиться как отрасль истории самого прогресса или как история сознания и понимания прогресса.

Нельзя отрицать, конечно, ни интереса, ни важности такой истории.

Я выбрал ее предметом изучения как ради научного значения, всегда ей присущего, так и с целью уяснения одного из популярных понятий. В нем неизбежна некоторая темнота до тех пор, пока мы не дадим себе отчета о его происхождении и развитии.

Задача эта весьма обширна и, конечно, не может быть полностью раскрыта в небольшом очерке. Настоящие статьи – только *пространная программа* предполагаемой истории идеи прогресса. Отдавая ее для печати, я не без основания предполагал, что чем сжатее изложение, тем скорее найдет оно читателей.

## I.

Выше было сказано, что обычный ход человеческой жизни давал людям возможность заметить некоторые изменения в их общественном состоянии, однако для укрепления и обобщения этого наблюдения необходимо влияние на него предания о ряде состояний, предшествовавших ему. На этом основании идея изменчивости, в ее сколько-нибудь общем значении, могла возникнуть только в обществе, пережившем более или менее продолжительный ряд изменений. Пока же эта идея имела эмпирический характер, ее определенность и полнота зависели от того, длиннее или короче был ряд наблюдений и преданий, обширнее или теснее была та область, к которой относились данные наблюдения и предания.

Народы древности были весьма мало знакомы со своим прошлым. Кроме того, это знакомство отличалось крайней неточностью, примесью баснословных преданий, бросающих на деяния предков ложный свет.

Хотя они и могли заметить в жизни человеческих обществ некоторую изменчивость, но определить с достаточной точностью характер и значение этих изменений они не могли, потому что не обладали достаточным запасом наблюдений, необходимых для сравнения и вывода устойчивых положений о ходе развития жизни человеческих обществ. Наряду с утверждением, что подмеченные изменения имеют прогрессивный характер, мы находим убеждение, что эти же самые изменения свидетельствуют о присущем человеческому обществу стремлении к регрессу. Оба эти взгляда подкрепляются столь слабыми аргументами, что трудно определить, какой из них имел перевес в ту эпоху.

Верования в минувший золотой век и постоянное падение развития человечества были чрезвычайно распространены. «Более злые, чем отцы, – говорит Гораций, – наши предки произвели на свет детей еще худших, за которыми последовали еще злейшие потомки». Не только народная масса, но и множество личностей философского об-

раза мыслей смотрели на предстоящую человечеству катастрофу как на роковой исход, считая невозможностью борьбу против судьбы.

С другой стороны, идея прогресса появляется уже в сочинениях некоторых замечательнейших людей древности. Но возникает она как случайное наблюдение, не развиваясь никем до такой степени, чтобы стать способной влиять на общий характер учений того или другого мыслителя. Вообще она имеет характер частный, неопределенный. Она еще очень далека от выработки для себя рационального основания.

Прежде всего, прогресс был подмечен в научной области человеком, пользовавшимся знаниями, собранными его предшественниками, чтобы усовершенствовать методы их научной обработки. Аристотель во второй книге «Метафизики»<sup>1</sup> говорит: «Никто не может достичь истины вполне, но никто совершенно ее и не лишен. Всякий философ объясняет какую-нибудь тайну природы. То, что всякий, в частности, добавляет к познанию истины, конечно, ничтожно или маловажно, но совокупность всех идей дает важные результаты. Справедлива, следовательно, признательность не только к тем, мнения которых мы разделяем, но и к тем, которые рассматривали вопросы несколько поверхностно, потому что и они также внесли свою долю труда. Они своими работами подготовили современное состояние науки». Во второй книге «Политики»<sup>2</sup> он говорит: «Нововведения были полезны всем наукам: медицине, освободившейся от старых приемов, гимнастике и вообще всем искусствам, служащим для развития человеческих способностей. Политика должна стать в ряду прочих наук, и потому этот принцип прилагается и к ней. Можно сказать, что сами факты служат тому доказательством. Древние законы были просты и до крайности жестоки. Люди должны искать не того, что древнее, а того, что хорошо. Наши праотцы, вероятно, были похожи на чернь и неучей нашего времени».

---

<sup>1</sup> Аристотель. Метафизика. Кн. 1-5. – СПб., 1895.

<sup>2</sup> Аристотель. Политика. Сочинения в 4 т. – М., 1983.

Этот последний отрывок, кроме идеи научного прогресса, уже содержит в себе начала идеи социального прогресса.

Цицерон решительно отдает преимущество новому перед старым. Сенека говорит о постепенности, с которой открывается истина. Он утверждает, что тайны природы не могут обнаруживаться вдруг, что многое еще предстоит узнать в будущем. Такие же убеждения встречаются и у натуралиста Плиния, только с более неограниченным доверием к будущему. «Сколько вещей относили раньше к числу невозможных, – говорит он. – Будем же питать твердую надежду на то, что века следуют один за другим, постоянно совершенствуясь». Лукреций рисует картину развития и побед промышленности, начиная с тех времен, когда, как он думал, «человек не знал еще общественной жизни и обитал в лесах».

Чтобы закончить характеристику состояния идеи прогресса в эпоху ее происхождения, мне остается сказать еще несколько слов о том, как относился к ней Платон. Он был убежден, что характер человеческой деятельности может и должен быть прогрессивным, но в то же время видел в современном ему обществе все признаки падения. Чтобы спасти его от гибели, он предлагает в своей «Республике»<sup>1</sup> радикальные преобразования, которые должны поддержать падающую добродетель и предотвратить окончательную победу порока. В одном из своих разговоров он развивает мысль о тех посредствующих формах общественного развития, с помощью которых должен совершиться переход от развращенного современного ему состояния к составленному им плану совершеннейших форм общественного развития. Эта идея последовательности, как и определенность указываемой им цели, придают его мыслям чрезвычайно прогрессивный характер. Не надо упускать из виду, однако, как узок был прогресс, план которого был описан «Республикой» Платона. Прогресс этот захватывал только незначительную часть общества, так как учреждение рабства считалось Платоном необходимым и не подлежало уничтожению. Время этого великого вопроса еще не наступило.

---

<sup>1</sup> Платон. Республика. – М., 2009.

Разрозненные мысли о прогрессе, разбросанные в сочинениях древних писателей, могли бы стать и, конечно, стали бы первыми звеньями длинной цепи развития идеи прогресса, если бы те перипетии, через которые проходила цивилизация, не прервали ее надолго. Древняя образованность пала и настали века варварства, среди мрака которых светило прогресса – умственная деятельность – издавало чуть видимое мерцание. Все реальное было принесено в жертву фантастическому. Иные идеи, а не идея прогресса, овладели умами.

Века, отделяющие падение древней цивилизации от первых проблесков возрождения умственной деятельности в XI столетии, ознаменованы были событиями, которые произвели важные изменения в ходе европейской жизни. Новое учение утвердилось на развалинах древнего мирозерцания, новые народы сменили прежних деятелей на значительно расширенной сцене истории. Первое из этих изменений занимало, конечно, средневековые умы больше всего. Оно имело безусловно-прогрессивный характер не только по сравнению с внушавшим им ужас язычеством, но и по отношению к еврейскому вероучению, которое оно заменило. «Моисеев закон был хорош, – говорит Фома Аквинат в своей «Summa Theologica»<sup>1</sup>, – но он был несовершенен, так как ему недоставало благодати». Этого же мнения придерживается и Гуго, аббат монастыря С.-Виктора (1097-1141). Оба эти писателя полагают, что Новый Завет мог сменить Ветхий только тогда, когда человечество было достаточно подготовлено к его принятию. То есть, они предполагают известный прогрессивный ход в развитии человечества до начала нашей эры. Прогресс этот заканчивается, однако, по их мнению, вместе с провозглашением нового учения, так как оно, представляя полнейшее совершенство, не подлежит развитию, а, следовательно, и совершенствованию. Представители католичества не могли, конечно, говорить иначе, но они чувствовали, что безусловный застой невозможен, что человечество должно жить, следовательно, развиваться... Но как согласовать это развитие с законченностью доктрины, которую они проповедовали не только для настоящего, но

---

<sup>1</sup> Aquinas T. Summa Theologica. – Romae, 1894.



и отдаленного будущего? Они думали найти это согласие в прогрессе понимания откровения, идущем совместно с общественным прогрессом человечества. Они не замечали того, что таким образом открывались двери действительному прогрессу, так как не в формуле идеи, а в ее понимании заключается все ее значение для любого данного момента развития. И действительно: настало время, когда одни и те же слова стали обозначать совсем другие вещи, и тогда, естественно, решения разума должны были получить главенствующее или, лучше сказать, верховное значение.

Та идея прогресса, представителями которой являются Фома Аквинат и Гуго из С.-Виктора, была бы не вполне охарактеризована, если бы мы пропустили одну весьма важную своеобразную ее черту. Человечество, по мнению этих учителей католической церкви, прогрессировало как путем подготовки к принятию нового учения, так и принятием самого учения. Здесь речь идет о прогрессе. Но если это слово понимать в настоящем его смысле, то получается совершенно иное значение, чем то, которое придавали ему авторы «*Summa Theologica*» и «*De Sacramentis*»<sup>1</sup>. Говоря о прогрессе, совершенствовании, они не имели в виду ни умственного, ни нравственного, ни тем более материального преуспеяния. Их занимал исключительно прогресс культа, выразившийся последовательной заменой жертвы всеожожения обрезанием, а этого последнего – таинством крещения. Вот те пределы, в которых появляется идея прогресса в XII и XIII столетиях у строгих исследователей католицизма. Это, скорее, идея застоя, чем прогресса, но сейчас мы увидим, как менялась данная идея в эту эпоху, с одной стороны, под влиянием мистических учений, с другой – под влиянием изучения точных наук.

Строгая ортодоксия ставит пределы мистическим тенденциям своими законченными и определенными догматами. Она допускает мистицизм, но с условием управлять им и не подчиняться ему. От этого, правда, возникают в ней известная непоследовательность, неполнота, а с ними не могут мириться пылкие, не терпящие условной рег-

---

<sup>1</sup> Aquinas T. De Sacramentis. – Romae, 1895.

ламентации натуры. Но она не терпит ничего смелого, предпочитая некоторую трезвость умеренного мистицизма необузданной последовательности чистых мистиков. Это различие ортодоксов и мистиков видно и в рассматриваемом нами вопросе. Первые полагали, что началом их эры заканчивался прогресс, а дальше могло только совершаться развитие понимания раз установившейся доктрины. Вторые же утверждали, что момент, который желают сделать пределом прогрессивного движения, – только переходной момент развития, что новое откровение поставит людей на более высокую ступень духовного развития и просветления. Некоторые положения этого учения были высказаны в XII веке Амори Шартрским, но тогда они прошли почти бесследно. В XIII веке их возобновил аббат Иоахим де Фиоре с большим успехом. Аббат Иоахим основывал свои воззрения на текстах Писания и учении отцов церкви. Ветхий и Новый Заветы, утверждал он, были откровениями первых двух лиц Троицы; впереди предстоит откровение третьего лица – Св. Духа. Царство Отца ознаменовано могуществом, страхом и верой. Царство Сына – смирением, истиной и мудростью. Характеристикой царства Духа будут любовь, веселье и свобода. Первые два Завета были закреплены словами Писания, третий будет чисто духовным. В эпоху первого Завета люди жили по плоти, в эпоху второго – пребывали в состоянии, находящемся между плотью и духом. В третьем, который продолжится до конца мира, они будут жить исключительно духовно. На протяжении первой эпохи люди жили в брачном состоянии, на протяжении второй – в состоянии священства, с третьей эпохой они перейдут в состояние монашества. Созерцательная, аскетическая жизнь становится, таким образом, конечной целью, последним звеном развития по понятиям аббата Иоахима.

«Il calavrese abate Giovachino Di spirito profetico dotato» – говорит о нем Данте в «Божественной комедии», помещая в рай этого одаренного духом пророчества калабрийца. Но если мистический аббат и достоин прославления в каком-нибудь отношении, то это, конечно, за то, что раздвинул границы идеи прогресса, открыл широкий кругозор, которого не хотела видеть ортодоксия, но который был за-

манчив для грядущих поколений. Другие люди продолжали то, что начал Иоахим, и если иные цели стали мотивами их деятельности, то это случилось потому, что умственная работа прояснила то, что для мистика XIII века было скрыто туманом его учения.

Итак, ортодоксия ограничивала свою идею прогресса узкой сферой совершенствования культа, причем, только в прошедшем. Мистики говорили о религиозном прогрессе уже в прошедшем и будущем, но ставили ему цели, строго обусловленные точкой отправления, в результате чего приходили к аскетизму. Неужели у ученых Средневековья не могло быть данных для более широкого формулирования идеи прогресса? Неужели будущее не могло предсказать им ничего, кроме застоя или стремления к нравственному уродству? На эти вопросы можно было бы отвечать отрицательно, если бы в числе деятелей этой эпохи не числился Роджер Бэкон, великий ученый и философ.

Р. Бэкон обладал громадной эрудицией. Можно сказать, что он совмещал в себе все знания, какие только можно было иметь в его время. Но его гению было тесно в узких рамках средневековой учености, он развивал многие отрасли точных наук. Что он был доктором теологии и знатоком латинского языка, это понятно само по себе, но, кроме того, он знал греческий, еврейский и арабский языки, и, что всего важнее, был знаком с научной литературой этих стран. Он первым понял и доказал, что математика предшествует всем прочим точным наукам и необходима при изучении физики. Об его астрономических сведениях можно судить по тому, что он предложил исправить календарь тем способом, который действительно был применен впоследствии. Ему приписывают изобретение очков. Теорию телескопов и микроскопов он излагал довольно правильно. Он говорил о возможности быстрого движения кораблей и экипажей без помощи животной силы, одними механическими средствами, обдумывал устройство машины для полетов. Он знал, что воздух неоднороден, и утверждал, что в нем содержится газ, который гасит пламя. Такой взгляд на газы в том веке, когда они считались духами, весьма замечателен. Необходимость воздуха для огня ему была тоже известна...

Его открытия и изобретения были бы, конечно, еще многочисленнее, если бы он пользовался свободой, а не провел много лет в заключении. «Никто так жестоко не искупил славу первенства над людьми своего времени, как Р. Бэкон, – говорит Фигье (*Vies des savants illustres*)<sup>1</sup>. – Большую часть своей жизни он провел в заключении, под строгим надзором, не дававшим ему возможности ни писать, ни делать вычисления, ни чертить геометрические фигуры... Что же за преступление совершил он? Преступление его заключается в горячей любви к науке и независимости человеческой мысли».

Горячая любовь к независимости человеческой мысли и была в нем результатом горячей любви к науке. Он понимал, что рабство мысли неразрывно связано с ничтожеством науки, а потому отвергал значение авторитета, помещая на его место самостоятельное наблюдение и опыт. Это неуважение к авторитету, стремление к независимости и самобытности и составляет главную и существенную характерную черту идеи прогресса, как он понимал ее. В этом заключается ее коренное отличие от идеи ортодоксов и мистиков, так как последние заменяли старый авторитет новым, а не отвергали его в принципе. Бэкон называет авторитет цепью, бремя которой заставляет ум двигаться в одном и том же круге идей, препятствуя прогрессу науки. «На самом деле, предположим, – говорит он, – что философы ошибались, мы будем тоже ошибаться вслед за ними, если станем относиться к ним со слепой доверчивостью. Ведь и мудрейшие могут ошибаться из-за человеческой слабости. Итак, вместо того, чтобы принимать мнения древних только ради их древности, по этой же причине следовало бы их отвергать». Из этого не следует, однако, что Р. Бэкон безразлично отвергал все, что его время унаследовало от древних. Из другого отрывка того же сочинения, из которого приведен первый отрывок (*Opus Majus*), видно, что он требовал только критики, не склоняющейся перед авторитетами. «Не следует, – говорит он, – отвергать сочинения Аристотеля и Аверроэса из-за заблуждений, которые в них встречаются, так как несовершенство неразлучно с наукой.

---

<sup>1</sup> Figuier L. *Vies des savants illustres*. – Paris, 1875.

Мы, люди нового времени, одобряем эти книги, отвергая только находящиеся в них заблуждения». То, что Бэкон говорит о философах, он применяет и к тем учителям церкви, которых ортодоксия привыкла считать непогрешимыми. Указав на противоречия, встречающиеся у них, Р. Бэкон рассуждает следующим образом: «Мы не обязаны соглашаться со всем, что мы читаем и слышим. Наоборот, наша обязанность заключается в строго внимательном рассмотрении мнений наших предшественников для того, чтобы добавить к ним то, чего у них недостает, и исправить то, что неверно или ошибочно, во всяком случае, впрочем, со скромностью и приличием. Истина, милостью Божией, постоянно возрастает. Справедливо, что человек никогда не достигает абсолютного совершенства и полной достоверности, но он постоянно совершенствуется. Вот почему не нужно слепо следовать мнениям древних: если бы они ожили, то исправили бы многое в том, что говорили, изменили бы понятие о многих предметах. Точно так же ученые нашего времени не знают многого, что некогда будет знать всякий школьник».

Вот как широко мог понимать научный прогресс и как высоко ставить значение научной критики монах XIII века, просвещенный изучением природы. Но как бы ни был велик гений, как ни обгонял бы он умственное развитие своего времени, он все же остается сыном своего века и не может в чем-нибудь не отдать ему дани. Философского прогресса он совершенно не признает. Наряду с ортодоксальными схоластиками он убежден, что «*Philosophia est theologiae ancilla*», полагая, что самостоятельная философия ведет только к мраку. Он не видел связи, существующей между прогрессом научным, философским и теологическим, не понимал, что это только три стороны одного и того же прогресса умственной деятельности, и потому не замечал противоречия, в которое впадал. Советуя относиться критически даже к учителям католической церкви, он имел в виду только несоответствие их положений научным истинам. Он был твердо убежден, что как бы ни был прогресс науки, принципы философии никогда не пойдут врозь с установившейся теологией, прогресс в которой невозможен.

Сравнивая идею прогресса, как она нам представляется в приведенных мнениях средневековых писателей, с той же идеей в древности, нельзя не заметить, что эта идея прогрессировала, и хотя данный прогресс и ограничен, но он, несомненно, существует. Идея научного прогресса сформулирована полнее и точнее. Идея же религиозного прогресса, не существовавшая у древних, заявлена чрезвычайно смело и имеет католический, т. е. универсальный характер. Идея социального прогресса, хотя и поставлена в связи с идеей религиозной, хотя и приводит к антисоциальным формам развития, но это происходит, как уже было сказано, от свойства точки отправления, которая не могла сохранить свою неподвижность при широком допущении научного прогресса. Чрезвычайно важно и то, что эта идея относилась к современности отрицательно. Существование идеи научного прогресса хотя и не влияет в данный период на современные идеи, но служит залогом развития как идеи прогресса, так и самого прогресса в будущем. Воздействие ее на общество должно было указать ему иные пути вместо тех, какие представляли до сих пор мистика и ортодоксия. Причем широкое значение прогресса, указанное мистиками, нисколько не падало, а возрастало. Таким образом, и идее прогресса предстояло более широкое и всестороннее развитие.

Но для того, чтобы это развитие действительно совершилось, необходимо было, чтобы и само общество не оставалось неподвижным, чтобы в нем происходили перемены. Если бы справедливым было мнение тех писателей, которые утверждают, что Средневековье нисколько не продвинулось вперед ни в умственном, ни в социальном отношении, то ход развития европейской мысли должен был казаться чудом. Он действительно и кажется чудом тем историкам, которые решаются произнести это слово. От XII и до XV века, утверждает Мишле в своей «Истории возрождения»<sup>1</sup>, совершается общее ретроградное движение. «Ум человеческий, – говорит он, – претерпевает в эту эпоху ту операцию, которую произвел над собою Ориген». По его мнению, великий переворот XVI века вышел из ничего и был прояв-

---

<sup>1</sup> Мишле Ж. История Возрождения. – СПб., 1860.

лением громадной личной воли. После заявления такого воззрения на развитие человечества, Мишле имел, конечно, право сказать, что видит во всем этом чудо, которого не понимает!

Развитие человечества совершается путем правильной последовательности причин и следствий, поэтому все изменения в нем происходят постепенно и никак не могут возникнуть из ничего. Всякое историческое явление находится в связи с явлениями предыдущими и последующими, а потому имеет всегда нечто общее с теми и другими. Средневековая эпоха, как продолжение глубокого умственного падения, отделяющего древнюю цивилизацию от эпохи Возрождения, заключала много элементов застоя и неподвижности, но, как предшественница умственного и социального движения XVI века, она неизбежно содержала в себе это движение в зародыше. Мы покажем далее, что прогресс не был чужд даже схоластике. Приведем отрывок из «Истории индуктивных наук...»<sup>1</sup> Уэвеля. В нем он говорит о присутствии живых начал в умственной жизни средневекового общества. Признание существования этих начал Уэвелем имеет тем большее значение, что он склонен к преувеличению темной стороны рассматриваемой нами эпохи.

«Даже во времена самого полного господства схоластики, – говорит он, – элементы перемены уже действовали. В то время, когда доктора и философы получали от людей весь видимый почет, постепенно образовывались учения и философия иного рода. Практические инстинкты человека, нетерпимость, наконец, тирания догматистов, развитие полезных искусств, обещания алхимии – все это подталкивало людей отбросить авторитет и отвергнуть притязания господствующего философского символа. Во мнениях существовали два противоположных направления, они некоторое время держались отдельно и почти независимо друг от друга, но во времена Галилея столкнулись, и борьба быстро распространилась по всей цивилизованной Европе».

---

<sup>1</sup> Уэвель В. История индуктивных наук. – СПб., 1869.

Уэвель говорит, что стремление отбросить авторитет и отвергнуть притязания господствующего философского символа существовали отдельно и *почти* независимо от направления чисто схоластического. Не говоря о Р. Бэконе, как исключении, мы для пояснения значения прогрессивных элементов, обнаружившихся среди католического феодального застоя, постараемся показать значение этого неопределенного *почти*. Обычно под схоластикой подразумевается философия, безусловно подчиненная теологии. Сами схоластики понимали ее именно так и искренне желали остаться верными ортодоксальной доктрине. Но это было невозможно, потому что их стремление содержало внутреннее противоречие, устранить которое они были не в силах. Философия по своему существу тождественна со свободой мысли, и если действительно в эпоху Средневековья наряду с теологией развивалась хоть какая-нибудь философия, то значит, существовала и известная свобода мысли. А если была эта последняя, то ортодоксии постоянно угрожала опасность столкновения с положениями, противоречащими ее догматам. Так и было на самом деле: оба главные направления схоластики приходили в своих крайних заключениях к выводам, которые католическая церковь не могла не осудить. Номинализм прямо вел к рационализму, а реализм – к пантеизму, и представители этих двух направлений, если только они были последовательны, всегда осуждались церковью по мере вины. Припомним Беренгара Турского, Росцелина, Абеяра, Амори Шартрского...

Но совместимость живых начал прогресса с элементами косности была бы еще не вполне прослежена, если бы мы не указали на то обстоятельство, что причина допущения философского мышления заключалась в самой теологии. Поэтому живое направление, о котором говорит Уэвель, непосредственно граничило и совмещалось в одной из своих исходных точек с тем, чем оно отрицалось. Эта сторона средневековой умственной жизни весьма удачно подмечена Дрейпером в его «Истории умственного развития Европы»<sup>1</sup>. «Сравнивая десятое и двенадцатое столетия, – говорит он, – нельзя не заметить ог-

---

<sup>1</sup> Дрейпер Дж. История умственного развития Европы. – СПб., 1869.



ромного успеха, проделанного Европой в интеллектуальном отношении. Идеи, занимавшие умы христиан, и образ их мыслей совершенно изменились. Ревность германцев, объединенная с ученостью магометан, не могла долго увлекаться туманом теологических споров, из которых возникла философия. Эта философия робко возвратилась в свет под именем схоластики, убеждая людей исследовать, при помощи их собственного разума, тот догмат, который в такой степени превышал все расчеты разума, – догмат о транссубстанции. Едва слышана была робкая речь философии в рядах духовенства, как возник мятеж против авторитета церкви, и с этих пор ей необходимо было защищаться против этого мятежа его же собственным оружием. Церковь вынуждена была покровительствовать схоластической философии».

Итак, католическая церковь покровительствовала схоластике, как по необходимости, так и по недоразумению. Это покровительство было для нее гибельным, потому что, наряду с покровительством схоластике, она должна была покровительствовать и науке, так как нередко оба эти вида умственной деятельности соединялись в одном лице. Достаточно припомнить ученые заслуги монахов Доминиканского ордена и особенно Альберта Великого, епископа Регенсбургского (1193-1277), чтобы видеть, как далеко шло иногда это покровительство. От людей, стоявших на страже католичества, нельзя было ожидать такой глубокой проницательности, которая позволяла бы им предвидеть пагубные последствия направления, принятого многими монахами, епископами и даже монахинями<sup>1</sup>. Но они не могли не видеть, что это направление возросло на чуждой почве. Оно было пересажено в католический вертоград теми, кого они считали своими злейшими врагами, а именно – арабами. Арабы вступили в «век разума» гораздо раньше европейских народов. Уже в X веке, т. е. в то время, когда в Европе царил глубочайший мрак, Герберт, будущий папа Сильвестр II, изучал точные науки в школах Кордовы, а потом удивлял современников невиданным дотоле глобусом и арабским

---

<sup>1</sup> Св. Гильдегарда, аббатиса в Рупертсберге, в XII в. (1098-1197).

способом счисления. Благодаря арабам Европа познакомилась с наукой древних. По их переводам и комментариям изучалась эта наука монахами и епископами, и мало-помалу яд скептицизма, отрицания и неуважения к авторитетам проникал в их умы... Это разложение ортодоксии наукой, конечно, не всегда встречало такую слепоту со стороны католических властей, какая обнаружилась, например, в отношении к Альберту Великому. Пример Р. Бэкона показывает нам, что мартиролог науки начинался уже с этой ранней эпохи. Важно то, что отношения ортодоксии к науке не были последовательны, что наряду с гонением она, как мы видели, вынуждена была допустить покровительство. Также она не могла предотвратить появление в своей среде разрушителя самой основы ее мирозерцания – каноника Коперника.

Политическое движение в эпоху Средневековья гораздо заметнее движения умственного. Оно выразилось в борьбе светской власти с духовной, подкрепленной нападениями юристов на права, значение церкви и ее главы... Уже в XII веке Арнольд Брешианский мечтает о радикальном перевороте в строе католической церкви. Его неудача и смерть на костре не изменили хода идей, представителем которых он был.

В рассматриваемый нами период времени также значительно изменились условия общественной жизни. Успехи торговли и ремесел серьезно повлияли на улучшение благосостояния некоторых классов: возникли города, а в них – свободное сословие горожан. Государственный строй окреп. Все больше чувствовалась потребность в благах, приносимых мирным состоянием общества. Искусства получили развитие... Наступило, наконец, время, когда наряду с духовным образованием стало, как нечто совершенно самостоятельное, образование светское. Возникла чисто светская литература. Человеческие страсти и всякое естественное человеческое чувство, развивающееся в общественной жизни, чуждой всякого аскетизма, нашли глубокое и потрясающее выражение в светской поэзии. Это человеческое (гуманное) образование развило вкус к классической литературе и классическому мирозерцанию. В Италии раньше, чем в других странах, возродилась никогда

не угасавшая там любовь к древнему искусству и древней литературе. Борьба политических партий пробудила интерес к древней римской истории и литературе. Связь этой последней с греческой литературой вызвала заинтересованность греческими писателями, сочинения которых стали распространяться гораздо раньше взятия турками Константинополя. По мере того, как древняя литература становилась известнее, страсть к ней возрастала все сильнее. Ведь умы, которым было тесно и душно под суровым гнетом католицизма, открывали в этой неведомой им литературе то, что отнял у них католицизм, но в чем они нуждались, как голодный в хлебе, – независимость мысли. Таким образом, совершился перелом в умственной жизни общества, и настала эпоха, известная в истории под названием Возрождения.

В связи с Возрождением и в зависимости от него возникла Реформация. На эту зависимость указывал еще сам Лютер, говоря, в одном из посланий к Эразму, что любовь к изучению древней литературы, несомненно, повлияла на ближайшее ознакомление с Писанием. Да это весьма естественно: Реформация – это проявление независимости мысли, также своего рода возрождение.

Приступая к характеристике этой замечательной эпохи и рассмотрению тех элементов, под влиянием которых развивалась ее идея прогресса, мы должны указать, прежде всего, на то, что правильнее было бы называть эпоху Возрождения *переходной эпохой*. Ведь действительный исходный момент современной нам науки относится к XVII столетию. То есть, к тому времени, когда была провозглашена необходимость отрицания всего старого для движения вперед в новом направлении, когда свержение идолов было непременным условием правильного развития, и когда, наконец, были неопровержимо заявлены факты, принесшие гелиоцентрической системе торжество над геоцентрической, – торжество, безвозвратно разрушавшее основу ретроградного мирозерцания. Время Декарта, Ф. Бэкона и Галилея – время действительного возрождения или обновления человечества. Эпоха же, о которой мы теперь будем говорить, имеет совершенно другой характер.

Мы сказали уже, что любая историческая эпоха содержит в себе два рода элементов: элементы общие ей и эпохе предыдущей, а также элементы, связывающие ее с последующей эпохой. В рассматриваемой теперь переходной эпохе элементами первого рода следует считать обе стороны – собственно классическую и реформационную – так называемого Возрождения. Элементами же второго рода – те стадии *самостоятельного* научного развития, которые и составляют переход к новейшему времени. Первым существенным результатом собственно классического Возрождения была борьба против схоластического аристотелизма, опиравшаяся на возобновленный и с энтузиазмом принятый платонизм и неоплатонизм. Главными поборниками философии Платона были Гемист Плитон, Бессарион и Марцил Фицин. Наряду с этой борьбой против искаженного схоластиками Аристотеля, идет восстановление текста его сочинений по греческим древним спискам и принятие их толкования по греческим комментаторам, в числе которых самое видное место занимает Александр Афродизийский. Александристы (так назывались последователи этих комментариев), склонялись к деизму и натурализму. К тому же они были противниками понимания Аристотеля, принятого схоластиками. Среди александристов замечательнее всех Помпонат, о взгляде которого на прогресс будет сказано ниже. Для более полной характеристики этого направления следует упомянуть, что, кроме учения Платона и Аристотеля, были возобновлены и другие учения: стоицизм (Липсий), эпикуреизм (Гассенди), скептицизм (Монтень, Шаррон и др.).

Как уже было сказано, гуманисты были сильно увлечены той независимостью мысли, которую они находили у древних писателей. Они чувствовали себя действительно необыкновенно привольно после узкой и черствой схоластики. Но независимость, приводившая их в восторг, не была еще независимостью разума, самобытно изучающего природу. Это была условная, относительная независимость, в которой было еще много рабства, для которой существовали идолы. Замена схоластических авторитетов на классические была, конечно, освобождением, но освобождением, все значение которого заключа-

ется в сравнительном достоинстве новых и старых авторитетов. Платон или Аристотель, Зенон, Эпикур или Порфирий... Все это представители *прошлого*. История не повторяется. После сказанного, нам, конечно, не стоит уже говорить о реформационной стороне Возрождения. Значение ее очевидно. Вот причина, по которой мы считаем классические и реформационные элементы Возрождения продолжением старой эпохи.

Переход к новому времени следует искать не в возвращении к древней литературе и философии, а в самостоятельном изучении физической и нравственной природы, в стремлении к независимому от всех внешних норм нравственному самоопределению. В области математики и механики, географии и астрономии были восстановлены сведения и открытия древних. Одновременно, частью путем постепенного совершенствования, частью – путем открытий и смелых теорий, эти сведения и открытия были значительно расширены. Наряду с этими прочными завоеваниями науки, возникали попытки нового мирозерцания, основывающегося на новых успехах наук и содержащего последующие зрелые учения в зародыше. Философия переходной эпохи была более или менее связана с теософией, большей частью заимствованной из каббалы и мистических доктрин неоплатонизма. Одним из первых представителей такого слияния натурфилософии и теософии был кардинал Николай Кузанский (1401-1464), не выступавший против церкви. Впоследствии его воззрения послужили основанием смелой и свободной доктрине Джордано Бруно. Представителями теософической философии в ее последующем развитии были: медик Парацельс; математик и астролог Кардан; основатель академии, названной его именем, Телезий; свободно мыслящий противник церкви Ванини; упомянутый выше Д. Бруно и ученый последователь Аристотеля, проникнутый духом католичества, Кампанелла. Религиозный элемент имеет перевес у протестантских теологов – Швенкфельда и Вейгеля, теософа Якова Беме и их последователей. Правоведение развилось также более или менее самостоятельно. Здесь мы встречаемся с именами Макиавелли, Томаса Мора, Жана Бодена.

Связь науки и философии с теософией, магией и каббалой, почти у всех представителей научного направления переходной эпохи, показывает, сколько нетерпения вносили они в свои поиски, как много хотели угадать, узнать и понять. Это нетерпение и горячность, вместе с не знающим меры восторгом, вызванным наслаждением умственной свободой, характеризуют идеи и воззрения этих замечательных умов. Ни мысль о костре, ни вынужденное скитание из страны в страну, ни несчастье и неудачи – ничто не могло заставить их смотреть на мир и будущее иначе, как с улыбкой счастья. Радуюсь тому, что прошлое, наконец, миновало, они пророчески, с вдохновением относились к будущему, превознося настоящее над варварством миновавших грубых времен. Их настоящее представляло вещи, способные пробудить восторг и удивление: изобретение книгопечатания, открытие Нового Света, начинающийся переворот в воззрении на значение Земли во Вселенной. Понятно, почему могла возникнуть идея, что новое следует предпочитать старому только потому, что оно ново. Все это черты, характеризующие предтеч нового времени, людей, отвернувшихся от прошлого и смотревших вперед, в будущее...

«Утопия» Томаса Мора<sup>1</sup> (1516) принадлежит к числу произведений, задуманных под влиянием размышлений о будущем. «Утопия» – это воображаемая страна, представляющая такой общественный строй и такие условия быта, к которым, по мнению автора, человеческое общество может привести правильный прогресс. Томас Мор смеется над теми, кто, отвергая нововведения, ссылается на мудрость предков и говорит: «Дай нам, Боже, сравняться хоть с ними!» «Они точно бояться, – говорит автор «Утопии», – чтобы среди них не родился человек, превосходящий их предков по уму. Сохраним хорошие учреждения, оставленные ими. Но когда нам предлагают что-либо новое, не станем цепляться за старину, последуем за прогрессом». Законодатель «Утопии» желает, чтобы его соотечественники развивали свои умственные способности изучением наук и литературы. В *полном* развитии заключается истинное счастье, уверен он. Какое гро-

---

<sup>1</sup> Мор Т. Утопия. – М., 1516.

мадное отличие этих стремлений от мистических стремлений Средневековья! Мы видим, как в соответствии с прогрессивным ходом человеческого ума развилась и идея прогресса.

Медик и философ Парацельс (1493-1541) так формулирует идею прогресса. «Все мы, – говорит он, – чем больше живем, тем более сведущими становимся, и чем большее число столетий поучает нас Бог, тем больше распространяет он наши знания. Чем ближе подходит к нам время страшного суда, тем дальше идем мы в науке, мудрости, проницательности, разуме. Ибо всякое семя, брошенное в наш разум, достигнет зрелости, так что те, которые придут последние, опередят во всем пришедших прежде». Этот взгляд на прогресс был бы до известной степени удовлетворителен и полон даже для нашего времени, если бы только Парацельс не указывал на произвольный предел прогресса, не подтвержденный наукой и противоречащий здравому разуму. Отчетливость же формулирования идеи прогресса во всех других отношениях доказывает, что мысль останавливалась на этом вопросе уже не так бегло, как в предшествовавшие эпохи. Нельзя, однако, оставить без внимания то, что Парацельс был человеком, увлекающимся до крайности. Поэтому неудивительно, если, следуя впечатлению минуты, он уклонялся от своего направления и впадал в противоречия. Приведенный отрывок находится в его «*Liber de inventione artium*»<sup>1</sup>. В другом сочинении – «*De Sulfure*»<sup>2</sup> – он жалуется, что образованность гибнет, а мир постепенно становится вертепом разбойников.

Идея прогресса, как ее высказал Кампанелла (1568-1639), монах, философ, поэт и политик, уступает в определенности идее Мора и Парацельса и имеет сильно обозначенный клерикальный оттенок. Зато, по пылкому своему стремлению к лучшему будущему, она описывает нам характер людей рассматриваемой теперь эпохи. Он также написал нечто вроде «Утопии»<sup>3</sup> – это «*Civitas Solis*», образцом кото-

---

<sup>1</sup> Paracelsus. *Liber de inventione artium*. – Paris, 1677.

<sup>2</sup> Paracelsus. *De Sulfure*. – Paris, 1680.

<sup>3</sup> Мор Т. Утопия. – М., 1516.

рому послужила «Республика»<sup>1</sup> Платона, с тем лишь отличием, что философы-правители греческого мыслителя заменены правителями-патерами. Совершавшиеся на его глазах великие открытия и изобретения внушают ему беспредельные надежды и превращают вдохновение в пророчество: «Новая монархия возникнет. Искусства и законы преобразятся, явятся пророки, природа возродится, и на святой народ Христов ниспошлются блага. Но прежде, чем строить, надо рубить и искоренять... Если счастливый золотой век существовал когда-то на Земле, то отчего же не вернуться ему опять? Философы увидят тогда описанную ими совершенную республику, доселе никогда еще не существовавшую».

Совсем иной взгляд на оплакиваемый Кампанеллой золотой век имеет поборник религиозной терпимости Жан Боден (1530-1596). Идея прогресса у него вытекает из изучения истории и представляет удивительную для его времени ясность и определенность. Он отрицает старую басню о первобытном совершенстве. «Предполагаемый золотой век, – говорит он, – был на самом деле настоящим железным веком, потому что, по свидетельству всех историков, в эпоху младенчества человечества господствовала грубая сила». Постоянный прогресс в истории Боден доказывает фактами. Он описывает капитальные недостатки древней цивилизации. Восхваление прошлого и ослабление настоящего он считает предрассудком. Почему старики восхваляют прошлое? Потому что на современное они смотрят сквозь недуги и дряхлость их возраста, тогда как прошедшее оценивается ими по воспоминаниям молодости. Такое понятие о прогрессе принадлежит уже нашему времени, и на Бодена мы можем смотреть, как на *крайнего* человека переходной эпохи.

Весьма замечателен для своего века взгляд на прогресс гуманиста Помпоната (1462-1526), обвиненного в ереси за идеи, высказанные в его сочинении «De Incantationibus»<sup>2</sup>. Он занят преимущественно религиозным прогрессом и настаивает на его необходимости. «Если

---

<sup>1</sup> Платон. Республика. – М., 2009.

<sup>2</sup> Pomponatius. De Incantationibus. – Paris, 1556.



человечество постоянно совершенствуется, – говорит он, – то не нелепо ли утверждать, что религия останется неизменной? Не должна ли она следовать за прогрессом, совершающимся вокруг нее, и быть, таким образом, в соответствии с идеями людей, воспитание которых она должна направлять?» Если эта идея верна, то, утверждает Помпонат, нет религии, которая не имела бы своего цветущего состояния и своего падения. Помпонат применил это общее рассуждение к католичество. Он полагал, что непреложным признаком его падения было прекращение чудес, которые, по убеждению этого философа, были непременным условием не только эпохи становления религии, но и эпохи ее господства.

Отличие этого взгляда от идей аббата Иоахима и Кампанеллы, с которыми он имеет сходство, весьма важны и должны быть рассмотрены при сравнительной оценке этих трех видоизменений идеи религиозного прогресса.

Переходная эпоха представляет несомненный шаг вперед в развитии идеи прогресса. Мы видели, что формулирование этой идеи Т. Мором, и в особенности Боденом, представляет черты чисто новейшего характера, описывая взгляд на развитие человечества, значительно отличающийся от воззрений предшествовавшей эпохи.

Нельзя не заметить, что в XVI столетии, как и раньше, идея прогресса не имеет еще точки опоры, и потому, представляя отрывочные наблюдения, нередко весьма глубокие, и отдельные соображения, иногда смелые, она не может развиться в учение, тенденции к которому замечаются уже в воззрениях Бодена. Этот существенный недостаток в развитии рассматриваемой нами идеи был исправлен в XVII веке: точка опоры была найдена.

Мы сказали уже, что переход от геоцентрической системы к гелиоцентрической представляет великий переворот в умственном развитии человечества, так как верное понятие об истинном положении Земли во Вселенной устанавливает в положении человека в общей системе мироздания новую точку зрения, не имеющую ничего общего с традиционным мирозерцанием. Сочинение каноника Коперника, совершившего этот громадный переворот в представлении о Вселен-

ной, вышло еще в 1543 году. Его система была принята многими учеными, но вообще распространялась медленно, так как убедиться в ее истине можно было только умозрительно. Телескоп в то время еще не был изобретен и говорящие чувству доказательства – движение спутников Юпитера, фазы Венеры, изменения вида пятен на Солнце – не могли быть представлены всем и каждому. «Если учение Коперника справедливо, – говорили, например, противники его системы, – то Венера должна представлять такие же фазы, как и Луна, чего не бывает». Коперник видел это затруднение, но опровергнуть его мог только посредством предположения, что планета, на которую указывали, прозрачна.

Нет сомнения в том, что эти частности не были в состоянии помешать системе Коперника получить признание. Однако для ее победы необходимо было весьма продолжительное время. Но внезапно произошло событие, значительно приблизившее эту победу и давшее гелиоцентрической системе ясность и доказательность, легко достижимые для всех и каждого. Этим великим и счастливым событием было изобретение телескопа в 1608 или 1609 году.

Но, кроме того, развитие новой системы пошло успешно благодаря сильному движению, проявившемуся в научной деятельности XVII века. Галилей, кроме своих важных изобретений и открытий в области астрономии, сделал не менее важные открытия в механике, изложенные в его «Разговорах»<sup>1</sup>. Кеплер в 1609-1617 годах на прочных математических основаниях возвел законы движения небесных тел и значительно исправил систему Коперника. Одновременно с успехами астрономии и механики прогрессировали и другие науки. Декарт (1596-1650) заложил основание аналитической геометрии, Нэпер (1550-1617) усовершенствовал логарифмы, Кастелли (1577-1644) создал гидравлику, Торричелли (1643) изобрел барометр и открыл законы гидростатики, Гарвей открыл обращение крови (1628), Санкторио (1561-1636) употребил в первый раз весы при физиологических исследованиях и положил начало новейшей физиологии. Паскаль (1623-

---

<sup>1</sup> Галилей Г. Избранные труды в 2 томах. – М., 1964.

1662) установил учение о тяжести и давлении воздуха, Отто Герике (1602-1686) изобрел воздушный насос, а Бойль усовершенствовал его... Кроме того, многие важные открытия были сделаны Гуком, Рейем, Турнефором, Мальпиги, Листером, Борелли и многими другими. Этот же век прославился великими открытиями Ньютона и Лейбница. Первый в своих «Principia», представленных в 1686 году Королевскому обществу, изложил открытый им закон всеобщего тяготения. Он же сделал открытия в математике (бином) и физике (теория света). Лейбниц установил дифференциальное и интегральное исчисления, послужившие могущественнейшим средством при изучении природы... «Работа в мире мысли с этих пор идет непрерывно, – говорит А. Гумбольдт во второй книге «Космоса»<sup>1</sup>. – Все ее части поддерживают друг друга. Ни один из прежних умственных зародышей не глхнет».

Очевидно, несмотря на краткость сделанных нами указаний, что научное движение XVII века дало совершенно новое направление умственной деятельности, направление, опиравшееся на разум, самобытно изучающее природу и совершенно свободно относившееся к традиции, выше которой, естественно, должен был стать опыт, наблюдение и добытые ими положительные знания. Все это не могло не повлиять на развитие идеи прогресса, и мы сказали уже, что в течение этого века она пережила важный момент своего собственного прогресса.

Два великих философа XVII столетия, Франсис Бэкон и Рене Декарт, установили те основные начала, от которых идея прогресса уже больше не отклонялась в своем дальнейшем развитии, поэтому мы и рассмотрим их взгляды.

Первая часть знаменитого сочинения Бэкона «Novum Organon»<sup>2</sup> посвящена исследованию причин и источников человеческих заблуждений, препятствовавших людям постигать истину. Бэкон называет эти источники заблуждений «идолами», которым поклоняются люди. Таких идолов, по его мнению, четыре рода:

<sup>1</sup> Гумбольдт А. фон. Космос: опыт физического мироописания. – М., 1862.

<sup>2</sup> Bacon F. Novum Organon. – London, 1620.

1) идолы наследственные, проявляющиеся в тех общечеловеческих заблуждениях, которые происходят от недостатков, свойственных человеку;

2) *idola specus*, личные заблуждения, возникающие от особенностей индивидуального развития;

3) идолы форума, идолы площади, т. е. заблуждения, происходящие от условного уважения общества к какому-нибудь понятию;

4) идолы сцены, т. е. заблуждения, внушаемые нам авторитетами мысли, при помощи сценической обстановки своих идей. Эти идолы, по мнению Бэкона, самые опасные. В заключение (во второй книге) автор предостерегает читателя от опасности обращения его воззрений в новый *idolum theatri*, от которого он так хотел его освободить.

Увлечение древностью было еще очень сильно в его время, а потому он обращает особое внимание на ниспровержение идолов древности, стоящих поперек всего развития той эпохи. «Одна из причин, наиболее препятствовавших прогрессу, который можно было совершить в науках, – говорит он, – и, так сказать, как бы очарованием пригвоздившая людей к одному месту, заключается в глубоком почтении, которое они испытывают, прежде всего, к древности, авторитету тех личностей, на которых они смотрят, как на великих учителей философии. Что касается древности, то мнение, которое они составили о ней вследствие недостаточной обдуманности, поверхностно и несообразно с естественным смыслом слова, к которому оно прилагается. Слово «древность» следует связывать со старостью мира и его зрелым возрастом, но старость мира – это время, в которое мы живем, а то, в которое жили древние, было молодостью мира. На самом деле, время, в которое они жили, более древнее по отношению к нам, но по отношению к миру оно ново. Но, точно так же, как при желании найти в человеке большее знание жизни и известную зрелость суждения, будут искать то и другое скорее в старике, а не в молодом человеке, зная, какое преимущество дается первому его продолжительным опытом, количеством и разнообразием предметов, виденных, слышанных и обдуманных им самим. Таким образом и по той же причи-

не, если бы наш век, знающий свои силы, имел мужество испытать их, тренируя, то от него можно ожидать большего, чем от древности, в которой он ищет себе образцы. Ведь мир стал старше, и масса опытов и наблюдений возросла до бесконечности. Не следует оставлять без внимания и то, что при посредстве мореплавания и столь частых в наше время отдаленных путешествий, в природе было открыто бесчисленное множество вещей, которые могут распространить новый свет в философии. И, кроме того, не было ли стыдом для человечества, после открытия в материальном мире стольких стран, земель, морей и светил, терпеть то, что пределы интеллектуального мира остаются в тесных границах древних открытий».

Разрушив идолов древности, Бэкон посвящает вторую книгу «Органона» развитию своего нового метода. К сожалению, книга эта не закончена. Взгляд Бэкона на историю человечества чрезвычайно замечателен. Он не только ставит прогресс как главный ее закон, но и указывает сам путь прогресса. Его сущность, по мнению Бэкона, заключается в стремлении победить природу, его цель – победа, средства – искусство наблюдать, умение пользоваться своими наблюдениями, изобретательность. Задача истории – не только перечисление таких изобретений, но и наука делать их. История, по выражению Бэкона, должна обеспечить искусство изобретения, и, если до сих пор человек изобретал случайно, то когда будут найдены правила самого изобретения, он изобретет несравненно больше. Пределы невозможного для человека будут отодвигаться дальше и дальше. И в настоящее время, говорит Бэкон, понятие невозможного было всегда только условно: «Надобно думать, что природа скрывает от нас еще тысячи тайн, самых полезных, которые не имеют и тени сходства с тем, что уже изобретено, и которые лежат вне пробитых дорожек нашего воображения... Человеческий род всегда признает сначала то или другое решительно невозможным, а после ему кажется невозможным, чтобы такое изобретение когда-нибудь могло быть неизвестным».

Среди всех человеческих деяний, Бэкон выше всего ставит изобретение. Он утверждает, что так думали и в древности, потому что изобретателям отдавались божеские почести, тогда как тех, кто ока-

зывает услуги государству, считали только героями. Сравнивая эти два рода услуг, Бэкон называет вторые временными, а первые – вечными. Он называет изобретения вторичным творением, приписывая им причины отличий между цивилизованным человеком и дикарем. Рассматривая с этой точки человеческое честолюбие, он делит его на три рода: к первому он относит людей, стремящихся увеличить свою власть в стране; ко второму – желающих укрепить власть своей страны над остальным человечеством. А к третьему, истинно высокому и благородному честолюбию, он причисляет тех, которые стремятся утвердить и расширить власть человеческого рода над материальной природой. «А власть человека над природой основана единственно на науках и искусствах, потому что природой можно повелевать, только повинуясь ее законам», – говорит он.

Одна из сторон прогресса, как его понимает Бэкон, заключается в том, что люди постепенно будут подтягиваться в умственном развитии, и то, что прежде было возможно для людей особо проницательных или необыкновенно искусных, станет возможным для всех и каждого. В прежнее время, например, только тот мог провести правильно прямую линию или верно начертить круг, кто имел особую твердость руки и верность глаза. Но с тех пор, как были изобретены линейка и циркуль, это стало не только возможным, но и легким для всех и каждого.

В этой же части «Органона» излагаются в общих чертах мысли Бэкона о *постоянстве* и *вечности* прогресса, которые должны были быть развиты в четвертой части его «Инставрации», которой нет. Его главная мысль состоит в том, что неудачи наших предков в стремлении к целям, которых мы успели достичь, свидетельствуют о том, что причина невозможности находится не в природе вещей, а в нашем неумении пользоваться ими. Так как в познании вещей сделан большой прогресс, и так как этот прогресс достигнут лучшими методами познания, то очевидно, что препятствия лежат в существующих еще недостатках метода. Но эти недостатки могут быть устранены, а метод может совершенствоваться бесконечно.

Каковы же недостатки метода, предшествовавшего Бэкону? Сам он отвечает на это так: «Науки до сих пор были обрабатываемы или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, как муравьи, умеют только накапливать все в кучу и потреблять все на месте. Догматики, наподобие пауков, ткнут ткань из самих себя. Процедура у пчелы занимает середину между ними: она собирает, как муравей, свой материал на цветах садов, на полях, но она его преобразует и дистиллирует в силу прирожденной ей способности. Таков образ истинной работы философии, которая не считает сама себя источником познания, как паук или муравей, не ограничивается нанесением в нашу память множества опытных фактов, но вкладывает их в наш дух видоизмененными и преобразованными. Надо ожидать великого от соединения этих двух методов – опытного и рационального – соединения, до сих пор еще не встречавшегося».

Такова общая характеристика оснований прогресса, заложенных Бэконом. При их оценке, как он сам говорит, следует становиться на ту точку зрения, что он ничего не сделал великого, а то, что считалось великим, сделал малым.

Декарт задумал свое «Рассуждение о методе»<sup>1</sup> под впечатлением чтения «Нового органона». Но ум французского философа был настолько оригинален, что он дал течению своих идей совершенно иное направление. Точка исхода обоих мыслителей имеет, однако, много общего. Общность эта, в отношении к рассматриваемой нами идее, имеет важное значение. Бэкон начинает со свержения идолов, Декарт выходит из безусловного сомнения. Оба, следовательно, относятся к прошедшему отрицательно. Это отношение к прошедшему выразилось еще у Декарта тем, что он писал, вопреки принятым правилам, не на латинском языке, а на французском. Подобно Бэкону, Декарт не требует рабского преклонения перед своими воззрениями, а заявляет о необходимости свободного, критического отношения к ним: «Я не хочу давать другим средство руководить их разумом, а намерен только показать, каким образом я старался руководить своим собственным».

---

<sup>1</sup> Декарт Р. Рассуждение о методе. – М., 1637.

Для руководства своим разумом Декарт принял четыре правила. *Первое* состоит в том, чтобы не принимать ничего за истину прежде, чем очевидность этой истины не стала известной. То есть, тщательно избегать предубеждений и поспешных заключений, принимая только то, что представляется разуму ясно и отчетливо, что не дает повода сомнению. *Второе* заключается в разделении каждой встречающейся трудности на столько частиц, насколько возможно и насколько требуется для лучшего их решения. *Третье*: вести идеи в порядке, начинать с вещей простейших и легче познаваемых, постепенно переходя к более сложным. И, наконец, *четвертое* правило требует таких полных перечислений и столь общих обзоров, чтобы была уверенность в том, что ничего пропущено не было.

Из этого видно, что скептическое отношение к прошедшему и твердое направление пути для выяснения истины в будущем давали Декарту, как бы готовой уже, смелую и свободную идею прогресса. Притом же, «Новый органон»<sup>1</sup>, как я сказал, был ему известен, идея была ему дана раньше, чем своими размышлениями он разработал ее основы и характер. Однако, несмотря на все это, он высказывает ее далеко не вполне и чрезвычайно односторонне, так что в его изложении нельзя не видеть явного противоречия с установленными им правилами. Причина такой сдержанности заключается, по предположению Жавори (*De l'idée du progrès*), в том, что еще в 1624 году (*Discours de la methode* вышел в 1637-м) было вынесено постановление парламента, запрещавшее, под страхом смертной казни, любое изменение рассуждений против одобренных Сорбонной писателей. Таким образом, осторожность заставила его ограничиться только научным прогрессом.

Говоря о своих открытиях в области естествознания, он выражается так: «Эти открытия доказали мне, что существует возможность достичь таких познаний, которые были бы полезными для жизни. Вместо той умозрительной философии, которую преподают в школах, можно открыть иную – практическую, с помощью которой, узнав силу

---

<sup>1</sup> Декарт Р. Новый органон. – М., 1620.



и действие огня, воды, воздуха, светил и других окружающих нас тел, так же хорошо, как мы знаем ремесла, мы пользовались бы нашим знанием для употребления этих вещей в соответствии с их свойствами. Мы стали бы, таким образом, как бы властителями и господами природы». Это идея Бэкона, но Декарт идет еще дальше. Он предполагает, что при таком прогрессе наук «можно будет освободиться от бесчисленного множества как телесных, так и умственных болезней и даже, может быть, от одряхления в старости, если только их причины будут известны, и будет открыто то множество лекарственных средств, которыми снабдила нас природа».

Ввиду такой важности научного развития для общества, Декарт высказывает желание: «Чтобы все дельные умы обнародовали результаты своих занятий и опытов, чтобы предел жизни и работ одних становился началом жизни и работ других, чтобы, таким образом, индивидуальные успехи служили источником и основанием всеобщего прогресса человечества». Это желание, столь обыкновенное в наше время, тем и замечательно, что оно внушено духом новейшего времени. Оно показывает, что Декарт смотрел на преемственность знаний как на необходимое условие прогресса, но относил его к знаниям и опытам, не придавая никакого значения понятиям о вещах, имевших источником бездоказательную традицию, откуда бы она ни шла. Отец рационализма, конечно, и не мог думать иначе, но посторонние причины заставляли его касаться этого вопроса только косвенно...

Здесь не место оценивать Декарта и Бэкона, как основателей новейшей философии, и определять их относительное значение в этом отношении. Каковы бы ни были их достоинства и недостатки, как бы ни отличались между собою те направления философского мышления, которые от них берут свое начало, — значение их обоих в развитии идеи прогресса почти в одинаковой степени велико. Им обоим, как мы сказали, идея прогресса обязана той прочной точкой опоры, которой недоставало в ее развитии до того времени, отсутствие которой делало это развитие недостаточно последовательным и медленным. С Бэкона и Декарта начинает обозначаться первенство умственной деятельности в ходе человеческого развития. Это первен-

ство составляет главную характерную черту новейшего фазиса развития идеи прогресса и служит основанием для последующего развития этой идеи в полное и всестороннее учение о прогрессе. Этот переход совершился, конечно, не вдруг: мыслители XVII века придают идее прогресса произвольные ограничения и, таким образом, мало способствуют ее развитию. Но важно уже то, что это развитие не двигается больше на ощупь, а строится на незыблемом основании, неуклонно стремясь к расширению границ, которые могут назначаться ему только искусственно.

Признание первенства разума, очевидно, исключает господство авторитетов. Верховным авторитетом становится разум, перед которым неизбежно должен склониться всякий авторитет. Я говорил уже, что Декарт начал с безусловного сомнения, не уважая авторитеты ни из-за их древности, ни из-за других каких бы то ни было посторонних разуму побуждений. Ученик его, Мальбранш, уважал древних не больше своего учителя. Повторяя мысль Декарта, что люди должны руководствоваться одним только разумом, он говорит, «что чрезмерное почтение к древности часто заставляет нас считать себя не способными стать когда-либо столь просвещенными, как были древние, и лишает нас смелости предпринять что-либо в тех сферах, в которых их постигла неудача. Причина этого воззрения заключается в чрезмерном уважении, смешанном с глупым любопытством (*sotte curiosité*). Разыскивают древние медали, изъеденные ржавчиной, тщательно берегут фонарь и туфли какого-нибудь древнего человека, вся цена которых в их древности... Мнения древних, ради их древности, также особенно уважаются и, конечно, если бы Немврод написал историю своего царствования, в ней открыли бы самую тонкую политику и даже все другие науки. Надо почитать древность, говорят. Как можно, чтобы такие великие люди, как Платон, Аристотель, Эпикур, ошибались! Они не понимают, что Платон, Аристотель, Эпикур были такими же людьми, как и мы, и что век, в который мы живем, старше того, в котором они жили, на целые две тысячи лет. Этот век обладает большим опытом, поэтому он должен быть более просвещенным, так как старость и опытность века способствуют открытию истины»

(Recherche de la vérité, 1674). Одновременно с этим взглядом на древность следует указать на то ограничение идеи прогресса, которое свойственно, как я указал, всем мыслителям XVII века, как и Мальбраншу. Это ограничение касается области теологии. Мальбранш не допускает в ней никаких изменений: «Истина вполне открыта в этой сфере умозрений, а потому всякое любопытство здесь излишне». Мальбранш, очевидно, был не в состоянии примирить последовательность своих воззрений с ортодоксальностью и решился принести первую в жертву последней.

Ограничение идеи прогресса, на которое мы не раз указывали, является следствием того, что она проникает в лагери самых противоположных направлений. Янсенистам нелегко было согласовать идею прогресса со своим мирозерцанием. Однако Арно и Николь не только не отвергают ее, но и стараются привести новые доводы для ее подкрепления. «Существует постоянный, столь же древний, как мир, прогресс, – говорит Николь в своем рассуждении о бытии Бога. – Этот прогресс подобен прогрессу человека, выходящего из детства и проходящего другие возрасты».

Это сравнение всеобщего прогресса человечества с прогрессом отдельного человека с большей полнотой высказано Паскалем: «Человек невежествен в первом возрасте своей жизни, но он никогда не перестает прогрессировать, потому что извлекает выгоду не только из своего опыта, но и из опыта своих предшественников. Отсюда следует, что, благодаря особенному преимуществу, не только всякий человек со дня на день продвигается вперед в науках, но что и все люди вместе делают в них постоянный прогресс по мере того, как мир старится, потому что человеческие поколения представляют те же явления, что и жизнь отдельного человека. Таким образом, человеческое общество, во всей его совокупности, должно быть рассматриваемо как один человек, существование которого не прекращается и который не перестает обучаться». Эта мысль приводит Паскаля к повторению мнения Бэкона и Мальбранша о превосходстве людей нового времени над древними. Мнение же его о неизменяемости теологии то же, что и Мальбранша.

Нередко идея прогресса высказывается и во французской литературе XVII века. Так, например, Лабрюйер говорит: «Если мир существует только сто миллионов лет, то он будет находиться еще во всей своей свежести, и теперь едва еще только начинается: мы сами примыкаем к первым людям и патриархам. Как можно будет не перепутать нас с ними по прошествии стольких веков? Но если судить о будущем по прошедшему, то какое множество вещей еще неизвестно нам в искусствах, науках, природе и, смею сказать, в истории! Каких только открытий не будет сделано! Какие разнообразные перевороты должны произойти по всей Земле, в разных странах и государствах! Как велико наше невежество! Как ничтожен опыт каких-нибудь семи-восьми тысяч лет!»

Популяризации, а отчасти и развитию идеи прогресса, способствовал возникший в литературе спор о сравнительном значении древнего и нового времени. Шарль Перро, ныне известный только как автор волшебных сказок, утверждал превосходство нового времени и горячо полемизировал с Буало, отстаивавшим древность. Все образованное общество приняло участие в этом споре, даже при дворе были партии, придерживавшиеся той или другой стороны. Всякому приходилось высказаться в том или другом смысле. Спор этот, по-видимому, чисто литературный, имел философское значение, так как полемика о превосходстве произведений поэзии и вообще искусства предполагала, так или иначе, осознанную и понимаемую идею прогресса.

Перро доказывал, что современники, безусловно, превосходят древних во всех отраслях умственной деятельности. Такой тезис, очевидно, должен был встретить немало трудностей по отношению к искусствам, так как было общепринято, что древность оставила такие произведения, превзойти которые невозможно. Итак, ему предстояло, прежде всего, устранить эти предрассудки и сделать, таким образом, возможным беспристрастие в оценке древнего и нового времени. План его сочинения «*Parallèle des Anciens et des Modernes*»<sup>1</sup> (1688)

---

<sup>1</sup> Perrault C. *Parallèle des Anciens et des Modernes*. – Paris, 1688.

был составлен именно в таком смысле, но остался невыполненным, отчего у него появилось множество несообразностей и противоречий, которыми и воспользовался Буало, едко осмеяв своего неловкого противника, так что весь спор, по замечанию Вольтера, окончился смехом над Перро.

Однако его неудача не лишает значения высказанных им идей, поэтому мы скажем о них несколько слов. Перро удостоверился в превосходстве нового времени над древностью, изучив прогресс, совершенный в области науки и промышленности, что привело его к определению общих принципов прогресса. Он сравнивает прогресс человечества с течением реки, вода которой постоянно растет по мере того, как принимает в себя впадающие в нее притоки и ручьи. Он повторяет сравнение человечества с отдельным человеком, не перестающим обучаться. Он утверждает, вслед за Бэконом, что древняя эпоха — это эпоха младенчества человечества, и старается объяснить задержки развития сравнением с подземным течением рек, выходящих на некотором расстоянии на поверхность и совершающих беспрепятственно свое дальнейшее течение. Изложив общие основания, он последовательно рассматривает прогресс красноречия, поэзии, искусств и, наконец, наук, доказывая с помощью сравнения превосходство нового времени в каждой из этих отраслей умственной деятельности. Нельзя не заметить, что порядок, принятый им, был крайне не целесообразен: научный прогресс не отрицали и в его время, а потому и надо было начинать с него. Он, несомненно, глубоко убежден в том, что доказывает, и идею прогресса понимает широко и ясно, но неумение справиться со своим предметом и отсутствие таланта делают аргументацию его слабой, отнимая у нее хоть какое-то значение в настоящее время.

Сравнение древнего и нового времени встречается в последний раз у Фонтенеля в его «Digression sur les anciens et les modernes»<sup>1</sup> (1723). Хотя это сочинение относится по времени к XVIII веку, но оно так тесно связано по своему предмету с полемикой Перро и Буало, что

---

<sup>1</sup> Fontenelle B. Digression sur les anciens et les modernes. — Paris, 1723.

о нем лучше сказать теперь. Сравнив древнее время и новое, Фонтенель говорит, что новое, естественно, должно было уйти вперед, и ему, по справедливости, следует отдать преимущество. Но он спешит заметить, что достоинство древности совершенно не унижено превосходством нового времени. Сами заблуждения, которые встречаются у древних, имеют для нового времени значение, потому что они способствовали его просвещению. Затем он отделяет науки, прогресс которых обуславливается накоплением знаний и опыта, от поэзии, требующей живости воображения и некоторых весьма ограниченных знаний. Из этого он заключает, что древние могли подняться в поэзии до такой высоты, до которой не могла подняться ни одна из последующих эпох, но это не решает еще вопроса об их превосходстве. Что же касается наук, то Фонтенель признает в них постоянный прогресс, предел которого, по его мнению, определить невозможно. Итак, спор о сравнительных преимуществах нового и старого времени укрепил и распространил убеждения в важности прогресса умственной деятельности и особенно – научного прогресса.

Не изучая суждение о прогрессе бельгийского врача Ван Гельмонта, идеи которого вращались преимущественно в теологической сфере и были во многих отношениях крайне не ортодоксальны, особенно в вопросе о вечности загробных мук, мы перейдем к Лейбницу, стоящему на рубеже XVII и XVIII столетий и имеющему весьма видное место в истории развития идеи прогресса. Лейбниц имел все данные, чтобы стать философом прогресса. Универсальный гений, глубокий мыслитель, тщательный историк, новатор в математике, страстный ученый — он располагал всеми средствами для того, чтобы мысленно охватить прогресс во всем разнообразии его проявлений, открыть и сформулировать его закон со всей определенностью и ясностью, на какую только был способен такой высокий ум. К несчастью, этому высокому уму не хватало одного качества – решимости. Вот причина, почему он так горячо хлопочет о примирении вопросов, по существу своему совершенно не примиримых, так старается объяснить необъяснимые вещи и заставляет философию делать уступки не философским требованиям. Таким образом, идея прогресса у Лейб-

ница, несмотря на оптимизм, в который он ее возвел, вышла, однако, ограниченной, неполной и не лишенной противоречий.

Воззрения Лейбница на прогресс изложены в его «*Théodicée*»<sup>1</sup> и «*Principes de la nature et de la grâce*»<sup>2</sup>. Они находятся в прямой зависимости от общего «закона непрерывности», который, по его понятию, управляет всем существующим. Вот этот закон в общих чертах: мир состоит из монад, т. е. из неуничтожимых частиц, сущность которых – деятельность. Эти монады были сотворены одновременно и одарены разными свойствами и необходимой силой для саморазвития. Развитие монад предела не имеет: их смерть – это только возрождение к новой жизни. Каждый такой переход к новой жизни – только обнаружение нового фазиса их существования. В этом сцеплении возрождений и заключается закон непрерывности, содержащий в себе идею беспредельного прогресса. Человеческие души – также монады, отличающиеся от других монад только высшими свойствами: сознанием и свободой. Лейбниц выделяет их из совокупности всех прочих монад, но, тем не менее, подчиняет тому же закону непрерывности, по смыслу которого люди не были прежде тем, кем они есть теперь и кем будут впоследствии. Вечное и постоянное изменение – необходимый закон существования.

Мир, управляемый законом непрерывности, – один из множества *возможных* миров, стремящихся к бытию, но это *самый лучший* мир, выбранный Богом из множества представляющихся возможностей. «В этом мире, – утверждает Лейбниц, – существует один непрерывный и самобытный прогресс, стремящийся к красоте и совершенству, какие только возможны для божества, так что мир постоянно стремится к лучшему состоянию. Это вечное совершенствование и делает его лучшим из миров».

Принимая закон бесконечного совершенствования для человека, совершенствования, не прекращающегося даже со смертью, Лейбниц, очевидно, должен был противоречить некоторым весьма важ-

---

<sup>1</sup> Leibniz W. *Théodicée* Théodicée. – Berlin, 1710.

<sup>2</sup> Leibniz W. *Principes de la nature et de la grâce*. – Paris, 1698.

ным теологическим положениям. Будучи вполне последовательным, он должен был склоняться к воззрениям Ван Гельмонта, но из-за своей нерешимости он этого не делает. Напротив, старается примирить свои воззрения с теологией посредством разных тонких метафизических различий и сближений, преуспевая в этом насколько возможно.

Оставляя высокие и отдаленные сферы прогресса, выходящего даже за пределы жизни, остается сказать только о том, как понимал Лейбниц прогресс земной жизни человечества в этом лучшем из миров. Мы уже сказали, что под лучшим он понимает совершенствующийся, прогрессивный мир. Исходя из такой точки зрения, он выражает желание, чтобы всякий человек делал все возможное для усовершенствования себя и всего, от чего зависит прогресс. Он предвещает большие перемены в жизни человеческих обществ, но, осторожно избегая определенных указаний, умалчивает о том, какие это будут перемены. Он вообще говорит, что совершится много добра и зла, но что, в конце концов, все придет к лучшему.

Эту последнюю мысль, особенно рельефно выставляющую его исторический оптимизм, он с наибольшей определенностью высказывает в «Nouveaux essais sur l'Entendement humain»<sup>1</sup>. Говоря о некоторых не одобряемых им идеях, попадающихся в новых *модных* сочинениях и подготавливающих неизбежный переворот в Европе, он добавляет следующее: «Если эпидемию, вредное действие которой уже заметно, устранить, то, быть может, бедствия будут предупреждены. Но если она станет распространяться, то провидение исправит людей тем самым переворотом, который был ею подготовлен, так как, что бы ни случилось, *все придет, в конце концов, к лучшему*, хотя и не обойдется и не может обойтись без наказания тех, кто *привел к добру своими недобрыми действиями*».

Переход к новому времени, открывающемуся XVII веком, совершился, как сказано выше, путем великого умственного переворота, произведенного наукой. Земля из средоточия мира снизошла на степень ничтожной песчинки в мировом пространстве, наполненном

---

<sup>1</sup> Leibniz W. Nouveaux essais sur l'Entendement humain. – Paris, 1899. (См.: сноска 2 к с. 191)



бесчисленным множеством таких же песчинок. Прежний взгляд на исключительное ее значение во Вселенной лишился опоры, и его сторонникам приходилось или отречься от него и всех его последствий, или отвергать его. Первое стоило последнего: оба исхода были для них ужасны. Им не хотелось ни отречься от своего мирозозерцания и, превратившись в обычных смертных, лишиться своего значения, ни упорно держаться старины и, по-видимому, только сохраняя свое прежнее величие, стать явными обскурантами и ретроградами, т. е. уступить другим первенство в сфере умственной деятельности. Эта альтернатива, очевидная даже для наименее проницательных, заставляла клерикалов приложить все усилия, чтобы задушить истину раньше, чем она успеет распространиться. Завязалась борьба, в которой наука опиралась только на собственную силу против могущественных, по-видимому, средств своего врага, и победила. Эта победа, произведя сильное впечатление на умы, не могла не повлиять на понимание прогресса. Значение научного прогресса впервые представлялось во всей его силе, и оно было заявлено двумя величайшими умами этой эпохи. До Бэкона и Декарта идея прогресса отличалась серьезной неопределенностью: говорили о прогрессе вообще, прогрессе в прошедшем и будущем, но каким образом он совершается, на чем основывается, чем задерживается — об этом никто не говорил. Вообще идея прогресса не разрабатывалась как отдельный самостоятельный вопрос ни в XV веке, ни в XVI. Она высказывается, *между прочим*, она подразумевается, она на втором плане. Один Боден составляет в этом отношении исключение. Неопределенность идеи прогресса имеет еще и другое следствие — прогресс будущего представляется более или менее фантастическим, и то или другое начало отрицается во имя принципов, не всегда ясно созданных и твердо установленных. Таковы представления о будущем Кампанеллы, отрицание авторитетов Помпоната, презрение к древности Парацельса. В XVII веке возникает, наконец, убеждение, что основанием прогресса является умственная деятельность. Именно в этом направлении разрабатывается идея прогресса. Декарт развивает это определение и говорит о прогрессе в будущем, опираясь на научную точку зрения. И

тот, и другой основывают свое отрицательное отношение к авторитету и древности на свободе и самобытности разума, указывая на научное отношение к природе, как на могущественное средство прогресса. Перро применяет идею прогресса к искусствам, а Ван Гельмонт – к теологии, руководствуясь все той же точкой зрения – главенства разума в развитии человека. Ряд этих положений дает идее прогресса определенность, которой она до того не имела, указывает путь, на котором ее ждет развитие. Но, вместе с определенностью, мыслители XVII века сохранили от прежней эпохи один важный недостаток, от которого ее должно было освободить последующее развитие. Недостаток этот – ограничение идеи прогресса известными, условными пределами. Но признание научного прогресса было залогом более широкого понимания прогресса. Связь науки с вопросами философии и практической жизни, обозначившаяся с прогрессом наук, неизбежно усложняла идею прогресса, устраняя все произвольные ограничения. Уже у Лейбница идея прогресса имеет значительное обобщение, но его точка зрения лишает это обобщение всякого значения. Для дальнейшего развития идеи прогресса ей необходимо было стать в более живое отношение к действительности и освободиться от посторонних влияний, еще ограничивавших ее на всем протяжении XVII века. Этот шаг в развитии идеи прогресса был сделан тогда, когда данная идея перешла из придворных сфер, в которых она преимущественно вращалась в XVII веке, в лагерь свободных мыслителей XVIII столетия.

## II.

Мы сказали уже, при рассмотрении развития идеи прогресса в эпоху Средневековья, что первые признаки восстановления умственной деятельности были первыми признаками разлада между философским мышлением и традиционным мирозерцанием. Не согласные с этим мирозерцанием существовали в самые темные времена у всех культурных народов Европы, поддерживая их преемственность свободной мысли. Существование этих поборников самобытности че-

ловческого развития было причиной того, что по мере устранения обстоятельств, задерживавших развитие того или другого народа, этот народ не только мог воспринять то, что было выработано раньше, но сам вносил в ход дальнейшего развития свои идеи, вел работу, начатую его предшественниками. Эта преемственность идей сравнивалась Гете с обширной фугой, в которой голоса народов вступают один после другого.

Учение об опыте и наблюдении, об измерении и исчислении, как источнике знаний и средств, с помощью которых достигалась его удобоприменимость, прошло через жизнь всех европейских народов, развитие которых оно произвело. Начиная с первых проблесков умственной деятельности и до конца XVII века каждый народ имел своих представителей науки и философии. Но весь этот долгий период времени общественное мнение было против них. Они должны были или вступать в недостойные компромиссы, или терпеть притеснения как от правительства, так и от народных масс тех стран, в которых они решались провозглашать чуждые всяких посторонних влияний научные и философские истины. Но в конце XVII века в Англии произошли те важные политические перемены, которые упрочили свободу исследования и дали науке, как и основывающемуся на ней мирозерцанию, возможность оказывать на жизнь благотворное влияние.

Итак, во главе того умственного движения и той борьбы, которая наполняет собою XVIII век, стояла Англия. Здесь, одновременно с обновлением политической жизни, наука сделала огромный шаг вперед, шаг, имевший такое решительное влияние на направление мысли XVIII столетия: я говорю о том великом открытии, которое обесмертило имя Ньютона. В первой статье мы уже рассказывали о перевороте, произведенном Коперником и Галилеем во взгляде на значение Земли и человека во Вселенной. Этот переворот был значителен, но Вселенная и после открытий этих астрономов все еще оставалась чудом. Победа науки не была окончательной. Только после великого открытия Ньютона взгляд на механические законы Вселенной смог проясниться. Мир представился самодвижущимся целым, без чудес и произвола, без цели и намерения, покоящимся в самом себе и сохра-

няющимся сам собою, – царством разума, истины и вечно правящей законности. В первый раз из фантастического мира воображения человек смог перейти в действительность природы. Магические силы астрологии потеряли свое очарование, чудеса древней мифологии стали научными фактами.

То, что сделал Ньютон по отношению к мировому механизму, совершенно Локком по отношению к человеку, а потому Локка называют Ньютоном философии. В рассмотрении человеческого духа он выходил из тех же принципов, что и современные ему естествоиспытатели при изучении природы. Его философия послужила исходной точкой для позднейших английских мыслителей, идеи которых были приняты, развиты и преобразованы французами, благодаря которым имели влияние на ход всего европейского просвещения.

Таким образом, после Англии выступает Франция. Уже со времен Людовика XIV французский язык и французское образование стали языком и образованием всего света, поэтому распространение новых идей французскими писателями представляло чрезвычайные удобства. Притом французы могли облечь эти идеи в новые привлекательные формы, сделав их общедоступными. Все это сообщило умственному движению XVIII века такую победоносную силу, которую оно вряд ли бы имело без помощи Франции. Эта страна, по словам Маколея, была для новой философии тем, чем был Аарон для Моисея.

Следом за Францией вступает на поприще деятельности во имя просвещения и Германия. Появляются Лессинг, Гердер, Кант... и все глубже, шире и могучее становится поток новых идей. Человечество, по выражению Канта, выходит, наконец, из добровольного малолетства.

Итак, период времени от Локка и Ньютона до Канта наполнен открытой борьбой самосознающего разума с традиционным мирозерцанием и всем, что им держалось. Эта борьба была неизбежна, потому что ее основание заключалось в коренном противоречии двух давно уже сопоставленных ходом исторической жизни начал. Бездна – дежен был путь, которым думала разрешить это противоречие инквизиция: временное воплощение идеи гибло на костре, но сама идея

продолжала жить, окруженная ореолом мученичества... Скрытая борьба, затаенная вражда не прекращались, а усиливались. Не менее безнадежен был и путь компромиссов, избранный большинством писателей XVII века: он только скомпрометировал дело ортодоксии, не приведя ни к чему. Такие люди, как Декарт, Мальбранш, Лейбниц, старались убедить себя и других, что их доктрины были в совершенном согласии с традиционным мирозерцанием. На самом деле, до этого согласия было так далеко, что всех их осудили как врагов ортодоксального учения, врагов более или менее скрытых, хотя, конечно, и бессознательных. «Такое несогласие, – говорит Лоран в своих «Etudes sur l'histoire de l'humanité»<sup>1</sup>, – доказывает лучше, чем открытая вражда, всю радикальность противоречия философии и ортодоксии. Если люди, убежденные в том, что их учение подкрепляет традиционные догматы, подрывали их, то не служит ли это, так сказать, математическим доказательством невозможности примирения ортодоксии и философии?»

Если два столь противоположные между собою начала не могли существовать рядом, не сталкиваясь, то, естественно, что борьба между ними не могла долго оставаться скрытой. Она и вспыхнула в XVIII веке. Каковы же были требования, предъявленные мыслителями этого века? Они требовали уничтожения всего, что в государстве и церкви противоречило нерушимым правам ума и сердца. Они требовали свободы и защиты человеческого достоинства, независимости мысли, религиозной терпимости, улучшения управления, уменьшения податей, доступного для всех образования... Ведя борьбу за эти великие вопросы, они были воодушевлены горячей любовью к человечеству, стремлением к достижению беспредельного счастья на земле и глубокой ненавистью к прошлому. Одним словом, они стояли за *прогресс* и горячо верили в него... Против них выступала *неподвижность*, поддерживавшая все злоупотребления посредством их освящения. Эта неподвижность была воплощена в ортодоксии; нельзя было идти вперед, оставив ее неприкосновенной.

---

<sup>1</sup> Laurent A. Etudes sur l'histoire de l'humanité. – Bruxelles, 1870.

Из этого видно, как далеко идет борьба, наполняющая собою XVIII век. Ее характер изменился, но она продолжается до сих пор. «Мы и теперь стоим еще среди этой борьбы, – говорит Геттнер. – Одни стараются самостоятельно развить руководящие идеи этой борьбы, уничтожить замеченные ошибки и односторонности, сделав век свободного просвещения веком всеобщего, проникающего во все слои, полного и цельного образования. Другие живее, чем когда-нибудь, стараются подвергнуть сомнению сами основания и право этой борьбы, вернув на столетия стремящуюся вперед историю». Но если борьба, посреди которой мы живем, похожа на борьбу XVIII века, то ее характер, как мы сказали, другой. Мы относимся к врагу со спокойной уверенностью, не лишенной, однако, некоторого горького чувства, возникающего из-за уверенности в неизбежности неудач. XVIII век, у которого все еще было впереди, вносил в борьбу весь жар страсти и верующего увлечения. Его блестящие надежды казались ему осуществимыми в ближайшем будущем, и он торжественно провозглашал, что его призвание заключается во всеобщем обновлении.

В этом, по преимуществу прогрессивном, веке идея прогресса, естественно, должна была преобразиться. Она действительно вступает в новый фазис развития: из отвлеченной она превращается в практическую и, откинув произвольно поставленные ей пределы, ищет широкого и всестороннего применения в жизни.

XVIII век так богат мыслителями, способствовавшими развитию идеи прогресса, что говорить обо всех, не выходя за пределы журнального очерка, невозможно. Мы остановимся на тех немногих, которые обозначают собою важнейшие моменты развития идеи прогресса.

«*Во главе движения (XVIII века)*, – говорит Луи Блан в первом томе «Истории революции»<sup>1</sup>, – следовало, казалось бы, стать мыслителям редкой гибкости ума для того, чтобы обольщение могло стать всеобщим; горячим защитникам человечества, чтобы всякая благородная душа могла заранее ликовать об их торжестве; писателям, роскошно, чтобы их благодеяния могли создать целый

---

<sup>1</sup> Блан Л. История революции. – СПб., 1907.

сонм клиентов; людям, непобедимым в насмешке, чтобы перед ними дрожали; главам партий, в одно и то же время упорным и благоразумным, чтобы не было ни остановок, ни ложных маневров. Необходимы были историки, повествователи, драматурги, романисты, публицисты, за их славу и гений принятые запросто у королей. Наконец, ради долготерпения народа необходимы, быть может, философы, страшившиеся цыкуты, развязные до крайности, способные на лицемерие, вкрадчивые, искусно умеющие усыпить или поднять тревогу, если нужно, изощрившиеся в лести... В XVIII веке все эти люди были одним человеком, и имя их было – Вольтер».

Вольтер – царь общественной мысли XVIII века. Вся его жизнь была посвящена борьбе за прогресс и преимущественно за прогресс социальный. Он пылко желает его, он призывает к нему современное ему общество. Вся его долгая, разнообразная и неутомимая деятельность показывает, как сильна была в нем вера в возможность улучшения условий общественной жизни, как хорошо понимал он, в чем заключались преграды и препятствия этого улучшения, и как изобретателен он был в средствах устранения этих препятствий. «По складу ума Вольтер принадлежит преимущественно к людям новейшего времени, – говорит Бокль («История цивилизации в Англии»)<sup>1</sup>. – Презируя ничем не подкрепляемый авторитет, не обращая никакого внимания на традицию, он посвятил себя изучению таких предметов, в которых победа человеческого разума слишком очевидна, чтобы можно было ее не признать. Чем больших успехов он достигал в знаниях, тем больше благоговел перед теми громадными средствами, с помощью которых созданы эти знания. Поэтому его уважение к человеческому разуму не только не уменьшалось, но росло по мере обогащения его собственного ума. В такой же пропорции росла в нем любовь к человечеству и ненависть к предрассудкам, так долго омрачавшим его историю». Итак, благоговей перед разумом, имея сердце, преисполненное любви к человечеству и ненависти к причинам его бедствий, обладая обширными знаниями и сильным проницатель-

---

<sup>1</sup> Бокль Т. История цивилизации в Англии. – М., 1861.

ным умом, Вольтер был в высшей степени способен привести идею прогресса к новому фазису развития. И действительно, его взгляд на историю может считаться тем замечательным шагом, который привел к этому фазису. С его точки зрения, все внешние события — войны, договоры, придворные интриги и т. п. — не могли уже иметь никакого значения, он устраняет их из своего «*Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*», целью которого он ставит историю развития человечества, т. е. историю прогресса. «Дело не в том, — говорит он, — чтобы рассказать, например, какой фамилии был владелец Пюизе или Монлери, а в том, чтобы увидеть по каким ступеням люди переходили от варварской грубости тех времен к образованности нашего времени». Таким образом, прогресс становится содержанием истории, и ни одна из сторон жизни не рассматривается как исключение из этого всеобщего и вечного закона. Сформулированная таким образом идея прогресса довольно резко отличается от того, как она понималась в предыдущем веке, значительно приблизившись к ее современному пониманию нами. Но высказать ее, как общее положение, было мало, ее нужно было провести в истории, связав неразрывно со всей прошедшей жизнью человечества. Для успеха этой второй задачи необходимы были данные, которых у Вольтера не было. Прежде всего, он не мог относиться к своему предмету объективно, как ученый. Он видел в нем, как и во всем, что выходило из-под его пера, оружие для уничтожения своих заклятых врагов, а потому все достоинство его труда уничтожается доведенной до крайности тенденциозностью. Философ уверен: все, что было раньше, — невежество, варварство, мрак... Философия до Локка и Ньютона почти не имеет никакой цены в его глазах... Таким образом, прогресс не получает характера развития, а представляется каким-то внезапным переходом от варварства к цивилизации, переходом, недостаточно выясненным и невольно влекущим за собой множество недоразумений. Другой важный недостаток, делающий исполнение его плана неудовлетворительным, заключается в том, что, понимая идею прогресса весьма широко, он применяет ее к человечеству крайне узко. Он видит прогресс во всех сторонах жизни, не делая в этом отношении никаких ограничений, но зато думает, что в



таком широком прогрессе участвует только незначительная часть общества. Он равнодушно говорит о том, что народные массы могут не переставать коснеть в невежестве, суеверии и предрассудках.

Такой взгляд на прогресс особенно резко проявляется в его корреспонденции. Он говорит, например, что «никто никогда не имел притязания просвещать сапожников и горничных», или «суеверие следует истреблять среди порядочных людей, оставляя его у сволочи», или «разум восторжествует в среде порядочных людей, сволочь же создана не для него».

Лишая так называемую им «сволочь» возможности подняться до уровня «порядочных людей», он не лишает ее тех благ, которые отняли у нее корыстолюбие, алчность и бесчеловечие порядочных людей. Эти требования Вольтер заявляет во многих из своих сочинений. «Когда господствует закон, а не произвол, – говорит он в одном из *«Разговоров между А, В, С»*, – крестьянина не будет угнетать любой мелкий чиновник, гражданина не посадят в тюрьму, не начав его процесса перед законными судьями, ни у кого не будут отнимать его поля под предлогом общей пользы, не вознаграждая за это. Клерикалы не будут властвовать над народом, обогащаясь за его счет, вместо того, чтобы поучать его».

Его взгляд на совершившийся и желаемый прогресс современного ему общества Вольтер облек в форму сказки, которая называется *«Путешествие разума»*. Будучи убежденным, что ему пришлось жить в ту эпоху, когда Разум и Истина могли, наконец, заявлять свои права, Вольтер верил в скорое наступление золотого века. Ему казалось, что начало этого века будет положено мерами какого-нибудь мудрого законодателя. Вольтер ожидал, таким образом, прогресса извне и не думал, что он обусловлен развитием самого общества. Когда Тюрго был назначен министром, Вольтер полагал, что этим назначением открывается заря нового века. Он пишет об этом своим друзьям и воспекает в специально написанном для этого случая стихотворении, в котором, между прочим, говорит:

Contemple la brillante aurore,  
Qui t'annonce enfin les beaux jours:  
*Un nouveau monde est près d'éclaire.*

Вера в грядущий золотой век не мешает, однако, Вольтеру трезво смотреть на окружающую его действительность и смеяться над нелепостями оптимизма, например, над лучшим из миров Лейбница. И в этом случае, в «Кандиде»<sup>1</sup>, Вольтер придал своим идеям повествовательную форму.

Вольтеру, как видно из вышесказанного, принадлежит в развитии идеи прогресса немаловажная заслуга. Он не ставит, подобно писателям XVII века, произвольные ограничения прогрессу. Не предполагает, как они, что в жизни человеческих обществ существуют элементы, подлежащие застою, а смотрит на прогресс, как на всеобщее и всестороннее развитие человечества. Имея такой взгляд на прогресс, он, следуя духу своего века, не ограничивается теоретическими рассуждениями о нем, а смело вносит его в жизнь, громко проповедуя его, как благую весть нового времени. Под влиянием такого воззрения, история, под его пером, из повествования о войнах, договорах, интригах, подвигах и преступлениях героев преобразуется в картину развития образованности, в историю прогресса человечества, т. е. получает свой истинный смысл. Прогресс, проповедуемый Вольтером, — это торжество разума и истины; торжество, готовящее человечеству лучшее будущее, не похожее на окружающую его действительность. Этого лучшего будущего можно достичь только при помощи труда. Оно не придет само собою: наш мир не тот фантастический — лучший из миров, в котором все предусмотрено и, в силу того, все идет к лучшему.

Жан-Жак Руссо представляет в области моральных идей обращение души на саму себя, воззвание к совести, как к внутреннему голосу, к которому надо всегда прислушиваться. Он представитель *чувства* вообще или *естественного инстинкта*, а в области политических идей — принципа *республиканской свободы* и *самодержавия народа*. Как представитель этих идей, он совершает весьма значительный поворот в настроении и образовании XVIII столетия. Он клеймит блестящее образование этого века, его науку и литературу, как ни-

---

<sup>1</sup> Voltaire. *Candide*. — Paris, 1759.

чтожную и вредную мишуру, проповедуя простоту природы и величие простой добродетели. В противоположность чрезмерной утонченности и изнеженности образованного света, выставляет идеалом первобытное состояние дикарей, а гордости образования противопоставляет гордость природы. В то время, когда могущество и свобода английской государственной жизни были представлены образцом, к которому могла бы стремиться Франция, Руссо говорит, что Англия кажется ему угнетенной и лишенной свободы. Ведь свобода и благосостояние могут быть прочны только там, где сам народ непосредственно повелитель.

Из этой краткой характеристики видно, что идеи Руссо шли двумя параллельными направлениями – отрицательным и положительным. В «*Discours sur les sciences et les arts*»<sup>1</sup> и «*Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*»<sup>2</sup> он представляет критическое отрицание настоящего, открыто объявляет войну господствующему образованию и обществу. В «Эмиле»<sup>3</sup> и «*Contrat social*»<sup>4</sup> он дает новое систематическое построение, опыт действительного улучшения и преобразования. Таким образом, два последние сочинения можно рассматривать как ответы на вопросы, поставленные в двух первых рассуждениях. Рассуждение о науках и искусствах стремится доказать, что существующее образование вредно, а «Эмил» хочет воспитать людей для правильного и истинного образования. «Рассуждение о неравенстве» стремится доказать, что существующее государство противоречит нерушимой сущности человека, а «Общественный договор» ищет правильный и истинный государственный строй.

Это сопоставление идей Руссо, на которое я могу только указать, не вдаваясь в подробности, дает верную оценку его точке зрения на прогресс. Отрицание нравственного прогресса, желание вернуть че-

---

<sup>1</sup> Rousseau J.-J. *Discours sur les sciences et les arts*. – Paris, 1750.

<sup>2</sup> Rousseau J.-J. *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*. – Paris, 1754.

<sup>3</sup> Руссо Ж.-Ж. *Эмил*. – М., 1762.

<sup>4</sup> Rousseau J.-J. *Contrat social*. – Paris, 1762.

ловечество к дикому первобытному состоянию, представляется, при этом взгляде, только парадоксальностью, внушенной крайним увлечением и, в свою очередь, отрицаемой сочинениями, имеющими положительный характер.

Проповедь Руссо в пользу первобытного состояния была нередко ложно понята. Еще Вольтер говорил, что, читая *«Рассуждение о науках и искусствах»*<sup>1</sup>, появляется желание ходить на четвереньках. Впоследствии Руссо упрекали в непонимании того, что наша цивилизация подобна храму с двумя дверями, из которых в одни входят, а в другие выходят, и говорили, что он зашел во входную дверь и задохнулся, борясь с потоком, стремившимся против него. Принимая это сравнение, правильнее было бы утверждать, что Руссо не хотел войти ни через вход, ни через выход, а хотел проделать или, вернее, позвал рабочих для того, чтобы они проделали новую дверь. Неверно и то, что он изнемог в борьбе с потоком, стремившимся против него. Изнемог он совсем по другим причинам. Успех его идей – что всего важнее в настоящем случае – громаден, особенно начиная с того времени, когда их стали провозглашать в народных собраниях и когда, как выразился Луи Блан, они стали «по форме истинами догматическими и острыми как меч».

Руссо положительно способствовал развитию идеи прогресса, хотя и писал против нее. Доказывая, что прогресс наук и искусств был причиной порчи нравов, он этим парадоксальным положением обращал внимание общества на одну из важнейших сторон прогресса, бывшую в его время в большом пренебрежении. Указывая на порчу нравов, он обнаруживал ясное понимание недостатков современного ему общества, обращая внимание образованных людей на ту сторону их жизни, которая требовала радикального преобразования, безотлагательного прогресса. Не придираясь к его парадоксам, можно видеть во всем, что он говорил о современном ему состоянии общества, ту общую мысль, что, несомненно, существующей порче нравов следует помочь возвращением к природе, от которой отстранила человека

---

<sup>1</sup> Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах. – М., 1750.

слишком большая искусственность, попавшая в жизнь цивилизованных людей со всех сторон. Он требовал личного совершенствования, как залога общественного прогресса, и полагал, что рациональное воспитание может много сделать в этом смысле.

С этой целью он написал «Эмиля». В этой книге он изложил свои взгляды на основания и условия чистого, по его понятию, человечески свободного воспитания. Из своего воспитанника он хотел сделать не «первобытного» человека, а естественного. «Все дело, – говорил он, – заключается в том, чтобы не испортить естественного человека посредством приучения его к общественной жизни». Он не хотел «создать дикаря» и послать его в лес. Он желал достичь того, чтобы Эмиль не увлекался страстью и предрассудками людей, чтобы был в состоянии видеть своими собственными глазами, чувствовать своим сердцем, чтобы никакая в мире власть не могла управлять его решениями, *«кроме его разума»*.

Таким образом, все его нападки на современное ему общество служили целью нравственно обновить это общество. Эта идея руководила им, когда он так неумеренно восхвалял древность. Как Тацит восхвалял германцев для обличения и исправления римлян, так и он указывал современникам на добродетель древних времен. Так он превозносил Спарту, называл ее государством полубогов, утверждая, что высокие добродетели были ей свойственны потому, что она изгнала ученых и художников. Но, само собой разумеется, это изгнание свидетельствует только о варварстве спартанцев и что их добродетели существуют только в воображении Руссо.

«Руссо продвинул вперед развитие идеи прогресса посредством опровержения этой идеи, – говорит Жавари (*«De l'idée de progrès»*). – Утверждая в своем знаменитом рассуждении, что прогресс наук и искусств способствовал порче нравов, он пробудил внимание к важной стороне общего вопроса прогресса человечества. А так как было совершенно невероятно, чтобы цивилизованные народы отказались от накопленных ими умственных и материальных богатств, то могла, по крайней мере, выясниться необходимость уничтожения злоупотреблений, развившихся в среде этих народов. Таким образом, идея про-

гресса получала полноту, потому что связь общественного и морального прогресса с прогрессом наук и промышленности представлялась совершенно необходимой».

Переход идеи прогресса к тому фазису развития, в который она вступила в XIX столетии, особенно явственно обозначается у французских писателей революционной эпохи – Вольнея, Тюрго и Кондорсе. Вольней представляет как горячую веру в прогресс и увлечение им, так и легкость, поверхностность в разработке его исторического значения, поэтому я упомянул о нем в нескольких словах. Что же касается Тюрго и Кондорсе, то о них, как о непосредственных предшественниках позитивной теории прогресса, я буду говорить подробнее. Затем я рассмотрю воззрения представителей идеи прогресса в Англии и Германии.

Сочинение Вольнея «*les Ruines*»<sup>1</sup> представляет собой пламенную веру в прогресс. Музой, вдохновляющей его размышления о судьбах человечества, являются развалины древних городов, над которыми он нередко мечтал во время своего пребывания на Востоке. «Приветствую вас, пустынные развалины, святые могилы, безмолвные стены! К вам взываю я, к вам обращаюсь с молитвой! – говорит он во введении к своей книге. – Да, зрелище, которое вы представляете, отталкивает взоры вульгарного наблюдателя, но мое сердце находит в созерцании вас прелесть тысячи чувств и тысячи мыслей. Сколько полезных уроков, сколько трогательных размышлений представляете вы вопрошающему вас уму». И действительно, не напоминают ли развалины вещественных созданий человека иных развалин, столь же пустынных и безмолвных, – развалин созданий его духовной деятельности. Причины падений этих созданий, условия их прочности, основы их прав на существование – сколько вопросов возникает при взгляде на груды камней, среди которых когда-то жили и действовали люди!

Существенными и первобытными побуждениями, вызвавшими людей из их грубого, естественного состояния, Вольней считает лю-

---

<sup>1</sup> Volney C. *Les Ruines*. – Paris, 1791.

бовь человека к самому себе, его стремление к благосостоянию и отвлечение к страданию. Эти побуждения привели человека к обществу, науке, искусствам, наслаждениям. Их же переход в слепую необузданность жадности и происходящее от нее невежество, были источниками всех зол, опустошавших мир. Вольней видит во французской революции попытку на деле осуществить господство разума: «Пораженное меньшинство привилегированных восклицает: «Все потеряно, народ просветился!», а народ говорит: «Все спасено, потому что мы просветились, но мы не будем теперь злоупотреблять нашей силой. Мы желаем только нашего блага. В нас есть чувство мщенья, но мы забываем его. Мы были рабами, мы хотим быть свободны, а свобода не что иное, как справедливость».

Говоря о прогрессе в будущем, Вольней вдохновенно восклицает: «Возникнет обширное движение; начнется новый век, век удивления для душ вульгарных, неожиданности и ужаса для притеснителей, освобождения для великого народа, надежды для всей земли... Это великое движение будет медленным, потому что ему надо будет сообщиться обширному телу. Надо будет, чтобы одно и то же брожение расшевелило множество самых разнообразных частиц, но это движение совершится».

Тюрго, знаменитый министр несчастного Людовика XVI, известен как политический деятель, но он замечателен также и как глубокий мыслитель. «Тюрго, – говорит его биограф Матье, – находясь на рубеже нашего столетия, тем самым как бы дает нам меру своего века. Если кто желает судить о XVIII столетии по человеку, который был высочайшим его представителем по той причине, что он начинал уже возвышаться над ним, тот должен изучать Тюрго». Бокль утверждает, что заслуга Тюрго в области философии истории громадна: «Тюрго принадлежит к тому чрезвычайно малому кругу людей, которые смотрели на историю широким взглядом и считали, что для ее изучения необходимы почти беспредельные познания». Тюрго изложил свой взгляд на прогресс в нескольких небольших рассуждениях, которые были подготовкой к обширному философскому труду, задуманному им. За него он принялся после того, как отошел от дел. Из этого

видно, что суждение Тюрго о прогрессе не может представлять ничего полного и законченного. Его *«Discours sur les progrès successifs de l'esprit humain»*<sup>1</sup>, *«Plans des deux discours sur l'histoire universelle»*<sup>2</sup>, *«Lettres sur la tolérance»*<sup>3</sup> и *«Discours sur les avantages que l'établissement du christianisme a procuré au genre humain»*<sup>4</sup> представляют ряд идей по философии истории, которые я резюмирую теперь в той последовательности, в какой расположил их Матье и в которой, по моему убеждению, они естественно объединяются.

История, говорит Тюрго, представляет вечную последовательность никогда не повторяющихся изменений. Все состояния, которые путем этих изменений проходит человеческий род, связаны между собою как непрерывный ряд причин и следствий. Настоящее содержалось как зародыш в прошлом и точно так же в нем содержится будущее. Но исторические факты – это не только изменения, а своего рода возрастание, развитие, прогресс. Через разрушения и потрясения человеческий род движется к еще большему совершенству. Науки и искусства развиваются то быстро, то медленно, переходя из страны в страну. Корысть, самолюбие, суетная слава постоянно видоизменяют свет, наводняют землю кровью, но среди опустошений нравы смягчаются, человеческий разум просветляется, разъединенные нации сближаются. Торговля и политика соединяют, наконец, все части света, и человечество, путем покоя и волнений, путем добра и зла, хотя и медленными шагами, но идет к совершенству.

Принцип последовательного прогресса, наблюдаемого в истории человечества, согласно взгляду Тюрго, заключается в двух основных свойствах человеческой природы: в мысли и языке с их вспомогательными средствами – письмом и книгопечатанием.

Разум дает человеку возможность умножать приобретенные идеи новыми беспрестанно; посредством языка человек овладевает

---

<sup>1</sup> Turgot A. Discours sur les progrès successifs de l'esprit humain. – Paris, 1750.

<sup>2</sup> Turgot A. Plans des deux discours sur l'histoire universelle. – Paris, 1751.

<sup>3</sup> Turgot A. Lettres sur la tolerance. – Paris, 1753-1754.

<sup>4</sup> Turgot A. Discours sur les avantages que l'établissement du christianisme a procuré au genre humain. – Paris, 1750.



ими и передает их себе подобным. Письмо дает возможность распространить передачу идей на самые отдаленные поколения. Все знания отдельных лиц составляют, таким образом, общее благо, передаваемое из поколения в поколение и возрастающее благодаря открытиям каждого века. Человеческий род представляется глазам философа как великое целое, возрастающее и совершенствующееся подобно отдельной личности.

Итак, прогресс основывается на самой природе человека, на разуме и его проявлении – языке. Прогресс разума, таким образом, это сущность всех видоизменений прогресса, в каких бы сферах человеческой деятельности он ни проявлялся.

Научная форма – это совершеннейшая форма человеческой мысли, и, следовательно, научный прогресс следует рассматривать как основной прогресс разума. Кроме того, научный прогресс представляет самое плодотворное проявление умственной деятельности по своему влиянию на развитие прочих элементов цивилизации – промышленности, нравов, законов и религий.

Тюрго делит науки на три класса: математические, физические и моральные. Математические науки имеют правильный ход, их прогресс непрерывен. Физические науки прогрессируют, по мнению Тюрго, только путем ошибок и ложных объяснений. Они как бы ощупью находят истину, что и производит такое множество противоречивых систем и такое множество гипотез, но сами эти системы и гипотезы помогают открытию новых явлений и верному их объяснению. Моральные науки – политика, политическая экономия, история, логика, метафизика и, собственно, мораль – прогрессируют так же, как и физические науки, доходя до истины путем ошибок.

Научный прогресс может рассматриваться как развитие, пределы которого определить невозможно. Это бесконечный прогресс.

Благодаря математическим и физическим наукам, человек овладевает природой и заставляет ее служить себе. Науки эти, своим влиянием на земледелие и промышленность, способствуют увеличению богатства. Не меньшую услугу оказывают человечеству и моральные науки. Естественная религия очищает и развивает религиоз-

ные чувства, освобождая ум от вредных суеверий. Мораль устанавливает идею человеческих обязанностей, политика – идею его прав. Политическая экономия определяет, в чем именно заключаются истинные интересы народов, и указывает на условия, необходимые для их материального благосостояния, уничтожает предрассудки, препятствующие этому благосостоянию.

Прогресс языка, естественно, связан с прогрессом идей. Прогресс ремесел и изящных искусств также от них зависит. Таким образом, прогресс умственной деятельности совершается разными путями и приводит, с одной стороны, к победе человека над природой и, с другой, к торжеству справедливости в нравах и законодательстве.

Но хотя прогресс обусловливается природой человека, он может замедляться или ускоряться различными обстоятельствами.

Желания, вызываемые разными потребностями, подталкивают прогресс. То же значение имеют и страсти. Главное их следствие в истории – война. Война, хотя и вызывается большей частью такими мотивами, как жадность, тщеславие, высокомерие и т. п., имела полезное влияние на развитие человечества. Способствуя смешению народностей, она благоприятствует прогрессу. Элементы цивилизации всегда берут верх при этом смешении и препятствуют застою, как это случилось, например, в Китае, долго не бывшем в столкновении и соприкосновении с другими народностями. Причем страсти, производя большие перемены, делают людей опытнее, а опытность чрезвычайно полезна человечеству.

Переходя к другим условиям, влияющим на прогресс, Тюрго рассматривает влияние расовых отличий и местных условий, не придавая и тем, и другим большого значения. Он предполагает, что природа установила между людьми очень немного различий. Существеннейшие различия возникают, по его мнению, благодаря воспитанию. Под воспитанием он понимает результат всех испытываемых людьми ощущений и идей, какие только могли быть приобретены с самого раннего возраста. Все окружающее человека влияет на воспитание, понимаемое в этом смысле. Наставления родителей и учителей, т. е.

то, что понимается под воспитанием в узком смысле, составляет малейшую часть этого общего воспитания.

Прогресс человеческого разума, согласно взгляду Тюрго, может не только ослабевать, но и приостанавливаться. Есть народы, которые в течение веков неподвижно пребывали в состоянии варварства, как бы каменели на известных моментах своего развития. Таковы китайцы. Другие, например турки, были приговорены на неизбежный упадок. Главная причина этого явления заключается в политическом и религиозном деспотизме, которому подвержен этот народ. Свобода или, по крайней мере, известная ее доля, — неперенное условие всякого прогресса.

Свобода столь же необходима науке, как и философии. Для развития той и другой необходима их независимость от государства и церкви. Успех наук зависит преимущественно от свободы исследования и даже отрицания всего. Народ, слишком быстро установившийся, может, вследствие отсутствия свободы исследования, никогда не продвинуться в своем развитии. Китайцы представляют пример такого народа. Они похожи на деревья, верхушка которых была обрезана и которые вследствие того пускают ветви у самой земли. Они остановились на первых ступенях развития наук, думая, что все, что только можно совершить, уже совершено, и не дерзают идти дальше. Они только учатся, но не изобретают. Они знают все, что было у них сделано, но не имеют никакой идеи о том, что предстоит сделать. Если бы Греция была подчинена одной деспотической власти, прогресс этой страны был бы сильно приостановлен во всех отношениях. Дух секты, столь свойственный первым ее философам, сделался бы духом нации, и Пифагор стал бы у них тем, чем сделался у китайцев Конфуций. К счастью, разделение Греции на множество мелких государств помешало вмешательству полиции в дела науки и религии, и та, и другая могли развиваться свободно, опираясь на то соперничество усилий, которое ей так необходимо.

Политический и религиозный деспотизм угрожает еще больше нравственному и политическому прогрессу, чем прогрессу научному. Объединение этих двух деспотизмов у магометанских народов оста-

новило естественный ход развития разума у этих народов. У народов, чуждых такого деспотизма, не боявшихся перемен и переворотов, и нравы, и учреждения быстро совершенствовались, а человеческий разум прогрессировал.

Обобщая воззрения Тюрго на прогресс, можно сказать, что он ставит его в зависимость от двух главных условий: свободного проявления человеческих способностей и разнообразия положений. Он замечает еще, кроме того, что прогресс имеет свойство извлекать новые силы из им же добытых результатов, а потому он постоянно облегчается и ускоряется.

Тюрго указал в общих чертах на три эпохи в развитии человеческого разума, которые были впоследствии с большей определенностью и полнотой очерчены Огюстом Контом. «Прежде, чем взаимная связь естественных явлений была узнана, — говорит он, — проще всего было предположить, что эти явления производятся разумными существами, невидимыми и подобными людям, так как на что же могут они быть похожи? Все, что ни случалось помимо человеческой воли, имело свое божество, которому стали поклоняться ради страха и надежды. Это поклонение опять-таки было подражанием знакам почтения, воздаваемых могущественным людям. Боги были людьми еще более могущественными и более или менее совершенными, смотря по тому, были ли они созданием века, так или иначе понимавшего истинное человеческое совершенство (теологический период). Когда философы убедились в нелепости этих басен (мифов), не приобретя, однако, верного взгляда на природу, то вздумали объяснять причины явлений отвлеченными положениями, ничего не объясняющими, но о которых рассуждали, как о каких-то существах, новых божествах, заменивших древние божества (метафизический период). Только гораздо позже наблюдения над естественными явлениями привели к новым положениям, которые можно было доказать математически и подтвердить опытом (научный период)».

Теория прогресса, высказанная в изложенных выше общих положениях, основываясь на фактах, должна в них же искать и свое подтверждение. Это подтверждение Тюрго представляет в двух планах

всеобщей истории, в которых описывает успехи цивилизации. Он различает две эпохи в истории: доисторическую, о которой мы можем только догадываться, и историческую, известную нам из более или менее достоверных свидетельств.

Исторические времена не могут восходить раньше изобретения письма, да и после его изобретения заносятся только извращенные воображением предания, хронология которых всегда перепутана и лишена всякой достоверности. Эти предания не могут дать никакого понятия о первоначальном прогрессе человеческих обществ. Предположения, какие только можно составить о детстве человеческого рода, должны быть основаны не на этих преданиях, а на природе человека, на верном представлении о среде, в которой он должен был находиться, на настоящем состоянии различных племен. История человечества не стерлась с лица земли: бесконечно разнообразное состояние развития людей представляется нам одновременно различными народами, находящимися на всех степенях развития, которые были пройдены человечеством в течение веков.

Основываясь на этом наблюдении, Тюрго полагает, что люди первоначально существовали благодаря тем *произведениям земли*, какие они могли находить в обитаемой ими местности. Потом, когда этих произведений оказалось недостаточно, они обратились к *охоте*. Когда же и ее средства были не в состоянии удовлетворить нужд выросшего населения, люди стали *пастухами*, а потом уже перешли к *земледелию*. Только, начиная с этой эпохи, возникает то, что можно назвать цивилизацией: земля кормит гораздо большее число людей, чем необходимо для ее обработки. Такое положение вещей дает начало досугу. Возникают искусства, торговля: условия жизни совершенно изменяются.

Затем Тюрго приступает к описанию *исторической* эпохи развития. Он представляет нам картину цивилизации, возникающей на Востоке и постоянно продвигающейся к Западу. Он показывает постепенное процветание и падение древней цивилизации, ее возрождение у народов европейского Запада. В средневековом обществе, говорит он, появляется зародыш новой цивилизации. Ее принцип –

философия. Царство философии – это царство разума. Вместе с разумом воцаряется и справедливость. На этих началах основывается возможность счастья для человечества в такой степени, по крайней мере, в какой допускают условия, среди которых оно поставлено. Успехи наук, способствуя успехам свободы и мира, разрешат человечеству избавиться, наконец, от всех тех бедствий, от которых только возможно избавиться.

Тюрго, как я сказал уже, не оставил ничего целого, законченного. Его мысли, разбросанные в нескольких сочинениях, дают только отрывочное и неполное представление об его общей идее. Это обстоятельство весьма неблагоприятно для верной критической оценки заслуги Тюрго в деле развития идеи прогресса. Но и из того, что дают нам оставшиеся после него очерки и планы, можно заключить, что это развитие ему многим обязано. Главная заслуга Тюрго заключается в том, что он создал одну общую теорию из всех идей, заявленных его предшественниками, дополнил ее многими своими оригинальными и меткими положениями. Последовательность эпох, их взаимная связь, постепенное ускорение прогресса, облегчающегося работой, унаследованной от предшествовавших периодов развития, значение прогресса разума, как главного деятеля в развитии человечества, – вот те общие черты, которые характеризуют идею прогресса так, как понимал ее Тюрго.

Эту идею, не ограниченную никакими произвольными пределами, он свободно применяет к истории развития человечества, очерчивая ее план, как истории постепенного прогресса человеческого разума. Итак, после Вольтера, Тюрго первым обобщил идею прогресса до такой степени, что сделал ее содержанием всего исторического развития человечества. Но обобщение Тюрго от обобщения Вольтера отличается тем, что оно гораздо глубже и разностороннее. Тюрго поднимает вопросы, которые для Вольтера еще не существовали: он рассматривает отдельно каждый из элементов прогресса, очерчивает различные эпохи, характеризующие степени его постепенного возрастания, и, хотя и бегло, рассматривает причины, ускоряющие и замедляющие прогресс. Главный его недостаток заключается в сильной

склонности к оптимизму, особенно резко выдающейся в определении значения страстей в развитии человеческих обществ и неумеренном ослаблении вредного влияния войн на это развитие. Некоторая неясность и неполнота относятся также к числу важных недостатков теории Тюрго, хотя, как выше сказано, эти недостатки не могут быть вменены ему в вину.

Дальнейшее развитие идей Тюрго в XVIII столетии принадлежит знаменитому ученому Кондорсе. В своем «*Esquisse d'un Tableau historique des progrès de l'esprit humain*»<sup>1</sup>, заглавие и введение в которое, по словам Огюста Конта, были достаточными для утверждения за их автором вечной чести создания (вернее — *развития*) великой философской идеи, — Кондорсе, с отчетливостью и ясностью, которой не было у его предшественника, показывает постепенные фазисы развития человечества, определяя их характер и взаимную связь. Главная заслуга Кондорсе для развития идеи прогресса заключается в его общих положениях, изложенных во введении. Их применение к истории гораздо слабее и не всегда удачно, поэтому я считаю полезным остановиться преимущественно на его замечательном введении, а об остальном сочинении скажу лишь несколько слов.

Прежде всего, Кондорсе определяет смысл выражения «картина прогресса человеческого разума», т. е. смысл заглавия своей книги: «Когда рассматривают общие факты и постоянные законы развития человеческих способностей в их результатах, по отношению к массе личностей, сосуществующих в одно и то же время на определенном пространстве, причем обращается внимание на последовательность этого развития из поколения в поколение, тогда и представляется картина прогресса человеческого разума».

Прогресс человеческого общества, по его мнению, — это результат развития индивидуальных способностей человека, рассматриваемый в одно и то же время у большого числа индивидуумов, объединенных в общество. Из этого следует, что прогресс общества подчиняется тем же общим законам, которые управляют нашим личным раз-

---

<sup>1</sup> Turgot A. Esquisse d'un Tableau historique des progrès de l'esprit humain. — Paris, 1793-1794.

витием. Рассматривая взаимное соотношение моментов в общем ходе прогресса, Кондорсе находит, что результат каждого данного момента зависит от результатов, представляемых предыдущими моментами, и влияет на моменты последующие.

Картина прогресса, набросанная в соответствии с этими началами, должна состояться постепенно и подвергаться постоянным изменениям. Она образуется последовательными наблюдениями над человеческими обществами в различные моменты, ими проходимые. Она должна представить порядок изменений и дать отчет о влиянии, оказываемом каждым моментом на момент последующий, и, таким образом, показать поступательный ход человечества к счастью и истине путем изменений и обновлений. Наблюдения над тем, кем человек был и кем он есть, должны привести к средствам, служащим для обеспечения и ускорения нового прогресса, надежда на который допускается человеческой природой.

«Такова цель предпринятой мною работы, – говорит Кондорсе. – Ее результатом будет разумное и фактическое доказательство отсутствия предела в развитии человеческих способностей. Доказательство, что способность совершенствоваться в человеке неопределенна (*indéfinie*), что прогрессивный ход этой способности не будет зависеть от каких-либо сил, которые вздумали бы остановить его, и не будет иметь другого предела, кроме продолжительности существования планеты. Этот прогресс, несомненно, будет идти более или менее быстро, но идти вперед, а не назад, по крайней мере, до тех пор, пока Земля не перестанет занимать то место во Вселенной, какое она занимает в настоящее время, и пока общие законы этой системы не приведут нашу планету ни ко всеобщему перевороту, ни к таким переменам, которые не позволят человечеству сохранять и развивать прежние способности, находить прежние средства».

Первой ступенью цивилизации, на которой наблюдалось человечество, Кондорсе считает то состояние, которое мы обычно называем диким. Характеризуя его, он говорит, что люди, находящиеся на этой низшей ступени цивилизации, живут небольшими обществами, занимаются охотой и рыболовством. Им известна только грубая вы-



делка оружия и некоторых предметов домашней утвари. Жилье для себя они роют в земле. У них существует уже разговорный язык и небольшое число нравственных идей, из которых выводятся общие правила взаимных отношений. Живут они семьями, имеют общие обычаи, заменяющие им законы, и даже грубую форму правления.

Понятно, что такое состояние совершенно не обеспечено: оно не представляет возможности добывать пищу и ставит человека в неизбежную альтернативу между крайней усталостью и полным бездействием. Оно не предоставляет досуга, позволяющего предаваться размышлению и обогащению разума наблюдениями и знаниями, связывает удовлетворение человеческих потребностей с временами года и непредвиденными случайностями. Оно не в состоянии поддерживать такого рода промышленность, прогресс которой мог бы передаваться и заставлять заботиться об усовершенствовании личного искусства и ловкости.

Такие условия существования очень замедляют прогресс, да он при них и не всегда возможен. Только на больших промежутках времени и при стечении благоприятных обстоятельств проявлялось его присутствие. Общий итог изменений за рассматриваемый период времени показывает, однако, что ход жизни прогрессирует. Прогресс обнаруживается в замене пищи, добываемой охотой, рыболовством и собиранием плодов земли, — пищей, получаемой от животных, обращенных в состояние домашних, а впоследствии и земледелием. Еще позже человек научился собирать запасы, хранить их, сеять или высаживать, наконец, способствовать их росту уходом и обработкой.

В этом периоде развития, собственность, ограничивавшаяся прежде убитыми животными, оружием, сетями и домашней утварью, переходит сначала на стадо, а потом и на землю, которая была расчищена и обработана. Со смертью главы семейства эта собственность, естественно, переходит к его семье. У некоторых собирается излишек запаса. Если он безусловен, то порождает нового рода потребности, если же, при излишке в одном предмете чувствуется потребность в другом, то эта потребность порождает идею меры, которая служит умножению и усложнению отношений. Большая безопасность, досуг,

более обеспеченный и постоянный, разрешают предаваться размышлению или, по крайней мере, последовательному наблюдению. Возникает класс людей, время которых полностью не поглощено телесным трудом, желания которых выходят за пределы первых потребностей. Появляется промышленность; известные уже искусства расширяются и совершенствуются. Факты, случайно представляющиеся наблюдению человека внимательного и умелого, дают начало новым искусствам. Народонаселение увеличивается по мере того, как средства к жизни перестают быть связанными с опасностью, становясь более надежными. Земледелие, которое может прокормить большее число людей на одном и том же пространстве земли, заменяет собою другие способы существования. Оно покровительствует росту численности населения, которое, в свою очередь, благоприятно воздействует на прогресс. Уже приобретенные идеи сообщаются от одного другому быстрее, утверждаясь в обществе, более оседлом, сближенном и дружественном. Знания начинают приобретать большую связь и точность: начинается складываться наука... *Человек отделяется от прочих родов животных и перестает, подобно им, быть способным на одно только индивидуальное совершенствование.*

Но в этом обществе еще нет письменного языка. Изложив обстоятельства, подготовившие его возникновение, Кондорсе объясняет потом и непосредственные причины, вызвавшие его.

Расширенные и усложнившиеся отношения между людьми, говорит он, вызывают потребность в средствах сообщения идей отсутствующим лицам. Они требуют увековечения их более прочными способами, чем устное предание, пробуждают к укреплению условий мерами, более верными, чем память свидетелей, и вызывают подтверждение общепринятых обычаев на основаниях столь же точных, как и прочных.

Потребность в письменном языке начинает ощущаться, и он вскоре появляется в своей первобытной грубой форме. Кондорсе полагает, что первоначально между письменностью и живописью не было никакого различия, что только впоследствии живопись распалась на собственно живопись, стремившуюся к достижению сходства с

изображаемыми предметами, и на условную живопись, старавшуюся быть полезной разговорному языку. Эта последняя, отдаляясь от первой, сохранила характерные черты предметов. Впоследствии, с помощью метафоры, аналогичной той, которая существовала уже в разговоре, физический предмет стал заменять собою нравственную идею... Возникновение этих знаков, так же, как и происхождение слов, было со временем забыто, и письмо превратилось в искусство связывать с каждой идеей, а после – и с каждым изменением, идеи и слова в известный, условный знак.

Кондорсе показывает и переход от этого иероглифического письма к азбучному. Он говорит: «Гениальные люди, бессмертные благодетели человечества, не только имена, но и места рождения которых навеки скрыты забвением, заметили, что слова были соединениями из весьма ограниченного числа первичных звуков и что этого ограниченного числа было вполне достаточно для образования бесчисленно разнообразных соединений. Они придумали обозначать знаками не идеи и соответствующие им слова, а те простые элементы, из которых слова составлены. С этого времени стало известным азбучное письмо. *Письменный язык теперь был связан с разговорным языком, и этот последний шаг навеки упрочил прогресс человеческого разума*».

Таким образом, между первобытной доисторической эпохой, о которой мы можем только гадать, и началом образованности, о которой мы имеем некоторые положительные сведения, существует внутренняя связь. История, рисуя эту картину, представляет непрерывную цепь развития человеческого разума. В свою очередь, история изобретения азбучного письма связывается с историей современного нам состояния развития самых образованных народов Европы, приобретая полную достоверность.

«Остается, наконец, сделать очерк последней картины, – говорит Кондорсе, – картины наших надежд на прогресс, предстоящий грядущим поколениям и, как кажется, обеспеченный им постоянством законов природы. Следует показать, каким путем делается не только возможным, но и легким то, что в настоящее время представ-

ляется химерой. Почему вопреки временному успеху предрассудков, вопреки опоре, доставляемой им порчей народов и их руководителей, все-таки окончательно восторжествует истина? Какой связью природа неразрывно соединила прогресс просвещения с прогрессом свободы, добродетели и уважения естественных прав человека? Каким образом эти единственные существенные блага (до такой степени часто разделяемые, что их стали считать несовместимыми) должны стать нераздельными, лишь только просвещение достигнет известной степени в большом числе наций и проникнет в массу великого народа, язык которого будет повсеместно распространен, торговые отношения которого охватят весь земной шар? Когда идея неразрывности тех благ, которые были названы, проникнет в массу образованных людей, тогда они станут друзьями человечества и все, как один, примутся за работу совершенствования и приближения человеческого счастья».

Кондорсе понимал, однако, что картина прогресса, существеннейшие черты которой были до сих пор лишь обозначены, не могла считаться полной, поэтому он хотел ее дополнить очерком происхождения и распространения заблуждений, более или менее задерживавших прогресс разума и нередко отодвигавших человека назад, в невежество. Он утверждает, что заблуждения эти, подобно тому, как и истины, совершенствующие и просвещающие разум, составляют неизбежное следствие деятельности этого последнего. *Заблуждения, говорит он, можно считать результатом вечно существующего несоответствия между тем, что человек знает, и тем, что желает или считает нужным знать.*

Можно заметить, что, в соответствии с общими законами развития наших способностей, известные предрассудки должны были появиться в каждую из эпох прогресса, сохранив силу и обаяние в позднейшие времена. Ведь люди хранят заблуждения детства и предрассудки своей страны и своего века еще долго после того, как признают все истины, необходимые для устранения этих заблуждений.

Кондорсе различает три рода предрассудков, считая их тремя врагами, с которыми придется постоянно бороться: предрассудки метафизиков, вредящие прогрессу новых идей, предрассудки привиле-

гированных классов, препятствующие распространению уже известных идей, и предрассудки невежественных масс, ведущие к запаздыванию в распространении тех идей, которые миновали два первых препятствия. Победа над этими тремя врагами достанется разуму только после долгой и упорной борьбы. Одно из средств данной борьбы – это изучение истории древних предрассудков, которое должно раскрыть их причины и следствия, обнаружив зло, причиненное ими.

«Достигли ли мы, – говорит Кондорсе, – такого положения, в котором не должны бояться ни новых заблуждений, ни возвращения старых, в котором ни одно развращающее установление не может больше существовать, будучи представлено лицемерием, принято невежеством или энтузиазмом, в котором ни одно ложное соображение не может сделать целую нацию несчастной?»

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, каким образом в прежнее время народы обманывались, развращались и становились рабами.

Следя за совершавшимися вокруг него делами, Кондорсе не мог не видеть, что старый порядок доживал последние дни: «Все указывает нам на то, что мы приближаемся к эпохе великого переворота в человечестве. Что же может быть нам полезнее, что может лучше руководить нами, как не история переворотов, предшествовавших нам? Изучение этой истории должно привести к такому отношению к грядущим событиям, из которого произошло бы для нас наибольшее благо».

Хотя Кондорсе, как мы могли заметить, и заимствовал весьма многое у Тюрго, тем не менее, придав заимствованным им идеям законченность и полноту, он сделал их своими. Ему первому, бесспорно, принадлежит заслуга развития идеи прогресса в полное *учение о прогрессе*. Это учение особенно замечательно тем, что оно стремится перенести вопрос развития человечества на почву положительной науки, и служит, таким образом, непосредственным прецедентом позитивной школы.

Научная разработка исторических фактов — как бы завет, переданный Кондорсе столь уже близкому к нему XIX веку.

«Небольшое число бессмертных страниц введения в сочинение Кондорсе, – говорит Огюст Конт, – не оставляет желать ничего существенного по отношению к постановке вопроса, который, по моему мнению, будет всегда основываться на изложенных в этом введении положениях, составляющих на вечные времена достояние науки».

Огюст Конт, анализируя сочинение Кондорсе и указывая на него, как на точку опоры в развитии своих собственных идей, находит, что план, набросанный им во введении, стоит до такой степени выше его выполнения, что это последнее, по его мнению, можно считать совершенно не удавшимся. Кондорсе сделал два особенно важных промаха, подрывающих значение его изложения: он не обратил достаточного внимания на распределение эпох и повторил ошибку Вольтера относительно оценки прогрессивного значения времени, предшествовавшего XVIII столетию.

Что касается распределения эпох, то Кондорсе не видел, что оно составляет самую важную часть плана и требует первоначальной общей работы, несомненно, труднейшей, в какой только нуждается история прогресса. Кондорсе полагал, что факты будут распределены удовлетворительно, если за начало каждой эпохи он возьмет какое-нибудь замечательное событие из области промышленности, науки или политики. Поступая таким образом, он не смог установить между фактами действительную связь, так как те, которые должны были служить связью для других, были сами разобщены между собою.

Оценивая фазисы развития, предшествовавшие современной ему эпохе, он видит постоянно одно только невежество, жестокость, нетерпимость, обман и глупость. Такое тенденциозное отношение к прошлому было не только шагом назад после Тюрго, не только совершенно бесполезно, но и вносило в труд Кондорсе противоречие, подрывавшее его научное значение. Огюст Конт выразился очень метко, сказав, что Кондорсе не наблюдал исторических фактов, а повел процесс против них. Такое отношение к предмету представляет высокую цивилизацию XVIII века не результатом движения предшествующих веков, не суммой их успехов, а каким-то чудом, непонятным и необъяснимым.

Неудача Кондорсе в выполнении набросанного им плана нисколько не уменьшает, однако, его высокого значения в истории развития идеи прогресса. К нему можно применить то суждение, которое высказал Бокль в отношении к Монтескье. Бокль говорит, что во всех высших отраслях знания главная трудность заключается в открытии метода, по которому могут быть приведены в известность законы фактов. Поэтому неудача выполнения той или другой задачи не имеет никакого значения в том случае, когда мыслитель сумел указать верный путь для достижения истины. У Кондорсе, как и Монтескье, мы видим, «как великий мыслитель набрасывает в общих чертах план, выполнить который было нельзя при тогдашнем состоянии науки, довершение которого он должен был предоставить более зрелой опытности и более обширным средствам позднейшего века. Предвидеть, таким образом, ход развития человеческого ума и как бы забежать наперед его дальнейшим приобретениям — особое преимущество умов самого высшего разряда».

Англия XVIII столетия богата мыслителями, способствовавшими развитию идеи прогресса: к ним надо причислить всех работавших для освобождения мысли и прокладывания ей новых путей, но непосредственная разработка идеи прогресса была здесь весьма ограничена. Только Гиббон и Пристлей высказали взгляды, имевшие некоторое значение. О них я и скажу теперь несколько слов.

Гиббон в своей «Истории падения Римской империи»<sup>1</sup> сравнивает цветущее состояние древней цивилизации и варварство, следовавшее за ее падением. Это сравнение наводит его на вопрос: угрожает ли такая опасность и нашей цивилизации?

«Опыт четырех тысяч лет должен уменьшить наши опасения и укрепить наши надежды, — говорит он, отвечая на этот вопрос. — Мы не можем назначить предела совершенствованию, до которого человечество может дойти. Однако мы, не без разумного основания, можем предполагать, что ни один из ныне живущих образованных народов не возвратится к первобытной дикости, если только не про-

---

<sup>1</sup> Гиббон Э. История падения Римской империи. — СПб, 1997-2000.

изойдет такой всеобщий переворот, который изменит вид всей поверхности земного шара. От сотворения мира богатство, счастье, разум, а, *может быть*, и добродетель возрастали с каждым веком».

Пристлей замечателен своей необыкновенной разносторонностью: он теолог, химик, историк и философ. В своем «Курсе истории» он проводит идею всеобщего прогресса, но его изложение поверхностно, а его идеи не заключают ничего нового и оригинального. Такой курс только тем и замечателен, что свидетельствует о стремлении идеи прогресса перейти от отрывочных наблюдений к систематическому обобщению.

Перейдя к Германии, мы должны начать с Лессинга. Его влияние на ход умственной жизни этой страны было громадно и разносторонне. Вопросы науки, искусства, теологии и философии рассматривал он с необычайной глубиной и проницательностью, внося в них дух свободного исследования, гуманности и жизненной правды. Эти высокие достоинства сделали Лессинга в глазах его соотечественников знаменитостью. Даже в наше время была заявлена мысль, что «auf Lessing zurückgehen heisst jetzt – fortschreiten».

К развитию идеи прогресса Лессинг имеет весьма серьезное отношение, так как в числе многочисленных его сочинений есть одно, посвященное исключительно изложению развития человечества – это «Erziehung des Menschengeschlechts»<sup>1</sup>. Это небольшое сочинение не потеряло своего значения и до настоящего времени. Блунчли, называя его самым зрелым плодом благородного гения Лессинга, говорит, что в Германии найдется мало образованных людей, которые вступали бы в умственную жизнь, не подпадая под влияние идей, высказанных в этом сочинении. Его влияние может быть только благотворно, но с условием, чтобы идеи Лессинга понимались верно. Недоразумения и ложные толкования тем возможнее, что Лессинг сохраняет старую терминологию, хотя и выдвигает, под ее прикрытием, понятия, совершенно не согласные с отжившим мирозерцанием. Повод к не-

---

<sup>1</sup> Для критической оценки этого сочинения, кроме книг, упомянутых в первой статье, я пользовался еще сочинением Stahr T. Lessing, sein Leben und seine Werke. – Berlin, 1881.



доразумению встречается уже в первом параграфе. «Воспитание для личности, – говорит Лессинг, – это то же, что откровение для человеческого рода. Воспитание – это откровение, совершающееся для личности, а откровение – это воспитание, совершившееся для человеческого рода». Что понимает Лессинг под словом «откровение»? «Откровение, – говорит он, – не дает человеку ничего такого, чего бы он не смог достичь собственными силами. Но оно облегчает ему работу, помогая быстрее достичь цели». Из этого понятно, что Лессинг не видел в откровении ничего супранатурального и потому не мог допускать в нем законченности, ведущей к пределу дальнейшего прогресса. Откровение представлялось ему воспитанием, никогда не останавливающимся, вечно развивающимся, непрестанно прогрессирующим.

Говоря о двух формах, в которых откровение представлялось в прошлом, он говорит о неизбежности возникновения новой его формы, которая будет новым шагом к совершенствованию. Этот новый шаг он характеризует тем, что указывает на разум, как на единственное основание истины в этом периоде развития.

Понимая прогресс в смысле воспитания, Лессинг не возмущается ни его медленностью, ни его колебаниями. Он отвергает его сравнение с прямой линией. По его мнению, этот взгляд ложен потому, что воспитание человека многосложно и трудно. Эта медленность, утверждает он, нередко служит залогом прочности, она неизбежна. «Продвигайся нечувствительным шагом, вечное провидение! – говорит он. – Дозволь мне не отчаиваться в тебе даже в том случае, если движение твое покажется мне ретроградным! Неправда, что кратчайшая линия – всегда линия прямая».

Это медленное развитие должно, наконец, привести человечество к цели его воспитания, к торжеству разума и свободы. Тогда возвестится человеку та «благая весть», о которой грезили мечтатели (например, Иоахим де Фиоре) и для разработки которой *природа* нуждается в тысячелетиях. Таким образом, объясняются нам как истинный смысл предшествовавшего отрывка, так и коренное отличие представляемого Лессингом будущего от фантастической идеи средневековых мистиков. Хотя и он, и эти мистики пользовались

одними и теми же *словами* для выражения своих столь различных *мыслей*.

Личному совершенствованию Лессинг не ставит пределов. Он допускает возрождение человека на земле, отличающееся от древней метампсихозы тем, что возрождающаяся личность не перестает совершенствоваться. Итак, прогресс личности, как и прогресс всего рода, беспредельны. Ни одна из ступеней их развития не представляет собою последнего слова.

Эту мысль Лессинг выразил в следующей – не забудем опять – условной форме: «Если бы Творец держал в правой руке всю истину, а в левой – вечно живой инстинкт, стремящийся к ее открытию, если бы в то же время он угрожал мне проклятием за постоянное заблуждение и сказал мне: «Выбирай!», я кинулся бы смиренно к его левой руке и сказал: «Отец, отдай мне то, что у тебя здесь; чистая истина принадлежит только Тебе одному». Таким образом, Лессинг осуждает все неподвижное, абсолютное, считающее себя законченным и не подлежащим изменению... Старая терминология не имеет здесь никакого значения, так как под ее сухими формами Лессинг скрывал истины живые, практичные. Философ считает совершенно неудовлетворительным тот метод воспитания, который проповедуемые им истины выдает за абсолютные.

Гениальный труд Лессинга не лишен, однако, недостатков, которые и были указаны новейшей критикой. Я уже говорил о неясности, происходящей от противоречия между его идеями и принятой им терминологией. Но, кроме того, нельзя не заметить у него влияния Лейбница, обнаружившееся в склонности к оптимизму, и – что всего важнее – в том, что свою *«идею воспитания»* он применяет только к еврейскому народу в древности, и христианским народам в новое время. Между тем, в воспитании (прогрессе) человечества принимали участие и многие другие народы. Так, в древности греки и римляне совершили для него гораздо больше, чем евреи, а в новую эру громадное значение имели арабы. Конечно, терминология, которую принял Лессинг в своем рассуждении о прогрессе, помешала ему го-

ворить об этих народах, но, тем не менее, это не оправдывает его, а только доказывает несовершенство этой терминологии.

Теперь мы перейдем к Гердеру, «*Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*»<sup>1</sup> которого имеет весьма важное значение в истории идеи прогресса. Никто в Германии до Гердера не излагал идеи прогресса в истории человечества с такой систематичностью и полнотой. Многие главы имеют чисто научную обработку, а по всему сочинению разбросано множество прекрасных мыслей и метких наблюдений. Однако можно найти противоречия и непоследовательности, значительно нарушающие гармонию целого, и – что важнее всего – сочинение испорчено мистическими бреднями и созерцательными разглагольствованиями, переносящими идею прогресса в сферу непознаваемого, куда, конечно, ни один рассудительный человек за ней следовать не станет.

Но ознакомимся вкратце с содержанием этой «Философии истории»<sup>2</sup>. Ее общую идею Гердер определяет так: «Тяжелое зрелище представляют земные перевороты, накидавшие развалины на развалины, эти начала без конца... Только цель образованности связывает эти развалины в одно целое. Правда, в этом целом исчезают неделимые личности, но дух человечества живет один – бессмертный и непрерывный».

Само изложение Гердер начинает с описания Земли до появления на ней человека. Это необходимо по двум причинам: во-первых, для того, чтобы ознакомиться с театром будущей деятельности человеческого рода, судьба которого, по мнению Гердера, находится в тесной зависимости от условий местности. Во-вторых, потому, что в геологических явлениях эпохи, предшествующей появлению человека, Гердер видит попытки природы достигнуть сознания, т. е. первые факты, непосредственно связывающиеся с историей человеческого рода. Природа, как понимает ее Гердер, есть только почка, из которой выйдет последний цвет творения – человек.

---

<sup>1</sup> Herder J. *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*. Т. 1-4. – Riga, 1784-1791.

<sup>2</sup> Гердер И. *Философия истории*. Т. 1-4. – СПб., 1784-1791.

В соответствии с этим взглядом, весь ряд органических и неорганических форм, какие только можно наблюдать между глыбой земли и человеком, — только ряд проявленных природой усилий доразвиться до человека, т. е. до способности мыслить, сознавать себя.

Итак, уже до появления человека природа представляла ряд прогрессивных явлений, в который вошли все события, создавшие своей последовательностью и взаимодействием тот характер земной поверхности, те свойства почвы, климата, ту конфигурацию материков и проч., которые своей совокупностью образовали жилище человека, свойства которого должны были оказать громадное влияние на нового жителя. Но прежде чем следить за перипетиями его жизни, Гердер подвергает его тщательному рассмотрению и выводит заключение, что человек, как свидетельствует о том строение его тела, предназначен к свободе, дару слова и бессмертию.

Только после исследования двух главных данных истории — природы и человека — Гердер приступил к изложению самой истории. Какие же виды прогресса он признает? Прежде всего, научный прогресс, конечно. Каждый век, даже каждый день, утверждает он, завещает будущему какое-нибудь новое знание. Движение человечества вперед подобно течению реки, которая становится все полноводнее. И человечество, как эти воды, не знает поворота назад. Точно также он признает и прогресс социальный. Говоря о международных отношениях, он замечает, что мирные начала берут верх над военными инстинктами. Прогресс нравственный он считает совершенно упроченным. Он говорит, что «разум и правосудие, в силу законов, им присущих, должны распространяться между людьми все больше, утвердив человечность на самых прочных основаниях». Вообще он имеет твердую веру в совершенствование человека и утверждает, что «общий ход жизни ведет к утверждению общего блага, что даже зло полезно для будущего».

Прогресс, столь решительно утверждаемый, Гердер относит только к личности, а не к обществу. Он полагает, что всякая личность имеет свое частное призвание, соответствующее ее способностям, месту и времени, в которых она живет. Но для всего человечества не

существует единого идеала, нет общего закона, которому бы каждая личность отдельно повиновалась. Прогресс имеет характер исключительно частный, индивидуальный.

Другая особенность взгляда Гердера на прогресс заключается в его взгляде на влияние природы на человека. Он утверждает, что люди всегда и везде были такими, какими они могли быть при известных влияниях местных условий, и что вообще «все, что могло цвести на земле, цвело на своем месте, в своем климате и в свою пору». Утверждая влияние природы на развитие человека, он оставляет неразрешенным вопрос о том, почему местные условия, произведшие в древности культуру известного характера, не производили ее позже, не производят и в настоящее время. Почему мы видим иную жизнь в Египте, на азиатских берегах Средиземного моря, в Греции и т. д. Приписывая местным условиям слишком большое влияние, Гердер, сам того не замечая, отрицал прогресс в принципе. На самом деле, если, например, на негров смотреть как на народ, умственное и нравственное развитие которого безусловно зависит от местных условий, то следует заключить, что цивилизация им недоступна и что африканская почва вечно останется населенной народом, которого прогресс не коснется. То же самое можно сказать о китайцах, японцах.

Такое противоречие в основных убеждениях философа заставляет Лорана сомневаться даже в том, утверждает ли Гердер прогресс или отрицает его? «Можно сказать «да», можно сказать «нет», – говорит Лоран. – Несомненно то, что он не утверждает прогресса в смысле французских философов прошедшего столетия. Они не колебались, не сомневались, а утверждали. Когда они предрекали будущий прогресс человеческого разума, слова их были точны, как алгебраическая формула. Гердер нерешителен. Он идет вперед, отступает назад – он неуловим. Вам кажется, что он ваш, он разделяет вашу веру и ваши надежды, а минуту спустя он ускользает...»

Самый важный недостаток Гердера заключается, однако, в мистических тенденциях, примешанных к его серьезному, ученому труду. Говоря о будущем человечества, Гердер впадает как бы в экстаз и, руководствуясь одной только личной фантазией, говорит об этом бу-

душем с такой уверенностью, как будто его знание было основано на несомненных научных данных. «В природе все тесно связано, — говорит он, — одно состояние подготавливает другое. Если таким образом человек — самое последнее и совершенное звено, замыкающее собою цепь земного творения, то, с другой стороны, вместе с человеком *должна* возникнуть цепь новых существ высшего порядка, где человек является самым низшим звеном, которое служит связью между двумя смежными системами творения...» Далее Гердер с той же уверенностью утверждает, что существует какая-то степень бытия, скрытая от человека, но стоящая выше его. Он полагает, что такое воззрение не плод мистического созерцания, а «взгляд, подтверждаемый всеми законами природы». По его мнению, только этот взгляд и дает нам ключ к решению задачи, поразительной для человека, только он может быть настоящей философией истории...

Он говорит, развивая ту же мысль, что «жизнь человека, здесь, в этом мире, далеко не рассчитана на вечность» и что поэтому нельзя смотреть на землю, как на жилище, пригодное для постоянного обитания: «Мы приходим и уходим; каждая минута приносит и уносит мириады живых существ. Земля — это гостиница для приезжающих, дерево, на которое опускаются перелетные птицы, чтобы, поднявшись с него, пуститься в последний путь». Этот последний путь предстоит совершить в высшем мире, в котором человек явится опять ребенком, делающим свои первые опыты.

Таким образом, прогресс переносится за пределы нашего мира, а вместе с тем и за пределы нашего исследования.

Воззрения Канта на прогресс изложены в его «*Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*»<sup>1</sup> (1784). Это сочинение состоит из девяти положений, в которых Кант резюмировал всю философию истории, как он понимал ее со своей точки зрения.

В предисловии к изложению тезисов он дает общую идею истории, указывая на необходимость руководящей нити для ее понимания: «Каким образом ни желали бы в метафизике представить свобо-

---

<sup>1</sup> Kant I. *Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*. — Berlin, 1784.

ду воли, ее проявления в человеческих деяниях определены, как и всякое другое естественное явление, общими законами природы. История, имеющая предметом рассказ об этих проявлениях, как бы ни были скрыты их причины, не отказывает себе, однако, в одной надежде, а именно: рассматривая в массе проявления свободной воли, открыть в них правильный ход и то, что у отдельной личности кажется неправильным и спутанным, представить как постоянное, хотя и медленное, развитие прирожденных наклонностей в целом роде. Таким образом, брак, рождение и смерть, по-видимому, не подчиняются никакому закону, который помог бы определить их число в будущем. Однако годовые таблицы, составляемые в больших государствах, доказывают, что и эти явления также повинуются постоянным законам, как изменения атмосферы. Ни одно из них в частности не может быть предусмотрено в данном месте, но которые, в совокупности, оказывают непрерывное и однообразное влияние на прозябание растений, течение рек и всю остальную экономию природы. Отдельные личности и даже целые народы не понимают, что, отдаваясь собственным побуждениям и вступая в борьбу друг с другом, они следуют планам природы, им неизвестным, и содействуют развитию, до которого, даже в том случае, если бы они знали о нем, им было бы мало нужды».

Кант утверждает, что люди в массе не действуют в силу одного только инстинкта, как животные, но они не действуют и согласно условленному плану, как бы следовало разумным членам человеческого общества, казалось бы, потому, что их истории нельзя дать такой правильности, как истории пчел или бобров. Кант говорит, что нельзя отрешиться от некоторого неприятного чувства при виде человеческих деяний, представляющих, за редкими исключениями, массу глупости, пустой суеты, часто злобы и чисто детского духа разрушения. Так что, наконец, не знаешь, какую идею составить о нашем роде, столь уверенном в своих преимуществах. С этой точки зрения остается, по мнению Канта, только один выход для философа. Он заключается в том, что, не имея возможности предположить в деяниях людей разумного плана, им принадлежащего, он попытался бы открыть в этом нелепом ходе событий план природы, который помог бы по-

строить из деяний существ, действующих без плана, историю, согласующуюся с определенным планом природы.

Изложив основные положения своего взгляда на историю, Кант переходит к поиску «путеводной нити, которая может указать направление, следуя которому, можно достичь приведения в исполнение заявленной им мысли». Само же исполнение он считает возможным только в будущем, когда природа произведет человека, способного представить связь событий с такой точки зрения и который будет относиться к Канту, как Ньютон к Кеплеру. Затем следуют девять положений, о которых я упоминал:

1) *Все естественные наклонности каждого творения направлены к достижению полного и целесообразного развития.* Это положение доказывается наблюдением за условиями развития органов у животных: органы, остающиеся без применения, вступают в противоречие с теологическим учением: «Если мы примем этот взгляд нашей точкой отправления, то вместо правильной природы получим природу, представляющую бесцельную игру».

2) *Все естественные наклонности человека, как основанные на разуме, должны найти себе полное развитие в целом человеческом роде, а не в отдельной личности.* Это положение Кант подтверждает тем, что краткость жизни отдельного человека не соответствует времени, необходимому для развития всех естественных наклонностей, которые, согласно первому положению, должны достигнуть полного и целесообразного развития.

3) *Природа хотела, чтобы человек извлекал из самого себя все, что превосходит механическую конструкцию его существа, чтобы он не знал иного счастья или совершенства, как только то, которое он доставляет сам себе посредством освобождения от инстинкта своим собственным разумом.*

4) *Средство, которым пользуется природа для достижения развития всех наклонностей, – это антагонизм людей.*

Данные два положения тесно связаны между собою. Мысль Канта заключается в том, что средствами совершенствования он считает самодеятельность и мирное соперничество.



5) *Величайшая задача, к решению которой побуждает человека природа, заключается в выработке такого общественного строя, в котором частная воля повиновалась бы воле всеобщей.*

Во всяком обществе свобода отдельного лица должна быть в гармонии со свободой всех прочих. Кант сравнивает хорошо организованное общество с лесом, в котором деревья, побуждаемые потребностью выбраться на свет и воздух, растут прямо, стройно, тогда как дерево, стоящее отдельно в поле, выходит кривым и неуклюжим.

6) *Задача эта труднейшая, она разрешается родом человеческим позже всех других задач.*

7) *Задача совершеннейшего общественного строя предполагает установление правильного строя международных отношений.*

В настоящее время между народностями существуют те же отношения, какие некогда существовали между отдельными лицами. Но как бедствия, которые влекла за собою неправильность личных отношений, заставили обратиться к регулирующему действию закона, так и бедствия, производимые войной, повлекут народности к созданию федерации, которая также будет руководствоваться законами и даст возможность избежать войны между народами. Современный общественный строй можно считать только подготовкой к будущему совершеннейшему строю. Пройдет еще много времени, пока общество в состоянии будет его установить.

8) *Таким образом, историю человеческого рода можно рассматривать, как процесс выполнения скрытого плана природы, имеющего целью установление совершеннейшего политического строя, как во внутренних, так и во внешних отношениях. Это будет единственный строй, при котором природа сможет развивать все наклонности, сообщенные ею человечеству. Это положение выступает следствием предыдущего и служит основанием последнему, девятому положению, утверждающему, что философская попытка изложения всеобщей истории, согласно плану природы, имеющему целью полную гражданскую ассоциацию человеческого рода, должна рассматриваться не только как возможная, но и как благоприятная этому плану природы.*

Воззрение Канта на ход истории, как на естественное явление, подчиненное определенным условиям, в высшей степени замечательно, так как оно является большим шагом вперед к научной разработке идеи прогресса. Но нельзя не оспаривать основание, на котором Кант построил свое воззрение. Это основание — чисто умозрительное понятие о целесообразности в природе. Кант утверждает, что в природе ничто не совершается попусту, что если человеческие способности не могут достигнуть своего полного развития в прогрессе переходящей личности, то они должны достигнуть его в прогрессе всего рода, существованию которого нет предела. С научной точки зрения такое положение не подкрепляется ничем и имеет характер произвольного предположения. На самом деле мы не имеем решительно никакого понятия о том, совершается или не совершается что-либо в природе попусту. Для решения такого вопроса нам необходимо бы иметь положительное знание целей природы, но его у нас нет, а потому и всякое суждение о согласовании того или другого явления с этими целями не может иметь никакого значения. Раньше торжества гелиоцентрической системы было основание приурочивать эти цели к человеку, но в настоящее время такое приурочивание лишено всякого смысла. Итак, субъективное решение поставленного Кантом вопроса неудовлетворительно. Одна только постановка вопроса обнаруживает глубокое понимание задачи и как бы предчувствие ее разрешения.

В заключение изложенного выше обзора развития идеи прогресса в XVIII столетии мне придется сказать немного, так как читателю слишком, я думаю, очевиден прогресс этой идеи. Мы видели, что у главных представителей мысли великого века — Просвещения — идея прогресса отделилась от прочих идей, создала свою отдельную область, превратилась в самостоятельное учение о прогрессе. Но, выделяясь в учение, она не только не разорвала своей связи с другими элементами прогресса, но определила ее точнее и установила на более прочных основаниях. У Тюрго, Кондорсе, Гердера, Канта прогресс не является уже результатом проявления какой-нибудь внемировой воли, а обуславливается естественными законами природы и приводится в связь с такими явлениями, соотношения с которыми прежде и не подозревалось. Сама же идея прогресса путем анализа расчленяется

на отдельные, имеющие свой частный интерес, вопросы, представляясь, таким образом, сложным целым, требующим многостороннего и тщательного изучения.

Таковы общие черты развития идеи прогресса в XVIII столетии. Сопоставляя проанализированные нами воззрения мыслителей этого столетия, мы легко можем определить место и значение частных в этом общем абрисе. Я не стану детально объяснять эти частности, а укажу только на значение, приобретенное умственной деятельностью в ряду прочих элементов прогресса. Это значение, установленное в предыдущем столетии Бэконом и Декартом, выяснялось все с большей определенностью, и, наконец, в исторических трудах замечательнейших представителей XVIII века умственная деятельность стала руководящей нитью прогресса, центральным его пунктом, вокруг которого вращались все прочие элементы цивилизации. После исторических обобщений Тюрго, Кондорсе, Лессинга, Гердера и Канта, на значение умственной деятельности в истории установился тот взгляд, который, благодаря популярным сочинениям современных представителей положительной школы, стал всеобщей истиной. В заключение этой статьи будет, весьма кстати, напомнить читателю характеристику значения умственной деятельности, сделанную Боклем. «Писать историю какой-либо страны, – говорит он, – не принимая во внимание ход ее умственного развития, было бы то же самое, если бы астроном составил планетную систему, не включив в нее Солнце, свет которого дает нам возможность видеть планеты, притяжение которого дает направление планетам и заставляет их обращаться в назначенных им орбитах. Великое светило, сиянием своим озаряющее небеса, не более величественно и всемогуще, чем разум человеческий в нашем земном мире. Человеческому разуму — и только ему одному — своими знаниями обязаны все народы, и чему, если не успехам и распространению знания, благодаря нашим искусствам, наукам, мануфактурам, законам, мнениям, обычаям, удобствами жизни, роскошью, цивилизацией — всем тем, что ставит нас выше дикарей, невежеством своим униженных до уровня животных, с которыми они составляют одно стадо».

1868 г.

«Соврем. обозрение», №№4 и 5

## ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ НА НАУЧНОЙ ПОЧВЕ

(очерк из истории культуры XIX века)

«Je ne suis pas assez épris de la nouveauté pour être plus flatté du mérite d'enfanter un système qui me soit propre, que de celui d'exposer seulement des vérités qui me paraissent bien établies»<sup>1</sup>.

*Montucla. Hist. des Mathémat. L. I.*

Под философией истории мы понимаем выработанное в науке сознание законов жизни и развития человечества. Каждый момент этого сознания находится в такой тесной связи с жизнью и развитием самого общества в данную эпоху, что знакомство с этим состоянием возможно только при предварительном знакомстве с характером умственной деятельности самого общества.

Приступая к очерку состояния строящейся на научных началах философии истории, мы, на основании вышесказанного, считаем необходимым представить читателю краткую характеристику умственного развития нашего века.

Век наш есть, прежде всего, век борьбы за свободное, самобытное развитие человеческого общества и человека, как отдельной личности. Борьба эта, унаследованная нашим веком от восемнадцатого, ведется с известной степенью упорства и последовательности. Победы, одержанные в ней, осуществили уже многие *pia desideria* прошлого века, но при этом единстве в целях борьбы, средства, избранные бойцами прошлого и настоящего столетий, почти противоположны между собою по характеру. XVIII век, проникнутый восторженной мыслью о всеобщем обновлении, порывисто устремился к лучшему будущему, заявляя необходимость не только свободного исследования

---

<sup>1</sup> «Я недостаточно увлечен новым, чтобы больше наслаждаться достоинствами, присущими мне, чем выставять напоказ лишь истины, которые кажутся мне навязанными». Перев. Е. В. Клименко.

всего, но и отрицания (Тюрго). Все сказанное в этом веке о прошедшей жизни человечества – обвинительный акт этой жизни. Не к ее пониманию прилагаются главные усилия передовых людей этой эпохи, а к освобождению от всего, что пришлось им от него унаследовать... Не отрицая плодов деятельности великих людей XVIII века, понимая, что страстное увлечение было неизбежно и необходимо в их положении, наш век избрал, однако, иной путь. Борьба зашла весьма далеко, успех ее очевиден, замешательство врагов слишком явно: способы ведения борьбы не могли остаться те же. Причем необычайные успехи исторической критики и естествознания, могущественно воздействующего на современное миросозерцание, в такой сильной степени способствуют успеху борьбы, что оставаться на прежней почве ей было нельзя.

Историческая критика в наше время приобрела значительную широту, глубину и точность, достигла беспристрастия и строгой научности. Ни один из предшествовавших веков не может представить образцов этого рода открытий, хотя бы даже подобных современным. Критика нашего времени понимает, что многие вопросы ей предстоит решить окончательно, поэтому и на самые ничтожные вопросы она направляет весь сложный аппарат своей эрудиции. Ее значение особенно важно в экзегетике (герменевтике). Здесь она с твердостью и уверенностью, неизвестной прежним векам, решает те капитальные вопросы, от которых зависит будущее цивилизации. Место легких, насмешливых, саркастических, страстных разрушителей XVIII века заняли спокойные, методические, добросовестные ученые экзегеты... Штраусы, бауры руководят целой армией критиков, подобно тому, как некогда фернейский патриарх руководил армией энциклопедистов. Эти критики, точно термиты, забрались во все углы и щели старого здания... Повидимому, все благополучно, все на своем месте, ничто не шевелится, но это только кажется... На самом деле основание здания подточено, весь скреплявший его цемент превращен в порошок, и с минуты на минуту надо ожидать, как оно упадет среди всеобщего ужаса.

Разрушение, о котором мы говорим, не бесплодно. Экзегетика и историческая критика не ограничиваются судом над прошлым ради

одного только разрушения. Подтачивая старое здание ортодоксии, они не кидаются в путаницу теологических и метафизических прений, но обогащают и освежают мысль положительным изучением прошедшего, открытием сокровищ минувших веков, из которых они, при верной их оценке, извлекают живительные уроки и материалы для будущего... Не следуя примеру минувшего века, современная критика не облакает своих доводов в форму умозрительной аргументации и разных диалектических тонкостей, но опирается исключительно на факты, перед которыми бессильно как *самое тонкое* умозрение, так и *самая красноречивая* диалектика. Действуя таким образом, она обратила весь старинный арсенал ортодоксии в склад оружия, не пригодного к употреблению, и, приводя ее в такое незащитное состояние, выставила ее, с помощью популяризации своих открытий, перед глазами всего образованного мира. Не видеть всего этого могли только слепые или люди, отделенные естественными и искусственными преградами от сцены, на которой происходило это зрелище.

Традиционное миросозерцание дожило, таким образом, до критического момента. Нравственные истины уже не могут больше приниматься в их ортодоксальной форме, повсюду сильно обозначается стремление к научной достоверности и доказательности. Супранатуральное и легендарное миросозерцание потеряло всякий смысл и значение с наступлением этого энергичного стремления к науке, положительному знанию. Оно уже не в состоянии удовлетворять потребности, вызванные новыми стремлениями. Разум, наука, свобода – вот новые силы, влекущие к неизбежному обновлению.

*В принципе*, победа этих новых начал не может быть подвергнута сомнению. Однако обновление еще не совершилось – здание подточено, но не развалилось. Нравственный авторитет переходит только к новому научному миросозерцанию, которое, благодаря успехам всех отраслей знания, складывается из нового материала и на новых основаниях и, в наше время, столько достигло успехов, что может служить верным убежищем для всех, заблаговременно покинувших старое шаткое здание.

Такое положение вещей, очевидное в наше время, представлялось довольно смутно в начале настоящего века, и потому неудивительно, если метафизика, показавшись тогда спасительной, привлекла к себе величайшие умы того времени. Процветание трансцендентальных систем действительно относится к этому периоду. Шеллинг, Фихте, Гегель приковывают к себе значительную часть работы мысли, чуть не всю энергию поиска истины... Но метафизика оказалась бессильна. Успехи ее были крайне непрочны, и окончательно овладеть движением европейской мысли она не могла. В настоящее время мы встречаем у немецких писателей (не признающих пока открыто своей принадлежности к положительному мирозерцанию и весьма склонных щадить метафизику) самое решительное суждение о метафизическом движении того времени. Трансцендентальная философия Фихте и гегелевская философия, говорит один из них, остались, большей частью, не поняты, что зависело, главным образом, от них самих. Что же касается шеллинговской философии, то она, наконец, сама перестала себя понимать, становясь все больше нелогичной.

Но если таков был окончательный результат метафизических теорий, то попытки метафизико-мистических учений, относящихся к тому же времени и повторяющихся в наше, должны были иметь или будут иметь еще более печальный исход. Как известно, даже Огюст Конт, первый представитель позитивной философии, пытался основать метафизико-мистическую доктрину, имеющую и до настоящего времени горсть последователей. Число подобных попыток было огромно в нашем веке, начиная от всем известных учений Сведенборга, Ирвинга и др., заканчивая неизвестными – какой-нибудь *фузионической* религией Туреля или *эвадианской* (evadienne) религией Мишеля Ганно и мн. др. Все эти метафизические попытки стать во главе движения века отступают на задний план или забываются, а руководит успехами общественного развития наука.

Уже с первыми проблесками умственной деятельности новой Европы, учение об опыте и наблюдении, об измерении и исчислении, как источниках знаний и средств, с помощью которых достигалась его удобоприменимость, прошло через жизнь всех культурных народов,

развитие которых и произвело его. По мере успехов этого опытного учения, обуславливающегося прогрессом наук, его характер все больше определялся, и с падением метафизики, извращавшей его до известной степени, он определился, наконец, вполне и окончательно.

Научные работы приняли в наш век громадные размеры. Обыкновенные умы не могли овладеть даже отраслью или частью великого целого. Охватить одним взглядом все направления движения мысли, все стороны какой-нибудь науки, не теряясь в подавляющей массе материалов, стало делом доступным только для весьма немногих. Зато умение воспользоваться этим громадным богатством обещает результаты, превосходящие все, что было сделано когда-либо, и о чем и не помышляли еще недавно. Обширное применение опытного метода, тщательное изучение фактов, выведение, в самом широком смысле, – вот могущественные средства, которыми современная наука достигает своих результатов.

Масса работающих на различных отдельных пунктах широкого поля разработки наук, как и количество собранного материала, превосходит все, о чем только мог мечтать ученый минувшей эпохи. Здесь, как и в области физического труда, развилось его разделение, приведя к совершенно аналогичным последствиям. Многие науки подверглись в нашем веке основательной переделке; другие организовались вновь, но ни одна не осталась в застое. *Астрономия*, средства которой поразительно возросли, сделала открытия, вполне им соответствующие. Стоит припомнить удивительное открытие Леверрье, блестящие исследования Гершеля и Росса, приложение спектрального анализа к изучению химического состава небесных тел, чтобы получить идею о важных успехах, сделанных наследниками Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона и Лапласа. *Физика* основательно преобразилась: она достигла подведения под математические законы и численные определения всех входящих в ее область явлений, открыла связь и соотношение сил, обогатилась целыми новыми отделами и выставила новые научные теории. *Химия* претерпела не меньшее преобразование, чем физика, о чем в достаточной степени свидетельствует унитарная система. Открытия в области химии так же много-



численны, как и важны. Органическая химия в три-четыре десятилетия произвела громадное количество опытов, развиваясь с быстротой, удивительной даже в наше время. *Биология* в современном ее состоянии – плод научной деятельности нашего века и блистательное доказательство его неистощимых средств. *Социология*, как наука, в прошлом столетии еще не существовала. Стремление возвысить изучение общества до степени науки принадлежит XIX столетию и, если остается еще сделать многое на этом поприще, то нельзя отрицать, что сделанное уже свидетельствует о громадной и плодотворной работе. Науки, относящиеся к социологии как вспомогательные – филология, история, политическая экономия и др. – сделали также важные успехи. Филология была извлечена из бесплодного буквоедства, и стала производить животворные последствия в воззрениях современников на древнюю жизнь человечества. История развилась и совершенно обновилась под скальпелем критики. Политическая экономия своими исследованиями подготавливает выработку взгляда на будущее...

Вот самый беглый перечень успехов одних только основных наук (по классификации О. Конта). Мы ни слова не сказали о науках побочных и прикладных, успехи которых очевидны для всех в бесчисленных открытиях и изобретениях, общий характер которых заключается в замене человеческой силы механической, в экономии времени. Успехи здесь громадны, и их влияние на жизнь безгранично. Справедливо говорит Бокль, что в Европе не осталось, кажется, ничего такого, что человек побоялся бы предпринять...

Такая усиленная деятельность беспрестанно увеличивает бесчисленными опытами и наблюдениями запас собранного материала и дает новейшей науке возможность охватить чрезвычайно обширный кругозор. Обозначающееся в ней все сильнее и явственнее стремление к философским обобщениям должно считаться не только совершенно естественным и законным, но даже необходимым. Основной ее характер в настоящее время заключается в постановке, недавно еще принадлежавших исключительно метафизике, вопросов о принципах. Она работает над их разъяснением. Она ищет начала, которые могли бы соединить в известные отношения даже самые не похожие и ано-

мальные факты, старается понять порядок, соединяющий эти части в целое. Она ищет закон везде и во всем и, при его помощи, стремится возвыситься над разнообразием и множеством материала, которым она владеет.

Это стремление науки организовать в доктрину, охватывающую всю сферу человеческого знания, имеет тем большее значение, что доктрина эта, следуя духу времени, не может замкнуться в сферах отвлеченного учения и должна стать тем прочным фундаментом, на котором будет построено все социальное здание. Таким образом, создан выход из той путаницы и мрака, которые, при господстве прежнего умственного режима, казались совершенно безвыходными. Насколько возможно, полное и равномерное удовлетворение человеческих нужд признается наукой неоспоримой истиной, и она усиленно работает над разъяснением многочисленных и сложных вопросов, связанных с разрешением этой великой задачи нашего века.

Итак, наука стремится прийти, в окончательном результате, к доктрине, охватывающей все, что только может регулировать жизнь и развитие человечества. Она стремится к тому, чтобы не только пояснять, но и руководить жизнью; она ставит социальную систему конечной целью всей своей работы. Это стремление, как мы уже сказали, совершенно законно. Однако полного успеха в настоящее время оно еще не имеет, потому что, несмотря на громадные успехи наук, предварительный анализ, необходимый для осуществления такого стремления, все-таки не окончен. Многие еще остаются недоступны научному исследованию, неточно, неполно... Но справедливо заметил Фейербах, что никто не становится под водосточные трубы для того, чтобы укрыться от дождя... Возврата к прошлому нет, мы это знаем, и потому предпочитаем неполноту попыток, обобщающих наше положительное знание, мнимой законченности системы традиционного мирозерцания. Одной из замечательнейших попыток в этом направлении была попытка О. Конта. Социальная задача ей не удалась, но решение ею философской задачи представляет в высшей степени замечательную ступень к достижению цели стремлений современной науки. На наших глазах тропинка, протоптанная Контом, превраща-

ется в широкую дорогу, и вместо системы, которую мы можем назвать *конттизмом*, возникает *позитивизм* или — чтобы не спорить о словах — научное мирозерцание, научная философия, в самом широком смысле этого слова, философия с непрестанно расширяющейся и теперь уже весьма широкой сферой влияния.

Этой философии предстоит играть важную роль в современном ходе жизни. Под влиянием различных ее разветвлений, складывается идеал личности и общества, во всем отличающийся от идеала минувших времен. Мышление теряет свою выспренность и туманность, приобретает простоту, ясность, точность, определенность... Человек не предпочитает больше мечтание и фантазерство трезвости мысли и прозе труда, чаще оглядывается на свое положение в обществе, старается улучшить свой нравственный и материальный быт. Его жизнь становится человечнее, светлее, все больше устраняются из нее явления, оскорбляющие справедливость, препятствующие успехам цивилизации, нарушающие мир...

Наконец, одному только научному мирозерцанию предстоит продвинуть человечество к высочайшей цели, какая только может быть ему представлена, — к цели его объединения. Прежние мирозерцания оказались бессильными на этом пути и привели только к усилению международной вражды. Разум, освобожденный от их пут, предоставленный самому себе, опирающийся на свободное изучение природы и жизни, окажется, конечно, состоятельнее. Его различные степени омрачения и искажения исчезнут, и его естественное единство во всем человеческом роде будет служить верным залогом действительного объединения человечества.

Но главное условие для деятельного перехода к лучшему будущему, приготовленному для человечества трудами стольких веков, — это смелый разрыв с прошлым. В принципе, он, как мы уже сказали, совершился. Рубеж, отделяющий традиционное мирозерцание от научного, передовыми людьми цивилизации перейден, а для перехода остальных — необходимо время. Тем не менее, оставаясь последовательным, нельзя предоставить все одному времени. Эта истина, как кажется, не стала еще для всех очевидной, и в наше время есть даже

рационалисты и свободные экзегеты, которые думают, что ход науки может быть отделен от хода жизни. Они не понимают, что, таким образом, бессознательно подают руку реакции, пытающейся остановить развитие современного движения и даже повернуть его вспять.

Говоря об интеллектуальном состоянии настоящего века, нельзя не упомянуть об этой реакции, не перестающей поднимать голову при первом дуновении благоприятных ей обстоятельств. Мы не говорим, конечно, о грубой реакции, которая только губит свое дело, мы обращаем внимание на реакцию более тонкую, пронырливую, старающуюся представить мертвую идею в современной, живой форме, окружающую ее атрибутами века, щеголяющую своим полным согласием с его открытиями и завоеваниями в области знания. Мистификация такой реакции должна быть указана смело и прямо, как зло, угрожающее своевременному осуществлению благ, вырабатываемых наукой. Оставляя частности в стороне, следует обратить внимание на корень зла, на его основу. Могут ли приверженцы прошлого отказаться от этой основы, как бы они ни украшали ее извне? Мы спросим, прежде всего, у ретроградов этого закала, может ли основатель какого бы то ни было мистического мирозерцания, подобно ученому, обращаться к людям и приглашать их к совместному и равноправному поиску истины, к спору о ней, к свободной проверке его метода, его наблюдений и открытий?.. Нет! В его первом слове слышится тон власти: истина предлагается им готовой и полной, не терпящей ни обсуждений, ни возражений. Это его точка исхода, которой все решается... Речь идет о власти в сфере умственной деятельности... Власть здесь, как и везде, может принадлежать только лицу, а не доктрине. Может ли лицо, проповедуя такую доктрину, исключаящую свободу, проповедовать само себя, не навязывать само себя вместе со своей проповедью? Это естественно и понятно. А если так, то причем здесь атрибуты века, причем согласие с наукой, преклонение перед знанием? И не мистификация ли, в сущности, это хитрое заманивание в прошлое?..

Характеристика, которую мы набросали, может, как мы полагаем, служить фоном, на котором обозначатся главные направления научной философии истории. Эта характеристика, при всей ее бегло-

сти, с достаточной ясностью показала, что среди различных мирозерцаний, оспаривающих одно у другого направление мысли настоящего века, главенствующим, по праву, должно быть мирозерцание научное или положительное, а метафизические воззрения оттеснены научным движением на задний план интеллектуального развития. В каждом из этих направлений философия истории считает своих представителей, но их значение в том или другом из них зависит, очевидно, от значения самого направления. Имея в виду краткость нашего очерка, мы считаем себя вправе не говорить о воззрениях, основывающихся на положениях, точки зрения которых, по нашему убеждению, ложны и поэтому лишены жизненного влияния. Мы не станем говорить ни о теории *откровения абсолютного* (Шеллинг), ни о воззрении, открывающем в жизни и развитии человечества *стремление абсолютного к самосознанию* (Гегель). Мы обойдем молчанием попытки отождествления судеб человечества с планами внемировой силы (Бональд, Балланш, Шатобриан), не скажем ничего и о прагматическом провиденциализме или доктринерстве (Гизо). Таким образом, мы будем говорить *исключительно* о философии истории на научной почве, как о таком направлении в понимании законов исторической жизни, которое одно только и имеет будущее. Нам предстоит познакомиться с теми воззрениями, которые имели своим представителем в минувшем периоде века О. Конта. В новейшее время они были разработаны Боклем, Литтре, С. Миллем, Спенсером и др. Также мы упомянем там, где того будет требовать изложение, и о некоторых воззрениях тех мыслителей, которые, хотя и не принадлежат к положительной школе, но некоторые их мысли имеют значение с ее точки зрения. Это Прудон, Лоран, Дрейпер, Ренувье, Раденгаузен.

Мы не можем, однако, полностью изложить воззрения мыслителей, которых назвали выше, даже если и ограничимся одной положительной школой. Эта невозможность происходит от того, что сочинения, о которых нам пришлось бы говорить, так обширны, что самое беглое знакомство с ними, при рассмотрении их во всем объеме, завело бы нас слишком далеко за пределы настоящего очерка. Поэтому мы вынуждены ограничиться рассмотрением только *некоторых* воз-

зрений писателей, которым философия истории обязана чисто научной разработкой. Мы представим читателю главные, общие черты современного состояния этой важной отрасли социологии и, ограничиваясь картиной развития ее поисков, позволим себе только беглые частные замечания, воздерживаясь от общей критической оценки, которая слишком удлинила бы очерк, не соответствуя нашей цели.

Уже в XVIII столетии главным мотивом всех открытий в области философии истории стала идея развития, или прогресса человечества. Вспомним сущность трактатов Гердера («*Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*»<sup>1</sup>), Лессинга («*Erziehung des Menschengeschlechts*»<sup>2</sup>), Тюрго («*Discours sur les progrès successifs de l'esprit humain*»<sup>3</sup> и др.), Кондорсе («*Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*»<sup>4</sup>) – все они выставляют на первый план прогресс, развитие... Научное мирозерцание нашего века, усвоив от этих писателей те воззрения, которые согласуются с его основоположениями, стало развивать философию истории дальше и, согласно своему организаторскому духу, определило ей место в науке об обществе (социологии) и связь с общим строем этой науки.

*Предмет социологии* – это изучение общественных явлений в смысле неизбежной подчиненности их естественным законам. Для открытия этих законов, научное исследование считает необходимым пользоваться в социологии, как и в других науках, тремя методами общего искусства изучения, т. е. *наблюдением, опытом и сравнением*. Только добытые этим путем результаты оно считает вполне положительными данными, только ими пользуется для своих выводов и заключений.

Действительное *наблюдение* возможно только тогда, когда оно сначала направляется, а потом объясняется какой-нибудь теорией. Очевидно, что явления, столь сложные, как факты общественной

---

<sup>1</sup> Herder J. Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. – Berlin, 1784.

<sup>2</sup> Lessing G. Erziehung des Menschengeschlechts. – Berlin, 1780.

<sup>3</sup> Turgot A. Discours sur les progrès successifs de l'esprit humain. – Paris, 1750.

<sup>4</sup> Condorcet J. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. – Paris, 1794.

жизни, ускользают от наблюдения без соблюдения этого условия. Только теория может руководить выбором фактов, а потому без нее наблюдение невозможно. Факты, подлежащие наблюдению, бесчисленны, но при недостатке умственного построения и философских указаний, они всегда останутся бесплодными, и их исследование никогда не станет научным. Итак, для превращения факта в социологический материал необходимо руководство теории, которым и обусловливается наблюдение, как первый способ изучения общественных явлений.

Второй способ изучения – *опыт* в собственном смысле – имеет в социологии лишь косвенное применение в патологических случаях. Эти случаи представляют разуму данные для лучшего раскрытия законов человеческой природы путем научного анализа расстройств, сопровождающих ее развитие.

Третий способ изучения – *сравнение* – необходимо должен быть главным во всех исследованиях общественных явлений. Главный прием этого способа – сопоставление современного состояния общества в различных частях света, причем выбор должен падать преимущественно на самые независимые друг от друга племена.

Не анализируя более детально цели и способы социологии, научное значение которой обозначено нами уже довольно определенно, мы перейдем к объяснению отношения к ней философии истории, которая входит в нее как составная часть.

Научная философия распространяет и на общественные явления те строго определенные различия, которые она всегда указывает при исследовании всех изучаемых ею отдельных групп явлений. Все эти группы явлений, с точки зрения науки, делятся на *статические* и *динамические*. В биологии, например, все анатомические явления подводятся под отдел статических явлений, а факты, представляемые физиологией, составляют отдел динамических явлений. Предмет изучения первого отдела – *это организация* живого тела, предмет второго – *деятельность* этой живой организации. Данный пример показывает с достаточной определенностью сущность рассматриваемых различий и делает ясным их применение в социологии. Здесь

статическая часть, или *социальная статика*, рассматривает условия существования или организацию общества, а *социальная динамика* изучает законы деятельности этой организации. Статическое представление общественной организации, естественно, лежит в основании социологии, но философский характер этой науки дается ей социальной динамикой, составляющей ту главную ее часть, которая обычно называется *философией истории*.

Изучая с научной точки зрения общую совокупность изменений, которым подвергалась и подвергается жизнь человеческих обществ, нельзя не заметить, что эти изменения заключаются в постоянном росте преобладания свойств, характеризующих человека, над животными свойствами. В этом смысле самая высшая цивилизация должна рассматриваться как состояние общества, наиболее согласующееся с естественными условиями. Это состояние обнаруживает те свойства человеческой природы, которые находились как бы в оцепенении на первых ступенях общественного развития. Биологические исследования доказывают, что в царстве животных общеорганическая жизнь постепенно подчиняется животной жизни, по мере роста изменений, приближающих эти организмы к человеческому организму. Итак, развитие человечества представляется нам, при этом сближении, самым высшим моментом общего хода развития органической жизни, начиная с простейших растений и заканчивая человеком. Этот взгляд на общее значение человеческого развития подтверждается анализом общественного развития, доказывающим, что высшие способности человека непрестанно стремятся к преобладающей роли в общей экономии человеческого существования.

Развивая в громадной и постоянно возрастающей степени влияние человека на внешнюю природу, цивилизация стремится, по видимому, к тому, чтобы сосредоточить наше внимание исключительно на попечении о материальном существовании. При ближайшем рассмотрении ее развития оказывается, что она, наоборот, способствует преобладанию самых высших способностей человеческой природы. Это преобладание достигается ростом обеспеченности физических нужд и высочайшей степенью активизации умственной дея-



тельности. В эпоху младенчества общества, инстинкты самосохранения преобладают до такой степени, что даже половая жизнь, несмотря на всю ее первобытную грубость, уступает им в энергии. Семейные чувства, конечно, весьма слабы в эту эпоху, а общественные связи ограничиваются самой незначительной фракцией человечества. Все существующее вне пределов этой небольшой фракции считается не только совершенно чуждым ей, но и враждебным. Таким образом, чувство вражды и физические инстинкты господствуют в этой группе людей, как главные руководители их деятельности. Только с пробуждением высшей человеческой способности – умственной деятельности – начинает складываться общественность, которая развивается в зависимости от развития этой высшей способности.

С какой стороны ни станем рассматривать изменения, которым подвергался человек в различные эпохи существования, мы всегда заметим, что общий результат развития не заключается в одном только материальном улучшении быта, достигаемом властью человека над внешней природой, но и в постоянном росте преобладания высших человеческих способностей. В этом смысле индивидуальное развитие воспроизводит перед нашими глазами главные фазы общественного развития. Наблюдая то и другое, мы можем заметить, что они одинаково имеют целью подчинение личных инстинктов инстинктам социальным и, в то же время, стремятся к власти над страстями при посредстве установленного разумом закона. Таким образом, научно объясняется та *неизбежная и необходимая борьба животности и человечества*, которую сознает в себе человек от первых проблесков цивилизации и до настоящего времени, которая постоянно представляется в той или другой форме в различных мирозерцаниях, соответствующих различным степеням развития цивилизации.

С этим взглядом на развитие, или прогресс человечества, вполне согласуется определение прогресса одного из величайших мыслителей нашего века – Прудона. В девятом этюде своего исследования «De la justice dans la revolution et dans l'église»<sup>1</sup> он определяет про-

---

<sup>1</sup> Proudhon P. De la justice dans la revolution et dans l'église. – Paris, 1858.

гресс, как самобытное совершенствование человечества, совершающееся под влиянием идеала и имеющее следствием непреодолимое распространение свободы и справедливости<sup>1</sup>. В другом сочинении, «La philosophie du progrès»<sup>2</sup>, он определяет прогресс, как утверждение всеобщего движения, как отрицание всякого покоя и неподвижности. Хотя это определение стремится к иной (чисто объективной) постановке вопроса, чем предыдущее, однако, прочитав всю брошюру, содержащую «философию прогресса», оно может быть отождествлено с ним. Ведь движение, о котором в нем говорится, приводится к тому же идеалу, на который указывается в первом определении. Мы не можем, к сожалению, говорить о воззрениях Прудона так подробно, как они того заслуживают, потому что в таком случае одно это отступление должно было бы достичь того объема, который мы предположили для целой статьи. Не упомянуть же о нем вовсе, говоря о современном состоянии философии истории, невозможно, так как Прудон занимает очень видное место в ее разработке.

Не больше, чем на взгляде Прудона, можем мы остановиться и на воззрении Спенсера, посвятившего рассматриваемому нами вопросу несколько глав в своих «Основных началах»<sup>3</sup>, а также отдельную статью, помещенную в первом выпуске русского перевода его сочинений. Спенсер также старается найти объективную точку зрения на ход исторической жизни, но это удастся ему так же мало, как и Прудону. Чисто объективная точка зрения не дает возможности отличать прогрессивные явления от регрессивных. Она вынуждена рассматривать одну безразличную совокупность изменений, которой подвержена жизнь человечества, а потому она и не дает возможности избежать путаницы в понятиях при решении капитального вопроса всей философии истории. Эта неизбежность путаницы не могла, конечно, укрыться от Спенсера, и он старается выяснить различие между двумя

---

<sup>1</sup> Мы говорим здесь только об *определении*, не касаясь дальнейшего развития взгляда, изложенного Прудоном в этом сочинении.

<sup>2</sup> Proudhon P. La philosophie du progrès. — Paris, 1865.

<sup>3</sup> Спенсер Г. Основные начала. — СПб., 1897.

противоположностями (прогрессом и регрессом), оставаясь на своей точке зрения. Ему, как мы полагаем, это удастся не полностью, так как не только выясненные им признаки различия, но и само определение прогресса, как осложнения того, что прогрессирует, применяются к ходу социальных изменений весьма не удовлетворительно.

Взгляд на рассматриваемый вопрос двух новейших историков, притязających на научность своих открытий, – Лорана («Etudes sur l'histoire de l'humanité»<sup>1</sup>) и Ренувье («Essai de critique générale»<sup>2</sup>) совершенно ошибочен. Мы скажем о нем два слова лишь для того, чтобы опровергнуть заблуждение, которое разделяется многими. Лоран и Ренувье утверждают, что прогресс – *это факт*, в настоящее время не подлежащий сомнению. Путаница понятий здесь очевидна. Оставаясь в области фактов, мы можем утверждать только одно – это *изменение*, но ни о прогрессе, ни о регрессе говорить не можем. Понятие о прогрессе или регрессе – *это* результат субъективного отношения к процессу наблюдаемых изменений. Из этого видно, что данное понятие находится в прямой зависимости от мирозерцания наблюдателя, что субъективной оценке может быть дано значение только тогда, когда будет доказано, что мирозерцание, на котором она основана, опирается на положительное знание, что оно, по праву, может называться *научным*<sup>3</sup>.

Возвращаясь к взгляду на прогресс, как на стремление к идеалу, определяемому словом «человечность», мы займемся изучением того процесса, который ведет к достижению этого идеала. Процесс этот, очевидно, в высшей степени сложен. Сложность его, обусловливаемая многочисленностью элементов, подлежащих выработке, делает весьма трудными наблюдение и сравнение, необходимые, как мы сказали, для открытия закона, управляющего всяким явлением. Очевидно, что если бы из числа многочисленных социальных элементов челове-

---

<sup>1</sup> Laurent A. Etudes sur l'histoire de l'humanité. – Paris, 1861-1870.

<sup>2</sup> Renouvier C. Essai de critique générale. – Paris, 1851-1864.

<sup>3</sup> Мы не останавливаемся над мнением Лорана о возрождении человека на других планетах и продолжении на них своего существования, подлежащего тем же законам развития, что и жизнь на Земле. Мнение это навеяно традицией и слишком уж нелепо.

ской жизни один перевешивал другие в качестве главного рычага социального движения, то их изучение приобрело бы неоценимое пособие. Ведь развитие этого элемента могло быть принято за центральную цепь, к каждому звену которой примыкали бы соответствующие звенья других развитий. Последовательность фактов, вследствие этого, представилась бы в некотором самопроизвольном порядке, гораздо ближе подходящем к действительному порядку их последовательности, чем какой могло бы дать иное, более эмпирическое представление прогресса.

Такой преобладающий и почти господствующий элемент представляет *умственная деятельность*. Общая совокупность всех изменений, через которые прошла жизнь человечества, несомненно, совершалась под ее влиянием. Вот почему во все времена преобладающее значение умственной деятельности, умственного развития, признавалось в большей или меньшей степени прямо. На самом деле, несмотря на то, что умственная деятельность – одна из слабейших наклонностей человека, на которую, кроме совершенно исключительных случаев, тратится наименьшая часть жизни большинства людей, влияние умственной деятельности – единственная коренная причина социального прогресса, потому что она служит средством удовлетворения всех наших склонностей, способствующих этому прогрессу. Вообще говоря, уровень знаний представляет крайнюю границу всех улучшений, возможных в это время. Естественно также, что социальный быт возможен только при подчинении сильнейших социальных элементов общей системе мнений, усвоенных общественным пониманием. Из этого можно вывести, что прогресс промышленности, искусства, нравственности и политики определяется уровнем развития умственной деятельности и характером ее направления. История подтверждает этот взгляд на значение умственной деятельности, доказывая фактами, что порядок человеческого развития во всех отношениях был результатом развития умственной деятельности, т. е. результатом последовательных религиозных и научных переворотов.

«Писать историю какой-либо страны<sup>1</sup>, – скажем мы словами Бокля в заключение общего очерка значения умственной деятельности, – не принимая во внимание хода ее умственного развития, было бы то же самое, если бы астроном составил планетную систему, не включив в нее Солнца, свет которого дает нам возможность видеть планеты, притяжение которого дает направление планетам, заставляя их обращаться в назначенных им орбитах. Великое светило, сиянием своим озаряющее небеса, не более величественно и всемогуще, чем разум человеческий в нашем земном мире. Человеческому разуму – и только ему одному – обязаны все народы своими знаниями. Чему, если не успехам и распространению знаний, одолжены мы нашими искусствами, науками, мануфактурами, законами, мнениями, обычаями, удобствами жизни, роскошью, цивилизацией – всем тем, что ставит нас выше дикарей, невежеством своим униженных до уровня животных, с которыми они составляют одно стадо»<sup>2</sup>.

Из числа писателей, причисляемых обычно к научной школе, только Спенсер оспаривает преобладающее влияние умственной деятельности. Он утверждает, что не идеи управляют миром, а чувства, которым идеи служат. По его мнению, социальный механизм покоится в окончательном результате не на идеях, а исключительно на характерах: «Все социальные явления порождаются общим строем человеческих ощущений и верований, из которых первые определены почти всегда наперед, а вторые определяются почти всегда впоследствии. Большинство человеческих желаний унаследовано, между тем, как большинство верований приобретаетс я и зависит от окружающих условий. Важнейшие же из окружающих условий зависят от того состояния общества, какое породили наиболее сильно господствующие желания. Социальное состояние всякой данной эпохи – это равнодействующая всех честолюбий, своекорыстий, опасений, поклонений, негодований граждан-предков и граждан-современников. Общепринятые идеи такого социального состояния должны соответствовать чувствам граждан и, следовательно, быть на одном уровне с тем со-

<sup>1</sup> Авторское повторение цитаты (раздел «Очерк развития идеи прогресса»). – С.247.

<sup>2</sup> Бокль Г. История цивилизации в Англии. В 2 т. – М., 1857-1861. – Т. 1.

циальным состоянием, какое породили эти чувства. Идеи, чуждые этому социальному состоянию, не могут в нем развиваться, а если вводятся извне – не принимаются, или же, если и принимаются, то вымирают, как только заканчивается временный фазис чувств, допустивший их принятие. Поэтому, хотя передовые идеи, установившись раз, влияют на общество и содействуют дальнейшему его прогрессу, но установление таких идей зависит все-таки от подготовленности общества к их восприятию. На деле выходит так: народный характер и социальное состояние решают, какие идеи должны получить ход в обществе, а не идеи определяют социальное состояние и народный характер. Поэтому изменение нравственной природы человека, производимое непрерывным влиянием социальной дисциплины, приспособливает эту природу к социальным отношениям, есть главная, ближайшая причина общественного прогресса»<sup>1</sup>.

Милль весьма справедливо замечает, что большая часть этих положений была бы принята самим Контом, т. е., другими словами, большая часть этих положений нисколько не противоречит воззрениям, приписывающим умственной деятельности главенствующее значение. Что же касается тех вопросов, в которых убеждения Спенсера расходятся с этими воззрениями, то можно сделать следующие замечания.

Мысли, высказанные в приведенной выше цитате, дают основание полагать, что Спенсер смотрит на факты, которые можно проследить исторически, например, хоть в области религии, как на *следствия* не веры в Бога, а чувства страха и благоговения к нему. Такой взгляд неверен уже потому, что благоговение и страх *предполагают* веру, так как неизбежно необходимо *прежде* веровать в Бога, а потом бояться и почитать его. Чувства самобытно не порождают веры в Бога: они сами по себе могут сосредоточиваться на всяком предмете. Объект веры определяется именно умственной деятельностью, а потому ее значение в этой области очевидно. В алхимию и астрологию, например, верили не потому, что народ был падок до золота и старал-

---

<sup>1</sup> Спенсер Г. О причинах разногласия с философией Конта. – СПб., 1899.

ся заглянуть в будущее: эти желания сильны и в наше время, но умственное развитие нашего времени не допускает больше этой веры. Вообще, умственная деятельность, вопреки мнению Спенсера, лежит в корне всех великих перемен, пережитых человечеством... Не людские страсти и волнения открыли движение Земли или обнаружили очевидность ее древности, не они изгнали схоластику и выдвинули исследование природы, не они изобрели книгопечатание, компас, бумагу... Реформация, английская и французская революции и еще больше – все нравственные и социальные перемены, стоящие на очереди, – прямые следствия этих и подобных открытий...

Для подкрепления этих доводов, мы приведем теперь воззрения на основной характер изменений, совершающихся в исторической жизни человечества, двух современных писателей, которые, при всей своеобразности аргументации каждого из них, представляют выводы чисто научные и, притом, вполне согласующиеся, по основной мысли, с воззрениями, изложенными выше.

Начнем с Раденгаузена, автора весьма замечательного обширного философского сочинения «*Isis, der Mensch und die Welt*»<sup>1</sup>.

Раденгаузен считает человека высшим результатом развития жизни на Земле. Развитие это совершилось так давно, что длинный ряд промежуточных степеней не мог не затеряться. Так как есть основание предполагать, что древность человеческого рода простирается до 60000 лет, то естественно, что эти промежуточные степени имели более чем достаточный срок для того, чтобы вымереть или быть истребленными. Это предположение не включает в себе ничего невероятного, утверждает Раденгаузен, если мы вспомним, что за какие-нибудь 3000 лет, непосредственно предшествовавших нашему времени, многочисленные народы могли подвергнуться естественному или насильственному уничтожению. Но так как взаимное истребление оказывается тем обширнее, чем дальше взгляд проникает в условия давно минувшей жизни, то из этого можно вывести заключение, что вымирание низших степеней должно было происходить тем в боль-

---

<sup>1</sup> Radenhausen C. *Isis, der Mensch und die Welt*. – Hamburg, 1863.

шей степени, чем более отдалена от нас эпоха. Человек и до сих пор остается истребителем своего собственного рода. Переселившиеся в Америку европейцы беспощадно уничтожают краснокожих, в Новой Зеландии переселенцы играют ту же роль относительно туземцев (маори). В Африке людоеды ведут правильно организованную охоту на более слабые племена, нередко полностью истребляя их. Так было и раньше, но только в большей степени и на более обширных пространствах. Постоянно уничтожая отстающих, человечество не переставало увеличивать расстояние, отделяющее человека от животного. Человечество не похоже в этом отношении на другие виды животных, на обезьян, например, у которых довольно полно сохранилась лестница их прогрессивного развития в нисходящем порядке до их слияния с низшими породами. Тем не менее, самые отсталые племена настоящего времени показывают в своей жизни гораздо большую склонность к искоренению слабых, чем европейцы. Итак, человек, согласно воззрению Раденгаузена, – высший продукт Земли и верховный владыка всего, что на ней существует. Вначале его господство над животными и растениями было произвольное: он питался ими для поддержания своего существования или истреблял, когда они препятствовали его свободному развитию. Позже, достигнув высших степеней развития, он стал укрощать животных, лишать их свободы, приручать. Научился заставлять почву производить именно те растения, которые были ему наиболее полезны. Поднимаясь еще выше по лестнице развития, человек стал заменять господство грубой силы господством разума, т. е. заменил действие сил чисто животных человеческими. Он вел борьбу с животными, подчиняя их своей хитростью и изобретательностью. Взаимная борьба между людьми изменила свой характер: грубая сила стала отступать перед средствами, предоставляемыми образованием. Таким образом, сравнительно более образованные группы (жреческие и дворянские союзы) поработали менее образованные толпы, принуждая их служить. Миллионы стали, помимо своей воли, подчиняться высшему развитию горсти личностей или даже одного лица, превосходивших их образованием. Место дававшей прежде преобладание грубой си-



лы занял разум и, наконец, в настоящее время мудрость избранных признается в образованных странах необходимой для замещения господства отдельных лиц.

Преобладание наивысшей человеческой способности – разума – теперь обнаруживается во всей жизни образованных народов. Влияние человека на неорганический мир в несколько тысяч раз превосходит его мускульную силу. Человек сумел поработить море и заставил служить его своему развитию. На твердой земле ветер и вода работают также для него. Посредством огня он превращает воду в пар и создает машины, которые можно сравнить с миллионами слепо и вечно повинующихся рабов, избавляющих человека не только от рабства, но и от грубого труда... Словом, он достиг громадной власти над внешним миром посредством развития и применения своих высших способностей, которые характеризуют его как человека и отличают от остальных животных.

Другой писатель, американский историк *Дрейпер*, еще определеннее говорит о значении умственной деятельности в своей «Истории интеллектуального развития Европы»<sup>1</sup>: «Человек заканчивает собою бесчисленные ряды организмов, которые развивались с течением времени в силу определенного закона. Закон управлял неорганическим миром и провел Землю через разнообразные физические состояния, следовавшие одно за другим, правильно и без скачков. Тот же закон управляет и развитием общества, и развитием личности».

Рассматривая историю социального развития человека, Дрейпер доказывает, что направление этого развития чисто умственное. Он утверждает, что и анатомический анализ приводит к тому же заключению, так как во всей нервной системе нельзя найти никакого аппарата для улучшения нравственности (разве только косвенно, посредством умственного). С исторической точки зрения, мы тоже видим, что нравственность занимала только подчиненное место, и в поступательном движении общества разум всегда шел впереди. Он был источником движения, а нравственность только пассивно восприни-

---

<sup>1</sup> Дрейпер Дж. История интеллектуального развития Европы. – М., 1865.

мала его. Поэтому было бы ошибочно предполагать, что прогресс общества зависит от того, что само контролируется высшей силой.

Всякая система, действующая только посредством нравственной стороны, рано или поздно вступит в антагонизм с умственной, утверждает Дрейпер. Если же она не включает в себе элементов приспособления к изменяющимся обстоятельствам, то не выдержит столкновения и непременно будет ниспровергнута. Именно в этом и заключается великое заблуждение католической системы, господствовавшей во время эпохи развития европейской цивилизации. Эта система за основание принимала однообразное психологическое состояние человека. Забывая, что сила ума растет пропорционально владениям ума, в умственном отношении она оценивала людей минувших поколений невысоко, по сравнению с теми, что живут в данную минуту, хотя наши дети в 16 лет имеют более широкий круг знаний, чем наши предки в 60. Долговременное существование подобной несовершенной системы доказывает только неразвитость современного этой системе ума. Этот ум не выступал против нравственного убеждения, часто весьма нелогичного, которым на него действовали. Относиться презрительно к идеям, руководившим первыми веками европейской жизни, было бы, конечно, нерассудительно, как и смотреть с насмешкой и пренебрежением на побуждения, руководившие нами в юности. Слабость и неудовлетворительность тех и других прощается их соответствием тому периоду жизни, к которому они относятся. Целые столетия нации могут существовать в формах жизни, которые соответствуют потребностям их неразвитого ума, но думать, что эти условия будут применимы вечно — чистейшая иллюзия. Критический взгляд сразу заметит, что умственные черты данного поколения отличаются от умственных черт предков. Новые идеи и новый образ действий — вот признаки безмолвно совершившейся перемены. Итак, каждый раз, когда социальная система несовместима с умственным развитием, она должна уступить... Никакие принудительные меры не могут спасти ее. Как бы ни велика была сила правительства и авторитетов человечества, она не может задержать умственного развития,

которое прокладывает себе путь в силу органического закона, над которым она не имеет ни малейшей власти.

Мы не останавливаемся над попыткой Дрейпера найти аналогию между общественным развитием и развитием личности, так она сближает воззрения Дрейпера с теорией вечного круговорота, не имеющей, по нашему убеждению, научного основания.

Нам предстоит проанализировать процесс развития умственной деятельности в истории и, прежде всего, указать и очертить те последовательные фазисы, через которые проходит разум, начиная с его возникновения в человеческом роде и заканчивая современным состоянием. Изучение этих последовательных фазисов привело Конта к открытию руководящего ими закона, который и принят в настоящее время большинством историков позитивной школы. Так как закон этот — главный, основной закон всей социальной динамики, т. е. всей философии истории, то мы позволим себе изложить его с некоторой подробностью.

Умственная деятельность человека, по учению Конта, была всегда устремлена к объяснению разнообразных явлений окружающего мира. История указывает нам, что эти объяснения раньше, чем достигли характера положительной достоверности, прошли две последовательные степени. Поэтому общий ход развития умственной деятельности представляет *три состояния: первоначальное* (теологическое), *переходное* (метафизическое) и *окончательное* (научное или положительное). Теологическое состояние разума представляет себе управляемый произволом мир. Метафизическое подчиняет мир идеям, представляющимся универсальными и присущими нашему разуму. Положительное же утверждает, что мир управляется законами, в научном смысле этого слова.

Эти три мирозерцания имеют свое особое происхождение: первое происходит из различных сверхъестественных откровений, второе — из субъективных умозрений, приурочивающих мир к своим построениям, третье — из опыта и наблюдения, утверждающих то, что есть.

Возникая одно за другим, все эти состояния взаимоисключают-ся в том смысле, что хотя они и могут существовать вместе в одно и то же время, могут даже существовать в разуме одной личности, но они не могут существовать совместно в решении одного и того же вопроса. Метафизическое решение устраняет или даже уничтожает решение теологическое, положительное же делает излишним и то, и другое. В этой последовательной смене, ни для теологии, ни для метафизики не существует возврата к господству над умами, так как все изобретения, открытия, распространения научных знаний, весь прогресс умственной деятельности служит положительному мирозерцанию, а не двум первым. Поэтому позиции, однажды ими потерянные, потеряны навсегда.

Ознакомимся теперь ближе с этими периодами умственного развития, руководствуясь их характеристиками, данными им популяризаторами позитивного учения.

В теологическом периоде на природу смотрят как на арену, на которой произвольные желания и минутные прихоти верховных существ играют свои разнообразные и изменчивые роли. Самые обычные явления, если они совершаются при условиях, наводящих на людей страх, приписываются капризу внемировой силы и считаются чудесами. Так, например, солнечные затмения, появления комет, метеоров и т. п. принимались в теологическом периоде как проявления воли высших существ. Зараза в лагере Агамемнона приписывается действию невидимых стрел Аполлона.

Все эти объяснения происходят всегда из известной совокупности идей, которым приписывается сверхъестественное происхождение, т. е. нисхождение к людям путем откровения. История представляет длинный период, в котором один за другим следуют моменты возникновения таких супранатуральных откровений. Последнее из них совершилось в Аравии при посредстве Магомета. Ранее известны нам откровения Зороастра, Шакия-Муни (Будды) и других. Буддийское откровение до сих пор процветает в большей части Азии, насчитывая своих последователей сотнями миллионов. Другие находятся на большей или меньшей степени разложения или застоя, предве-

щающего упадок. Более глубокая древность – это эпоха коллективных откровений, универсального политеизма, на котором и останавливается историческое исследование.

Это простое сближение показывает, что все факты, которых оно может касаться, представляя различные формы теологического мирозерцания, одинаково подлежат исторической критике, которая не имеет права давать одному из них преимущество над другим. Рассматривая эти факты, критика требует от них, во-первых, чтобы они были засвидетельствованы достаточно компетентными современниками или достоверным преданием, т. е. таким, которое имеет возможность доказать несомненность своего происхождения от этих современников, и, во-вторых, чтобы эти свидетельства не противоречили законам, присущим природе. У всех фактов, которые мы имеем в виду, есть общее сходство – они представляют свидетелей и противоречат естественным законам.

Наука представляет, однако, несомненные доказательства того, что минувшие времена ничем не отличались от настоящего времени, по отношению к постоянству и непрерывности действия естественных законов. Поэтому свидетельствам тех времен нельзя придавать большего значения, чем свидетельствам настоящего времени в том случае, когда дело идет о сверхъестественных явлениях. Всякое же свидетельство такого рода в настоящее время является результатом обмана чувств, иллюзии и невежества...

Но историческая критика на этом не останавливается. Применяя сравнительный метод к рассматриваемым ею фактам, она открывает несомненную однозначность между всеми точками исхода различных форм теологического мирозерцания и, таким образом, приходит к убеждению о единстве рассматриваемого ею явления. Изучая это явление, она открывает между его моментами последовательность, связь, филиацию. Открытие этих признаков, присущих всему производящемуся силами, врожденными человеку, завершает достоверность и прочность результатов ее работы.

Из этого видно, что формы теологического мирозерцания – это произведения умственной деятельности первой эпохи развития

человеческого рода, поэтому их можно рассматривать как последовательные ступени философского мышления, всегда необходимо согласовавшегося с уровнем развития производивших его умов. Данный взгляд подтверждается также сравнением этих последовательных ступеней. Новейшие представляют довольно сложные построения, содержащие в себе ответы на вопросы о происхождении мира, его устройстве, человеке, его обязанностях и назначении, – словом, все сведения, которые необходимы для соперничества с философией. По мере того, как мы удаляемся в более глубокую древность, эти учения становятся проще, философская мысль в них слабеет и, наконец, когда мы достигнем древнейшей формы политеизма, стоящей на рубеже исторического развития, мы встречаем совокупность понятий, философское значение которых ничтожно. Они не возвысились еще до обобщений, которые могут дать им систематическую связь. Нравственные же идеи сбивчивы, понятий об отношении высших сил к миру вовсе не существует, и сами эти силы имеют характер частных, чуждых какой-либо общей концепции... Словом, мы останавливаемся перед простым олицетворением естественных сил (натурализм), перед самой первобытной формой теологического мирозерцания.

Таким образом, весь теологический период развития умственной деятельности представляется рядом доктрин, главнейшие из которых связаны между собою как последовательные звенья одной цепи развития. Изучение быта народов, в настоящее время обитающих на земле, приводит к тому же результату. Теологическое состояние доисторического периода неизвестно, но то, что мы знаем о нем, дает нам право утверждать, что это состояние было, в сущности, то же, какое можно наблюдать у современных нам дикарей. Из этого можно сделать вывод о степени усилий, которые привели к политеизму, и о медленности этого перехода.

При переходе к метафизическому состоянию, эта деятельность пытается представить чисто рациональные решения вопросов, на которые теология давала ответы, почерпнутые из различных откровений. Каково было метафизическое движение у египтян, халдеев, финикиян – этих прародителей нашей цивилизации – мы не знаем, но

нам хорошо известно, что в среде арийского политеизма, у индийцев и греков, это движение было блестящее. Индийская метафизика, не распространявшаяся дальше берегов Ганга, не имеет для нас значения. Мы должны обратить внимание только на греческую метафизику и, находящиеся к ней в отношении филиации, схоластику и новейшую философию.

Итак, метафизика – современница того периода, в котором процветает теология, хотя положительное знание находится только в зародыше и лишено всякого влияния. С одной стороны, ей происхождением обязаны некоторые сомнения, которые своим влиянием на теологию заставляли ее совершенствоваться, выступая, таким образом, причиной многих важных перемен в ее области. С другой стороны, метафизика смотрела с естественным презрением на опыт, который ничего не мог дать в то время, и обратилась к умозрению, открывавшему ей бесконечный кругозор. Ничто не могло научить человека не доверять субъективным представлениям, которые облекались во внешние формы системы и преобразовывались в длинный ряд связанных, последовательно вытекающих одно из другого положений. Человеческий разум пошел по этому пути с увлечением, страстью: он систематизировал, строил, предавался тончайшему умозрению... В этой работе он не знал усталости, но и не подвигался к высокой цели своих горячих стремлений. Более того, беспрестанно смущаемый возникновением и падением новых систем и замечая, как постепенно уходит почва из-под его ног, как ему беспрестанно приходится отступать перед завоеваниями положительного знания, он мало-помалу был поставлен в то печальное положение воина, который тратит свои силы на преследование безоружных отсталых беглецов.

Метафизика всецело покоится на психологическом основании, а именно – на положении, что все, согласующееся с требованиями разума, действительно существует. Метафизика субъективна. Она чужда наблюдения и опыта, или, вернее, она придерживается опыта и наблюдения, но только в совершенно одностороннем смысле – в смысле опыта и наблюдения, замкнутых в пределах внутреннего созерцания и не проверяемых внешней действительностью. Абсолют-

ное, представлявшееся теологическому мировоззрению объективным, и, следовательно, обязательным для разума, мыслится метафизикой как идея, подчиняющая себе действительность.

Рассмотрим критически это положение. Метафизики уверяют, что идея абсолютного не может мыслиться разумом, если абсолютное не существует в действительности. Мы согласны принять этот аргумент, если только хоть одна из отраслей знания обнаружит действительное существование абсолютного. Но знание нигде его не открывает, ему известно только относительное. Таким образом, аргумент метафизиков, оставаясь заключенным в пределах разума, потому что перехода от него к знанию и от знания к нему не существует, представляет собой только лишенное содержания умозрение. Это умозрение, вследствие такой замкнутости, представляет круг, невозможность выхода из которого была для метафизики вечной причиной бесплодности. Научное мировоззрение, основываясь на знании, то есть на отношении разума к действительности, избежало этой безвыходности и никогда не переставало подвигаться вперед.

Заслуга метафизики заключается в том, что она заменила представление о прихотливых божествах представлением об *отвлеченных сущностях*, образ действия которых она признала *неизменным*. В этой неизменности кроется зародыш науки, совершенно невозможный в теологическом периоде. Этот зародыш не мог развиваться в метафизическом периоде, потому что, попав на принцип неизменности, метафизика *придумала* ему основание, а не *искала* его в изучении природы. Это придуманное объяснение заключалось в представлении разных сил или начал. Так Кеплер думал, что правильность планетных движений стала следствием того, что планеты были одарены умами, которые могут наблюдать над воображаемым диаметром Солнца и регулировать свои движения таким образом, чтобы описывать дуги, пропорциональные временам. Точно также было придумано «жизненное начало» — «*vis medicatrix naturae*» — правило, что природа не терпит пустоты и т. д.

Но кроме произвольного объяснения частных явлений, метафизика постоянно стремится к объяснению всего сущего посредством



таких же чисто умозрительных положений, достигавших в этом случае чрезвычайной степени сложности, а нередко – запутанности и туманности.

Так, например, желая доказать бытие совершеннейшего существа, метафизика берет за основу положение, что идеи вещей заключают в себе столько же реальности, сколько и сами вещи, а потому утверждала, что и идея абсолютного непременно соответствует абсолютное бытие (*Декарт*). Таким образом, метафизика искала опору в чистом умозрении – совершенно ложном основании, исследование которого (когда метафизика принялась за него) послужило ее собственному истощению и падению.

Греко-римская метафизика не задавалась этим исследованием. Ее начало принадлежит схоластике. Оно стало содержанием споров реалистов с номиналистами. Оно перешло и к новейшей метафизике, которая взялась за него с большей свободой и проницательностью.

Последний и величайший номиналист, Кант, утверждал, что между двумя замкнутыми областями – чистого разума и эмпирического знания – не существует никакой связи. Этот аргумент подорвал теизм, но против пантеизма он был бессилён. Последующие метафизики заметили это и, воскрешая идеи Спинозы, провозгласили, что человеческий разум – только проявление всеобщего разума. Необходимость перехода от человеческого разума к объективному бытию, присущая теистической метафизике, теряла значение, так как это бытие находилось в нас самих и отождествлялось с нашим разумом. Таким образом, метафизика вступала в последний фазис своего существования, после истощения, сделавшегося очевидным для нее самой, всех своих предыдущих тезисов. Но, избежав аргумента, представленного критикой Канта, пантеизм ничего не выиграл для своей устойчивости. На самом деле, отождествление человеческого со всеобщим разумом предполагает сравнение одного с другим, то есть предполагает, что всеобщий разум познается каким-нибудь образом. Однако если он познается субъективно, то пантеизм опять попадает в ту ловушку, от которой считал себя избавленным. Если же всеобщий разум познается объективно, то есть при посредстве явлений природы, то

это познание должно подтверждаться положительным знанием. Знание же это никогда не могло подтвердить существование того, без чего пантеизм невыносим.

С. Милль, питающий нерасположение к немецкой метафизике, говорит, что французы, которых обычно упрекают в недостатке изобретательности, могут похвалиться тем, что ими изобретена немецкая метафизика, ведь ее отцом следует считать Декарта. Замечание это, высказанное шутя, тем не менее, совершенно верно. На самом деле, какое влияние имело на всю мыслящую Европу утверждение Декарта, что в нескольких психологических явлениях, подвергнутых внутреннему наблюдению, заключается источник глубокой философии! Какая-то притягательная сила заключалась в этом открытии для всех умов, способных на тонкие и глубокие построения. Немецкий ум предался им с упоением и произвел самые грандиозные и темные системы. Это движение теперь завершилось: гегельянизм так же отжил, как и картезианизм, и что же осталось? Память о юношеской попытке разума вывести действительность реального мира из своей собственной сущности – и ничего больше... Если не говорить о том, что эта попытка была необходимой подготовкой дальнейшего развития умственной деятельности.

Обратим внимание и на то, что по метафизическому методу, как заметил Бокль, не было сделано ни одного открытия ни в одной отрасли наук. Этот факт весьма красноречиво доказывает бесплодность метафизики. Вся внутренняя работа самой метафизики привела только, как мы видели, к ее истощению, других результатов она не имела. «Ни в какой другой отрасли умственной деятельности не было так много движения и так мало успеха, – говорит Бокль. – Люди с величайшими способностями и честнейшими намерениями, во всех образованных странах, на протяжении многих веков, занимались метафизическими исследованиями. Между тем, до настоящего времени, их системы, вместо того, чтобы приближаться к истине, все больше расходятся с ней, причем с такой быстротой, которая, по-видимому, возрастает с успехами знания. Бесперывное соперничество враждебных между собою систем, чрезмерный жар, с которым их отстаивали, ис-

ключительная, не философская самоуверенность, с какой каждая защищала свой метод, – все это повергло изучение человеческого ума в такое расстройство, которое может сравниться лишь с расстройством, произведенным в изучении религии прениями богословов»<sup>1</sup>. Еще Берклей говорил, что метафизики ничего не могут видеть из-за ими же взбитой пыли. Они продолжали, однако, взбивать ее, заслоняя свет от себя и других до тех пор, пока развивавшиеся независимо от их праздных прений науки не привели человеческий разум к третьему фазису его развития – научному или положительному.

Мы не остановимся над характеристикой научного мирозерцания, потому что, как полагаем, достаточно охарактеризовали его в начале этой статьи. Теперь же, резюмируя вышесказанное о прогрессивном развитии умственной деятельности, скажем, что это развитие проходит три ступени – теологию, метафизику и положительное знание. Другими словами, оно руководствуется сначала инстинктом, потом умозрением и, наконец, опытом. Этот основной закон философии истории, опирающийся на положительные знания, подтверждается всей историей развития человечества и, в то же время, объясняет эту историю.

Теперь нам следовало бы перейти к рассмотрению значения физических и экономических условий, расовых отличий, влияния на развитие человечества религии, литературы, правительства, после чего приступить, наконец, к применению наших положений к фактам, посредством связного взгляда на всеобщую историю. Однако мы вынуждены обойти все эти вопросы, так как пишем не трактат, а небольшой очерк, имея в виду только общий абрис научного направления философии истории, не более. Рассмотрение же, хотя бы и самое беглое, всех вопросов, связанных более или менее существенно с рассматриваемым нами предметом, заставило бы нас выйти далеко за пределы журнальной статьи. Познакомиться ближе читателю с предметом мы предлагаем по книгам, недостатка в которых в европейской литературе нет. Что касается нас, то, посвятив большую часть этой

---

<sup>1</sup> Бокль Г. История цивилизации в Англии. В 2 т. – М., 1857-1861. – Т. 1, гл. III.

статьи рассмотрению главной и существенной части социальной динамики – вопросу развития умственной деятельности, мы не можем остановиться над другими вопросами, и в общих чертах постараемся ответить на выбранный нами вопрос на двух-трех страницах, остающихся в нашем распоряжении.

Если все вышесказанное не оставляет сомнения в важном значении умственной деятельности для развития человечества, если всеми благами, которыми мы пользуемся, мы обязаны успехам разума, то возникает вопрос, важный для настоящего и будущего: какие условия необходимы для воплощения в жизнь всех результатов, к каким может привести развитие разума, для достижения возможности не потерять ни одного для роста благ, которыми пользуется человечество.

Все условия, необходимые для решения этого вопроса, резюмируются словом «свобода». Она одна может в настоящем случае дать то, чего не дадут никакие мероприятия самых честных, мудрых и благонамеренных руководителей общества. Прежде всего, для развития умственной деятельности необходима свобода слова, свобода печати, свобода совести... Справедливо говорит С. Милль, что принуждение не высказывать того или другого мнения равносильно краже не только у современного поколения, но и у будущего. Это кража у человечества. Не очевидно ли на самом деле, что в том случае, когда верное мнение задушено, люди лишаются возможности заменить одно из своих заблуждений истиной. Если же оно ложно, то у них не возникает благоприятного впечатления, производимого столкновением лжи с истиной, всегда способствующим учению этой последней. Не прав ли был С. Милль, утверждая, что если бы весь человеческий род придерживался одного мнения, и только один человек – противоположного, то и тогда нельзя было бы оправдать человеческий род, если бы он заставил молчать этого человека. Точно также нельзя было бы и оправдать одного человека, который заставил бы молчать весь род человеческий, если бы только это было возможно. Я напомнил читателю мысли С. Милля «О свободе»<sup>1</sup> в двух-трех словах, и не буду оста-

---

<sup>1</sup> Милль С. О свободе. – СПб., 1859.

навливаясь на вопросе, к которому они относятся, полагая, что книга Милля («On liberty»<sup>1</sup>) знакома читателю.

Не забудем, однако, что стремление не потерять ни один из результатов, добытых развитием умственной деятельности, не решает вопроса, так как нужно определить еще *для кого* не должны быть потеряны эти результаты. Прямая, здравая человеческая логика ясно указывает ответ на этот вопрос. Над ним вовсе не нужно было бы останавливаться, если бы историческое развитие европейского общества не образовало известной среды, в которой этот вопрос получил особое, своеобразное решение, подкрепляемое своей оригинальной аргументацией и привлечение немало приверженцев благодаря влиянию политических и экономических условий, придающих этому решению практическое значение. Сторонники мнения, о котором мы говорим, утверждают, что общественный прогресс, особенно прогресс умственного развития, должен быть уделом только незначительного меньшинства. Остальную массу они считают полезным лишить всякого участия в умственной деятельности, в ее видах наибольшего прогресса. Мотивы такого убеждения разнообразны. Одни из них выставляются как аргументы, которые должны поддерживать тезис, другие умалчиваются, хотя и имеют первостепенное значение для приверженцев мнения, о котором мы говорим.

Гласные мотивы заключаются в следующем: народные массы, рассуждают сторонники ограничения умственной деятельности известной фракцией общества, безвозвратно осуждены самой природой вещей на непрерывный и тяжелый труд, который не может идти рука об руку с высоким развитием. Поэтому они должны обречь себя на подчиненное положение в отношении к среде, которой, по ее положению, одной только и доступно высокое развитие. Среда эта, естественно, должна руководить ими. Стараться же поднять их до уровня ее умственного развития – только напрасно смущать и мучить их, внушая им желание подняться выше условий их быта. Желание невозможное, потому что средств для выполнения у них нет и взять не-

---

<sup>1</sup> Mill S. On liberty. – Indianapolis, 1859.

откуда. А потому лучше оставить их в блаженном неведении: стремление к умственному развитию не может улучшить их положения.

Негласные мотивы имеют, преимущественно, цели практические. Сторонники мнения, о котором мы говорим, имеют в виду в одних странах поддержать, а в других создать себе такое положение, при котором руководство общественными делами было бы для них не только возможно, но и удобно. Они хорошо понимают, что развитая и просвещенная среда не только не нуждается, но и тяготеет такой опекой, а потому их попечение о невежестве масс становится совершенно понятным.

Это мнение, несмотря на его первобытную, бесчеловечную грубость, иногда принимает утонченные формы, под которыми эта грубость старается скрыться. Вот, например, как оно высказывается одним из талантливейших французских писателей, Ренаном. Ренан, известный как ориенталист и писатель, способный неумеренно, хотя и увлекательно, идеализировать некоторые довольно бледные исторические образы, еще в 54-м году раздумывал о вопросе общественного образования<sup>1</sup>. В только что упомянутой статье он касается рассматриваемого нами вопроса по поводу суждения о направлении, которое приняло умственное развитие в Америке. Прежде всего, отдав в пышной фразе дань уважения этому направлению, он замечает, что «не следует противопоставлять это направление тому совершенно отличающемуся от него направлению, которому, *по всей вероятности*, будет следовать Европа. «Если, – продолжает он, – в этом вопросе раз и навсегда мы примем решение, а именно – если признаем необходимость пожертвования *некоторых* (de quelques uns) для потребностей общего блага, если, подобно древним, убедимся, что общество необходимо состоит из нескольких тысяч личностей, пользующихся полной жизнью, а остальная масса существует лишь для того, чтобы давать возможность этой полной жизни осуществиться, то задача бесконечно упростится и найдутся способы к ее высшему разрешению. Тогда не придется задумываться о тысяче унижительных мелочей, о

---

<sup>1</sup> В настоящем году, он, как известно, издал целую книгу своих философствований.

которых должна заботиться современная демократия». Вообще, уровень цивилизации, по мнению Ренана, находится в обратном отношении к числу цивилизованных: «Умственное развитие перестает подниматься тогда, когда оно расширяется. Вступление толпы в среду образованного общества *почти* всегда понижает уровень развития этого последнего...» Далее Ренан утверждает, что народ, в котором образование было бы развито по всем его слоям, мог бы быть народом честным, порядочным, состоящим из добрых и счастливых личностей, но никак не народом великим. Он, по мнению Ренана, не был бы способен к осуществлению ничего такого, что превосходило бы вульгарность, в которую погружено существование обыкновенных людей. Гений в таком народе был бы невозможен: «Что такое Америка по сравнению с одним лучом той бесконечной славы, которой блещет второстепенный или третьестепенный итальянский город, какая-нибудь Флоренция, Сиенна, Перуджия?»<sup>1</sup>

Но Ренан не один на этом поприще. Если бы место позволяло нам, мы представили бы целый ряд выписок, который продемонстрировал бы эту сторону взглядов многих представителей европейской интеллигенции. Но я полагаю, что и одной, приведенной выше, цитаты достаточно для резюмирования их мнений. К чему приводит, спросим мы, окончательное заключение, к которому они стремятся, но высказать не смеют?... Очевидно, к первобытному, полному *рабству*. Вникните в то, что говорит Ренан: он утверждает, что уровень цивилизации понижается с увеличением числа цивилизованных... Значит, он поднимается вместе с уменьшением этого числа... То есть, идеал общества — масса идиотов, руководимая небольшим числом высокоразвитых личностей или даже одним человеком!

Быть может, когда наше классическое образование успеет дать плоды, когда мы научимся, наконец, «*знать цену древним доблестям*», тогда ссылки на древность (*à la* Ренан) и будут приниматься нами с благоговением. Теперь же мы смотрим на них, как на попытки самого отчаянного ретроградства, и твердо убеждены, что только со-

---

<sup>1</sup> Revue de deux mondes. — Paris, 1854.

вершенное непонимание истинного величия народов могло внушить Ренану все его громкие, но пустые фразы. Ссылка же на «луч славы какой-нибудь Сиэнны, Перуджии...» не более счастлива, чем ссылки на древнее рабство.

Мы не унижаем искусства, но твердо убеждены, тем не менее, что у общества есть высшие цели, чем служение ему, – цели, стремление к которым в тысячу раз дороже артистичной славы всех итальянских городов, вместе взятых. Поэтому нам кажется смешной и жалкой попытка Ренана умалить славу Америки перед славой какого-нибудь итальянского города. Кто не знает, что Америка представляет живой и могучий протест против всех возгласов, поющих в тон с теми, кого мы теперь анализируем. Америка фактами разбивает все эти умозрения и неопровержимо доказывает, что развитие масс не исключает возникновения гениальных личностей, что всеобщее распространение образования в ней послужило не падению, а повышению ее уровня. Вообще, стремление ограничить умственную деятельность небольшим кружком избранных в наше время является праздным умозрением, решительно отвергаемым новейшим ходом истории. Решение поставленного нами вопроса прямой, здоровой человеческой логикой остается непоколебимо, очевидно то, что развитие человечества должно принадлежать человечеству, и на умственную деятельность не должно и не может быть монополии.

Заканчивая этот очерк, мы еще раз напоминаем читателю, что пределы журнальной статьи не давали нам возможности рассмотреть все стороны современного состояния философии истории как науки, поэтому мы были вынуждены ограничиться рассмотрением только одной ее части. Обзор наш, несмотря на всю его краткость и неполноту, может, как мы полагаем, дать читателю понятие о тех воззрениях на историческую жизнь человечества, которые выработались теперь, благодаря всеобщему прогрессу наук. Мы рассмотрели существеннейшие черты закона развития и очертили его значение в применении к умственной деятельности, как к главному элементу социальной жизни, указав при этом на те практические вопросы, которые неразрывно связаны с теоретическими данными, вытекающими из наших



положений. Нам остается сказать в заключение, что идея развития, составляющая душу новейшей философии истории, – одно из великих умственных завоеваний нашего века, которое должно иметь громадные последствия... Еще многое предстоит совершить людям для собственного блага, но насколько облегчен их труд, насколько доступнее стала цель их стремлений, сколько шансов приобрели они в своей трудной, вековой борьбе!.. Все это может оценить только тот, кто в торжестве идеи самобытного развития человечества видит падение начал, закреплявших мнения, убеждения, деятельность, падение всего, освещавшего своей мнимой абсолютностью принцип застоя и неизменяемости, который всегда был смертью для общества или даже хуже самой смерти.

1869 г.

«Отеч. зап.» №1.

## ПОЗИТИВИЗМ ПОСЛЕ КОНТА

Je ne prétends pas que l'oeuvre de la philosophie positive soit close et qu'il n'y ait plus qu'à répéter la parole du maître. Loin de moi cette pensée; M. Comte nous a seulement, nous et nos successeurs, mis sur le seuil; d'immenses travaux sont à exécuter; car, l'ancien point de vue des choses étant changé, il s'agit de tout remettre au nouveau. J'aurai donné à mon idée toute l'étendue et en même temps toute la restriction qu'elle comporte, en disant que M. Comte a fait la constitution de la philosophie positive, voulant dire, d'après le sens attribué par moi à constitution d'une science que, depuis M. Comte, elle a sa base qui est dans les sciences, sa méthode qui est dans la hiérarchie scientifique, et son résultat qui est dans la conception du monde, mais voulant dire aussi qu'une philosophie constituée est seulement une philosophie commencée<sup>1</sup>.

Littré É. Aug. Comte et Stuart Mill. – Paris, 1877. – P. 40.

В моей<sup>2</sup> статье о философии истории, на которую прошу читателя смотреть, как на введение к настоящему этюду, я старался объяснить значение умственной деятельности в процессе исторического развития, и привел доказательства того, что эта деятельность была главным элементом прогресса. Рассматривая интеллектуальное раз-

---

<sup>1</sup> Я не претендую на то, чтобы слово позитивной философии было окончательным, чтобы оставалось только повторять изречения учителя. Эта мысль от меня далека. Месье Конт всего лишь установил порог для нас и наших последователей, еще необходимо выполнить огромную работу. Поскольку прежний взгляд на вещи изменился, речь идет о том, чтобы все начать заново. Я бы дал своим мыслям размах и в то же время все ограничения, которые они содержат, говоря, что м. Конт создал позитивную философию, подразумевая, согласно смыслу, который я придаю организации науки, что после м. Конта ее основой являются науки, ее метод в научной иерархии и ее результат в концепции мира, подразумевая также, что основанная философия всего лишь только сформировалась. *Перев. Е. В. Клименко.*

<sup>2</sup> В данном разделе автор ведет повествование то от I лица, то от III-го, что сохранено без изменений.

витие с этой точки зрения, я представил общий очерк основного закона развития, *закона трех состояний*, установленного О. Контом и являющимся одним из основоположений позитивной философии. Закон, о котором я говорю, если помнит читатель, представляет последовательные исторические фазисы умственного развития, определяет постепенность перехода от теологического мирозерцания к метафизическому, а от этого последнего – к мирозерцанию научному или положительному. Вступив в этот фазис, разум отказывается от супранатурального и субъективно-умозрительного объяснения наблюдаемых им явлений, обращается к знанию, науке, и, в обобщениях ее поисков, ищет и находит желаемое объяснение, подлежащее, по своему существу, широкому и неопределенному развитию. Я сказал также, что прогресс наук в нашем веке дал возможность окончательно осуществиться переходу (в умах некоторых передовых мыслителей) от метафизического мирозерцания к научному, и что в наше время этот переход начинает совершаться мало-помалу и в общественном сознании. «Наука<sup>1</sup>, – сказал я, – стремится прийти, в окончательном результате, к доктрине, охватывающей все, что только может регулировать жизнь и развитие человечества. Она стремится к тому, чтобы не только объяснять, но и руководить жизнью. Она ставит социальную систему конечной целью всей своей работы. Это стремление совершенно законно, но полного успеха в настоящее время оно иметь не может, потому что, несмотря на громадные успехи наук, предварительный анализ, необходимый для осуществления такого стремления, все-таки далеко еще не окончен. Многие еще остаются недоступны научному исследованию, многое гадательно, неточно, неполно... Метафизики и т. п. ставят все это в укор науке, выставя полноту и законченность своих систем. Но справедливо заметил Фейербах, что никто не становится под водосточные трубы, чтобы укрыться от дождя... Возврата к прошлому нет. Мы это знаем, и потому смело предпочитаем неполноту попыток, обобщающих наше положительное знание, мнимой законченности предшествовавших им мирозерцаний. Од-

---

<sup>1</sup> Наст. изд. – С. 254-255.

ной из замечательнейших попыток в этом направлении была попытка О. Конта... На наших глазах, тропинка, протоптанная Контом, переходит в широкую дорогу, и вместо системы, которую мы можем назвать *конттизмом*, возникает *позитивизм* с непрестанно расширяющейся, и теперь уже весьма широкой сферой влияния».

Такой успех позитивизма совершился, однако, весьма медленно. В течение двенадцати лет том за томом появлялся «Курс положительной философии»<sup>1</sup> О. Конта, не находя почти нигде отголоска. Поверхностному наблюдателю легко могло показаться, что учение Конта лишено связи с идеями века и не имеет будущего. Молчание, окружавшее Конта, имело, однако, совершенно частную, преходящую причину, а именно: в эпоху, когда появился «Курс положительной философии», разобщение между наукой и философией препятствовало пониманию философии, основанной на науке. Представители науки работали отдельно и независимо от господствовавшей тогда философии, которая тоже развивалась отдельно и независимо от положительного знания. Она держалась в Европе вообще (особенно в Германии) в форме более или менее туманных метафизических систем, рядом с которыми, во Франции, процветал еще и выроdek метафизики – эклектизм. Поэтому неудивительно, если О. Конт не рассчитывал больше, чем на пятьдесят читателей во всей образованной Европе. Для него было очевидно, конечно, что его могут понять только те очень немногие личности, которые, по особенно счастливому стечению обстоятельств, соединяли в себе солидные научные знания со способностью к обобщению, не затемненной влиянием метафизики. Это предвидение было верно до такой степени, что даже в 1859 году, то есть через 17 лет после выхода последнего тома «Курса позитивной философии»<sup>2</sup>, Литтре, замечательнейший из последователей О. Конта, имел основание писать следующее: «Назвать позитивную философию — не значит еще дать понять, что она такое... Позитивная философия еще находится — это не подлежит сомнению —

---

<sup>1</sup> Конт О. Курс положительной философии. — СПб., 1900.

<sup>2</sup> Литтре Э. Курс позитивной философии. — М., 1971.

во мраке... Известны только ее отрывки: в целом она совершенно не известна. Для одних она представляется каким-то математическим умозрением, для других кажется возобновлением учений Эпикура, Гольбаха...»<sup>1</sup> На самом деле, в это время, если не считать последователей всей системы О. Конта, то есть и той ее части, которая появилась во время, несомненно, патологического состояния его разума, если не считать позитивистов-мистиков<sup>2</sup> — Лафита, Робине, Констан-Ребека, Конгрева и проч., можно было по пальцам сосчитать всех последователей Конта, как философа. Кроме упомянутого уже Литтре, к их числу принадлежали: д'Ейхталь, Робен, Лебле и де Блиньер во Франции, С. Милль и мисс Мартино — в Англии. О позитивизме еще не было слышно. Сочинения самого Конта, написанные языком крайне тяжелым, были совершенно не способны провести его идеи в общество. То немногое, что вышло до этого времени из-под пера того или другого из его последователей, не было замечено публикой, и только разве «Система дедуктивной и индуктивной логики С. Милля»<sup>3</sup> (1843) имела в этом отношении небольшое значение. Не особенно послужило делу пропаганды даже то, что Литтре посвятил позитивизму несколько страниц предисловия к своему переводу «*Leben Jesu*» Штрауса, вышедшему в 1856 году. Как ни жадно читалась книга, но ее предисловие было все-таки мало замечено.

Позитивизм не мог, однако, остаться навсегда в неизвестности. Его существенный характер заключается в том, что он — естественный результат всей предшествовавшей ему работы мысли, он тот неизбежный вывод, к которому идет положительная наука, не чуждая философских обобщений. Поэтому позитивизм — дело больше времени, чем личности. Личность могла *предвосхитить* его — и это заслуга

---

<sup>1</sup> Littré E. Paroles de philos. positive. — Paris, 1863. — P. 1 et suiv. 2-e éd.

<sup>2</sup> Интересные сведения о них можно найти у Робине (Robinet Dr. Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte». — Paris, 1860) и Эрдана (Jacob A. La France Mystique. — Paris, 1858). Для знакомства с ними следует обратить внимание и на Baron de Constant-Rebecque. Reflexions synthétiques du point de vue positiviste sur la religion, la morale et la philosophie. — Paris, 1835.

<sup>3</sup> Милль С. Система дедуктивной и индуктивной логики. — М., 1843.

бессмертная, но она не могла преподать его обществу, как *свою* доктрину. Всему, что было в этой доктрине контовского, в тесном смысле слова, предстояло, так сказать, *отшелушиться*. Позитивизм должен был выработаться, наконец, как продукт умственного развития своего времени.

Такое расширение и распространение значения доктрины Конта совершается в настоящее время, когда мыслящая часть общества начинает мало-помалу придавать своему мирозерцанию характер научного учения, и когда, вследствие того, интерес к системе Конта набирает значительную интенсивность. Рост этого интереса заметно обозначился лишь с первых годов настоящего десятилетия. В 1864 году потребовалось новое издание «Курса позитивной философии»<sup>1</sup>, так как первое издание стало редкостью и покупалось за баснословные деньги.

Важнее всего то, что за это время появились поводы к возникновению полемики. Литтре, в своем предисловии к новому изданию «Позитивной философии» Конта, отвечает на статью Ложеля, помещенную во второй, февральской, книге «*Revue de deux Mondes*»<sup>2</sup> за 1864 год, и к Спенсеру, по поводу воззрений, изложенных в его «*Основных началах*»<sup>3</sup>. «Время идет быстро, — пишет Литтре, — и недолго придется ждать, вероятно, пока борьба возобновится на почве более подготовленной, более определенной. Только *двадцать два* года прошло со времени выхода последнего тома «Позитивной философии» — сочинения, которое, по словам автора, могло быть оценено, как целое, только по его окончанию. В противоположность другим системам, которые наделали много шума и вслед за тем не находили последователей, позитивная философия произвела шуму мало, но не перестала, тем не менее, укрепляться посредством скрытого прозелитизма, основывающегося на силе вещей, а не на пропаганде» (*Préface d'un disciple. XLVI*). И действительно, Литтре не ошибся. В следующем

---

<sup>1</sup> Конт О. Курс позитивной философии. Т. 1-6. — М., 1830-1842.

<sup>2</sup> Littré É. *Revue de deux Mondes*. — Paris, 1847.

<sup>3</sup> Спенсер Г. *Основные начала*. — СПб., 1897.

же году появилось замечательное сочинение Милля «A. Comte and Positivism. London» (1865)<sup>1</sup>, в котором знаменитый автор подвергал систему Конта глубокой критике, опирающейся – и это было в высшей степени важно – на положительную точку зрения. Ответ Литтре на критику Милля появился во второй, августовской, книге «Revue de deux Mondes»<sup>2</sup> за 1866 год, и в следующем же году вышел отдельной брошюрой, к которой была приложена статья нашего соотечественника г. Вырубова «St. Mill et la philosophie positive», написанная также против Милля. Предназначалась она для «Revue Encyclopédique», существование которого, благодаря бонапартовскому режиму, было подвержено таким превратностям судьбы, что статья не вышла в свет, хотя и была уже напечатана. Таким образом, борьба мнений, разво-рошенная вопросами позитивизма, все больше росла... Становилось очевидно, что настал момент вступления положительной философии в новый фазис. Этим моментом как нельзя лучше воспользовались Литтре и подружившийся с ним Вырубов. Они, с 1 июля 1867 года, начали издавать «Обозрение», которое назвали «La philosophie positive». Оно выходит 6 раз в год небольшими книжками, и, группируя вокруг себя последователей позитивизма, служит центром развития положительной философии, главным очагом ее пропаганды. Хотя это «Обозрение» существенным образом основывается на «Позитивной философии» О. Конта, тем не менее, оно относится к нему совершенно свободно. Можно указать на несколько важных вопросов, в которых «Обозрение» отошло от их первоначальных решений О. Контом. Своевременность появления «Обозрения» подчеркивается не только богатством его содержания, но и тем, что ему нередко приходилось заносить в свою библиографию обзоры книг, написанных позитивистами, время от времени вступая в полемику. Все это показывает, что положительная философия вышла из того состояния неиз-

---

<sup>1</sup> Это сочинение переведено на русский и французский языки. См. Милль Д. Огюст Конт и положительная философия. – М., 1867. A. Comte et le Positivisme par J. S. Mill. trad. de l'anglais par le d-r g. Clémenceau. – Paris, 1868.

<sup>2</sup> Littré É. Revue de deux Mondes. – Paris, 1866.

вестности, в котором была еще 10 лет назад, что она действует уже в качестве культурного элемента и дает результаты, которые неизбежно будут иметь свое воздействие. Поэтому есть основание полагать, что в будущем непрерывное развитие положительной философии обеспечено. На второй год выхода своего «Обозрения», Литтре мог уже заявить, что оно приобрело свой круг читателей и принесло свои плоды<sup>1</sup>.

В 1867 году позитивизм стал заметным явлением и в итальянской литературе. Здесь особого внимания заслужила статья профессора Вилляри, напечатанная в «Politecnico» и изданная потом отдельной брошюрой. Она разошлась так быстро, что летом прошлого года достать ее уже было невозможно, мне удалось прочесть ее только тогда, когда она вошла в общий сборник статей автора, появившийся в Милане в конце прошлого года под заглавием «Saggi di storia, di critica e di politica». Метафизика, недостаточно потрясенная возрождением умственного движения в Италии, препятствует успехам позитивизма в этой стране, но важно уже то, что там, в настоящее время, положительная философия занимает умы. В течение одной только половины прошлого года (за другую у нас сведений нет) в итальянских журналах появилось больше десяти статей о позитивизме, а именно: в «Nouva Antologia», «Rivista Bolognese», «Politecnico», «Rivista universale», «Palestra» и даже «Civiltà Cattolica»<sup>2</sup>. И, кроме того, мы можем указать

---

<sup>1</sup> Замечательные новые книги, написанные с точки зрения положительной философии, следующие: 1) Leblais A. Materialisme et spiritualisme. – Paris, 1865; 2) Bourdet C. De la morale dans la philosophie positive. – Paris, 1975; 3) Bourdet C. Principes de l'éducation positive. – Paris, 1972; 4) Buysset. Catéchisme du XIX siècle. – Paris, 1967; 5) André L. Le positivisme pour tous. – Paris, 1965; 6) Littré É. Etude sur les barbares et le moyen age. – Paris, 1867; 7) Grenier P. Etudes médico-psychologiques du liberearbitre humain. – Paris, 1868 и др.

<sup>2</sup> Nuova Antologia: Puccianti G. Della filosofia galileiana e del positivismo odierno – Genova, 1868. (Gennajo). Rivista Bolognese: Siciliani P. Critica del Positivismo. – Genova, 1862. (Gennajo); Siciliani P. Sulle fonti storiche della filosofia positiva in Italia. – Genova, 1860. (Aprile); Matteucci C. Positivismo, paolottismo, razionalismo. – Genova, 1868. (Maggio); Bonatelli F. Due fatti contro le molte parole dei positivisti. – Genova, 1868. (Giugno). Politecnico: Prof. g. Mongeri. La difesa del positivismo fatta da un metafisico. – Genova, 1870.



на обширное ученое сочинение профессора Боккардо («Fisica del globo»<sup>1</sup>), как на имеющее позитивный характер и не лишенное достоинств серьезного научного труда.

Философские направления мысли в Германии самостоятельны, и немцы свысока относятся ко всякому философскому движению, совершающемуся вне германских пределов. Поэтому неудивительно, что здесь на позитивизм обращают мало внимания, и кроме статьи Гарстена (в философском журнале Фихте), едва ли там говорил кто-то хоть несколько слов о нем. Зато направление мысли принимает, чем дальше, тем более позитивный характер. Я думаю, что немецкий корреспондент журнала Литтре и Вырубова не без основания пишет в первом выпуске журнала<sup>2</sup>, что Германия, быть может, больше Англии и Франции, подготовлена для позитивизма, что здесь повсеместно замечают его позитивистические тенденции.

Что касается Англии, то тенденции позитивизма здесь обнаруживаются в значительной степени, хотя трудно решить, в большей или меньшей степени, чем во Франции. Мы упомянули уже о С. Милле и мисс Мартино, как последователях позитивизма. Добавим теперь, что книга мисс Мартино<sup>3</sup>, вышедшая еще в 1853 году, свидетельствует, что в Англии живое предрасположение к позитивизму. Заметим еще, что знаменитый физик Брюстер был одним из первых ученых в Европе, признавших ученое достоинство философского труда Конта. Тогда, когда этот труд ограничивался только двумя первыми томами, Брюстер поместил в «Edimburg Rewiew» (1838) статью, в которой отзывался о Конте, как глубокомысленном ученом.

Известности позитивизма в России помешало, прежде всего, малое развитие у нас интереса к философии вообще и, наконец, усло-

---

Rivista universale: Dragonetti L. Il positivismo ed il panteismo. – Genova, 1865. (Agosto).  
 Paletta: Maffei A. Della filosofia positiva. – Genova ( №№1, 2, 3, 5). Civiltà Cattolica: четыре статьи (Quaderno 430, 433, 437, 440).

<sup>1</sup> Boccardo G. Fisica del globo. — Genova, 1868.

<sup>2</sup> Juillet-Aout. — Genova, 1867. — P. 156.

<sup>3</sup> The positive philosophy of A. Comte freely translated and condensed. — London, 1893. — Vol. II.

вия положения, в котором находится печатное слово. Впрочем, несмотря на это, русский читатель может познакомиться с учением О. Конта по статье г. Ватсона, помещенной в «Современнике» за 1865 год, и по книге, содержащей трактаты Льюиса и Милля, о которой я уже упоминал. Что касается критического анализа этого учения, то, кроме упомянутых статей и трактатов, я укажу еще на одну статью — «Задачи позитивизма и их решение» г. П. Л.<sup>1</sup> Статья эта, по глубине и ширине взгляда, может быть поставлена, по меньшей мере, рядом со статьей С. Милля и может служить прекраснейшим руководством для понимания задач позитивизма. Я уверен, что появление этой статьи во французском переводе произвело бы оживленную полемику, послужив выяснению многих важных вопросов положительной философии.

Но если читатель может ознакомиться с позитивизмом по русским источникам, то это знакомство не может идти дальше 65 года. Именно в это время обрываются все имеющиеся у нас на русском языке сведения о развитии этого учения. Неблагоприятные ли условия, в которых после этого находилась наша литература, или иные обстоятельства были тому причиной, но русский читатель лишен сведений о развитии положительной философии за тот период времени, когда это развитие, приобретая новый орган, приняло новую жизнь и стало заявлять о себе статьями и трактатами. Эти произведения были в высшей степени интересны для всякого, не чуждого умственной деятельности Европы, имеющего чрезвычайно важное значение для тех, которые, будучи утомлены бесплодностью метафизических умозрений, ищут твердую точку опоры для своего мышления. Ввиду всего этого, я решился восполнить пробел в наших сведениях о положительной философии и представляю теперь читателям «Отечественных записок» статью, в которой стараюсь очертить современный фазис развития поло-

---

<sup>1</sup> Статья, о которой я здесь говорю, принадлежит одному из самых уважаемых и ученых наших писателей (П. Л. Лаврову, — *прим. ред.*) Она помещена в майской книжке «Современного обозрения».

жительной философии, указав на главные вопросы, разрабатываемые новой позитивной литературой.

В основе всякого мирозерцания всегда лежит положение, от принятия или непринятия которого зависит усвоение или отвержение самого мирозерцания. Это основное положение представляется последователям учения, принимающим его за точку исхода, аксиомой, и служит пределом, который они не переходят. Так как это положение не может приниматься или отвергаться на основании доказательств, то его принятие или непринятие всегда включает в себе нечто произвольное и может быть объяснено одним только историческим законом последовательности в ряде этих основоположений различных мирозерцаний, представляющем свои правильные фазисы изменчивости. Предельное понятие составляет принадлежность всех философских учений. Они неизбежны как в непозитивных учениях, так и позитивной философии. Предельное понятие супранатуральной философии, например, это понятие о внемировой силе. Бытие этой силы признается супранатуралистами аксиомой, не подлежащей ни исследованию, ни доказательству. Очевидно, однако, что вопрос о возможности логического исследования, выходящего за предел, обозначаемый понятием об этой силе, остается открытым, так как супранатуралистический ответ, утверждающий, что за этим пределом *ничего* не существует, равнозначный с нежеланием идти дальше. Он обнаруживает необходимость принять положение, о котором идет речь, как *предельное*. То же самое можно сказать и о всякой метафизической системе, иначе и быть не может. На этом пункте все философские системы согласны между собою, и разница между ними заключается лишь в выборе того или другого основного положения. В каком же порядке следовали смены этих основных положений? В общем, этот порядок заключался в том, что понятие о супранатуральном бытии было заменено, в смысле основного положения, понятием о натуральном бытии: так пантеизм и материализм принимали силу или силы, присущие материи, как предельную аксиому своих философских построений. Этот шаг вперед, по сравнению с супранатуральным мирозерцанием, был важен, но нужно было пойти еще

дальше, что и сделала положительная философия. Пантеизм и материализм вместо невидимого поставили бытие видимое, а положительная философия из всей совокупности свойств этого бытия выбрала свойства, подлежащие наблюдению. Из этих свойств состоит, согласно ее взгляду, то, что она считает *познаваемым*; все же, лежащее вне их пределов, она исключила из сферы своего мирозерцания, как *непознаваемое*. «Все, – говорит Литтре, – что находится вне пределов положительного знания, в области материи или разума, т. е. в глубинах беспредельного пространства или нескончаемой цепи причин – все это недоступно человеческому разуму. Говоря «недоступно», я не утверждаю, что оно не существует. Беспредельность, как материальная, так и интеллектуальная, тесно связана с нашим знанием, и только в силу этой связи становится положительной идеей. Я хочу сказать, что, соприкасаясь с положительными идеями, эта беспредельность представляется в своем двойственном виде – реальности и недоступности. Это океан, волны которого вечно бьют о наши берега, но пуститься в который мы не можем, так как у нас нет ни ладьи, ни паруса...»<sup>1</sup>

Читателю известно, конечно, что и Спенсер тоже отличает познаваемое от непознаваемого. Его взгляд существенно отличается, однако, от взгляда позитивистов. Спенсер полагает, что супранатуральное мирозерцание и наука сливаются в сфере непознаваемого. Таким образом, это мирозерцание и наука представляются как бы двумя различными сторонами одного учения. Положительная философия, как известно, отрицает пункт соединения науки с супранатуральным мирозерцанием, находя, что между ними, в качестве переходной ступени, стоит метафизика. Таким образом, непознаваемое, совершенно отвергаемое положительной философией, всецело принадлежит супранатуральной философии.

Итак, предмет изучения позитивной философии – действительность в теснейшем смысле этого слова, т. е. та часть Вселенной или космоса, которая в какой-либо мере может, во времени и пространстве, подлежать нашему наблюдению. Понятие о действитель-

---

<sup>1</sup> Comte A. et la philos. pos. – London, 1853. – P. 519.

ности, следовательно, то предельное понятие, о котором было сказано выше. Положительная философия систематически отвергает переход за черту, определяемую этим понятием, хотя и признает, что *логически* можно идти дальше. Замыкаясь в такой круг, сравнительно ограниченный, она приводит тот основательный довод, «что орудия прежних философских доктрин пришли в негодность, а те орудия, которые находятся в ее распоряжении, не разрешают переступить этой черты». Положительная философия, следовательно, ничего не знает, да и знать не хочет о том, чего не знает наука, с которой она составляет одно нераздельное целое.

Объяснив значение понятия о познаваемой действительности, как предельного понятия положительной философии, мы можем предварительно определить ее, как *миросозерцание, состоящее из всей совокупности положительного знания*. Более полное определение мы представим при дальнейшем развитии нашего предмета.

Данное нами определение естественно предполагает два элемента: 1) явлений, существующих вне человека, и 2) человека, наблюдающего и подтверждающего эти явления. Поэтому, наблюдая за развитием основного принципа, высказанного в определении, нам следует познакомиться теперь с воззрением положительной философии на отношения, существующие между двумя этими элементами, то есть нам предстоит определить, какие знания мы имеем право считать положительными или истинными. Поставленный таким образом вопрос сводится к определению отношений между истиной и действительностью. Разработку этого в высшей степени важного вопроса находим мы в статье г. Вырубова «*Le certain et le probable*», помещенной во второй книжке «Обозрения» за 1867 год. «Очевидно, — говорит автор статьи, — что два термина «*истина*» и «*действительность*», принятые в самом общем их значении, не могут считаться синонимами. Если мы сможем взять для точного исхода всех наших философских построений аксиому, что все истинное должно быть и действительно, то мы не имеем права обратить эту аксиому и утверждать, что все действительное должно быть истинно. Утверждать оба эти положения, значило бы питать пристрастие к той игре слов, кото-

рую так любила схоластика, значило бы устанавливать один из тех принципов, которые всегда верны, потому что они стоят вне всякого контроля. Действительность не непременно истинна, и нетрудно доказать, почему это именно так. Действительный факт – это тот факт, существование которого было подтверждено нашими чувствами, факт, открытый нашим наблюдением. Но всегда ли достоверно свидетельство наших чувств? Настаивать на утвердительном ответе, конечно, не станет никто... Никто не станет отрицать, что всякий человек способен заблуждаться, может плохо видеть, слышать... И этого достаточно, чтобы помешать нам вывести общее заключение, будто все кажущееся нам действительным – истинно. Можно возразить, пожалуй, что наше понятие о действительности еще не сама действительность, что все нас окружающее несколько не зависит от ошибок в наших наблюдениях и что, следовательно, окружающая нас действительность всегда истинна. Но такое рассуждение не больше, чем тонкая уловка, которая не может затруднить философию, стоящую на научном основании. Истина для нас не есть нечто отвлеченное, ни нечто такое, что может существовать независимо от человеческого разума. Истина, наоборот, понятие относительное и условное, результат наблюдения и опыта, произведенное посредством метода, выработанного специальными науками. Без человека, или точнее, без науки, без длинного ряда способов исследования, истина невозможна»<sup>1</sup>.

Определяя истину не как нечто реальное, не как нечто существующее *an sich und für sich*, а как условное отношение между субъектом и объектом, между познающим человеком и познаваемой им действительностью, положительная философия должна была определить и свой критерий достоверности. Этот критерий заключается в том, что всякое явление, согласно требованию положительной философии, не должно рассматриваться отдельно, а непременно в связи с другими сопутствующими и сосуществующими ему явлениями. Следуя этому правилу, мы уже не подвергаем себя опасности, угрожающей нам от иллюзий, производимых нашими чувствами, а устраиваем наше на-

---

<sup>1</sup> Le certain et le probable. – Philosophie positive. Revue. 1867. №2. – P. 170.

блюдение таким образом, что чувства перестают играть первую роль, и проверка становится возможной для всех. Рассматривая явление в связи со всеми сопутствующими и сосуществующими ему явлениями, тщательно отделяя в этих последних то, что в них есть постоянного по отношению к рассматриваемому явлению от того, что есть в них случайного, мы получаем то, что в науке принято называть *законом*. До тех пор, пока явление не подведено под закон, то есть пока оно остается совершенно обособленным от других явлений, которыми оно окружено, оно может быть *до известной степени* (принимая во внимание обманы чувства) действительным. Однако понятие о нем мы ни в коем случае не можем считать достоверным или истинным.

Когда закон установлен, его наблюдение и проверка перестают зависеть от одного человека, а могут производиться всеми. Такая постановка вопроса исключает веру в авторитет, устанавливая автономию мышления каждого отдельного человека. Но чтобы закон мог служить удовлетворительным критерием достоверности, следует признавать законами только те формулы подмеченной между явлениями связи, которые не имеют исключений и разрешают предсказывать явления. Опыт и наблюдение выработали уже множество таких законов, и на них следует смотреть, как на типы, к которым должны стремиться все наши усилия. Только совокупность *таких* законов составляет то, что *по праву* может называться наукой. Поэтому-то наука, как совокупность законов, *непогрешима*. Ошибиться может ученый, но не наука. Ученый может формулировать закон, терпящий исключения, и он будет только *вероятным*; наука же обосновывается на законах *достоверных*, т. е. на законах, не имеющих исключений.

Руководствуясь таким воззрением на значение закона, положительная философия приступает к изучению действительности и, имея в виду необходимость строгой систематичности этого изучения, она, прежде всего, подмечает тот общий естественный порядок или ту натуральную градацию естественных явлений, которая может послужить ей твердой точкой опоры для достижения ее цели.

Общее изучение действительности обнаруживает, что все совершающиеся в ней явления распадаются на три группы:

1) *математико-физическую*, характеризующуюся свойствами, общими для всей материи, в каком бы состоянии она ни находилась. Эти свойства – свойства величины, ее форм и все свойства, обусловливаемые движением как частиц, так и целых масс;

2) *химическую*, характеризующуюся свойствами менее общими, обнаруживающимися только в тех случаях, когда происходит частичное соединение двух различных тел;

3) *органическую*, характерные свойства которой обнаруживаются при сложности, превосходящей сложность соединений предыдущей группы, и носят в общежитии название *жизненных* явлений.

Приведенное нами расположение этих трех групп — единственное, допускаемое самими свойствами этих групп. Ведь группа органическая предполагает группу химическую, а эта последняя – группу математико-физическую, которая не предполагает уже ничего и охватывает всю познаваемую действительность, понятие о которой есть, как мы уже сказали, предельное понятие положительной философии.

Если мы попытаемся сблизить названные три группы и массы наук, охватываемые в настоящее время человеческим знанием, то заметим, что каждая из этих многочисленных наук соответствует некоторой части явлений, тождественных или в каком-либо отношении аналогичных тем, которые входят в ту или другую из перечисленных выше трех групп. Такое соотношение между науками и натуральной градацией явлений ясно показывает, что если ум человеческий и теряется среди массы наук, рассматриваемых отдельно и независимо одна от другой, то у него есть точка опоры для расположения их в таком порядке, который разрешит ему охватить их в одно общее представление и даст возможность легко ориентироваться в них, невзирая на их многочисленность. Их расположение в том порядке, о котором я говорю, и есть то, что называется их *классификацией*. Классификация наук, следовательно, имеет очень важное значение в положительной философии: она вносит в изучение действительности методический строй и, определяя каждой науке ее настоящее место в этом общем строе, способствует пониманию значения и смысла как каждой науки



отдельно, так и общего синтеза философий этих наук, который есть не что иное, как положительная философия.

Рассматривая одну за другой группы наук, соответствующие группам натуральной градации явлений, положительная философия замечает, что каждая из групп наук распадается на два весьма различные по характеру отдела. Науки одного отдела имеют дело с законами, управляющими элементарными явлениями соответствующей натуральной группы, с законами, от которых, естественно, должны зависеть не только все, действительно осуществившиеся явления, но и все комбинации, возможные в данном случае. Науки другого отдела, напротив, занимаются только частными комбинациями явлений, открываемых в действительности. Так, например, минералы, составляющие нашу планету или обнаруживаемые в ней, представляют частные комбинации явлений, зависящие от законов, изучаемых науками первого отдела. Из этого видно, что науки первого отдела, или абстрактные науки, составляют основание и точку исхода соответствующих им наук второго отдела, или конкретных наук, и что, следовательно, они должны всегда предшествовать этим последним и руководить ими. Это гениальное разделение наук, которым положительная философия обязана О. Конту, проливает яркий свет на весь строй человеческого знания и крайне упрощает классификацию, так как появляется возможность подчинить всю массу конкретных наук небольшому числу абстрактных наук. Эти последние расположены в соответствии с натуральной градацией естественных явлений и связаны таким образом, что представляют-ся частями одного целого.

Для лучшего объяснения изложенного разделения наук на абстрактные и конкретные, сравним это разделение с подобным разделением, принадлежащим Г. Спенсеру, употребляющему термины «абстрактный», «конкретный» не в том значении, в котором принимает их положительная философия. Спенсер говорит, что «абстрактная» истина редко воспринимается как осуществленная в каком-либо из случаев, относительно которых утверждается, а потому он называет и науку абстрактной, когда ее истины не вполне исчерпываются дейст-

вительностью, каковы, например, истины геометрии или так называемый закон инерции. Истины эти хотя и заключаются в данных опыта, но на самом деле не замечаются, потому что всегда более или менее полно парализуются. Итак, материал абстрактных наук, по понятию Спенсера, – материал идеальный. В противоположность ему материал конкретных наук – материал реальный. Цель конкретных наук состоит, полагает он, не в том, чтобы отделять и отдельно обобщать составные элементы явлений, а в том, чтобы выяснять каждое явление, как продукт этих составных элементов. По этой причине он считает химию и биологию конкретными науками. Явления, изучаемые этими науками, на самом деле совершаются так, как то предполагают эти науки<sup>1</sup>.

Замечание Милля на приведенное здесь воззрение Спенсера подрывает его в самом корне, и так как оно короткое, то я приведу его полностью: «Значение, придаваемое Контом (словам «абстрактный» и «конкретный»), соответствует в высшей степени глубокому и жизненному разграничению. Значение же, придаваемое Спенсером, доступно радикальному возражению: оно классифицирует истины не на основании их предмета или взаимных отношений, а на основании неважного различия в способе, каким мы признаем их. Какое дело, что закон инерции (рассматриваемый как точная истина) не составляет обобщения из наших непосредственных впечатлений, но представляет результат сопоставления движений, какие мы замечаем, с теми, какие бы мы замечали, если бы не было парализующих причин? В том или другом случае, мы одинаково уверены, что это точная истина, потому что каждый динамический закон выполняется даже тогда, когда, кажется, встречает противодействие. Можно предположить, что в физиологии, например, должно быть много истин, которые узнаются только подобным посредственным процессом: Спенсер едва ли оторвал бы их от целого науки и назвал бы абстрактными, а остальные – конкретными»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Спенсер Г. Классификация наук / Пер. Тиблена Н. – СПб., 1866.

<sup>2</sup> Милль С. О. Конт и позитивизм. — М., 1865. — С. 34.

Устранив недоразумения, которые могли возникнуть у читателя, знакомого с воззрениями Спенсера по русскому переводу его брошюры, мы опять возвращаемся к классификации наук, основывающейся, как уж было сказано, на соотношении наук с натуральной градацией явлений и отделении конкретных наук от абстрактных, имеющих в позитивной классификации руководящее значение и вообще, по самому смыслу разделения, предшествующих конкретным наукам. Несомненно, что классификации одних абстрактных наук достаточно для внесения порядка и ясности в массу человеческих знаний; очевидно также и то, что эта классификация не исключает, а напротив, прокладывает путь классификации конкретных наук. Такая классификация, однако, станет возможной только тогда, когда конкретные науки достигнут той законченной формы, в которой они действительно получают право считаться науками, т. е. когда и они, подобно абстрактным наукам, будут состоять из (достоверных) *законов* изучаемых ими явлений, и будут в силах *предсказывать* эти явления. Всякому знакомому с современным состоянием конкретных наук известно, конечно, как далеки науки от такой зрелой степени своего развития, отчасти по недостаточности фактов, а больше потому, что некоторые абстрактные науки не достигли еще того состояния, которое бы делало конкретные науки возможными. Эти последние представляют пока одни материалы для науки, но науками называться еще не могут. А потому понятно, что их классификация невозможна. Из этого не следует выводить, однако, того заключения, что положительная философия остается без всякого влияния на конкретные науки. Напротив, она вносит свой свет в их область и подготавливает классификацию, которой они должны рано или поздно непременно подлежать. Пока такая подготовка возможна только в частных сферах, и мы представим ниже опыты внесения положительного элемента в конкретные науки, опыты в высшей степени интересные и замечательные. Вникнув в них, читатель будет в состоянии понять и оценить всю важность значения положительной философии для предстоящего пересоздания всей системы человеческого знания.

Чтобы классификация абстрактных наук была не шаткой, необходимо, сказали мы, согласовать ее с натуральной градацией естественных явлений. Градация эта представляет ряд, начинающийся с простейших и всеобщих математико-физических явлений и оканчивающийся наиболее сложными и наименее общими жизненными явлениями. В промежутке же находится группа явлений, общность и сложность которых представляет середину этих двух крайностей. Таким образом, характерная черта этого ряда натуральной градации явлений заключается в том, что эти явления, если их рассматривать последовательно, представляют, начиная с простейших и поднимаясь к более сложным, различные степени убывающей общности и возрастающей сложности. Точно такое же расположение возможно и для наук. Оно установит между ними такую же связь, какая существует и между явлениями. Эта связь дает возможность изучать науки именно в том порядке, в котором они расположены, и при переходе от одной науки к другой, не оставлять позади себя законы, узнанные прежде, а напротив, пользоваться и ими, добавляя к ним те новые законы, которые составляют принадлежность следующей по порядку классификации науки. Каждая наука, если рассматривать их ряд в восходящем порядке, покоится на истинах предшествующей науки, и сама, в свою очередь, служит основанием последующей науке.

*Первая группа* явлений — математико-физическая. Ей соответствуют три абстрактные науки — математика, астрономия и физика. Как первое звено классификации, эти науки должны представлять три первые ступени убывающей общности и возрастающей сложности. Поэтому ясно, что *математика* представляет крайнюю науку ряда, так как тела немислимы без математических свойств. За математикой должна следовать *астрономия*, потому что явления, ею изучаемые, зависят от законов предшествующего класса с добавлением закона тяготения. Наконец, третьей наукой должна быть *физика*, которая предполагает математику (так как все тела подлежат математическим законам), а также астрономию (так как все тела подчинены закону тяготения) и присоединить к ним законы тяжести, теплоты, звука, света и электричества.

*Вторая группа* явлений изучается одной наукой – химией. Законы этой науки, так же, как и явления, им соответствующие, вполне согласуются с общим требованием классификации, т. е. представляют возрастание сложности и убывание общности и, кроме того, зависят от всех предшествующих.

Две науки, наконец, имеют своим предметом явления *третьей группы* — жизненной, а именно – биология и социология. Биология изучает явления органической природы, социология – явления общественной жизни человечества. Оба эти рода явлений подчиняются своим особым законам, но не зависят исключительно от них: они также вполне подчиняются законам всех предшествующих групп и составляют последние два звена ряда постепенно убывающей общности и возрастающей сложности. Явления социологические, как самые сложные, подчиняются законам как органической, так и неорганической природы. Эти последние действуют на общество путем влияния на жизнь и определения физических условий, среди которых совершается развитие общества. Таким образом, абстрактные науки классифицируются следующим образом: математика, астрономия, физика, химия, биология и социология<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Объясненная здесь связь наук показывает, что каждая высшая наука устанавливается на низшей, как на своем основании, и служит, в свою очередь, основанием для той, которая стоит выше. Можно сказать, следовательно, что низшие науки служат почвой для высших. В этом смысле и философия истории, как составная часть социологии, строится на почве всех, предшествующих социологии, наук. Из этого следует, что заглавие моей статьи, помещенной в первой книжке «Отеч. зап.» («Философия истории на научной почве». — 1869. — №1), могло показаться непонятным только тем, кто или незнаком с классификацией наук Конта, или игнорирует ее намеренно. Я считал вправе применить эту дилемму к редакции одного журнала, в одной из неподписанных статей которого заключалось глумление над будто бы непонятным заглавием упомянутой выше статьи. Я, действительно, не ошибся. Редакция упорно игнорирует Конта даже тогда, когда пользуется его идеями, которые выдает за свои. В том номере, который следовал за упомянутым выше, напечатано следующее: «Если серьезная разработка более сложных общественных вопросов должна опираться на более элементарные и простые вопросы, решаемые естествознанием, то каждая естественная наука имеет свою более элементарную, ей предшествующую и занимающуюся разработкой более простых явле-

ний, на которую она и опирается. Если все знания составляют в этом смысле нечто целое, непрерывную цепь, то последней точкой опоры всему ряду постепенно усложняющихся наук должна служить наука, имеющая дело с самыми простыми и элементарными понятиями. Таковую науку составляет математика». И после этого все-таки игнорируют Конта, не понимая связи между социологией и предшествующими ей науками! Странно.

Здесь я считаю уместным сказать несколько слов для объяснения одного мнения, высказанного в упомянутой статье о моей «Философии и истории» и подвергнутого в том же журнале, о котором шла речь, ложному толкованию. Выступая с этим объяснением, я не собираюсь защищать себя от укора в промахе или незнании, так как не признаю, чтобы во мнении, о котором идет речь, заключалось то или другое. Не буду я обращаться с подобным укором и к моему критику, как не буду и учить его, как он это делает. Если бы в настоящем случае кому-нибудь из нас удалось неопровержимо доказать другому его промахи и незнание, то самым уместным назиданием было бы, по моему мнению, то, которое еще недавно выслушал работающий в том же журнале, что и мой критик — г. Антонович — по поводу своих промахов и многочисленных случаев обнаружения незнания в его переводе «Истории индуктивных наук Уэвеля» (СПб., 1867-1869). «Не промахи и незнание важны, — внушал критик г. Антоновичу, — промахов не делает только тот, кто ничего не делает. Незнание исправляется изучением, опасна потеря способности к усовершенствованию, утрата сознания о том, что знаешь и чего не знаешь, мешающая человеку овладеть техникой своего дела, и из крикливого, заносчивого и плохого ученика сделаться мастером». Итак, я не хочу заниматься личными перекурами и загромождать целые страницы журнала крикливой полемикой. От крикливости до заносчивости один шаг — моему критику это, конечно, известно, а заносчивость и Бог весть куда занесет: опять пойдет история «о лукошке», «бутерброде» и тому подобная дребедень, а все это мало интересно, да и не полезно читателям. Поэтому я хочу, со своей стороны, сделать все от меня зависящее для того, чтобы мое несогласие со взглядом моего критика было чуждо того недостойного серьезной литературы попользования «отделать» своего противника, которое так заметно чуть не в каждой строчке статьи, по поводу которой я хочу представить объяснение. Из этого объяснения я устранил личный элемент и тесно ограничил его (то есть, объяснение) вопросом: имеет или не имеет современная экзегетика влияние на будущее цивилизации? Я утверждал, что имеет. Критик мой, желая опровергнуть мое мнение, начинает с того, что перетолковывает его по-своему и притом как-то странно. Он утверждает, что то место моей статьи, в котором говорится о значении экзегетики, наверное, огорошит тех, «кто для разрешения вопросов о будущности цивилизации занимается политической экономией, естествознанием, физиологией или философией». Потом утверждает, будто из

моей статьи следует, что подобные занятия — ерунда, так как *все* капитальные вопросы будущего цивилизации зависят от экзегетики. Не знаю, что могут думать люди, занимающиеся «разрешением вопросов о будущности цивилизации» и обращающиеся за этим решением к какой-то выделенной из естествознания физиологии, но знаю точно, что сам я *никогда* не занимался разрешением вопросов о будущности цивилизации, а указывал только на явление, имеющее влияние на ту будущность, что, надеюсь, далеко не одно и то же. Также я *никогда* не говорил, что все вопросы будущего цивилизации зависят ни от чего другого, как от экзегетики. Наконец, никогда не предполагал, чтобы из статьи, посвященной выяснению зависимости прогресса от развития умственной деятельности, то есть, от успехов *всей* совокупности знаний, следовало, будто все ерунда, кроме экзегетики. Впрочем, об искажении моих мыслей и приплетении к ним разных нелепостей не стоит и говорить, так как беспокойный до неприличия тон статьи, по поводу которой я теперь пишу, явно обнаруживает ненормальное состояние писавшего, этим объясняется все. Возвратимся к поставленному выше вопросу. Очевидно, что если прогресс зависит от *всей* совокупности знаний, то он зависит и от экзегетики, как науки, то есть, от экзегетики Штрауса и Баура, а не от семинарской, как думает мой критик. Если же я сказал о Штраусе и Бауре особо, то сделал это потому, что знал, как много у нас охотников смешивать их с грязью, и как мало «изучающих их по косточкам». Итак, ни одна отрасль знания не принесена у меня в жертву экзегетике, и ее значение, следовательно, нисколько не преувеличено. Критик мой не довольствуется, Впрочем, опровержением им самим же выдуманного *исключительного* значения экзегетики. Он пытается доказать, что экзегетика не имеет ровно *никакого* значения. Такое мнение я считаю односторонним по следующим соображениям. Всякому, усвоившему понятие о связи и отношении наук между собою, ясно, что социология, как наука, опирающаяся на все предшествующие ей науки иерархического ряда, неизбежно пользуется ими для своих целей. Очевидно, что экзегетика, как отдел социологии, также пользуется этим преимуществом. Таким образом, значительная часть вопросов, рассматриваемых ею, может быть распределена между иерархически низшими науками и разрешена ими. Пример, выбранный моим критиком, относится к астрономии. Можно подобрать примеры из физики, химии, биологии — доказательство показалось бы еще богаче — и затем, остановившись произвольно, уверять, что экзегетике ничего не осталось делать, что значение ее сводится, следовательно, к нулю. Но в том-то и дело, что вопрос еще не исчерпывается таким произвольным приемом. У социологии есть своя собственная область, свои собственные законы, которые игнорировать нельзя. Экзегетика же находится в такой тесной связи с социологией, что эта последняя без нее неполна. Отрицание ее ведет к непониманию истории, к неполноте и несостоятельности

Философское значение этого ряда будет понятно только тогда, когда читатель, обозревая его, отрешится от того понятия, которое мы обычно связываем с названиями входящих в него наук. Не следует забывать, что это ряд наук не конкретных, т. е. таких, какие мы под

---

самого мирозерцания. А из этого видно, я думаю, влияет или не влияет экзегетика на будущее цивилизации. Но это еще не все. Очень важно то, что *практически* экзегетика очень часто предупреждает такую степень научного образования, которая дает возможность общеобразованным людям относиться к вопросам экзегетики самостоятельно. Дело в том, что прием экзегетики в высшей степени педагогичен. Она всегда начинается с известного и может затем обойтись одним здравым смыслом слушателей. Кто не жил жизнью исключительно кабинетной, тому это особенно хорошо известно. Что экзегетика освобождает от остатков средневекового режима, нередко в таких семействах и общинах, где еще плохо известна система Коперника, это факт бесспорный и легко объяснимый. Кто бывал, например, в Италии и видел там не одни картины и статуи, тот знает, конечно, какое значение для этой страны имеют открытия современной экзегетики. Да и не в одной Италии дело идет в этом направлении...

Итак, если мы видим теперь деятельную работу экзегетики, то мы имеем основания утверждать, что эта работа не будет бесплодна и для будущего. Если для нас понятна связь экзегетики с социологией, а этим путем и со всем строим положительного знания, отдельные части которого, как мы видели, тесно связаны между собою, то мы, я полагаю, нисколько не преувеличили значение экзегетики, сказав, что она влияет на будущее цивилизации. Выражаясь языком положительной философии, для будущего цивилизации важно все то, что помогает переходу от низших фазисов развития к высшим, что способствует установлению в умах позитивного мирозерцания. Но довольно; свойство предмета, о котором я говорю, к сожалению, таково, что поневоле приходится не досказывать своей мысли. Сказанного, однако, достаточно, я думаю, для того, чтобы читатель мог видеть те основания, которыми я руководствовался при моей оценке значения экзегетики. Такую же надежду можно было бы, пожалуй, высказать и по отношению к моему критику, но я этого не делаю, потому что, по общему духу и смыслу его статьи, как и по другим причинам, говорить о которых здесь было бы неуместно, имею основание думать, что *суть дела* для него вовсе не в экзегетике... Осмелюсь обратить его внимание только на то, что его статья слишком уж развязно и беззастенчиво пренебрегает чертой, отделяющей оспаривание чужого мнения от инсинуации. Нельзя не пожелать, чтобы это обстоятельство было принято во внимание, если г. фельетонист вздумает продолжать полемику.



этими названиями встречаем в учебниках и курсах, а абстрактных, не наук собственно, а философий наук. Ошибется тот, кто под астрономией, например, будет понимать науку о расстояниях, объемах, скорости, температуре, физическом строении Солнца, Земли и других тел, движущихся в беспредельном пространстве. Наука, изучающая эти явления, — астрономия конкретная. Абстрактная же астрономия — это теория тяготения, не имеющая в виду никакой конкретной системы, но одинаково объясняющая все явления, какие только возможны в беспредельном пространстве, независимо от той или другой группы небесных тел. Но абстрактная наука не ограничивается одной философией изучаемой группы явлений. Она, кроме того, включает еще и исследование метода, посредством которого получаются результаты, которые поясняются в философии науки соответствующей группы. Таким образом, каждая абстрактная наука — полная и всесторонняя философия науки. Совокупность же этих философий и составляет систему положительной философии. Это последнее заключение дает нам возможность сформулировать определение положительной философии полно и окончательно: *положительная философия — это миросозерцание, состоящее из методического строя философий наук, охватывающих всю совокупность положительного знания.*

Представленный мною общий абрис положительной философии был необходим для понимания тех частных вопросов, о которых я намерен говорить ниже. Представляя этот абрис читателям, я специально ограничивался только общими чертами целого и главнейших частей позитивной системы. Поступая так, я хотел представить первоначальное общее представление системы насколько можно простейшим и общедоступнейшим. Теперь, когда читателем уже усвоено это представление, я приступлю к обзору главнейших вопросов, разрабатывавшихся позитивной литературой последнего времени.

Прежде всего, мы остановимся на уяснении определения положительной философии. Это уяснение необходимо потому, что глава английских позитивистов — С. Милль — отвергает приведенное нами, принадлежащее французским позитивистам, определение, выставя свое, существенно отличающееся от того, с которым мы познакомили

читателей. Аргументы Милля встретили серьезное опровержение со стороны Литтре. Доводы его, как мы полагаем, укрепили то воззрение, которое он отстаивает, и знакомство с ними, следовательно, не бесполезно. Но прежде следует выслушать его противника.

Отвергая такой существенный пункт доктрины, как ее определение, С. Милль с глубоким уважением относится к Конту, как ее творцу. Мы пользуемся настоящим случаем для ознакомления читателей со взглядом С. Милля на общее значение О. Конта и его учение по той причине, что приведение одних только опровержений Милля дало бы совершенно ложное понятие об его отношении к положительной философии. «Имя Конта, – говорит Милль, – больше, чем всякое другое, отождествилось *«положительным»* видом мышления. Он первый взялся систематизировать его и дать ему научное применение ко всем предметам человеческого знания. При этом он достиг такого громадного успеха, обнаружил такое количество и качество умственных сил, которые не только доставили ему, но и упрочили за ним высокое уважение мыслителей, радикально и упорно расходившихся с ним по отношению почти ко всем позднейшим его воззрениям и касательно многих прежних его мнений<sup>1</sup>. Можно бы смотреть как на проступок, что эти мыслители старались первое время обращать особое внимание на то, что им казалось ошибочным в великом творении Конта. До тех пор, пока оно не заняло еще принадлежавшего ему места в мире мысли, главная задача состояла не в том, чтобы критиковать его, а в том, чтобы как можно скорее распространять его. Обстоятельство, что люди, *не способные* понять всю важность этого труда, были ознакомлены, прежде всего, с его слабыми сторонами, могло бы только отдалить время надлежащей его оценки, а между тем, нимало было необходимо для отвращения какого-либо серьезного неудобства. Пока у писателя немного читателей, пока круг его

---

<sup>1</sup> В другом месте своего трактата Милль называет систематизацию наук Конта изумительной и говорит, что если бы Конт не сделал ничего другого, одна эта систематизация «поставила бы его во мнении людей понимающих в число главных мыслителей века» Милль С. О. Конт и позитивизм. – М., 1865. – С. 49.

влияния ограничивается самостоятельными мыслями, до тех пор единственная вещь, которая должна нас интересовать в нем, — это то, что в некоторых вещах он сведущ менее нас, об этом нет надобности упоминать до того времени, когда его ошибки станут опасными. Видное место, какое занимает Конт в ряду европейских мыслителей, и возрастающее влияние его капитального произведения — все это заставляет в наше время, больше, чем прежде, ожидать труда, который бы подтвердил прочные положения его философии. Но это же самое обстоятельство делает своевременным и опровержение его ошибок»<sup>1</sup>.

Руководствуясь таким взглядом, С. Милль рассматривает учение О. Конта в сочинении, из которого мы взяли только что приведенную цитату. Если бы мы стали теперь следить шаг за шагом за ходом критики Милля, то нам пришлось бы отметить несколько пунктов его разногласий с воззрениями, принятыми французскими позитивистами. Но, не имея возможности останавливаться на подробностях, которые могут заинтересовать читателя только в том случае, когда он станет знакомиться с позитивизмом по обширным трактатам о нем, мы ограничимся, как сказали уже, только рассмотрением одного пункта спора, а именно — разногласия в определении положительной философии.

«Истинное значение философии, — говорит Милль, — мы принимаем в том смысле, как принимали его в древности, т. е. в смысле научного знания о человеке, как существе разумном, нравственном и социальном. Так как умственные способности человека заключают в себе и его познавательную способность, то наука о человеке охватывает все то, что он может знать — насколько это касается способа познания. Другими словами, она вмещает в себе целое учение об условиях человеческого знания»<sup>2</sup>.

Высказывая возражение на это воззрение, Литтре говорит, что, хотя Милль и понимает под наукой о человеке такую науку, «которая охватывает все то, что человек может знать», и таким образом устанавливает принцип, из которого можно вывести все положительные

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 5

<sup>2</sup> Там же. — С. 50.

науки и даже, *может быть*, их классификацию. Однако, тем не менее, определение Милля положительной философии все-таки ложно, так как оно во главе философии ставит науку о человеке, которая стоит естественным образом, в подчиненном положении относительно других наук иерархического ряда, а потому, придерживаясь определения Милля, нельзя избежать путаницы, отнимающей у этого определения всякое значение.

Чтобы возражение Литтре стало совершенно ясным, припомним то разделение наук на абстрактные и конкретные, которое сам Милль, как мы уже знаем, считает столь жизненным и глубоким. На самом деле, без этого разделения положительная философия немыслима. Не будь этого разделения, не было бы никакой возможности выйти из лабиринта перепутанных между собою абстрактных и конкретных наук, пришлось бы прибегнуть к какому-нибудь бесполезно многосложному и произвольному порядку наук, образцом которого может служить, например, попытка автора «Общего изложения человеческих знаний»<sup>1</sup>. Положительная философия, как нам известно, состоит исключительно из наук абстрактных, охватывающих всю совокупность естественных явлений, начиная со свойств математических и заканчивая свойствами жизненными. Таким образом, изучение человека становится частью общего изучения мира, и в этом последнем изучении получает свое определенное место. Из этого следует, что наука о человеке не только не может быть поставлена во главе всей совокупности человеческих знаний, но даже, как наука частная, следовательно – конкретная, не может, в качестве отдельной и самостоятельной науки, быть включенной в иерархический строй абстрактных наук, а составляет не больше как отдел (*département*) биологии.

Этот взгляд на науку о человеке имеет не столько важности для ней самой, сколько для той философии, которая придерживается этого взгляда и характерной чертой которой является, таким образом, подчинение субъективного объективному, в противоположность тем философским системам, которые придерживаются обратного воззре-

---

<sup>1</sup> La science au XIX siècle. Exposition générale des connaissances humaines. – Paris, 1865.

ния на отношения между этими двумя элементами. «Сопоставляя эти две точки зрения, — говорит Литтре, — можно бы поднять вопрос: какая из них должна быть признана истинной, и попытаться разрешить этот вопрос путем логики. Я не сомневаюсь, что основательно проведенный этим путем, вопрос разрешится в пользу объективной точки зрения. Но я предпочитаю опытное доказательство, всегда более обязательное, чем доказательство отвлеченное. Опытное доказательство заключается в том, что психология, или физиология деятельности мозга, — только частный случай *общей* физиологии этой деятельности, которая, в свою очередь, находится в зависимости от биологических и химических условий существования материи. Таким образом, субъективный принцип не может не быть подчиненным принципу объективному, и вопрос решается окончательно одной только позитивной иерархией до такой степени верно, что методу принадлежит первенство во всех высших вопросах». Литтре говорит дальше, что обыкновенное возражение против приведенного воззрения заключается в том, что различие между субъективным и объективным принципом призрачно, что, собственно говоря, все субъективно, так как знание объекта неизбежно принадлежит субъекту. Не оспаривая этого последнего замечания, Литтре обращает внимание, прежде всего, на ошибочность постановки вопроса. Вопрос, по его мнению, заключается в том, каково должно быть отношение между знаниями субъекта, как об объекте, так и о себе самом, так как между этими знаниями должно существовать непременно то или другое отношение. Ответ здесь ясен: субъект зависит от объекта; жизненные (биологические) условия зависят от химических и физических свойств материи; умственная деятельность находится в зависимости от биологических условий. Обратный порядок невозможен, потому что неестественен.

В заключение Литтре обращает внимание на то, что человек — частное явление в пространстве, так как он обитает только на одной планете. Такое же частное явление представляет он и во времени, так как его происхождение не современно происхождению Земли. Он — частное явление и по своей субстанции, так как его тело состоит лишь из весьма немногих простых тел, входящих в состав земного шара.

Наконец, он частное явление и в развитии жизни на Земле. Поэтому крайне ошибочно то мирозозерцание, которое, взяв за точку исхода столь частное явление, думает достичь верного понимания *всей совокупности* естественных явлений.

Из всего этого следует, что определение положительной философии, выставленное Миллем, не выдерживает критики и не в состоянии заменить то, которое поддерживается французскими позитивистами, которое было приведено нами выше.

Соображения, приведшие нас к этому заключению, были полезны нам и в другом отношении: они выяснили вопрос о зависимости науки о человеке от общего изучения действительности. Они показали, что наука о человеке составляет в общем строе положительного знания не больше, чем конкретный отдел биологии. Такое подчиненное положение, нисколько не умаляя ее значения, важно для этой науки в том отношении, что, будучи верно поставленной по отношению к другим наукам иерархического ряда, она в состоянии развиваться на основании их положительных данных. В свою очередь, она может быть им полезной своими открытиями, строго держащимися в определенных границах и не захватывающими, как это беспрестанно бывает при ложной классификации, чужие области. Одной из важнейших отраслей науки о человеке, понимаемой таким образом, является изучение законов морали, которые, как следует из вопроса, должны быть выведены для частной морали из биологических данных, а для общей – из социологических. Они требуют совершенно новых поисков, едва начатых физиологами и социологами. Новая теория морали, которая выведется таким путем, составит, вместе с таким же образом построенными психологией и эстетикой, важный отдел положительной философии, который Литтре называет «субъективной теорией человечества». Работы в этом направлении, представляемые новейшей позитивной литературой, имеют подготовительный характер. Однако важно уже то, что разрешение этих вопросов стоит на верной дороге. Дальнейшая их разработка зависит от успеха положительных наук, обуславливающего и вообще, и в частности, успехи позитивизма.

«Вопросы морали, – говорит Литтре, – мы, не колеблясь, включаем в область положительных наук. Для разрешения этих вопросов следует, прежде всего, установить факты и проверить их наблюдением, затем указать, опираясь на все то же наблюдение, существующую между ними связь. Всякое рассуждение, пытающееся вывести их *a priori* из какой-нибудь отвлеченной аксиомы, химерно... Наблюдение над явлениями нравственного мира, изучение взаимных отношений между ними, постепенное обобщение и непрестанная проверка этих отношений – вот элементы, служащие основанием научного взгляда на природу человека. Метод, разрешающий вопросы мира материального и промышленного, – единственный, который может рано или поздно разрешить основные задачи, относящиеся к организации общества»<sup>1</sup>.

Рассматривая вопросы морали с этой точки зрения, позитивисты проводят опыты для выяснения сложных и трудных вопросов этой области явлений посредством общего всем наукам положительного метода. К числу работ, появившихся в этом направлении за последние два года, относятся статьи: «О методе в психологии» *Littre* (Rev. №№1 et 2. 1867), «Что такое свобода?» *Баньо* (*id.* №1. 1868), «Изучение позитивной морали» *де Блиньера* (*id.* №2. 1868), сочинения «De la Morale dans la philosophie positive» *Бурде* и «Etudes médico-psychologiques du libre arbitre humain» *Гренье*. Наконец, читатель найдет много прекрасных мыслей и светлых взглядов на этот вопрос у *Андре Ньюи* в его брошюре «Le positivisme pour tous», в книге *Буассе* – «Le catéchisme du XIX siècle» и *Сюрбуа* – «La Morale fouillée dans ses fondements».

Мы видели уже, в какой степени полемика с Миллем выяснила вопрос об определении положительной философии и связи науки, о человеке с общим строем положительного знания. Подобную же услугу принесла полемика Литтре со Спенсером о классификации наук. Мы не станем теперь пересказывать ход этой полемики, так как для этого нам пришлось бы сделать очерк классификации наук, предложенной Спенсером. Классификация эта, основанная на различии абстрактного от конкретного, отвергается несостоятельностью воззрения Спенсера, доказательства чему приведены выше. Читатели, интере-

---

<sup>1</sup> Préface d'un disciple. XXXIV.

сующиеся этим вопросом, могут ближе ознакомиться с ним по сочинениям, пишущим о нем более или менее подробно<sup>1</sup>. Мы же приведем только одни результаты, разработанные этой полемикой, для чего и воспользуемся известным сочинением Литтре о философии Конта<sup>2</sup>.

Чтобы линейный ряд наук удовлетворял тем философским требованиям, которые можно ему предъявить, необходимо, чтобы науки в нем были расположены в таком порядке, который разрешал бы всякой последующей науке основываться на науке предыдущей. Мы уже знаем, что ряд наук, из которых состоит положительная философия, представляет классификацию, вполне соответствующую только что упомянутому требованию. Причина такой удовлетворительности позитивной классификации заключается в том, что она построена в соответствии с объективными, а не субъективными требованиями. Таким образом, еще раз подтверждается то воззрение, основы которого рассматривались нами раньше. На самом деле, хотя познание объекта субъектом основано на интеллектуальных условиях, но, в свою очередь, объект познается таким, каким он есть. Но объект, как мы уже видели при изучении групп естественной градации явлений, иерархизован независимо от воли субъекта. Из этого следует, что познание его субъектом непременно должно соответствовать этой иерархизации. Субъект ничего не может угадывать. Пытаясь угадывать, он неизбежно путается в своих загадках. Присущие ему логические условия не могут открыть свойств вещей: знание этих свойств приобретается извне. Таким образом, всякая удовлетворительная, в философском и научном отношениях, классификация не изобретается *a priori*, а дается *a posteriori*. И позитивная классификация также не плод творчества, а открытие, имеющее своим основанием опыт, которым она и проверяется.

Перейдем теперь к вопросу об историческом развитии наук.

---

<sup>1</sup> Спенсер Г. Генезис науки // Опыты политические, научные и философские. В 3 т. – Мн, 1998. – Том 1. Опыты; Спенсер Г. Классификация наук. – М., 2001; Littré É. A. Comte et la philosophie positive. – Paris, 1845; Милль С. Огюст Конт и позитивизм. – СПб., 1865; Лавров П. Задачи позитивизма и их решение. – СПб., 1906.

<sup>2</sup> Littré É. A. Comte et la philosophie positive. – Paris, 1845. – II partie, ch. VI.



Сообразность этого развития с позитивной классификацией долго казалась несколько смутной и давала повод к ложным выводам, каковы, например, выводы Спенсера. Чтобы устранить это неудобство, Литтре старался установить различие между *развитием* науки и ее *установлением*. Под развитием наук, по его мнению, следует понимать тот прогрессивный путь, по которому они восходят к истинам все высшего и высшего порядка. Это прогрессивное развитие совершается при помощи *взаимной зависимости* между науками (*interdependance* Спенсера) и не имеет ничего общего с установлением науки (*constitution*). Установление науки может считаться совершившимся тогда, когда наука в состоянии удовлетворять двум условиям: 1) когда она признала какое-нибудь основное свойство материи и 2) когда на этом свойстве она установила абстрактное учение, способное к *развитию*. В математике, вследствие крайней простоты тех основных свойств материи, на которых строится эта наука, установление сливается с развитием, во всех же остальных науках различие установления от развития очевидно. Физика устанавливается тогда, когда признает тяжесть, теплоту, электричество теми основными свойствами, на которых она строит свою абстрактную теорию. Химия устанавливается, когда открывает законы сродства. Биология – когда признает специально свойственную тканям жизненность. Социология, наконец, когда она может в свое основание взять законы развития социального тела.

Таким образом, можно сказать, что всякая высшая наука устанавливается тогда, когда она может взять своим предметом, так сказать, *остаток* (*résidu*), как бы выделяемый низшей наукой. Остаток этот – *нечто* необъяснимое абстрактной теорией той науки, от которой получает его следующая высшая наука и строит на его изучении свою теорию. Так, например, остатком физики должно считаться частичное родство. Так как это сродство не может быть объяснено физической теорией, то и возникает новая наука — химия и т. д. Таким образом, установление наук приводится в полное согласие с порядком, в котором они располагаются в позитивной классификации, то есть, с объективным порядком. Развитие же наук, опирающееся, как мы сказали, на их взаимную зависимость, на ту взаимную помощь, которую

они представляют одна другой, развитие отвечает субъективным условиям познания, подчиняющимся объективным условиям.

Так как найдутся, конечно, читатели, которым нелегко будет установить верный взгляд на степень важности рассматриваемых нами вопросов, то я считаю полезным привести мнение Спенсера, которое, вероятно, и покажется читателям столь же убедительным, как оно кажется мне. Спенсер говорит, что часто предметы с таким абстрактным характером, как генезис и классификация наук, пренебрегаются, как не имеющие практической важности: «Но значение истин часто бывает соразмерно широте их общности. Какими бы далекими от практического применения ни казались высочайшие обобщения, они нередко бывают наиболее могущественными в своих действиях в силу влияния на те подчиненные обобщения, которые управляют практикой. То же должно быть и здесь. Правильная теория исторического развития наук (и, очевидно, их классификации), когда бы она ни была установлена, должна иметь громадное влияние на воспитание, а через воспитание и на цивилизацию»<sup>1</sup>.

Говоря о полемике между Миллем и Литтре по поводу определения положительной философии, мы коснулись области конкретных наук и дали читателю общее понятие о связи, существующей между этой областью и абстрактными науками. Теперь, когда все главные вопросы, касающиеся этих последних и служившие предметом разработки для новейшей позитивной литературы, нами рассмотрены, перейдем к последнему отделу нашей статьи и представим тот образец анализа в области конкретных наук, о котором упоминали и который нам даст понятие о значении влияния положительной философии и на эту область. Труд, о котором мы говорим, принадлежит г. Вырубову и помещен им в первой книжке «Обозрения». Он носит заглавие: «Что такое геология?» (*Qu'est ce que la géologie?*). Что такое геология? Вопрос кажется столь простым и обыкновенным, что непонятно даже, что нового надеется сказать автор в своем этюде. Простота и обыкновенность этого вопроса очень обманчивы, однако читатели увидят,

---

<sup>1</sup> Спенсер Г. Генезис науки // Опыты политические, научные и философские. В 3 т. – Мн, 1998. В 3 т. – Том 1. Опыты. – С. 366.

познакомившись с этюдом по тому краткому извлечению, которое мы намерены им представить, что г. Вырубову удалось сказать весьма много нового. Причем так много, что, по нашему убеждению, он имел полное право сказать, в заключение своей статьи, что существует немало даже геологов-специалистов, не знающих, что такое геология и не задававшихся даже этим вопросом.

Чтобы обозначить пределы, в которых заключается область геологии, и иметь определенное понятие о вопросах, заключающихся в этой области, необходим, прежде всего, анализ общепринятого определения этой науки. Именно ему предстоит выяснить годность или негодность старого определения и быть, в последнем случае, путеводной нитью для нового, более научного и более философского. Под геологией обычно понимают науку, изучающую земной шар как в том состоянии, в котором он находится в настоящее время, так и в тех, которые соответствовали минувшим периодам его образования<sup>1</sup>. Одно это определение дает уже понятие о сложности задачи геологии. Земная кора состоит из весьма разнообразных предметов, и это разнообразие, в свою очередь, зависело от условий тоже очень разнообразных. С первого же взгляда на Землю, как на предмет изучения геологии, представляются три большие группы аналогичных явлений, на которые распадается этот предмет:

- 1) группа органических остатков, находимых в земной коре;
- 2) группа минеральных продуктов;
- 3) группа явлений, обуславливаемых физическими свойствами земли, воды и атмосферы.

Этим трем группам соответствуют три науки:

- 1) палеонтология,

---

<sup>1</sup> Геология, в сущности, наука положительная, основанием которой выступает анатомия земного шара, как в целом его составе, так и отдельных частях... Геолог по совершившимся уже событиям может судить о целом земном шаре. Он может рассказать о содержащемся внутри его, о различных организмах, на нем живших, первобытном времени планеты, когда на ее поверхности не развились еще органические существа (Фохт К. Руководство к геологии. – СПб., 1865. – С. 1).

- 2) геогнозия,
- 3) физическая география.

Нам предстоит рассмотреть каждую из этих наук отдельно.

1) *Палеонтология*, по самому предмету своего изучения, может быть разделена на две части. К первой относятся остатки растений, ко второй – животных. Хотя эти растения и животные в настоящее время не существуют, тем не менее, они составляют цепь развития, не обрывающуюся там, где обычно назначается предел области палеонтологии, а, напротив, продолжающуюся далее и составляющую в настоящее время предмет двух наук – ботаники и зоологии. Из этого видно, что первая часть палеонтологии ничем существенно не отличается от ботаники, а вторая – от зоологии. Ботаника же и зоология, очевидно, конкретные науки, подчиненные законам биологии и составляющие ее конкретный отдел. Таким образом, мы нашли ту абстрактную науку, с которой должны связать палеонтологию в том случае, если будем рассматривать ее как отдельную конкретную науку.

2) *Геогнозия* изучает минералы и горные породы, входящие в состав земной коры. В соответствии с этим, она обычно делится на минералогию и, собственно, геогнозию. Не говоря уже о том, что это разделение произвольное, мы обратим внимание только на то, что точно так же, как зоология и ботаника возможны как науки только в подчинении их биологии, точно так же геогнозия не может существовать независимо от химии. Так как об отношении минералогии к химии было уже рассказано прежде, то, я полагаю, читателю ясно без дальнейших объяснений, что геогнозия – это наука, составляющая конкретный отдел химии.

3) *Физическая география* изучает форму Земли, как небесного тела, явления приливов и отливов, явления атмосферные и многие другие менее важные, совершающиеся на суше и в море. Если мы остановимся только на первых трех разрядах явлений, то заметим, что явления приливов и отливов, находясь в зависимости от закона тяготения, относятся к конкретной астрономии, к которой также следует отнести и все то, что касается изучения формы Земли, как небесного тела. Что же касается метеорологии, то ее явления, представляя част-

ные случаи деятельности законов физики (снег, дождь и пр.) и астрономии (ветры, падающие звезды и пр.), должны быть отнесены частью к конкретной физике, частью – к конкретной астрономии.

В этом анализе, прежде всего, поражает нас то, что если геология – наука самостоятельная, то она не может состоять из частей, столь различных по своему основному характеру, каковы, как мы видели, составные части геологии. Каким образом установим мы науку, не лишенную единства и однородности, если в нашем распоряжении находятся отрывки различных наук: отрывок конкретной биологии, конкретной химии, конкретной астрономии, конкретной физики? Если бы можно было слить все эти разнохарактерные отрывки в одну науку, то из этого следовало бы заключить, что позитивная классификация не имеет прочного основания и что в теории установления наук лежит коренная ошибка.

Как же выйти из этого затруднения?

Выходов два: можно или отрицать геологию, как науку, и тогда нет необходимости настаивать на единстве и связи ее частей, или можно поднять геологию на степень науки, и тогда следует исследовать ее связь с основным принципом положительной философии, дав ей определенное место в позитивной классификации. Оба эти решения одинаково верны, и выбор того или другого зависит от точки зрения на предмет. Первое решение легче и проще второго, зато второе более сообразно с духом положительной философии, более соответствует ее целям и дает такие результаты, которые, гармонируя с общим строем позитивной системы, делают для нас еще яснее и очевиднее ее высокие философские и научные достоинства. Итак, займемся решением этого второго вопроса.

Если геология – наука конкретная (в чем для читателя, я думаю, не существует сомнения), то с какой же из абстрактных наук следует связать ее? Ее разнохарактерность делает этот вопрос нелегким. Для его разрешения нам следует руководствоваться той объективной точкой зрения, которой придерживается положительная философия. А с этой точки зрения предмет геологии представляется совершенно иным, чем с субъективной точки зрения: для человека Зем-

ля – мир в тесном смысле слова, разнообразный, разнохарактерный, представляющий бесконечное поле для изучения почти по всем отраслям наук. Но этот же мир, взятый как часть более обширного мира, как часть познаваемой действительности, есть единица, индивид, отличающийся от прочих единиц и индивидов, наполняющих пространство некоторыми частными свойствами.

Земля – планета. Это показывает уже, что существует целая группа небесных тел, отличающихся от прочих известными, определенными свойствами, которые присущи также и Земле. Пользуясь термином, очень часто употребляемым в конкретных науках, мы можем сказать, что планеты составляют род, к которому должна быть отнесена Земля, как индивид. Но сама идея индивида предполагает существование некоторых особых свойств, более частных, чем свойства, одинаково принадлежащие всему роду. Остается только определить эти свойства изучением данного индивида. Очевидно, однако, что каковы бы ни были эти характерные черты индивида, как бы они ни были сложны и разнообразны, их изучение получит характер однородности и единства. Произойдет это по той причине, что все частности будут связываться с основными родовыми свойствами, которые и определяют общее значение и характер той конкретной науки, которая сложится из общей совокупности результатов изучения как родовых, так и индивидуальных свойств изучаемого предмета, то есть, Земли. Общее значение и характер геологии, следовательно, определяется той точкой зрения, с которой мы рассматриваем Землю как планету, как индивид небесного пространства. Излишне добавлять после этого, что геология, с этой точки зрения, есть *конкретная астрономия*<sup>1</sup>.

Мы нашли верное определение геологии, утверждая, что эта наука – конкретная астрономия. Вместе с тем, мы можем указать ей определенное место в единственной удовлетворительной классификации наук. Нам остается теперь показать тем, которые презирают

---

<sup>1</sup> Нельзя при этом не обратить внимания на следующие слова К. Фохта: «В отношении истории земного шара, геология, собственно, это продолжение астрономии». См. Фохт К. Руководство к геологии. – СПб., 1865. – С. 2.

философию, что рассуждения, приведшие нас к такому заключению, не могут считаться пустыми диалектическими тонкостями, что само заключение одинаково важно для мыслителя и ученого.

Первое следствие зависимости, в которой находится геология по отношению к астрономии, касается различия, возникающего естественным образом между разными частями геологии, в соответствии со степенью важности каждой из них. Вопрос о соотношении между частями геологии служил, как известно, поводом к многочисленным спорам, в которых принимали участие замечательнейшие ученые нашего времени. Одни утверждали, что важна только минералогия, другие – имевшие успех в последние годы – отводили первое место палеонтологии. Никто не станет спорить, что это решение играло важную роль в судьбах геологии. Неорганический мир был оставлен, и все внимание, все силы были устремлены на изучение ископаемых остатков. Это узкое и исключительное направление принесло несомненную пользу – было разработано обширное поле, многие тайны были объяснены. Но это направление не может ответить на все вопросы, потому что исходит из ложного взгляда на проблему, подлежащую разрешению. Делая из палеонтологии нечто почти равнозначное геологии, ученые становились на слишком практическую точку зрения. Каковы свойства, особенно необходимые для различия разных земных напластований между собою и для классификации этих напластований в соответствии со степенью их относительной древности? Вот вопрос, которым задавались и на который весьма основательно отвечали возведением палеонтологических указаний на первую степень важности. Но распознаванием напластований геология не ограничивается, как распознаванием растений не ограничивается ботаника. Распознавание напластований – только приложение палеонтологии, причем весьма полезное, конечно, для изучения Земли, но не составляющее независимой науки. Преувеличить, таким образом, значение одной части геологии в ущерб остальным, не значит ли низвести ее на степень искусства, основывающегося на науке – палеонтологии. Следствия этого заблуждения, весьма распространенного в наше время, столь же вредны для геологии, сколь полезны для зооло-

гии. Геологами привыкли себя считать те, которым удалось описать несколько новых ископаемых раковин. В обычай вошло придавать важность таким фактам, которые не имеют никакого значения для геологии, и пропускать без внимания такие, которые следовало бы вывести на первое место.

Сообразуясь с тем понятием, которое мы составили о геологии, мы должны отвести в ней первое место всему тому, что характеризует Землю, как планету. Прежде всего, мы должны, следовательно, изучить ее форму, движение, положение по отношению к другим небесным телам, влияние, которое она от них претерпевает и т. д., вообще говоря, ее астрономические свойства. Затем изучить ее атмосферу, моря, температуру, вообще физические свойства, дальше – ее плотность, а, следовательно, химический состав и форму различных частей ее коры, вообще минералогические свойства. В заключение же мы должны поставить животных, ее населявших, и расположить их по степени их сравнительной древности – палеонтологический отдел. Эта иерархизация предметов, входящих в область геологии, – единственная рациональная, удовлетворяющая всем требованиям, которые можно предъявить естественной классификации. Она не только отводит первое место астрономическим условиям, без которых геологические изыскания невозможны, но и располагает другие ее части в соответствии со степенью убывающей общности и возрастающей сложности, присущей каждой из них. Ряд, получаемый таким образом, тождествен, как мы видим, с рядом абстрактных наук, составляющих одно из величайших открытий великого основателя положительной философии. Таким образом, также получается способ для проверки этого абстрактного ряда, так как если установленный выше ряд верен, то верен и он<sup>1</sup>.

Читатель, может быть, спросит, отчего же опущена геогения (теория происхождения Земли), без которой неполна геология, с какой бы точки зрения мы на нее ни смотрели. Она неполна – это верно, но полнота, доставляемая ею, полнота мнимая. Геогения – как ни

---

<sup>1</sup> Qu'est ce que la géologie? – Paris, 1870. – P. 48-49.



величественна ее теория – чистая гипотеза, удовлетворяющая потребности ума, но не имеющая научного характера и потому не включаемая в состав положительной науки – геологии. Впрочем, если бы для какой-нибудь гипотезы о происхождении Земли, как для такой, которой не противоречит ни один из известных фактов, и можно было сделать исключение, то, очевидно, что эта гипотеза вполне согласовалась бы в таком случае с характером геологии, как конкретной астрономии. Ведь все факты, на которых строится теория происхождения Земли, относятся к области этой абстрактной науки.

Приведенный нами взгляд на значение геогении, хотя этот случай имеет частное значение, дает нам понятие о взгляде современных позитивистов на гипотезы. Всем, знакомым с учением Конта, известно, что у него взгляд на гипотезы был весьма не выдержан, а потому, вероятно, небезынтересно будет узнать, как выработан этот взгляд у новейших последователей положительной философии. Их представителем в этом случае мы опять выбираем г. Вырубова, в статье которого «*L'hypothèse de l'éther en optique*»<sup>1</sup> мы находим определенный ответ на занимающий нас вопрос. Он говорит, что страсть к гипотезам поддерживается желанием непременно объяснить все, все считать познаваемым и, без достаточной критики, позволять воображению перегонять точные научные положения. Но такой порядок вещей, очевидно, противоречит основным положениям позитивной философии. Пробелы в науке не могут быть пополнены вымыслами, а потому гипотезы, кто бы их ни создал и кто бы их ни поддерживал, не могут войти в систему наук в качестве чисто научных положений. Если же в некоторых случаях положительная философия и не отвергает гипотез, то она делает это только ввиду слишком настоятельной необходимости связи и объединения некоторых отделов знания. Однако, во всяком случае, она смотрит на гипотезы, как на временное средство, которое будет устранено дальнейшими успехами положительного знания, и как на такое удовлетворение потребности разума, которое допускается только ввиду удовлетворения более полного, ожидаемого от науки.

---

<sup>1</sup> Revue. – Paris, 1868. – №5.

Рассмотрением вопроса о значении гипотез мы заканчиваем наш очерк современного состояния положительной философии, хотя вполне сознаем, что наш предмет далеко не исчерпан. Принимая во внимание, что исчерпать его невозможно не только в одной журнальной статье, но и в целом их ряде, мы нашли полезным ограничиться одними только главными вопросами позитивизма, совершенно умалчивая о второстепенных. Притом же мы не хотим дать читателю такое изложение позитивной системы, которое могло бы заменить ему те трактаты и сочинения о ней, о которых мы упоминали. Наша цель гораздо более скромная, и если среди читателей «Отеч. зап.» найдется несколько таких, которых наша статья побудит к знакомству с положительной философией, то мы будем считать, что работали не напрасно.

Как ни неполно, однако, понятие о положительной философии, которое может составить читатель по нашему этюду, — оно достаточно, как мы полагаем, для того, чтобы он мог определить, хотя бы приблизительно, значение положительной философии для настоящего времени. На самом деле, если бессилие метафизики и предшествовавшего ей мирозерцания не может подлежать сомнению, то где же, если не в научных обобщениях, мы должны искать основы для нового мирозерцания, которое заменит отжившие? Если же, с другой стороны, при тщательном изучении положительной философии, мы придем к убеждению, что она в настоящее время представляет самое широкое, глубокое и полное, насколько это возможно, обобщение научных результатов, то нельзя будет не согласиться, что именно она и представляет то мирозерцание, которое имеет полное право на наследие всех других, ей предшествовавших. Тогда игнорировать ее будет невозможно. И действительно, из предисловия к этой статье мы уже видели, как обширно в настоящее время влияние позитивизма и как неудержимо проникает он в образованное европейское общество. Мало того, влияние позитивизма обнаруживается еще и тем, что метафизики и т. п. вынуждены изучать его, чтобы иметь возможность опровергать, что разные философствующие самодуры не могут обойтись без его обрывков, что позитивизм, одним словом, встречает-

ся в наше время повсюду. Например, один из его противников должен был сознаться, что позитивизм в наше время хотя и находится часто в «скрытом состоянии», но, тем не менее, властвует над умами.

Припомним теперь то, что мы сказали в начале этой статьи о зависимости прогресса от развития умственной деятельности и историческом законе, постепенно приводящем эту деятельность к положительному фазису, представляющемуся, таким образом, той ступенью развития, достижение которой заставляет пользоваться результатами всей умственной работы прошедших поколений и которая, в свою очередь, оказывает влияние на все, что только ни совершается в научной, промышленной и социальной областях. Тот, кто поймет это жизненное значение позитивизма, не затруднится, конечно, открыто признать себя последователем этого учения. Он найдет возможность быть полезным его развитию или распространению и, в глубоком убеждении полезности своей работы, станет продолжать ее и тогда, когда гнусные выходки мнимых общественных наставников и разных евнухов мысли или другие более серьезные препятствия, ими и не ими вызванные, не только стали бы встречаться на его пути, но и угрожали бы стать его постоянными спутниками.

1869 г.

«Отеч. зап.» №4.

## ОБЩИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ<sup>1</sup>

Эти строки, как и все, что я когда-либо написал и намереваюсь со временем написать, имеют целью пробудить любопытство, а не удовлетворить его. Я никогда не задавался целью избавить моих читателей от труда наблюдать или мыслить. Труд – это жизнь. Самоучение – наилучшая школа. Уроки такой школы наиболее заслуживают получаемую ими награду.

Марш Г. Человек и природа. – СПб., 1866.

Как произошла Земля? Что претерпела она с тех пор, как произошла? Каков ее состав в настоящее время? Вот вопросы, которые исчерпывают все, что только человеку хотелось и хочется знать о планете, на которой он живет. Значение, постановка и группировка этих вопросов очень различны, однако для различных фазисов умственного развития. Для супранатуралистического мирозерцания группа вопросов ограничивается только первыми двумя, причем вопрос о происхождении получает главенствующее значение. Постановка этих вопросов обуславливается сущностью самого мирозерцания, приурочивающего их к своей безусловной данной и преддрешающего их в этом смысле. Постановка второго вопроса, кроме того, непременно согласуется еще с антропоцентрической системой, неизбежно присущей всякому теологическому мировоззрению, а потому и решение вопроса суживается, ограничивая прошедшую историю Земли ее историей, как человеческого жилища. Таким образом, теория происхождения Земли, будучи на этой ступени развития разумом плодом фантазии, сливается с поэзией, разными легендами и т. п. Гимны Вед, космогония египтян, древнейшие сказания семитических племен и т. д. – несколько не различаются в этом смысле. Описания же таких фактов, как землетрясения, наводнения, вулканические извержения

---

<sup>1</sup> Эта статья, первоначально напечатанная в «Отч. зап.», исправлена автором, – *прим. ред.*

и т. п., встречаются обычно как эпизоды в сказаниях и легендах того или другого народа. Причем они до того искажены и извращены, что совершенно теряют свой геологический характер и являются только иллюстрациями телеологического воззрения на природу. Так, например, местные наводнения превращены во всеобщие, ниспосланные с известными нравственными целями. Такой же характер придан вулканическим извержениям, землетрясениям и т. п. Таким образом, вместо скромного «не знаю» – единственного ответа, существующего на приведенные выше вопросы, для разума, еще находящегося в своем первобытном состоянии развития, мы имеем дело с разнообразными мифическими сказаниями, пестрыми легендами и анекдотами. Положительному изучению Земли совершенно чужды все эти мифы, легенды и анекдоты. И если о них здесь и упоминается, то только потому, что своим возникновением они обязаны именно тем вопросам, с которыми имеет дело и наука.

Метафизическое мирозерцание, составляя переходную ступень от супранатуральных воззрений к положительному изучению природы, представляет бесчисленное множество разнообразнейших ответов на вопросы о происхождении Земли и переменах, на ней совершавшихся. Несмотря на это разнообразие, все ответы можно расположить в возрастающей прогрессии от супранатурализма до науки, смотря по тому, берется ли за точку исхода отвлеченное понятие – гармония чисел, идеи, абсолютное бытие или какое-нибудь наблюдение – действие воды, огня и т. д. Последний ряд, смотря по количеству и значению фактов, служащих опорной точкой построения и соотношения к ним делаемых из них выводов, привел бы нас к воззрениям, достойным назваться научными, но еще подпадающим под влияние метафизических традиций, постепенное освобождение от которых и ведет к чисто научным решениям вопросов. Если бы мы представили теперь распределение геогенических и геологических взглядов в упомянутом порядке, то читателю было бы видно, как менялись мало-помалу группировка и значение трех главных вопросов касательно жизни Земли. Как, например, по мере накопления материалов все больше брали верх те вопросы, которые могут быть выведены из

этих фактов, как отступали назад те, источником которых, из-за отсутствия положительных данных, все-таки оставалось воображение. Или как менялась постановка этих вопросов под влиянием критики и трезвого взгляда на достижимость поисков, приведших, наконец, к явственному отделению догадок от гипотез и заключений, подтверждаемых доказательствами. Мы не станем, однако, так долго останавливаться над характеристикой метафизических взглядов на происхождение и развитие Земли, так как эти взгляды, почти столь же мало, как и супранатуралистические воззрения, имеют общего с современной наукой. Нет сомнения, что и метафизические предположения содержат иногда известную долю истины, но она, связываясь с общим неустойчивым строем учения, никогда не могла пустить корней, не могла иметь влияния на будущий ход научных соображений. По этой причине метафизический фазис развития взглядов на геогению и геологию может иметь значение только в истории развития мысли, в истории же развития науки его можно пропустить без вреда для этой истории, так как он не дал никакого научного плода.

Научный период развития геологии, т. е. именно тот период, с которого начинается определенное и последовательное развитие этой отрасли знаний, как науки, начинают обычно с фрейбергского геолога Вернера, со второй половины прошлого столетия. Из этого не следует, конечно, что научные взгляды не высказывались ранее: последовательное возникновение мировоззрений не исключает возможности их сосуществования не только в одно время, но даже и в одном и том же уме. Они не могут сосуществовать только в решениях одного и того же вопроса. Метафизическое решение неизбежно устраняет или даже уничтожает решение теологическое, научное же решение делает излишним и то, и другое. Таким образом, все изобретения, открытия, весь прогресс умственной деятельности, служа упрочению, уяснению и расширению научного мировоззрения, способствует его господству над умами и отодвигает на задний план предшествовавшие ему теологические и метафизические учения. Такой ход развития совершенно верен в применении к прогрессу геологических наблюдений. Уже в древности, когда количество наблюдений было еще чрезвычайно ма-

лочисленно, когда средства изучения природы были до крайности скудны, когда во всех отраслях знания надо было прокладывать совершенно новые пути, – в это время даже умы, свободно обращавшиеся к наблюдению природы, без робко предвзятых авторитетов, без предварительно измышленных умозрительных теорий, доходили до результатов, которые можно назвать научными, как они ни отрывочны. Аристотель и, в особенности, Страбон, высказали некоторые положения, которые могли бы стать исходными точками для целого рода других таких же положений и привести, таким образом, к установлению науки на началах наблюдения, а впоследствии, конечно, и опыта. Но последовавшее в известный исторический период сильное уклонение человеческого ума к вопросам супранатурального и умозрительного характера, надолго отсрочило эту желанную эпоху. Аристотель заметил, что распределение суши и моря в некоторых странах не всегда остается одинаково, что часто море появляется там, где была суша, и потом снова суша там, где было море. Он предположил, что такие изменения совершаются по известным законам, в известный период времени, что большие реки, например Нил или Танаис (Дон), не существовали изначально. Он был уверен, что места, из которых они возникли, были некогда сухи, и что в будущем непременно существует предел их течению. А так как для времени пределов нет, то следует думать, что *все* изменяется с течением времени.

Мы видим, как здравы и глубокомысленны эти наблюдения с точки зрения современных геологов.

Но еще замечательнее воззрения Страбона. Он заметил, что воды поднимались или опадали, отступали от некоторых местностей и наводняли другие. Причину таких явлений он видел в том, что одна и та же местность иногда поднимается, а иногда оседает. Таким образом, море то прибывает, то убывает, поэтому оно то наводняет землю, то снова возвращается в свое ложе. Из этого можно заключить, утверждал он, что земля, как находящаяся под морем, как и затопляемая им, подвижна. Кроме этого замечательного наблюдения, он высказал еще одну общую для всех геологических явлений мысль, значение которой могло быть оценено лишь в новейшее время. Он гово-

рил, что заимствовать свои объяснения всегда следует из таких явлений, которые очевидны и которые случаются, так сказать, ежедневно, как, например, наводнения, землетрясения, вулканические извержения и внезапное вздувание земли под морем, ибо последнее поднимает и само море. Когда же морское дно снова оседает, то заставляет оседать и море. Из этого Страбон вывел заключение, что не только малые и большие острова, но и целые материки могут оседать и вновь подниматься.

Он первым, наконец, посмотрел на вулканы, как на предохранительные клапаны, утверждая, что землетрясения там бывают слабее, где существуют уже готовые кратеры для извержений.

Примерами таких здравых, но отрывочных взглядов на развитие Земли довольно богат весь многовековой доляйэллевский период истории геологии. С первым пробуждением умственной деятельности в X веке у арабов, мы находим уже весьма верные отдельные мнения у Авиценны, Омара Эль-Аалема и в XIII веке у Могамеда Кацвини. В Европе, в первые же годы Возрождения, появляется Агрикола со своими замечательными трудами по минералогии. Позже мы встречаем Палисия, Стенона, Листера, Лаццаро Моро, Дженерелли и многих других, открытия которых по геогнозии и палеонтологии произошли непосредственно из наблюдения, подготовив почву для установления научных теорий. Историку науки весьма важны все эти мнения в их последовательном и связном развитии. Наша же общая характеристика геологических воззрений может довольствоваться изложением взглядов только тех немногих ученых, которые, подобно Аристотелю и Страбону, стояли выше общего уровня и больше других способствовали обособлению теорий, имевших научную точку опоры наблюдения, от тех, которые опирались на выгороженном из критики авторитете или зыбком произволе фантазии и личного умозрения.

Таковыми опередившими свой век учеными был Лаццаро Моро (1740) и его комментатор Дженерелли (1749). Моро, вопреки общепринятому в его время мнению, утверждал, что все великие явления природы, как относящиеся к глубокой древности, так и новейшие, одинаково происходят от постоянного действия обыкновенных при-



чин, обуславливающих все естественные явления и в настоящее время. Его сочинение «О раковинах и других морских телах, находящихся на горах» (*Sui trostacei ed altri Corpi marini che si trovano sui monti*)<sup>1</sup>, вышедшее в свет в 1740 году, содержит основательное и изящное изложение его теории. Моро был хорошо знаком с древними писателями и, очевидно, заимствовал основания своей теории у Страбона. Замечательные явления, случившиеся при его жизни, обратили его внимание на деятельность подземных сил. Появление нового острова в Санторинском заливе (1707) дало ему повод остроумно осмеять нелепые мнения его современников. Он описывает вымышленный проезд на новый остров общества натуралистов, ничего не знающих о его недавнем происхождении. Один из них тотчас же указывает на морские раковины, как на подтверждение всемирного потопа, другой говорит, что они свидетельствуют о первобытном пребывании моря на горах. Третий принимает их за простую игру природы, четвертый доказывает, что они родились и вскормились внутри этой скалы в древних пещерах, в которые соленая вода поднималась в виде паров от действия подземного жара. Но ни один из этих глубокомысленных метафизиков не приходит даже к малейшему намеку на то, что остров образовался именно теми силами, которые работали на глазах у самих наблюдателей.

Теория Моро была так глубоко понята и усвоена Джеренелли, что он был уверен в возможности, при ее помощи, без насилия, вымыслов, гипотез и чудес, объяснить все явления. Но таких независимых умов было немного.

В процессе возникновения и роста числа научных воззрений в области геологии, в высшей степени поучительно проследить за тем давлением, которое оказывают супранатуралистические учения и метафизика на выводы, которые выводили ученые из своих наблюдений. Даже в наше время мы имеем печальный пример умоизвращения Агасиса и ему подобных геологов, но такое умоизвращение имело несравненно большие размеры, было гораздо грубее тогда, когда его

---

<sup>1</sup> Моро Л. О раковинах и других морских телах, находящихся на горах. – М., 1740.

причины были и резче, и сложнее. В эти печальные эпохи целые периоды литературы, сохраняя свою внешнюю связь с геологией, вырождались, по меткому выражению Фогельзанга, в ничтожную «Sündfluth-Literatur» или что-нибудь подобное<sup>1</sup>. Не менее печальны и влияния метафизики, которые в сильной степени отразились и на отце современной геогнозии – Вернере. Геологические мнения Вернера были основаны на непосредственном изучении явлений, представляемых земной корой. К несчастью, эти наблюдения ограничивались только окрестностями того города (Фрейберга, в Саксонии), где протекала ученая деятельность этого замечательного человека. Если бы Вернер не был заражен метафизикой, его наблюдения послужили бы драгоценным материалом для его преемников. На самом деле, он, как метафизик, считал себя вправе говорить о «всемирных формациях», сооружать всеобщую теорию их нептонического происхождения. Однако, в то же время, все его наблюдения ограничивались одним маленьким саксонским округом, да и тут, как заметил Ляйэлль, на расстоянии часа ходьбы от Фрейберга, можно было встретить факты, явно опровергавшие его поспешные заключения. Нептуническая теория Вернера, по словам Спенсера, нелепа не только потому, что она представляет выводы, несоразмерные с массой сделанных наблюдений, но еще и потому, что не выдерживает анализа: «Совершенно непонятно, каким образом всеобщий хаотический раствор мог осаждать, один за другим, многочисленные, резко определенные пласты, отличающиеся друг от друга по составу. Еще непонятнее, каким образом осаждаемые таким способом пласты могут содержать животных и растения, которые не могли существовать при предполагаемых условиях»<sup>2</sup>. Это замечание Спенсера выказывает еще одну слабую сторону теории Вернера, сторону, обнаруживающую в нем метафизика, т. е. человека, увлекающегося объективацией понятий и ускользающего от неумолимых требований действительности. В меньшей степени, чем глава нептонистов — Вернер, был подчинен влиянию метафизики Гюттон —

---

<sup>1</sup> Vogelsang H. Philosophie der Geologie. – Bonn, 1867. – P. 57.

<sup>2</sup> Спенсер Г. Нелогическая геология. Собр. соч., вып. IV. – СПб., 1885. — С. 281.

глава вулканистов. Этот геолог пошел гораздо дальше Вернера: взгляд его шире, метод рациональнее, но окончательные выводы почти такие же односторонние, как и выводы Вернера. Гюттон, сам того не зная, в некоторой степени развил взгляды Стенона. Он указал на то, что осадочные слои никогда не перестают образовываться на дне моря из ила, приносимого пресноводными течениями. Также он обратил внимание на то, что те наслоения, из которых состоит большая часть видимой поверхности земли, носят следы, указывающие на образование их прежде бывшего материка, и заключил, что эти наслоения могли превратиться в сушу только из-за повышения почвы, последовавшим за их образованием. Таким образом, он пришел к выводу, что в течение неопределенного периода времени в прошлом должны были происходить периодические перевороты, поднимавшие материки и сопровождавшиеся промежутками покоя, на протяжении которого образовавшиеся материки смывались и снова превращались в подводные наслоения. Они, в свою очередь, поднимались над поверхностью океана.

Отличительной чертой этой теории от теории Вернера было еще и то, что Гюттон не допускал никакой причины, которая не принадлежала бы к настоящему порядку природы. При всем этом превосходстве над Вернером, Гюттон, по мнению Ляйэлла, ни на шаг не опередил Лаццаро Моро и некоторых других предшествовавших ему геологов. Он даже отстал от них, допустив перемежающиеся периоды повсеместного потрясения и покоя, которого не допускали ни Моро, ни Дженоерелли.

«Нет никакого сомнения, – говорит Ляйэлли, – что периоды потрясения и покоя последовательно наступали во всякой области земного шара, но не менее того справедливо, что сила подземных движений всегда была одинакова по отношению ко всей Земле. Сила землетрясений в известный период постоянно ограничивалась, как и теперь, большими, но определенными пространствами, и потом постепенно перемещалась, таким образом, что другая область, в течение

веков пребывавшая в покое, в свою очередь становилась великим центром ее действий»<sup>1</sup>.

Эти замечания не имеют целью умалить значение действительных заслуг Вернера и Гюттона, но, скорее, смягчают степень их заблуждений, объясняя их причину. Мало того: как ни сильно влияние метафизики на теории этих двух геологов, оно не простирается, однако, до такой степени, чтобы заставить их отвергать наблюдение, как основание своих теорий, и таким образом упорно удерживать метафизико-геологический порядок и постановку вопросов. Геогения отходит уже на задний план, а на первый выступает вопрос о составе земной коры. Масса фактов не перестает возрастать, накапливается материал, который впоследствии обнаружит несостоятельность слишком поспешных теорий и послужит основанием более совершенным теориям.

Очень важны в этом смысле работы Джемса Галля, в первый раз применившего *опыт* к решению геологических вопросов. Страсть к гипотетическим теориям была так сильна, что опыты Галля были почти не замечены и не смогли помешать неистовому и чисто нелепому спору вулканистов и нептоунистов, – спору, все больше обнаруживавшему несостоятельность обеих спорящих сторон. Таким образом, умы еще не освободились полностью от влияний вернер-гюттоновских воззрений, и новая теория, выработанная в конце прошлого века гениальными людьми и имевшая позже не менее гениальных представителей, не могла, несмотря на многие великие достоинства, развиться до чисто научной системы. Она послужила только переходной ступенью от полуметафизических воззрений исключительных нептоунистов и вулканистов к научным воззрениям нашего времени.

Переходная теория, о которой мы говорим, насчитывает в числе своих основателей и последователей таких людей, как Кант, Гершель, Лаплас, Кювье, Эли де Бомон и др. Геогения занимает в ней весьма видное место, представляя одну из самых блестящих гипотез, какие только создавал когда-либо человеческий ум. Первоначальная идея

---

<sup>1</sup> Ляйэлль Ч. Основные начала геологии. В 2 т. – М., 1866. – Т. 1. – С. 59.

этой геогении была высказана Кантом еще в 1755 году, в его «Allgem. Naturgeschichte des Himmels»<sup>1</sup>, потом развита В. Гершелем и, наконец, получила свою окончательную блестящую форму в «Exposition du systeme du monde»<sup>2</sup> Лапласа, появившемся в 1796 году.

Чтобы читатель мог судить о достоинствах и недостатках гипотезы Лапласа, я напоминаю ему ее в общих чертах.

Лаплас предполагает, что в неопределенно отдаленное от нас время вся масса материи, из которой состоят небесные тела, наполняла собою все небесное пространство, а потому состояние этой массы было в высочайшей степени разреженное – газообразное. Но так как масса этой материи и тогда неизбежно подчинялась тем же законам, которые и теперь управляют естественными явлениями, то, вследствие силы притяжения, частицы этой газообразной материи стали стремиться друг к другу, встречаться, соединяться химически... Это сближение и соединение частиц, естественно, развило их нагревание, которое, мало-помалу, вследствие сложности и многочисленности вызывавших теплоту процессов, достигло в центральных точках уплотнения материи, сильнейшей степени калильного жара. Эти центральные точки представили, по прошествии известного времени, определить которое невозможно, отдельные сферы, которые, будучи результатом движения частичек материи к одному общему центру, притом с неравномерной скоростью, двигались вокруг своих осей и общего центра тяжести. Наша Солнечная система произошла от одной из таких сфер, вследствие изменений, которые пришлось претерпеть огненной массе этой сферы, не перестававшей изменяться согласно с законами, вечно и неизменно присущими материи. Изменения, обнаружившиеся прежде других, были следствием центробежной силы: от сферы стали отделяться кольца, имевшие, подобное ей, вращательное движение. Это отделение колец, или обручей, продолжалось до тех пор, пока сцепление частиц центрального тела могло противиться дальнейшему их отделению. Далее изменения пошли все

---

<sup>1</sup> Kant I. Allgem. Naturgeschichte des Himmels. – Berlin, 1755.

<sup>2</sup> Laplace P. Exposition du systeme du monde. – Paris, 1796.

тем же, правильным, естественным порядком: неровная толщина колец и их неравномерное охлаждение послужило причиной их разрыва и сгущения в отдельные, сравнительно небольшие сфероиды, продолжавшие двигаться в том же направлении, по которому двигались кольца. Эти сфероиды и есть планеты, в своем первоначальном газообразном состоянии. Некоторые из них отделили кольца, подобно центральному телу – Солнцу и, вследствие разрыва этих колец, приобрели себе спутников. Другие такие же кольца отделили, но спутников не имеют. У третьих, наконец, кольца остались неразорванными и продолжают вращаться вокруг планеты до настоящего времени.

В Солнечной системе такие кольца остались только у одной планеты – Сатурна.

Итак, согласно идее Лапласа, все планеты, вращающиеся вокруг Солнца, были прежде его составной частью и представляли одно громадное сферическое тело, плотность которого была меньше плотности водорода. Период такого газообразного состояния продолжался и после отделения колец, и потому Земля, как и всякая планета, начала свое отдельное существование с формы газообразного шара, диаметр которого в шесть раз превосходил настоящий поперечник Земли. Все планеты в этот период времени отличались только по величине и не имели никакого индивидуального характера. Этот характер они стали приобретать только тогда, когда охлаждение, доведя их до теперешних размеров, начало образовывать твердую кору. Эта гипотеза, как мы сказали уже, блестяща, гениальна. Она лучше, чем любая другая, объясняет все великие явления астрономии: единообразное движение планет от запада к востоку, их вращение вокруг своих осей и общего центра тяжести, вращение и движение большей части спутников вокруг их планет и т. д. Наконец, кольца Сатурна красноречивее всего остального говорят в пользу вероятности этой гениальной гипотезы. Наблюдением небесных явлений не истощаются, однако, доказательства, подтверждающие эту вероятность. Французский физик Плато придумал в высшей степени остроумный способ, которым воспроизводятся в малом размере явления, имеющие у Лапласа космическое значение. Но, как ни обаятельно действует на ум эта теория, не надо

забывать, однако, что она не больше, чем гипотеза, и что сам Лаплас относился к ней с *недоверием*<sup>1</sup>. И на самом деле, эта гипотеза, по замечанию Э. Реклю<sup>2</sup>, не объясняет возникновения и законов движения комет, тяготеющих к центру Солнечной системы, но чуждых этой системе, по мнению Лапласа. Она не объясняет эллиптической формы планетных орбит и наклонного положения планетных осей, она противоречит направлению движений спутников Урана, вращающихся вокруг этой планеты в сторону, противоположную направлению движения спутников всех других планет. Отдаленные туманные пятна, долго считавшиеся астрономами массами не сгустившейся космической материи, изучены теперь при помощи усовершенствованных телескопов, а потому перестают служить данными, подтверждающими гипотезу Лапласа. Из этого очевидно, что данная гипотеза не может считаться состоятельной, так как она не объясняет *все*, охватываемые ею явления.

Но каким изменениям подверглась та газообразная, раскаленная сфера, из которой впоследствии образовался твердый шар, называемый нами Землей?

Эта газообразная, раскаленная сфера, утверждают систематики той школы, с воззрениями которой мы теперь знакомим читателя, теряла от лучеиспускания в беспредельное пространство свою теплоту, вследствие чего сжималась и мало-помалу переходила из газообразного в жидкое состояние. Этот переход совершался, однако, неравномерно, так как степень охлаждения для различных составных частей Земли была различна. Таким образом, и тогда, когда значительная масса сфероида находилась в жидком состоянии, ее облекал газообразный слой не сгустившихся частиц. Мало-помалу, некоторая доля этих частиц стала сгущаться и опускаться на жидкое ядро, охлаждение которого превратило его из жидкого состояния в твердое. Эти отвердевшие части соединялись постепенно в одну массу, подобно льдинам замерзающей реки, и сплотились, наконец, так, что образовали одну сплошную твердую кору.

---

<sup>1</sup> Exposition du système du monde. – Paris, 1824. – P. 450.

<sup>2</sup> Reclus É. La terre. – Paris, 1876. – P. 22, 23 et suiv.

Окончательное образование этой коры не могло, однако, совершаться путем равномерного отвердения. Неравномерная толщина коры, ее различный состав, обуславливавший неровную степень охлаждения, влияние приливов и отливов внутренней огненно-жидкой массы — беспрестанно производили трещины, сквозь которые извергалась эта масса, застывая на поверхности в виде неровных возвышений. Эти возвышения и были первобытными горными цепями, образовавшимися на только что застывшей и еще раскаленной поверхности Земли.

Эта поверхность, изрытая по всем направлениям такими горными цепями и трещинами, продолжала охлаждаться. Настало, наконец, время, когда ее температура, а вместе с тем и температура окружающей атмосферы, понизилась до того, что пары, изобильно содержащиеся в этой последней, перешли из газообразного в жидкое состояние и упали в виде дождя на Землю. Но первый дождь, сошедший на раскаленную поверхность планеты, не мог остаться на ней и немедленно превратился в пары. Он поднялся в верхние слои атмосферы, откуда новое охлаждение опять устремило его на Землю в виде дождя.

Сколько времени продолжалась эта борьба стихий — определить, конечно, невозможно. Можно утверждать только то, что настало время, когда победа осталась на стороне воды, которая и наполнила собой все углубленные части земной поверхности. Вода эта естественным образом заключала в себе огромное количество минеральных частиц, примешавшихся к ней вследствие размывания ею твердых масс земной коры. После многих и многих лет кипения такой воды в тех местах, где она накопилась, образовались огромные моря минерального болота, начавшего давать осадок только тогда, когда всеобщее движение кипения и дистилляции прекратилось. Эти осадки, отличаясь ровными слоями, образовали те первоначальные породы, большей части которых не суждено было, однако, долго остаться в том состоянии, в котором они отложились. Под влиянием раскаленной поверхности, с которой они вошли в непосредственное соприкосновение, они были расплавлены и претерпели различные преобразо-



вания (метаморфозы). Их позднейшее кристаллизование, бывшее следствием продолжавшегося охлаждения Земли, образовало сланцы, находящиеся теперь поверх первоначальных пород огненного происхождения.

Следом за этими первыми потрясениями последовал период сравнительно более спокойный, известный у той школы геологов, мнения которых мы теперь излагаем, под названием «переходной эпохи». В течение этой последней эпохи на Земле появляется жизнь, и два первобытные животные – *Eozoon Canadense* и *Paradoxides Harlani* – как бы оспаривают одно у другого честь называться первым звеном жизни на нашей планете.

Таким образом, мы перешли из области геогении в область геогнозии. То есть, от воззрений, имеющих характер не более, как гипотетический, к той части геологии, которая, вместе с палеонтологией, содержит в себе все данные для научной достоверности. На самом деле, не представляют ли горные породы, минералы, окаменелости, какие только теперь были открыты и исследованы, как бы богатый архив, содержащий всю историю Земли, тогда как геогенические воззрения опираются на одни только догадки. Геогностические и палеонтологические воззрения строятся на прочном основании наблюдательных и испытываемых явлений, и геологу надо только уметь пользоваться находящимся перед ним архивом, чтобы придать своим исследованиям вполне научное значение.

Геологи той школы, воззрения которой непосредственно связываются с геогенической гипотезой Лапласа, не были еще, как мы и сказали, свободны от влияния метафизики. Они не могли приступить к изучению геогностических и палеонтологических явлений без всяких предвзятых идей, с полной решимостью следуя безусловно научным указаниям. Это обстоятельство отклоняло их от прямого научного пути и не разрешало им пользоваться «архивом» истории Земли так, как это было возможно при сравнительно высоком состоянии развития точных знаний, на которые они могли опираться. Мы остановимся на Кювье, как на самом характерном представителе систематиков этой школы, и покажем, что даже великие научные открытия

этого ученого, далеко вперед продвигавшие частные отрасли геологии, служили, при метафизическом строе его мышления, источником ложного разрешения общих вопросов этой науки.

Открытия, о которых мы говорим, касаются палеонтологии, и нам приходится сказать о ней теперь несколько слов.

Верные взгляды на окаменелые остатки организмов, находящихся в земле, имели общую участь со всеми положительными знаниями естественных явлений. Древние ученые пытались установить их на основании наблюдения, но эти попытки были забыты, и в следующую затем эпоху падения умственной деятельности выдвигаются самые безобразные мнения. Схоластические ученые обнаружили особенно богатую изобретательность. Андрей Маттиоли, например, ботаник и комментатор Диоскорида, утверждал, что какое-то жирное вещество, «*materia pinguis*», приходя от теплоты в брожение, производит ископаемые, органические формы. Падуанец Фаллоппио полагал, что окаменевшие раковины зарождались от брожения в местах, на которых находились, и что в некоторых случаях они получали свою форму от «возмущенного движения земных испарений». Он хотя и славился как профессор анатомии, однако доказывал, что слоновые клыки, вырытые в его время в Апулии, были не что иное, как земляные отвердения. Основываясь на таких началах, он дошел до того, что принял посуду, найденную в Риме, за естественные отпечатки на почве. Наиболее распространенный взгляд на окаменелости в Средневековье заключался в приписывании их образования каким-то таинственным силам «*vis plastica*», «*nisus formativus*» и т. п. Или, наконец, их просто считали игрой природы, «*lusus naturae*». Эти и подобные нелепости, будучи в течение столетий единственными решениями вопроса об ископаемых органических остатках, вместе с другими не меньшими абсурдами, изобильно обретавшимися в упомянутой уже нами «*Sündfluth-Literatur*», пустили в умах до того глубокие корни, что еще даже в прошлом столетии можно было утверждать, что каменные породы оплодотворялись посредством так называемого «*Auga seminalis*», проникавшего в них вместе с водой, и производили то «каменное мясо» (*caro fossilis*), которое мы считаем теперь окаменелыми остатками древних организмов.

Здоровые научные взгляды встречаем мы только в эпоху Возрождения. Знаменитый Леонардо да Винчи (1452-1519) утверждал, что ил, откладывающийся в виде осадка в воде, служил причиной окаменения тех органических остатков, которые в нем погребались. Фракасторо (1517) был убежден, что ископаемые раковины принадлежали живым животным, некогда обитавшим в тех местах, где теперь находятся их остатки. То же самое говорил и Бернар Палисси (1500-1589) в своем сочинении «О происхождении ключей из дождевой воды»<sup>1</sup>. Цеховые ученые долго не принимали, однако, этого простого и естественного объяснения, и только со времен Вернера оно вошло в науку и стало, наконец, общепринятым. Строго научное значение эти взгляды на органические ископаемые остатки получили лишь в начале настоящего столетия в трудах Ламарка и Кювье. Этот последний, в своем знаменитом сочинении «Recherches sur les ossements fossiles»<sup>2</sup> (1821-1824), установил на чисто научных основаниях важнейшие законы палеонтологии. Один из которых – различие организмов, погребенных в разных пластах земной коры, от организмов, ныне живущих, тем резче, чем глубже находятся окаменелые остатки. На самом деле, при каждом вертикальном разрезе земной коры можно наблюдать, как постепенно возрастает сходство погребенных в ней организмов с организмами современных животных по мере приближения пластов к наносам новейшего образования.

Возвратимся теперь к общим геологическим воззрениям Кювье, изложенным в его «Discours sur les revolutions de la surface du globe»<sup>3</sup> (1830). Мы уже сказали, что эти воззрения находились в прямой зависимости от его палеонтологических открытий и сложились под влиянием метафизического мирозерцания. Зависимость от палеонтологических изысканий обнаруживается тем, что Кювье, очевидно, ими был приведен к установлению характеристик своих геологических периодов. Влияние же метафизики видно из того, что эти периоды

---

<sup>1</sup> Palissy B. Sur l'origine des clés à partir de l'eau de pluie. — Paris, 1580.

<sup>2</sup> Lamarck J., Cuvier G. Recherches sur les ossements fossiles. — Paris, 1821-1824.

<sup>3</sup> Cuvier G. Discours sur les revolutions de la surface du globe. — Paris, 1830.

были разграничены всеобщими земными переворотами, обусловленными у Кювье действиями особенных сил, переставших проявляться в современном ходе жизни планеты. Таким образом, развитие Земли, как индивида, представляется у Кювье рядом перемежающихся катастроф, сменяемых периодами сравнительного покоя. Причем флора и фауна каждого из этих периодов безусловно отличается от флоры и фауны смежных периодов, так как катастрофы полностью уничтожают все живое, и с наступлением нового периода *создаются* совершенно новые формы растительной и животной жизни. Силы, создающие эти новые формы жизни, — именно те метафизические бытия, которые идут вразрез со всеми современными наблюдениями. Результаты деятельности этих сил — резкие границы флор и фаун различных периодов — противоречат этим наблюдениям, неоспоримо доказывающим ровную постепенность в ходе жизни и отсутствие всяких границ при переходе от одних форм к другим.

Из предыдущего видно, что, несмотря на влияние метафизики, которому, очевидно, были подчинены геологи той школы, о которой мы теперь говорим, научный элемент настолько успел получить в ней значение, что группировка и постановка трех капитальных вопросов, резюмирующих изучение Земли, продолжала заметно прогрессировать в том направлении, о котором мы имели уже случай говорить в настоящем очерке. На самом деле, геогения, хотя и не теряет значения, но ее теории представляются уже только как гипотезы и притом «с недоверием». Между тем, изучение современного строения Земли приобретает такую важность, что начинает заметно колебать априористические воззрения на историю ее развития, как мы и видели это у Кювье, палеонтологические открытия которого обуславливали до известной степени его теорию всеобщих переворотов. Таким образом, изучение современного состояния Земли приобретает все большую и большую важность. Становится очевидным, что наступление того времени, когда всякое воззрение, не опирающееся на это изучение, будет считаться метафизическим, — близко. Уже Кювье и другие геологи этой школы говорили о естественных причинах, производящих современные нам изменения земной коры, но они считали эти при-

чины недостаточными для таких резких изменений, какие, несомненно, совершились на Земле с тех пор, как она существует. Если бы эти геологи не имели в запасе априористической гипотезы об огненно-жидком ядре — гипотезы, вытекающей из геогенической теории, если бы они не подходили, таким образом, к решению вопроса с двух противоположных сторон, метафизической и научной, они бы не имели никакого решения этого вопроса до тех пор, пока не было бы выработано положительное решение. Но отсутствие решения какого-либо вопроса — если этот вопрос поставлен — не в привычках тех, которыми руководит дух метафизики. Решая вопрос, они готовы мгновенно оставить научный путь и вступить на иную дорогу, хоть на такую даже, исходный пункт которой, заведомо для них самих, есть гипотеза, «принимаемая с недоверием». Они готовы на все, лишь бы вопрос был решен или, вернее, лишь бы вопрос считался решенным. В том случае, о котором мы теперь говорим, такая несостоятельность метода имела, как и во всех подобных случаях, два вредных последствия: 1) вопрос был решен метафизически и 2) гипотеза, на которой основывалось это решение, не проверенная положительным методом, осталась в науке. Предстояло, следовательно, рассмотреть еще раз: можно ли объяснить изменения, которые претерпела Земля в прошлом, при помощи естественных сил, ныне в ней действующих, и, если это возможно, проверить, основываясь на изучении этих же сил, удовлетворительность гипотезы огненно-жидкого ядра. Решением этого последнего вопроса обуславливалось бы правдоподобие геогенической теории Лапласа. Таким образом, в силу одной только методической постановки вопросов, они окончательно установились в том порядке, к которому, очевидно, вело все предшествовавшее развитие геологической науки. Основанием этой науки стало изучение современного состояния Земли. За ним следовала теория ее развития, выводимая из этого учения, и только затем допускалась уже геогения, как гипотеза, и то только в таком случае, если она не противоречила ни одному из данных, содержащихся в решениях двух первых вопросов. Главенствующее значение метода в решении всех научных вопросов в настоящем случае высказывается чрезвычайно рельефно и может служить подтверждением правильности ее воззрений.

Переход от полуметафизических теорий к чисто научным взглядам на развитие Земли начался только с тридцатых годов настоящего столетия, то есть со времени выхода в свет «Оснований геологии Ч. Ляйэля». Нельзя не упомянуть, что этот переход мог начаться раньше, если бы не препятствовало еще одно сильно укоренившееся метафизическое зло – подобострастное отношение к авторитетам. В настоящем случае идолом служил Кювье, и его влияние было главным препятствием к дальнейшему ходу развития науки. Новые пути, которые старался проложить в биологии противник Кювье, Ламарк, могли сильно отразиться на геологии. Однако взгляды Ламарка были оценены только сравнительно недавно, а тогда они прошли бесследно, над умами безусловно царствовал Кювье. О несостоятельности его теории не было и речи. Но вот появляется книга Ляйэля и разрушает теорию Кювье до основания. Это совершается именно в тот самый год, когда Кювье празднует свою величайшую победу, когда он закладывает основание господству своих биологических воззрений на целые 30 лет вперед. Очередь падения этих воззрений еще не пришла. Они были разрушены Дарвином лишь в 1859 году, теперь же была подорвана только теория катаклизмов.

Так как школы Кювье и Эли де Бомона не допускали, чтобы одни только ныне действующие причины произвели те изменения, памятники которых мы теперь постоянно встречаем при изучении земной коры, а наука, желающая остаться наукой, не может прибегать к помощи других сил, т. е. к помощи вымышленных объяснений, то оставалось, как я сказал уже, анализировать вопрос, почему ныне действующие причины считаются недостаточными для объяснения последовательной смены различных фазисов развития Земли? Основание такого ненаучного мнения Ляйэль находит в различных предрассудках, мешавших прежним геологам не только разрешить, но и верно поставить этот вопрос. Другими словами, виною несостоятельности их воззрений был метафизический склад их мышления. Прежде всего, Ляйэль указывает на господствовавшее до него предубеждение относительно продолжительности прошедших времен. «Читатель легко может удостовериться, – говорит он, – что как бы ни был

неуклончив естественный ход природы с самых ранних эпох, людям, впервые начавшим разрабатывать геологию, не представлялось возможным составить себе такого точного заключения, пока они заблуждались во мнениях относительно возраста нашей планеты и времени появления на ней первых живых существ. Как ни фантастичны кажутся теперь некоторые теории XVI столетия, недостойные, казалось бы, их авторов – людей талантливых и здравомыслящих, однако мы можем быть уверены, что если бы ныне господствовало такое же ложное понятие относительно памятников человеческих деяний, то и оно привело бы точно к такому же ряду нелепостей. Предположим, например, что Шамполион и другие французские и тосканские ученые, занимавшиеся исследованием древностей Египта, прибыли в эту страну с твердой уверенностью, что берега Нила не были населены людьми до начала XVI столетия. Допустим, что эту их уверенность точно также трудно было поколебать, как и мнение наших предков о том, что Земля, до появления нынешних континентов и существующих теперь животных, не была населена живыми существами. При таком предположении, нетрудно угадать, в какие странные гипотезы вдались бы эти ученые, если бы они, под влиянием такого заблуждения, начали объяснять памятники, открытые в Египте. Зрелище пирамид, обелисков, колоссальных статуй и разрушенных храмов преисполнило бы их таким удивлением, что на некоторое время они были бы совершенно очарованы и лишились бы способности здравого обсуждения фактов. На первых порах они были бы готовы приписать проведение таких громадных работ каким-нибудь сверхчеловеческим силам первобытного мира»<sup>1</sup>. Далее Ляйэлль высказывает предположение, что в то время, когда разные вымышленные объяснения занимали бы этих ученых, было открыто обширное хранилище мумий. Что сказали бы эти ученые? Не повторилась ли бы с мумиями та же история, что и с окаменелостями? Не были бы и мумии приписаны игре природы, пластической силе?

Но предубеждение относительно продолжительности прошедших времен не ограничивалось одним только указанным выше пред-

---

<sup>1</sup> Ляйэлль Ч. Основные начала геологии. В 2 т. – М., 1866. – Т. 1. – С. 70.

рассудком. Даже в то время, когда, наконец, убедились, что Земля была заселена живыми существами раньше, чем предполагалось, все еще не понимали, в какой пропорции к исторической эре стояло время, до нее протекшее. Это время считали сравнительно очень малым. Если бы в соответствии с таким уменьшением времени в истории Земли уменьшили бы время какой-нибудь исторической эпохи, предположив бы, например, что ряд событий, в действительности совершившихся в течение тысячелетия, совершился в один век, то одним этим предположением обратили бы обычный ход истории взятой нами эпохи в басню, полную чудес и непонятных явлений. Такими непонятными явлениями и были катаклизмы Кювье и де Бомона, страдавших объясненным выше предрассудком относительно определения продолжительности прошедших времен.

Источники предрассудков, о которых до сих пор шла речь, свойственны по преимуществу незрелому состоянию науки. Однако есть еще и предрассудки другого рода, на которые также обратил внимание Ляйэлли. Они свойственны всем нам вследствие особого нашего положения как обитателей Земли. Люди населяют только четвертую часть ее поверхности. Эта часть почти исключительно служит театром разрушения, а не воспроизведения. Мы знаем, конечно, о процессах, совершающихся на дне моря и в недрах Земли, но мы не можем следить за ними. Мы можем только представлять их себе, а потому несовершенно определяем эти результаты. Последнее обстоятельство лишает нас возможности признать сходство этих результатов с результатами первобытных эпох, когда мы их рассматриваем. «Кто наблюдал выломку камня из какой-нибудь горной породы, – говорит Ляйэлли, – и видел, как его отправляют на корабле в отдаленный порт, а потом старался представить, какого рода здание будет построено из этих материалов, тот находился в таком же затруднении, в каком пребывает геолог, который, будучи ограничен сушию, видит разложение горных пород и перенесение вещества по реке в море, и потом старается вообразить те новые пласты, которые природа устраивает под водами»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 75.



Из этого видно, что геолог, желающий освободиться от метафизических теорий и заменить их научными, должен отрешиться от предвзятого понятия о продолжительности жизни Земли, и, вооружась как можно более многосторонним изучением современного ее состояния, создать себе точку опоры для решения вопроса о минувших фазах ее развития. Заслуга Ляйэлля заключается не только в том, что он именно так поставил этот вопрос, но еще и в том, что решил его с той ученостью и глубиной мысли, которая ему присуща, при помощи тех многочисленных путешествий, которые он совершил в разные части света, – путешествий, столь необходимых для геолога.

«Школа Кювье и Эли де Бомона, – говорит Боккардо, – представляет природу чрезвычайно щедрой на трату сил и скупой на время. Школа Ляйэлля, напротив, видит в ней тихую и спокойную, но неутомимую энергию, не прекращавшуюся в течение беспредельного ряда веков. Памятники, представляемые нам горными цепями и напластованиями каменных пород, так же, как и дном океана, не относятся (согласно воззрениям этой школы) к разряду явлений, миновавших навеки. Это не древние хартии, письма которых, выражая отжившие идеи, принадлежат мертвому языку, но книги, написанные на языке живом, которым выражается теперь и будет вечно выражаться природа»<sup>1</sup>.

Рассмотрим же, в чем заключается действие сил, непрерывно меняющих вид земной поверхности.

Исследование земной коры, несомненно, доказывает, что в ней происходит постоянное изменение. По-видимому, твердая и неподвижная кора никогда не остается в покое и в действительности столь же подвижна, как и ее воздушная оболочка, как облегающий ее некоторые части океан, как сама планета, наконец, незаметно для нас совершающая свое вечное движение в пространстве. Разница этих различных движений заключается только в том, что движение частиц, составляющих твердые части земной поверхности, совершается сравнительно чрезвычайно медленнее. Иногда целые века необходимы

---

<sup>1</sup> Boccardo G. Fisica del globo. – Genova, 1868. – P. 145.

для того, чтобы результаты движения стали заметны для человека, всегда готового утверждать, что почва, мнимую неизменяемость которой он наблюдает изо дня в день в течение целой жизни, неподвижна. Но мы знаем, что было время, когда неподвижными считались и звезды,двигающиеся, однако, с громадной быстротой. Бернгард Котта говорит, что круговращение материи в такой же мере применяется к неорганической, как и к органической природе. Поэтому практически нельзя найти горной породы, образование которой было бы не ново и которая сохранилась бы до настоящего времени в том состоянии, в котором возникла<sup>1</sup>.

Этот вечный процесс изменений, претерпеваемых твердой частью Земли, и воздействует на ее поверхность, постоянно видоизменяя. Ляйэлли говорит, что эта внутренняя работа, то поднимающая, то понижающая, то разрушающая верхние напластования, может заключаться или в расширении твердого вещества от непрерывно возрастающего жара, или в расплавлении горных пород, или в кристаллизации густой жидкости, или в накоплении запертых газов. Во всяком случае, отбрасывая гипотезу внутреннего огненно-жидкого ядра и без предвзятой мысли наблюдая за изменениями земной поверхности, мы можем утверждать, что эти изменения происходят от внутренней работы в тех пластах, которые служат как бы основанием наблюдаемой местности, и что эта внутренняя работа заключается в изменении строения земного шара на неизвестной для нас глубине и в пространстве, определение которого более или менее возможно в каждом частном случае. Так, например, пространство, занимаемое внутренней работой, поднимающей почву Швеции и Норвегии, приблизительно простирается на 1000 миль в длину и несколько сот миль в ширину.

Таким образом, объясняется тот несомненный и давно замеченный факт, что земная кора подвижна и что ее движение весьма разнообразно. Местами целые массы земли медленно поднимаются в течение веков, местами же опускаются столь же медленно и постепенно. Местами это движение переходит из одного в другое, и есть

---

<sup>1</sup> Cotta B. Die Geologie der Gegenwart. – Leipzig, 1872. – P. 15-93.

пункты, которые успели совершить и то, и другое движение даже в историческое время, как, например, храм Сераписа близ Пуццуоли, стоящий теперь на суше и носящий следы своего погружения в море. Такое движение материков можно сравнить с волнениями вод океана. Это волнение почвы можно проследить теперь при помощи науки и понять, таким образом, естественность тех величественных результатов, которые казались прежним геологам работой преходящих, непонятных катаклизмов. «Придет время, – говорит Дарвин, – когда неподвижность земной коры в течение целого периода ее истории будет столь же непонятна, как теперь непонятна неподвижность атмосферы в течение целого времени года».

Поднятия, понижения и колебания земной поверхности чрезвычайно многочисленны<sup>1</sup>. Мы уже упоминали о поднятии почвы Скандинавского полуострова. Почва эта поднимается приблизительно на 3 фута в столетие. То же самое происходит вдоль всего западного берега Южной Америки. Также замечено поднятие островов, входящих в состав Японии, Сандвичевых, Марианских островов, Лиу-Киу, Шпицбергена и Сардинии, северной части Шотландии, Сицилии, Ньюфаундленда и т. д. Наоборот понижаются: южная часть Гренландии, северо-восточная часть Австралии, северная часть Суэцкого перешейка, острова Мальдивские, Канарские, Зеленого мыса, штаты Геorgia и Каролина, восточный берег Патагонии и т. д. Приняв за исходную точку эти повышения и понижения, стоит только умножить их вековые результаты на те миллионы тысячелетий, которые следует изучать при обозрении жизни земного шара. Так мы получим те колоссальные последствия, которые теперь поражают наблюдателя и для пояснения которых монаху Средневековья нужны были супранатуралистические толкования, а геологу школы Кювье и Эли де Бомона – катаклизмы.

Результаты деятельности подземных сил не всегда, впрочем, так медленны и постепенны, как упомянутые нами поднятия и пони-

---

<sup>1</sup> Любопытную карту поднятий и понижений см. у Reclus E. La terre, description des phenomenes de la vie du globe. – Paris, 1869.

жения почвы. Землетрясения и вулканические извержения ведут, как известно, к весьма сильным опустошениям и служат причиной очень заметных перемен на земной поверхности. Перемены эти, не надо забывать, всегда ограничиваются крайне тесными границами, так что, сравнивая поверхности, на которые они распространяются, с общей поверхностью земного шара, нельзя не признать их ничтожными. По крайней мере, ничтожными настолько, что только несметное число сильнейших землетрясений и извержений в состоянии произвести заметную перемену во внешнем виде Земли. Что касается извержений, то верность этого замечания слишком очевидна, чтобы о ней распространяться. В отношении землетрясений надо иметь в виду то, что сфера их деятельности часто преувеличивается. Например, нет никакой возможности утвердительно относить к одной общей причине явления землетрясения в разных, находящихся далеко одна от другой странах в том случае, когда промежуточные местности не испытывали колебаний почвы. Притом же, самое громадное землетрясение из всех, какие только, судя по геологическим памятникам, происходили на нашей планете<sup>1</sup>, охватило окружность, диаметр которой был равен приблизительно длине линии, проведенной от берегов Боливии до Сан-Франциско.

Речь идет о землетрясении 1868 года. Оно покрыло развалинами почти весь западный берег Южной Америки, разрушило десять больших городов, несметное число местечек и деревень, было причиной гибели многих тысяч людей... Рассказы о нем наводят ужас. Однако нельзя согласиться, что такое бедствие не дает ни малейшей идеи о всеобщем катаклизме, созданном воображением Кьюве и его школы.

Из сказанного нами о явлениях, производимых подземной работой сил, читатель мог заключить, что их объяснение не нуждается в гипотезе внутреннего огненно-жидкого ядра, поэтому нам и предстоит теперь сказать о причинах, заставляющих в настоящее время окончательно оставить эту гипотезу. Затем мы постараемся высказать идею о новых догадках, которые с большим основанием могут заменить ее.

---

<sup>1</sup> Deherain P. *Annuaire scientifique*. – Paris, 1862-1870. – P. 181.

Гипотеза, о которой идет речь, представляет себе земной шар огненно-жидкой массой, покрытой корой, толщина которой так же относится к диаметру шара, как скорлупа к поперечнику яйца. При такой сравнительно ничтожной толщине земной коры невозможно объяснить достаточность сопротивления, оказываемого ею неизбежно происходящим внутри нее ежедневным приливам и отливам океана огненно-жидкой массы, уподобляющимся приливам и отливам океана внешних вод. Необъяснима также и слабая сплюснутость Земли у полюсов, которая, при данных условиях, должна бы обратить планету, по мнению Реклю, в плоский диск<sup>1</sup>.

Подтверждение гипотезы огненно-жидкого ядра часто видят в том, что температура постоянно возрастает по мере увеличения глубины артезианских колодцев, шахт и т. п. Нельзя не заметить, однако, что заключение от возрастания температуры в этих случаях к определению состояния всей внутренней массы земного шара слишком поспешно. Наибольшая глубина, которой достигали люди, сравнительно ничтожна: рудники в Куттенберге (чешск. Kutnahora) и в Гуанахуато (Мексика) едва имеют один километр (0,937 верст) в глубину, т. е. равны одной шести или семитысячной доле земного радиуса. Возрастание температуры в этих поверхностных слоях земного шара ничего еще не доказывает относительно внутреннего ядра, так как температура этих слоев обуславливается многими разнообразными причинами, и теплота в них может развиваться совершенно независимо от температуры центральной массы. Притом же и толщина земной коры представляется теперь далеко не столь ничтожной, как думали прежде. Вычисления Гопкинса и Томсона неопровержимо доказали, что эта толщина не может быть так мала, как обычно утверждают. По мнению Эмманюэля Лиэ, твердое состояние всей массы земного шара не может подлежать сомнению, так как, по его вычислениям, гипотеза огненно-жидкого ядра прямо противоречит всем астрономическим явлениям, обуславливаемым тем или другим состоянием этой массы.

---

<sup>1</sup> Reclus E. La terre, description des phenomenes de la vie du globe. – Paris, 1869. – V. I. – P. 28.

Делая общий вывод из этих вычислений и наблюдений, Реклю утверждает, что гипотеза жидкого ядра может быть оставлена. С гораздо большим основанием ее можно заменить предположением Гопкинса и Вальтерсгаузена об огненно-жидких морях, находящихся на сравнительно небольшой глубине под земной поверхностью и разделенных друг от друга массами твердых горных пород<sup>1</sup>. Ляйэлль, упомянув о предположении Гопкинса, добавляет: «Если это так, то постепенное плавление горных пород и расширяющая сила теплоты, действующая в течение веков, равно как следующее затем сжатие этих пород во время медленного охлаждения, по всей вероятности, могут объяснить происхождение горных цепей»<sup>2</sup>. Итак, мы приходим к тому общему заключению относительно предмета этого отступления, что новейшей науке удалось только заменить одну гипотезу другой, более естественной, более понятной, более соответствующей явлениям, которые они должны объяснить, но все еще, не больше, как гипотезой. Так что, в конце концов, полное научное объяснение вулканических явлений – это вопрос будущего.

Возвратимся теперь к нашему вопросу, а именно — к исследованию причин, постепенно, но постоянно изменяющих внешний вид земной поверхности.

Мы видели уже, что вулканизм сам по себе — какова бы там ни была его теория — в состоянии произвести в течение ряда тысячелетий такие изменения, совокупность которых способна внушить идею о страшных всеобщих катаклизмах. Аргументы противников этой теории, весьма сильные, как мы уже видели из объяснения результатов деятельности вулканических сил, приобретают еще большую силу данных, получаемых в результате наблюдения над деятельностью воды, непрестанно совершающей разрушительно-созидательную работу. Чтобы дать понятие о колоссальных размерах этой работы, мы приведем здесь некоторые примеры, сожалея, что не имеем возможности вдаваться в большие подробности.

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 30.

<sup>2</sup> Ляйэлль Ч. Основные начала геологии. В 2 т. — М., 1866. — Т. 1. — С. 195.

Если мы обратим внимание на изменения, произведенные рекой По в одни только исторические времена, то будем поражены их размерами. Но что значит короткий исторический период перед неизмеримым временем, ему предшествовавшим! Как ни мал, однако, этот период, но совершившаяся в его течение работа громадна: от северной части Триестского залива, с того самого места, где впадает в него Изонцо, до самых южных рукавов По лежит теперь громадная плоскость новых земель, не существовавших в эпоху владычества римлян. Эти новые земли, образовавшиеся наносами реки По, простираются на 100 миль в длину и 20 миль в ширину. Итак, в промежуток времени, меньший, чем в 2000 лет, одна река могла образовать 2000 кв. миль наноса, превысившего уровень моря. Какие же массы лежат еще на дне, постоянно поднимая его уровень и подготавливая образование новых полос материка! Старые гавани лежат среди суши, и берег ежегодно двигается вперед на 70 метров. Не может быть сомнения, что совокупная работа По, Изонцо, Бренты, Адиджа и Тальяменто обратит, наконец, в равнину всю северную часть Адриатического моря. Таков результат деятельности силы, работающей и в настоящее время и никогда не перестающей влиять на изменяющиеся формы поверхности земного шара.

Но работа По, Роны и вообще всех европейских рек, не исключая и величайшей из них – Волги, ничтожна по сравнению с работой громадных рек, протекающих в других частях света, например, Нила, Миссисипи, Ганга и др. Нил образовал своими наносами всю равнину, по которой он протекает, начиная с водопадов у Элефантины, и теперь морская вода возмущена этими наносами на 40 миль кругом дельты. Миссисипи ежегодно уносит в море более 3 миллионов куб. футов размытой ею земли. Ее дельта равна теперь 13600 кв. англ. миль, и, по вычислениям новейших геологов, не могла образоваться в меньший период времени, чем 67000 лет...

Мы не станем продолжать этот ряд примеров, не станем также говорить о действии воды в виде льда и снега. Читателю уже очевидно, что нептунические силы, подобно вулканическим, действуя вечно в соответствии с одними и теми же законами, произвели громадные

результаты только благодаря тому времени, которое протекло с тех пор, как они действуют.

Наряду с деятельностью вулканических и нептунических сил, непрестанно изменяющих вид земной поверхности, мы должны поставить работу бесчисленных органических существ, населяющих нашу планету с глубокой древности, которую невозможно определить никакими числовыми выражениями. Органические существа совершили колоссальную работу бессознательно: эта работа заключается в накоплении остатков, достигающем поразительных размеров. Во многих местах, как, например, в Бранденбурге, в устьях Одера и проч., почва состоит из органических остатков, лежащих громадными толщами. Мел, встречающийся так часто огромными массами, состоит почти сплошь из микроскопических панцирей корненожек и т. д. Наконец, самое поразительное явление этого рода представляется работой коралловых полипов, усеявших своими рифами громадные пустыни Тихого, Индийского и частью Атлантического океанов. Коралловые полипы, более чем какие-либо другие животные, доказывают способность органических существ видоизменять форму и строение земной коры. Деятельность этих зоофитов можно уподобить сравнительно меньшей деятельности, проявляемой на суше растениями, образующими торф. В этих растениях верхняя часть прозябает, в то время как нижняя переходит в минеральную массу, в которой остаются следы организации, хотя жизнь там совершенно прекратилась. Подобным образом и в кораллах более прочные части одного поколения, уже отжившего, служат основанием, в котором живые животные продолжают воздвигать подобные же постройки. Это приспособление коралловых животных к условиям среды, в которой они действуют, дает им возможность из века в век, из тысячелетия в тысячелетие вести свою работу, и достигать, наконец, того, что ее результаты вносят значительные перемены не только в очертания, разграничивающие море и сушу, но и в сам состав земной коры. Ведь материал для работы был предварительно переработан их микроскопическими организмами.

Таковы общие основания теории, созидающей историю прошедшей жизни Земли исключительно на изучении настоящего ее со-



стояния. Эта теория долго давала повод одному капитальному возражению: она не могла объяснить постепенное изменение органической природы тем же способом, как она объясняла изменения неорганической природы, то есть с помощью применения одних только ныне действующих естественных законов. Это происходило, однако, не от несовершенства теории, а от ее неполноты. Гений Дарвина пополнил теорию, создав ей подтверждение именно там, где до него видели только слабую ее сторону. Возражение устранено навсегда, и теория катаклизмов также перестала царствовать в палеонтологии, как и в остальных частях геологии.

Уже в 1795 году Этьен Жоффруа Сент-Илер признал, что виды, существующие в настоящее время, произошли путем постепенных изменений прежде существовавших типов под влиянием изменения жизненных условий. С 1801 по 1815 г. Ж. Ламарк в различных сочинениях (а особенно в *Philosophie zoologique*<sup>1</sup>, 1809 г.) выразил мнение об изменяемости видов и происхождении настоящих видов от предшествовавших. Причинами этих изменений Ламарк считал употребление или неупотребление органов, изменение физических условий жизни и скрещивание различных форм. Но знаменитый и поздно понятый французский натуралист давал закону развития абсолютный и строго геометрический характер, хотя он, подобно всем естественным законам, действует в связи с другими. Именно поэтому всякий его результат следует рассматривать не по отношению к одному какому-нибудь закону, а к целой группе их, действовавших совместно при производстве рассматриваемого результата. Вслед за Ламарком упомянем Исидора Жоффруа Сент-Илера, Гексли, Гукера и других, внесших в закон, о котором идет речь, более или менее важные улучшения. Но как ни почтенны труды всех этих ученых, они теряют, однако, значительную долю своей важности перед гениальным шагом, сделанным Дарвином в разработке вопроса о естественном и постепенном развитии видов. Дарвин обработал этот вопрос заново и с такой полнотой, которой не имели труды предшествовавших ему натуралистов. Он

---

<sup>1</sup> Lamarck J. Philosophie zoologique. – Paris, 1809.

собрал огромное количество фактов, дал им новое толкование, заложив твердое основание естественной генеалогии видов растительного и животного царств. Теория постепенного развития жизни Земли была пополнена и блистательно подтверждена.

Мы бы вышли за пределы этой статьи, если бы стали излагать здесь теорию Дарвина даже в самых общих чертах. Да притом же мы полагаем, что редкий из наших читателей не знаком с нею. Поэтому ограничимся одним выяснением ее геологического и философского значения, и напомним только, что основные два ее положения – *естественный отбор* и *борьба за существование* – составляют те два краеугольных камня, на которых Дарвину удалось построить всю свою замечательную теорию.

*Естественный отбор*, или закон сохранения всех благоприятных для особи изменений в организации и ограничении вредных для нее отклонений, выражает постоянное стремление природы отбрасывать все дурное, сохранять и дополнять все хорошее.

*Борьба за существование* – постоянная борьба всех живых существ между собою за средства к существованию, начиная с плотоядных, пожирающих своих родичей, и заканчивая растением, заглушающим своего соседа.

Эти два положения, объясняя развитие органической жизни, составляют ключ к пониманию всей прошедшей истории этой жизни. Они показывают, что эта жизнь развивалась на тех же началах, на которых развивается жизнь современных нам видов, и что она никогда не могла требовать нарушения этих вечных начал для перехода от одной формы к другой, как бы резко ни различались между собою эти формы.

Сам Дарвин говорит, что историю видов можно сравнить с ветвями дерева. Зеленые ветви, с их почками, будут представлять существующие виды; ветки же, произведенные в прежние годы, могут представить нам длинный последовательный ряд вымерших видов. В каждый период роста все юные отпрыски пытались распространиться во все стороны для того, чтобы перерасти и заглушить окружающие отпрыски и ветви, подобно тому, как виды и группы видов старались взаимно победить друг друга в жизненной великой борьбе. Сучья,

разделенные на большие ветви, расчлняющиеся на более мелкие веточки, сами некогда были незначительными отпрысками с почками на молодом дереве. Эта связь прежних и современных почек через ветвящиеся сучья дает нам ясную идею об общей систематической классификации всех живых и вымерших видов. Они разделены на группы, подчиняющиеся одна другой. Из всех ветвей, покрывавших дерево, когда оно было лишь кустом, всего только две или три, ставшие теперь толстыми сучьями, живы и до сих пор, и несут на себе все прочие ветви. Точно так и из видов, живших в давно минувшие геологические времена, весьма немногие имеют непосредственных потомков, живущих в настоящее время. Во время роста дерева многие сучья отпали, и эти отпавшие в различных местах ветви представляют все отряды, семейства и роды, не существующие в наше время, но известные нам по ископаемым остаткам. Подобно тому, как мы видим тут и там тонкий, слабый сучок, выходящий из расщелины, образуемой двумя сильными ветвями, и достигающий известного развития при благоприятных для него условиях, точно так же можно встретить иногда животное (например, утконос, лепадосирен), до некоторой степени связывающее своим странным организмом два обширные разветвления животного царства, и спасенное, по-видимому, от роковой борьбы защищенным местом жительства. «Итак, — заключает Дарвин, — явление, изображенное иносказательно для дерева, происходит и с великим деревом жизни, наполняющим земную кору своими мертвыми сучьями, тогда как ее поверхность покрывается вечно новыми, разрастающимися его ветвями».

Теория Дарвина, так красноречиво им самим охарактеризованная, внесла совершенно новый свет в палеонтологию, разрушив всякое сомнение относительно естественности и постепенности развития организмов, некогда обитавших на Земле и известных нам по своим ископаемым остаткам.

Громадная заслуга Дарвина заключается, впрочем, не только в том, что он сделал последний шаг к ниспровержению теории катаклизмов и завершил, таким образом, учение Ляйэлла о постепенном развитии жизни Земли. Дарвину принадлежит честь еще большей

заслуги: он, по верному замечанию Гэккеля, создал опытное основание для великого принципа единства органической и неорганической природы, – принципа, разрешающего многие важные вопросы, над которыми так долго и тщетно работала умозрительная философия.

Этими замечаниями мы окончим нашу общую характеристику дарвиновской теории Ляйэллем. Главная отличительная черта этой теории заключается, как мы видели, в том, что она, безусловно, отвергла все, что только было метафизического в прежних геологических воззрениях, оставив только чисто научные элементы. Чтобы разрешить такую задачу, она сделала изучение современного состояния Земли точкой исхода своих поисков, восстановила прошедшую историю развития нашей планеты в той мере, которая допускалась собранными материалами, проверила ими старые гипотезы, отвергла их, как неудовлетворительные, и заменила более основательными. Кроме того, она подвергла критике геогенические теории и устранила их из своей области, ограничив эту последнюю достоверными знаниями. Она допустила при этом вероятные предположения, но навсегда отказалась от всего гадательного и фантастического.

Решение задачи, понимаемой таким образом, основывается на наблюдении и опыте, чуждых всяких предвзятых теорий, поклонения авторитету, чуждых боязни перед какими бы то ни было заключениями. Плодотворность такого отношения к предмету была указана нами при рассмотрении созидательно-разрушительной работы вулканических, нептунических и органических сил. Мы сочли лишним вдаваться в основательные подробности: говорить о наблюдениях над распределением формаций, их геогностическом характере, над определением происхождения или химического состава той или другой горной породы и т. д. Все это придавало бы нашей статье особый характер, но несколько не изменило бы той общей характеристики научной геологической теории, с которой мы желали познакомить читателя. Она – как мы надеемся – представляется ему и теперь в своем надлежащем свете.

Первый и важнейший общий вывод из этой теории заключается в том, что Земля развивалась посредством деятельности тех же са-

мых сил, которые и ныне работают над изменением ее вида и состава. Это развитие, учит ляйэлле-дарвиновская теория, шло естественно, ровно, постепенно, без потрясений, скачков, непонятных всеобщих катаклизмов. Напряжение известных нам сил никогда не было большим, чем в настоящее время, и если их результаты поражают нас и теперь, то это происходит лишь вследствие нашего неумения оценить значение элемента времени.

Значение наблюдения над современным состоянием Земли не ограничивается, впрочем, только тем, что оно дает возможность понять ход ее прошедших изменений. Это значение гораздо шире: оно важно еще по отношению геологии к другим наукам. Относительно этого значения скажем вместе с Пэджем, что геология «благотворно действует на развитие других наук. Границы знаний у химика значительно раздвинулись с тех пор, как в горных породах и минералах стали открывать новые соединения. Ботаника, зоология и сравнительная анатомия получили гораздо большее значение с тех пор, как круг явлений, ими разрабатываемых, пополнился открытиями в мире ископаемых существ и т. д. Каждая отрасль естественных наук получила новый толчок от успехов новейшей геологии, толчок, который и ныне возобновляется при каждом новом открытии, делаемом в поле, при каждом новом выводе, сделанном в кабинете»<sup>1</sup>. Наконец, геология имеет важное значение как наука, дающая нам понятие о том периоде жизни Земли, который предшествовал появлению человека, и тех условиях, которые и в настоящее время имеют громадное влияние на его развитие. Вся деятельность человека заключается в приспособленном для известных целей преобразовании материалов, которые ему дает Земля. Путем ремесел, промышленности, искусства он превращает сырой материал природы в предметы, для себя полезные и приятные. Путем наблюдения, опыта и обобщения — их же он превращает в знания, науку. Таким образом, изучение материала, доставляемого природой человеку, необходимо для понимания оценки деятельности этого последнего: работа человека объясняется предшест-

---

<sup>1</sup> Пэдж Д. Философия геологии. — СПб., 1867. — С. 126.

вующей и современной ему работой природы. Без геологии непонятна история. Земля, по меткому выражению Фуку<sup>1</sup>, представляет собой скелет истории: горы, равнины, реки, моря, озера, архипелаги как бы держат на себе те мускулы и нервы, которые представляются человеческой жизнью. Кости и ткани находятся в не меньшей связи между собою, чем Земля и человек. Их взаимное влияние сложно и многообразно, оно представляет отдельный и важный предмет изучения, имеющий свою литературу...

1870 г.

«Отеч. зап.», №7.

---

<sup>1</sup> Foucou F. Histoire du travail. – Paris, 1868.

## НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОЗИТИВИЗМА

Условия успешного развития и распространения позитивизма. – Новейшие сочинения о позитивизме (по общим вопросам): заявление Бернгарда Котты, критическая статья Дюринга, полемика Соттини с итальянскими метафизиками. Книга Анджулли, понятие о позитивизме Лорана, речь кардинала Раушера, стихотворение Луизы Аккерман, посвященное обличению положительной философии. По частным вопросам: *La philosophie positive*, *Revue* за 1869 и 1870 годы, объяснение значения мифов, взгляд на переход древнего мира в новый, отрывок из очерка плана всеобщей истории, политические мнения Литтре. Статья о пьянстве в России, вопрос о методе в статистике, взгляд на значение преступлений и наказаний Вырубова. Новые книги: «*Histoire du travail*»<sup>1</sup> – Фуку, «*L'origine de l'homme et des sociétés*»<sup>2</sup> – К. Ройе, «*La terre et l'homme*»<sup>3</sup> – А. Мори, лекция Фаррапа о научном значении филологии. Некоторые неточности у писателей, говоривших о позитивизме и позитивистах: статья г. Михайловского о суздальской критике, диссертация г. Драгоманова «Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит»<sup>4</sup>. – Заключение.

Когда в умственной жизни общества, привыкшего к борьбе известных направлений мысли, возникает новая идея, то прежде, чем она завоеует соответствующее ее значению положение, прежде чем она получит принадлежащие ей права гражданства, она, выражаясь языком юристов, должна выиграть перед мыслящей частью общества свой процесс. Этот процесс, подобно всякому процессу, ведущемуся в правильно организованных судах, должен начаться со знакомства с документами, предъявленными для получения требуемых прав, и свидетельскими показаниями, поддерживающими или оспариваю-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Royer C. *L'origine de l'homme et des sociétés*. – Paris, 1857.

<sup>3</sup> Maury A. *La terre et l'homme*. – Paris, 1895.

<sup>4</sup> Драгоманов М. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – К., 1869.

щими эти требования. Пока это знакомство неполно, правильное судебное прение невозможно, и решение или не должно произноситься, или, если оно все-таки уже произнесено, подлежит кассации.

Но если и в правильно организованных судах, где и судьи, и стороны так тщательно следят за правильным развитием процесса, столь часто появляются поводы к кассации, то как не быть им относительно суда общественного мнения или частных мнений той или другой фракции общества? Здесь процесс неизбежно переживает множество самых разнообразных перипетий, пока, наконец, установится мнение, которое для некоторой части общества по крайней мере, получает значение окончательного.

Если мы применим вышесказанное к процессу, который вела и ведет положительная философия с предшествовавшими ей мировоззрениями, то заметим, что этот процесс обставлен многочисленными трудностями. Ведь основательное знакомство с подлинными документами или дельными и верными свидетельскими показаниями в виде компиляций, рефератов, конспектов и т. п. весьма не легок, ибо требует солидной научной подготовки. Точно так же не обладающему такой подготовкой нечего и думать о том, чтобы ему удалось сориентироваться среди хаоса, неизбежного в процессе, ведущемся на столь обширной сцене, среди массы ложных или неточных показаний свидетелей, среди прений, в которых голоса знающих и беспристрастных людей нередко заглушаются тенденциозным враньем и всякого рода вздором. Все эти обстоятельства служат немаловажным препятствием для успехов позитивизма, так что его процесс нельзя еще считать оконченным не только у нас, но и в Западной Европе. Еще могут существовать такие мнения о позитивизме, как, например, известное читателям мнение Гэксли и подпевающих ему хористов, или суждение Лорана, о котором я еще буду иметь случай рассказать в этой статье. Эти мнения окончательно потеряют всякое значение только тогда, когда образованное общество основательно ознакомится с тем, что я называю подлинными документами позитивной философии. А это знакомство обусловлено, как сказано выше, успехами научного образования.



Говоря о подлинных документах положительной философии, я подразумеваю не одни только сочинения Огюста Конта, но и работы того кружка позитивистов, которые группируются вокруг Литтре и Вырубова и могут считаться прямыми и непосредственными продолжателями О. Конта, как философа. «Обозрение»<sup>1</sup>, наполняемое исключительно их статьями, представляется, таким образом, для нас как бы сборником подлинных документов. Знакомство с существеннейшими из них будет служить дополнением тех сведений о содержании позитивного учения, которые читатель, следящий только за русскими статьями о позитивизме, мог иметь прежде. Наряду со статьями «Обозрения», я представлю отчет о статьях и книгах, появившихся в прошедшем и настоящем году, которые, в целом или частично, посвящены положительной философии или проникнуты ее учением. Наконец, я рассмотрю некоторые неточности у писателей, говоривших о позитивизме, и постараюсь устранить возникающие от этих поводов недоразумения, которые могут исказить правильное развитие процесса.

Переходя теперь к обзору позитивной литературы за минувший год, считаю нужным сказать еще, что все, что может послужить введением к этому обзору, читатель найдет в моей статье о позитивизме после Конта, помещенной в «Отечественных записках» в прошлом году. В этой статье я представил читателю свод тех положений, которые составляют, так сказать, пропедевтику положительной философии. Материалом для этой статьи мне служили вышедшие до того времени книги и номера «Обозрения», в которых были разработаны вопросы, входящие именно в сферу пропедевтики. Если читатель сравнит эту разработку с содержанием соответствующих ей первых двух уроков курса положительной философии О. Конта, то для него станет, конечно, очевидно, что ученики Конта сделали здесь весьма многое. Эта часть курса, имевшая у Конта характер беглого очерка, представляет теперь настолько развитую часть учения, что силы позитивистов могли перейти к другим отделам системы. Работы позитивистов

---

<sup>1</sup> La philosophie positive // Revue. – 1962. – Т. 24. – №6.

тивистов за последний год, действительно, не касаются больше вопросов пропедевтики, а содержат разработку отдельных наук, в числе которых самое видное место занимает социология, созданная гением Конта. Это новая наука, а потому и наиболее нуждающаяся в трудах современных писателей позитивной школы.

Но если редакторы и сотрудники «Обозрения» не посвящали больше статей вопросам пропедевтики, то эти вопросы продолжали занимать умы вне того кружка позитивистов, которые группируются вокруг редакторов «Revue». Полупризнание позитивной философии таким ученым, как Бернгард Котта, стремление быть позитивнее самих позитивистов весьма талантливого итальянского писателя Анджулли, более чем благоприятный системе Конта отзыв берлинского профессора Дюринга – свидетельствуют о влиянии позитивных начал на умы. Наблюдение за ростом этого влияния не менее важно, чем наблюдение за ростом самого учения. О нем приходится говорить даже прежде, чем о последнем, потому что он охватывает учение в целом его составе, тогда как рост самого учения, по причинам, понятным для всякого знакомого с ним, может происходить путем развития и разработки частей.

Читатель помнит, конечно, статью Вырубова о геологии, представляющую прекрасный образец применения положительной философии к конкретным наукам. Отчет об этой статье я дал в моем этюде о позитивизме после О. Конта, упомянутом выше. Известный фрейбергский геолог Бернгард Котта обратился по поводу этой статьи с письмом в редакцию «Обозрения». Хотя это письмо и заключает в себе замечания на весьма важные пункты положительной системы, может, однако, считаться полупризнанием позитивизма, как теории. Котта начинает с того, что называет статью «Что такое геология?» замечательной и заявляет намерение высказать по ее поводу мысли, касающиеся всей системы положительной философии. Эти мысли распадаются на два рода: во-первых, Котта по некоторым вопросам присоединяется к позитивному учению и вносит в него дополнения, соответствующие его духу; во-вторых, отвергает некоторые его пункты.

1) Он сходится с позитивистами по вопросу о классификации абстрактных наук, а в области конкретных наук отрицает, вместе с последователями позитивной системы, ненаучность вопросов, составляющих то, что обычно понимают под геогенией. Дополняя развитие позитивной системы, Котта доказывает, что элементы, дающие содержание наукам классификации Конта, возникали в течение геологических эпох развития именно в том порядке, в котором они расположены в этой классификации. Таким образом, Котта дает новую опору этой важной части положительной системы. Согласие Котты с этими основными положениями позитивного учения тем более замечательно, что оно заявлено после выхода в свет его сочинения «*Geologie der Gegenwart*»<sup>1</sup>, написанного совершенно независимо от позитивных взглядов и сошедшегося с ними только вследствие своей строгой научности и независимости руководящей точки зрения. Поэтому читателю, интересующемуся позитивным учением, весьма поучительно будет прочесть упомянутую книгу Котты и сравнить его воззрения на геологию со взглядами позитивистов.

2) Критические замечания Котты далеко не так удачны, как дополнительные замечания. Во-первых, он хочет исключить математику из контовской классификации и оставить ее, как науку положительную, однако, рядом с этой классификацией. Во-вторых, допускает возможность образования новой науки – кристаллологии, место которой, по его мнению, должно быть между химией и биологией. Вырубов, высказывая свои возражения на эти замечания, справедливо говорит, что первое из них обнаруживает внутреннее противоречие в той классификации, которая возникает от поправки Котты. Ведь признание за математикой значения положительной науки и устранение ее в то же время из ряда этих наук несовместимо. Если допустить существование положительных наук вне иерархического ряда, установленного Контом, то тогда, пожалуй, и теология, и метафизика станут в качестве положительных наук особого рода вне ряда, как новый ряд, равноправный с первым. Такого абсурда допустить, однако, нельзя,

---

<sup>1</sup> Cotta B. *Geologie der Gegenwart*. – Berlin, 1858.

так как всякая действительно положительная наука неизбежно связана с остальными положительными науками и поэтому немислима вне их иерархического ряда. Невозможность вместить какую-нибудь науку в этот ряд показывает, что желающий сделать это не уяснил себе основных положений позитивной философии. И действительно, в рассматриваемом нами случае, Котта, желая изъять из ряда математику и включить в него кристаллологию, руководствовался неверно понятым отличием абстрактных наук от конкретных. Можно с уверенностью утверждать, что если бы Котта не допустил ошибку в этом пункте, он не сделал бы и своих несколько странных критических замечаний.

Котте, как не философу, было, впрочем, до известной степени простительно не понять различия, имеющего преимущественно философское значение. Но такова судьба новых идей, они проникают в общество не скоро. Не только геолог-специалист Котта, но и профессор философии Дюринг – которого, казалось, должна была бы поразить эта новая и глубокая философская идея, — остается ей чуждым, не понимает ее. В иерархизации абстрактных наук Конта он видит одно только схематизирование «части таких наук, обычно называемых положительными»<sup>1</sup>. «Под биологией, например, — говорит он, — Конт понимает почти то же, что обыкновенно понимается под физиологией» (id.). Схематизирование Конта, по его мнению, не может иметь никакого философского значения и даже не приносит пользы наукам. Читая Дюринга, люди, не знакомые с учением Конта, могут на самом деле подумать, что он произвольно остановился на известной группе точных наук, выстроив их в вымышленную им схему. Как это ни наивно, но чтение дальнейшего дюринговского анализа курса позитивной философии окончательно убеждает, что автор придерживается именно такого наивного понятия или что он допускает у Конта и его последователей такой простодушный взгляд на классификацию наук. Дюринг говорит, что в изложении каждой из наук, вошедших в классификацию, значение имеет только одна специальная сторона, а

---

<sup>1</sup> Dühring E. Kritische Geschichte der Philosophie. — Berlin, 1873. — S. 485.

потому полагает, что и говорить не стоит об обработке Контом какой-нибудь полдюжины наук. Читатель, знакомый с истинным значением позитивной классификации, оценит, конечно, всю грубость такого суждения о ней. Незнакомому же с ней я могу только предложить обратиться к курсу Конта или к многочисленным сочинениям и статьям на разных языках. Вдаваться же здесь в ее объяснение было бы слишком долго. Дюринг, в этом случае, скажу мимоходом, напомнил мне господина, которому я вынужден был дать на рассмотрение рукопись одной статьи о Конте. Это было еще до 1865 года, и статья долго мытарствовалась, так как в ней встречались слова «теология», «теизм» и, кажется еще, *Теофраст*. Этот господин, прочитав статью, не пропустил в печать всего того, что относилось к закону трех состояний. «Я не препятствую Вам говорить о том, что следует далее, – сказал он, передавая статью, – ибо все это не более, как одна только *классификация вещей*». Он не сообразил, что, судя так, кое-что, значит, было даже и не вещью. Дюринг также не сообразил, что абстрактные науки, вошедшие в иерархический ряд Конта, представляют нечто целое, чего не может представлять никакая произвольная схема конкретных наук.

Непонимание различия между абстрактными и конкретными науками мешает Дюрингу сделать полную и основательную оценку системы Конта. Поэтому такой оценки у Дюринга и нет. Тем не менее, он ценит Конта и его систему чрезвычайно высоко и посвящает ему 23 страницы своего необъемистого курса, тогда как на изложение систем Шеллинга, Фихте, Гегеля и Гербарта, рассматриваемых им в одной главе, он дает средним числом только по 10 страниц на каждого. Такое отношение к Конту, при непонимании столь важного отдела его системы, как иерархическая классификация наук, объясняется тем, что данный отдел Дюринг не считает философским, и основывает свое мнение о Конте только на основе остальной части системы. В этой части он видит проявление высокого философского таланта Конта. С особым вниманием останавливается он над контовской критикой метафизики и над его социологическим законом трех состояний, которые находит новыми, оригинальными, плодотворными. Поэтому-то он и думает, что положительная философия представляет ис-

точник поучения для мира<sup>1</sup> не только для одной Германии, которая непременно должна выиграть от соприкосновения с таким высоким умом, как О. Конт.

Рассматривая частности позитивной системы, Дюринг нередко делает весьма меткие сближения между Контом и некоторыми известнейшими немецкими философами настоящего века, почти всегда отдавая при этом преимущество французскому мыслителю. Так, говоря о том, что исследование связи явлений должно быть, по мнению Конта, независимо от метафизического понятия о конечных причинах, он заверяет, что это основное разграничение имеет некоторое сходство с разграничением, сделанным Кантом. Однако существенное различие между обоими заключается в том, что понятие Конта о явлении – это научное понятие, тогда как у Канта это понятие заменяет определенный *метафизический* образ. В другом месте он говорит, что О. Конт *никогда* так не заблуждался, как Кант в своей философии природы, и что, наконец, рассматриваемые Контом науки действительно знакомы ему и придуманы им, а не профантазированы, как у Гегеля. В дальнейшем анализе частных Дюринг делает некоторые замечания и опровержения, на которых мы, из-за их незначительности, останавливаться не будем. В большинстве случаев, однако, Дюринг находит и частности системы Конта в высокой степени замечательными и поучительными.

Общий вывод Дюринга о системе О. Конта тот, что этот мыслитель складом своего философского ума наиболее соответствует естественно-научному образу мышления, что его системе свойственна высокая степень умственной силы, что ее дух ставит ее выше всех явлений периода реставрации, что она и теперь еще полна жизни. «Известный позитивизм, – говорит он в заключение, – будет все больше завоевывать господство в наше время. Частные же системы будут в той мере ограничиваемы общеобязательными положениями, в какой научное направление выигрывает в силе и распространении. От их особенностей будет оставаться только то, что выделится как отдельное

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 423.

положение и станет общим достоянием, подобно тому, как это совершается в научной области. Но и в этом отношении круг мыслей Конта не потеряет своей оригинальности, и история философии всегда останется признательна ему за его замечательный вклад в критику ложного рода метафизики и, с другой стороны, за его основоположения в философии истории»<sup>1</sup>.

Обратимся теперь к Италии.

Проявление успехов позитивизма в этой стране заслуживает внимания, хотя имена писателей, обнаруживших это направление, и не пользуются такой известностью, как имена Б. Котты и Дюринга. Джузеппе Соттини и Андреа Анджулли, конечно, далеко не авторитеты в каком бы то ни было отношении, но первый, как сотрудник одного из лучших итальянских журналов, и второй, как талантливый писатель, влияли, конечно же, на мыслящую часть итальянского общества. Еще важнее то, что доказываемое этими писателями растущее влияние наклонности к позитивизму у итальянской интеллигенции должно было сильно разочаровать тех, кто смотрел на Италию, как на обетованную землю метафизики вообще и гегелевской в особенности. Упадок учения Гегеля в Германии так огорчает «ветхих днями», последних апостолов этой школы, что в отчуждении немцев от Гегеля они видят признак недостаточного народного самоуважения и обращают свои полные надежды взоры на Отечество Спавенты, Мариано и Вэры. Розенкранц в своей «*Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben durch den Italienischen Philosophen Vera*»<sup>2</sup> горько жалуется на то, что немцы не только сами равнодушны к Гегелю, но предостерегают и другие нации от увлечения им. Он возмущается выходкой одного журнала, советовавшего лучше читать историю цивилизации в Англии Бокля, чем «*The secret of Hegel*» Джемса Стирлинга. После такой профанации священного имени Гегеля в Германии, Розенкранцу оставалось только возложить свои упования на Италию,

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 494.

<sup>2</sup> Rosenkranz K. *Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben durch den Italienischen Philosophen Vera*. – Berlin, 1868.

где, по его соображениям, гегелизм непременно должен процветать. Эти надежды были высказаны недавно, всего два года назад, а между тем, именно за это время начала расти рядом с гегелизмом новая сила, угрожающая серьезной опасностью успехам проповеди г. Вэры и компании. После Вилляри и Боккардо появляются Соттини и Анджулли. Этих четырех личностей довольно для того, чтобы, по уверению их противников, о позитивизме заговорили везде и при всяком случае, заговорили больше, чем говорили когда-либо о Гегеле. Что будет дальше, особенно если принять во внимание, что рядом с позитивизмом преуспевает очень близкое к нему направление эксперименталистов, насчитывающих в своей среде весьма много крупных талантов и солидных ученых?

Мы не станем останавливаться над статьей Соттини, потому что она не имеет общего интереса. Эта статья – ответ на различные критические анализы системы положительной философии, появившиеся в разных итальянских журналах. Слабость, неумелость и бездоказательность разных Сичилиани, Фиорентино, Панцакки и прочих в их нападках на позитивизм не могут остановить на себе, разумеется, нашего внимания. Довольно того, если я скажу, что статьи этих господ оказались перед судом позитивной критики профессора Соттини до такой степени не удовлетворяющими своему назначению, что почтенный профессор усмотрел в них не нападение на позитивизм, а его защиту, назвав все их статьи защитой позитивизма метафизиками. Обиженные метафизики не могли ничего придумать лучше, как собезьянничать не только его критический прием, но и само заглавие статьи. Метафизика ничего не выиграла от этого, так как все подобные столкновения обнаруживают только на чьей стороне сила.

Не прошло и года после полемики Соттини с итальянскими метафизиками, как появилось небольшое, но весьма богатое по содержанию сочинение Анджулли «*La filosofia e la ricerca positiva, questioni di filosofia contemporanea*»<sup>1</sup>. В этом сочинении, содержащем не более

---

<sup>1</sup> Angiulli A. *La filosofia e la ricerca positiva, questioni di filosofia contemporanea*. – Napoli, 1868, 1873.



десяти печатных листов, Анджулли излагает историю развития позитивного учения в связи с историей падения метафизики, делает критический анализ позитивной системы О. Конта и рассматривает ее по сравнению с другими философскими системами новейшего времени. Также он излагает свои собственные воззрения, которые считает положительными больше самой положительной философии. Изложение Анджулли отличается ясностью, определенностью и, местами, оригинальностью. Его тенденции имеют, несомненно, позитивный характер, и только некоторые недоразумения мешают ему стать в ряды позитивистов. Желание же быть ультрапозитивистом, благодаря этим недоразумениям, сохраняет в нем только некоторые метафизические предрассудки, приводящие его, при полной выдержке общего позитивного характера его книги, к противоречиям, на которые уже указывало ему «Обозрение».

Рассматривая развитие философских учений, Анджулли представляет положительную философию как результат и заключение различных исторических течений (*correnti della storia*) и во многих местах своей книги говорит об О. Конте с большим уважением. «Положительная философия, – резюмирует он, – основывает систему наук, сообразную системе космоса: она в одно и то же время и учение о науках (*dottrina delle scienze*), и объяснение мира. Она доказывает гармонию бытия и гармонию знания, она окончательно прекращает дуализм духа и природы, науки и философии. Предмет и средства положительного знания определены. Предмет положительной философии тождественен с предметом положительных наук, совокупность которых и образует ее. Общий же их метод – опытный. Характер позитивной философии относителен, не абсолютен; она научна, положительна, а не умозрительна; она оставила поиски конечных причин, не даваемых опытом, но получаемых путем метафизического воззрения; она ограничивается опытными изысканиями законов явлений. Итак, явления и опыт – вот основание положительной философии. Этот характер научной основательности делает впрямь невозможным многочисленность философских систем. Единство философии сливается с единством положительных наук. Многочисленность систем

свойственна метафизическим построениям, а в настоящее время новое метафизическое построение было бы анахронизмом. Оно было бы субъективным явлением и находилось бы вне исторического течения, было бы регрессом. Положительная философия может иметь иные и различные определения, но она остается великим фактом и великой идеей настоящего времени»<sup>1</sup>.

Анджулли, ставя так высоко положительную философию, принимает почти полностью ее учение и может служить проводником позитивных идей в Италии. Однако Анджулли не позитивист. Он отвергает, правда, только один пункт учения, но столь важный, что его непринятие лишает до некоторой степени значения принятие остальных. «Позитивизм, – говорит он, – слишком ограничивает могущество человеческого ума и утверждает, что мы никогда не будем в состоянии достичь путем науки познания сущности и первых причин, что за явлениями, доступными нам, находится вещь в себе, мрак, тайна. Наконец, положительная философия отрицает возможность метафизического познания. В этом пункте положительная философия находится в полном противоречии не с другими системами, а сама с собою»<sup>2</sup>. Не метафизика ли, и не дурная ли притом метафизика та, которая находит нужным *partager l'univers en deux parties*<sup>3</sup> и устанавливает отделение доступного от недоступного? И не была бы более положительной та положительная философия, которая ограничилась бы указанием на незнание в настоящее время первых причин, как на факт, и не дискредитировала бы безусловно непознаваемости?»<sup>4</sup> Таким образом, стремление быть позитивнее самих позитивистов вырождается в заботу о возвращении метафизическим изысканиям отнятого у них позитивной школой значения. Изыскания эти, по мнению Анджулли, могут быть рассматриваемы в трех отношениях: или как логическая критика понятий, или как исследование сущности,

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 64, 65.

<sup>2</sup> Там же. – С. 97.

<sup>3</sup> Слова эти оставлены без перевода с французского, как в подлиннике.

<sup>4</sup> Angiulli A. La filosofia e la ricerca positiva, questioni di filosofia contemporanea. – Napoli, 1868, 1873. – P. 97, 98.

или как понятие о мире. Это значит, что метафизика отождествляется с тремя различными предметами: психологией, философией наук и собственно метафизикой. Если бы Анджулли проанализировал свое мнимое ультрапозитивное мнение, он бы заметил, что противоречие, в котором он упрекает положительную философию, в ней не существует, так как она отвергает только метафизику в тесном смысле. Сам Анджулли не решается утверждать, что сущность вещей будет когда-нибудь познана, он только говорит, что это вопрос будущего, относительно которого нельзя сделать никаких предвещаний, так как нельзя определить наперед предел прогрессу наук. Но сущность вещей есть понятие *à priori*; зачем же влетать его в прогресс наук и основывать целую систему изысканий, сам способ производства которых немислим вне умозрений, так энергично изгоняемых из науки и философии самим Анджулли. В положительных науках нет и не может быть того опорного пункта, который мог бы стать краеугольным камнем изысканий, составляющих предмет мечтаний итальянского философа. Опыт не дает и не даст ничего, что могло бы стать исходной точкой познания того, что предварительно придумано как будущий объект, который только должен появиться. Итак, оставим сущность вещей метафизикам, оставим им и первые причины – для их объяснения средств у нас не существует – и сохраним убеждение, что позитивнее того, что позитивно, ничего не может быть, как не может быть что-либо научнее науки. А так как позитивная философия тождественна с наукой, то отсутствие в ней позитивного элемента могло бы быть доказано только посредством ее сопоставления с наукой. Анджулли же говорит об априорных понятиях, а потому и допускает грубую ошибку.

Из писателей, говоривших об общих вопросах положительной философии в минувшем году, нельзя не упомянуть о Лоране, известном авторе «*Etudes sur l'histoire de l'humanité*»<sup>1</sup>, XVIII том которой недавно вышел в свет. Лорану, как идеалисту, чужд и недоступен реализм положительной философии. Его понимание истории, основан-

---

<sup>1</sup> Laurent F. *Études sur l'histoire de l'humanité*. – Bruxelles, 1861-1870.

ное на идее провиденциализма, не может мириться с законносообразностью социологических явлений, установленных позитивной школой. Возникающее отсюда отношение к позитивизму не могло служить для Лорана побудительной причиной к близкому и основательному знакомству с ним и, вследствие того, в главе XVI тома, посвященной этому учению, накопилось так много неверных данных, такая масса ошибок, что вся эта глава стала никуда не годной, обратившись в одну сплошную ложь. С первых же строк вы узнаете, что из всей литературы позитивизма Лорану известны только два сочинения Литтре – «*Révolution, Positivism, Conservation*» (верное заглавие – «*Conservation, Révolution et Positivism*»<sup>1</sup>) и «*Paroles de philosophie positive*»<sup>2</sup>, да еще сочинение контиста Ломбраля – «*Aperçus généraux sur la doctrine positiviste*»<sup>3</sup> и статья Л. Бюхнера из сборника «*Aus Natur und Wissenschaft*»<sup>4</sup> – вот и все. Такое неудовлетворительное знакомство с источниками, объясняемое отчасти поспешностью работы, встречалось у Лорана и прежде, но никогда он не был до такой степени легковесен, как по отношению к позитивизму. Здесь он без труда торжествует над автором, к которому относится как к противнику, потому что вместо действительного объекта критики, он берет вымыслы своей собственной фантазии. Начнем с того, что, имея перед собой сочинения позитивиста Литтре и контиста Ломбраля, Лоран не заметил, однако, никакой между ними разницы, существующей между последователями Конта. Он говорит о позитивизме, как о религии, ответственность за нелепости которой накладывает, прежде всего, на отвергающего эту религию Литтре. Я не стану, разумеется, следить за тем, что говорит Лоран о позитивной религии, так как это в настоящем случае несколько не интересно, а обращаю внимание исключительно на его суждение о позитивизме, как философской системе. Эта система представляется ему в крайней степени смутно: он, очевидно,

---

<sup>1</sup> Littré É. *Conservation, Révolution et Positivism*. – Paris, 1852.

<sup>2</sup> Littré É. *Paroles de philosophie positive*. – Paris, 1863.

<sup>3</sup> Lombral K. *Aperçus généraux sur la doctrine positiviste*. – Paris, 1858.

<sup>4</sup> Büchner F. *Aus Natur und Wissenschaft*. – Leipzig, 1862.

не отличает общих ее положений от обработки отдельных наук. Он обходит молчанием и отличие абсолютного от относительного, и разделение наук на абстрактные и конкретные, и взаимную связь наук, и их иерархизацию. Он скачет по верхам отдельных наук, порядок которых представляется ему произвольным. Он возмущается мимоходом биологическим учением позитивизма, приписывает тут же позитивистам признание системы Галля (столь решительно отвергаемой Литтре) и, бросив два-три восклицания по поводу идей позитивистов о первой причине, делает свое общее заключение о позитивизме. Он обвиняет его в том, что это учение считает мечтанием те великие задачи, которые в течение веков заставляют страдать человека. И удивительно, но в число этих задач Лоран ставит и капитальнейшие вопросы морали. Он уверяет, что их позитивизм считает химерами. Наконец, единственными мыслями, единственным занятием современного человека, говорит философ, позитивизм считает телеграфы, железные дороги, пароходы, льняные и хлопчатобумажные прядильни, мастерские разных родов и... ничего больше. Затем следует плач Иеремии о том, что Моцарт и Бетховен не могут находить вдохновения среди шума и стука машин. И далее, протест против стремления ограничить одной промышленностью всю деятельность человечества и, наконец, восклицание «*Pourquoi continuer ces interrogations? L'humanité n'est pas disposé, nous semble-t-il, à se faire positiviste à la façon d'Auguste Conte!*» И главе о позитивизме конец.

Передавая это скомканное и бессвязное осуждение позитивизма языком положительной философии, я могу сказать, что существенных недостатков в позитивизме Лоран находит три:

- 1) позитивизм относит некоторые вопросы теологии и метафизики к области непознаваемого;
- 2) к числу этих вопросов отнесены вопросы морали;
- 3) промышленным интересам принесены в жертву все другие элементы научного и социального развития.

Я несколько не желаю снимать с позитивизма первого обвинения, не намерен возражать и на замечание Лорана, видящего в указываемом им основном положении позитивной системы недостаток.

Такое суждение обнаруживает, что воззрение, на котором оно основано, принадлежит к одному из предшествовавших положительной философии мирозозерцаний. Это факт, который всегда придется иметь в виду, пока время и возрастающее торжество над умами разгоняющей мрак науки не сделают своего дела.

Что касается второго обвинения, то оно основывается на крайнем неведении элементарных начал положительной философии. Если бы Лоран прочел курс положительной философии Конта, он нашел бы в IV, V и VI томах этого курса многочисленные рассуждения, которые вывели бы его из заблуждения. Но, минуя Конта, на которого Лоран никогда и не ссылается, и, имея в виду то, что он говорит о современном позитивизме, ему следовало бы знать то, что говорит, например, Литтре и другие современные позитивисты – Баньо, де-Блиндер, Бурде<sup>1</sup>.

Переходя к третьему обвинению, мне приходится сказать, что оно основано не только на незнании того, что есть в действительности, но диаметрально противоположно ей. Позитивизм не чужд, конечно, промышленному движению нашего времени, не чужд — прежде всего — потому, что знает цену связанному с этим движением рабочему вопросу. Однако между таким отношением к современной промышленности и пожертвованием ей всех научных и социальных интересов — большая разница. Позитивная система далека от всяких субъективных увлечений, и никакое движение, как бы оно велико ни было, не может применить ее принципов, установление которых обусловлено более глубокими мотивами, чем временное усиление деятельности того или другого элемента социального строя. Если бы Лоран понял это, он не возводил бы на позитивизм обвинения, нелепее которого и придумать трудно.

После абсурдов метафизики Лорана, не знаю спускаться ли нам еще ниже — говорить ли об абсурдах кардинала Раушера, посвятивше-

---

<sup>1</sup> См. Littré É. Des origines organiques de la morale. — Paris, 1873; Bagny. La morale dans la démocratie. — Paris, 1870; de Blinier. Etude de morale positive. — Revue. — 1868. — №2; Burdet. De la morale dans la philosophie positive. — Paris, 1845.

го позитивизму весьма длинную и бестолковую речь? Точка зрения, на которой стоит, забавный в своем гневе, кардинал, избавляет меня, конечно, от необходимости перетряхивать старый хлам, которым бойкий венский прелат думает завалить возрастающий и крепчающий позитивизм. Мне бы, разумеется, довольно было бы упомянуть, что вот и кардиналы заговорили о позитивизме, и этого было бы довольно. Но для Раушера приходится делать исключение, так как он заявил о факте, крайне интересном и прямо относящемся к вопросу, который нас занимает, а именно – к вопросу о распространении позитивизма. «Позитивизм! – восклицает кардинал. – Что это такое? Это слово произносится у нас редко, но дело каждодневно распространяется вокруг нас. Взгляды, которым позитивизм дает ясно определенный характер, рассматриваются в журналах как потребность прогресса, как закон будущего. Эти взгляды господствуют в политических корпорациях, о них шумят в тавернах и кафе, они производят бури в конгрессах рабочих, а потому рассмотреть их сущность было бы делом не лишним» (*Discours de son Em. le card. Rauscher, tenu le 7 mars 1869*). Итак, скрытое состояние позитивизма в умах современного общества, так давно замеченное позитивистами, наконец, бросается в глаза и таким лицам, которые наименее способны понимать современное умственное движение. Из этого можно заключить, что в Отечестве кардинала Раушера симптомы внутренней работы мысли окружающего его общества стали настолько явственными, что он не может их не видеть. Это его огорчает, конечно, как кардинала, и он старается раздавить новую силу всеми имеющимися в его распоряжении орудиями ветхого римского арсенала. Однако это удастся ему еще меньше, чем тем, которые заимствуют свои аргументы из менее мертвых источников. О Раушере говорить больше нечего.

Я бы не исчерпал всего, что было написано о позитивизме, если бы не упомянул об одном стихотворении, посвященном его обличению. Стихотворение это не ново, но еще неизвестно русским читателям. Написано оно некоей Луизой Аккерман:

## LE POSITIVISME

Il s'ouvre par là toute science humaine  
 Un vide dont la Foi fut prompte à s'emparer.  
 De cet abîme *obscur* elle a fait son domaine;  
 En s'y précipitant *elle a cru* l'éclairer.  
 Eh bien! nous l'expulsons de tes divins royaumes,  
 Dominatrice ardente, et l'instant est venu  
 Où tu ne saura où loger tes fantômes;  
 Nous fermons l'inconnu!  
 Mais ton triomphateur expiera ta défaite.  
 L'homme déjà se trouble, et, vainqueur éperdu,  
 Il se sent ruiné par sa propre conquête;  
 Pour te déposséder nous avons tout perdu.  
 Nous restons sans clarté, sans espoir, sans refuge,  
 Tandis que le Désir, noble et dernier transfuge  
 S'égare encore autour du gouffre défendu<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Через это открывается любая наука человечества

Пустота, которую быстро заполнила вера.

Из этой темной бездны она сделала свое владение;

Бросаясь туда, она думала, что освещает ее.

Ну ладно! Мы изгоняем тебя из твоих божественных владений,

Пылкая властительница, и пришел момент,

Когда ты не будешь знать, куда изгнать своих призраков;

Мы закрываем неизведанное!

Но твой триумфатор искупит твоё поражение.

Человек уже смущается и, потерявший голову победитель,

Он чувствует себя разрушенным своим собственным делом;

Чтобы лишить тебя владений, мы все потеряли.

Мы остаемся без ясности, без надежды, без убежища,

В то время как желание, благородный и последний перебежчик,

Блуждает еще вокруг запрещенной бездны.



Этим курьезом мы заканчиваем обозрение мнений, высказанных в сфере общих вопросов.

Если мы теперь перейдем к сочинениям, которые исследуют специальные вопросы, то здесь, прежде всего, нам придется остановиться над восемью книжками «Обозрения» Литтре и Вырубова за весь прошлый год и за четыре месяца текущего года. Эти книжки полны материала, в высшей степени важного и интересного для всякого, небезразлично относящегося к позитивной философии. Как я уже упомянул, на первом плане здесь стоят статьи по социологии. Замечательнейшие из них принадлежат редакторам «Обозрения» – Литтре и Вырубову, и на них мы и остановимся, имея в виду краткость нашего отчета. Весьма хорошие статьи по разным отделам социологии принадлежат также Кателино, Монтруи, Стюпюи, Баньо и др. Среди статей по другим наукам нельзя не упомянуть о труде доктора Робена «De l'appropriation des parties organiques et de l'organisme à l'accomplissement d'actions déterminées»<sup>1</sup>, Ноэля «Le science géométrique dans l'Inde ancienne»<sup>2</sup>, Вырубова «De l'individu dans le règne inorganique»<sup>3</sup>. Об остальных я умолчу, потому что, имея возможность передать идею о содержании только крайне ограниченного числа статей «Обозрения», я поневоле довольствуюсь тем, что стараюсь пробудить интерес к этому изданию. Более или менее полное перечисление статей, помещенных в нем, было бы совершенно бесполезно.

Начнем со статей Литтре.

Этюд, озаглавленный «Du mythe de l'arbre de vie et de l'arbre de la science du bien et du mal dans la genèse»<sup>4</sup>, несомненно, труд весьма замечательный. Литтре дает в нем понятие о корне и развитии той

---

<sup>1</sup> Robin C. De l'appropriation des parties organiques et de l'organisme à l'accomplissement d'actions déterminées. – Paris, 1853.

<sup>2</sup> Noel. Le science géométrique dans l'Inde ancienne. – Paris, 1849.

<sup>3</sup> Вырубов Г. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. – СПб., 1890-1907. – Т. 4.

<sup>4</sup> Littré. É. Du mythe de l'arbre de vie et de l'arbre de la science du bien et du mal dans la genèse. – Paris, 1863.

догматической идеи, на которую указывает заглавие. Мы не можем, к сожалению, следить за всеми фактами и доводами, доставляемыми обширной эрудицией и могучей аргументацией Литтре, так как предмет его исследования и до сих пор еще находится у нас за шлагбаумом свободного слова. Однако пользуясь той частью статьи, которая нам доступна, мы можем сделать намек на воззрения Литтре, представив очерк происхождения и распространения мифа Прометея. Объяснение этого мифа может служить для объяснения и многих других, особенно тех, которые представляют с ним более или менее разительные черты сходства.

Читатель помнит, конечно, миф Прометея. Его завязка совпадает с тем моментом легендарной традиции, когда боги не были расположены к людям и боялись, чтобы те, сделав какое-либо важное открытие, не сравнялись с ними, не получили их славы, не посягнули на их могущество. Эта черта отношений между людьми и богами более или менее свойственна всем религиозным преданиям и намекает на первые шаги торжества над природой, на первые шаги культуры, а, быть может, и на первые шаги сомнения. В мифе Зевс, не расположенный к человеческому роду, подобно другим жителям Олимпа, удерживает огонь, не открывает его людям, зная, что без огня никакая жизнь, никакой труд не могут развиваться. Участие в судьбе людей принимает титан Прометей — он похищает огонь у Зевса и передает его людям. Он оказывает им неоценимое благодеяние, спасая их от вечно-го дикого состояния. Зевс не терпит этого смелого поступка титана и приковывает его к кавказской скале, где ежедневно орел выклевывает ему нарастающую печень. От этих страданий его спасает сын самого Зевса — Геркулес, убивающий орла и освобождающий Прометея от оков. Это освобождение Прометея — одновременно и освобождение человечества, примиряющегося теперь с Зевсом.

Отвлеченный смысл этого мифа ясен даже без комментариев, так как мотивы действий Прометея и Геркулеса определенно указывают на борьбу за благо человечества, стремящегося победить или примирить враждебные ему силы. Удачные действия героев показывают, что борьба велась, хотя и с перипетиями счастья и несчастья, но,

в конце концов, удачно: приводила к торжеству человека, созидающему и внешнее благосостояние, и внутренний мир. Но, кроме отвлеченного смысла, новейшая наука умела найти в каждом мифе тот конкретный элемент, который послужил ему корнем и из которого миф развился потом в более или менее пышный поэтический цвет. Например, миф Прометея из простого конкретного начала, о котором мы сейчас расскажем, перешел в легенду, в образное выражение известного мирозерцания, а еще позже — в трилогию Эсхила, чудное создание эллинского ума.

Корень мифа в настоящем случае — это факт открытия огня. Но каким образом этот факт остался в народной памяти и был восхвален и возвеличен? Новейшие исследователи утверждают, что открытие огня было издревле освящено в богослужении индоевропейских народов. «Pramathius» — так в переводе с санскритского называется то действующее лицо древнейшей литургии, которое воспламеняет жертву при ее приношении. Таким образом, «Pramathius» был открытой темой для легенды, и если в Индии он остался тем, чем был и в древности, то в Греции он развился в гениальный миф, заключающий в себе определенное философское и религиозное воззрение на судьбы человеческого рода.

Но кроме развития мифа, для социолога не менее важно и его разложение. Такое разложение мифа, о котором идет речь в статье Литтре, имеет для нас тем большую важность, что совершается у нас перед глазами и имеет, и будет иметь неисчислимые последствия.

Исследуя развитие и разложение избранного им мифа, Литтре затрагивает общие вопросы исторического развития европейских народов, делая по этому поводу общий очерк перехода древнего мира в новый. Знакомство с этим очерком может дать понятие о взгляде Литтре на один из главнейших моментов истории.

«Когда Рим стал владыкой судеб цивилизованного мира и соединил в одно социальное тело парфян на востоке и германцев на севере, — говорит Литтре, — в это время все теологические и метафизические элементы были готовы для новой обработки. Монотеизм у евреев и главных греческих философов; идея злого духа у евреев и дуа-

листическое учение Авесты; «вечная премудрость» Зороастра и «логос» Платона; учение об искуплении в Иране и у евреев, не чуждое и грекам через посредство мифа Прометея; воскресение у фарисеев и последователей Зороастра – вот, что испытывало процесс брожения в столь смешанных тогда идеях Востока и Запада, все это в целом имело свое начало в предшествующих элементах, подготавливая посредством того же закона преемства элементы будущего. Обновлению особенно благоприятствовало то, что политеизм падал сам собою, презираемый философами, подрываемый их критикой, слабо поддерживаемый чувствами толпы, страстно кидавшейся на всякого рода религиозные крайности. Когда масса перечисленных выше теологических элементов получила определенную форму и была запечатлена духом высокой морали, тогда благая весть о таком событии быстро распространилась среди жителей городов, хотя села дольше оставались чужды этому движению. Спасаясь от бедствий времени, народ со всех сторон спешил в это нравственное убежище, которое стало кровом, приютившим бежавших из язычества, стало началом нового общества. Если впоследствии это новое общество взяло верх над варварами, заложив основы средневекового периода, и стало настолько прогрессивным, что было в состоянии произвести новую эру, то оно было обязано не своей теологии и морали, а другим условиям. Теологическое мирозерцание, не менее моральное, чем то, о котором идет речь, – буддизм, – было лишено, однако, всякой прогрессивной силы и оставило населения, принявшие его, в том же состоянии застоя, в котором и застало их. Прогрессивным элементом в рассматриваемом случае была греческая наука, греческая литература, греческое искусство. Они извлекли мир из той колеи, в которой он был, исходная точка которого находится на Востоке, и с тех пор превратившись мало-помалу в учение философско-положительное, они стали приобретать все более и более преобладающее значение для судеб цивилизации»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Littré É. Les deux arbres de la genèse. – Revue. – 1869. – №3. – P. 352.

Другая статья того же автора – «De l'ancien Orient»<sup>1</sup> – написана по поводу сочинения Ленормана «Manuel de l'hist. ancienne de l'Orient»<sup>2</sup>. Не отвлекаясь на частные вопросы, мы остановимся только на некоторых мыслях, относящихся к «эскизу плана всеобщей истории». Сделав очерк развития, охватывающего древние восточные монархии, Грецию, Рим, средневековой Запад и народы Нового времени, Литтре ставит вопрос о том, как следует относиться к народам, о которых он умолчал. Согласно его взгляду, охватить все человечество, не нарушая его единства, можно при условии, чтобы частные истории вводились только тогда, когда они соприкасаются с великой историей, имеющей предметом *жизнь человечества* и создание его господства над землей. «Таким образом, – говорит он, – история Индии должна быть включена во всеобщую историю только в тот момент, когда эта страна вступает в отношения с регулирующим политическим телом. Быть может, будет выражено удивление по поводу того, что о стране, история которой слывет за столь древнюю, я не желаю говорить тогда же, как говорю о Вавилоне и Египте. Но подлинная достоверность этой истории не восходит ранее Вед, древность которых не достигает древности египетских памятников. Кроме того, Индия оставалась изолированной на своем полуострове, в своих кастах, своей неподвижности, она не влияла на судьбы развития. То же следует сказать и о Китае: он не влиял на ход цивилизации. Его древность, хотя и глубокая, не может сравниться с древностью восточных монархий. Индия и Китай представляют собой две великие страны, остававшиеся вне движения и никогда не бывшие органами развития. Остальные – Америка, Африка, Австралия – имеют гораздо меньшее значение и подводятся под тот же закон»<sup>3</sup>.

Кроме упомянутых статей и этюдов по психологии и морали, есть еще в «Обозрении» и публицистические статьи Литтре по поводу современных событий. Чтобы дать понятие о направлении, которое

---

<sup>1</sup> Littré É. De l'ancien Orient. – Paris, 1869.

<sup>2</sup> Lenormand Fr. Manuel de l'hist. ancienne de l'Orient. – Paris, 1869.

<sup>3</sup> Littré É. De l'ancien Orient. – Revue. – 1869. – №6. – P. 376.

сообщает положительная философия в сфере этих вопросов, мы представим небольшое извлечение из статьи «De la méthode en sociologie». «Наивысшая наука иерархического ряда, – говорит Литтре, – социология. Поэтому в ней труднее всего делать дедукции, выводить отдаленные заключения, строить будущее». Литтре не отрицает того, что бы в привычках не лежало нечто прямо противоположное, но, следуя своему методу, он не навязывает объекту того, чего в нем нет. Такое решение принято им не потому, что ему было неприятно идти быстрее, но потому, что он делает только то, что возможно. Сама действительность поддерживает его своим ровным поступательным ходом. Она как бы представляет социологический метод в действии и дает эмпирическое объяснение его могущества. «Выходит ли из этого, – говорит Литтре, – что надо следовать за слепым ходом событий без путеводной нити, без указаний для выбора? Нет, разумеется. Не трудно ли указать, где эта нить, где следует выбирать? Не вступая в споры с почитателями прошедшего, можно указать на факт, против которого не существует никаких возражений, а именно – что положительная наука постоянно крепнет, что мы постоянно учимся лучше познавать законы вещей и пользоваться ими. Установив эту точку зрения, мы переходим к тому заключению, что воспитание должно быть так же прогрессивно, как и наука, а прогрессивное воспитание – это непрерывное изменение общественной нравственности. Другими словами, это значит, что наш принцип устанавливает необходимость улучшения в положении классов и отдельных личностей. Вот нить, по которой надо следовать, вот выбор, который следует делать в ряду событий, в соответствии с тем, происходят ли они или подготавливаются»<sup>1</sup>.

Какими общими ни есть эти правила, они, однако, без труда применяются к ряду событий, совершающихся теперь во Франции. Руководствуясь ими, Литтре устанавливает на эти события тот взгляд, который, будучи взглядом позитивиста, есть одновременно с тем и взгляд европейца, чуждый национальной исключительности. Мне особенно приятно было бы остановиться над гуманными, истинно

---

<sup>1</sup> Littré É. De la méthode en sociologie. – Revue. – 1870. – №5. – P. 202.

просвещенными и либеральными взглядами Литтре и показать на них нашим псевдопатриотам, как на образец действительно разумного отношения к вопросам, которые они успели так пропитать своим золотушным мирозерцанием. Но чтобы не обратить этой статьи в политическое обозрение, я ограничиваюсь сделанным указанием и продолжаю дальше следить за статьями «Revue».

В ряду статей по социологии для русского читателя имеет особый интерес статья Вырубова «О пьянстве в России»<sup>1</sup>. «Идея этой статьи, – говорит автор, – возникла у меня при чтении одного очень замечательного доклада о пьянстве русского народа, представленного петербургскому экономическому обществу, и рассуждений, вызванных этим докладом в русской публицистике. Доклад этот, написанный превосходным статистиком, совершенно чуждым, впрочем, тому учению, развить и распространить которое мы стараемся, заключает в себе факты, показавшиеся мне в высшей степени важными для социологической науки. На эти факты я и обращаю внимание мыслителей и политиков, добавляя со своей стороны некоторые рассуждения, выходящие из них, как естественное их следствие. Поэтому в этой статье не встретят ни излишних скорби по поводу пьянства в России и его печальных последствий, ни соображений о средствах, способных остановить его. Нельзя скорбеть о том, что исторически необходимо, и нельзя уничтожить следствий прежде уничтожения причины, их производящей, так как нельзя излечить симптомы, не излечив болезни»<sup>2</sup>.

Обратимся теперь к фактам, представленным отчетом, о котором говорит Вырубов, и, для лучшего их уяснения, припомним, что законодательство о винокурении и продаже вина в России руководствовалось в новейшее время двумя системами: прежде – откупной, теперь – акцизной. Система откупная, существовавшая до 1863 года, и система акцизная, введенная в этом году, как известно, конечно, читателю, представляют две диаметрально противоположности по от-

---

<sup>1</sup> Vyubov G. De l'ivrognerie en Russie. – Paris, 1869.

<sup>2</sup> *Ib.* – P. 264.

ношению к условиям потребления народом водки. Чтобы вполне оценить эту противоположность, недостаточно сравнить обе системы как два законоположения, но надо обратить внимание на те обстоятельства, которые вызывались введением одной системы после другой именно в том порядке, как это было, т. е. вольной продажи водки после монополии торговли ею. Обстоятельства эти крайне важны и весьма разнообразны. Напомним только о тех, которые произвели слово «*дешевка*» и которые вызвали крупных и мелких промышленников к такому непомерному ее производству, что в некоторых городах рабочим охотнее платили водкой, чем деньгами. Напомним еще, наконец, что легкий способ нажить деньги, опаивая народ, привел в движение даже ту часть общества, которая причисляет себя к интеллигенции и на которой лежит естественная обязанность заботиться о поднятии материального и нравственного уровня народного быта. Известно, что многие помещики жадно схватились за винокурение и кабаки, как за верное средство поправить свои дела, подпорченные эмансипацией. Таким образом, на массу народа, издавна преданного пьянству, хлынуло, по меткому выражению Вырубова, целое море водки, а у народа не существовало иной защиты против этого наводнения, кроме естественных законов, управляющих общественной жизнью. Что же должно было произойти при таких обстоятельствах?

Особенность этого вопроса заключается, прежде всего, в том, что он касается столь редких в социологии случаев, которые имеют все свойства социологического опыта. На самом деле, изменение условий потребления алкоголя шло для народа извне и не имело никаких промежуточных мероприятий, которые бы приспособляли испытываемую среду к предстоящему над ней эксперименту и таким образом усложняли его. Эксперимент был проведен так, как проводят эксперименты в опытных науках, и социолог был поставлен в самые благоприятные условия для изучения значения, действия и последствий этого эксперимента. Таким образом, неожиданно появляется случай проверки и подтверждения социологических законов, открытых преимущественно путем наблюдения.



Этот взгляд на вопрос связывает его с другим, более общим вопросом: в какой мере развитие народа зависит от декретов и внешних влияний? Читателю известно, конечно, что положительная философия, признавая известные естественные законы социологического развития, не может допустить, чтобы эти законы могли быть нарушены посредством более или менее случайных и произвольных толчков извне. Она утверждает, что социологические законы так же, как и все естественные законы, действуют независимо от всякой воли, а потому и изменены быть не могут. На основании такого взгляда позитивист имеет возможность отвечать на поставленный выше вопрос. Он может утверждать, что потребление алкоголя народом, не будучи обусловлено извне, не может измениться от изменения внешних условий. Или, точнее, количество потребляемой водки пропорционально населению страны должно быть одинаково как при откупной, так и акцизной системе (если только это потребление не возрастет от других причин, коренящихся в жизни самого народа).

Принципы положительной философии, как и теперь, были неизвестны тем, кто с теми или другими целями делал себя, так сказать, влияющими на вопрос о потреблении водки, а потому в первые годы акцизной системы и составилось убеждение, что пьянству предстоит в некотором роде блестящая будущность. Моралисты испугались, искренно или лицемерно, такой будущности и стали читать свои проповеди. Те же, которым рост потребления водки был выгоден, стали бороться против общества трезвости, плодить кабаки, созидать винокурни. В первое время и моралисты, и производители, по видимому, активизировались не напрасно: потребление водки возросло, но проходил год за годом, и заведения начинали закрываться. Моралисты успокоились. И когда, по прошествии 6 лет, собраны были точные данные о количестве водки, потребляемой в России, то оказалось, что количество это не возросло, а твердо стоит на том уровне, на котором стояло во времена откупа. Цифры, подтверждающие этот вывод, приведены в докладе Бушена, представленном вольно-экономическому обществу. Таким образом, подтверждается то, что утверждает положительная философия, и социологический опыт, о

котором сказано выше, имеет, следовательно, весьма важное для нее значение.

Не меньшее значение имеют и выводы положительной философии из изучения совершенного перед ее глазами опыта. В действии и воздействии жизни и философии, наблюдаемых в настоящем случае, открываются, как нельзя лучше, связь, которую они взаимно имеют, и цена одной для другой. А это взаимодействие, в свою очередь, наводит нас на мысль о сравнении философии, опирающейся на науку, с метафизикой, теряющейся в туманных сферах своих отвлеченных умозрений.

Чтобы верно оценить факт, добытый статистическим исследованием Бушена, следует, прежде всего, иметь в виду различие между количеством алкоголя, потребляемого той или другой страной, и степенью распространенного в ней пьянства. Потребление алкоголя – это результат естественной потребности, свойственной всем человеческим обществам, ибо повсеместно в том или другом виде потребляется определенное количество алкоголя, не только без вреда для организма потребляющих, но и с пользой для него. Совсем другое – пьянство, представляющее аномалию общественного порядка, ибо оно существует всегда в одном слое общества преимущественнее, чем в другом, и, следовательно, вызывается не естественной, общей всем потребностью, а иными причинами. С успехами цивилизации пьянство всегда уменьшается и заменяется правильным потреблением водки, т. е. потреблением, соответствующим потребностям организма и не доводящим до опьянения. Такое потребление увеличивает общее количество алкоголя, потребляемого народом, и, таким образом, ставит это количество в отношение, обратно пропорциональное к пьянству.

Имея в виду это различие, мы можем, следовательно, сказать, что окончательное заключение из доклада Бушена свидетельствует о том, что введение акцизной системы несколько не изменило дела, которого касалось: количество потребляемого алкоголя осталось то же, и пьянство, существовавшее прежде, продолжало существовать. Итак, причина пьянства – не в системе правил производства и прода-

жи вина. В чем же она заключается? Вот вопрос, ответ на который и приведет нас к выводам, о которых сказано выше.

Исследуя различные объяснения причин пьянства, Вырубов начинает с климатических условий: не склоннее ли к потреблению водки народы, обитающие на севере, чем те, которые живут на юге и в умеренном поясе? Некоторые, на основании различных данных, утверждают, что холодный климат способствует росту потребности организма в алкоголе. Рассуждения эти, однако, решительно опровергаются фактами. Тщательное статистическое исследование показало, что русский народ, например, пьет очень мало, гораздо меньше всех европейских народов, так что существующее в нем пьянство никак не может считаться результатом избытка потребляемой водки. Я не привожу цифр, так как они не интересны, читатель найдет их в статье Вырубова.

Было высказано мнение, что пьянство в России происходит от невежества русского народа, от отсутствия в нем нравственности и преобладания материальных интересов над духовными. Вырубов находит, что это мнение не идет дальше неопределенных, общих фраз, ничего не объясняющих и дающих только повод к длинным поучениям, не исполняемым, прежде всего, теми, кто думает исправлять ими других. Да, наконец, если бы та мораль, которую считают высшей и спасительной от всех пороков и, между прочим, от пьянства, обладала действительно чудной силой исцеления от него, то не магометяне отличались бы как образцы трезвости, а те, которые ею проникнуты. Что же касается невежества, как причины склонности к пьянству, то нельзя не заметить, что пьянство наиболее распространено именно в тех губерниях, которые справедливо считаются наиболее образованными (Московская, Тверская, Новгородская), и что оно достигает *maximum'a*, как и везде в Европе, в больших городах, где работник несомненно более развит умственно, чем крестьянин. И разве кто-то утверждал когда-нибудь, что трезвые татары более развиты умственно, чем русские? «Нет сомнения, – добавляет к этому Вырубов, – что если бы массы были столь же развиты как меньшинство, которое повсеместно составляет либеральную партию, то пьянство перестало бы

существовать. Однако это обстоятельство не дало бы еще права переходить от одного факта к другому, как от причины к следствию, потому что тогда все изменилось бы, и социальный порядок был бы другой»<sup>1</sup>.

Не отыскав причины пьянства в указанных выше условиях быта русского народа, нам остается только рассмотреть экономические условия.

Русский народ живет обработкой небольшого клочка земли, который, вследствие климатических условий, не дает работы на весь год. Таким образом, крестьянин вынужден работать усиленно некоторую часть года, и осужден на бездействие во все остальное время. Как работает русский крестьянин, пока у него есть работа, то, конечно, хорошо известно русскому читателю, который если и не бывал в деревнях в период страдного времени, то без сомнения слышал о нем. Результатом усиленных трудов, в течение которых работник отличается примерной трезвостью, бывает скудный заработок, который, за вычетом разного рода платежей, лежащих бременем на нашем мужике, дает столь ничтожный остаток, что не всегда можно прожить без нужды зимние месяцы. О сбережениях и запасах на случай неурожая, пожаров, не может быть и речи. Итак, проработав лето как вол, русский крестьянин не всегда может добиться даже того, чтобы обеспечить семью. Что же удивительного, если оседлой жизни среди нищеты и горя он предпочитает скитание по разным местам обширного отечества, чтобы найти себе работу, которую часто не находит, и нищенствует. Когда же именно пьет он при таких условиях своего быта? Очевидно, что он не может пить постоянно, не может регулярно удовлетворять потребности своей натуры в алкоголе. Он пьет тогда, когда у него появляются деньги, которыми он не дорожит, так как они не могут вывести его из бедности, не могут установить порядка в его жизни. Он пьет много сразу, он пьянствует. Конечно, есть исключения. Есть крестьяне, которым удалось победить окружающие их трудности и добыть себе достаток. Но зато и известно всякому, что пьянствует в России не синий кафтан, а сермяга. Всматриваясь в быт фаб-

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 276.

ричных работников и сельского духовенства, мы легко найдем, конечно, существенные черты сходства с крестьянским бытом. Везде одна и та же причина, одни и те же следствия. Бедность, происходящая от плохо и, главное, нерегулярно вознаграждаемой работы, – вот корень зла. «Не подлежит сомнению, – говорит Вырубов, – что этот корень находится в зависимости от других корней. Если продолжать анализ, то можно было бы заметить, что климат, этот великий враг русской цивилизации, географическое положение, население, пока еще очень не густое, как и тысяча других явлений, – приводят к тому плачевному экономическому положению, которое мы теперь видим в России. Но, при изучении социальных фактов, всегда столь сложных, надо уметь остановиться на самых прямых, самых непосредственных причинах. Только при этом условии социологические законы могут быть наблюдаемы».

Определив таким образом причину существующего в России пьянства, Вырубов делает общий вывод, заключающийся в том, что не система производства и сбыта водки, не то или другое внешнее влияние на народ определяет количество алкоголя, которое ему необходимо. Так как пьянство, т. е. нерегулярность потребления водки, также не зависит от внешних причин, то различные меры, касающиеся места, числа, величины, кабаков и винокурень, не затрагивающие корень зла, средства искоренения пьянства, по самой природе вещей, никогда не могут иметь прочных результатов.

Полностью соглашаясь с мнением Вырубова, что потребление алкоголя (как правильное, так и неправильное) зависит от экономического состояния народа, я полагаю, что этот вывод остается верен и в том случае, если цифры Бушена не вполне точны, даже если будет доказано, что за последние 6 лет пьянство в значительной степени возросло. В этом последнем случае, исследуя причины пьянства, надо будет расширить анализ и, не останавливаясь на явлениях, имеющих внешний и случайный характер, постараться охватить всю совокупность условий экономической жизни народа. Я думаю, что есть основания не слишком доверять собираемым у нас статистическим данным, а потому и нет причины останавливаться на выводах Бушена,

как на несомненных. С другой стороны, и экономическое положение нашего народа так мало исследовано, что нельзя отрицать, что причина роста пьянства не лежит в условиях этого положения, если только она не бросается в глаза всякому. В одном официальном отчете, появившемся после статистических исследований Бушена и статьи Вырубова, я встречаю основанное на многочисленных местных наблюдениях решительное уверение, что пьянство возросло, причем причину такого явления отчет видит в дешевизне водки и происходящем оттого безмерном умножении питейных заведений. Факт роста пьянства может быть и верен, как я и сказал уже, но вывод слишком поспешен и основан на путанице понятий «пьянство» и «потребление алкоголя». На самом деле, отчего дешевизна водки и многочисленность кабаков обуславливают непременно *неправильное* потребление водки, т. е. пьянство? Этого из отчета не видно, да и не объяснено. Не рутинное ли это повторение объяснения, поверхностность которого очевидна для всякого, вникнувшего в доводы Вырубова? Как могло пьянство у нас распространяться, если одновременно с этим ростом пьянства народ терпел страшные последствия неурожаев и другие тяготы, доведшие его местами до совершенного разорения? Наконец, на нем не может не отзываться и падение нашего кредитного рубля. Вот причины, на которые должно быть обращено внимание исследователя, не сбивающегося с мысли, что условия народной жизни так просты, что их можно регулировать столь же легко, как, например, уровень воды в шлюзе. Пьянство, как мы видели, не прямо пропорционально массе выпитой водки, а наоборот. Этого как бы не хочет знать официальный отчет, а пора бы взглянуть на это дело серьезно.

Анализируя вопрос о пьянстве в России, Вырубов указывает на то, что этот вопрос ведет к другому, более общему – к вопросу о влиянии искусственных мер на общественную нравственность. «Этот последний вопрос, – говорит он, – один из тех важнейших политических вопросов, которыми должна заниматься современная наука, ибо его общее разрешение неизбежно приводит к решению одного из наиболее интересующих общество вопросов, а именно – к решению вопроса о преступлениях и наказаниях. Если бы, на самом деле, было доказа-

но, что преступления – явления правильные, а статистика, по-видимому, доказывает это, потому что преступления всегда выражаются постоянными цифрами в данной среде; если бы, с другой стороны, была бы уверенность в том, что наказания и награды несколько не меняют сущности народной совести, тогда наказания стали бы делом жестокости, делом, для которого наша цивилизация не может найти оправдания. Что же касается меня, то я склонен смотреть на это именно так, ибо те факты, какие до сих пор известны, говорят в пользу этого взгляда, ведь противоположный взгляд никогда не был доказан. Однако я не желаю забегать вперед и говорить о труде, который обдумываю и который появится в этом «Обозрении» (Р. 282). Подготовкой к этому труду можно назвать статью, которую Вырубов поместил в январской книжке «Обозрения» за этот год – «О методе в статистике». В ней он проводит параллель между воззрениями на статистику О. Конта и Кеттле, и, указывая верные взгляды и ошибки обоих, устанавливает тот метод, который может называться положительным. Читателю известно, конечно, что вопрос, разработку которого обещает Вырубов, не раз уже был предметом изучения статистиков, и что, кроме трудов Кеттле, заложившего основания нравственной статистики, изучающий не может обойти работ Дюфо, Энгеля, Бокля, Ванеуса, Герри и многих других. В высшей степени интересно в этом смысле небольшое сочинение Адольфа Вагнера «Die Gesetzmässigkeit in dem scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen»<sup>1</sup>. Нет сомнения, что богатый материал, представляемый трудами этих ученых, даст возможность Вырубову поднять разработку рассматриваемого вопроса на ту высоту, которая удовлетворяла бы требованиям положительного метода.

Мне приходится ограничиться тем, что я сказал об «Обозрении», хотя в нем есть еще множество вещей, над которыми стоило бы остановиться. Однако передо мной еще несколько новых книг, и то, что я должен сказать по их поводу, не будет кратко, а потому я намерен перейти теперь к ним.

---

<sup>1</sup> Wagner A. Die Gesetzmässigkeit in dem scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen. – Hamb., 1864.

Одним из замечательнейших новейших трудов, в основе которых лежит позитивное учение, следует считать, я полагаю, сочинение Феликса Фуку – «История работы»<sup>1</sup>. Фуку обобщает понятие работы и понимает под этим словом совокупность всех условий, производящих цивилизацию. Прежде всего, согласно этому взгляду, работа у Фуку делится на работу природы и работу человека. Работе природы посвящена первая половина книги: здесь автор рассматривает те силы, работа которых произвела известный рельеф Земли до появления человека или видоизменила этот рельеф позже. Во второй половине книги автор рассматривает работу человека и делает очерк прогресса, существование которого обусловлено этой работой. Так он последовательно рассматривает работу, потраченную на улучшение жилища, одежды, пищи, средств сообщения, далее делает обзор влияния наук на успехи цивилизации, переходя от одной науки к другой по порядку их иерархической классификации. В этом интересном обзоре читатель встретит много дельных мыслей, тонкую наблюдательность, весьма обширную эрудицию. Поэтому книгу Фуку можно причислить к одному из полезных вкладов в столь мало разработанную социологию. Нельзя обойти молчанием, впрочем, и весьма крупной ошибки Фуку: работе природы он придает слишком обширное значение и, говоря о ее влиянии на цивилизацию, часто забывает о других условиях, имевших на нее не меньшее влияние. Эта ошибка значительно ослабляет достоинства первой части книги, как бы выставляя на первый план вторую, в которой особенно хорош очерк о влиянии наук.

Для ближайшего ознакомления с книгой Фуку, я выбираю XII главу второй части – «*Influence des sciences pures sur le travail de l'homme*». Эта глава служит вступлением в исследование вопроса, на который она указывает, и содержит, между прочим, объяснения весьма важных для истории наук вопросов. Ни одна отрасль истории не разработана так мало, как история наук. Единственный труд, обещавший соответствовать современным требованиям, давно остановился на первом выпуске, и только с настоящего года опять появилась

---

<sup>1</sup> Foucou F. Histoire du travail. – Paris, 1868.



счастливая надежда на его окончание. Но пока этот труд разрабатывается при более благоприятной, чем прежде, обстановке, там, где работали Монтюкла и Либри, литература истории наук остается по-прежнему бедной. Вследствие этого ложные факты, предрассудки, даже нелепости в сильной степени подмешаны к тем скудным сведениям, которые распространены в обществе даже о новейшей эпохе развития наук. При таких условиях, данные, доставляемые книгой Фуку, могут быть очень полезны. Так, глава, о которой я хочу сказать несколько слов, направлена против весьма распространенного предрассудка, будто великие научные открытия произошли не в силу медленного, постоянного прогресса, обусловливаемого, прежде всего, деятельностью тысячи тружеников, которые подготавливали открытие в течение долгого времени, но исключительно благодаря внезапному и непредвиденному случаю. Народное воображение и теперь любит театральные эффекты, а потому, объясняя возникновение какого-нибудь великого открытия, оно придумывает один разительный, случайный факт и сопоставляет его с героем, который, без всякой посторонней помощи, делает все выводы из этого факта и доходит до прославляющего его открытия. Так, Ньютон, видя падение яблока, доходит до открытия закона тяготения; Папен открывает свойства пара и применяет его как движущую силу, замечая приподнимание крышки горшка, в котором варилась вода. Гальвани, при виде судорог трупа лягушки, открывает, названные его именем, электрические явления. Роджер Бэкон, случайно смешав селитру, серу и уголь и взорвав эту смесь, открывает порох. Все эти анекдоты новы и поддерживаются даже учеными авторитетами, но, тем не менее, в них нет ни слова правды. Фуку напоминает, что новейшим популяризаторам удалось уже опровергнуть их. В настоящее время всякому должно быть известно, что не падение яблока, а законы Кеплера привели Ньютона к открытию всемирного тяготения. Точно также, упругость пара, при всей неоспоримой гениальности Папена, не могла быть применена ранее, чем была установлена теория сгущения пара, которая, в свою очередь, установилась только с помощью термометра, последние усовершенствования в устройстве которого появились весьма

поздно. Динамическое электричество, или гальванизм, точно также не появилось вследствие случая: Гальвани около семи лет занимался физиологическими исследованиями лягушек, когда в лаборатории его, в Болонье, начались физические опыты, чуждые его специальности. Теперь известно, что характер его занятий был таков, что тот случай, на который всегда указывают, как на источник открытия, только ускорил это открытие; Гальвани же и без его помощи неизбежно пришел бы к своему открытию. Относительно пороха следует сказать то же: открытие пороха не было случайно: состав весьма к нему близкий был известен уже арабам, но он не производил взрывов по причине неумения очищать входившую в него селитру. Успехи химии были, следовательно, необходимы для этого открытия, и оно появилось действительно только благодаря им.

«Все эти факты, – говорит Фуку, – показывают, что открытия подчинены строгим законам развития и совершенствования. Порядок, в котором они следуют, вовсе не случайный. Тот или другой зародыш будущего открытия, возникая благодаря уму гения или ряду неизвестных попыток, остается обреченным на бесплодие в течение столетий, потому что для развития он нуждается в таких условиях, которые не успели еще появиться в такой научной теории, которая запоздала. Эта теория, в свою очередь, ждет, быть может, своего орудия наблюдения, требующего вещества, обработка которого еще не известна. Но приходит время, когда обработка этого вещества открывается где-нибудь, и, вслед затем, в другом месте какой-нибудь темный труженик, не сознавая той услуги, которую он оказывает людям, придает этому веществу ту форму, благодаря которой оно делается орудием наблюдения. В другом месте это орудие попадает в руки ученых, которые совершенствуют при его помощи запоздавшую теорию. Далее, под влиянием какой-нибудь потребности, давно уже заявленной потребителями, изобретательность изоощряется в применении научных открытий и извлечении из них сил, производящих работу. Наконец, промышленность, побуждаемая законной жаждой прибыли, подстрекаемая свободной конкуренцией, эксплуатирует эти силы и, работая для роста своего благосостояния, работает в то же время на

пользу роста производительных сил общества. Человеческий род не иным путем шел к обладанию той суммой богатств и теми средствами действия, которые находятся ныне в его распоряжении»<sup>1</sup>.

Рядом с книгой Фуку можно поставить работу известной ученой Клеманс Ройе – «Происхождение человека и обществ»<sup>2</sup>. Сочинение Ройе, уступая труду Фуку по оригинальности, стоит выше него по громадной эрудиции автора, собравшей в своем огромном томе (около 600 с.) почти все (280 сочинений), что дает новейшая наука по рассматриваемому в книге вопросу. Еще в прошлом году Ройе, сотрудница «Обозрения», поместила в журнале статью о Ламарке. Нечего и говорить после этого, что и ее новое сочинение проникнуто тем же мировоззрением, что и предыдущая работа. Замечу только, что обширная работа ученого автора обошлась не без промахов, и что книге вредит незнакомство Ройе с трудами Гэккеля.

Близким по своему предмету к названным двум сочинениям стоит вышедшее новым изданием сочинение А. Мори – «Земля и человек»<sup>3</sup>. Об этом сочинении приходится упомянуть потому, что Мори справедливо причисляется к полупозитивистам, каких мы встречали в лице Б. Котты и Анджулли. Заметим только, что позитивизм Мори бессознателен, появляется помимо воли автора, как результат строго научного метода. С этой стороны книга Мори может справедливо считаться, как говорят, знаменательным явлением.

Чтобы не обойти молчанием всех проявлений позитивизма, за которыми мне удалось проследить, я упомяну еще о лекции Фарра-ра, напечатанной, в переводе с английского, в «*Revue des cours littéraires*»<sup>4</sup>. Эта лекция посвящена объяснению научного значения филологии. Она проводит на развитие этой науки взгляд чисто позитивный. «История филологии, — говорит Фаррар, — совершенно сходна с историей других наук. Точно так же, как эти науки, филоло-

---

<sup>1</sup> Ib. — P. 246.

<sup>2</sup> Royer Cl. Origine de l'homme et des sociétés. — Paris, 1861.

<sup>3</sup> Maury A. La terre et l'homme. — Paris, 1869.

<sup>4</sup> Revue des cours littéraires. — 1869. — №45.

гия прошла через три последовательные периоды: теологический, эмпирический (который Фаррар называет и метафизическим) и позитивный»<sup>1</sup>. Мы не будем останавливаться над развитием мысли Фаррара, так как это увело бы нас в сторону, а обратим внимание читателя на то, что нелепые суждения Гэксли о позитивизме не помешали этому учению проникнуть в Англии в ту отрасль знаний, на которую, сколько мне известно, позитивизм не оказывал до сих пор влияния.

Рассмотренные статьи и книги представляют главные явления новейшей иностранной литературы позитивизма. Теперь осталось обратиться только к русской литературе. Но, принимая во внимание, что читатель, интересующийся положительной философией (а другого я и не беру во внимание), конечно, настолько знаком с мнениями, высказанными о ней у нас, что я уже не могу сообщить ему ничего нового. Мне остается только ограничиться указанием некоторых неточностей, замеченных мною у писателей, говоривших о позитивизме. При этом у меня появится возможность рассказать о тех сторонах позитивизма, которые недостаточно известны читателю, знакомому с этим учением по источникам, имеющимся на русском языке.

Здесь на первом месте я должен поставить прекрасную статью г. Михайловского, помещенную в апрельской книжке «Отечественных записок» текущего года под названием: «Суздальцы и суздальская критика»<sup>2</sup>. Я боюсь, чтобы у тех читателей упомянутой статьи г. Михайловского, знакомство которых с позитивизмом произошло преимущественно по источникам, имеющимся на русском языке, не возникло понятия, будто есть основания заподозрить позитивистов в суздальском отношении к идеям О. Конта. Между тем, маленькая неточность, допущенная г. Михайловским, дает повод к образованию такого понятия или, по крайней мере, открывает дверь сомнению, которого автор, конечно, допустить не хотел. «Ученики Конта, – говорит он, – распались на две группы. Одни, которых можно назвать соб-

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 710.

<sup>2</sup> Михайловский Н. Суздальцы и суздальская критика. – Отеч. записки. – 1870. – № 4.

ственно позитивистами, остались верны идеям «Курса положительной философии». Другие, их можно, пожалуй, назвать контистами, приняли Конта целиком, от первой до последней строки. Это суздальцы<sup>1</sup>. Из этого отрывка можно заключить, что позитивисты отличаются от контистов-суздальцев только тем, что суздальцы были не способны различить, в общей совокупности идей О. Конта, первой их половины от второй. Они приняли все от а до z, а позитивисты были настолько не суздальцы, что заметили разницу между двумя частями, на которые распадается идеи Конта, и приняли только «Курс положительной философии». Остается невыясненным, *как* они приняли эту избранную ими часть: точно ли так же, как сделали это контисты, т. е. без критики, по-суздальски, или отнеслись к ней критически? Таким образом, закрадывается сомнение — не свойственно ли суздальство и позитивистам, но только в сравнительно слабой степени. Это сомнение разрешается отчасти в пользу позитивистов<sup>2</sup>, но дело идет не об общих, а о специальных вопросах, так что суздальство позитивистов, вследствие упомянутой выше неточности, остается невыясненным.

Я очень хорошо знаю, что выяснение этого вопроса не входило в намерения г. Михайловского, поэтому я и не думаю винить его за маленькую неточность, которую он имеет право считать лишеной всякого значения. Я упоминаю о ней потому, что вопрос, ею поднимаемый, прямо входит в мою задачу. Имея целью познакомить читателей с позитивизмом, я хочу доказать, что это учение безусловно чуждо даже тени тех свойств, которые г. Михайловский охарактеризовал словом «суздальство».

Чтобы выяснить этот вопрос, не останавливаясь надолго на нем, я приведу несколько указаний из сочинений писателя, стоящего теперь во главе позитивной школы.

«Я не полагаю, — говорит Литтре, — чтобы дело положительной философии было завершено и чтобы оставалось только повторять слова учителя. Далека от меня такая мысль. Конт поставил нас и на-

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 172.

<sup>2</sup> Там же. — С. 173.

ших наследников на пороге, но в будущем предстоят обширные работы, ибо вследствие изменения старой точки зрения приходится все переделывать заново. Я бы дал моей мысли всю широту и, в то же время, все ограничения, какие необходимы, сказав, что г. Конт *установил* положительную философию. Выражаясь так, я бы дал понять, согласно смыслу, который я придаю слову «*установление*», что со времени г. Конта философия имеет *основание* – это науки, *метод*, заключающийся в иерархизации наук, и *результат* – в мирозерцании. Но говоря так, я, в то же время, утверждал бы, что *установленная философия* – только *начинающаяся философия*.<sup>1</sup>

В соответствии с таким взглядом на значение О. Конта для положительной философии, Литтре указывает на пробелы, оставленные Контом в его системе<sup>2</sup>, и дополняет теории иерархизации уяснением значения вводимого им термина «*установление*»<sup>3</sup>. Не довольствуясь этими общими капитальными указаниями на несовершенства системы Конта, Литтре в своем «Revue» делает частные указания на ошибки О. Конта в обработке отдельных наук. Так, например, в статье «De la méthode en psychologie» он указывает на две важные ошибки Конта в физиологии<sup>4</sup>. Я имел уже случай упомянуть в этой статье, что и товарищ Литтре, Вырубов, делает подобные же указания на ошибки Конта по поводу вопроса о методе в статистике. Обратим, наконец, внимание на то, что замечания, которыми Литтре сопровождает свои работы по отдельным наукам, имеют для верного понимания современного направления позитивизма еще большее значение, чем указание ошибок Конта. Так, например, по поводу статьи «Об органических основаниях морали»<sup>5</sup> он говорит: «То, что происходит в области каждой отдельной науки, нисколько не касается позитивной системы. С тех пор, как О. Конт произвел эту систему, разнообразные открытия, обширные теории получили права гражданства в различных от-

<sup>1</sup> Littré É. Auguste Comte et Stuart Mill. – Paris, 1864. – P. 40.

<sup>2</sup> Littré É. Auguste Comte et la philosophie positive. – Paris, 1863. – P. 674 et suiv.

<sup>3</sup> Id. – P. 301.

<sup>4</sup> Littré É. De la méthode en psychologie. – Revue. – 1867. – №2.

<sup>5</sup> Littré É. Des origines organiques de la morale. – Paris, 1870.

дельных науках, без всякого вреда для самой системы. Такой вред был бы неминуем тогда, если бы какая-нибудь частная наука получила в конечном результате своих поисков абсолюта, первую причину, и если бы было доказано, что для изучения астрономии и физики не нужно знать математики, что можно знать химию – не зная физики, биологию – не зная химии, и социологию – не зная биологии. Пока эти основы остаются непоколебимы, положительная философия непоколебима».

Из этих слов Литтре видно, что о позитивистах нельзя сказать того же, что о контистах: что они приняли от Конта то-то, а контисты – то-то. Между безусловным принятием в основу своего мирозерцания шести толстых томов системы Конта и принятием, в конце концов, как мы только что видели, двух основоположений – одно из которых разделяется, впрочем, и другими философскими системами, – лежит целая пропасть, заполнение которой обусловлено для позитивиста не догматически, а научно. Из этого также видно, что кругозор современного позитивизма далеко не так узок, как может полагать тот, кто не следит бдительно за его развитием. Видно также и то, что многие нападки на позитивизм или основаны на недоразумении, или помечены, так сказать, задним числом, т. е. относятся к Конту, а не к позитивизму.

Можно ли сближать после этого отношение позитивистов с великим трудом Конта, считающемуся, впрочем, великим не одними только позитивистами – с рабским унижением перед Контом суздальцев-контистов. Люди эти просто *веруют*, что «с точки зрения логической, научной и нравственной» система положительной философии Конта и положительной религии составляют полное обновление человечества. Мало того, они говорят о Конте, как об идеале совершенства, относясь к нему не только без всякой критики, но униженно, рабски. При его жизни они были способны, из желания угодить ему, полусумасшедшему старику, на величайшие мерзости, на которые только способны люди: на подслушивание, доносы и шпион-

ство<sup>1</sup>. После его смерти, они сделали из него какого-то святого, собрали его вещи и хранят их как святыню. Его квартиру, которая должна изображать собой храм человечества, они не называют иначе, как священным жилищем. Они вообще впали в тот грубый, мистический формализм, который очень уж не нов, в котором нет ничего философского<sup>2</sup>.

Я не без намерения остановился на вопросе о различии между контистами и позитивистами, так как этот вопрос действительно не лишен значения для интересующихся позитивизмом, а между тем, о нем говорили у нас только мимоходом и вскользь.

Да позволено мне будет сказать здесь еще два слова об одной неточности в статье г. Михайловского, касающейся лично меня, поскольку я был причастен к пропаганде у нас положительной философии. Мое желание не пропустить этой неточности в статье г. Михайловского основано на том, что одно место этой статьи дает повод к совершенно ложному толкованию всего того, что я писал о позитивизме, а всякому, мысли которого толкуют превратно, не будет отказано, конечно, в возможности объясниться и устранить недоразумение.

Г. Михайловский на с. 203 своей статьи говорит о том, как он относится к позитивизму, а также г. П. Л. Общий смысл этого места тот, что оба они относятся к нему критически. Затем я читаю следующее: «Несколько иначе относятся к Конту и позитивизму гг. Лесевич и де Роберти». Как понимать это «несколько иначе», ответа на это в статье г. Михайловского я не получаю. Не мое дело говорить о г. де Роберти. Что же касается лично меня, то я никак не хотел бы, чтобы при объяснении упомянутого неточного выражения г. Михайловского не было принято во внимание то, что я говорил о всякой научно-философской системе настоящего времени в моих статьях, помещенных в «Отеч. зап.» за прошлый год. Я говорил, что такая система в наше время невозможна, потому что, несмотря на громадные успехи

---

<sup>1</sup> Erdan A. La France mystique. – Paris, 1855.

<sup>2</sup> Robinet. Notice sur A. Comte. – Paris, 1856.



наук, предварительный анализ, необходимый для ее осуществления, еще не окончен. Затем я приходил к тому заключению, что система положительной философии должна быть принята как наиболее удовлетворительная попытка, не более. Потом я говорил о позитивизме, как продукте своего времени, и отрицал возможность, чтобы позитивное учение навязывалось обществу, как личная доктрина Конта. Я не входил, правда, в специально-критическое рассмотрение системы, но установив критическую точку зрения на нее, я, по крайнему моему убеждению, не дал повода утверждать, что принимаю ее догматически.

Теперь я обращаюсь к неточности, встречаемой мною в одном обширном и весьма замечательном ученом труде, а именно – в диссертации г. Драгоманова под названием «Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит»<sup>1</sup>. Прежде всего, я не могу обойти молчанием те немногие строки, в которых г. Драгоманов говорит о позитивизме, как философской системе: «Из историко-философских понятий последнего времени оригинально выделяется только учение так называемого позитивизма, который, впрочем, дал еще весьма мало собственно исторических трудов»<sup>2</sup>. И в другом месте, по поводу книги Литтре «*Etudes sur les Barbares et le moyen âge*»<sup>3</sup>: «Таким образом, положительное направление в науке об истории Римской империи получает поддержку не только от многих политико-социальных идей нового времени, но и от историко-философской школы, которая теперь резче других выделяется и, несомненно, имеет блестящее будущее»<sup>4</sup>.

Из этих отрывков видно, что в лице г. Драгоманова мы имеем дело с человеком, расположенным к позитивизму, а потому он, конечно, не посетует на указание в его труде некоторых неточностей по отношению к этому учению. Неточностей, которые, несколько не

---

<sup>1</sup> Драгоманов М. П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – К., 1869.

<sup>2</sup> Там же. – С. 387.

<sup>3</sup> Littré É. *Etudes sur les Barbares et le moyen âge*. – Paris, 1867.

<sup>4</sup> Драгоманов М.П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит. – К., 1869. – С. 390.

умалая важного научного значения высказанных им историко-философских взглядов, только подтверждают и укрепляют приведенное выше его мнение о позитивной историко-философской школе.

Назвав историков, причисляемых к позитивной школе, г. Драгоманов продолжает так: «Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что основные и наиболее верные идеи позитивной школы состоят в том, что:

а) прогресс человеческой жизни совершается законосообразно, по эпохам, которые сменяются не фаталистически (как в теории миссии народов), но органически, логически вытекая одно из другого;

б) этот прогресс зависит от непрерывного хода умственного развития. До сих пор еще философы и историки позитивной школы не высказались ясно по самому важному пункту вопроса о прогрессе в истории: совершается ли он в жизни каждого народа или только в последовательной цепи народов, называемой человечеством?

Идеи О. Конта ближе к последней формуле, ибо весь классический мир он отнес в век политеизма, а Средневековье – в век монотеизма. Наоборот, Дрейпер видит возрасты развития в жизни каждого народа и возвращается к сравнению развития по возрастам жизни народа и отдельного лица, – сравнению, которое помешало ему оценить последние эпохи в жизни разных народов, например, александрийскую эпоху греческой цивилизации. Формула прогресса имеет особую важность для вопроса о переходе древнего мира в новый, и об историческом значении Средневековья – эпохи, в которую известным образом продолжалась старая цивилизация, и в то же время историческую жизнь совершали новые народы, начавшие свой ход развития от степени первобытной дикости.

В эту эпоху действительно видна и историческая цепь народов, если не всего человечества, то европейских народов, и в то же время нельзя не видеть и сильного разрыва жизни одной группы народов от другой, прежней. Новые народы в Средневековье усваивают и продолжают старую цивилизацию, представляя во многом шаг назад в историческом развитии. Немудрено, что этот пункт истории – самый трудный пункт для историко-философского разъяснения, и вместе с

тем, для историко-философских систем. Неудивительно, что сравнительно недавняя историко-философская доктрина еще не выработала точного и ясного взгляда на этот вопрос»<sup>1</sup>.

Приведенная цитата содержит три неточности:

1) причисление Дрейпера к позитивной школе;

2) утверждение, что философы и историки позитивной школы до сих пор еще не высказались *ясно* по самому важному пункту вопроса о прогрессе в истории, а именно — по вопросу о том совершается ли он в жизни каждого народа или только в последовательной цепи народов, называемой человечеством;

3) мнение, что позитивная школа не выработала еще *точного* и *ясного* взгляда на вопрос о переходе древнего мира в новый, и на историческое значение Средневековья.

Что Дрейпер к позитивной школе причислен быть не может, видно из слов самого г. Драгоманова о методе философа: «Дрейпер возвращается к сравнению развития по возрастам жизни народа и отдельного лица». Выражаясь языком положительной философии, это значит, что Дрейпер переносит выводы, добытые биологией, в область иерархически высшей науки — социологии. Этот прием до такой степени противоречит началам положительной философии, что, принимая даже тот широкий принцип для поиска отличий позитивистов от непозитивистов, который установлен Литтре, и о котором я говорил уже в настоящей статье, приходится все-таки исключить Дрейпера из числа историков позитивной школы.

Приступая к рассмотрению двух остальных указанных мною неточностей, я считаю нужным сказать наперед, что исправлю их не посредством выводов, которые можно было сделать из общих положений, разработанных позитивной школой в социологии, а подлинными цитатами из исторических сочинений, прямо отвечающими на поставленные вопросы. Цитаты эти я буду заимствовать исключительно из сочинений Литтре, потому что пока только он писал о предмете, теперь нас занимающем. Так как мы рассматриваем не ко-

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 388.

личественную, а качественную силу позитивной школы, то единичность Литтре в данном случае не имеет никакого значения.

Отрывки из статей Литтре о двух деревьях Книги бытия и Древнем Востоке, приведенные выше, могли служить достаточным основанием для исправления второй из указанных мною неточностей. Но так как эти статьи появились или одновременно с диссертацией об историческом значении Римской империи, или после нее, то я обращаюсь к тем сочинениям Литтре, на которые ссылается Драгоманов.

Уже в статьях, цитаты из которых приведены выше, Литтре употребляет выражение «социальное тело». Выражение это не раз попадает и в этюде о политике Ирмонона, находящемся в сборнике «*Etudes sur les Barbares et le moyen âge*»<sup>1</sup>. Здесь он дает и объяснение этого выражения. В конце главы он говорит: «Понятие о социальном теле — идея новая, принадлежащая исторической науке. Социальное тело — это не совокупность народов, рассеянных по земному шару, это нечто более ограниченное. В первый раз различить его явственно можно в Греции. Маленькие государства, покрывавшие эту страну, и их колонии, рассеянные в Азии, Сицилии, Италии, Галлии, Африке, составляли целое, связанное общностью цивилизации. Римский народ, вступая, в свою очередь, в эту цивилизующую ассоциацию, значительно расширил ее, и, можно сказать, заложил ее несокрушимые основы. В Средневековье ее пределы еще более раздвинулись вследствие включения в нее всего Севера. В новейшие времена она распространилась чрезвычайно. Европа составляет одно целое, Новая Европа создается в Америке. Можно предсказать, что через не особо значительное время социальное тело займет собою всю Землю»<sup>2</sup>.

Перейдем теперь к третьей неточности.

Приведя мнение Герара о последствиях варварского вторжения, и соглашаясь с ним, что последствия эти пагубны для цивилизации, Литтре дополняет его мысль. Он утверждает, что переход древнего мира в новый — это глубокий переворот в судьбах человечества, так

---

<sup>1</sup> Littré É. *Etudes sur les Barbares et le moyen âge*. — Paris, 1867.

<sup>2</sup> *Ib.* — P. 209.

как одновременно с падением древней цивилизации совершалось возникновение новой. «Греческие философы, – продолжает он, развивая свою мысль, – разрушили в умах все основы политеизма. Они посеяли все зародыши новой морали, и, когда все это было организовано в новом учении, судьбы цивилизации быстро пошли по тому направлению, которое было им открыто. Первые языческие свидетели этого обновления не поняли его значения, они не заметили даже нового общества, которое устанавливалось рядом со старым, пытаясь заменить его. Вскоре это общество окрепло, тогда как старое одряхлело, и в то время, когда варвары вторглись в империю, старое общество находилось в состоянии полного разложения. Если это замещение ясно для нас теперь, так это потому, что подобное явление происходит у нас перед глазами. Средневековая традиция целое столетие уже подвергается нападению, католическое феодальное общество низвергнуто, и в европейском обществе собираются новые элементы, столь же незаметно для наших государственных людей, как были незаметны христианские элементы в то время.

Устранив, таким образом, всякое недоразумение относительно того, как следует понимать разложение древнего общества, легко составить суждение о нашествии северных народов. Прямое зло, причиненное ими, не подлежит сомнению и признано всеми, но некоторые считают возможным приписать им косвенное благо и последствия, которые, в конце концов, были выгодны. Посмотрим на само дело. В то время состояние мира требовало разрушения политеизма, и обещало его так же, как и утверждения христианства, отделения власти духовной от светской, распространения нравственности на всех людей и, как следствие, уничтожение рабства, одним словом, лучшую теологию и лучшее политическое устройство. Были ли полезны варвары для всего этого? Несомненно, что они не способствовали утверждению христианства, не служили делу нравственности, не ускорили уничтожения рабства. Наоборот, беспорядок, распространенный ими повсеместно, замедлил необходимые изменения и долго вредил им. Более того, умственный уровень понизился. Точно так, как смесь горячей и холодной воды получает среднюю температуру, так и смесь

варварства и цивилизации понизилась до средней степени, на которой и колебалась до тех пор, пока беспорядок улегся. Новые пришельцы слились со старым населением, и силы, созданные до нашего нашествия, снова стали действовать, подняли цивилизацию до точки, более высокой, чем та, на которой она стояла в древности<sup>1</sup>.

Существует мнение, что варвары обновили свежей кровью истощенную и выродившуюся кровь романских населений. Эта фраза, часто повторяемая и обладающая, по-видимому, научной точностью, содержит в себе две ошибки: физиологическую и историческую. Что значит улучшить кровь в физиологическом смысле? Это значит ввести в расу особей, одаренных высшими качествами. При посредстве наследственности, составляющей одно из свойств живых тел, эти качества переходят к потомству. Если при этом будут приняты меры к устранению смешения с низшими особями, то образуется усовершенствованный тип, который размножится сам собою. Таким образом была произведена лошадь английской породы. Произошло ли что-нибудь подобное во время смешения варваров с романским населением? Конечно, нет. По теории наследственности, дикие народы, имеющие меньше идей и способностей, чем народы цивилизованные, могут влиять примесью своей крови лишь в неблагоприятном смысле. История доказывает, что, далеко не улучшая крови, они сами, напротив, нуждаются в таком улучшении. Пройдет продолжительное время, пока они станут способными к восприятию таких идей, которые кажутся нам самыми простыми. Это препятствие и делает тщетными все попытки применения к отставшим народам учреждений передовых народов. Оно же замедляет и возрождение тех, которые, по какой бы то ни было причине, пали до низшего состояния. Таким образом, физиологически, не варвары улучшили романское население, а это население улучшило варваров. Но так как нашествие было многолюдно, то, конечно, последовало понижение типа. Известная доля дикости, упрямства и тупости перешла к галло-римлянам, и это имело большое влияние на скорость, с которой совершилось обновление.

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 202.

Исторически ошибка, на которую я указываю, немаловажна, так как происходит от странного смешения и неполного понимания вещей. Говорят, что варвары обновили устаревшее общество. Да, конечно, тогда существовало устаревшее общество, но варвары не обновили его. Оставшиеся от него обломки продолжали разлагаться и, наконец, совершенно исчезли. Это общество было языческое, безвозвратно разрушенное внутренней работой идей. Но рядом находилось новое общество, развивавшееся собственными силами и бывшее естественным продуктом древней цивилизации. Оно не нуждалось в варварах для своего процветания... Из этого видно, что физиология — законом наследственности, а история — правильной оценкой действительного положения вещей, одинаково доказывают, что нашествие не могло ничего улучшить. Это нашествие, если судить справедливо, было важной болезнью социального тела, самой важной, быть может, какая только нам известна»<sup>1</sup>.

Таково мнение позитивной школы о переходе древнего мира в новый. Обратимся теперь к ее взгляду на историческое значение Средневековья и, таким образом, исправим третью из неточностей, о которой было рассказано выше.

Кратко и категорически взгляд на историческое значение Средневековья высказан в следующих словах Литтре: «Средневековье во все не составляет бесплодной и обделенной эпохи, в которой прерывается традиция. Напротив того, оно продолжало, вопреки трудностям, унаследованным и приобретенным, развитие, природу и направление которого они не изменили»<sup>2</sup>. Я не решаюсь, однако, ограничиться этой коротенькой формулой, так как не всякий читатель усмотрит в ней, пожалуй, ту точность и ясность, которые действительно в ней заключаются. Я считаю нужным привести еще то место из книги Литтре, где его взгляд представляется более развитым, где, следовательно, точность и ясность более очевидны: «Все варварские владения объединились под владычеством Карла Великого, но этот

---

<sup>1</sup> Ib. — P. 206 et suiv.

<sup>2</sup> Ib. — Introd. P. II.

смешанный порядок, в котором голова была германская, а туловище – латинское, приближался к концу. Слияние варварского элемента с романским заканчивалось. Когда последний Каролинг был заключен в орлеанскую башню Гуго Капетом, тогда не только империя Карла, но и варварская отошли в вечность. С этого времени повсеместно владychествуют туземцы: французы — во Франции, итальянцы — в Италии, испанцы — в Испании, германцы — в Германии. В этом факте заключается внешний признак начала Средневековья. В это же самое время рождаются романские языки... Таким образом, утверждение владычества туземцев, образование языков, начало новых национальностей, окончательное установление границ населения, утверждение католического феодального режима, постепенная замена рабства крепостным правом, — все это соединяется для того, чтобы окончательно остановить успехи падения и обозначить пункт, от которого берут начало новые попытки.

Нисхождение было велико, обратное восхождение не могло быть мало. Если бы глубокая древность увидела жалкие учебники, служившие основой обучения в то время, она бы улыбнулась. Однако как ни узки были рамки, обучение охватывало грамматику, изящную словесность, науки, философию.

Точно так, как следят за учеником, переходящим из класса в класс, так можно следить за средневековым периодом в его постоянном прогрессе знания. Это общество на самом деле проходит курс обучения, оно чувствует потребность знания, оно работает добросовестно, упорно, обозначая каждый век своего существования важными шагами в своем развитии, никогда не отступая назад к прошедшему, более темному. Обучение, о котором здесь говорится, делится на три периода:

- 1) до введения арабских книг на Западе;
- 2) период, следующий за этим введением;
- 3) период, в который возникает Возрождение».

Пропуская характеристику этих трех периодов, так как она слишком удлинила бы и без того длинные выписки, я обращаюсь к очерку другой стороны Средневековья.



«Средневековое общество, в качестве наследника древности, – общество сложное. Будучи с известных сторон дитем, оно было мужем в других отношениях и имело превосходство над обществом, ему предшествовавшим. Я имею в виду христианскую религию, превосходящую языческую; крепостное право, превосходящее рабство; отделение духовной власти от светской, неизвестное древности; нравы рыцарства. Нуждаясь в обучении как дитя, средневековое общество имело, как возмужалый человек, собственную силу, при помощи которой оно произвело важные элементы новейшей общественности.

В области наук оно представляет великое создание алхимии и все последствия, которые с ним связаны. В области схоластики – продолжительный и достопамятный спор между реализмом и номинализмом; в области литературы и искусств – новую поэзию, новую архитектуру, новую музыку. В области изобретений – применение или открытие важных предметов: компаса, бумаги, десятичного счисления, водки, сильных кислот, пороха, книгопечатания. В области политики – освобождение крепостных, основы представительного правления, возрастающее отделение светского элемента от духовного. В революционной области – расколы, ереси, Реформацию. Все это крупные черты. Но крупнее всего то, что, подготавливая пути знания, религиозного и политического освобождения, средневековое общество завершилось не катастрофой, подобно Римской империи, но естественным и правильным переходом, ведущим к Новому времени»<sup>1</sup>.

Сближая изложенные здесь взгляды Литтре с замечаниями Драгоманова о недостатках позитивной школы, надо будет, я думаю, прийти к заключению, что замечания г. Драгоманова должны считаться вполне опровергнутыми и что взгляды, выработанные позитивной школой на рассмотренные нами вопросы, до такой степени точны и ясны, что вряд ли могут существовать какие-либо сомнения для того, кто захотел бы произнести над ним приговор с какой бы то ни было точки зрения и в каком бы то ни было отношении.

---

<sup>1</sup> Ib. – Introd. P. XXIV et suiv.

Такое мнение о точности и ясности взглядов позитивной школы на рассмотренные вопросы не есть, впрочем, исключительно только мое в нашей литературе. Один известный наш ученый, говоря о книге Литтре «*Etudes sur les Barbares*»<sup>1</sup>, не нашел в ней ничего, что могло бы воспрепятствовать высказаться о ней вполне определенно и решительно. Рецензируя эту книгу, он заявил, что мнения, выражаемые в ней, могли бы и не считаться специфической принадлежностью «положительной философии» и могут смело приниматься даже людьми, не исповедующими строго всех положений этой философии. Или, выражаясь его словами, если взгляд Литтре – взгляд собственно «позитивной философии» как школы, в таком случае она совпадает с требованиями научной исторической критики.

Резюмируя все сказанное против замечания г. Драгоманова относительно исторических исследований позитивной школы, я прихожу к следующим заключениям:

- 1) позитивная школа не может нести ответственность за мнения, высказываемые Дрейпером, труд которого г. Драгоманов весьма справедливо называет дилетантским;
- 2) необходимые свойства всякого научного труда, точность и ясность, не чужды и историческим трудам позитивной школы;
- 3) следовательно, мнение г. Драгоманова о достоинствах школы получает новое подтверждение.

Таковы главные явления новейшей литературы позитивизма. Рассматривая их, читатель придет, конечно, к убеждению, что успехи позитивизма весьма значительны как по отношению к внутреннему его развитию, так и по отношению к его влиянию на умы, и признанию его значения. Оценка успехов пропаганды не должна упускать из виду, что года три назад о позитивизме в Европе почти ничего не было слышно, что вся позитивная литература в то время ограничивалась основным сочинением О. Конта и трудами Литтре, С. Милля и двух-трех их последователей во Франции и Англии. Из этого не следует выводить, однако, что позитивизм, подобно некоему *deus ex machina*,

---

<sup>1</sup> Littré É. *Etudes sur les Barbares*. – Paris, 1867.

явился внезапно и непонятно чудесно стал приобретать последователь. Я уже говорил и теперь повторяю, что позитивизм, как философское единство научных или положительных знаний, не может быть новым потому, что наука и философия не новы, не новы знания опытные, точные, положительные. Также не ново обобщение, объединение, систематизация знаний или тех понятий, которые считались знаниями. Человеческий ум всегда работал для науки и философии и, работая для каждой из них, трудился вместе с тем и для позитивизма. Поэтому позитивизм и находится давно, как сказал Литтре, в скрытом состоянии: его созревание неведомо и невидимо для тех, кто для него работал, а частью и работает. Неудачи фантастических систем метафизиков, искавших основ вне науки, объединявших мнимые знания, бесплодность ученых работ, шедших врозь по своим специальностям и не имевших никаких руководящих идей – все это безотрадное состояние философии, не знавшей науки, чуждой философии, служило позитивизму отрицательно. Указание же некоторых избранных умов на необходимость единства философии и науки послужило ему положительно. Формула этого соединения, принадлежащая Конту, благодаря гениальности этого мыслителя и накоплению такой массы научного материала, о которой и не мечтали философы минувших веков, пока наиболее отвечает все больше распространяющемуся и растущему желанию. Это желание заключается в попытке увести философию от мертвых и пустых умозрений, подведя к живой правде, создав вместо туманного и неопределенного миража, каким она была так долго, нечто ясное, точное, определенное, положительное. Формула Конта, опирающегося главным образом на прочное отделение теологии и метафизики от того мирозерцания, которое воплощает в себе науку, и на глубоко продуманную систематизацию научного материала, способна к широкому и неопределенному развитию, а потому и богата залогами на будущее. Связь формулы Конта с современным умонастроением европейской интеллигенции и объясняет успех этой формулы, имеющей далеко не случайный характер. Таким образом, позитивная система является не как *deus ex machina*, а как давно зревший

ответ на вопросы, над решением которых тратили свои силы предположительные воззрения.

Я сказал уже в начале этой статьи, что распространение позитивизма нередко замедляется незнакомством с его литературой, порождающим ложные о нем суждения. Желая способствовать устранению этого неудобства у нас, я старался дать в настоящей статье указания, которые, как я думаю, могут быть полезны читателям, желающим ознакомиться с литературой позитивизма. Основательное знакомство с этой литературой, по источникам, мною указанным, приведет, как можно надеяться, и к основательному суждению о позитивной философии.

1870 г.

«Отеч. зап.» №12.

## ЭМИЛЬ ДЕВЯТНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

(«Эмилъ девятнадцатаго столетія», соч. А. Эскироса,  
перев. под редакцией г. Цебриковой).

Noch sind nirgends alle Hauptforderungen der Pädagogik gesetzlich anerkannt, und noch steht manche als nothwendig anerkannte Reform bloß auf dem Papiere. Aber vergleichen wir die Gegenwart mit der Vergangenheit, so dürfen wir uns der errungenen Fortschritte von Herzen freuen. Wenn erst noch die beiden Hauptschäden des öffentlichen Lebens: der alte reactionäre Bund zwischen Staat und Kirche und der moderne, die Wohlfahrt und freie Bewegung des Volkes lähmende Militärdespotismus beseitigt sein werden, so wird manches gute als reife Frucht uns von selbst zufallen. Die pädagogische Wissenschaft und Kunst ist genügend fortgeschritten, nicht um ausruhen, wohl aber um ihre Mission erfüllen zu können<sup>1</sup>.

Dittes F. Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. 2-te Aufl. –  
Leipzig, 1878. – S. 216.

Известный немецкий педагог Рихард Ланге, в речи, произнесенной им на учительском съезде в Касселе, весьма удачно привел все существующие в воспитательных теориях направления к двум родам: общечеловеческому, с природой сообразному, и воспитанию *ad hoc*. Относящиеся к первому роду направления ставят своей целью выработать в воспитываемом человека с помощью средств, сообразных с его природой. Основанием они избирают данные, черпаемые из един-

---

<sup>1</sup> Главные требования педагогики еще нигде законным образом не признаны, а некоторые признанные необходимыми реформы остаются лишь на бумаге. Но если сравним настоящее с прошлым, то мы должны от всего сердца радоваться достигнутому прогрессу. Если бы еще устранить два главных недостатка общественной жизни: старый реакционный союз между государством и церковью, а также военный деспотизм, парализующий благосостояние и свободное народное движение, то нам в руки само упадет хорошее как спелый фрукт. Педагогическая наука и педагогическое искусство достаточно продвинулись вперед, чтобы не останавливаться, а суметь выполнить свою миссию. *Перев. Клименко Е. В.*

ственного источника, который может доставлять непреложные истины, – из науки. Что касается направлений, относящихся ко второму роду, то они ищут цель не в самом человеке, а вне него, подходя к нему с предвзятой, внешней целью, которая внушается эгоизмом, обманом, традицией, заблуждениями и разными другими силами, но только не самим человеком. Это воспитание имело свой апогей в кастовом строе Индии. Оно стремится воспитать человека в соответствии с требованиями касты, нисколько не заботясь о том, будет ли человек из-за этого изуродован, обессилен, испорчен, найдет ли он мир и покой или нет. Для воспитания *ad hoc* все это безразлично.

Вряд ли в Европе есть такая счастливая страна, которая могла бы считать себя совершенно избавленной от язвы воспитания *ad hoc*. Во Франции, с педагогической системой которой (господствовавшей до последнего времени) знакомит нас выписанное в заголовке этой статьи сочинение Эскироса, воспитание *ad hoc* стояло на высочайшей степени своего развития. Бонапартизм, с бессовестностью, редко встречающейся в истории, извращал нравственные силы молодого поколения, приобщая их к своим целям. Все воспитательные и учебные заведения Франции придерживались чрезвычайно последовательной и строго примененной системы, которую, по словам Эскироса, можно было назвать странной, до такой степени ей чужд был воспитательный характер. Но, всматриваясь в нее получше, приходится признать ее глубокой, поскольку никакая другая не смогла бы отвечать в такой степени намерениям бывших правителей Франции и установленному ими политическому режиму.

«Воспитанники наших училищ, – говорит Эскирос, – не что иное, как гражданские рекруты государства, которое заранее подготавливает их к той роли, которую им предстоит играть посредством нравственной дисциплины. Им с военной аккуратностью распределяют тот запас мнений и сведений, с которыми им впоследствии предстоит вступить в свет. Смотрите же, молодые люди, идите ровным шагом и главное – остерегайтесь выступать за пределы начертанного вам пути. Попадаются, правда, и дезертиры. Многие, несмотря ни на что, уходят и становятся под знамена свободной мысли, – и

число таких с каждым днем растет, но как они за это платят! Можно, наверное, поручиться, что не в их среде университет будет избирать своих профессоров, а администрация – своих чиновников. В случае, если бы они вздумали вести себя неблагоразумно, французское правительство берет на себя труд исправлять их судебными приговорами и государственными переворотами, вроде знаменитого *coup d'état*. Это ли еще не хорошая школа, и не сами ли они виноваты, если до сих пор не научились тому, что им давно бы следовало знать?»<sup>1</sup> Во французских коллегиях и лицеях, по словам Эскироса, было сделано все для того, чтобы наложить на молодое поколение казарменное однообразие: «Однообразие громадных построек, однообразие методы, дисциплины – все рассчитано на то, чтобы загонять тело и ум в казармы. Египтяне, как говорит предание, изобрели печи для высиживания цыплят, мы изобрели такие же печи для воспитанников. Способности, которые больше всего развиваются от этой искусственной теплоты – память и подражательность, – далеко не высшие способности ума. В этих школах, по-видимому, задались целью обезличить человека и сделать его похожим на всех, как стертые монеты, а еще находятся люди, которые утверждают, что это неизбежное следствие наших демократических тенденций. Каким нелепым силлогизмом приравнивают однообразие познаний, талантов, умов к равенству прав всех граждан? Граждане Соединенных Штатов, которые гораздо дальше нас ушли на пути демократии, в то же время довели до высшей степени энергичное развитие личности – этот корень свободы»<sup>2</sup>.

Из этих отрывков видно, до какой степени еще недавно процветало во Франции воспитание *ad hoc*. Каких же личностей давало оно несчастной стране? Эскирос показывает питомцев бонапартовских училищ равнодушными к истине и лжи, к праву и неправу, помышляющими только об одном – карьере. Таковы эти гражданские рекруты государства. Они существуют на свете не для того, чтобы

---

<sup>1</sup> Эскирос А. Эмиль девятнадцатого столетия. Перев. под редакцией г. Цебриковой. – СПб., 1871. – С. 181.

<sup>2</sup> Там же. – С. 31.

принимать к сердцу интересы других: «Вполне довольные своей посредственностью, которую они прикрывают самоуверенным видом, они издеваются над побежденными, над самоотвержением, совестью, верной себе. Легковесные, с дешевым остроумием, тщеславные и изворотливые, они как нельзя лучше умеют приспосабливаться к существующему порядку. Со скудным запасом поверхностных познаний, они кажутся людьми всезнающими. Общество для них обширное поприще, на котором они стараются наперебой добиться первого приза или, по крайней мере, похвального листа. На этой сцене личное достоинство играет одну из последних ролей. Произвол раздает награды, а интрига удостаивается их. Нечего удивляться тому рвению, с каким наша образованная молодежь переходит из школьной дисциплины под опеку правительства»<sup>1</sup>.

Быт этих питомцев бонапартовских школ удивительно соответствует характеристике, данной Эскиросом. Дополнительную картину рисует Легувэ в своих «Отцах и детях». Он представляет нам комнату богатого молодого человека... Появилось ли его богатство благодаря благосклонности какого-нибудь Пиетри, Гаусмана, Флери или Дарбуа — об этом умалчивается. Да и не все ли равно? Ведь молодой человек, каким он представлен нам в очерке Эскироса, обладает, конечно, всеми разнообразными свойствами, которыми можно снискать милость у каждого из названных лиц отдельно или, даже, пожалуй, у всех вместе. Итак, войдем в комнату этого молодого человека: «В ней не на чем сидеть — можно только лежать. И чего тут только нет! Кресла с откидными спинками, кресла-качалки, широкие диваны с большими подушками, пышные драпировки, камин, пушистые ковры! А что за уборная! Точно у какой-нибудь принцессы квартала Бреда или у дочери какого-нибудь президента суда. Вы тут найдете столько инструментов для одних ногтей, как на выставке магазина стальных изделий, двадцать склянок различных духов, целую сложную и замысловатую систему щеток: и выгнутых, и длинных, и широких, и мягких, и жестких!.. У молодежи комфорт обратился в дилетантизм. Что

---

<sup>1</sup> Там же. — С. 34.



же в этом дурного? А плохо то, что в кресле с откидной спинкой нельзя работать, что человек становится рабом мягкого ковра и тонких блюд... То худо, что для милого комфорта приходится жертвовать даже своей совестью, что во всех житейских делах – в женитьбе, выборе карьеры или должности, т. е. в вопросах будущего, любви, уважения, достоинства, а иногда и чести – стремление к комфорту, к этому строгому деспоту, вступает в борьбу со священнейшими обязанностями и торжествует над ними»<sup>1</sup>.

На эту-то нравственно-растленную среду и хотел подействовать своей книгой Эскирос. Одно ее заглавие – «Эмиль» – переносит нас к типу, противоположному тому, который только что мелькнул перед нами в живых очерках Эскироса и Легувэ, как полнейший его антитезис. Тип Эмиля, сдвинутый на задний план бонапартовским воспитанием, снова появляется перед молодым поколением, призывая к иной жизни, иным целям. Появление этого вестника лучшего будущего счастливо пополняло собою ряд фактов, возникновение которых ознаменовало последние годы наполеоновского правления, фактов, красноречиво доказывающих, что число «дезертиров» было немало, что свежая струя жизни начинала мощно пробиваться среди болота, недавно еще безвыходного. Эти счастливые надежды, бывшие, конечно, не чуждыми всякому, понимающему значение этой страны в исторических судьбах европейских народов, сменились такой ужасной действительностью, которая отодвинула вопросы, недавно еще столь важные, и заставила Францию тратить свои силы совершенно в другом направлении. Но то, что совершается теперь, не может долго продолжаться и, конечно, недалеко время, когда именно эти же самые вопросы встанут снова еще с большей силой, чем прежде. Франции придется поставить, как главный жизненный вопрос, – вопрос о том, можно ли еще раз допустить большинству целого поколения образованных людей выработаться в такие ничтожества, которые могут втянуться в режим, подобный бонапартовскому, и служить ему, забыв об интересах страны. Но если для Франции этот вопрос еще впереди,

---

<sup>1</sup> Легувэ Э. Отцы и дети в XIX столетии. – СПб., 1870. – Т. 2. – С. 5.

то он остается «*вопросом жизни*» для всякой страны, пользующейся так называемыми благами мира, и имеющей еще время и возможность подумать о том, какая мораль следует из всего того, что совершилось в последнее время во Франции.

Книга Эскироса, сказал я, поражает саму основу зла, царствовавшего во Франции, – воспитание *ad hoc*. Показывая в настоящем свете это пагубное воспитание, Эскирос представил своего Эмиля, как обновленный жан-жаковский идеал, и сделал очерк той педагогической системы, которую он считает в настоящем случае наиболее целесообразной. Итак, отрицательное отношение к педагогической системе, существовавшей еще во время выхода книги в свет, и положительные данные для новой, лучшей системы, – вот сущность содержания нового сочинения Эскироса.

Мысль связать свой труд о воспитании с педагогической теорией Руссо и ее идеалом нельзя не считать удачной. Появление «Эмиля» Руссо представляет именно тот момент в ходе развития педагогических идей, с которого берет начало система, диаметрально противоположная системе воспитания *ad hoc*. Появление жан-жаковского Эмиля было истинным лучом света в почти темном царстве педагогики и истинным благовестием природы в мире глубокой испорченности. Таким образом, Эскирос обращался к той традиции, в которой нельзя не видеть корня всего хорошего, что выработалось в области педагогики.

Вспомните общие черты, характеризующие нравственный идеал Руссо. Прежде всего – человечность. Руссо глубоко убежден, что к чему бы ни предназначался его воспитанник, ему надо быть человеком. «Выходя из моих рук, – говорит Руссо, – Эмиль будет не чиновником, не солдатом, не священником – он будет человеком. Он сумеет быть всем, чем человек должен быть. И сколько бы мест ни заставляла его поменять судьба, он всегда будет на своем». Если человечность прежде всего, то различие состояний, чинов, положений, как искусственных подразделений, излишне. «Я не различал их, – говорит автор «Эмиля», – и впредь различать не буду, потому что человек остается неизменным во всех состояниях. Богатый не обладает же-

лудком более обширным, чем желудок бедного; хозяин не обладает руками более крепкими, чем руки его рабов; сильные мира не превышают ростом обыкновенных людей и, наконец, вследствие одинаковости естественных потребностей, средства их удовлетворения должны быть одинаковы. Приспосаблийте же воспитание человека к человеку, а не к тому, что ошибочно за него принимают»<sup>1</sup>. В связи с вопросом о человечности стоит вопрос о труде. Человек, сумевший отрешиться от предрассудков, мешавших ему сознать в себе человека, не может не понимать, само собою разумеется, что он не должен жить трудами других людей. Человек, поставленный вне общества, ничем никому не обязанный, может жить как ему вздумается, но в обществе, где он неизбежно живет за счет других, он обязан оплачивать работой свое содержание; исключения здесь нет. Работа, следовательно, составляет неперемный долг человека, живущего в обществе. Руссо требует, чтобы всякий работал как мужик и мыслил как философ. «Великая тайна воспитания, — говорит он, — заключается в том, чтобы умственные и телесные упражнения служили отдыхом друг от друга»<sup>2</sup>. Добавим к этому требование всегда и во всех случаях руководствоваться только собственным разумом, презирать всякий авторитет, быть свободным от навязанного извне мирозерцания, уметь оставаться неизменным в счастье и несчастье, обладать таким закаленным здоровьем, которое было бы в состоянии бороться со всеми случайностями жизни, — и мы получим полный свод главных требований, которым должен удовлетворять тип жан-жаковского Эмиля.

Но педагогическое значение «Эмиля» не ограничивается одними этическими вопросами, и потому, припомнив себе его как нравственный идеал, нам необходимо освежить в своей памяти основные черты той воспитательной системы, которая должна была вести к этому идеалу и которая, собственно, и составляет антитезис системы *ad hoc*. Как бы ни судили педагогическую систему Руссо, несомненно

---

<sup>1</sup> Rousseau J. *Emile ou de l'éducation*. Edit. Didot. — Paris, 1867. — P. 11 et 217.

<sup>2</sup> *Ib.* — P. 229.

то, что она имела громадное влияние на успехи развития педагогики, и что только благодаря ей возникла деятельность филантропистов и самого Песталлоцци. Этим влиянием трактат Руссо о воспитании обязан тому, что в нем в первый раз с полной определенностью был введен принцип, без которого немислимо правильное общечеловеческое воспитание. «Мы не знаем детства, – говорит автор «Эмиля». – Чем больше мы основываем свои суждения о нем на ходячих ложных понятиях, тем больше заблуждаемся. Самые мудрые хлопочут о том, что следует знать взрослым, не думая о том, что следует знать детям. Они всегда ищут взрослого человека в ребенке, не думая о том, чем он бывает прежде, чем придет в возраст. Вот предмет, на который я обратил особое внимание с той целью, чтобы и в том случае, если весь мой метод химеричен и ошибочен, можно было бы все-таки пользоваться моими наблюдениями. Я мог плохо видеть то, что следует делать, но я хорошо видел предмет, которым следует заняться. Начинайте же с изучения ваших учеников, так как нет сомнения, что вы их не знаете»<sup>1</sup>. Диттес весьма верно замечает, что эта мысль Руссо устанавливает единственный правильный педагогический принцип – антропологический<sup>2</sup>. Итак, антропологический, *научный* принцип, введенный в теорию Руссо, составляет ее цену и дает ей важное значение в ходе развития педагогических идей. На самом деле Руссо, устанавливая научный принцип в такой области, в которой до него безраздельно царствовала метафизика, указывал единственный для педагогики выход на путь правильного органического развития. Сам Руссо, вопреки своему принципу, мог еще оставаться метафизиком во многих отношениях, но это не мешало идти дальше тем, кто стал применять этот принцип полнее и последовательнее, чем Руссо. И у Руссо все части теории, согласованные с этим принципом, составляют драгоценный вклад в педагогику, до настоящего времени оставаясь достоянием лучших педагогов Европы. К этой категории относится требование самостоятельности как в нравственной, так и умственной жизни пи-

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 2.

<sup>2</sup> Dittes F. Geschichte der Erziehung und d. Unterrichts. 2 Aufl. – Leipzig, 1876. – S. 171.

томца, необходимость органической последовательности в переходе от простых понятий к сложным, польза наглядности при сообщении всякого рода знаний, благотворное влияние постоянного пробуждения интереса к тому, что хочет передать воспитатель, потребность в удалении из воспитания и обучения всякого механизма, мнимого знания, слов без мыслей, знаков без предметов, поверхности, торопливости и пр. Сюда же следует отнести удачные указания Руссо в изложении им способов обучения географии, естественной истории и некоторых других наук.

Таким образом, и нравственный идеал Руссо, и, частью, предложенные им средства для его достижения, так соответствуют обстоятельствам как того времени, в которое жил Руссо, так и того, в которое вышло сочинение Эскироса, что мы не можем не благодарить последнего за его мысль воскресить в общественном сознании некоторые из идей Руссо.

«Эмиль» Руссо представляет собою такой важный antecedent «Эмиля» Эскироса, что я поступил бы ошибочно, не показав читателю изнаночной стороны знаменитого трактата Руссо. Односторонность взгляда в этом случае дала бы повод думать, что следование по стопам Руссо не представляет большой задачи, так как это руководитель вполне надежный и всегда верный. На самом деле, это далеко не так.

Дело в том, что, установив антропологический принцип, Руссо не стал ему строго следовать. Он сам, можно подумать, не придавал ему того значения, которое было признано за ним последующими педагогами. Теория Руссо по этой причине не имеет значения научной теории: отдельные ее правила, основанные на наблюдении, — только эмпирические положения, лишенные общей прочной связи. Они представляют скорее драгоценные указания и намеки, а не систематическую теорию или даже достаточный материал для нее. Теория Руссо в целом гораздо более метафизична, чем научна: метафизическая ее сторона заслоняет собою научную сторону. Отдельные правила, опирающиеся на стоящий вне общего строя теории научный принцип, встречаются в ней как какие-то отступления. Их можно

сравнить с зернами постороннего минерала, лежащего в однообразной массе какой-нибудь горной породы. Зато эти зерна в достаточной степени сдавлены и сплюснуты окружающей их породой и редко имеют тот вид, который им свойственен независимо от претерпеваемого ими гнета. Метафизический принцип Руссо известен: «Все хорошо, что выходит из рук природы, все искажается в руках человека». Умозрительный и абсолютный характер этого принципа вряд ли требует комментариев. Где те опыты и наблюдения, которые привели к нему? Где точные доказательства его правильности? Их нет. Что значит: «Все исходящее из рук природы хорошо»? Хорошо само по себе, *an sich und für sich*? Об относительных качествах предметов не может быть и речи: для их определения существуют науки с их точными методами. Но у Руссо об этом вы не найдете ни слова. Причем принцип установлен произвольно: как и все метафизические принципы, эта произвольность лежит тяжелым бременем на всей теории Руссо. Все те правила воспитания, которые основаны на этом принципе, несостоятельны и не ведут к целям, поставленным самим Руссо.

Но, кроме своей метафизичности, принцип Руссо представляет еще одну сторону, которая вредит ему так же, как и метафизичность. Дело в том, что принцип, если оставить в стороне его бездоказательность, отрицает воспитание, так как всякое воспитание не может не быть делом рук человеческих. Где выход из этого затруднения?

Руссо нашел выход в самом определении характера воспитания. Это определение, последовательно вытекая из основного принципа, есть вместе с тем *resumé* всей теории Руссо. Характер воспитания, по идее автора «Эмиля», должен быть отрицательный, т. е. воспитателю необходимо всегда препятствовать, чтобы что-либо было сделано<sup>1</sup>. Это значит, что воспитатель должен предоставить природе работать свободно, ибо все, что она производит, хорошо. Главнейшие пункты теории Руссо представляют применение этой мысли к разным моментам развития питомца. Так, в обучении ученику предоставляется до *всего без исключения* доходить самому, он окружается искусственно

---

<sup>1</sup> Rousseau J. Empêcher que rien ne soit fait. – Paris, 1862. – P. 11.

организованной обстановкой, которая выделяет его из общества и не дает влиянию этого общества мешать хорошей работе природы. Эмиль не читает других книг, кроме «Робинзона», и таким образом выделяется из книжного мира точно так же, как из действительного и т. д. Крайности, благодаря которым Руссо думал выработать загадочного *l'homme de la nature* и которые, перепутав *понятие* о природе с *представлением* о ней, потеряли в педагогике всякое значение.

На этом мы остановимся, так как, я думаю, читателю достаточно понятен мой взгляд на общий характер произведения Руссо и ясны, вместе с тем, те требования, которые я могу иметь в виду по отношению к автору, связывающему свое произведение с теорией и идеалом Руссо.

Связь между новым сочинением Эскироса «*L'Emile du XIX siècle*»<sup>1</sup> и знаменитым «*Emile ou de l'éducation*»<sup>2</sup> – весьма существенная, так как она касается основных черт двух типов, выведенных в этих произведениях. Вне этой связи у Эскироса и Руссо нет ничего общего. Эскирос в этом отношении независим от своего предшественника и далек от мысли вливать в старые формы обновленное содержание. «Эмиль» Руссо, как известно, представляет педагогический трактат, в котором, в качестве конкретного примера, является личность Эмиля, которой Руссо и не думает давать реального значения. Что касается самого трактата, то, по словам Руссо, он представляет «собрание размышлений и наблюдений, без порядка и почти без связи»<sup>3</sup>, полон длинных отступлений и не лишен противоречий. Правда, рассуждения и наблюдения Руссо достаточно часто гениальны, полны искреннего горячего увлечения и нередко представляют образцы изложения и языка. Тем не менее, все эти достоинства не в состоянии сделать чтение трактата Руссо легким и приятным для той части читателей, которую немцы называют большой публикой, в особенности теперь, когда этот трактат имеет почти исключительно историческое

---

<sup>1</sup> Esquiros A. *L'Emile du XIX siècle*. – Paris, 1869.

<sup>2</sup> Esquiros A. *Emile ou de l'éducation*. – Paris, 1762.

<sup>3</sup> Rousseau J. *Empêcher que rien ne soit fait*. – Paris, 1862. – P. 1.

значение. Эскирос, отказавшись от формы трактата, имел в виду именно большую публику. «Эмиль» Эскироса – талантливо и живо написанная педагогическая повесть, в которой беллетристическая форма облакает весьма серьезное и дельное содержание.

Знакомство с этой повестью мы начнем с внешней ее стороны, т. е., собственно с повести, взятой отдельно от излагаемых в ней педагогических воззрений. Обойти молчанием характеристику действующих лиц, не сказать ни слова ни о месте действия, ни о ходе переживаемых действующими лицами событий, нельзя не только потому, что, поступив таким образом, пришлось бы дать неполное понятие о книге, но еще и по той причине, что лица, места, события, составляя обстановку ребенка, неизбежно имеют важное педагогическое значение.

Повесть Эскироса небогата действующими лицами, и ход событий в ней несложен. Эта простота не рассчитана, конечно, на вкусы, требующие эффектов и сильных ощущений, но тем-то эта повесть, по моему мнению, и хороша. Я передам ее в общих чертах.

Отец Эмиля, д-р Эразм, принадлежит к числу тех дезертиров из армии гражданских рекрутов бонапартизма, о которых было уже рассказано. Известно, что участь этих людей – страдание. В одно прекрасное утро, или вернее, в одну прекрасную ночь, он был взят и без суда отправлен в крепость, из которой вскоре затем, без объяснения причин, разумеется, переведен в другую. «Положение мое, — пишет он оттуда тайно жене, — не то же, что положение осужденного. Осуждение принадлежит закону, а я принадлежу силе. Кто меня судил? Не знаю. Кто обвинил? Тайна. Что сделают со мною? Когда окончатся мои страдания? В последний ли раз переводят меня с места на место? На все эти вопросы нет ответа». Несчастный д-р Эразм попал в каземат очень скоро после женитьбы, поэтому заключение ему было особенно томительно.

«Целую долгую неделю я не был в состоянии писать тебе, милая Елена, — так начинает он свое первое письмо из тюрьмы. — Не нахожу слов выразить тебе все, что я выстрадал за это время. Ужас тюремного заключения не в лишении свободы идти куда вздумается, а в том



унынии, которое подавляет душу. Глаз устает видеть все те же своды, те же столбы, те же коридоры. Голова кружится в этой живой могиле, среди этих камней и сам становишься камнем. Без голоса, почти без движения, без мыслей я сидел истуканом в своей тюрьме. Мне казалось, что у меня отняли мою собственную личность, что не я жил, а жила эта тюрьма, которая захватила меня как добычу и заключила в круг безвыходного и механического существования. Нужно много работать над собой, уверяю тебя, милая Елена, для того, чтобы снова стать самим собой. Я пережил дни этой работы, и теперь я снова тот же, кем был»<sup>1</sup>.

Это самообладание, достигнутое им, конечно, в силу глубокого убеждения в правоте своего дела, спасло несчастного д-ра Эразма от дальнейших страданий и позволило ему пользоваться благоприятными обстоятельствами для постоянной переписки с женой. Вскоре он узнал, что она беременна, и сознание нового долга и новых обязанностей, предстоявших ему, послужило ему подкреплением. Его жена нуждалась в советах. Он, «посвятивший двадцать лет своей жизни положительным наукам», имел, конечно, полную возможность быть ей полезным в этом случае. И вот в их переписке на первый план выдвигаются педагогические вопросы. Теперь никакие стены и затворы не в состоянии ошеломить Эразма, сознающего, что вопреки держащим его каменным лапам, он может работать, приносить пользу. Его уже не тревожат прежние страдания, на душе у него легко и светло, и он пишет жене: «Я надеюсь исполнить мой долг вопреки всем препятствиям». И действительно, он не перестает работать вместе с женой над воспитанием сына все время своего заключения, т. е. до тех пор, пока какая-то амнистия не открывает, наконец, перед ним двери тюрьмы.

Одним из первых советов, данных им из крепости жене, — уехать в Англию и там поселиться. Д-р Эразм в Англии не чужой: у него есть друзья, которые принимают участие в жизни Елены. Один из них — д-р Уаррингтон — отговаривает ее от намерения избрать местом

---

<sup>1</sup> Ib.

постоянного пребывания Лондон. Он указывает на Корнуэльс, как на такую страну, климат которой был бы ей особенно полезен. Здесь же, в одной из деревень, на морском берегу, живет и семейство д-ра Уаррингтона. Елена находит, таким образом, прелестный уголок и хорошее общество. Обстановка, в которой предстоит провести детство сыну французского узника – маленькому Эмилю, родившемуся вскоре после приезда его матери в Корнуэльс, соединяла в себе все условия, необходимые для благоприятного физического и нравственного развития.

Переселение Елены в среду английского общества сообщает ее письмам большой интерес: те практические сведения, которые она приобретает в семействе д-ра Уаррингтона, служат прекрасным дополнением теоретических размышлений ее мужа. Идеи, которыми они обмениваются, представляют целый ряд рациональных и дельных педагогических наблюдений, замечаний, правил и советов. Сама Елена принадлежит к числу женщин, прекрасно подготовленных к исполнению обязанностей воспитательницы. Это женщина, обладающая знаниями и развившая себя размышлением. Живя в Англии, она тщательно следит за явлениями домашнего быта тамошнего общества и, передавая в письмах к мужу увиденное и услышанное, сообщает ему и свои критические замечания, часто доказывающие ее знакомство с педагогикой нашего времени. Наконец, для более полной ее характеристики надо добавить, что она стоит почти на одном уровне с мужем по своему политическому развитию. В письме, предшествовавшем их единственному свиданию в тюрьме, она говорит:

«Не бойся нашего свидания. Я еду не для того, чтобы просить тебе помилование. Как мне ни мучительна разлука с тобой, я уважаю твои убеждения, хотя не вполне понимаю их. Я могу иметь слабости жены, но не подлость любовницы. Честь твоя – часть моей любви. Гордый и неподкупный – ты все-таки мой, несмотря на то, что стены тюрьмы скрывают тебя от моих глаз. Ты стал бы мне чужим, изменив принципам и убеждениям твоей жизни, даже если бы я могла по-прежнему обнять тебя. Сделавшись твоей женой, я связала себя с

лучшей частью тебя – твоей совестью. Оставайся ей верным, и я клянусь быть для тебя тем, чем ты для нее, – верной до смерти»<sup>1</sup>.

Амнистия, как я сказал, положила конец заключению д-ра Эразма. Это случилось, когда Эмилю было семь лет. После освобождения, д-р Эразм поспешил к своим в Корнуэльс. После первых счастливых дней, последовавших за свиданием, у него мелькнула мысль об обратном переселении во Францию, но он раздумал и остался. «Что удержало меня? – пишет он в своем дневнике. – Тысяча предрассудков, если хотите, могут помешать человеку жить на Родине. Как знать! Быть может, тут замешана жгучая, несказанная боль увидеть поработанным тот великий народ, который я знал когда-то свободным. Но сердце и ум, тем не менее, с участием следят за всем, что происходит на Родине».

Во все эпохи истории были люди, которые считали своим долгом перед собою и Отчизной служить ей издалека, и едва ли не эти люди любили ее пламеннее всего. Вдали от Отчизны, как и вблизи, они живут ее интересами, страданиями и надеждами. В глубине своей души они болеют всеми ранами своего народа, которые сам народ, по видимому, не чувствует, как будто время и привычки могут заживить всевозможные рубцы. «Такие добровольные изгнанники служат знаменiem времени...»<sup>2</sup>

Итак, д-р Эразм остался в Англии и посвятил себя воспитанию сына, которого он нашел прекрасно подготовленным. Проходил год за годом, не внося в жизнь семейства д-ра Эразма никаких внешних изменений. Развитие Эмиля шло успешно: он занимался с отцом, читал, ходил по заводам, фабрикам и мастерским, видел часть Корнуэльса, но Эразм находил, что всего этого недостаточно. «Вид местности в Корнуэльсе величественен, но однообразен, – рассуждал он, – юноша, видевший одну только сторону природы, как, например, скалы и море, страдает таким же лишением, как тот, который читал одну только книгу». Эти соображения заставляют его призадуматься над

---

<sup>1</sup> Ibid. – P. 5.

<sup>2</sup> Ibid. – P. 149.

вопросом о необходимости предпринять какое-нибудь путешествие. Случай для такого путешествия скоро представился.

Еще раньше возвращения д-ра Эразма из тюрьмы, у берегов Корнуэльса разбился перуанский корабль. В числе спасшихся пассажиров была какая-то девочка-сирота, о которой сначала ничего нельзя было узнать, и которую Елена приняла в свою семью и воспитывала вместе с Эмилем. Д-ру Эразму удалось собрать сведения об этой девочке: оказалось, она была дочерью капитана затонувшего корабля и владела в Перу порядочным состоянием, которое родственники, после гибели ее отца, присвоили себе. Попытка склонить их к возвращению имущества законной наследнице не приводила путем переписки ни к какому положительному результату, и становилось очевидно, что без непосредственного вмешательства д-ра Эразма дело не обойдется. Он решается на путешествие в Перу в надежде не только спасти состояние воспитанницы, но применить к Эмилю и девочке воспитательное значение такого отдаленного и разнообразного путешествия. Он берет место медика на одном корабле, Эмиль определяется юнгой, и они отправляются в путь. Путешествие прошло без особых приключений. Состояние Лолы было более или менее восстановлено, и они вернулись в Англию совершенно благополучно. В результате путешествия Эмиль обогатился впечатлениями, воспоминаниями, жизненный опыт выработал его характер, наблюдение над виденным открыло ему глаза для науки.

Скоро приходит для него время завершить образование систематическим университетским курсом. С этой целью он отправляется в Германию и слушает лекции сначала в Бонне, потом в Гейдельберге. Здесь он с живым интересом следит за преподаванием профессоров и знакомится с их научными и философскими воззрениями. Что же касается университетской молодежи, то она производит на него отрицательное впечатление, и он держится от нее в стороне. Да и могло ли быть иначе? Мог ли свежий, развитый человек отнестись с симпатией ко всем этим кнейпам, коммершам, бир-комментам и всей дико бессмысленной формалистике корпораций? Радикализм некоторых кружков буршей также не мог увлечь его, так как от его внимания не

скрылся быстрый переход радикализма буршей в карьеризм и филистерство после окончания университетского курса. Вне этих впечатлений и навеваемых ими размышлений, его жизнь в Бонне и Гейдельберге прошла тихо среди занятий. Не было никаких приключений, если исключить эпизод любви к какой-то молоденькой актрисе, которую он забывает, не успев даже с ней познакомиться. Он оставляет Германию, унося уважение к ее науке и антипатию к ее обществу. По возвращении домой он женится на воспитаннице своих родителей – перуанке Лоле, которая, во время его отсутствия, успела подготовиться к экзамену на доктора медицины. Этим событием заканчивается повесть.

Рассмотренная мною формальная сторона сочинения Эскироса не лишена достоинств. Прежде всего, нельзя не отдать справедливости автору в талантливости, с которой составлен общий план повести и задуманы главные действующие лица. План повести представляет такие комбинации, которые дают полный простор проведению определенного политического направления рядом с идеями теоретической педагогики и картинами, выхваченными из педагогической практики. При известной степени искусства в изложении, такие условия общего замысла дают полную возможность облечь в легкую форму весьма серьезное содержание и таким образом подготавливают все данные для хорошего популярного сочинения. Но это еще не все: этот план дает возможность, минуя всякие натяжки, вести Эмиля через длинный ряд впечатлений, вытекающих из непосредственного его знакомства с природой и жизнью во всем их широком разнообразии. Таким образом, внешние условия жизни Эмиля комбинируются так, что его мирозерцание не может ни сузиться, ни измениться к худшему в каком бы то ни было отношении вопреки воспитанию. Жизнь ведет его именно к тому, чтобы быть, прежде всего, человеком, и ничто человеческое не считать чуждым.

Эти достоинства внешнего хода повести Эскироса не исключают, однако, недостатков, избежать которых можно было легко. Я укажу на два. Прежде всего, нельзя не пожалеть, что Эскирос не обратил внимания на то неизбежное следствие, которое не может не вытекать

из разнообразия событий в жизни Эмиля. Он жил в Корнуэльсе, был юнгой на корабле, переплывшем океан, посетил Перу и Бразилию, был студентом двух немецких университетов, но никогда в его жизни не происходило никаких осложнений, никакой серьезной борьбы. Жизнь Мориса в «Отцах и детях» Легоувэ несравненно однообразнее жизни Эмиля, но Легоувэ искусно влил в нее множество осложнений, разрешение которых имеет не только педагогическое значение, но и придает личности главного действующего лица много жизни и движения. Так, у Легоувэ я нахожу главы, посвященные этим осложнениям: труд и болезнь, отношение к отцу, друзьям, денежные дела. Вторым недостатком, отчасти находящимся в связи с первым, как его следствие, я считаю отрывочность в изложении некоторых периодов жизни Эмиля. Избежать такую отрывочность можно было бы легко, заполнив пробелы разработкой упомянутых выше вопросов. Книга, по моему убеждению, только выиграла бы от устранения этих недостатков.

Обратимся теперь к собственно педагогической части сочинения Эскироса.

Мы уже знаем, что Эскирос принадлежит к числу непримиримых противников воспитания *ad hoc*. Приведенные мною мнения, в которых столь энергично осуждается это воспитание, высказаны им от лица д-ра Эразма. Отец Эмиля, как представитель направления прямо противоположного направлению *ad hoc*, целью воспитания ставит, как и Руссо, человечность. Он не готовит своего Эмиля ни к какой специальности, а старается развить в нем качества, необходимые для любого человека<sup>1</sup>. Этой мыслью проникнуто все сочинение, она составляет его смысл, дух. Эмиль, прежде всего, человек, и притом, как говорит Эскирос, свободный человек, что, впрочем, понятно и само собою.

Остановимся на минуту на этом важном вопросе и припомним, что в нашей литературе его решение в смысле Руссо и Эскироса имеет уже свою традицию. Белинский ставил целью воспитания человек-

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 31, 81.

ность. Под человечностью он понимал «живое соединение в одном лице тех общих элементов духа, которое равно необходимо для всякого человека, какой бы он ни был нации, состояния, в каком бы возрасте и при каких обстоятельствах ни находился, – тех общих элементов, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоценнейшее сокровище, без которых он не человек. Под этими общими элементами духа мы понимаем доступность всякому человеческому чувству, всякой человеческой мысли, смотря по глубине натуры и степени образования каждого». Пирогов на вопрос к чему он готовит своего сына, отвечал: «Быть человеком», развивая эту мысль в своих знаменитых «Вопросах жизни». Здесь он доказывал необходимость общечеловеческого воспитания для всякого, кто хочет заслужить имя человека. Это воспитание он считает самым удобным, самым неприужденным, самым естественным.

Добролюбов, в статье «О значении авторитета в воспитании»<sup>1</sup>, дополняет мысль, приведенную Пироговым в «Вопросах жизни». Пирогов показал обществу причину господствовавшего в нем зла – преобладание внешности в воспитании, пренебрежение внутреннего человека, а Добролюбов разъяснил, *каким именно образом* убивается при воспитании внутренний человек. После Белинского, Пирогова, Добролюбова, мысли, высказанные ими, повторялись несчетное число раз. Мысли эти живут, конечно, в некоторых группах честных людей и будут жить вопреки всему, что ни совершалось бы вне этих групп, но можно ли, тем не менее, без грусти думать о том, сколько после горячей проповеди Белинского легло нечеловеческого на нашу общественную совесть. Чем успели за этот промежуток времени заявить себя те, в которых был убит внутренний человек!..

Но возвратимся к нашему Эмилю.

Эмиль, как свободный человек, не может, подобно своим искалеченным воспитанием сверстникам, быть индифферентистом в политических вопросах, или, по крайней мере, быть склонным к уступкам и компромиссам в их сфере. Эмиль имеет твердые политические убе-

---

<sup>1</sup> Добролюбов Н. А. О значении авторитета в воспитании. – М., 1857.

ждения и готов стоять за них грудью. Воспитанный политическим изгнанником, он унаследовал от него уверенность в том, что оставаться без политических убеждений он не имеет права. «Всякий, кто, живя в обществе, – говорит д-р Эразм, – остается чуждым борьбе интересов, форме и образу действий правительства, учениям, волнующим и разделяющим все умы, – тот чудовищное олицетворение ничтожества и рожден жить в среде дикарей»<sup>1</sup>.

Столь же здраво смотрит Эмиль и на труд.

Уже в первые годы детства, когда он воспитывался под наблюдением только матери, ему была внушена любовь как к умственному, так и физическому труду. С приездом отца эта любовь получила более широкое развитие. Д-р Эразм водил своего сына по мастерским, где Эмилю часто самому приходилось братья за молот и вообще принимать живое участие в труде рабочих. Эмиль не изучает специально никакого ремесла, но получает обстоятельное понятие о многих из них. Кроме того, посещая мастерские, он общается с рабочими, учится от них многому, чего нельзя узнать из книг и, что важнее всего, учится любить и уважать самого рабочего. Д-р Эразм находит, однако, что и такое близкое знакомство с трудовой жизнью еще недостаточно: мало знать ее, ее надо испытать. С этой целью он пользуется плаванием в Перу, устроив дело так, что Эмиль зарабатывает на путешествие своей службой в качестве корабельного юнги. Таким образом, в плоть и кровь Эмиля входит такое отношение к труду, о котором и идеи не имеют несчастные жертвы воспитания *ad hoc*.

Правильная постановка вопроса о труде имеет для Эмиля еще и то благотворное следствие, что его здоровье закаляется, и он становится способным к перенесению всевозможных лишений. Д-р Эразм предоставляет кому угодно восхищаться юношами тщедушными и болезненными, юношами, которых, как говорят у нас, «заучили», но сам доктор и его жена далеки от следования такому идеалу. Эразм делает чрезвычайно удачное сравнение такого «заученного» юноши с известного рода раковинной, производящей жемчуг вследствие искус-

---

<sup>1</sup> Rousseau J. Empêcher que rien ne soit fait. – Paris, 1862. – P. 252.



ственного изуродования живого существа, обитающего в ней. Для чего детей иссушают учением? Как будто нет путей для выработки здорового и развитого человека! По мнению Эразма, здоровый склад умственных способностей обусловлен как работой рук, так и головы, поэтому не следует презирать ни один из даров природы, необходимо развивать их все.

Свободный человек, твердый в своих политических убеждениях, любящий и уважающий труд, богатый положительными знаниями, почерпнутыми из книг, опыта, наблюдений, обладающий крепким здоровьем, Эмиль отличается от массы своих сверстников тем, что не несет бремени навязанного ему мирозерцания. Он его вырабатывает сам, в свое время. Да и мог бы он называться свободным человеком, если бы дикое насилие наложило цепи на его разум? Мирозерцание, как понятно всякому непредубежденному читателю, может сложиться только тогда, когда в распоряжении человека имеются достаточные для того данные. Преждевременное вдалбливание идей, недоступных ребенку, или притупляет его, лишая энергии и умственной самостоятельности, или подготавливает ему в будущем необходимость и неизбежность такой ломки старого и таких усилий для возведения нового, на которые совершенно напрасно тратятся силы, при иных условиях получивших бы гораздо более счастливое применение. Эмиль избавлен и от притупления своих способностей посредством усвоения непонятных и темных вещей, и от тяжелого процесса внутренней перестройки, т. е. от несчастий, неизбежных для людей, не получивших такого воспитания.

Вот описание того типа, осуществить который д-р Эразм желал в своем сыне. Посмотрим теперь на то воспитание, которым он думал достичь этой цели.

Диаметральная противоположность воспитания *ad hoc* – воспитание, основанное на законах человеческой природы, воспитание естественное. Но так как законы человеческой природы раскрывает нам наука, то основанием теории естественного воспитания может быть только она. Такой наукой Эскирос считает физиологию, но одной ее еще недостаточно: необходима та широкая и разнообразная совокуп-

ность данных, которые может нам доставить только наука о человеке – антропология, область которой охватывает не одни только физиологические, но биологические и социологические вопросы.

Эскирос указывает на науку, как на единственное основание педагогики. Однако из этого не следует еще, что мы в его книге найдем готовую педагогическую теорию, основанную на науке. Такой теории еще не существует, и Эскирос не мог создать ее по той причине, что разработка наук, по которой должна была воздвигнуться новая педагогика, еще не ушла так далеко, чтобы могла доставить достаточные данные для всей совокупности педагогических вопросов. Из этого видно, что эмпирический характер многих педагогических положений неизбежен как для Эскироса, так и для всякого современного педагога. Этот эмпиризм ясно сознается, однако и педагогика выйдет из него как только возможность, зависящая не от нее, ей представится. Для настоящего важно то, что путь, по которому предстоит поступательное движение педагогики, ясно определен. Эта определенность обеспечивает всю будущность педагогики, спасая ее от всякой порчи со стороны теологии и метафизики.

Мысль, что педагогика должна искать себе основание только в науке, конечно, не нова. Она высказывалась с большим знанием дела и талантом в нашей литературе, но нельзя не радоваться, тем не менее, встречая ее в популярной книге, которая прочтется, вероятно, многими. Ведь пора взглянуть на воспитание, как на такое дело, которое нельзя делать по вдохновению, за которое нельзя браться всякому неучу, проходимцу, как это бывает сплошь и рядом. Читайте объявление: «Немец из Берлина, знающий все науки, ищет место учителя и воспитателя в богатом доме». Этот немец не пропадет у нас, *il connaît son monde*. Справедливо было замечено одним из наших писателей, что у нас просьба дать совет о постройке моста, прорытии канала и т. п. часто может встретить отказ, мотивированный незнакомством с той специальностью, которая необходима в данном случае. Но такой отказ никогда не встречается, если дело идет о воспитании – всякий и всякая имеет в этой области свою готовую теорию. А взгляните на результаты этих теорий, заговорите о печальных последствиях этих

первобытных понятий... В ответ вы услышите, что во всех неудачах виноваты (кто бы вы думали?) сами жертвы воспитания.

В числе данных, добытых наукой, на первом плане стоит идея развития, как результат изучения всего живущего. Эскирос не упускает из виду этой идеи и весьма справедливо вооружается против приурочивания воспитания к той или другой из метафизических теорий, по самой своей сущности всегда чуждых научному взгляду на человека. Такие теории, по мнению Эскироса, пригодились бы тогда, если бы человек представлял нечто абсолютное. В действительности, наоборот, это нечто постоянно изменяющееся, непрестанно переходящее из одного состояния в другое, начиная с момента зачатия и заканчивая смертью. Согласно с этим и воспитание – дело всей жизни. Эскирос говорит, что воспитание начинается тогда, когда начинается развитие, т. е. до рождения, и потом идет дальше, сообразуясь с различными фазисами развития. На самом деле, жизнь матери имеет громадное влияние на условия развития зародыша: она или защищает его от болезней и проистекающих из них аномалий, или сообщает ему их. Многие вопросы будущего предрешаются в этом эмбриональном периоде жизни. И зародыш, следовательно, требует правильного ухода. После рождения, год за годом, сфера воспитания расширяется, старые вопросы частью сменяются новыми, частью видоизменяются. Появляются новые вопросы, особенно после периода, с которого начинается обучение, число их растет, они усложняются, и так дело идет до тех пор, пока человек становится настолько самостоятельным, что получает возможность продолжать свое воспитание без постороннего наблюдения и указания.

Я не имею никакой возможности, само собою разумеется, представить здесь полную картину воспитания Эмиля. Желающие ознакомиться с нею могут обратиться к книге Эскироса. Я скажу несколько слов только о некоторых главнейших вопросах воспитания, и притом настолько, насколько это будет достаточно для знакомства с характером педагогической теории нашего автора.

Эскирос избежал ошибки Руссо, путавшего понятие о природе с представлением о ней. Он не хотел сделать из своего Эмиля естест-

венного человека (*l'homme de la nature*), он делает все для того, чтобы развитие Эмиля совершалось естественно. Основные положения его теории, с которыми мы уже познакомились, служат ему прекрасным руководством к поиску верного пути в этом направлении.

Начнем со взгляда Эскироса на вопросы, связанные с развитием характера.

Дети, рассуждает он, часто служат куклами в руках взрослых. В этой кукле не допускается ничего своего. Она существует для утехи старших и должна соответствовать их вкусам, должна, прежде всего, стараться понравиться. Такое положение детей в семействе убивает в них всякую самобытность. Именно его влиянием объясняется отсутствие твердых и стойких характеров.

Родителям и воспитателям следует вдуматься в этот важный вопрос, им необходимо дать себе отчет в том, что мы называем в человеке характером, каким образом он вырабатывается. «Характером, – говорит Эскирос, – принято называть результат сочетания в человеке сил, корень которых лежит в природе, но которые беспрестанно меняются и преобразовываются под влиянием внутренних и внешних причин. Воля, до известной степени, управляет нашими склонностями, желаниями и чувствами. Является ли эта воля первобытным или приобретенным элементом? По-моему, и то, и другое. В ребенке воля проявляется одновременно с его рождением на свет, но с годами, благодаря тренировке именно этой способности, она усиливается в человеке, сосредотачиваясь на определенной цели. Что касается внешних причин, влияющих на характер, то достаточно указать на воспитание и общество. Человек, родившийся в Китае от одного из последователей Конфуция, не был бы способен смотреть на вещи и поступать так, как смотрят и поступают люди, родившиеся во Франции от христианских родителей»<sup>1</sup>. Итак, в то время, когда, независимо от нас, в ребенке совершается процесс развития его нравственных сил, мы в состоянии, посредством внешних влияний, давать этому развитию то или другое направление, руководствуясь, конечно, естествен-

---

<sup>1</sup> *Ib.* – P. 64.

ными законами этого развития, ставя достижимые цели. Направлять развитие характера мы, следовательно, в известных пределах можем. Но как направлять? Если мы станем направлять, используя власть, то очевидно, будем направлять вопреки законам природы, в соответствии со своими собственными субъективными воззрениями. Власть здесь неуместна и вредна. Она, например, может подавить в ребенке проявление вспыльчивости, злости, заносчивости, но никогда не сможет уничтожить этих пороков, а только загонит их внутрь. Она образует самый скверный и низкий характер — скрытый, лицемерный, маскирующий затаенные чувства ложной внешностью. Придет время, когда ребенок поймет, что достоинство требует самообладания. Он научится, подобно некоторым локомотивам, сжигать свой собственный дым, но чтобы он мог научиться этому — надо дождаться развития его разума и воли. Пока это время не наступило, нужно влиять на ребенка не властью, а отвлекая от того, что портит его характер. Чтобы эта система отвлечений шла успешно, нужно, конечно, знать ребенка и уметь отвлекать его тем, на что он поддается: музыкой, картинами, рассказами... Таким образом, можно пользоваться естественными данными и избегать насилий. Но это еще не все. Такая система — отрицательная. По мере того, как ребенок растет, необходимо влиять на него и положительно.

Средства влиять на ребенка положительно весьма разнообразны. Система воспитания *ad hoc* пользовалась некоторыми из них весьма широко. Главнейшими ее средствами или мерами всегда были безусловное повиновение и нравственные поучения. Нам необходимо рассмотреть эти меры, прежде чем займемся положительными средствами естественного воспитания.

Пока дети еще малы, от них нельзя не требовать, в их же интересах, безусловного повиновения. Но чем раньше ребенок может быть освобожден от него, тем лучше. Когда вынужденное повиновение переходит известный предел, оно неизбежно усыпляет в ребенке чувство нравственной ответственности. Ребенок, привыкший к безусловному повиновению, не обращается к своей совести: он привыкает полагаться не на себя в решении вопроса о хорошем и дурном, справед-

ливом и несправедливом. Как только ребенок начинает рассуждать, он должен действовать свободно, воспитатель же обязан только руководить его свободой, не стесняя ее. Говорить ребенку: «Поступай так, как тебе сказано, а почему следует так поступать, о том узнаешь после» – значит дрессировать его, а не воспитывать. Для воспитания необходим ум, такт. Только свободное послушание морализует воспитываемого, а безусловное повиновение отнимает всякое достоинство, унижает его. Не надо забывать о том, что страх, на котором всегда основывается безусловное повиновение, в большей части случаев бессилен. Он побуждает чаще всего к обману, на который ребенок тратит бездну изобретательности. Но страх причиняет не одно только это зло, он разрывает узы между нами и ребенком, подрывает наш нравственный авторитет. Что может быть легче, чем держать ребенка в страхе, но что может быть труднее, чем восстановить потерянный авторитет? Ребенок, убедившийся в том, что обращение с ним основано на капризе и произволе, подчиняется только силе. Такой ребенок обычно вступает с воспитателем в затаенную, но упорную борьбу, бывает неистощим в изобретениях, внушаемых быстро развивающимися в нем хитростью и лукавством. Другое важное следствие принудительной системы — отсутствие радостных и веселых минут в годы детства. Такое лишение всегда сказывается в жизни. Люди рабочие, угрюмые, мрачные, наверное, перенесли печальную пору детства.

Обратимся теперь к нравственным поучениям.

И теперь часто приходится слышать о важном их значении в воспитании, хотя это мнение давно уже пошатнулось благодаря весьма веским аргументам. Эскирос, как и Руссо, далек от того, чтобы придавать им рутинное значение. Он утверждает, что никакие поучения не в состоянии оказывать серьезного влияния на становление характера. Если бы нравственные сентенции могли иметь какое-либо жизненное значение, то индусы, китайцы, персы были бы идеалами нравственности, так как их книги полны высоких нравственных правил. Из этого не следует, впрочем, что всякая теоретическая мораль лишена значения. Но ее значение не должно преувеличиваться, как

это беспрестанно делается, потому что именно так ребенку вместо нравственности прививается лицемерие. Успех нравственного воспитания возможен только тогда, когда нравственность вырабатывается жизнью и подкрепляется примерами, представляемыми ребенку окружающей средой. Без этого условия нравственные поучения не играют никакой роли.

Итак, по мнению Эскироса, безусловное повиновение и нравственные поучения не достигают цели. Как же он советует поступать воспитателю, какие положительные средства предлагает?

Прежде всего, он обращает внимание на то, что в первые годы детства ребенок всегда бывает эгоистом. Причина эгоизма заключается в слабости. Дело воспитателя — осветить его естественные инстинкты чувствами более благородными, которые могут служить связью отдельной личности с другими, ей подобными. Чтобы это дело шло успешно, воспитателю необходимо понимать отношения, существующие между данными чувствами и известными фактами. Так, например, соболезнование возникает при виде страданий, благодарность связывается с полученными услугами, любовь к Отечеству нераздельна от привязанности к окружающей человека местности, дружба рождается и растет под влиянием добрых отношений и согласия. Все эти факты могут возбуждать соответствующие им чувства, и в этом смысле воспитатель должен пользоваться тем, что дает жизнь, не прибегая к пустой риторической болтовне. Умение пользоваться обстоятельствами не должно, однако, заводить педагога слишком далеко: Эскирос допускает некоторую искусственность в ведении этого дела, но напоминает в то же время, что неумелость и бестактность могут погубить дело.

Если воспитание было правильным, то совершенствование характера ребенка выразится ростом подчинения его эгоистических наклонностей наклонностям, направляющим его к общей пользе. Это подчинение совершается непосредственно, независимо от какой бы то ни было теории. Воспитатель, наблюдая за этой внутренней работой, должен помогать ей, целесообразно направляя. Не следует забывать только, что помощь воспитателя никогда не должна стеснять воли

ребенка. Стеснение может сделать из него личность, не способную к борьбе.

Таков в общих чертах взгляд Эскироса на воспитание характера. Этот взгляд отвечает известной общей цели, и в то же время находится в совершенном согласии с лежащей в его основе идеей развития. Этому взгляду нельзя отказать в определенности и ясности, дающим полную возможность применять его к делу без недоразумений, хотя и не без труда. Тем, кто в воспитании привык видеть легкое дело, это, конечно, не понравится. Но если на трудное дело весь век смотреть как на легкое, то вряд ли оно пойдет на лад. Надо же, наконец, понять всю трудность задачи воспитания и привыкнуть к мысли, что воспитатель ничего не добьется без самого упорного труда. Люди, так часто свысока толкующие о воспитании, но ничего не понимающие в нем, — люди, недостатка в которых у нас нет, станут, конечно, в тупик перед принципом Эскироса. На самом деле, этот принцип требует знаний, терпения, такта, находчивости, изучения воспитываемого ребенка, а чего он только не требует! А им, педагогам по вдохновению и педантам-буквоедам, напоминающим *«docteur au front pauvre, au maintien solennel»* Гюго, — или ничего не нужно, или нужны рецепты, указания, объяснения на каждый отдельный случай. Эти господа назовут Эскироса теоретиком и будут продолжать портить и развращать своих питомцев. Найдутся же, однако, и такие люди, которые скажут, что время педагогических теорий, создаваемых вдохновением, как и педагогических рецептов, миновало, и что воспитатель, не умеющий сообразоваться с индивидуальными условиями развития своего питомца, берется не за свое дело и недостоин называться педагогом.

Жена Эскироса не принадлежала к числу натур, привязанных к рутине и не способных к самостоятельности. Вдумавшись в изложенный выше взгляд на значение педагогики, на ее цели, на средства при воспитании, она поняла всю трудность предстоявшего ей дела и энергично принялась работать для того, чтобы стать на один уровень со своим положением. Благодаря такой твердой решимости, она сумела применить теорию д-ра Эразма к воспитанию Эмиля с полным успехом. Ее умение, такт, находчивость представляют целый ряд прекрас-



ных иллюстраций к теоретическим размышлениям ее мужа. Приключение на плантации, случай с маленьким слепым, история пойманных птиц и многие другие случаи из жизни Эмиля служат тому подтверждением. Читатели не оставят их, конечно, без внимания.

Перейдем теперь к обучению.

В педагогической теории Эскироса обучение проникнуто воспитательным характером и наглядностью. Суровая и сухая обстановка школы:

Ces bancs de chêne noirs, ces longs dortoirs moroses,  
Ces salles qu'on verrouille et qu'a tous leurs pilliers  
Sculpte avec un vieux clou l'ennui des écoliers...<sup>1</sup>

Все это пугает д-ра Эразма. Педанты-учителя, бездушная строгость которых не знает ничего другого, кроме авторитета книг, ему противны. По его мнению «le livre de l'enfant c'est la bible des choses», т. е. то, что в школах еще редкость.

Не только книга, но и устная речь принадлежит, по мнению Эскироса, к числу очень слабых проводников знания в детские умы. Давайте ребенку, прежде всего, сами вещи. Ему надо их видеть, осязать, непосредственно с ними знакомиться. Прежде, чем он выучится читать, следует обратить его внимание на множество фактов, вполне ему доступных. Об этом часто не заботятся, вследствие чего извращают тот естественный порядок, которому необходимо было бы следовать при обучении: с одними вещами знакомят слишком рано, с другими — слишком поздно. Руководством в этом случае может служить только наука, открывающая нам законы органического, умственного и нравственного развития человека.

Но, кроме естественной постепенности в переходе от одного предмета к другому, необходимо соблюдать другую важную постепенность — постепенность перехода от одной стороны одного и того

---

<sup>1</sup> Эти скамьи из черного дуба, эти длинные мрачные спальни,  
Эти комнаты, которые закрывают, и которые все грабители  
Открывают старым гвоздем тоску школьников...

же предмета к другой. Возьмем для примера розу. Прежде всего, ребенок видит в ней не больше, чем розу, которую ему показывают. Позже форма, цвет и запах этой розы дадут ему возможность составить общее понятие о типе, под который он всегда сумеет подвести всякую розу, какая ему попадется. Но он остается еще весьма равнодушным к вопросу о том, какое место занимает рассматриваемый им цветок в ботанической классификации, и очень далек от того, чтобы интересоваться морфологией или физиологией розы как растения. Извращение порядка, на который указывает этот пример, может иметь очень вредные влияния на детский ум. Воспитатели, однако, не всегда понимают это и, повредив способности ученика, никогда не думают о том, как виновато в этом их незнание дела. У них всегда один вечный виновник – ученик.

Для соблюдения, например, в геологии, той постепенности, о которой шла речь, Эскирос находит нужным, прежде всего, знакомить ребенка с внешним видом горных пород и окаменелостей. Возможность классификации приобретенного таким образом материала появляется гораздо позже. Еще позже можно перейти к очерку жизни Земли. Затем ученику открывается смысл и значение этой жизни, изучение которой Эскирос справедливо называет *une révélation, une genèse*. Наконец, в 18-19 лет можно воспользоваться геологией, как прекрасным введением в философию истории.

Все эти соображения приводят Эскироса к тому заключению, что все существующие учебники и классные руководства никуда не годятся. В них наука сведена до детского понимания посредством упрощения формы, и это упрощение считается вполне достаточным для целей преподавания. Но дело не в одной только форме. При составлении учебных руководств не следует упускать из виду именно содержания, доступного ребенку. Обычно забывают, что определения, классификации, формулы, появились не одновременно с наблюдениями и опытами, а позже, как их результаты. Следовательно, группы знаний установились вовсе не так, как их обыкновенно преподают. Обычное преподавание извращает естественный порядок: ученику сообщаются результаты и заключения тогда, когда у него нет еще ни-

какого понятия об основании этих результатов и заключений. Между моментом высочайшего развития науки, вырабатывавшегося в течение веков, и невежеством ученика, оно не ставит никакой промежуточной степени, не дает никакого посредствующего звена. Это важная ошибка.

Эта подмеченная Эскиросом ошибка рутинного обучения наводит меня на не менее важный его недостаток, указанный доктором Робеном. Дело в том, что как бы ни было упрощено содержание учебников, но истины, в них излагаемые, никогда не должны терять своего научного характера, никогда не должны входить в связь с теологическими и метафизическими воззрениями. К сожалению, как заметил доктор Робен, этим недостатком страдают многие учебники по социологическим и биологическим наукам, а также учебники по химии и физике. Этот недостаток никогда не встречается только в курсах математических наук. Здравомыслящий и, следовательно, неизбежно свободомыслящий преподаватель, благодаря тому состоянию, в котором ныне находятся астрономия, физика, химия и геология, может без особого труда исправить учебник, очистив его от всякого постороннего ненаучного наноса и обскурантных нечистот, восстановив науку во всей ее чистоте. Совершенно иначе представится эта задача такому преподавателю, когда дело коснется биологии и социологии. Многие факты здесь еще недостаточно исследованы, на многие вопросы нет иных ответов, кроме гипотез, ненаучные влияния здесь обширны и сложны. Кроме того, здесь неизвестны так называемые не зависящие от автора обстоятельства, так что труд преподавателя не всегда обещает такой же успех, как в первом случае, и недостатки учебников легко могут сообщить ученику некоторые темные и перепутанные понятия, отделаться от которых удастся не всем.

Из этих двух недостатков рутинного преподавания, первый полностью миновал Эмиля, а второй – только отчасти, поэтому у нас еще будет случай видеть в воззрениях д-ра Эразма некоторые остатки метафизических предубеждений. Метафизическое влияние мирозерцания отца могло, впрочем, повлиять на Эмиля только в юности, а детство его было от этого избавлено: первоначальное его развитие

совершалось под наблюдением матери. Она была настолько подготовлена к исполнению обязанностей учительницы и воспитательницы, что могла заменить собою недостаток в книгах и учебных пособиях. Сколько выиграл от этого Эмиль!.. Нельзя не припомнить при этом грустную историю нашего женского образования, в котором только в последнее время появляются залогов на лучшее будущее. Усилия женщин в этом смысле известны, как известно и то, сколько препятствий надо им преодолеть, чтобы получить возможность учиться!

Чтобы дать читателю понятие о том, каким образом Эскирос применяет к делу свою мысль о необходимости знакомить детей только с одной доступной их пониманию стороной предмета, я приведу небольшой эпизодический рассказ из третьей части книги. Дети спросили однажды у доктора Эразма:

– Почему на свете есть богатые и бедные?

Он не мог, разумеется, дать им полного и точного объяснения, но не хотел ответить уклончивым, пустым ответом. Из затруднения он вышел, рассказав детям маленькую повесть, приспособленную к их пониманию.

– В старину, – сказал он, – посреди одного моря, название которого я и сам не помню, был остров, на котором богатые построили себе мраморные дворцы, развели сады, полные самых редких цветов, и вырыли озера для своего удовольствия. Ничто не могло сравниться с роскошью их стола: им подавались на золотых блюдах огромные рыбы с соусом из омаров (это любимый соус Эмиля). Туалеты мужчин, и в особенности дам, отличались неслыханным богатством. Дети, играя в кегли на площадях, использовали вместо шаров огромные круглые бриллианты. Бедные же, напротив, ходили босиком. Девочки, одетые в лохмотьях, рылись в кучах нечистот у домов богатых, подбирая выброшенные остатки от пиров. На бедных не только лежали самые тягостные и неприятные работы, на них все смотрели с презрением. Дело дошло до того, что людям, плохо одетым, запрещалось показываться в местах общественных гуляний, из опасения, конечно, чтобы они своими лохмотьями не загрязнили зеленые ков-

ры газона, или, еще вероятнее, чтобы жалкий их вид не оскорблял зрение богатых.

Однажды ночью бедняки удалились на гору и стали советовать-ся между собою. Наиболее молодые стояли за то, чтобы всем взяться за оружие, напасть на богатых во время сна и, отняв у них имущество, разделить его между бедными. Но тут встал один старый мудрец и, выждав, когда все замолкли, заговорил так: «Не делайте этого, во-первых, потому что их замки оберегаются слугами, еще более злоб-ными, чем господа, и собаками, еще более злыми, чем слуги. Во-вторых, потому что подобная борьба была бы несправедлива. То, что вы сегодня похитите у ваших врагов, только благодаря тому обстоя-тельству, что сила будет на вашей стороне, может быть завтра отнято у вас другими, если вы окажетесь слабейшими. Поищем вместе другое средство. Вы, конечно, слышали, что на нашем море есть и другие острова, кроме того, на котором мы имели несчастье родиться. Наши братья, бедные матросы, которые привозят сюда на корабле припасы и предметы роскоши для богатых, не раз видели во время плавания земли, поднимавшиеся посреди волн и увенчанные зеленью и плодо-выми деревьями. По их рассказам, один из этих островов необитаем, и мы можем превратить его в плодоноснейший сад. У нас есть руки. Я первый, несмотря на свою старость, готов работать насколько хватит моих сил, а в случае надобности – помогу вам и советом. Вот все, что я хотел вам сказать».

Они отправились. Один за другим садились они на утлые суда, которые сами смастерили из досок, прикрывавших их хижины. Бога-тые обитатели острова были в восторге, что эта сволочь удаляется и радостно хлопали руками. «Наконец-то мы избавились от напасти!» – восклицали они.

Так как у эмигрантов не было никакого имущества, то и весь груз корабля состоял только из них самих. Впрочем, нет, я ошибаюсь: они захватили с собой орудия для работы.

На протяжении нескольких лет о них не было ни слуху, ни духу. Должно быть, все утонули, говорили одни. Они перерезали друг дру-га, утверждали другие. Но вот однажды в гавань вошел корабль, на-груженный хлебом и другими товарами. По языку матросов и некото-

рым чертам лиц можно было узнать в них прежних обитателей острова. Они рассказали, что приехали с того острова, на который переселились, и где все родится как нельзя лучше. Земля, обработанная их руками, покрывается жатвами, фермами и стадами. Богатые приняли эти рассказы за басню и хохотали над ними до упаду.

А между тем, матросы ничего не преувеличили в своих рассказах. Роскошно обработанные поля, селения, города, дороги, каналы, точно по волшебству вырастали из этой еще недавно не возделанной почвы. Граждане жили между собой в мире и согласии, потому что чувствовали себя счастливыми. Мир и согласие господствовали и в семьях, на детей смотрели как на залог еще большего благосостояния в будущем, а потому с ранних лет приучали к труду.

Совсем иначе шли дела на острове богатых, благосостояние которых день ото дня приходило в упадок. Так как жители этого острова считали слишком унижительным для себя или были слишком ленивы, чтобы самим взяться за соху, то пашни в скором времени поросли бурьяном. Все производства прекратились за недостатком рабочих рук, а вместе с ними исчезли и предметы роскоши. Замки стали разрушаться, а починить их было некому. Поначалу богатые обратились к ремесленникам соседних островов, но те знали, как они поступили с их собратьями, и не захотели подвергаться тем же притеснениям.

Так как у жителей, оставшихся на острове, было много золота и серебра, то они поначалу покупали все, что им было нужно, у иностранных купцов. Но нет такой казны, которая рано или поздно не истощилась бы, если проникать в нее новым богатствам неоткуда. Прошло несколько лет, у них не осталось ни золота, ни серебра, и они пожалели, но слишком поздно, что так жестоко и несправедливо поступали с бедными.

Их положение было самое жалкое. Слуги, которыми они окружили себя в былые времена, не получая более жалованья, отказались служить им. Лошади, за которыми некому было ходить в конюшне, отказывались возить экипажи. На улице попадались женщины в стоптанных атласных башмаках и разорванных парчовых платьях, так как эти белоручки сочли бы для себя стыдом самим заняться починкой своей одежды. Глядя на эти лохмотья, в которых они так важно

расхаживали, иному пришла бы охота посмеяться, если бы не было жестоко и гнусно смеяться над несчастьем, хотя и заслуженным.

Одним словом, остров богатых стал островом бедняков.

Нужда все увеличивалась. Необработанная земля ничего больше не производила. Прежние богачи умирали с голоду в своих развалившихся замках, и погибли бы все до последнего человека, если бы жители другого острова, которых они когда-то изгнали своим дурным обращением, не явились им на помощь и не привезли им тот излишек припасов, в которых не нуждались сами.

Из этого не следует, впрочем, добавил в заключение д-р Эразм, что труд всегда обогащает. Он обогащает только те народы, которые умеют быть справедливыми<sup>1</sup>.

Характеристика системы обучения Эскироса была бы неполна, если бы мы не проследили за его взглядами на отдельные отрасли преподавания и на некоторые связанные с ними частные вопросы. Однако рассмотрение всех этих подробностей завело бы нас слишком далеко и не соответствовало бы цели этого очерка. Обращая внимание читателя на неполноту представленной мною характеристики методики и дидактики нашего автора, я остановлюсь только над двумя вопросами: над значением облегчительных приемов при первоначальном обучении грамоте и над влиянием фантастического элемента на умственное развитие ребенка.

Переход от непосредственного рассматривания предметов к обозначению их посредством условных знаков азбуки, Эскирос считает трудным делом для детей. Он уверяет, что дети чувствуют отвращение к книгам, но, кроме этого отвращения, существуют и другие обстоятельства, останавливающие их на самом пороге грамотности. По этой причине, прежде чем приступить к А, В, С, он старается развить в своем воспитаннике желание научиться читать, чтобы узнать прямо из книги те прекрасные истории, при чтении которых взрослыми он так часто заслушивался. Чтобы сделать, однако, переход от наглядного обучения и предметных уроков к азбуке как можно легче, Эскирос считает нужным объединить рисование, писание и чтение,

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 155-158.

переходя от одного к другому постепенно. Он останавливается на способе обучения англичанина Бэлля, заимствовавшего свою основную идею у детей индусов, более близких к природе, чем наши, и потому более логичных. Но и ее он считает не вполне удовлетворительной, заканчивая свое рассуждение о методах первоначального обучения тем, что осуждает их: «Изобретатели методов обучения рассуждают часто отлично. Некоторые из них отличаются изобретательностью, но *все они* упускают из виду одну безделицу – форму, в которой выражается человеческий ум в различные возрасты жизни»<sup>1</sup>. По его мнению, лучший из всех методов – здравый смысл учителя.

Это рассуждение характеризуется, прежде всего, неопределенностью. Читатель не узнает из него ни того, какие именно явления обнаруживают трудности начала обучения грамоте, ни причин, вызывающих в ребенке отвращение к книгам, ни, наконец, о каких именно методах идет речь, так как, кроме плохого метода Бэлля, ни один не указывается по имени изобретателя. Все это приводит меня к мысли, что Эскирос мало знаком с очень важной частью педагогики, а также, что звуковой способ обучения, как и одновременное обучение чтению и письму, ему совершенно неизвестны. Может быть, что те методы, которые приходилось применять ему в деле, никуда не годятся, что они несообразны со складом детского ума, искусственны. Может быть, поэтому детям, которых он учил, трудно далась грамота и книги стали противны. Все это возможно, конечно, но из этого не следует еще, что вовсе нет методов, лишенных таких серьезных недостатков, что нет методов, по которым тысячи и тысячи детей обучились чтению и письму легко, быстро, почти шутя, притом не только без отвращения к книге, но с уважением к ней. Здравый смысл учителя имеет, конечно, очень важное значение. Учитель, лишенный этого блага, измучит детей самым лучшим методом и ничему не научит. Но, в свою очередь, самый лучший учитель жестоко ошибется, если вообразит, что его здравый смысл может выполнить все. Опыт других тоже на что-нибудь здесь – как и везде – годится, пренебрегать им нельзя.

---

<sup>1</sup> Ib. – P. 132.



Вопрос первоначального обучения настолько разработан в нашей литературе, что всякому интересующемуся им открыт путь к знакомству с теми данными, которых, очевидно, недоставало Эскиросу. Это знакомство тем более важно, что методы первоначального обучения имеют гораздо большее значение, чем думает Эскирос. Он вслед за Руссо уверяет, что достаточно пробудить охоту к чтению, и все пойдет как нельзя лучше без всяких методов. Это совершенно неверно: ничто не пойдет как нельзя лучше, если метод обучения чтению и письму нерационален. Не пойдет потому, что ребенок потратит бездну сил и времени на то, что, как я уже сказал, может быть сделано легко и быстро. Уже со времен немецкого педагога Стефани, т. е. с начала настоящего столетия, необходимость простого, целесообразного, естественного и, вследствие всего этого, скорого способа обучения грамоте стала общим требованием в педагогике. Грамотность ведь только средство, а не цель. Тратить на нее лишние силы и время было бы неразумно. Пробуждайте охоту к чтению, но не делайте из удовольствия вами же пробужденного желания какую-то скачку с препятствиями, которая может охладить самое горячее рвение.

Перейдем теперь к другому вопросу: чем занять ребенка в часы досуга? Этот вопрос существует, конечно, не для массы родителей. Большая часть чадолюбивых папенок и маменек, наохлавшись вдоволь при заключении договора с учителем или определении ребенка в школу, не беспокоятся о том, чем занимается ребенок в свободное время. Они или предоставляют ему полную волю скучать, или покупают какую-нибудь книжку – нередко изделие бессовестного торгашества – и рады радешеньки, если ребенок сидит за книжкой и не балуется. Если ребенок любит, чтобы его занимали рассказами, ему нередко разрешается слушать разговоры взрослых и их анекдоты, т. е. в большинстве случаев повествование о таких вещах, знать которые ему, по меньшей мере, рано. На все это смотрят как на мелочи, редко кто понимает воспитание как такой ряд влияний, непрерывность которого не дает считать известные часы дня или дни недели как бы изъятными из общего хода развития ребенка.

Как смотрели на этот вопрос родители Эмиля?

Прежде всего, он представлялся им нелегким. Эмиль, например, любил, чтобы в свободное время его занимали рассказами. По мнению его матери, такие рассказы должны соединять в себе приятное, занимательное с полезным, поучительным, а это очень трудно. Для этого необходима известная степень умственного самоотвержения, умения жертвовать своей точкой зрения и становиться на точку зрения ребенка. Как хорошо было бы придумать что-нибудь такое, что могло бы компенсировать недостаточную приспособленность к детскому пониманию рассказов. Картины? Конечно! Еще лучше, если эти картины будут являться в том ярком и блестящем виде, какой придается им посредством волшебного фонаря. Какая пища для детского внимания и наблюдательности! Сколько сведений можно сообщить! И мать Эмиля устроила фонарь и добыла для него коллекции картин, благодаря которым ее рассказам сообщилась такая занимательность, что ей не пришлось жалеть о потерянных деньгах и заботах. Виды отдаленных стран, невиданных людей, необыкновенных животных, сохраняя свой реальный характер, получали в то же время в глазах детей какой-то оттенок фантастичности. Удовлетворяя начинающуюся деятельность воображения, они не придавали ей ложного направления, не внушали детям вкуса к далеко не детским вымыслам, порожденным фантазией иных времен или, что гораздо хуже, выжатым из недалекого ума какого-нибудь бессмысленного сказочника.

Заканчивая анализ педагогической повести Эскироса, я должен сказать, что эта повесть, задуманная с целью популяризации здоровых педагогических понятий, удовлетворяет этой цели, поэтому нельзя не радоваться ее появлению в русском переводе. Недостатки, на которые я указал при анализе, касаются частных и не умаляют пользы, которую может принести книга. Остается только пожелать, чтобы она нашла обширный круг читателей, чтобы на нее обратили внимание те родители и воспитатели, которые еще недостаточно подготовлены к чтению педагогических трактатов. Книга Эскироса заменит, насколько возможно, эти трактаты и, кроме того, послужит хорошей подготовкой к систематическому изучению педагогики. Русский перевод книги и внешний вид издания вполне удовлетворительны.

## РОЛЬ НАУКИ В ПЕРИОД ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ

*Louis Figuier*: «Vies des savants illustres de la renaissance» (Paris. 1868).

*Paul-Antoine Cap.*: «La science et les savants au XVI siècle» (Tours. 1867).

### 1. Биография и история

Знаменитый медик XIV века Гви де Шолиак писал: «Один человек не может видеть всего, но, как карлик, взобравшись на плечи гиганта, видит все, что видит гигант, и даже дальше последнего, точно так и успехи науки составляются из накопления результатов наблюдения и опыта всех ученых». Мы уже имели случай указать<sup>1</sup>, говоря об «Истории индуктивных наук», какой важный элемент для всеобщей истории представляет история науки. Возвращаемся к этому предмету для специального периода, который составляет содержание двух недавно появившихся французских сочинений. Этот период сам по себе довольно важен для истории науки, а в рассматриваемых сочинениях разработан двумя различными способами, на которых мы сначала и остановимся.

Роль личностей в истории человечества оценивалась весьма различно. Если в младенчестве истории этой роли придавали слишком большое значение, то впоследствии стали отрицать личный элемент в истории. Вместо преобразователей, создателей государств, законов и культуры, в истории воцарился безличный закон событий, неизбежная сила идей,двигающая массы. Личностям отмежевано было лишь скромное место глашатаев того, что развивалось внутри общества, более или менее полных представителей жизни идей. Но при всяком подобном противопоставлении двух принципов, неизменно повторяется закон Гегеля: ум человеческий, ухватив одну сторону предмета, непосредственно верную, замечает ее неполноту, разрушает ее, противопоставляя ей то начало, которое в ней не было рас-

---

<sup>1</sup> См. статью «Историческое значение науки и книга Уэвеля».

смотрено, и затем переходит к более полному воззрению, где удержана вся непосредственная верность первого начала, но дополненная усвоенным противопоставлением. *Воспринятое* отдельное явление стало явлением *понятым* в его отдельности именно потому, что оно временно рассматривалось, как эфемерная случайность закона, в котором исчезла всякая отдельность явлений.

С личным элементом истории повторяется то же самое. Бесспорно, что реальны в истории лишь личности: лишь они желают, стремятся, обдумывают, действуют, *совершают* историю. Это первобытное восприятие, само собою бросающееся в глаза, и потому доступное хроникеру, писателю мемуаров, точно так же, как оно доступно из истории ребенку. Биографический элемент в преподавании истории – могущественнейшее орудие педагога, точно так же, как сильнейшее побуждение для хроникера – перейти от бессмысленной записи событий к их оживлению. Но едва ли не столь же очевидно для мыслящего историка, что все в личности – начиная от мелких и заканчивая важными человеческими мыслями и действиями – неизбежное следствие предшествующих причин. Неизбежные законы физики, химии, физиологии и психологии господствуют над человеком каждое мгновение его бытия. Климатические данные, преемство расы, культурные привычки окружающего его общества, предания и верования, передаваемые ему с детства, – составляют неотвратимую обстановку, проникающую своим влиянием во все поры человека, обуславливающую его физическое и нравственное движение. Наконец, вечная борьба теоретических и практических миросозерцаний, кипящая в обществе, вечное столкновение экономических интересов бросает развивающегося человека в ряды той или другой партии, пробуждает в нем самостоятельную личность, определяет размер его знаний, твердость его убеждений, энергию его характера, округляет его миросозерцание и обособляет его жизнь в жизни его современников. Наука истории начинается лишь с усвоения этого подчинения личности общим законам личной и общественной жизни. Историк, для которого оно не вошло в плоть и кровь, может быть интересным рассказчиком, весьма полезным критиком отдельных фактов, сочи-

нений, памятников, но он столь же мало заслуживает звания *ученого историка*, как турист, описывающий иногда весьма метко природу страны, но не знающий законов физики и физиологии, заслуживает на звание ученого ботаника, зоолога, климатолога. Неизменность закона – в разнообразии явлений; неизбежность факта, как следствия предшествующих причин, следовательно, исчезание самостоятельности факта – в безразличии закона, преемственности причин и следствий – это первое слово науки во всех ее сферах, в истории и химии.

Но одно дело – твердое убеждение в неизменности действующих законов и непрерывной связи причин и следствий, охватывающих все сущее, и совсем иное – познание всех законов природы, целей, причин, следствий и возможность возвести все частности данного явления к определенной совокупности законов, к определенным причинам. Первое – это необходимое условие науки, второе – ее весьма отдаленная от исполнения *desiderata*. Без первого условия всякое явление вызывает в нас только любопытство, мы не можем приступить к его изучению, потому что совсем не знаем, что именно надо изучить. Сущность научного исследования заключается в анализе индивидуального явления с помощью известных общих законов и причинных связей для того, чтобы открыть в индивидуальном явлении новые законы и причинные связи. Физики и метеорологи абсолютно уверены в том, что законы электричества, движения воздуха, насыщение его парами воды и т. д. неизменны, что они *единственные* деятели грозы, именно потому они тщательно изучают каждую замечательную грозу в индивидуальности ее явлений, открывая дополнительные законы к тому, что уже известно. Учредители и акционеры страховых обществ от огня были бы совершенно неблагоразумны, если бы, при составлении обществ, не выходили из убеждения, что число пожаров в данной местности, при данных общественных условиях, повторяется с такой же неизменностью, как цифра средней годовой температуры. Именно потому каждый факт пожара должен подвергаться самому тщательному исследованию не только в юридическом, но и научном отношении, так как лишь путем подобного изучения

можно надеяться открыть некоторые психические законы личной и общественной жизни, малоизвестные или совсем не известные.

Биографии отдельных лиц вовсе не имеют научного значения, если биограф не изучил неизбежного влияния на личность общих законов жизни и среды. Но биограф, думающий, что он может *все* факты жизни изучаемой личности свести к *известным* общим началам и влиянию, доказывает неясное понимание средств и пределов науки. Если же он считает в биографии важными лишь факты, объясняемые известными общими законами, то он отнимает у нее всякий научный интерес, низводя ее на степень иллюстрации начал, не нуждающихся в еще одном подтверждении. Но биографическая монография имеет важное научное значение именно в руках ученого историка, если он может проследить в жизни личности все то, что выводится как неизбежный результат общих физиологических, психологических, экономических законов, действующих при данной обстановке расы, культуры, идей. Он с любовью изучает все обособляющее данную личность, принадлежащее ей настолько, что другие лица, поставленные, по-видимому, в подобные или почти подобные обстоятельства, вышли бы иными и в своих чувствах, и мыслях, и действиях. Успех всех антропологических наук зависит именно от тщательного изучения всего, обособляющего личности, но и успех истории зависит от того же. Ведь в каждую эпоху развитие исторического понимания заключается в том, чтобы ясно осознать, насколько исследования позволяют подвести исторические события под общие законы, и что пришлось на долю деятельности конкретных личностей, не разрешенной в общий закон.

Таким образом, монографическая обработка биографии влиятельных личностей может представлять весьма большой интерес. Но затем возникает вопрос о биографическом элементе в общих историях эпохи, народа или человечества, или в специальных историях той или другой отрасли общественной жизни. Во всех этих сферах исторические события *сами собою* не происходят. Что бы ни писали о «духе времени», неизбежном течении событий, увлекающем личностей, но, в конце концов, делают историю все-таки *личности*. Дух

времени составляется из настроения мысли *личностей*; поток событий, увлекающий одних, образуется другими опять-таки *личностями*. Отсюда биографический элемент, неизбежно проникающий во всеобщую историю и образующий ее реальную основу, так что история народов, история государств, история культуры, история мысли, история науки представляют лишь идеальные обобщения событий, принадлежащих с реальной точки зрения к области разных биографий. Соединение в надлежащей мере этих двух элементов истории – идеально обобщающего и реально биографического – составляет до сих пор одну из труднейших задач для историка, желающего *понять* какую-либо эпоху жизни человечества в истинном ее значении, *воссоздав* ее во всей ее жизненности.

Увлекаясь страданиями и борьбой личностей, их пестрыми судьбами, историк может потерять из виду истинный смысл событий в их отношении к прошедшему и будущему, в их самых глубоких элементах, бессознательно вызывающих личности к той или другой деятельности. В этом случае историк воспроизведет перед глазами читателя волнения партий и их изменчивую судьбу, укажет, как личности данной эпохи *сами* понимали окружающие их события, свою деятельность и стремления. Но почему в эту эпоху могла образоваться и окрепнуть партия, которая в другую эпоху не имела влияния? Почему энергичные личности в одном случае боролись удачно, в другом остались лишь юридическими представителями невозможных стремлений, а в третьем — едва оставили след своей деятельности? Что скрывалось в разные эпохи под теми же словами, шло за теми же знаменами? На все эти вопросы современники могут ответить лишь в самых редких исключительных обстоятельствах. Только потомок, сопоставляя множество свидетельств, на основании исторического опыта раскапывает под осознанным, драматическим слоем истории, другой, бессознательный ее слой, в котором заключаются центры рефлексов жизни обществ. Если историк ограничится изображением видящего глаза, слышащего уха, сокращенных мышц, бьющегося сердца, воспаленной кожи – он сделает только часть своего дела. Если он проследит пути нервов общества – этого также еще недостаточно. Первое

сознает и профан, второе – задача анатома. Физиолог идет дальше в своем изучении. Он изучает нервные центры в их отправлениях, в том, чего не видит сам человек, сознающий свои страдания и свою волю, в том, чего не видит и анатом, рассекающий трупы. Понять эпоху можно лишь тогда, когда под картиной ее жизни мы угадываем бессознательные процессы, послужившие ей основанием.

Но, с другой стороны, и в том случае, если мы станем смотреть на историю *только* как на результат рефлексов, совершающихся в обществе под влиянием внешних деятелей, мы получим лишь схему истории, ряд формул, которые не заключают того, что составляет особенность всего человеческого. В них мы не видим, как люди страдали и боролись, стремились к лучшему и сознавали себя борцами за лучшее. Как бы мы ни смотрели на человека, с точки зрения материалистов или спиритуалистов, сознание своих стремлений, увлечение своими целями и страдание в случае их недостижения остаются бесспорными фактами антропологии. Их выкинуть нельзя, будем ли мы признавать их призраками или припишем им существенное значение. Поэтому история, лишенная сознательного элемента, не выполняет своей задачи. Зная, какие бессознательные, неизменные начала присутствуют в жизни общества, мы хотим уточнить, насколько и каким образом эти начала переходят в сознание личностей, как видоизменяются в сознании различных личностей и какие результаты получают от встречи этих лучей, преломленных в стольких человеческих призмах. Лишь изучая *это*, мы изучаем *жизнь* общества, а знать эту жизнь мы можем, лишь вглядываясь в биографии личностей, составляющих общество. Воссоздать жизнь эпохи можно лишь при помощи биографического элемента.

Все это прилагается и к области истории науки, хотя, может быть, в несколько меньшей степени, чем в других специальных и общих историях. Биографический элемент потому играет меньшую роль в истории науки, что люди, участвующие в этой истории, различаются гораздо менее своими приемами мысли, чем прочие личности, а те психические деятельности, которые больше всего обособляют людей, их чувства, страсти, жизненные цели и привычки, не особо участвуют



в деятельности ученых. Все это, конечно, так, но, тем не менее, нельзя отрицать важности биографического элемента и в истории науки. Он мало привлекает наше внимание, потому что биографические известия об ученых, отдаленных от нас по времени, крайне скудны, и для большей части из них наши сведения ограничиваются лишь их учеными трудами. Как только о том или другом ученом сохранился достоверный и обстоятельный биографический материал, мы замечаем научное его значение. Биография часто входит объяснительным элементом в научную деятельность, не говоря уже о том, что лишь точные биографические сведения могут свидетельствовать об оригинальности некоторых трудов или о заимствованиях автора от других писателей. Но стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что ученые труды личностей, особенно заметных, представляют в иных случаях типические особенности по своим приемам, общему характеру трудов и т. п., что эти типические особенности иногда совпадают с особенностями физиологическими, психическими, жизненными, так что по одним можно делать выводы и о других. Подобное распределение ученых по типам, мысль о котором, по-видимому, впервые была высказана г. Вешняковым<sup>1</sup>, конечно, требовало весьма тщательного собирания материала и осторожной критической их обработки. Даже если эта мысль применялась весьма ограниченно, она все-таки заслуживает внимания и может указывать на важность биографического элемента в истории науки там, где существует достаточный и критически достоверный материал для подобной обработки.

Конечно, тот, кто захочет придать больший интерес истории науки с помощью более или менее апокрифических анекдотов из жизни ученых, тот отступит от строгости науки точно так же, как и в других сферах. И в этом случае нельзя не сказать, что весьма многие писатели значительно грешат. Существующее разделение ученых на

---

<sup>1</sup> Wechniakow Th. Ebauche d'une économie des travaux scientifiques. – Moscou, 1860; Wechniakow Th. Recherches sur les conditions anthropologiques de la production scientifique et esthétique. – Saint-Petersbourg, 1865.

специальные отрасли, мало сближающиеся между собою, в этом случае отзывается довольно жесткими промахами.

Возьмите филолога, юриста, политикоэконома, пишущего историю. Из пяти авторов четыре, как только коснутся событий, относящихся к естествознанию, математике или технике, выдадут свое незнание новейших и наиболее научных воззрений на предмет, или свое непонимание значения того или другого научного открытия на ход истории. Едва ли не этим обстоятельством, да еще тем, что истории преимущественно писали ученые этого отдела, приходится объяснять жалкую роль, которую до сих пор в общих историях играет элемент истории науки. Из многочисленных примеров приведу два, а для них возьму историков, бесспорно принадлежащих к первостепенным. Маколей написал историю Англии при Якове II и Вильгельме III, Гервинус — историю XIX века. Если спросить себя, что из Англии Якова II осталось наиболее влиятельным на последующую жизнь Европы и нашу современность, то нельзя не признать, что к первостепенным фактам этого рода (если не самого важного) принадлежит появление в 1687 году знаменитых *Principia* Ньютона, ставших мировым событием. Посмотрите же, какую роль играет этот факт в истории Маколей. Если отдать себе беспристрастный отчет в относительном значении для нашего времени политических столкновений 1815–1840 годов и научных работ за это время, то, правду сказать, след политической борьбы покажется весьма ничтожным перед результатами научных и технических завоеваний. Если первые представляют драматический интерес и волнуют нас, то прочными оказались лишь последние, так что теперь можно даже в известной степени сочувствовать известному восклицанию Гете, который больше интересовался спором Кювье с Сент-Илером, чем современной этому спору июльской революцией, низвергнувшей Бурбонов. Но много ли места предоставил Гервинус в своей истории XIX века великим ученым этого времени и их влиянию? Скажут, что Маколей и Гервинус писали политическую историю, но ни тот, ни другой не высказали, что они ограничивают план своих трудов подобным образом. Даже у них очевидно желание связать факты истории мысли с историей политиче-

ского развития. Литературе в разных ее отраслях тот и другой дали гораздо больше места, чем это они сделали бы, имея в виду исключительно политические события. По складу своего развития, по своим привычкам мыслить, они не могли придать надлежащего значения трудам естествоиспытателей и техников, обусловившим и современный строй мысли, и современную культуру.

Но, с другой стороны, и естествоиспытатели, когда берутся за исторические труды по своей науке, слишком часто выказывают свое незнание с приемами и результатами исторической критики. В весьма дельных сочинениях сплошь да рядом встретишь следы египтоизма для первых периодов. Асклепий (Эскулап) для многих историков медицины (например, для Гиршеля) действительная личность. Шаль, в своей истории геометрии, не сомневается в том, что Фалес вывез начала геометрии из Египта. В лучшей до сих пор истории химии (Коппа) указаны весьма многие сочинения без всяких библиографических данных о времени и месте их издания или месте нахождения рукописи. Для Коппа Асклепий, Хирон, Гомер, бесспорно, исторические лица. Не точно проверенные и без критики принятые данные встречаются и в истории физических наук Кювье, и в истории наук организованных тел де Бленвиля, и в истории наук в Средневековье Пушэ. Редко встретишь сочинения по этому отделу, которые, подобно истории медицины Гэзера, истории ботаники Мейера (не оконченной из-за смерти автора), или истории алгебры у греков Нессельмана, объединили бы специальные знания со строгими приемами исторической критики.

Поэтому понятно, что сочинения, имеющие в виду не ученых читателей, а публику вообще, еще меньше могут представить достоверных данных. Но именно публику имеют в виду обе французские книги, которые указываются в начале статьи. Фигье принадлежит к довольно искусным популяризаторам, и прежние его труды по истории новейших технических открытий, или по истории чудесного, а также его ежегодники по естествознанию заслуживают внимания. Но с тех пор, как он принялся за издание популярной энциклопедии по естествознанию, выпуская ее ежегодно в великолепном издании по

одному тому к Новому году для подарков, с тех пор он превратился в довольно недобросовестного компилятора, и даже его ежегодники стали хуже. Еще первый том этой энциклопедии («Земля до потопа») был несколько научнее, но уже со второго («Земля и моря»), спешность и небрежность работы лишили его труд всякого серьезного значения. Этот Фигье с 1864 года принялся подобным же образом *обрабатывать* историю науки в биографиях, и с аккуратностью фабриканта свеч поставил к началу 1866 года древних ученых, к началу 1867-го — средневековых, в нынешнем же году — ученых времен Возрождения, т. е. собственно XVI века. Не знаем, каким образом исторический журнал мог назвать жалкую компиляцию Фигье в прошлом году трудом, «изящным по изданию и ученым по значению»<sup>1</sup>, подчеркнув, что автор остался верным своему девизу: «Поучать, поучать, поучать!» Кто желает поучать, тот не берет сведений откуда попало, лишь бы книга скорее была закончена, не обращая внимания на случайные ошибки. Так, Фигье в предыдущих томах, где критика всего нужнее, делал выписки крайне небрежно, пользуясь подручными французскими сочинениями. О древних ученых у него сообщены весьма милые анекдоты по Диогену Лаэртскому, которые давно потеряли всякое достоверное значение для серьезных историков. Во втором томе (который и проанализирован в упомянутой критике) Фигье так добросовестно брал информацию из истории наук Пушэ (тоже не весьма серьезная работа), что переписал *даже опечатки*. Когда ему встречался порядочный материал, то и книга его получала значение. В первом томе едва ли можно указать на что-либо в этом отношении с похвалой: самое лучшее во всем томе, это смерть Плиния при извержении Везувия, засыпавшего Геркулан. Описано действительно обстоятельно и интересно. Во втором томе тоже встречаются кое-какие порядочные места, например, отрывок о салернском медицинском училище имеет большой интерес, потому что перед автором были труды Даремберга и Ренди, действительно научные и малоизвестные публике. Что касается изящества издания, то, конечно, бумага,

---

<sup>1</sup> Вестник Европы, 1867. — III, литер. хрон. — С. 13.

шрифт, французский переплет очень хороши и картинки недурны, но в наше время требования к изящным *научным* изданиям, кажется, несколько изменились. Надо, чтобы картинки и изображения были *достоверны* или, по крайней мере, взяты с оригиналов, имеющих какое-либо историческое значение. Однако таких у Фигье очень мало, некоторые же поражают своей фантастичностью, как, например, Пифагор в египетском храме (где он едва ли когда-то был) или Роджер Бэкон в весьма комфортабельной темнице. Недурны Аристотель, размахивающий руками перед Александром Македонским, который чуть не плачет, слушая его, или разные арабы, проводящие опыты. О первых двух томах Фигье «Знаменитые ученые» можно сказать, что вовсе не «поучать» входило в мысль автора, а сфабриковать ходкую книгу. Читатель найдет так мало точных сведений в этих двух томах, что лучше не брать их «для поучения». Воспользоваться ими в некоторых частях может лишь тот, кто знает относительное достоинство материалов, имевшихся у Фигье.

Последний вышедший том гораздо лучше предшествующих, но это заслуга не Фигье: просто материал у него был под рукой полнее и лучше. Для многих из выбранных им ученых во французской литературе существует по три или четыре порядочные монографические работы, следовательно, компилятору гораздо легче. Поэтому и указанный том Фигье может быть небесполезным чтением. Правда, и здесь не обходится без промахов, очевидно, происшедших от небрежности. Так, например, император Фридрих II перепутан со своим дедом, Фридрихом I Барбароссой<sup>1</sup>. Выбор и расположение биографий также демонстрирует небрежность автора к своему делу, например, о Колумбе рассказывается во втором томе, а о Васко де Гама – в третьем. Ранделэ помещен, а Белон, имеющий одинаковые с ним права, если не большие, нет. Тартаглия тоже не попал сюда; нет Леонардо да Винчи, одного из гениальнейших умов всего рассматриваемого периода. Наконец, Виета, слава французской математики, принадлежавший к замечательным аналитикам своего времени и основателям

---

<sup>1</sup> Там же. – С. 43.

новой алгебры, не нашел себе места во французской галерее «знаменитых ученых». Конечно, о математике пришлось бы говорить сухие вещи, а о жизни Виеты известно мало. Как бы то ни было, но все-таки этот том настолько лучше, по сравнению с предыдущими, что позволяет надеяться для следующих томов также сносного содержания.

Кап, которому принадлежит другое упомянутое вначале сочинение, писатель более серьезный. Он издал сочинения Палисси и Сенесэ, начал специальную историю фармации, издал два тома биографических исследований, относящихся к истории естествознания. Но изданное теперь произведение, очевидно, написанное вследствие книгопродавческой спекуляции какого-то турецкого издателя, не может быть поставлено высоко ни в научном, ни в читательском отношении. Сочинение уверяет, что арабы «изобрели» алгебру, как бы не зная индийских знаменитых алгебристов. Оно повторяет избитую и давно опровергнутую фразу, что Герберт (Сильверст II) учился в Кордове и ввел в Европе употребление так называемых арабских цифр<sup>1</sup>, хотя Герберт, вполне вероятно, никогда не был в Кордове или в странах, подчиненных калифату. Испанские арабы в его время едва ли использовали индийскую систему счисления, и сочинения Герберта явно доказывают, что он следовал греко-римской, а не арабской традиции. Кап уверяет, что в 1210 году сожгли в Париже *метафизические* книги Аристотеля, когда это известие Ригорда опровергается всеми современными свидетельствами. Они говорят о гонении на сочинения Аристотеля по *естествознанию*. Странно также встретить в сочинении по истории науки перечисление эпох высшей цивилизации, как это принято у историков, обращающих внимание преимущественно на изящную литературу. Перикл, Август, Лев X и Людовик XIV – вот давно знакомые представители периодов процветания человеческой мысли. Кап осмеливается добавить к ним период калифов: этот последний, действительно, был весьма важен для истинных

---

<sup>1</sup> К сожалению, и у нас многие это повторяют, конечно, по французским источникам, которые не знают даже сомнений своего соотечественника Шаля в этом отношении, а где же им знать труды немцев?!

успехов человеческой мысли, то есть для научных ее приобретений. Но можно ли это же сказать о периодах, считающихся по рутине временем лучшего блеска человечества? Период Перикла еще имеет право на высокое значение, как *предшествовавший* науке, и кроме того, в деятельности софистов и Сократа наука подготавливалась, а в Гиппократе имела уже весьма заметного представителя. Период Августа был во всех отношениях периодом упадка научной мысли, которая от Гиппарха (наблюдал между 160-125 г. до Р. Х.) до Никомаха (ок. 100 по Р. Х.), дает крайне мало произведений, стоящих внимания, и *ни одного*, имеющего право стоять рядом с произведениями Эвклида, Архимеда и Гиерофила в предшествующем, или Птолемея и Галена в последующем периоде. Относительно Льва X, опять-таки период его правления как раз попадает *между* эпохами движения научной мысли. Леонардо да Винчи доживает свои последние годы; цикл морских открытий завершается первым кругосветным путешествием, а Коперник пишет свое сочинение, еще никому не известное. Предшественники же Нового времени – Везалий, Геснер, Кардан, Ла-Рамэ, Парэ, Палисси, Парацельс – еще или дети, или совершенно не известны<sup>1</sup>. Что касается Людовика XIV, то странно указывать на французского короля в эпоху Ньютона, Лейбница и Штала, когда Франция, после смерти Декарта (1650) и Паскаля (1662), в длинный период владычества Людовика (1661-1715), не представляет ни одного первостепенного деятеля в области научной мысли. Король же в это время занимал ученые академии проектами празднеств, фонтанов и медалей. Кажется, уже пора оставить эти рутинные названия и, признав науку за главный двигатель прогресса в человечестве, вычеркнуть имена Августа, Льва X и Людовика XIV из числа представителей чего бы то ни было хорошего в истории. Книга Капа иллюстрирована так же, как и книга Фигье, и хотя иллюстрации похуже, но ученое их достоинство одинаковое с картинками у Фигье, то есть, ученого достоинства в них

---

<sup>1</sup> В год смерти Льва X Парацельсу было 28 лет, но он выступил в Цюрихе лишь через несколько лет. Кардан был еще студентом. Остальные из названных ученых были не старше восьми лет.

нет вовсе. Одинаковые сюжеты в обеих книгах вышли у Фигье позорящее (Альберт Великий, читающий лекцию на площади, у Капа очень уж безобразен, но расположение фигур у него как будто естественнее).

Способ обработки предмета, принятый авторами, как уже сказано выше, различен. Фигье пишет ряд биографий, предпосылая им общие обзоры. Кап группирует по отделам все научное движение данной эпохи. Биографический способ изложения для XIV, XV и XVI веков удобнее всего применяется в истории науки. Биографический материал во многих случаях уже достаточен для очерчивания личностей в то время, когда наука еще не обобщила свои методы в такой степени, чтобы необходимо было рассматривать труды многих личностей не иначе, как во взаимном их отношении. Кроме того, это эпоха, где личности в области науки, как и других областях жизни, выступают с самой необузданной энергией характера. Среди кочующих студентов, переходящих из одного университета в другой, чтобы завоевать науки; среди торговцев, отправляющихся в неведомые страны за барышом; среди конквистадоров, грабящих целый материк и разрушающих империи с горстью смелых разбойников, — проявляется тот дух безграничной предприимчивости, который одушевлял действительных рыцарей, приобретающих королевства и империи под знаменем креста, и фантастических амадисов в огромном цикле рыцарских романов. Во всех областях жизни в это время мы встречаем личности, которые неуклонно идут к определенной цели, надеясь только на себя, готовых отвергнуть все авторитеты, спорить с самыми могучими силами, использовать труд нескольких десятилетий на одно и то же дело. Оттого наряду с Гусом и Лютером, Данте и Буонаротти, Колумбом и Кортесом получают такой интерес биографии Палисси, Агриппы Нетесгеймского, Ла-Рамэ, Парацельса, Раймунда Луллия, Кардана и других представителей знания, жизнь которых по пестроте и драматичности событий поспорит с жизнью любого героя романа. Но и те личности, жизнь которых прошла в кабинетном труде и мелкой борьбе с ежедневной нуждой, поражают нас своим упорством. «Всеобщая библиотека», задуманная Геснером, представляет труд,



одна мысль о котором пугает воображение, а он закончил его, и это был только *один* из длинного ряда зоологических, ботанических, филологических, библиографических трудов, которые, в большей или меньшей степени, все заслуживают видное место в истории науки. Между тем, человек, написавший эти громадные по эрудиции произведения, прожил всего 49 лет, причем большую часть жизни находился в самых стесненных обстоятельствах. Немало ученых изданий и оригинальных сочинений оставил астроном Иоганн Мюллер, известный под именем Иоанна Региомонтануса или de monte Regio (Кенигсбергского), а прожил всего 40 лет. Все эти люди работали большей частью вне всякой традиции, среди общества, чуждого их трудам, чуждого вообще научному пониманию вещей, собирая материал для более счастливых потомков. Эта разобщенность трудов, их малая связь как между собою, так и с общим ходом общественной жизни, придает даже биографиям скромных ученых этого периода большую целость и больший интерес, чем в другие эпохи развития науки. В общую историю науки для этого времени неизбежно вносятся биографические частности, потому что лишь они могут уяснить сам характер работ, быстроту известность одних и незнакомство с другими. Например, Леонардо да Винчи был известен лишь как художник практически до нашего времени, а теперь в нем видят прямого предшественника Галилея — одного из гениальнейших ученых конца XV века.

Но не нужно думать, что история науки представляет для этого времени лишь биографический и эпизодический интерес. При внимательном рассмотрении можно найти много обобщающего, связанного в различных проявлениях научной мысли этого времени, и эти проявления имеют много родственного с фактами других сфер общественной жизни. Если Парацельса и Кардана легко признать за современников, то нельзя отрицать и в Лютере духовную близость к этим деятелям. Ведь не напрасно существует рассказ (по-видимому, довольно достоверный) о том, как Парацельс публично сжигал книги медицинских авторитетов через несколько лет после того, как Лютер сжег папскую буллу. Но, кроме того, развитие науки в это время не

просто эпизод. Эпоха Бэкона, Галилея и Кеплера приходит не внезапно. В предыдущем периоде мы можем проследить, как нарастают материальные силы научного понимания вещей, как сталкиваются в истребительной борьбе партии в тех сферах, которые, по-видимому, господствуют над человеческой мыслью. В это время истощаются силы, утомляются борцы этих партий, равнодушие начинает овладевать большинством. Свежие и сильные умы все чаще обращаются к сфере научных исследований, внося стремление к научным взглядам даже в те вопросы, в которых наука не может еще применять свои методы. Наконец, среди окоченелых или разлагающихся остатков прежних стремлений пробиваются наружу живые и крепкие ростки новой науки, которые должны обусловить всю последующую жизнь Европы. Если Кап посредственно выполнил предпринятую задачу, и в его книге, с многочисленными главами и параграфами, нельзя видеть настоящей истории науки XVI века, а также ее подготовки в предыдущий период, если еще меньше у него указано значение науки в это время для всеобщей истории, то это вина автора, а не предмета. Книга Капа, по интересу и умению составить ее, несравненно ниже книги Фигье, хотя первый, по-видимому, добросовестнее пытался выполнить свое дело. А могла бы она выйти гораздо лучше.

Конечно, в журнальной статье нельзя с достаточной полнотой развить характер исторического движения в замечательный период, охватывающий эпохи Возрождения и Реформации, но мы постараемся на следующих страницах пояснить читателю хотя бы главные черты этого движения, в особенности то значение, которое имеют при этом проявления научной мысли. Трудность дела не является оправданием слабого его исполнения, но мы указываем желательное для истории этого периода, чем даем очерк самой истории. Для удобства, мы разобьем весь рассматриваемый период (1450-1590) на пять эпох, и предположим их очерку указание на состояние европейской мысли в начале периода.

## 2. Европа в половине XV века

Узнать состояние мысли – значит узнать состояние знаний, верований и практических идеалов в Европе в половине XV века.

Над массой народа, в которой жил один доступный для нее источник истины — семейные и местные поверья, окружавшие человека миром оживленных и знаменательных предметов природы, чудесными силами и невидимыми духами, над этой массой, мало изменившейся с доисторического времени, стояло цивилизованное меньшинство. Именно для него существовало, вне жизненных преданий, два источника истины – слово церкви и древность. В предании католической церкви имелись и древнехристианские начала, и следы исторического развития папства в борьбе с равноправными ему когда-то епископами и светской властью, и следы борьбы католицизма против многочисленных попыток оппозиции, подрывающих с давних пор его авторитет. Все это было освящено непогрешимостью папских решений, составляло догмат. Ему следовало верить или выйти из среды церкви, которая единственная имела право на существование, слово и мысль. Точно так же в почитания древности вплетались безразлично достоверные и недостоверные обрывки греческого и латинского миров, великих произведений и жалких компиляций, сочинений высших эпох древней цивилизации и времен ее упадка. «Органон» Аристотеля и «Свадьба филологии с Меркурием» Марциана Капеллы, «Изагога» Порфирия и «Комментарии» арабов были одинаково свидетельствами древней мудрости. Кодексы Феодосия и Юстиниана были «писаным разумом». Гомер и Виргилий, наравне с Птолемеем и Галеном, были глубокомысленными учителями. Мало того, средневековые читатели не видели особой разницы между остатками древности и представителями схоластики. Арабские и монашеские комментарии были для них равноправными наследниками древней мысли, а стихотворения Марбодоренского или Адана Лильского удовлетворяли их вкусу так же, как Лукан или Персий. Оппозиция, не замолкавшая на протяжении Средневековья и распространявшаяся с XIII века в самых разнообразных формах, не представила никаких новых источ-

ников истины. Она противопоставляла одни элементы католического предания другим, Аристотеля — Августина, Аверроэса — Фоме Аквинату. Она была более или менее последовательна, но вне текстов разного сорта, надерганных из богословских, античных и схоластических авторитетов, не было другого оружия и у оппозиции. Со времени пробуждения Европы в XIII веке, раздавались единичные голоса, предрекавшие *иные* пути (например, Роджер Бэкон), но это были отрывочные явления, вне всякого общего исторического значения. В сущности, росла только ненависть к строю католицизма, к формам схоластического учения, а где искать лучшего — никто не знал.

Тем не менее, и тщательное изучение имеющегося материала, даже при отсутствии исторической критики, все-таки позволяло накапливать знания. Два раза в течение Средневековья прилив материала оказал влияние на школы, вызвав борьбу мнений. В первый раз — в конце XI и начале XII века, когда «Органон» Аристотеля заменил для ученых жалкие учебники римлян последних времен империи или рассуждения неоплатоников. С тех пор началась разработка логики, был проведен ряд опытов по приспособлению перипатетических категорий к идеям, которые были закреплены догматом, но были преимущественно с неоплатоническим строем мысли, а не с какими-либо логическими приемами. Так как Аристотель представлялся преимущественно логиком, а метафизическое содержание мирозерцания приходилось преимущественно черпать извне, потому, на протяжении всего XII века, еще возможна была в схоластике борьба так называемых платоников и аристотеликов. Но конец XII-го и XIII век принесли Европе обширный материал, почти исключительно выработанный под влиянием перипатетизма. Почти все сочинения Аристотеля, огромное число арабских комментариев и переводов древних ученых, немалое количество византийских трудов по логике вошли в круг школьного учения Запада. Все это надо было переварить, скомпилировать, сообразовать с господствующим догматом. Платоники исчезли из школ. Мнения раздробились до бесконечности, смотря по материалу, которым пользовался тот или другой ученый, так как весь имеющийся материал был одинаково

ценен для почитателей древности. К половине XV века логика получила от схоластиков разных школ весьма выработанную терминологию, привычку к различению тонкостей в процессе отвлечения, но потеряла живую основу, которую черпала в древности из метафизики, вызвавшей ее развитие. Новых приобретений эта самая разработанная область средневековой мысли не представляет. Самые оригинальные мыслители, по-видимому, были лишь более или менее искусными компиляторами античных, арабских и византийских данных<sup>1</sup>.

Наиболее древние традиции Средневековье сохранило в области математики. Боэций был учителем ряда абакистов, среди которых Бэда, Одо Кеонийский, наконец, Герберт, представляются мыслящими хранителями греко-римской традиции именно в той ее практической сфере, которая развилась в последний период империи, после эпохи великих математиков и астрономов древности. Мы говорим об облегчении практических приемов счисления, столь затрудненных способом изображения греческих и латинских чисел. Счет на абаке с помощью аписов (первообразов наших цифр) представлял уже все удобства нашего способа – счисления с нулем. Исключением стало то, что этот счет был механический, а не письменный. Но наряду с абакистами в начале XII века появляются в Европе алгорифмики (последователи Мохамеда-бен-Музы Аль-Харизми), принесшие в Европу результаты арабской науки, а также ноль, с которого начинается новая арифметика. Предполагаемый переводчик арифметики Мохамеда-бен-Музы, геометрии Евклида и автор книги об абаке – Аделар Батский, если ему действительно принадлежат все эти работы, был точкой соединения математических традиций Рима и Востока. После него растет число алгорифмиков, уменьшается число абакистов, а их методы забываются. В первой половине XIII века Леонардо Пизанский (Фибоначчи) соединяет в своих трудах результаты обеих традиций. С тех пор у Европы *одна* математика – *новоевропейская*, и деятельность Леонардо почти на два века устанавливает центр математи-

---

<sup>1</sup> Prantl C. Geschichte der Logik im Abendlande. – Leipzig, 1855. – II, III.

ческих успехов Европы в Италии<sup>1</sup>. На протяжении XIV века число математических работ в ней становится так значительно, а их применение к технике так разнообразно, что лишь замечательные труды XVI века могли заставить забыть этот период, обещавший будущее развитие. Литературная эрудиция, начавшаяся в конце XIV века, несколько отклонила итальянскую мысль от этого направления, но не надолго<sup>2</sup>.

Второй наплыв материала в средневековые школы, о котором мы говорили выше, был особенно важен в том отношении, что он дал ученым XIII века сочинения Аристотеля и арабских ученых по естествознанию. В это время Альберт Великий, Роджер Бэкон и Викентий Бовейский постарались включить приобретенный материал в свои обширные труды (из которых лишь произведения Роджера имеют самостоятельное значение). Последующие два века добавили к этому материалу наблюдения путешественников, добравшихся до Китая, картографические исправления, ставшие возможными благодаря изобретению компаса, результаты астрономического определения мест, знакомство с некоторыми важными сочинениями древности (например, с географией Птолемея), наконец, различные приобретения алхимиков в области их исследований (преимущественно Арнольда де Виллановы и Раймунда Луллия).

Меньшинство ученых схоластиков, следуя Гиппарху, Птолемею и арабским астрономам, представляли себе Землю шаром, неподвижным в пространстве. Около нее обращались, по эксцентрическим путям, усложненным эпициклами или винтообразным движением, Солнце, Луна и пять планет. В Европе никто не предпринимал нового измерения величины окружности земного шара, однако как древние, так и арабские измерения были известны схоластике, но употребленные при этом меры истолковывали так, что Земля выходила

---

<sup>1</sup> Cantor M. *Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker.* – German, 1863 и литературу, им цитируемую.

<sup>2</sup> Об этой эпохе для Италии см. Libri G. *Histoire des sciences mathématiques en Italie.* – Paris, 1838. – Vol. II.

меньше действительного на  $\frac{1}{6}$  или, по крайней мере (у Роджера Бэкона), на  $\frac{7}{100}$ . В альфонсинских таблицах XIII века уже содержится описание местностей, широта и долгота которых определена астрономически по арабским ученым. В Италии пробовали определить высоту полюса (с ошибкой на  $1^{\circ}13'$ ). Знали, что разность координат двух местностей можно высчитать по разности местных времен начала солнечного или лунного затмения. Роджер Бэкон пробовал даже составить карту по Альмагесту и арабским данным на основании астрономических определений. Но вне тесного круга личностей, знакомых с астрономией, эти более точные приемы оставались неизвестны. Одни географы придерживались мнения Птолемея, что материк на северном полушарии распространяется с востока на запад на  $180^{\circ}$ . Другие, Альберт Великий (впервые высказавший эту мысль) и Бэкон, полагали, что восточный берег Азии находится недалеко от берегов Испании. С XIV века появляются карты, составленные для мореплавателей с помощью компаса, поражающие точностью очертаний берегов, но вместе с тем на них направление берегов повернуто из-за неизвестного тогда еще отклонения магнитной стрелки. Тем не менее, на них длина оси Средиземного моря показана несравненно точнее, чем у арабов, которые, в свою очередь, исправили достаточно серьезную ошибку Птолемея в этом отношении. Впрочем, в начале XV века, знакомство с географией Птолемея, как и непоколебимый авторитет этого ученого, побудили вернуться к его ошибочной оценке длины Средиземного моря (на целую треть этой длины). Хотя одновременно с изучением географа II века, возникло требование несравненно большей научности при составлении карт. Если карта Санута в начале XIV века указывает нам на развитие географических знаний со времени употребления компаса для картографии до начала рассматриваемого нами периода, то карты Агафодемона, конечно, отбрасывали знания назад к эпохе римлян. Они заключали в себе задачу об изображении земной поверхности в проекции и астрономического определения как стран света, так и расположения местностей. Путешественники по Азии сообщили сведения об особенностях строения этой части света, о ее хребтах, плоскогорьях, направлении рек. Ристоро

д'Ареццо в XIII веке полагал, что внутренность Земли расплавлена, объяснял этим появление горячих ключей, связывал землетрясения с поднятием гор и неровностями земной поверхности. Впрочем, большинство схоластических авторитетов придерживалось аристотелевской теории землетрясений, как следствия скопления воздуха в подземных пещерах и пустотах. Альберт Великий из арабских источников заимствовал мнение о попеременном погружении материков и их выходе из воды, а Викентий Бовейский — мнение о размывании возвышенностей дождями и морскими приливами и отливами. Ристордо д'Ареццо указывал на окаменелости рыб на горах, как на доказательство, что эти горы были когда-то под водой. Схоластики пытались объяснить явление прилива и отлива, а также соленость морской воды. Обращали внимание на некоторые, более поразительные климатические явления. Из Аристотеля они почерпнули сведения о круговороте атмосферной воды. Альберт Великий связал степень нагревания земной поверхности с большей или меньшей наклонностью лучей Солнца и восстал против мнения, что в тропиках сильный жар не дает существовать ничему живому. У него и Викентия Бовейского встречаем заметки об уменьшении температуры в зависимости от вертикального возвышения, о влиянии разреженности верхних слоев воздуха на существование на вершинах гор вечного снега (впервые упомянутого Альбертом), о влиянии направления горных хребтов на климат. Находим у схоластиков и указание на географические границы распространения новых животных и растений, а также на изменение органического мира на различных высотах гор. Новые организмы, встреченные путешественниками, были описаны довольно отчетливо, и даже для монгольской расы, с которой только теперь познакомились ученые, встречаем у Плано Карпини порядочную характеристику<sup>1</sup>.

Источником накопления сведений по естествознанию были также лаборатории алхимиков. Арабская теория, восходящая к Геберу (Абу-Мусса-Джафар аль-Соффи), предполагала в металлах начало металличности (называемое ртутью) и начало изменяемости (назван-

---

<sup>1</sup> Peschel O. Geschichte der Erdkunde. — Berlin, 1865.



ное серой). Для иных алхимиков, находящихся под сильным влиянием аристотелизма, вода составляла также составную часть металлов. С конца XIII века, особенно под влиянием Раймунда Луллия, занятия алхимией проникаются мистическим элементом, так что в этом отношении замечен упадок мысли. Немного раньше возникает мнение о целительной силе золота, о том, что вещество, обращающее металлы в золото, есть в то же время и средство продолжения жизни. Стали требовать кафедр алхимии в новых университетах, занятия алхимией распространялись, несмотря на то, что алхимиков поражали буллы пап (1317) и повеления государей (во Франции, 1380). Алхимики XIII века оставили в своих сочинениях много частных указаний на расширение ими химических сведений по сравнению со знаниями арабов в этом отношении. Очищение металлов, улучшение перегонки, более точное исследование действий некоторых химических составов (в особенности, ртутиальных) частью сделало значительные успехи, частью появилось только в это время<sup>1</sup>.

Алхимики занимались и медициной, но это была область, где работали и многие другие силы, направляя мысль на самостоятельные исследования. С XII века появляются юридические постановления о медицинском устройстве, а сама медицина выходит из рук духовенства. С Таддеуса Флорентийского (1215-1300) схоластические приемы комментариев и диссертаций становятся господствующими в медицине, заменяя афоризмы и рифмованные постановления Салернской школы. В университетах открываются медицинские курсы. Конечно, в них господствовали рассуждения о пустяках, предрассудочные взгляды и цитирование многочисленных авторитетов. Но во второй половине XIII века во Франции из курса медиков-схоластиков выделяется коллегия хирургов. В XIV веке Мондини и Шольяк обращаются уже к собственным наблюдениям. Наконец, страшные эпидемии конца XIV века вызывают самостоятельные исследования, появление аптек и убеждение, что в Галене, как и у арабов, нельзя найти цитат на все случаи<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Kopp Н. Geschichte der Chemie. – Braunschweig, 1847. – I, II.

<sup>2</sup> Гезер Г. Основы истории медицины. – Казань, 1890 и др.

Если в естествознании мы видим хоть какую-то подготовку материала для будущей жизни, то в области истории языкознания и общественных наук не находим даже этого. В темных мечтаниях о царстве Святого Духа, которые с XIII века встречаются и преследуются в разных формах, проявляется сознание прогрессивного хода истории. В легендах о трех лжецах, трех кольцах, скептических выражениях Аверроэса высказываются начала сравнительного изучения религий. Мнение, что еврейский язык был первым языком человечества, было всеобщим.

Переходя от области теоретических исследований в область практических идей, мы встречаем ряд сталкивающихся непримиримых идеалов, которые опираются на цитаты из одних и тех же книг, допускают одни и те же источники истины. Несмотря на пошатнувшийся из-за долговременного раскола папский авторитет, несмотря на попытки поставить соборы выше пап, в половине XV века папы, победители на Констанцском и Базельском соборах, могли еще поддерживать учение, что они, наместники апостолов, наместники Христа, истинные главы мира. Также они утверждали, что идеальный строй общества – это теократия, где миряне должны быть подчинены духовенству, вся собственность – принадлежать церкви, а светская власть лишь должна охранять истину, изрекаемую духовным главой, исполнять его веления. В Фоме Аквинате папство нашло самого строгого теоретика своих притязаний, но не надолго. Христианский идеал безусловного аскетизма, отречения от всякой собственности, всего мирского, был противопоставлен теократии еретиками, мистиками и лучшими органами папства, нищенствующими монахами. Папство победило их, но слова «мы все священники» еще долго жили в глубине души всех, кто был способен к религиозному увлечению.

Наряду с религиозными, возникают светские идеалы. В римском праве зарождается идеализированный призрак цезаря, владыки мира, безусловного повелителя тела и мысли подданных. Феодализм сам себя подрывал, уступая две главные свои основы — исключительное право собственности и исключительную обязанность участвовать в войнах государей. Когда разорившиеся феодалы добились права

продавать и передавать имения в руки разбогатевших купцов и промышленников, когда разленившиеся собственники нашли удобный выход – платить королю вместо того, чтобы становиться под его знамена, то политическая сила в феодализме стала вымирать. Оставалась сила фактическая, но ее мало-помалу стали разъедать юристы, расширяя сферу апелляции к королю (*cas royaux*). Эту силу стали разъедать города, присваивая и покупая себе права, которые прежде имели только феодалы. Римское право «писаная мудрость» противопоставлялась юристами папам и феодалам. Наемные войска и артиллерия придавали громадное превосходство немногим удобнее поставленным центрам по отношению к другим. Данте использовал свой гений, чтобы доказать необходимость мировой монархии. Схоластик Оккам, *doctor subtilimus*, выписывал длинные аргументы в пользу единства государственной власти. Но бурный XIV век вызвал и новые стремления. Марсиль Падуанский провозглашал самодержавие народа, Констанцский собор большинством (61 голос против 26) не согласился осудить учение Иоанна Малого о праве убийства тиранов. Народные восстания, подавленные в крови, говорили о перерасделе собственности и ее общности. Между тем, все с большей желчностью и насмешливостью народная и схоластическая сатира восставала против средневекового общественного строя. Резкие выходы поэмы «Лиса» в ее позднейших разветвлениях, романов «Розы» и «Сна в саду» («*Songe du Vergier*») не были превзойдены и позднейшими реформаторами. Ереси были раздавлены, нищенствующие ордена обращены в орудия папства и в столь же обычных духовных собственников, как и другие монахи. Соборы склонились перед папами, но чем слабее оказались все попытки реформы общества при помощи католическо-церковного идеала, тем глубже дух оппозиции укоренялся в обществе.

В XIV веке, в эпоху авиньонских пап и аверроистов, отрекшихся от христианства, Петрарка стал представителем движения мысли в пользу древнего мира. Но здесь древний мир являлся не безразличным преданием целой массы авторов, это был определенный элемент прекрасной формы для выражения прекрасных мыслей. Его типами представлялись Цицерон и Виргилий. Оппозиция против средневеко-

вых воззрений, которые кипели в Европе уже давно, получила определенное знамя: против средневековых мыслителей, ученых, медиков, литераторов Петрарка выставлял ясно высказанную причину осуждения – недостаток прекрасной формы. Если он предпочитал Августина новым учителям церкви, это было во имя красоты его выражения. Невысказанный принцип борьбы гуманистов против схоластики заключался в следующем: человечно лишь прекрасное. Там, где нет красоты формы, – нет ни истины, ни добра. Прекрасная форма, даже облекающая содержание ничтожного или сомнительного свойства, уже по своей красоте действует благотворно. Конечно, этот принцип, как положительный, держаться не мог, потому что ни личность, ни общество не может жить формой, всегда живут ее содержанием. Но в эпоху, когда оппозиция против средневекового строя искала повсюду оружие, подобный принцип, как знамя, имел неоспоримые выгоды. Он не оскорблял ни одной из установившихся властей и организованных сил общества. Он не внушал опасения ни издыхающей аристократии феодализма, ни растущей аристократии капитала, ни государям, с любовью лелеявшим идеал цезарей-самодержавцев. Не внушал опасения и республикам, давившим друг друга и поддерживавшим деспотизм совета десяти, как и римским папам, признававшим себя наместниками апостолов, но до мозга костей проникнутым светскими влечениями. Не казался он опасным и монашеским орденам, которые могли украсить свою искаженную жизнь блеском художественных произведений. Почему христианство не может искать прекрасные формы и ими наслаждаться? Почему древние мыслители и поэты, у которых учились первые отцы церкви – Климент, Ориген, Августин, Иероним, – не могут быть предметом тщательных занятий христианина? Так спрашивали гуманисты, и все сочувственно встречали их невинные желания. Однако в сущности это было нарушение тысячелетней традиции, это была первая попытка явной оппозиции средневековому строю, которая вела не на костер, не к отлучению, а была опробована высшими авторитетами католического мира. Языческий мир, давший схоластике учителей, *лишь потому и лишь настолько* признанных, насколько они могли служить

поддержкой католической мысли, давшей христианским государям принципы законодательства, *лишь потому и лишь настолько* подходящие, насколько эти принципы сходились с интересами растущего самодержавия, – теперь становился самостоятельным авторитетом, сегодня на одном уровне со средневековой традицией, завтра – выше. Петрарка, защитник христианства против аверроистов, мог в сочинении, не осужденном церковью, обращаться к «бессмертным богам». Им начинался длинный ряд литераторов, отучивших европейскую публику от христианских форм речи обращениями к Зевсу, Аполлону, музам и всей олимпийской компании. Его современник Кола ди Риензи напоминал римлянам, бессмысленно бродившим среди памятников своего города и связывавшим с ними нелепые легенды, что Рим был республикой, что были когда-то народные трибуны, перед которыми трепетал древний мир (и о которых сам Риензи имел, очевидно, смутное понятие). С Риензи начинается ряд тех маскарадных бротов и цезарей, которые обращали древние формы в оружие для новых стремлений. Они были жалки, когда верили в возможность воскресить древний мир в действительной жизни, были презренны, когда вызывали призрачный цезаризм в пользу деспотизма наполеонидов, были величественны, когда вызывали призраки катонов и кармодиев, как символы новых народных стремлений. Однако, во всяком случае, они показывали, что древний мир – это *сила*, на которую можно опереться для разных целей, что сен-жюсты найдут в нем более удобное оружие, чем цезаристы.

В страсти к языческому миру, соединившей борющиеся силы, общество нашло опору и одну из самых живых, положительных сил новой Европы. Научные занятия в форме эрудиции находили поддержку у республик и государей, у пап и в монастырях. Во имя латинской эрудиции могли сплотиться *светские* ученые, образовав на глазах всех «республику науки», рассеянную по Европе, могли предпринять далекие путешествия для поиска рукописей и пользоваться высоким уважением лишь потому, что писали хорошим латинским слогом и знали греческий. Им прощались и личная дерзость, и безнравственные выходки, и даже плохо скрытое неверие. В беднейшей из

своих форм, в форме эрудиции, наука укреплялась на почве Европы. Жадно собирались и переписывались рукописи. Ученые ездили в Константинополь, чтобы изучить греческий язык и найти то, чего не имел Запад. На итальянских кафедрах стали появляться греки. Ругательства Паджио и Филельфо не мешали их триумфальным поездкам из государства в государство. Между тем, предшественники великих художников XVI века переносили любовь к древней красоте во дворцы пап и епископов, в монастыри христианских отшельников.

### **3. Книгопечатание (1450-1477)**

Таково было положение европейской мысли, когда в половине XV века совершились два события, давшие незаметный, но решительный толчок новой истории. Появились первые издания майнцской типографии Гуттенберга, Шеффера и Фуста, и к берегам Италии хлынули в больших массах беглецы из Константинополя, которые везли с собой греческие рукописи императорских библиотек. За ними шли по Европе вести с Востока все страшнее и страшнее: Мохаммед у стен Византии, св. София обращена в мечеть (1453), Белград осажден (1456), пала Сербия (1459), завоеван Пелопонез (1460). Пал Трапезунт и погибли Комнены (1462), пала Босния (1464) и Герцеговина, завоевана Эвбея (1470), а турки в Италии (1479). Папы, обещавшие Византии спасение ценой признания их главенства, выказали свое бессилие перед течением истории. Оказались правы не защитники Флорентийской унии, не кардинал Виссарион, не митрополит Исидор, а Марко Эфесский. Последний Палеолог перенес в Москву (1472) византийскую традицию непокорности римскому престолу, буквального хранения первобытных догматов и византийский тип императора. Литовские братства отстаивали оппозиционное папству начало православия в Западной Руси с такой же энергией, с которой во Франции, Англии и Германии проявлялось, среди католического духовенства, начало национальных церквей. Уже на Констанцском соборе духовные подавали голоса не лично, а по национальностям. С Эдуардом III Англия отказалась платить папе подати, и Виклеф стал одним из са-

мых заметных предшественников реформы. Во Франции еще жило предание оппозиции папству, начатое с Филиппа IV. Длинный период раскола и соборов, судивших пап, приучил духовенство разных стран к большей самостоятельности перед лицом наследников апостолов. Нигде эта оппозиция духовенства папе не была так заметна, как в Германии. Именно тут, вследствие частых столкновений императорской власти с папской, было больше возможностей развиться и окрепнуть взаимной ненависти немецкой и итальянской национальностям. Немецкие архиепископы и епископы, во время борьбы соборов с папами, принадлежали к самым активным ораторам церковной реформы. От имени Германии действовал Эней Сильвио Пикколомини в то время, когда он принадлежал к оппозиции. Тут он встречал самых опасных врагов своей изворотливой политики, когда стал защитником папства и, наконец, сам папой Пием II (1456-1464). Ему, как и его предшественникам, пришлось отлучать от церкви архиепископов. Он боролся со своим прежним союзником и помощником, знаменитым Григорием Геймбургским (+1472), резкие выражения которого против папства уже предвещали диатрибы Лютера. Постановления соборов в пользу пап принимались в Германии лишь с изменениями. Германия же противопоставляла самое большое сопротивление денежным сборам пап в пользу нового крестового похода для изгнания турков. Ей хорошо было известно, как часто деньги, собранные с этой целью, получали совсем иное назначение, что еще раз повторилось при наследнике Пия II, Павле II (1464-1472). Этим последним начался ряд пап, которые своей личностью, лишенной всякого духовного достоинства, выставили папство с самой невыгодной стороны в глазах Европы.

Столетняя война между Францией и Англией закончилась без заключения трактата, одним очевидным бессилием Англии продолжать завоевательные попытки. На престоле Англии сидел вечно опекаемый Генрих VI, игрушка партий, а около него — английская аристократия, желавшая достичь такого же значения, какое имели феодалы материка. Она начала (1459) борьбу во имя прав Йорка и Ланкастера, — борьбу, в которой должны были погибнуть 80 членов коро-

левского дома Англии. Между тем, Франция вступила в тот период централизующих стремлений, который составил силу и слабость ее правительств до нашего времени, обезличил окончательно ее провинцию и стянул все жизненные силы в Париж. В то же время, когда под знаменем Кэда в английском народе зарождались демократические и даже коммунистические стремления, во Франции банды *живодеров* (*escorcheurs*) разоряли народ, а французские феодалы пытались осуществить то, что удалось германским духовным и светским феодалам: стать самостоятельными государями. Но на престол Франции сел «всемирный паук» (*l'universelle araignée*), по выражению современного сатирика, и вымирающему феодализму не суждено было вести борьбу с Людовиком XI (1461-1483). Последний замечательный представитель феодализма, герцог Бургундский, мог бы стать самостоятельным государем, но слишком разбрасывал свои усилия: то он предпринимал раздробление Франции по примеру Германии, говоря: «Я так люблю Францию, что желаю ей семь королей вместо одного», то пытался укрепить свое влияние в Германии, то действовал против Фридриха III, то вступал с ним в соглашение, то тратил совершенно бестолково свои силы из-за бесполезной борьбы со швейцарскими кантонами. С гибелью Карла при Нанси от рук швейцарцев (1477) феодализм потерял свою последнюю опору. Бургундия, которая поддерживала борьбу французских провинциальных центров против Парижа, перестала существовать как самостоятельная сила, и ее распадение окончательно отделило ход внутренней политической истории Франции от хода событий в Германии.

В эпохи борьбы различных общественных сил ярче всего проявляется значение личностей, удобно поставленных в среде общества, чтобы влиять на события. Ничтожество, непостоянство или мелочность влечений в представителях феодализма и центральной власти в Англии имели следствием бесполезную трату сил на протяжении Войны алой и белой розы, — трату, которая помогла укрепиться политическому сознанию городской буржуазии и мелких владельцев. Преобладание личности Людовика XI помогло королевской власти во Франции решительно унижить феодалов прямым захватом, учрежде-



нием новых юридических центров, усилением администрации, обратив парламенты, собрания членов, городские власти в орудия королевской власти. Дрянная личность Фридриха III, на протяжении 53 лет (1440-1493) занимавшего императорский престол, помогла давнишнему стремлению германских светских и духовных князей стать самостоятельными. Германия образовала систему государств, где феодальная связь обратилась в миф, государств, которые вели уже не междоусобные, а международные войны, как будто не существовало германского императора. Поэтому внутренние столкновения в Германии приводили совсем к иному политическому вопросу, чем во Франции и Англии. Во Франции речь шла лишь о том, в каких географических пределах утвердится власть парижского короля. В Англии вопрос был в том, какие личности и какие элементы будут господствовать над страной. В Германии еще решались, и надолго оставались нерешенными, вопросы: какие местности станут центрами государств? Из каких государств составит то, что носило общее имя Германии? Юрий Подебрад Чешский (1458), Матвей Корвин Венгерский (1458), Гогенцоллерны, Вительсбахи, архиепископы Майнца, Кельна, Трира, саксонские князья, рыцари немецкого ордена – все стремились образовать государственные центры, в то время как император, пытаясь обобрать своих питомцев, сам подвергался опасности в стенах своего Венского замка от возмущившихся подданных. Городская самостоятельность и феодальная подчиненность падали. В Европе рос, за счет всех других политических идеалов, идеал центральной государственной власти. Только еще не было решено, каковы будут государства.

Но гораздо важнее этих вопросов о географических центрах общественной организации и о пространстве, на которое будет распространяться действие каждого из этих центров, был вопрос о тех средствах, с помощью которых будет проявляться жизнь этих образующихся центров. Этот вопрос решался не Людовиком, не Уарвиком, не Альбертом Ахиллом и не папами. Они спорили о *форме* государств. Для будущего *содержания* гораздо важнее то обстоятельство, что наряду с дорогими рукописями внезапно появились дешевые. Экономическое удешевление школьных учебников (так называемых донатов),

затем Библий, наконец, любимых писателей, ускорило в значительной степени развитие европейского общества. В то самое время, когда самостоятельное участие личности в государственной жизни затруднялось усилением государственных центров, печатные издания облегчали для личности работу мысли. Когда оппозиция средневековым началам была наиболее распространена, она получала новое орудие для своей деятельности. В то время как Италия стала центром литературного возрождения и эрудиции, когда в нее попадали греческие рукописи, появилась и возможность распространять их. С невероятной быстротой типографии распространились по Европе. К концу семидесятых годов XV века, несмотря на католический запрет иметь Библию в переводе, существовало пять ее немецких изданий, два голландских, два итальянских (1471), одно французское и одно испанское, не считая тех, которые остались неизвестными<sup>1</sup>. В 1470 году появилось издание Петрарки и Боккаччо, в 1472 году — Данте. В том же году, как и в следующем, в Падуе выходили латинские издания учителей схоластики, различные трактаты Аристотеля с комментариями Аверроэса. В этом же году был напечатан астрономический отрывок Изидора Севильского, древнейшего средневекового учителя, и астрономическое сочинение Пеурбаха, представителя новой астрономии<sup>2</sup>. Даже любимый сборник повестей, *Gesta Romanorum*, издан в 1473 году. Совершенно естественно было то обстоятельство, что, прежде всего, новое могучее орудие мысли послужило оружием привычным средневековым интересам, церковным и античным стремлениям, тем более, что споры о богословии занимали все умы, а древность вызывала живейший интерес. По-видимому, индульгенции были первыми произведениями майнцской типографии, но мы видели, что из типографских станков весьма скоро вышли и запрещенные Библии на народных наречиях. Распространение остатков древних литератур стало одной из главных забот типографов, но желание общества иметь не-

---

<sup>1</sup> Reuss E. Geschichte der Heiligen Schriften des Neuen Testaments. — Brunswick, 1887. — S. 452, 453.

<sup>2</sup> Оба издания есть в библиотеке Пулковской обсерватории.

что свое выразилось в ранних изданиях великих писателей Италии. Увеличение количества университетов за четверть века, следовавшее за началом типографии, имеет также характер вызванной страсти к древности: в большинстве случаев прямо говорилось, что именно занятие древней литературой составляет цель открытия новой высшей школы.

Едва заметны за этим возрождением древней литературы и эрудиции, за спорами аристотеликов, новых платоников, авэрроистов, за полемикой богословов и юристов, за шумом оружия государств, спорящих о преобладании или своей форме, научные труды этой четверти века. А между тем, они заслуживают внимания, потому что в них росла сила будущего.

Замечательным представителем мысли этой эпохи в различных ее направлениях считается сын бедного лодочника на берегах Мозеля, Николай Кребс, или Хрипс, известный под именем Николая Кузского (1401-1464). Как член духовенства, он принадлежал к тем многочисленным, горячим поклонникам реформы в среде католической церкви, которые на Базельском соборе изменили своему знамени и стали защитниками папского единовластия. За это он получил сан кардинала (1448), Бриксенское епископство (1450) и стал самым резким борцом за привилегии духовенства против светских властителей. Как мыслитель, он был первым представителем школы, пытавшейся заменить христианским платонизмом тот аристотелизм, который господствовал повсюду в Европе. С точки зрения этого возрожденного неоплатонизма, Николай Кузский пытался внести в мистическое созерцание схоластическую связность доказательств, оживить формулы схоластики мистической поэзией. Предшественник Джордано Бруно и Кампанеллы, он извлек из христианских догматов пантеизм, который во всем находил проявление Бога, и философию религии, признающей все религии несовершенными, но заключающими в себе зародыш высшего единства совершеннейшей религии. Достигнув ее, высшие умы поймут, что все верования — одно и то же. Наконец, как ученый, Николай Кузский допускал движение Земли около ее оси, бесконечность мира и потому отсутствие центрального положения

Земли, как и какого-либо другого тела. Он предложил (1436) реформу календаря за полтора века до григорианского преобразования, указал ошибки альфонсинских таблиц. Он окружал себя учеными, хотя воображение часто побуждало его предпочитать ученому исследованию полумистическое созерцание таинственных свойств чисел и стремиться к разрешению неразрешимых задач, вроде квадратуры круга. Как в эпоху Николая Кузского сталкивались разнообразные идеалы, в разных формах проявлялась оппозиция средневековому строю, даже не всегда сознательная, и поэтические красоты древнего мира господствовали над его научной традицией, так и в произведениях знаменитого кардинала мы встречаем смешение различных идеалов, неосознанную оппозицию тем самым началам, которые он защищал в жизни, наконец, предпочтение стройности и привлекательности при построении мироздания критическому обдумыванию его частей.

В пантеистических стремлениях Николая Кузского мы находим следы того религиозного отношения к природе, в котором просматривалось резкое противоречие прежнему христианскому отвращению от природы, как от царства сатаны. Это религиозное отношение, жившее в язычестве, таившееся в запрещенном колдовстве и сатанинском шабаше в народе, снова теперь входит в европейскую цивилизацию одновременно с возрождением языческой литературы. Но оно имело еще одну область, в которой именно в эту эпоху и достигло своего апогея. Выше было уже сказано, что с Раймунда Луллия мистический элемент входит в алхимию, но резче всего он проявляется в сочинениях таинственного алхимика второй половины XV века – Базилиуса Валентина, личность которого до сих пор осталась полной тайн. Замечательный для своего времени исследователь и аналитик, он открыл соляную кислоту, использовал сюрменистые составы, как лечебное свойство, понял лекарственное действие ядов, улучшил качественный анализ, и во многих отношениях служил переходом от эпохи чисто алхимической к эпохе медиков-химиков XVI века. Но именно у него алхимия выступает, как задача человеческой жизни, как религиозное дело, так что получение философского камня – это награда и прославление благочестия. У него встречаем уподобление жизни и

смерти человека уже не христианским первообразами, а химическому процессу, в котором земные страдания очищают человека в процессе брожения, в могиле разрушают нечистые примеси, и душа отделяется в мир высший процессом возгонки. Рядом с Базилиусом Валентином остальные химики той эпохи не имеют значения.

Кардинал-епископ Бриксена, о котором говорили выше, покровительствовал австрийцу Пеурбаху (или Байербаху). Этот последний со своим знаменитым учеником, Иоганном Мюллером из Кенигсберга (Regiomontanus), стал основателем новой астрономии. Для этих двух немцев древние были уже не авторитетами, а основным материалом науки, требующим критического анализа и исправления.

Основой критики должен был стать тот самый метод, который со времени Гиппарха был *единственным* орудием рациональной астрономии: возможно точное наблюдение, обобщенное математическим выводом. И вот Георг Пеурбах, на протяжении своей недолгой 33-летней жизни (1423-1461), и Мюллер, живший немногим дольше своего учителя (1436-1476), придумывают инструменты для наблюдения, наблюдают, составляют тригонометрические, астрономические таблицы, устанавливают тригонометрию, которой не хватает лишь логарифмов, чтобы быть современной нам тригонометрией. Исправляют, комментируют «Альмагест» Птолемея, учатся греческому языку, чтобы точнее отнестись к изучаемому им автору. Также переводят Феона, Менелая, Феодосия, Апполония, Герона и множество других авторов, пишут о кометах, составляют эфемериды и дают типографии первые ученые издания Нового времени: в 1472 году напечатана новая теория планет Пеурбаха, в 1476-м – календарь по эфемеридам Мюллера.

Под влиянием Мюллера, сделавшего Нюрнберг центром своей деятельности в последние 10 лет своей жизни, там образовалась не только школа новых астрономов и математиков, не только ученые типографии, где через полвека Коперник напечатал свое знаменитое произведение, но и фабрики точных ремесел: известная фабрика компасов Эцлауба и Гартмана, фабрика Гэле, из которой через четверть века вышли первые карманные часы со стальными колесиками.

Новая наука накапливала материалы и тут же демонстрировала свою тесную связь с техникой: ее успехи требовали механических усовершенствований и, в свою очередь, вызывали их.

Если Германия выставила на этом поприще три замечательные личности, то Италия со времени Леонардо Пизанского не теряла традиции математических и астрономических трудов. В венецианском комментарии 1477 года на поэму Данте находим первое упоминание о вероятностях. Астроном Паоло даль Поццо Тосканелли (+1482) устроил во Флорентийском соборе самый большой из известных гномонов (1468), указал на путь через Атлантический океан для достижения берегов Азии и расположил свою морскую карту по прямоугольной сетке. Альберт Фиоравенти (известный впоследствии в Москве Аристотель) перенес с Гаспардом Нади в 1455 году башню Maggione в Болонье на расстояние 35 футов, хотя она имела, как пишут, до 85 футов высоты. В то время, когда Мюллер стоял во главе европейских астрономов, Италия представляла несколько достойных его корреспондентов, и один из них, Доменико-Мария Новара (1464-1514), имел честь быть учителем Коперника. Эти многочисленные труды не имели еще никакого решительного влияния на общественную мысль, но подготавливали будущее.

Однако ближайшее будущее науки заключалось в распространении географических знаний, и на этом пути приготовления шли еще быстрее. Со времени посольств от пап к монголам в XIII веке, традиция путешественников в дальнюю Азию не прекращалась и в тот период, о котором мы теперь говорим. Барбаро и Конти продолжали дело Плано Карпини и Марко Поло.

Между тем, в Португалии принц Генрих направил все свои скромные доходы гроссмейстера Ордена Христа на расширение знаний о южных побережьях Атлантического океана. После двадцатилетних ежегодных попыток, в 1434 году, был обойден мыс Баядор. Собраны были сведения о степных путях в Тимбукту. В 1445 году знали о Сенегале и о том, что в жарком поясе есть население. К 1460 году, когда умер Генрих, острова Зеленого мыса были пройдены, и Фра Мауро в Венеции уже нанес на свою карту (доныне существующую)

как открытия португальцев в Атлантическом океане, так и абессинские карты для Восточной Африки. И тут, конечно, личность Генриха имела преобладающее значение, но уже близко было время, когда общественный порыв должен был превзойти стремления личностей в открытии дальних стран.

#### **4. Новый Свет (1477-1509)**

Если появление книгопечатания и его распространение было самой важной чертой рассмотренной эпохи, перед которой отступают на задний план и господство турков в Византии, и борьба французского короля с последним великим феодалом, и кровавая резня Ланкастеров и Йорков, то следующая затем эпоха по справедливости характеризуется открытием Нового Света.

Как нарочно, наряду с этим могущественным побуждением к новой мысли, новым предприятиям, самостоятельной деятельности, средневековые силы выдвигают самые отвратительные явления. Папский престол занимали друг за другом трое образцовых пап: Сикст IV (1471-1484), Иннокентий VIII (1484-1492), Александр VI (1492-1503). С наглой решимостью строитель знаменитой Синкстинской капеллы начал 90-летний период политики завоеваний для родственников пап; наследник апостолов был в числе заговорщиков, чтобы зарезать братьев Медичи по знаку, поданному священнейшим обрядом христианского богослужения; отлучение от церкви было наказанием за то, что Венеция не хотела отдать племяннику (а может быть, сыну) первосвященника завоеванных земель. Празднество незапятнанного зачатия было рекомендовано (1477) человеком, которого обвиняли в самом противоестественном разврате. Личности, подобные Людовику XI и Фридриху III, имели право укорять папу за его хищничество и презрение ко всем правам. Наконец, Испания ему обязана возрождением инквизиции, ставшей в руках Фердинанда Арагонского (1479-1516) и Изабеллы Кастильской (1474-1504) королевским духовным судом, орудием подавления всех политических врагов и средством грабежа подданных. Несправедливость и жестокость первых государ-

ственных инквизиторов (1480) Морильо и Сан-Мартино вызвали жалобы кортесов и даже неудовольствие Сикста. Но это было ничто с последовавшим затем инквизиторством Торквемады (1483-1498), при котором за 15 лет сожгли 8300 человек живыми, 6500 – в изображении и различным образом наказали 90000 человек. В год падения Гренады и открытия Антильских островов, выселялись из Испании все евреи, не желавшие принять христианство. Не менее деятелен был наследник Торквемады, Диего Деца (1498-1506), при котором сожжено 1664 человека живыми, 832 – в изображении и наказано различным образом 32456 человек.

В других странах инквизиторы не были орудиями и помощниками светского деспотизма, их юрисдикция была очень ограничена папой Николаем I (1451). Но они нашли возможность играть роль не менее эффектную, как и их испанские товарищи, благодаря одному подсудному им пункту – колдовству и союзу с дьяволом. Вслед за сожжением Жанны д'Арк (1431), еще одна девушка была сожжена близ Парижа как колдунья. В 1436 году психическая эпидемия демономании вспыхивает в Ваатланде, и сотни людей гибнут на костре. В 1459 году подобная эпидемия вызывает казни в Артуа. Наконец, демономания становится постоянной психической болезнью в Европе на два века, начиная с 1484 года, когда германские инквизиторы своими увещаниями вызывают ее в обществе, и папа Иннокентий VIII своей буллой в упомянутом году призывает инквизиторов к деятельности. Этот папа, обозначивший, таким образом, свое вступление на престол, оставил 16 человек детей, брал с христиан деньги на войну с турками, а с султана – деньги и подарки за содержание его брата в заключении, продавал кардинальское звание 13-летним мальчикам, был достойным преемником Сикста IV и предшественником Александра Борджия. При нем написан (1487) и напечатан (1489) немецким инквизитором Шпренгером знаменитый «Молот колдуний» (*Malleus maleficarum*), который столько же свидетельствует о полной искренности этих судей-палачей, как и о возмутительном отрицании всякого понятия о судебном беспристрастии и юридических правах, когда дело шло о решении вопроса, касающегося религии. Доносы следовали



за доносами, пытки за пытками. Эпидемия демономании разливалась все быстрее, не щадя ни пола, ни возраста, ни состояния, зажигая костры для несчастных галлюцинантов то там, то здесь. При свете этих костров все, что оставалось здоровым, проникалось отвращением к средневековому строю общества, который логически приводил к подобным извращениям истины и справедливости.

Эта же эпоха, ввиду быстрого распространения путем книгопечатания сочинений, враждебных церкви, вызвала первое появление цензуры. Пример подал архиепископ-курфюрст Майнцский (1486), и его пример быстро нашел последователей. Цензура церкви окончательно была установлена папой Александром VI в 1501 году.

При этих обстоятельствах оппозиция к католицизму уменьшиться не могла. Во имя средневекового аскетического идеала выступил Савонаролла, связывая этот идеал с республиканскими стремлениями городов Италии. Но эти стремления начинали все больше переходить в отвлеченности. Богатые граждане итальянских городов стремились быть государями, а граждане республик обращались в подданных. Блеском литературы и эрудиции при их дворах государи Италии хотели прикрыть свой захват власти, и бесчисленные хвалители, в стихах и прозе, на итальянском, латинском и греческом языках превозносили Медичи, Эсте, Сфорца, Фердинанда Неаполитанского или даже Борджию. Поток лились сонеты и поэмы из цикла Карла Великого, но лишь Луиджи Пульчи (1432-1487) и Боярдо (+1494) были достойными предшественниками Ариосто. Сатира обращалась в мелкую насмешливость над пустяками; подражатели Боккаччо старались превзойти друг друга наготой чувственных картин. Сотни литературных академий с самыми странными названиями соперничали из-за местных знаменитостей и тонкостей оборота речи. Двор Лоренцо Медичи (1472-1492), поэта, банкира и повелителя Флоренции, был главным центром итальянской литературы и искусства. Во Флоренции началось возрождение архитектуры, и при Лоренцо еще свежи были предания Брунеллеско (+ 1444) и Альберти (+ 1472). Резец Бенедетто до Мояно (+ 1498) и кисть Гирляндайо (+ 1495) украшали столицу Медичи превосходными произведениями. Также в ней

развивался гений Буонаротти<sup>1</sup>. Во Флоренции при Лоренцо писали Пульчи. Там организовывались празднества в честь Платона. Учитель Лоренцо, неоплатоник Нового времени, Марсилий Фензин († 1499) сравнивал Сократа с Христом, помещал Пифагора, Сократа и Платона среди святых, давал превосходный для того времени перевод Платона (1483-1484), Плотина (1492) и других произведений древности. Там ученый грек Халькондилас († 1511) издавал на греческом языке Гомера (1488), и это издание было образцом современного типографского искусства, тем более что лишь только 12 лет назад появились в Европе (в Милане) первые греческие издания. Соперником Халькондиласа во Флоренции был Анджело Полициано († 1494), один из самых разнообразных талантов, может быть, слишком расхваленных современниками и потомством: его итальянские стихи считались образцовыми по своей отделке. Его «Орфей» (1472), написанный в два дня, был первой итальянской драмой. Его переводы с греческого считались лучшими, его латинскую речь находили не уступающей древним, а латинские толкования греческих писателей превосходили по богатству содержания и блеску изложения толкования ученых греков. Нельзя забыть среди личностей, окружавших Лоренцо и Джиованни Пико да Мирандола († 1494), каббалиста, предложившего на 24-м году жизни ученым Европы спор по 900 тезисов из всех областей знания (*de omni re scibili*). Лоренцо Великолепный не щадил денег для рукописей, ученых и литераторов, но это дорого стоило республике, и в 1420 году личное имущество Медичи было спасено лишь за счет банкротства республики, т. е. разорения множества простых людей.

Если Флоренция была главным центром деятельности Возрождения, то, тем не менее, эта деятельность кипела и в других местностях Италии, переходя и за Альпы. В Сикстинской капелле работали художники со всей Италии. Умбрийская школа выдвигала Перуджино (1441-1524). В Риме, вокруг Помпонии Лэта († 1494), группировалась школа ученых антиквариев. В Падуе, в то самое время, когда Помпонаций всходит на кафедру (1495), чтобы начать свою долгую борьбу с

---

<sup>1</sup> Родился в 1474 году.

Ахиллини во имя материализма, прикрываемого именем Аристотеля и Александра Афродизского, Леоникус Томеус (1497) начинает гуманистическое толкование Аристотеля по-гречески. Там же преподавал знаменитый Эрмолао Барбаро († 1493). С 1494 года в Венеции работают станки Альда Мануция, а с 1496-го начинается его издание Аристотеля. В 1501 году появляется первое альдинское издание in 8°. С этого же года печатаются издания Этьена во Франции. Между тем, Цельтес († 1508) был прославлен в Германии благодаря своим латинским стихотворениям. Он же основал первое немецкое общество гуманистов. Рудольф Гуйсман Агрикола († 1485) был уже заметным деятелем гуманизма на берегах Рейна. Рейхлин удивлял римлян своим знанием латинского языка (1482), а грека Аргиропуло – знанием греческого (1498). Также он стал одним из замечательнейших гебраистов Европы.

Несмотря на весь блеск, который имели эти знания гуманистов, несмотря на красоту речи, навеянную Фицином, Полицианом, Помпонацием, древними образцами, несмотря на прелесть художественных произведений скульпторов и живописцев, нетрудно было заметить, что все эти приобретения не имели никакого применения в жизненных вопросах времени. Обширная эрудиция, прекрасный слог гуманистов служили лишь украшением дворов и университетов, но не давали содержания, способного войти в жизнь общества. Гуманизм и искусство существовали сами по себе, а вопросы жизни – сами по себе. Речи Цицерона были хороши, но римского сената и римских легионов не существовало. В Альдинской академии могли говорить не иначе, как по-гречески, а общество требовало литературы на народном языке. В честь Платона могли совершаться празднества, но неоплатонизм Фицина был еще более искусственным цветком, чем неоплатонизм Плотина и Порфирия. Гуманистическое движение могло иметь важное историческое значение лишь как средство усиления светской учености, независимой от церкви, и как воспитательное оружие литературы для приучения к изящной форме речи. Вне этого значения, оно имело лишь смысл сбора материала для далекого будущего: гуманисты подготавливали понимание исторического процесса

жизни человечества, но сами элементы этого понимания еще не развились тогда в умах, так как и наше время только приступило к этой великой задаче.

Гораздо более значительные и невероятные новости волновали мыслящих людей Европы. С Пиринейского полуострова шли вести о великих открытиях. С самого вступления на португальский престол Иоао II (1481), оживилось в этой стране стремление к морским открытиям, ослабевшее после смерти Генриха (1460). В Лиссабоне была устроена астрономическая юнта, и в 1486 году Диас дошел до южной оконечности Африки. Давно уже работала мысль смелых предпринимателей и над путем через Атлантический океан в богатые страны, описанные Марко Поло. Еще в 1474 году Тосканелли в письме, вызванном португальским правительством, указал, что путь через океан короче пути вокруг африканского материка. В 1486 году в Португалии было организовано общество для поиска на западе острова Антиглии, обещанного Тосканелли, или какого-либо материка. Под влиянием этих известий, 3 августа 1492 года оставили берега Испании три маленькие судна, на которых Кристобал Колон (Христофор Колумб) предпринял свое знаменитое странствие. Во время первого же переезда невольно бросились в глаза указания новых научных истин: на одной и той же широте менялась температура, магнитная стрелка давала отклонения, причем в различные стороны, среди океана оказались массы плавающих трав. Воды океана стремились к западу, как увлекаемые (по мнению Колумба) течением звездного неба, а в самом океане текли как бы широкие реки в водяных берегах. Задачи физики Земли в их разнообразии вставали перед первым смелым мореплавателем. 11 октября он увидел землю, и в 1493 году Европа узнала о новом мире. Колумб был уверен, что он недалеко от богатых стран, описанных Марко Поло, и приурочивал названия Клавдия Птолемея к своим открытиям, но, к своему удивлению, он был окружен бедным, диким населением, не ушедшим дальше самых начал культуры. Впрочем, путешественники искали золото и драгоценные камни, и с жадностью шли вперед по темной вести о дальних драгоценностях. В 1493 году предполагаемый меридиан без магнитного отклонения, по

воле папы, стал границей владения двух государей Пиринейского полуострова. Блуждая в этих обширных морях, путешественники остро почувствовали нужду науки. Колумб признавал за единственный безошибочный метод вычисления курса судов — метод астрономов. Эфемериды Мюллера (Региомонтануса) ценились на вес золота. Антикварий Помпоний Лэт плакал от радости при получении известий о великих открытиях. «Каждый день, — писал Петр Ангиера, — приносил новые чудеса из нового мира». Изнеженные папы (Лев X) зачитывались до поздней ночи, увлеченные «Океаникой» Ангиеры. Гениальный ум Леонардо да Винчи уже находил рациональное объяснение морских течений. Между тем, жадность к приобретениям окрыляла предприимчивость. 8 июля 1497 года Васко де Гама отправился в свою поездку вокруг Африки. 22 ноября он обогнул Мыс Доброй Надежды, и 20 мая 1498 бросил якорь перед Каликутом. Еще ранее, в мае 1407 года, Джiovанни Габотто (Джон Кабот) и его сын Себастьян отправились из Бристоля через океан искать берега Ципангу (Япония), 24 июня видели уже материк, но нашли следы лишь самой бедной культуры. Затем путешествия через океан стали обычным делом. Жажда обогащения влекла толпы конквистадаров все дальше. В 1498 году Колумб, в 1499-м — эскадра, на которой был Америго Веспуччи, в 1500-м — Кабраль — были у берегов Южной Америки. 25 сентября 1513 года Бальбоа Восточный увидел океан. Тем не менее, Колумб умер (1506), будучи уверенным, что он видел острова, лежащие у берегов Азии, и золотой Херсонес Птолемея (Малакку). Но в начале XVI века весь читающий мир Европы, давно волнуемый известиями об открытиях в Атлантическом океане, бросился читать собрание четырех путешествий, приписанное Америго Веспуччи, которое особенно распространилось в стразбургском издании 1509 года — «Космографии» Пелакомилуса (Вальдмюллера). Там предложено было признать новый мир особой частью света под названием «Америка», и имя счастливого флорентийского кормчего навсегда вошло в ряд самых элементарных человеческих сведений.

Уже сказано было выше, как очевидно было требование точной науки вследствие новых открытий. Астрономическую традицию

Мюллера-Региомонтануса хранил в Нюремберге его товарищ и ученик Бернард Вальтер († 1504), оставивший ряд весьма тщательных наблюдений. Он первым из новых писателей обратил внимание на действия астрономической рефракции. В то же время Лука Пачиоли († в октябре 1509-го) в Италии резюмировал в своей обширной математической энциклопедии (1494) всю математическую традицию Леонардо Пизанского, вносил приемы алгебры в геометрию, подготавливал математические труды Кардана и Тартаглии.

Пачиоли – флорентинец, но его имя мы не встречаем в ряду лиц, покровительствовавших Лоренцо. Среди них нет и другого флорентинца, одного из гениальнейших и многостороннейших умов Италии – Леонардо да Винчи († 1519). Видя на этих примерах, как слепы были так называемые покровители наук и искусств к настоящему величию нации, невольно припоминаешь слова Либри: «Истинные благодетели Италии, возвратившие ей прежний блеск, были не те, которые ее притесняли. Полезно повторить, что никогда тираны не составляли славу нации». Леонардо да Винчи не входит и в галерею ученых, представляемую Фигье<sup>1</sup>, тогда как его разнообразная деятельность и оригинальность мысли могли бы сделать его предметом интереснейшего биографического этюда. Его можно назвать исторически несчастным человеком. Он был замечательным архитектором и инженером, но о его архитектурной деятельности нельзя было упомянуть даже Любке в своем учебнике истории искусств. Его скульптурные произведения удивляли современников, но они погибли бесследно. Как живописец, он стоит наравне с Буонаротти и Рафаэлем, но его лучшие произведения или погибли, или испорчены, а оставшиеся дают слабое понятие о гении живописца. Между тем, именно Леонардо наиболее известен, как живописец. О его импровизаторском и

---

<sup>1</sup> В своем предисловии Фигье посвятил ему меньше страницы. Как небрежно составлял автор свое сочинение, видно из того, что он на с. 45 говорит, что рисунки анатомии Везалия приписывались Леонардо да Винчи. Но последний умер, когда Везалию было пять лет, следовательно, предположение нелепо, да и едва ли кем-либо и было высказано. На с. 291 тот же Фигье совершенно справедливо говорит, что эти рисунки приписывались Тициану.

музыкальном таланте, который привлек внимание Сфорцы в Милане, мы знаем лишь по словам современников. Тем не менее, художественная деятельность, охватившая все сферы искусства, была лишь случайным эпизодом в жизни великого итальянца. В наше время он удивляет как ученый, как предшественник Бэкона и Галилея. Но в этом отношении Леонардо не оставил ни одного произведения: он не воспользовался великими возможностями книгопечатания, которыми так злоупотребляли его современники. Он разбросал свою мысль в сочинениях, от которых до нас дошли только заголовки в записных книжках, донныне не изданных и растерянных небрежными хранителями; наконец, в слове, которое перешло в сочинения учеников и современников. Пачиоли, Ломаццо, Вазари сохранили обрывки этой мысли, а наше время начало собирать их. Однако кроме неоконченного труда Вентури (1797) и небольшого очерка Либри<sup>1</sup>, насколько нам известно, не существует надлежащей монографии об одном из самых замечательных предшественников Нового времени. Он стоит в ряду светлых умов, указывавших при изучении природы не на авторитет, а на наблюдение, переходящее в опыт, который должен помочь найти причины, установить правила, а последнее должно быть проверено вычислением. Леонардо приписывают и основание в Милане первого ученого общества. Но он не только ставил задачу науки, он сам выполнял ее, составляя план опытов, которые следует произвести, список фактов, которые надо установить, сомнений, которые приходится разрешать. Подготовив таким образом данные, Леонардо старался придать рассуждению строго доказательный силлогический характер. Либри, на основании его рукописей, приписывал ему употребление букв в алгебре и некоторых важных алгебраических знаков. Он написал геометрический трактат и повлиял на сочинения Пачиоли. Он занимался теоретической и практической механикой, признал в действии тяжести постоянную ускорительную силу, исследовал центры тяжести тел (первый после Архимеда), теорию наклонной плос-

---

<sup>1</sup> Libri G. Histoire des sciences mathematiques en Italie. – Paris, 1841. Из него преимущественно взято последующее.

кости, теорию удара тел, ввел в вычисления трение, устроил динамометр, наблюдал сопротивление, сжатие и вес воздуха, основав на этом теорию образования туч. Леонардо изучал движение животных и полет птиц с целью дать возможность людям летать. Он утверждал, что Земля вращается около оси, изучал свет Луны, свечение звезд, явление прилива и отлива, теорию морских течений, теорию волн, явления гроз, магнитное притяжение, теорию зрения. Также заметил волновые явления и дифракцию света. Леонардо тщательно наблюдал ископаемые растения и ископаемых животных, изложил теорию поднятия гор и материков, действие воды при образовании долин, валунов, при отложении пластов земной поверхности. Он разделил животных на два класса по внутреннему или внешнему положению скелета (позвоночные и беспозвоночные), занимался физиологией растений. Все эти теоретические исследования в глазах Леонардо имели практическое значение. Он применял их в многочисленных работах и изобретениях. Гидравлика, канализация, осушение болот, инженерное искусство, приборы для черчения, физические приборы (между прочим, камер-обскуры), машины по самым разнообразным ремеслам и работам, лампы, высушивание растений и множество других технических применений – привлекали внимание этого могучего ума, и не мимоходом, а при полном сознании теоретических и практических затруднений. Многие из идей Леонардо могли найти отголоски у современников, осуществиться на практике, или перейти, по преданию, к более счастливым потомкам, которые обнародовали мысль, дошедшую до них. Избыток изобретательности и творческой силы часто мешает людям округлить, систематизировать свои труды и заняться их обнародованием. По-видимому, Леонардо принадлежал к этой категории людей и сам в значительной степени виноват в том, что его ученые труды через несколько поколений забылись. Когда типографии давали средство закрепить мысль, он не воспользовался им. Поэтому размеры его ученого влияния были гораздо меньше того, чем могли быть, и Леонардо представляет нам высшую точку научной мысли в начале XVI века, но его историческое значение в



науке остается не разъясненным, да и едва ли может быть когда-либо разъяснено.

Мы остановились немного дольше на замечательной личности Леонардо потому, что и в наиболее сподручных европейских сочинениях он недостаточно оценен, а русский читатель тем более не имеет возможности оценить в нем самого многостороннего деятеля, представителя мысли XVI века.

Но рассматриваемая нами эпоха имела значение для науки и в другом отношении. Ее можно назвать возрождением медицины. В конце века проявились две болезни: по Европе распространился сифилис (преимущественно в 1495-м, но проявлялся и раньше), и в Англии начала действовать (1486) убийственная потовая горячка. И здесь Гален и Гиппократ, точно так же, как арабские авторитеты, были бессильны, потому что не знали этих болезней. Приходилось наблюдать, исследовать, лечить самим. С 1496 года появляется (прежде всего, в Германии) обширная литература о сифилисе. Личное наблюдение делается у многих врачей главным руководителем. Во главе медицинского движения становится Болонская школа, в особенности Беренгарди Карпи (профессор с 1502 года), который рассекал сотни трупов (по преданию, даже двух живых испанцев), впервые демонстрировал на самом трупе и иллюстрировал свои сочинения анатомическими рисунками. Его анатомические открытия подготовили замечательную школу анатомов XVI века. Анатомические занятия встречали тем больше сочувствия в Италии, что первостепенные художники (между прочим, Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти) считали эти занятия необходимыми для искусства.

Развитие эпидемий, о которых мы говорили, связывает внутреннюю, *настоящую* историю Европы в эту эпоху с теми внешними ее пестрыми проявлениями, которые слишком долго закрывали от глаз историков действительные приобретения человечества. Развитие сифилиса связано с походом французов в Италию, как появление потовой горячки связано с последними фазисами Войны алой и белой розы. Если с точки зрения развития сознательности и мысли в европейском обществе посмотреть на то, что составляет *политическую*

историю рассматриваемой эпохи, эта история представится нам событиями самого низшего разряда, весьма мало отличающими человека от других животных. Хищничество и животное стремление к наслаждениям – вот формула политики эпохи. Последние годы Людовика XI († 1483) были заняты попытками присвоить себе как можно больше из бургундского наследства. Последний представитель дома Йорка, Ричард III (1483-1485), один из тех редких образцов самого беззастенчивого использования всех средств для достижения власти, которые невольно придают животной стороне человека грандиозные размеры. Его наследник и победитель, примиритель Англии и основатель династии Тюдоров, Генрих VII (1485-1509), по жажде к деньгам, склонности торговаться обо всем и со всеми, был достойным представителем эпохи. На престоле наместников верховных апостолов, после упомянутых выше Сикста IV и Иннокентия VIII, садится Александр VI (1492-1503), который, со своими детьми, Цезарем и Лукрецией, стал воплощением животного проявления в человечестве, даже для личностей, мало знакомых с историей. Брать, что можно, и наслаждаться, как только можно, не обращая внимания ни на что — вот девиз политических властей века, а Борджии отличились лишь тем, что выполнили этот девиз с самой наглой откровенностью и последовательностью. В сущности, это был всеобщий девиз представителей власти, ограничить которую иногда могла лишь боязнь последствий. Медичи во Флоренции, Людовик Мор в Милане, Альфонс в Неаполе (1494-1495) следовали ему так же, как Фердинанд и Изабелла в Испании, Карл VIII (1483-1498) и Людовик XII (1498-1515) во Франции, Генрих VII в Англии, или наследник Александра, воинственный Ровере, Юлий II (1503-1513), возвеличенный гением Буонаротти и Рафаэля. Только удача была различна. Со смертью Лоренцо (1492) закатилась звезда Медичи, и в 1492 году они попали в изгнание. Наследник Арнольда Брешианского, Савонаролла, стал призывать Флоренцию к христианскому покаянию и гражданской свободе, мечтая восстановить невозможный уже идеал католического республиканского правления в Италии. Он погиб на костре (1498) в то самое время, когда Парижский университет принимал догматы незапятнанного рожде-

ния (1497), а папа справлял свои оргии. Альфонс Неаполитанский имел только год на то, чтоб ужаснуть народ жестокостью и распутством. Людовик Мор (1479-1500) умел, при помощи образцового политического двоедушия, прослыть тонким государственным человеком, хотя ему пришлось умереть во французской тюрьме, как Александру VI, от яда, приготовленного им для других. Блестящий Карл VIII бросился на Италию с той наивной хищностью, с какой термиты одной кучи бросаются грабить термитов другой. Если его поход (1493-1498) повлек за собою падение Медичи во Флоренции, падение Альфонса Неаполитанского, то его порывистое хищничество столкнулось при этом с более рассчитанным хищничеством государей Испании. Фердинанду и Изабелле удалось очень многое, недаром их имя прогремело в истории Европы. Им удалось окончить извечную задачу христианской Испании, разрушить следы мохамеданского владычества на Пиринейском полуострове и, вместе с тем, низвести Испанию с ее высокого места центра человеческой цивилизации (в X-XII веках) на одно из последних мест в ряду цивилизованных народов Европы. Им удалось подломить государственное устройство испанских кортесов, и из страны, где в Средневековье развилось довольно значительное чувство политической самостоятельности чинов, сделать, при помощи инквизиции, самую деспотичную и ничтожную в политическом значении страну Европы. Им удалось обратить величайшее приобретение Нового времени, открытие Америки, в образец самого бесчеловечного истребления незащитной расы одного материка толпой разбойников из другого, называвших себя христианами. Даже попытка пощады краснокожих превратилась в руках этих католических королей и добродушного Ласказаса в проклятие человечеству: она привела к началу торговли неграми (1505), которая дошла до нашего времени как одна из самых ядовитых ран минувшего, отравила лучший государственный строй в современном человечестве, как и науку в ее спокойных исследованиях. Но недовольные всеми этими историческими заслугами великие основатели испанского единства в вероломстве политики попытались поспорить с Людовиком XI и Борджиями для приобретения Неаполя. Им и это удалось. Французы завоевали

для них страну, которую знаменитому рыцарю Гонзальву Кордуанскому осталось лишь взять. Даже отец народа, добрый Людовик XII (которому приписывали, между прочим, убийство его предшественника, Карла<sup>1</sup>, точно как какому-нибудь Борджии), и тот увлекся желанием немного пограбить в Италии (1499-1504). Но здесь вместо Александра VI он встретил папу Юлия II, который по искусству хищничать не уступал никому. Изменять союзникам, захватывать города, предпринимать решительные походы и помогать своим родственникам – все эти приемы государственной жизни того времени были хорошо знакомы Юлию. И в то же время он сумел сделать Рим центром искусств, который скрывал от поверхностного наблюдателя и деспотизм, и вероломство, и разврат, и разорение народа. С 1504 года в Риме был Микеланджело, с 1508-го – Рафаэль. Мрамор для памятника Юлию II загромождал площадь св. Петра, но он никогда не должен был быть окончен (еще впервые его задумал Буонаротти), зато купол Сикстинской капеллы покрывался грандиозными фигурами пророков и сивилл. В то же время Афинская школа и фрески Рафаэля украшали стены Ватикана, а Браманте начинал постройку собора св. Петра. Рядом с упомянутыми выше искусными хищниками жалкую роль играет Максимилиан I (1493-1519), который, несмотря на свой прославленный рыцарский характер, тоже пытался много раз утвердить силой свое господство и во Фландрии, и в Германии, и Италии, но оказался не способным к какой-либо значительной государственной роли. Он почти все время своего правления (четверть века) переходил от неудач к бессмысленным предприятиям, которые вели к новым неудачам. Великолепное издание «Тэйерданк» (Theuerdank)<sup>2</sup>, проникнутое феодальным духом в эпоху, когда феодальный мир принадлежал прошлому, характеризует этого государя, как не имевшего достоинств ни прежнего, ни Нового времени. При нем центральная власть

---

<sup>1</sup> По рукописной заметке, относящейся к 1637 году, и ссылающейся на мемуары Рено де Бон, архиепископа Санского (1527-1606).

<sup>2</sup> Dr. Haltaus C. Theuerdank. – Leipzig, 1836.

императора и сеймов потеряла свое влияние, а государственное значение разных частных центров Германии возросло.

В обществе, управляемом этими главными политическими актерами, требования были совершенно не те, которые побуждали государей вести нескончаемые войны, ученых латинистов и эллинистов уходить в наслаждение древним миром, а художников – создавать свои великолепные фрески и статуи. Забота о насущном хлебе, невыносимое давление на поселянина, разорение общества честолюбивыми предприятиями правительств, ненависть горожан к феодалам, – таковы были жизненные вопросы для большинства, грубая сатира над высшими классами, а, пожалуй, и над собой, такова была эстетическая пища, нужная для его удовлетворения. Эти жизненные вопросы вызывали крестьянские волнения в Германии (1491, 1493), коалицию городов Швабского союза (1488) или смелые речи Филиппа на собрании французских чинов (1484). Через год после смерти Людовика XI он сказал: «Очевидно, король не может сам распоряжаться общими делами» (республикой). Политическое правило, что подати могут быть наложены на народ лишь с его согласия, встречаем и у приверженца Людовика XI – Филиппа де Комино († 1509), которого он переманил из Бургундии, где тот сидел в железной клетке в первые годы правления Карла VIII. Де Комино дал Франции одно из лучших ее исторических произведений. Его мемуары выказали в нем и внимательного наблюдателя, и человека государственного значения, по крайней мере, с той точки, которая ставила единство государственной власти, ее крепость и расширение идеалом правителя.

Эстетическим требованиям массы удовлетворяли во Франции стихотворения Вильона († 1482), шутки Кокильера († ок. 1490), сатира Гренгуара († 1547) или фарсы Пателена на сцене. В Германии же – «Корабль дураков» (Narrenschiff) Себастьяна Брандта († 1521), «Заклинание дураков» (1506) францисканца Муркера, «Эйленшпигель» (1483) или еще более резкая форма поэмы – «Лиса» (Reinike de Vos, 1498), относящаяся к этой эпохе. Литература дураков имела такую популярность в это время, что знаменитый страсбургский проповедник Гейлер († 1510) и упомянутый уже Муркер использовали ее в сво-

их проповедях, как и не менее знаменитые парижские проповедники Мено († 1518) и Мальяр († ок. 1508), которым не понравилось бы, если бы их проповеди не были перемешаны с довольно грубыми фарсами и желчной сатирой.

Когда Новый Свет входил в круг научного, экономического и политического понимания Европы, Московская Русь, сбросившая иго татар (1480) и подчинившая себе Новгород (1478), начинает участвовать в политических вопросах Европы вследствие отношений Максимилиана с Иваном III Васильевичем († 1505), выступавших против Матвея Корвина Венгерского († 1490). К этому же времени относятся проявления в русской литературе как следов заимствований (имевших место и ранее) из обширной повествовательной литературы Запада, так и следов религиозных движений, издавна волновавших славянские и не славянские племена Европы, что видно в секте жидовствующих, появившихся в этот период и достигших значения даже в теремах цариц. При этом продолжалось соперничество Москвы с Литвой при Казимире, соединившем (1444-1492) короны литовскую и русскую с польской, и при наследнике Казимира в Литве, Александре (1492-1506), впоследствии также соединившем обе короны (1501-1506). Оно не могло быть прекращено и браком дочери Ивана Васильевича с Александром. Между тем, Польша при Яне-Альберте (1492-1501), имела своего Коммина в лице тосканца Буонакарки Каллимаха († 1496), своего религиозного лирика в лице приора Андрея Слопуковского († после 1497) и даже своего френолога (едва ли не первого в Европе) Яна Глоговчика († 1507).

## 5. Протестантизм (1509-1536)

Предшествующая эпоха исчерпала то, что мог дать гуманизм с его чисто литературным характером. Наслаждение древностью достаточно скоро оказалось лишь поверхностным наслаждением и роскошью мысли, если не приложить к изучению древности критических приемов и предварительных знаний, едва существовавших в новой Европе. Практические же вопросы как политики, так и общественной

экономии оказались совершенно чужды этой сфере эрудиции. Они несравненно больше обуславливались огромным расширением колониальных предприятий. Тем не менее, следующая эпоха (1509-1536) рассматриваемого периода особенно охарактеризована религиозным движением. Та оппозиция против католицизма, которая росла на протяжении трех столетий, проявляясь в самых разнообразных формах, попыталась в последний раз обновить религиозную жизнь Европы. Она оставалась верной христианским идеалам, т. е. попробовала выполнить задачу Средневековья так, как они ее постоянно ставили: найти в основных документах христианства материал теоретической истины и практической правды, пользуясь всеми остальными потребностями и приобретениями человечества лишь как пособием. Это особенно характеризовало эпоху Реформации.

В тот самый год (1510), когда Юлий II быстро менял свою политику и из союзника французов становился их врагом, молодой саксонский монах провел 14 дней в Риме и ужаснулся неверию, господствовавшему среди тамошнего духовенства. Этот верующий пилигрим, с 1509 года профессор богословия в Виттенберге, – Мартин Лютер. Он был представителем общества, которое еще верило, что истину можно найти в тех канонических источниках, где ее искал католицизм в Средневековье, а найдя, надо лишь очистить. Но для цивилизованного общества Италии это время прошло. Юлия II сменил тот самый Медичи, который в 13 лет стал кардиналом, Лев X (1513-1521). Этому человеку, смеявшемуся со своим секретарем, кардиналом Бембо, над религиозными мифами, пришлось пережить эпоху, в которую, во имя религиозного чувства, народы восстали против папства. Из всех дел его интересовало только укрепление семьи Медичи, которую ему, еще за год до вступления на папский престол, удалось вернуть во Флоренцию (1512). Бембо и Садолет были представителями новых цистеронианцев, использовавших лишь выражения, разрешенные великим оратором последнего века до нашей эры. Рафаэль (+ 1520) украшал Рим и другие города Италии самыми совершенными и великими из своих произведений. Микеланджело собирался отделять Сан-Лоренцо, любимую церковь Медичи. Папа не сумел привлечь к своему двору лишь хвали-

теля феррарских д'Эсте, Ариосто, который в своем «Неистовом Роландо» (1515) предстал истинным представителем современной итальянской придворной поэзии. Чрезвычайное искусство в отделке эпизодов, при полном недостатке изобретательности, огромная рыцарская поэма в 46 песен, при полном равнодушии автора к рыцарству и Средневековью вообще, как и христианству. Бесспорная красота формы, при содержании, имеющем целью лишь пустую забаву, чуждую положительного идеала настолько, насколько и сатирического отношения к действительности, — таково классическое произведение Ариосто. Читая его, едва ли можно вспомнить, что оно написано в годы, когда французские, немецкие, испанские армии разоряли Италию и спорили, кто из иностранцев будет в ней господствовать.

Через год после первого появления «Роланда», в Италии вышла книга Помпонация (+ ок. 1525) «О бессмертии души», где религиозная истина была совершенно отделена от истины научной. Автор принимал бессмертие души на основании откровения и отвергал его на основании размышления и доказательств разума. Только заступничество кардинала Бембо спасло автора от венецианских инквизиторов. Подобный же прием Помпонаций использовал позже в теории свободы воли, решившись, наконец, применить начало развития и к истории религии. В этом замечательном уме приемы старого и воззрения Нового времени представляют борьбу, которую находим и у многих его современников. Например, Агриппа Неттельгемский (1483-1535), этот рыцарь-профессор, алхимик и мистик, враг духовенства, один из первых защитников колдуний от безобразных юридических приемов, используемых в процессах против них, ставивший изучение природы в основу богословия, написавший одно из полнейших руководств магии и доказывавший тщетность, неверность всякого знания, распадение всех классов общества. В этой личности, может быть, лучше, чем в какой-нибудь другой, выразился тот беспокойный поиск истины, который характеризует весь рассматриваемый период, когда вернуться к старому было уже нельзя, но по привычке вопросы были поставлены все так же, как прежде: все искали таинственную сущность, которая бы сразу дала и знание, и могущество.



Несравненно важнее для Нового времени была «Утопия» Томаса Мора, появившаяся в 1515 году<sup>1</sup>. Автор уже раньше подражал Луккиану. Здесь, в форме политического романа, он высказал несколько идей, шедших вразрез со всеми средневековыми понятиями. Такова была терпимость для всякой веры (кроме отрицания бессмертия души и провидения), как для дела чисто личного уничтожение всех сословных различий по праву рождения, отрицание смертной казни для менее важных проступков. Эти идеи, высказанные в 1511 году, когда вся Западная Европа признавала *одну* церковь, истребляла еретиков и делилась на тысячи разноправных кружков по рождению и сословиям, были более смелы, чем мысль об общности имущества, тоже встречающаяся в «Утопии», но вовсе не новая для Средневековья.

Заметим, что наряду с ней Мор рисует семью, со строгой защитой ее чистоты законами, точно так же, как наряду с обязательством физического труда земледельца и ремесленника для всех граждан Утопии он вводит рабство.

Томас Мор с ранней молодости был другом Дезидерия Эразма Роттердамского, советы которого серьезно влияли на английского гуманиста-богослова, и который в Англии, у своего друга, написал одну из изящнейших и самых едких сатир этого времени, свою «Похвалу глупости» (1508). В ней картина всего общества и особенно церкви была набросана с такой резкостью, что впоследствии католические богословы говорили, что Эразм снес яйцо, которое высидел Лютер. Эразм рассыпал свою сатиру на церковь и в других произведениях, но он был не только сатириком. Он положил начало теоретической об-

---

<sup>1</sup> Не имея перед собою этого издания, указываем год по Mohl. D. Gesch. u. Litter. d. Staatswiss. – Berlin, 1515. – Vol. I. – S. 179, примеч. Зигварт в Энциклопедии герцога, цитируя того же Моля, указывает 1516 как год, когда *написана* «Утопия». Карьер (Phil. D. Weltansch. d. Reformations Zeit. – Berlin, 1899. – S. 315) говорит, что рукопись отослана в печать в 1517 году. Грессэ (Handb. d. Allgem. Litteraturgesch. – Berlin, 1846. – Vol. III. – S. 61) называет 1516-й годом издания. Тот же год в моей статье «Оч. разв. идеи прогресса», в «Совр. обозр.». – 1868, апр. – С. 168. Греггар в Nouvelle biographie generale (Didot F.). – Paris, 1857. – Vol. XXXVI. – P. 689, относит ее к 1518 году. Мы придерживаемся Моля, потому что он обычно указывает, каких книг не видел.

работке новой педагогики, дал образцы слога для обучения в школах. Но еще важнее был материал, разработанный им для научной обработки богословских источников: греческое издание Нового Завета (1516) по доступным ему рукописям с латинским переводом, отступавшим от Вульгаты, принятой церковью, и парафразы Библии. Это было начало критической обработки Писания. Заметим, что в 1517 году было закончено печатание многоязычной Библии (полиглоты), изданной лишь в 1522 году испанскими учеными под руководством кардинала Хименеса, пережившего лишь несколькими месяцами конец ее печатания.

Немцы считали Эразма одним глазом гуманизма в Германии. Другим был Иоанн Рейхлин, о котором мы уже говорили, и который посвятил свои последние годы изучению еврейского языка и каббале. В начале рассматриваемой нами эпохи Рейхлин, несмотря на свой мирный характер, был вовлечен в процесс, угрожавший ему чуть ли не костром еретика, — в процесс против кельтских доминиканцев, требовавших сожжения всех еврейских книг, которые Рейхлин защищал как во имя науки, так и вследствие своего пристрастия в каббале. Спор начался в 1510 году. Чувствуя, что его поддерживают все гуманисты, Рейхлин в 1512 году напечатал свою защиту по-немецки. В 1514 году епископ Шпейерский произнес приговор в его пользу, а в 1517-м (в Риме) без приговора процесс был прекращен. Но он успел взволновать умы, дал повод для целого потока сатир, между прочим, и для знаменитых «Писем темных людей» (*Epistolae obscurorum virorum*), появившихся в 1515 и 1517 годах.

В этой борьбе партия гуманистов впервые осознала свою силу, как определенного лагеря, которая может действовать сплоченно и энергично против общих врагов, которые были в то же время врагами всякой здоровой человеческой мысли. Если бы это стремление могло получить свое законное развитие, полная бессодержательность литературно-филологического гуманизма, вероятно, привела бы к его оживлению научным опытно-натуралистическим гуманизмом. А он бы, в свою очередь, связал бы университетскую образованность с реальными потребностями масс, без особой борьбы обновил бы евро-

пейскую жизнь на основаниях терпимости, высказанной Мором, соединения науки с техникой, как проповедовал да Винчи, и здоровой педагогики, на которую указывал Эразм. Но накопившаяся оппозиция против католицизма не смогла выждать этого ровного течения дел. Средневековые взгляды засели так глубоко в привычки большинства передовых личностей, что нетерпеливое стремление к обновлению бросило бы европейское общество в борьбу. Причем в этой борьбе реальные интересы проиграли бы фантастическим, энергия замечательных личностей тратилась бы на спор о словах, чуждых всякой научной мысли, всякого полезного, а тем более справедливого стремления. Богословские факультеты университетов получали преобладающее значение. Спустя полвека после «Утопии», слово *«веротерпимость»* оказалось новостью, и люди всех партий доказывали самым действительным образом, что они о нем не имеют ни малейшего понятия. Распадающийся католицизм нашел средство возродиться, укрепиться, выставить сильных борцов и сделать схоластическое мировоззрение такой силой, о которой нельзя было, казалось, и думать в эпоху Бембо, Помпонация, Макиавелли, Эразма, Мора и Гюттена. Благодаря объединенным попыткам духовенства всех партий, школы получили тенденциозный характер. Наука отодвинулась на второй план перед вопросами сектаторства, а нравственность потеряла всякий смысл перед вопросами догматического разномыслия. Все силы были брошены на то, чтобы подавить в Европе жажду к научной истине и человеческой справедливости. Эти силы до сих пор неутомимо борются, отстаивая шаг за шагом царство тьмы и безнравственности, возобновляя при всяком удобном историческом событии попытки реакции. Но если воплощение справедливости — это еще отдаленный вопрос, то живучая сила науки смогла побороть врагов. Несмотря на длинный период всеобщего увлечения фантастическими спорами, несмотря на потоки крови и зверское варварство, которое распространялось по Европе под влиянием фанатиков всех сект, несмотря на то, что и внешние, и внутренние причины не давали надолго ни одному замечательному уму отойти от бестолковых рассуждений о предметах, лежащих за пределами понимания, — небольшая группа

работников продолжала устанавливать вехи на пути науки, собирать материал, бороться с невежеством и безумием. К концу века метод был найден, основания науки были установлены, и в следующем веке она стала силой и, можно сказать, единственной живой силой Европы. С тех пор об нее разбивались все усилия представителей невежества. На нее, как на бесспорное основание, опирались все мыслители, которые хотели расширить понимание человека и внести правду в общественные формы. По всей вероятности, ее никто уже не сможет остановить в ее развитии.

Через два года после «Утопии» Мора, первого тома «Писем темных людей» и «Неистового Роланда» Ариосто, через год после книги Помпонация о душе и появления греческого перевода Нового Завета, в тот самый год, когда Лев X прекратил процесс Рейхлина и закрыл пятый Латеранский собор (1517), в Виттенберге появились знаменитые тезисы Лютера. Он был глубоко искренен, был одарен энергичным характером и обладал чрезвычайно практическим тактом. Он умел в своей борьбе найти союзников во всех существующих силах XVI века: в средневековых привычках мысли, как в давно накипевшей оппозиции против духовенства; в стремлении к национальному обособлению, как в политических целях германских князей; в потребности расширения знаний в школах, как в нелюбви большинства к слишком тонкой критике ученых. Шаг за шагом, вследствие давления обстоятельств, он переходил от спора против индульгенций к спору против прав папы, от обвинения Эка – к обвинению Льва X, от признания римской церкви истинной (1517) – к сочинению «О вавилонском пленении церкви». Выступал он и за сожжение папской буллы (1520), и за противопоставление в Вормсе *своего* понимания Библии папе, собору, императору, целому миру (1521). Однажды, почувствовав себя силой и авторитетом, он использовал всю гибкость своего ума, всю энергию своего характера на то, чтобы удержать этот авторитет, укрепить его, оградить со всех сторон, словом, на то, чтобы образовать новую церковь, столь же неподвижную, законченную, подавляющую разум и волю вне назначенных ею пределов, как и католицизм. С неумолимой последовательностью и необычным успехом Лю-

тер не только отражал авторитет католицизма, но и давил все партии, которые, под влиянием революционного стремления в религии, шли дальше буквы, признанной им, Лютером, за бесспорный авторитет, истолкованный в соответствии с его пониманием современных потребностей. Он раздавил Карльштадта (1521-1525), отрицавшего средневековые формы немного больше него, отрицавшего потребность знания во имя религиозного одушевления и христианского возвышения нищих духом. Он раздавил цвикауских пророков (1522), веровавших в прямое откровение Святого Духа. Он поддержал всей силой своего авторитета кровавую и беспощадную реакцию князей и рыцарей, которые истребили крестьян, восставших под предводительством Мюнцера († 1525) во имя христианского равноправия, чтобы хотя бы немного облегчить свое тяжелое положение. Он послал силы протестантизма на помощь католическому епископу, когда в Мюнстере образовался центр анабаптической проповеди, не признававшей его авторитета и готовой не останавливаться перед радикальным переворотом общественных форм (1533-1535). Он восстал самым жестоким образом против Эразма, который выступил защитником свободы воли против августинианского учения о благодати, принятого Лютером, и едва ли в этом случае знаменитым реформатором не руководило желание не дать гуманизму оказать более значительное влияние на новое движение и, особенно, на школы, находившиеся в протестантских землях. Лютер помешал Филиппу Гессенскому (1518) ввести в его земли учреждения реформы, довольно самостоятельные по своей форме (1527). Наконец, Лютер отверг все попытки к сближению со швейцарскими реформаторами из-за таких схоластических соображений, которые ставили его учение не выше отвергаемого им католицизма. Ему пришлось при этом, в споре против Цвингли, защищать даже веру в бессмысленное на основании буквального смысла, а следует заметить, что это отделение лютеранизма от реформаторства значительно ослабляло политические силы нового движения. Но допустить толкование Цвингли и Эколампада, значило уступить другому авторитету, следовательно, посеять сомнения в глазах его приверженцев. *Этого* Лютер допустить не мог, и не по расчету, а по совер-

шенно естественному и бессознательному стремлению к господству, из-за неуступчивости во мнениях, которая помогла ему, бедному монаху, восстать против всего католицизма, поставив за несколько лет во главе огромной церкви.

И лучшие представители Германии почуяли в смелом августинском монахе защитника их национальных стремлений. Гюттен († 1523), Зикинген († 1523) готовы были встать на защиту реформы словом и оружием. Величайший немецкий живописец, Альбрехт Дюрер († 1528), был ее приверженцем. Лучший немецкий поэт того времени, Ганс Сакс (1494-1576), посвятил ей значительную часть своей литературной деятельности.

Между тем, швейцарские реформаторы делали свое дело так же энергично, и Швейцария становилась одним из самых могущественных центров религиозного движения. Прежде чем Лютер предстал перед королевским сеймом (1521), свободная проповедь уже раздавалась в Цюрихе, и проповедь более радикальная, чем лютерская. Там же возникло (1525) движение анабаптистов, центрами которого стали Страсбург (1526), Нидерланды (1530) и Мюнстер (1533). В конце рассматриваемой эпохи проповедовать протестантизм во Франции стала Женева, только что освободившаяся от власти савойских герцогов (1524). Гордое национальное сознание швейцарцев, желавших иметь *свою* церковь, как и свою государственную самостоятельность, сделало их ревностными протестантами. Скоро религиозные споры стали угрожать распадом союзу кантонов, и Цвингли своей кровью († 1531) запечатлел эту распрю.

Точно так же на севере Европы национальный вопрос определил значение протестантизма. Король датский и норвежский Христиан II (1512-1523) господствовал над Швецией (1520-1523) с помощью казней, причем был ревностным католиком. Густав Ваза, освободив Швецию (1523) и сделавшись ее государем (1523-1560), стал ревностным лютеранином, и король датский Фридрих I (1523-1533), свергнувший Христиана, также распространил протестантизм на своих землях, несмотря на противодействие епископов. В Германии протестантизм, подчинявший духовенство светской власти и делавший го-

сударей в некотором смысле главами церкви, встретил сочувствие у большинства князей, которые благодаря этому становились еще более независимыми от императора. Таким образом, за короткий период времени протестантизм стал господствующей религией в значительной части Германии. Особенно это отвечало интересам гроссмейстера немецкого ордена, который становился, благодаря протестантизму, самостоятельным, наследственным государем. Поэтому Альбрехт Бранденбургский уже в 1523 году приглашал в Пруссию лютеранских проповедников. В 1524 году два прусских епископа (раньше всех епископов) приняли протестантизм, и в 1525 году Альбрехт стал герцогом Прусским с зависимостью от Польши. Конечно, мы не имеем права приписывать это явление сознательному расчету, но частные биографии и истории народов слишком часто представляют примеры весьма искренних увлечений личностей и обществ в ту сторону, которая им выгодна.

Само собою разумеется, не менее искренно было и положение, принятое Карлом V, наследником Фердинанда и Изабеллы в Испании и Америке (1516), Максимилиана I в Нидерландах, австрийских землях и в Германии (1519), а именно — положение защитника католицизма против ереси. Правда, что обширность его владений и дальнейшие виды на Италию вовлекли Карла в непрестанную борьбу с турецким султаном Селиманом II и, в особенности, с королем французским Франциском I. Наследник Селима I (1512-1520), истребителя шиитов и победителя египетских мамелюков (1517), Солиман, вслед за вступлением на престол (1520), завоевал Родос (1522) и донес свое знамя до самой Вены (1529). Карлу приходилось отбивать нападения мусульман в Европе и сражаться с ними в Африке (1535). С Франциском I (1515), победителем швейцарской пехоты при Мариньяно (1515), Карлу пришлось вести ряд войн, в высшей степени разорительных для обоих государств (1512-1526, 1527-1529, 1532-1538). Это побуждало Карла временно относиться к протестантизму снисходительно. Тем не менее, он выжидал лишь удобной минуты для того, чтобы выступить против своих политических противников в Германии, и они хорошо знали это, поэтому поспешили составить в Шмаль-

кальдене союз (1531). Но насколько бессознательно, при всей искренности религиозных влечений обеих партий, они руководствовались политическими интересами, видно из того, что Филипп Гессенский, деятельнейший член Шмалькальденского союза, вступал в союзы с католической Баварией и Франциском I против императора. Лютер, столь неуступчивый в отношении Цвингли, давал согласие на двоеженство Филиппа, требуя лишь, чтобы это двоеженство оставалось тайным, а Меланхтон даже присутствовал при втором браке Филиппа. Наконец, Карл V, этот защитник католицизма против ереси, посылал свою армию против папы Климента VII (1523-1534), и войска римского императора повторили подвиг Гензерика, разграбив Рим (1527).

Характерной для внутреннего значения Реформации была ее судьба в Англии. Там сел на престол приятель гуманистов и особенно Томаса Мора, покровитель Ганса Гольбейна (1498-1554), знаменитого «Пляской смерти», Генрих VIII (1509), от которого Эразм ожидал золотого века. Протестантизм быстро нашел в Англии приверженцев, и уже в 1577 году епископ Фокс требовал реформы церкви от Вольсея, главного руководителя политики Генриха. Но гуманисты в Англии, как и Германии, чувствовали, что реформационное движение, которое они поддерживали в его оппозиционных началах, по своим положительным стремлениям ведет европейскую мысль совсем не в ту сторону. Поэтому ни один из замечательнейших представителей гуманизма этого времени не вступил в ряды реформаторов. Они содействовали и тому, чтобы Генрих, готовившийся при жизни старшего брата, Артура, к вступлению в духовенство, противодействовал развитию лютеранизма. Его сочинение против Лютера (1522) было просмотрено Мором и поддержано Эразмом, что и вызвало спор последнего с Лютером. Но Генрих принадлежал к одному из чистейших типов деспотов, которые пытались в Европе осуществить идеал государя, стоявшего выше законов. Ослабление дворянства в войне Йорков с Ланкастерами и политическая апатия, всегда следующая за эпохами политического возбуждения, если оно не привело к улучшению общественных форм, при непривычке английской нижней палаты к государственной инициативе, давали Генриху возможность проводить в



этом отношении эксперименты, невозможные ни прежде, ни после того. Грабеж страны под формой закона для воинственных предприятий и неограниченной роскоши короля зашел так далеко, как только можно было его довести без опасения восстания. Когда же королю, после двадцати лет брака, вздумалось развестись с его первой женой, Катериной Аррагонской, то он принял в религиозном отношении весьма оригинальное положение. Отвергнув авторитет папы, Генрих объявил себя главой церкви уже в более прямом значении, чем это сделали протестантские князья Германии, провозгласив себя главами церкви. Он стал установителем догмата. Он захотел поддержать данный ему Львом X титул *defensor fidei*, оставив католическую церковь без папы и строго охраняя ее чистоту, причем, впрочем, он несколько видоизменил догматы. Вследствие этого лютеран стали жесть в Англии как еретиков, а католиков вешать, как врагов супрематии короля. Но какую важность могли иметь для короля эти казни, когда ему ничего не значило казнить такого человека, как Томас Мор († 1535), и даже королеву Анну († 1535), из-за которой он начал реформу, сверг всемогущего Вольсея († 1530), заключил в темницу первую жену († 1534). Духовенство Англии с покорностью и страхом соглашалось со своим королем-папой, когда парламент нарушал все юридические традиции, посылая на эшафот кого угодно по желанию короля, и еще радуясь, что грабеж богатых монастырей Англии давал Генриху возможность не требовать новых сборов с народа.

Франция была самой прочной опорой католицизма в это время. На ее престоле с 1515 года сидел Франциск I, один из многих государей Франции, которых литература до нашего времени окружала крайне не заслуженным ореолом какого-то рыцарства. Развратник до мозга костей, он был готов давать какие угодно обещания, чтобы сразу же протестовать против них и нарушать при первом удобном случае. Деспот в душе, он нагло объявляет парламентам и государственным чинам, что не признает никакого права вне своей власти, и в то же время готов был маскировать свою лживость и фанфаронады правом парламентов регистрировать его приказания. Он губил свои армии по недостатку заботливости, разорял свой народ для бестолковых

предприятий, толкал своих лучших помощников (Бурбона, Дорию) на путь измены, сам изменял сплошь да рядом своим союзникам и никогда не умел вовремя начать войну или заключить мир. Перед ничтожеством его качеств как государя, кажется великим даже его соперник Карл, также не обладавший особенно замечательными свойствами, но, по крайней мере, последовательный. Религиозный вопрос занимал все умы при Франциске, и он выказался в нем столь же жалким, как и в других случаях. Из-за политических целей, совершенно чуждых Франции, он ввел в страну конкордат, отменявший прежнюю самостоятельность галликанской церкви. Союзник Солимана и немецких протестантов, он во главе процессии (1536) торжественно молился перед кострами, зажженными на шести площадях Парижа, в то время как остроумно придуманные качели то погружали мученика-реформатора в пламя, то выдергивали его из пламени, пока перегоревшие веревки не позволяли ему окончательно упасть в огонь. Если ловкое стихотворное послание Клемена Моро (1495-1544) побудило короля спасти один раз остроумного поэта, то скоро его снова схватили, угрожали смертью, пока Моро, наконец, из-за учащающихся арестов, не решился навсегда уехать из Франции, как пришлось это сделать весьма многим в следующие века. Но это гонение сделало Моро из автора легких произведений переводчиком псалмов и сатириком реформы. Гонения не остановили распространения учения. К учению склонялась и сестра Франциска, Маргарита Ангулемская, впоследствии королева Наварская, духовные стихи которой вызывали диатрибы Сорбоны и прямое обвинение ее коннетаблем Монморанси перед лицом короля в ереси. К протестантам присоединился и знаменитый Робер I Этьен из династии ученых издателей, оспаривавших во Франции славу Альдов. Франциск, охотно подражавший итальянским князьям в их деспотизме, разврате и покровительстве безвредной эрудиции, хвастался своим вниманием к Этьену, а также старался привлечь к своему двору художников и ученых. Леонардо да Винчи умер во Франции (1519), Приматачио († 1570) и другие украшали Фонтенебло. Итальянские ученые получали милостыню от короля Франции. Между тем «Базошь», давшая Франции народную драматиче-

скую сатиру, была запрещена (1540), и французская драма должна была возродиться в следующем веке лишь в чуждой для народа искусственной форме псевдоклассицизма. Самой важной заслугой Франциска можно назвать учреждение Французской коллегии (ок. 1530), которая оживила филологию и заставила Парижский университет, переживший свою славу и завистливо смотревший на новое учреждение, не ограничиться доносами на еретические лекции профессоров коллегии, но и улучшить свое преподавание. Притом Франциск действовал под влиянием первого знаменитого французского филолога, Гийома Бюде (1467-1540), получившего особую известность своим сочинением «Об асе и его разделении»<sup>1</sup>, а также защитой гелленистов от обвинения в ереси (1534). Франциск приглашал Эразма в новоучрежденную коллегию, но знаменитый гуманист, опасаясь за свою независимость, не поехал.

Свита Карла V привезла идеи протестантизма в Испанию, где, впрочем, наиболее популярной была мистическая сторона нового учения. Сочинения Лютера, Цвингли, Меланхтона, Буцера находили обширный сбыт и в Италии, где в самом начале рассматриваемой эпохи, в Риме, образовался кружок лиц, думавших о реформе церкви, а около 1520 года в Венеции были уже ревностные последователи нового учения.

Таким образом, во всей Европе умы были направлены на богословские вопросы. Гуманистов укоряли в языческих стремлениях; спор о пресуществлении волновал общество. Идеалы мучеников за религиозные убеждения вставали перед мыслью нового поколения и влекли его из школ, где профессор обращался к рассудку, в пламенные собрания сектаторов, где проповедник, готовый на смерть в любую минуту, говорил о таинствах, недоступных уму, о вопросах, неразрешимых рассудком. Интересы науки и общества, заботы о семье, согражданах, мирской свободе казались так бледны и мелки перед вопросами вечного блаженства, религиозной обязанности! И мученики шли на костры, а палачи делали свое дело. Национальный и се-

---

<sup>1</sup> Budé G. De asse. – Paris, 1514.

мейный союзы были разрушены во имя вражды относительно благодати и предопределения, относительно действительного или идеального присутствия тела и крови в хлебе и вине, относительно мессы или проповеди.

В то же время религиозное движение неудержимо и неизбежно истощало само себя, доходя до конца своего содержания. Лютер готовил «Катехизис»<sup>1</sup>, заканчивал перевод Библии (1534 г.). Меланхтон обрабатывал весь цикл лютеранского богословия. Молодой Кальвин выступал со своим «*Instituta christianae religionis*»<sup>2</sup>. Аугсбургское исповедание<sup>3</sup> заковывало лютеранизм в определенный догмат. Развитие в среде протестантизма прекращалось. Он оставил свою основную точку исхода – свободную личную веру на основании единственного авторитета – Библии, чтобы прийти к общему требованию всякой господствующей церкви: к чистоте и единообразию в догматических верованиях от всех членов церкви. Подавление крестьянского восстания (1525) и анабаптистов (1535) выделяло и это религиозное движение из народа. Страждущий, притесненный, безграмотный народ увидел, что господа пасторы, так горячо спорящие о благодати и пресуществлении, так же мало заботятся о *его* жизненных вопросах, как и епископы или монахи католицизма. Протестантизм с его тонкими схоластическими теориями остался религией богословов, как и прочие исповедания. Народ шел за своим пастором или епископом, подвергался казням, разорению, лил кровь в бесконечных религиозных войнах, потому что энергия предводителей всегда увлекает большинство. Но что общего было у крестьянина или ремесленника с проповедником-лютеранином, ругавшим реформата, или с проповедником-реформатом, ругавшим лютеранина? Жизнь шла своим чередом, а религиозные споры – своим.

---

<sup>1</sup> Лютер М. Катехизис. – СПб., 1529.

<sup>2</sup> Calvin J. *Instituta christianae religionis*. – Paris, 1535.

<sup>3</sup> Аугсбургское исповедание // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. – СПб., 1890-1907.

Но и цивилизованное меньшинство участвовало лишь во внешних проявлениях протестантского движения, а вовсе не было проникнуто религиозными стремлениями. Если протестантизм давал возможность соответствовать средневековой привычке мысли, а именно – отведению богословским вопросам главного места, то истинная религиозная потребность, потребность согласовывать все действия жизни с основаниями веры, проявлялась в очень небольшом числе личностей, и особенно мало в тех, которые стояли во главе самого движения. Мы видели, что за люди были Франциск или Генрих, посылавшие на казнь людей, отклонявшихся во мнениях от их взгляда. Последний коронованный папой (1530) римский император, Карл V, в своих стремлениях ко всемирному господству, также представляет весьма мало следов религиозного одушевления. Как только папа написал против него священную книгу (1526), он в Шпейере позволил себе следующее высказывание: «Пусть каждый в делах религии поступает так, как ему кажется лучше для ответственности перед Богом и императором». Это была первая юридическая санкция лютеранизма. Последний Медичи на папском престоле, Климент VII, со своими хитрыми приемами политики, лавирующий между властелинами Европы, также не напоминает фанатиков-пап прежнего времени. Вся его оппозиционная система, направленная против императора, исчезает, как только Медичи вернулись во Флоренцию (1529), несмотря на энергичную защиту города гениальным художником Буонаротти, ставшим инженером. Даже в Лютере, соглашающемся на секретное двоеженство Филиппа Гессенского, трудно не видеть сына времени, когда религиозные вопросы были несравненно более культурными привычками, чем высшими элементами цивилизации. Невольно бросается в глаза противоречие между первым из знаменитых тезисов Лютера (1517), что вся жизнь христианина должна заключаться в покаянии, и не менее знаменитым его изречением: кто не любит женщин, вина и песен, тот останется дураком на всю жизнь.

Религиозные вопросы уже в XVI веке были отголоском другого времени, и жизнь, с ее реальными задачами, назло главным представителям реформационного движения, бессознательно для них самих,

руководила ими несравненно больше, чем те мистические девизы, которые были написаны на их знаменах. Эти девизы, внося призрачные представления в историю, могли лишь отдалить европейское общество от рационального пути его развития, тем самым умножив страдания общества. Но как громко их не провозглашали, на каждом шагу под их маской боролись реальные интересы: экономические, политические, личные, научные, общечеловеческие, а мистика оставалась лишь в слове проповедника, религиозной песни, схоластических томах богословской полемики или в мечте галлюцинов, которых всегда было много в обществе.

Не лишено значения и то обстоятельство, что в то самое время, когда религиозные вопросы, казалось, руководили Европой, свои сочинения писал человек, который беспощадно критиковал политические идеалы современности, – Николо Маккиавелли († 1527). Один из деятелей во Флоренции в недолгий период ее свободы (1494-1512), он, с возвращением Медичи, потерял всякую возможность действовать политически, и 15 лет его произвольного досуга дали Италии несколько образцовых произведений ее литературы. Безнравственность Италии, и в особенности ее духовенства, отразилась самым наглядным образом в «Мандрагоре» и других комедиях Маккиавелли. Но его политические и исторические труды служат одновременно доказательством гениального ума автора и глубокого разложения национальной нравственности в его Отечестве. Приверженец республики, Маккиавелли был способен отнестись так же объективно безучастно к теории тирании, как математик к своей задаче. С самой беспощадной логикой представил он современным государям тот идеал, который ими руководил, и представил таким схожим, что никто не захотел признать его своим идеалом. Это было приведение к нелепости теории тирании. Когда Маккиавелли писал «Государя» и предлагал изгнанным и пытавшим его Медичи воспользоваться этой математической выкладкой, в то же самое время, в своих «Discorsi», он описывал для республики способы освобождения от тирании. Человек своего времени, он был слишком умен, чтобы говорить о нравственных обязанностях людям, которые потеряли всякое сознание этих основных

обязанностей человека. Оттого его откровенное игнорирование всяких нравственных требований, его наивное и холодное описание ужасов кровавого лицемерия Цезаря Борджии и других, ему подобных, дали произведения, сделавшие его имя нарицательным и вызвавшие обширную литературу опровержений, возражений, порицаний и т. д., чаще всего от тех, кто охотнее всего следовал на практике выводам Маккиавелли (например, от иезуитов и Фридриха II).

Строгие судьи гениального флорентинца должны вспомнить Италию его времени, разорение ее иноземцами, все усиливающееся господство в ней испанцев, измену национальным и даже местным интересам повсюду. Это была эпоха, когда в Италии можно было отдохнуть лишь на картинах Джулио Романо (1492-1546) и Корреджио (1492-1534). Даже комедии и сатиры Ариосто († 1534), написанные после его «Роланда», не представляют ничего замечательного. Искусственность Саннацаро († 1530) и манерность Берни († 1536), дидактические и драматические опыты Руччеллаи († 1526) еще меньше можно считать интересными явлениями. Прославленная латинская поэма «Syphilidis» (1530) ученого стихотворца-медика Фракасторо († 1553) может лишь удивить странностью сюжета. Впрочем, насколько Маккиавелли был не одинок в своих теориях, видно из посмертных «Советов» современника Маккиавелли, историка и государственного деятеля Гвиччардини († 1540), где высказываются совершенно такие же мнения, как и у Маккиавелли, хотя с меньшим талантом и только в пользу монархов.

Если самое видное стремление эпохи заключалось в возрождении богословского интереса, то нельзя сказать, чтобы рядом с ним не видно было в жизни обществ и других стремлений, где безусловный авторитет человеческого разума или личной мистики становился выше всякой буквы.

В этом направлении, по-видимому, действовала проповедь либертинов (известных лишь по полемическим сочинениям их врага Кальвина). Они в конце двадцатых годов XVI века встречаются в Нидерландах, во Франции, Женеве со своей проповедью живого духа, со своим пантеистическим представлением повсеместности Божьего Ду-

ха, с гордым отрицанием греха и обязательства общественных форм для возрожденного человека, в котором грех обратился в ничто и который поэтому равен Христу.

Еретики слишком часто обвиняются в безнравственности, чтобы можно было верить подобным обвинениям и в отношении либертинов, а частные случаи ничего не доказывают.

Наконец, гуманист Вивес (1492-1540) выступил представителем Нового времени как в том, что он, на основании более здоровой педагогики, требовал, чтобы начинали с ближайшего, то есть с доступного чувствам, так и в своих нападках на Аристотеля, уму которого он отдавал полную справедливость. Он требовал, особенно в сочинении «О причинах порчи искусств» (1531), обращения к исследованию природы путем прямого опыта, говоря, что именно в этом заключается настоящая следование Аристотелю.

Естественные науки доставили известность и репутацию колдуну учителю Агриппы Нетесгеймского, более важному по историческим трудам, аббату Шпангейма, Иоганну Тритгейму (1462-1516). Он заложил, можно сказать, в новой Европе начало истории ученых и церкви на основании критических приемов разработки материала.

Но несравненно характернее для этой эпохи появление Парацельса, или фон Гогенгейма († 1541). В своей бурной и беспорядочной жизни, как и в своем не менее бурном и беспорядочном учении, он соединял предвиденья Нового времени с привычками старого. Враг авторитетов, он гордо заявлял, что никто не должен подчиняться другому, когда может стоять на своих ногах. Он провозглашал себя авторитетом выше арабских ученых и Галена, сочинения которых он сжег (1527), как рассказывают, с не меньшей решимостью, хотя и с меньшей опасностью для себя по сравнению с Лютером, за несколько лет до этого сжегшего папскую буллу. Парацельс требовал наблюдения природы и исследования ее путем опыта. Он гордился тем, что ему на его пути светит свет природы, а не аптечная лампочка, и говорил: «Если кто-либо хочет писать и учить, он должен это делать на основании опыта. Основания всему получают не из головы, не по слухам, а из опыта, из разложения природы и изучения ее свойств». Поэтому



он обращался чаще к эмпиризму народных поверий, где думал найти прямые наблюдения, чем к учению профессоров в университетах, где, по его словам, умели только «обрезать деревья». В оппозицию как к средневековым схоластическим, так и современным ему гуманистам, Парацельс читал свои лекции по-немецки. В основание медицины он положил химию. Также он стремился применить свойства простых тел, известные горным работникам и алхимикам, к лечению болезней, а для этого во всяком органическом лечебном средстве пытался найти основной действующий элемент (квинтэссенцию), упрощая рецепты для действия сильными химическими средствами, в особенности же искал специфические лекарства. Но это теоретическое и практическое обращение к природе было у Парацельса основано на самой дикой мистической науке, которая носит характер средневекового отсутствия критики в самых безобразных формах. Здесь мирозерцание большинства, о котором мы говорили в начале, магическое действие веществ и невидимых олицетворений сил природы, смешивается с обрывками физиологических, химических и мистических теорий цивилизованного меньшинства. Пантеистическое распространение божественной силы, архей, оживляющие тела, свойства прочности (соли), изменчивости (серы) и жидкости (ртути), тартар, илиастер и мистические сигнатуры, каббала, требование добродетели и точный опыт, явное хвастовство и блестящие мысли составляют в мировоззрении Парацельса хаос. Этот хаос позволял и современникам Парацельса, и его позднейшим ценителям одинаково легко ставить его как среди гениальных представителей Нового времени, так и среди самых безобразных шарлатанов или полоумных писателей, которые сами не понимают своих слов. Его заслуги для техники медицины бесспорны, нельзя ни в каком случае отвергать, что с него начинает входить в жизнь химическое воззрение на явления. Именно под его влиянием химия из лаборатории мистических искателей философского камня перешла в область исследования медиков, следовательно, из орудия мечтательной философии стала орудием науки. Трудно сказать, насколько в других отношениях Парацельс способствовал движению идеи Нового времени: требования опыта на основании мисти-

ческих воззрений и борьба с авторитетами при тех безобразных формах ярмарочного шарлатанства, которое придавал своему учению вечно пьяный *Monarcha medicorum et Mysteriarcha chemicorum principes*, не могло привлечь умы к этому направлению мысли. Парацельса называли медицинским Лютером, но ему не хватало того, что заставляло даже противников уважать Лютера, – достоинства личности и жизненного такта. Лютер умел пользоваться временем и господствовать над ним настолько, чтобы в значительной степени подавить стремления, отличавшиеся от его направления. Парацельс был лишь отражением оппозиционного духа своего времени, насколько эта оппозиция уже склонялась к пути прямого исследования природы и вражде со всеми авторитетами. Эту сторону современной мысли он высказал в своей жизни ярко, но зато и несколько карикатурно.

Замечательно, что и Лютер в споре с Эразмом противопоставлял познание природы и ее изучение книжному учению роттердамского гуманиста. Правда, что Лютер в этом изучении, подобно Парацельсу, видел первую ступень для теологии, для изучения Создателя в создании. Наука следующего века должна была оставить в стороне всякие для нее посторонние цели, какими бы они ни казались высокими в других сферах. Духовные потомки Лютера осознавали, что добровольное изучение природы еще более оппозиционно в отношении к их стремлениям, чем к стремлениям гуманистов.

Работы по естествознанию продвигались вперед скромно, сопровождаясь шумом религиозной полемики и кровавой борьбой политических сил. Георг Бауэр, или Агрикола, работал сначала в Богемии (1527), потом уже специально в Хемнице (1531), полагая основания точной металлургии, особенно в ее химических процессах, и хоть немного систематической минералогии (по наружным признакам). Его «*Bergmannus*»<sup>1</sup> имело до восьми изданий. Между тем, постройка веронской цитадели привела (1517) к открытию большого числа ископаемых раковин, и для добросовестных наблюдателей (например, медик Фракостеро, 1483-1553) исчезло всякое сомнение в том, что это

---

<sup>1</sup> Bauer G. *Bergmannus*. – Berlin, 1530.

были раковины, принадлежавшие действительным животным, жившим на этих самых местах. Мысль Леонардо да Винчи, встречавшаяся, как мы видели, и прежде, о поднятии материков и действии на них воды, находила опытное подтверждение.

Но самые важные научные работы шли в области, где не приходилось дожидаться затруднительных наблюдений и проводить опыты, для которых не существовало еще порядочных инструментов, а именно – в области математики, хотя рассматриваемая эпоха не дала ни одного первостепенного труда. Живописец Альберт Дюрер издал свое сочинение о перспективе (1525). Иоганн Вернер († 1528) пытался развить дальше геометрию древних. Но все эти произведения должны были померкнуть перед мировым блеском труда, о котором пока еще никто не знал, но который в кабинете фрауэнбургского каноника (1510) подготавливал более сильный удар авторитету пап и древних авторов, чем вся полемика Лютера и Цвингли против католицизма, или Парацельса против Галена. Правда, что влияние труда Николая Коперника должно было быть враждебно не только авторитету Фомы Аквината, но и Лютера. Поэтому впоследствии не только католическое духовенство Варшавы нашло нужным в 1829 году отсутствовать на празднестве в честь знаменитого поляка, но и в наше время пасторы лютеранизма приходят к убеждению, что для их мирозерцания нужно, чтобы Земля стояла на месте, а Солнце двигалось.

Но сочинение Коперника еще не появилось, и внимание большинства было обращено на те открытия, которые представляла Европе новая часть света. На второй год царствования Карла в Испании, испанский корабль (1 марта 1517 года) впервые наткнулся на цивилизованную страну в Америке. Это был Юкатан. В следующем году послы императора Монтесумы приветствовали белых пришельцев. Жажда богатств быстро двинула на материк Мексики толпы конквистадоров. В 1519 году Фернандо Кортес вступил на почву новой страны, и в 1521 году империя Монтесумы перестала существовать, в то самое время, когда средневековые права кортесов были окончательно раздавлены войском Карла после неудачной борьбы (1519-1521). Вместе с

известиями о богатствах, награбленных испанцами, Европа узнала о государстве с особым строем, обширной культурой, целой системой религиозных мифов, историей, лежавшей вне всех европейских преданий.

20 сентября 1510 года берега Испании оставила эскадра, отправлявшаяся в первое кругосветное путешествие. В ноябре того же года Магалхаэс (Magalhaes, Магеллан) вступил в Восточный океан, обойдя Южную Америку, и смерть предводителя (27 апреля 1521 года) не помешала единственному целому судну эскадры вернуться на Родину через 3 года и 14 дней после отъезда (6 сентября 1522-го). Оставшиеся в живых 18 человек экипажа обошли земной шар.

Как только испанцы высадились на берега Восточного океана, они начали свои хищнические экспедиции. В 1524 году Франсиско Пизарро появляется на берегах империи инков, и в 1533 году последний центр туземной цивилизации в Америке вместе со столицей Перуанской империи был разрушен европейскими разбойниками. Под знаменем христианской пропаганды варварство воцарялось на всем материке Нового Света. Король испанский и император римский могли сказать, что в их государствах солнце не закатывается.

В то же время в Индии возникло так называемое царство великого Могола (1525) под правлением Мохаммеда Бабура (1483-1530). Оно стало новым центром мусульманской цивилизации, а на равнинах Руси под ударами Василия Ивановича (1505-1533) пало последнее северно-русское народоправство – Псков (1510), а к Москве был присоединен последний княжеский удел (1525). Типография Скорины в Вильне выпускала первые русские издания (1517), а Максим Грек неутомимо боролся за распространение просвещения (1518-1556), и, под правлением литвянки Елены Глинской (1533-1538), первый раз кнут опустился на спины русских вельмож.

## **6. Предшественники Нового времени (1536-1559)**

Четвертая эпоха рассматриваемого периода носит характер определительного предвестия Нового времени. Оба элемента, состав-

лявшие главный интерес предыдущих эпох, как они представляли идеальные стремления Средневековья, истощились настолько, что передовые люди поняли тщетность мечтаний предков.

До Петрарки думали найти в древних авторах неисчерпаемую мудрость, после него искали в них неисчерпаемые источники красоты. Жаловались, что древних авторов нет, что рукописей мало, что они дороги. Рукописи нашлись, а книгопечатание их удешевило. Восхищение было безмерно. Но подражатели древних произвели литературу, интересную лишь для самих авторов и их приятелей. Красоты Гомера и Горация были бесспорны, но гуманисты осознавали, к собственному удивлению, что остроумный «Фаблио», рассказ из цикла Карла Великого, личная современная сатира или гимн Лютера гораздо более будоражат их самих, чем превосходнейшие произведения греков и римлян. Латинская поэзия Нового времени оказалась бумажным цветком, и французские, немецкие, итальянские, испанские поэты стали писать на своих *варварских* языках. Они просили прощение за это, но делать было нечего: иначе их не стали бы читать. Относительно предполагаемой мудрости древних тоже скоро разочаровались, когда большинство сохранившихся текстов было издано. В девятнадцать столетий, прошедших от Платона и Аристотеля до Леонардо да Винчи, Маккиавелли и Томаса Мора, обстановка общества, требования знания и задачи жизни изменились настолько, что древняя мысль могла служить лишь одним из многих положительных элементов науки и практической философии Нового времени. Огромный материал, завещанный новой Европе классическим миром, был драгоценен. Однако передовые мыслители убедились, что он должен быть, по своему содержанию, подвергнут критике, которая вынесет свои приговоры на основании положений, выработанных европейской мыслью Нового времени. Древний мир требовал не поклонения, а понимания, как особенного, *минувшего* мира, возвращение которого невозможно. К этому распространяющемуся убеждению передовых деятелей в области мысли присоединилось сознание, что союз, заключенный между церковью и гуманистической эрудицией, не пойдет в пользу первой. Вслед за Альбертом Великим и Фомой Акви-

натом выступили аверроисты, Марсиль Падуанский, Помпонаций. Вслед за Петраркой пошли платоники-пантеисты, скептики, Эразм. Нетрудно было папам заметить, что в их интересах опасно следовать покровителям гуманизма – Николаю V или Льву X. Пока католицизм был один в Западной Европе, можно было на это не обращать внимания, потому что десятину все-таки платили, индульгенции покупали, а распространяющееся неверие не пошатнуло строя духовенства. Но когда протестантизм мог лишить папство доходов, когда пришлось спорить о церковном владычестве с другим исповеданием, то дело стало совсем иным. Но точно так же протестантизм не мог благоприятно смотреть на гуманистов. Как движение, старавшееся внести как можно больше религиозного элемента в жизнь, протестантизм не мог не понять, что языческий мир, становясь предметом почитания, весьма плохое орудие для развития христианского чувства. Он не мог не видеть, что среди гуманистов развиваются скептицизм и индифферентизм, а вовсе не стремление к религиозности.

Отсюда быстрое ослабление гуманистического движения как в Италии, бывшей до сих пор его центром, так и в протестантских странах Европы. Как только папы перестали покровительствовать гуманистам, и как только значение различных центров итальянской жизни ослабело под влиянием испанского господства, число гуманистов в Италии уменьшилось. К концу рассматриваемой эпохи только Петр Викториус (1499-1585) и Карл Сигониус (1524-1584) были замечательными представителями итальянской эрудиции. В Германии оппозиция Лютера против Эразма, а после – приверженцев Лютера против приверженцев Меланхтона, привела к подчинению школ и университетов богословским целям, к сужению занятий и рутине, продолжавшейся до XVIII века. Оттого филологи потеряли в Германии значение, а их положение стало весьма бедственным<sup>1</sup>. Из замечательных германских деятелей в этой области к рассматриваемой эпохе относятся лишь Камерариус (1500-1574) и Штурм († 1589). Хессель (Казе-

---

<sup>1</sup> Эразм верно предсказал для ближайшего времени: «Всюду, где царствует лютеранизм, гибнут литературные занятия».

лиус, 1533-1613), которого мы здесь упоминаем для связи, был *последним* замечательным гуманистом Германии до XVIII века.

Выгоднее всего в этом отношении было положение Франции. Несмотря на гонения гугенотов, французские короли слишком дорожили самостоятельностью своего государственного авторитета, чтобы подчиниться католической реакции, но они не стали и во главе церкви, как государи Англии. Для французского правительства реформа была скорее практическим, чем теоретическим вопросом. Строй реформаторских общин, не признававших иерархии, гораздо больше вызывал преследование, чем теоретические основы их верований. Короли Франции заботились о внешнем единстве церкви гораздо больше, чем о внутреннем. Именно поэтому Франция в эту эпоху развивает гуманистические тенденции, а в следующую выдвигает замечательнейших филологов Европы. Здесь, конечно, надо, прежде всего, упомянуть семью Этьенов, издания которых положили начало серьезным работам во Франции в этой области. Правда, их протестантские убеждения наложили печать на их деятельность. В 1550 году Робер Этьен оставил Париж для Женевы и напечатал (1552) свое резкое оправдание. Однако его сын, Робер II, продолжил традицию Этьенов в Париже в то время как другой сын, знаменитый Анри Этьен (1532-1598), впервые издал Анакреона (1554) так, как он теперь известен, Диодора Сицилийского с десятью новыми книгами и цицероновский «Лексикон» (1557), где Анри Этьен высказал свою ученую самостоятельность тем, что исправлял ошибки в текстах великого оратора. Столь же серьезными для знакомства с древним миром были труды Жака Амио (1513-1593), особенно как переводчика Плутарха (1559). Впрочем, в самой заметной форме процветания гуманизма во Франции выказалась вся безжизненность этого направления в отношении к вопросам Нового времени. Жан Дора, или Auratus († 1588), был учителем ряда восторженных почитателей древности, замечательным латинистом и эллинистом и, по словам своих учеников, *новым Пиндаром* в стихах на классических наречиях. Из его школы вышла знаменитая французская плеяда XVI века (он сам был включен в нее), которая пыталась внести формы древних языков во французский

язык, породила период псевдоклассицизма в литературе, совершенно отделившей цивилизованное меньшинство от народа, и, несмотря на свою громкую славу среди современников, потеряла всякое значение в следующий период. В 1549 году появился манифест новой школы поэтов, написанный Жоашеном дю Белле (1524-1560) (*французским Овидием*, по словам товарищей) о систематическом обновлении французского языка и литературы. В следующем году было напечатано произведение главы школы («Аполлона, источника муз», по словам Марии Стюарт), великого пиндаризатора, Пьера Ронсара (1524-1585). Рядом с ним сражался Баиф (1552-1589), который за свои старания ввести латинские сравнительные во французский язык удостоился *похвального* послания, в котором его называли «Docte, doctieur et doctime Baif».

Наконец, к плеяде принадлежал и Жодель (1532-1573), автор первых драматических произведений по образцу древних пьес, за которые его товарищи по плеяде, согласно древнему греческому преданию, почтили Жоделя увенчанным козлом и пением пэана. За три года до появления «Клеопатры» Жоделя<sup>1</sup>, французские парламенты запретили представление мистерий (1549), как за девять лет перед тем Франциск I заставил молчать драматическую сатиру «Базошь»<sup>2</sup>. В том же 1549 году Павел III запретил драматические представления в Колизее. Средневековое искусство, которое, при всех своих дикостях, имело ту важную заслугу, что было искусством для народа, исчезало под давлением новой цивилизации и меньшинства, желавшего искусственных элементов в поэзии, вследствие временного господства искусственного взгляда на красоту, как на исключительную принадлежность древних форм.

Другой элемент предшествующей эпохи, религиозная реформа, выказал теперь всю сухость своего содержания. Уже давно, со времен блаженного Иеронима, вздыхали о том, что церковь не соответствует своим требованиям. Сначала думали помочь, вытесняя из нее ерети-

---

<sup>1</sup> Jodelle É. Cléopâtre captive. – Paris, 1553.

<sup>2</sup> Jodelle É. Bazoches. – Paris, 1549.



ков, усиливая значение епископов и папы. В эпоху Григория VII пытались реформировать церковь регламентацией, исходившей от пап, безбрачием духовенства, усилением аскетизма. Потом остановились на мысли, что зло в церкви лежит именно в католической иерархии, в противопоставлении католицизма Библии. Со всех сторон слышались голоса, что надо устроить церковь по бесспорному авторитету Библии, авторитету, доступному и ясному для всех, потому что Библия — слово Божье. Это, наконец, удалось. Библия, как бесспорный, божественный авторитет, легла в основу учения Лютера и Цвингли. Но оказалось, что даже эти люди, проникнутые глубокой религиозностью, не могли сойтись в догматах. Буква разных исповеданий и конкордий давила мысль не меньше буквы папских булл. Еще в начале тридцатых годов вышел из лютеранизма Швенкфельд (1490-1562), требовавший большего внутреннего богопочитания, чем то, которое давал лютеранизм. В 1537 году Грикель (Агрикола) Эйслебенский (1492-1566) начал спор антиномистов из-за того, насколько закон должен стоять ниже веры. После смерти Лютера (1546) полемика богословов усилилась. Андрей Озиандер (1498-1552), о заслугах которого по научным изданиям скажем ниже, вызвал в новом, Кенигсбергском университете (1546) своими мнениями (1549 и сл.) жестокий спор о том, божественная или человеческая природа Христа послужила к оправданию верующих. Этот спор продолжался и после смерти Озиандера и довел до казни его зятя, Функа (1566). Еще жарче был адиафористический спор, начавшийся в 1548 году, о том, что именно можно считать безразличным (адиафорой) в религиозном веровании.

Причем Флацих (Флациус, 1520-1575) осыпал Меланхтона самыми изысканными ругательствами. Тот же Флацих, со многими другими, восстал против Георга Майора (1502-1574), который неосторожно защищал (1552) мнение, что добрые дела необходимы для спасения, тогда как его противники утверждали, что для этого необходима лишь вера, из которой добрые дела следуют сами собою. Майор был лишен всяких средств к существованию и умер в нищете. Опять Флациха встречаем в споре (нач. 1555) о том, вызывает ли Святой Дух в воле, прежде всего, желание спастись, или спасает человека совсем

независимо от его воли. Из-за этого несколько иенских пасторов были (1559) ночью схвачены в кроватях и заключены в тюрьму. Сам Флацих через 3 года был низложен и выслан за то, что принимал первородный грех за субстанцию, а не за принадлежность (*accideus*) человеческой природы. В то же время с прежним жаром продолжались споры между лютеранами и реформатами, а частью и в среде самих лютеран, о пресуществлении хлеба и вина. Реформаты — беглецы из Англии — не могли найти себе приюта в лютеранской Германии. Лютеранские богословы называли их мучениками за дьявола и говорили, что скорее можно терпеть папистов, чем этих еретиков. Среди этих споров, вовлеченный в них назло своей мирной натуре, раздражая сухих фанатиков буквы лютеранизма своей уступчивостью, умер Меланхтон (1560). Слабеющей рукой он написал предсмертные слова: «Ты будешь избавлен от всех забот и бешенства богословов» (*et a vabie theologorum*).

Героем реформационного движения этой эпохи был Жан Кальвин, уже известный первым изданием своей «*Institution*» (1535). Он испугал Женеву своим ригоризмом во время первого своего пребывания там (1536-1538), был изгнан, но вернулся (1541) духовным и светским диктатором республики. С тех пор Кальвин, на протяжении 23 лет († 1564), господствовал в Женеве, неумолимо преследуя всякое разномыслие, сделав ее центром реформационного движения для значительной части Европы. Это была одна из тех фанатичных натур, которые, во имя предполагаемого долга, могут задавить в себе всякое человеческое движение и столь же беспощадно требуют от других безусловной покорности. Против него в Женеве стояли либертины — пантеисты с требованием духовной свободы совести для личности. Против него были и либертины-политики, только что освободившие Женеву (1535) от господства Савойи, конечно, не для того, чтобы подчиниться инквизиции богословов. Кальвин сломил все сопротивление с опасностью для собственной жизни, но не щадя и своих противников. Его неумолимый характер отразился и в богословии позднейших переработок его «*Institution*»<sup>1</sup>, где он утверждал, что Бог предо-

---

<sup>1</sup> Calvin J. The Institutes of the Christian Religion. — Paris, 1536.

пределяет не только спасенных к блаженству, но и грешников к гибели. Кальвин организовал в Женеве строгую теократию консистории, с подчинением граждан изысканной богословской полиции и отрицанием всякого права свободы мысли. Консистория стала грозой граждан, а толпы французских эмигрантов – поддержкой деспотизма Кальвина. В 1547 году не посещение церквей каралось денежными штрафами. Запрещено было изготовление игральных карт. В 1550-м учреждены домашние посещения членов консистории для исследования веры и нравственности всех граждан республики. За то, что Амо назвал Кальвина злым человеком, его провели в рубашке по городу с зажженной свечей в руках до виселицы, под которой он должен был просить прощение у Кальвина. Итальянку выгнали из Женевы за неосторожное выражение против Кальвина и консистории. Одних наказывали за танцы, других – за то, что они смеялись во время проповеди Кальвина. В 1558 и 1559 годах было 400 случаев подобных наказаний. В 1564 году на публичное покаяние был осужден гражданин за то, что не причащался в Духов день. Игроков выставляли к позорному столбу с картами на шее. Ребят секли по приговору суда и даже казнили за оскорбление родителей. Всеобщий террор, во имя очищения веры, господствовал в Женеве. Под руководством Кальвина Реформация доказала, что она несколько, по своей сущности, не допускает большей свободы мысли и совести, чем католицизм. Последовательно развивая свой принцип преобладания религиозного начала в жизни, она должна была дойти и дошла до террористической теократии, домашней инквизиции, всеобщего наушничества и казней.

Главным помощником Кальвина был Теодор де Бэза, особенно важный, как апостол кальвинизма во Франции, подобно тому, как Кнокс (1505-1572) стал его апостолом в Шотландии. Теодор де Бэза был руководителем Реформатской академии в Лозанне (1549-1558), а потом в Женеве (с 1559), остроумный сатирик и полемик на защиту кальвинизма. Но несколько богословское подчинение затемняло его мысль, видно из того, что он не постыдился быть защитником казни Сервэ.

Женева казалась центром свободы совести для всех гонимых за веру в католических землях, но когда эмигранты-еретики попадали в

это место спасения, они замечали, что могут оставаться тут лишь в том случае, если думают так, как женевская консистория относительно догматов и жизни. В этом отношении особенно важно направление унитариев (позже социниан), которое представляло весьма заметный фазис в развитии протестантизма. Оттого ли, что средневековая схоластика с особым старанием останавливалась на догмате Троицы, оттого ли, что, в своих практических стремлениях, Лютер, Цвингли и Кальвин не видели нужды останавливаться на этом трансцендентном положении, то главы реформы лишь изредка касались его в своих главных работах. Тем не менее, унитаризм нашел себе довольно ранних представителей. Гецер (+ 1528) сближал его с анабаптическими стремлениями. Себастьян Франк (+ 1545), первый историк на немецком языке, связывал его с пантеистической философией, которая делает Франка предшественником новейшего идеализма. Клавдий Савойский проповедовал унитаризм в Берне (1534). Однако это учение особенно развилось в Италии, где умы, привыкшие в гуманистических школах более свободно относиться к религиозным вопросам, и в то же время более склонные к отделению теоретических воззрений от практических, смело обратились к основному догмату. Камиллус Ренатус из Сицилии проповедывал (с 1542) в Киавенне и оставил значительную школу. Под его влиянием (с 1547) начал действовать и Лелио Соццини (1525-1562), неутомимо разносивший унитаризм от берегов По и Темзы до берегов Вислы. Поразительнее всего было причисление к этому учению пламенного проповедника, Бернардино Оккино (1487-1565), папского духовника, а потом генерала ордена капуцинов, незадолго перед тем отделившегося от францисканцев (о чем скажем ниже). Не останавливаясь на многих других унитаристах этого времени, мы должны упомянуть о Микаэле Сервето, или Сервэ. Этот испанец, углубившийся в философские мечтания, был одним из первых ученых своего времени. Он издавал древних авторов, знал анатомическое строение пути легочного кровообращения и, может быть, открыл бы большое кровообращение за  $\frac{3}{4}$  века до Гервэ, если бы ему разрешили жить дольше. Но его пламенная натура и страсть к полемике создавала ему всюду врагов. В 1538 году его полемика против невеже-

ственных медиков заставила его оставить Париж. В 1542 году его предисловие к изданию Библии, вследствие его способа объяснять пророчества, вызвало порицание. Уже в 1546 году Кальвин угрожал ему казнью. В 1553 году его «Восстановление христианства»<sup>1</sup>, направленное против различия ипостасей и крещения детей, привело к суду над ним во Вьенне. Он бежал из тюрьмы, предоставляя королевскому и духовному суду сжигать его en effigie, но имел неосторожность остановиться на месяц в Женеве. Кальвин донес на него и добился его осуждения на смерть. Предшественник Гервэя был сожжен в Женеве (1554). В то время как унитаристы восставали в многочисленных сочинениях против варварства Кальвина, а католики со злорадством указывали на его нетерпимость, значительнейшие богословы обеих протестантских сект — Меланхтон, Буллингер и Бэза — оправдывали казнь. Костер, на котором сгорел Сервэ, утвердил владычество Кальвина в Женеве, но тем самым осветил истинное значение протестантизма. В самой его сущности лежала не свобода мысли, не гражданская свобода, как до сих пор говорит большинство историков, а подчинение всех жизненных элементов религиозному верованию, нетерпимость относительно всех мирозозерцаний, кроме того, которое верующий считает истинным. Оно так и должно быть. Кто верит, что ему открыта сверхъестественная истина сверхъестественным путем, должен видеть грех и преступление во всяком разномыслии, и терпимость для него слабость. Только тот может иметь терпимость по отношению к другим мнениям, кто знает, что его убеждение получено на основании критики, должно постоянно проверяться, и может, как всякое естественное человеческое знание, всегда допускать исправление. Но это точка зрения *науки*, а не *религии*. Унитаризм был естественным врагом протестантизма, потому что допускал возможность коснуться самых основных догматов христианства, и его последователей можно назвать христианами лишь по имени. Разрешить критику унитарьян, значило допустить, что критика — единственное орудие мысли для получения истины, что мысль человека — высший автори-

---

<sup>1</sup> Calvin J. Christianismi restitutio. — Paris, 1553.

тет. То есть, допустить для области религии то, что едва допускали в области почитания человеческих авторитетов школы. Протестантизм, как *реакционный элемент*, этого допустить не мог, и должен был бороться на смерть с унитаризмом. Кальвин был лишь последовательнейшим из протестантских проповедников, да и обстоятельства были для него удобнее. Оттого он пришел к теократии, инквизиции, казням.

Пока, таким образом, протестантизм логически шел к своим выводам, католицизм, озадаченный бурей, против него поднявшейся, вызывал из своей среды те могущественные орудия, которые должны были обновить его внешние формы. Его крепкая организация, несмотря на упадок внутреннего содержания, предоставляла ему еще много средств для борьбы.

На папском престоле в это время сидел Павел III Фарнезе (1534-1544), один из тех светских пап прежнего периода, для которых возвышение родственников, великолепные постройки и политические вопросы были единственным важным делом. При нем Фарнезе сделались одним из княжеских домов Италии, а Парма и Пьяченца страдали от тирании его сына. При нем Микеланджело закончил свою громадную фреску страшного суда (1541) и взял в свои руки работы по постройке собора св. Петра, работы, завершившие жизнь великого художника († 1564), который, в своих стихотворениях, выказал больше патриотизма, чем современные ему самые блестящие представители итальянской литературы. При Павле III прославился художник Бенвенуто Челлини (1500-1570), которому пришлось посидеть, по воле папы, в крепости св. Ангела, откуда он бежал во Францию. Но, несмотря на светские стремления Павла III, опасность, угрожавшая католицизму, была так заметна, что он невольно стал орудием партий, направлявших папство на прежний путь григориев и иннокентиев. Около него собралась комиссия, где фанатичный Караффа, цистеронианец Садолет и другие, смело высказали (1538) мнение о расстройстве церкви, что это решение кардиналов пришлось через 20 лет поместить в «Индекс». Деятельнее и энергичнее всех для возрождения католицизма действовал кардинал Караффа, основатель ордена театинцев (1524). Под его влиянием папа учредил в Италии инквизицию

(1542), устроив главный ее центр в Риме. Именно с этого времени начинается окончательное падение итальянского гуманизма, о котором мы говорили выше, и ослабление преподавания в итальянских университетах, так как свобода слова и мысли стала опасностью. Это же энергичное орудие в руках Караффа истребило протестантизм в Италии, имевший уже немало последователей.

Но самое важное орудие возрождения католицизма заключалось в новых духовных орденах, основанных в это время. В 1525 году от францисканцев отделились капуцины. Это отделение произошло, по-видимому, лишь из-за вопроса о форме капуцы (колпака) на монашеской рясе. Но в сущности, это было возрождение нищенствующих орденов, сослуживших такую важную службу папству в XIII веке. Но теперь папство уже не смотрело подозрительно на их отрицание собственности и всей блестящей внешности католицизма, как бы в укор своей светскости. У него были другие, более опасные враги, и оно предоставило капуцинам оставаться босоногими, грязными и нищими, чтобы воспользоваться тем влиянием, которое аскетизм и лишения производят на нищую и неразвитую массу. Прошло время, когда нищенствующие ордена смогли выставить соперников папской власти в ученых, профессорах, собиравших около себя десятки тысяч слушателей и служивших умственной поддержкой светской власти королей и императоров. Враждебная папству наука выскользнула из рук монахов: враждебные им богословы были протестантами, враждебные им философы – светскими гуманистами, а вскоре получили возможность опереться на более прочное основание – науку природы. Капуцины могли стать лишь орудиями, а не противниками папства.

Как грубая проповедь и аскетическая внешность капуцинов были направлены на простонародье, так, для завоеваний в среде цивилизованного меньшинства, католицизм выдвинул в эту эпоху самых энергичных своих защитников. Они должны были ощутимо доказать мыслящему человечеству, какие силы лежат в сущности нового католицизма, как строй Женевы при Кальвине должен был показать ему, в чем сущность протестантизма. Мы говорим об иезуитах, для кото-

рых монашеский дон Кихот, дон Иниго, Лопес де Рекальде, или Игнатий Лойола (1491-1556), получил в 1540 году утверждение от папы. Если его товарищу и наследнику, Лайнесу, принадлежит передел ордена в самое могущественное орудие для противодействия человеческому развитию, то основатель иезуитов уже сообщил в своих *упражнениях* самый искусный способ, как педагогически развивать в личностях помешательство. Они методически доводили человека до той мысли, которую нужно было внушить помешанному. Они доводили пациента до пункта, где фантастическое настолько переплеталось с реальным, что личность становилась орудием в руках человека, ее направляющего, но фантастические образы не получали еще того преобладающего значения, которое может создать из сумасшедшего новую, самостоятельную личность. Полупомешанный установил теорию, как делать других столь же помешанными, как он сам, и систематически противопоставлять армию людей без критической мысли новому миру, который собирался всюду внести критику. В то время как Лойола устанавливал орден иезуитов в Европе, самоотверженная миссия Ксавера, на протяжении десяти лет (1542-1552), проповедовавшего христианство в Азии, окутывала этот орден ореолом апостольского подвижничества.

Значение иезуитов, как безусловных защитников папства, проявилось уже в первый период заседаний Тридентского собора (1545-1547). Все бури, заботы, колебания и случайности эпохи отражались на этом собрании, которое должно было столько раз изменить свой характер. Доминиканцы спорили с францисканцами о схоластических догматах. Епископы пробовали отстаивать свое божественное право против мысли о том, что они делегаты пап. Император хотел использовать собор для политических целей, а папа – для иерархических. Догматы католицизма, в виду протестантского отпадения, устанавливались с большей определенностью, и давали еще меньше, чем когда-либо, свободы личному убеждению и местным потребностям. Но между тем, как эти различные силы боролись за свои специальные стремления, ход заседаний собора определялся течением внешних политических событий.



Взаимно обманывая друг друга рассчитанными любезностями, Франциск и Карл дошли до новой войны (1542-1544), во время которой император и английский король собирались разделить Францию. В это время христианский король не только обращался к протестантам за границей, истребляя у себя еретиков огнем и мечом, но прямо призвал турок разорять христианские города. Тем не менее, война закончилась лишь страшным разорением народа, увеличением налогов, которые вызывали возмущения (в Ла-Рошеле в 1542 году), и новыми лицемерными любезностями. Истощенный развратом, Франциск передал корону (1547) еще более ничтожной личности, Генриху II (1547-1559). Вместо всемогущей герцогини д'Этамп руководить делами стала Диана Пуатье, герцогиня Валентинуа, которая была на 20 лет старше своего любовника, и заподозренная историками в том, что она была одной из жертв сластолюбия Франциска. Ее помощником был гордый и кровожадный интриган, коннетабль Анн де Монморанси. Оба они были ревностными католиками, и казни протестантов участились. Притеснения народа вызвали восстания, которые были подавлены в крови. Они вызвали (1548)<sup>1</sup> и знаменитое произведение друга Монтеня, Ла-Боэти «*Le contr'un ou de la servitude volontaire*»<sup>2</sup>, где высказана революционная мысль, что рабское чувство народов обращает их в рабство, а их трусость составляет силу дурных монархов. Для того чтобы быть свободными, им достаточно не поддерживать власть. Тяжесть общественного положения показало в то же время и другое сочинение, важное потому, что указывало ход общественной мысли. Это «*Arrêts royaux*» (1556) Рауля Спифама, где предлагается полная реформа общества: налог на доходы, секуляризация духовных земель, переплавка колоколов в орудия и монету, начало нового года с 1 января, доставление в публичные библиотеки по экземпляру всех по-

---

<sup>1</sup> Согласно Де-Ту и большинству биографов, «Фежэр». Впрочем, Пайен в своей биографии (1853) доказывает, что сочинение Ла-Боэти написано в 1546 году, когда ему было 16 лет.

<sup>2</sup> La Boétie E. *Le contr'un ou de la servitude volontaire*. – Paris, 1548.

являющихся сочинений, надзор за нездоровыми жилищами, защита бедных классов от богатых и т. п.

Двумя месяцами раньше Франциска умер Генрих VIII (1547). Он казнил двух жен и едва не казнил еще одну (шестую). Шесть пунктов догмата, им установленного (1539), вызывали беспрестанные казни искренних католиков и протестантов. Парламент был одинаково готов признать дочерей короля незаконными, как и способными наследовать престол Англии. Льстецы, подобные Кромвелю и Норфольку, были столь же близки к эшафоту, как смелые противники деспотизма монарха. Кромвель был казнен (1540); Норфольк не смог спастись от осуждения на смерть, даже обвинив своего сына, поэта Соррея. Сына казнили, но смерть короля спасла отца. Царствование Эдуарда VI (1547-1553) представляло лишь ряд интриг со стороны партий, желавших управлять именем молодого короля. Если герцогу Нортумберландскому (Варвику) удалось низложить (1549) и возвести на эшафот (1552) протектора, опекуна и дядю короля, герцога Соммерсэ-та, то оба они одинаково притесняли и разоряли народ, посылали на казнь иноверцев и требовали подчинения всех англичан, начиная с принцессы Марии, молитвеннику, установленному парламентскими актами о единообразии (1549-1552). Эдуард, несмотря на свои молодые годы, был ревностным преследователем иноверцев, и это побудило его перед смертью, по совету герцога Нортумберландского, изменить закон о престолонаследии, установленный его отцом, отстранить католичку Марию и назначить наследницей свою двоюродную племянницу, Джен Грей. Но она не удержалась, и Мария (1553-1558) взвела ее на эшафот.

В Германии на Шпейерском сейме (1544) протестанты впервые получили юридические права на существование, пока император скрывал свои планы. Но еще раньше смерти Франциска и Генриха, Карл решился нанести давно подготавливаемый удар протестантским князьям, в которых видел как политических, так и религиозных врагов. Мориц Саксонский перешел на сторону императора. Победа при Мюльберге (1547) закончила Шмалькальденскую войну и отдала в руки Карла обоих вождей немецкого лютеранизма. Однако в то самое

время, когда оружие католицизма торжествовало над еретиками, глава католицизма, испуганный могуществом императора и, боясь почувствовать его влияние, перевел собор в Болонью (1547), надеясь на союз Франции.

Недовольный император попытался, для Германии, совершить дело собора, а именно – найти примирительные пункты, к которым могли бы примкнуть враждующие религиозные партии. Конечно, эти пункты устанавливались временно (*interim*) до окончания собора. Германские князья поневоле согласились на это, но явились и примирительные богословы обеих партий для этого дела. Гуманист и приверженец Эразма Пфлуг, епископ Наумбургский, склонил к уступкам в Аугсбурге (1548) своих товарищей обоих исповеданий. В Лейпциге, под влиянием нового курфюрста, Морица, Меланхтон и другие также согласились (1548) на примирительные пункты, несколько более близкие к лютеранизму. Оба *интерима* были основаны на том, что самые жгучие спорные положения выражались так неясно, что допускали противоположные толкования или были объявлены не имеющими значения для истинной веры (адиафорами). С этих интеримов начался длинный ряд попыток согласовать католицизм с протестантизмом. При чем люди, делавшие эти попытки, весьма добросовестно предполагали, что вопросы, неважные для них, будут столь же мало важными в глазах массы верующих. Но уже в XVI веке в области культуры и мысли между цивилизованным меньшинством и большинством общества резко проявлялось разделение, составляющее одно из самых больших затруднений в развитии Европы. Это разделение имело один и тот же результат как тогда, так и впоследствии: столь интимная вещь, как религия, связана со множеством традиционных, культурных привычек и живых, острых вопросов современности, а потому в ней мысль немногих личностей никогда не могла быть меркой для большинства. Чем выше было развитие этих личностей и чем меньше они подчинялись раздражающему влиянию жизненных столкновений, тем меньше они понимали жаркое упрямство людей, более узких мыслью, более доступных волнению минуты. Примирение для враждующих религиозных партий возможно лишь тогда, ко-

гда цивилизация, в своем примирительном ходе, обращает интересы людей на другие, более человеческие задачи, отодвигая прежние сектантские вопросы на второй план, т. е. когда образуется новое разделение верующих на секты. Это явление происходило в Европе постепенно, оно не завершилось окончательно и до нашего времени. Поэтому находились люди, которые заботились об объединении и готовы были на уступки, хотя большинство видело измену святыне веры во всякой попытке к уступкам. Оттого и оба интерима закончились лишь самыми жестокими спорами в среде самих лютеран, о чем было сказано выше, и навлекли на Агриколу и Меланхтона с их приверженцами желчные обвинения за участие в составлении интеримов.

Но Павел III умер, не уступив победоносному императору и не переведя снова собор в Триент. Юлий III (1550-1555) поторопился сделать это, но и этот последний представитель пап периода Возрождения, занятый гораздо больше своими личными делами, чем делами церкви, должен был подчиниться влечениям нового времени. Иезуиты основали центральную школу своего ордена в Риме (*Collegium Romanorum*, 1550), получили (1552) право основывать повсюду школы, коллегии и давать академические звания. В том же году была организована их римская коллегия для обращения Германии (*Collegium germanicum*, 1552). Они преобладали в Венском университете, действовали в Кельне и Ингольштадте, вызывали беспорядки, просили об их отправке в Португалию, побуждали испанцев-доминиканцев видеть в них предшественников антихриста. Французский король вступил в союз с протестантскими князьями, и среди противников, вызванных преобладанием Карла, был Мориц, поставленный им так высоко. Внезапно император увидел себя окруженным врагами. Интеримы были отменены, и хотя Мориц пал в битве (1553), но аугсбургский религиозный мир (1555) был важным фактом в европейской цивилизации. В противоположность невозможному идеалу религиозного единства, он ставил положение о раздельности государственных интересов и религиозных. Религиозное различие не должно было мешать миру между разноречцами. Еретические государства получали право на существование. Конечно, все это было еще далеко от

мысли о свободе совести, о религии, как праве личного убеждения. В XVI веке идеал самодержавия государей и централизации всех политических функций в одной личности находился в становлении. В пользу этого идеала говорили и постановления аугсбургского мира. *Государи* свободно выбирали религию, и в странах, где они приняли протестантизм, подданные могли его исповедовать, но никто не был в силах помешать государю-католику не допускать в своих землях ересь и требовать выселения еретиков. Лишь привычная оппозиция против духовенства оградила подданных духовных курфюрстов и владетелей от преследования. Аугсбургский мир был торжеством не свободы совести, а государственного принципа над религиозной нетерпимостью. Факт разнoverных государств в одной политической системе был узаконен.

Уже в этих последних действиях представителем католических интересов был не Карл, а его брат Фердинанд. Предприятия Карла против Франции, как и против германских князей, закончились неудачно, и утомленный владетель стольких корон поспешил сложить их с себя (1556), чтобы удалиться в монастырь св. Юста, откуда, впрочем, продолжал оказывать влияние на политические дела († 1558). Если современный мыслитель захотел бы оценить в истории последующего времени след громкой деятельности государя, господствовавшего на протяжении 40 лет от Тихого океана до Дуная и бросавшего все силы своих государств на достижение определенных целей честолюбия, то след этот окажется крайне жалким. Из деятельности Карла заметно до сих пор лишь разрушение политической жизни в Испании, да и связь с картинами Тициана Вечелли (1477-1576), самого верного и преданного ему художника, представителя венецианской школы живописцев с ее блестящим колоритом. Протестантское движение в его могуществе и слабости, обновление католицизма под влиянием иезуитизма, возвышение Франции и Англии в политической системе Европы, научные завоевания, промышленный переворот, – все это совершилось *рядом* с ним, помимо его воли, без его влияния. Даже расширение могущества турок остановлено не им, хотя он потратил на это значительные силы.

С 1554 года сын Карла, Филипп, был мужем королевы Англии, которая выросла в католическом фанатизме и ценила, по собственным словам, спасение своей души выше десяти королевств, подобных Англии. Неизбежно начались гонения. Эмигранты хлынули на материк. Кранмер, умевший угодить Генриху, взмошел на костер (1556), как и Латимер (1555), и много других епископов. Соперничая с Испанией, английские духовные суды казнили до 300 еретиков в пятилетнее царствование *кровавой* Марии. Парламент, утвердивший в 1552 году новое исповедание, с такой же готовностью изъявил в 1554 году сожаление о своем отделении от апостольской церкви, и Юлий III, сделавший кардиналом 16-летнего вожака обезьян, мог сказать, что он очень счастлив, когда англичане его благодарят за то, за что он сам должен их благодарить. Как только Филипп стал королем, война с Францией возобновилась (1556-1559), и Мария соединила оружие Англии с оружием мужа. Но Англия поплатилась за это своим последним владением на материке. Именно Кале, остаток завоеваний Эдуарда III и Генриха V, был взят Гизо (1556), тогда как Испания по миру в Като-Камбрези (1559) отнимала у Франции почти все прежние ее приобретения, «около трети королевства», говорит Монлюк. В то самое время, когда Генрих II собирался ввести во Франции инквизицию, использовав самые серьезные средства для истребления ереси в королевстве, копьё Монгомери на турнире передало власть в руки вдовы Генриха, Катерины Медичи (1559). Если Филипп приобрел в ней союзницу своим планам, то за год до этого потерял более верную союзницу в жене († 1558), и эта потеря была тем важнее, что Марию на английском престоле заменила Елизавета.

Со смертью Юлия III католическая реакция достигла, наконец, папского престола. Если Марцел II (1555) едва успел промелькнуть на этом престоле, то само его избрание указывало на новый характер в конклаве. Это стало еще более поразительно, когда наследником Марцела стал, под именем Павла IV (1555-1559), тот самый Караффа, который раздавил протестантизм в Италии и был одним из самых энергичных деятелей католического возрождения. Как основатель театинов и человек со своим особым пониманием обновления като-

лицизма, он столь же мало любил иезуитов, как и Филипп II. Тем не менее, именно при нем иезуитизм организовался окончательно, когда генералом ордена стал, по смерти Лойолы, Лайнес (1558-1565). В год смерти Лойолы, иезуиты делились уже на 13 провинций, из которых семь находились на Пиринейском полуострове, три в Италии, одна во Франции и две в Германии. Пожизненный генерал ордена был представителем Бога для членов ордена, как папа – представителем Бога для всякого католика, и безусловное повиновение генералу сделало из этих монахов, вышколенных с детства, самую преданную армию. Судя о добре и зле в соответствии с требованиями начальника, они пошли на свой тройной труд: внутренней миссии среди католицизма, обращения христианских иноверцев, обращения язычников. Сущность религии, как глубокого убеждения, уступила в этой деятельности перед пламенным желанием торжества тому, что носило название религии. Когда перед лицом духовника-иезуита можно было оправдать всякое действие на основании *пробабилизма*, то есть цитаты какого-либо авторитета, тогда религия теряла всякое значение, как нравственно-обязательное учение. Когда предосудительное действие, по методу направления намерения (*methodus dirigendae intentionis*), могло быть совершено, если в виду имелась не грешная, но похвальная цель, то самый безобразный фанатизм был оправдан. Когда ограничение в мысли (*restrictio* или *reservatio mentalis*) позволяло обещать с целью не сдерживать обещания в той форме, в какой оно было дано, тогда всякая возможность общественных отношений исчезла. Понятно, что личности и общества, с наибольшей терпимостью относившиеся к чужим религиозным убеждениям, относились иногда враждебно к иезуитам, которые, во имя основных своих учреждений, отказывались от всего, что составляло нравственное достоинство человека: от личного убеждения, от уважения к своему слову, от уважения к своему действию. Конечно, католицизм в его целом столь же мало может быть отождествлен с иезуитством в его крайних представителях, как протестантизм – с инквизиционной теократией Кальвина в Женеве. Но иезуиты вывели логические результаты католического строя в минуту борьбы с опасными врагами, как Кальвин вывел результаты

религиозного одушевления протестантизма. Когда высшая премудрость и справедливость предполагается воплощенной в одну личность, то совершенно логично для этой личности перестроить правила нравственности согласно своим видам. Совершенно логично для верующих в эту личность принять меры для систематического отупления молодежи, для подчинения ее мысли и воли, для использования этих «живых трупов», не покорных идее, одушевляющей верующих, для того, чтобы разорвать все общественные связи. Первым шагом в борьбе верующих с враждебным миром стало безбрачие и аскетизм монашества, вторым — безбрачие духовенства вообще, третьим — инквизиция, четвертым — иезуитизм. По мере того, как опасность росла, а вера в неизбежное торжество уменьшалась, средства делались лишь более энергичными, но сущность их была одна и та же. Для высшей религиозной цели, верующий должен подавить в себе все, что ценно для личности: мирские интересы, плотскую любовь, человечность, наконец, личное достоинство. История иезуитов доказала, что это учение не осталось в книгах, а перешло в жизнь. Однако как ни сильна была их организация, человеческая природа была достаточно энергична, чтобы эта организация не победила в Европе. Даже знаменитое иезуитское воспитание привело лишь к тому, что из иезуитских школ стали выходить самые опасные враги католицизма. Впрочем, организация иезуитских школ принадлежит следующей эпохе.

Правление Караффы замечательно и в другом отношении. Ревностный до фанатизма, приверженец очищения католицизма от всех светских наростов, он был в то же время горячим итальянским патриотом. Ненависть к испанскому владычеству в Италии была одной из самых основных черт его страстной натуры. Столкновение этих двух страстей составляло драматическую особенность его жизни. Конечно, никто в Европе не был в эту эпоху столь ревностным католиком, как Филипп II, никто не мог и не желал сделать столько для очищения католицизма и подавления ереси. Но именно он, как испанский король, был врагом самостоятельности Италии. Именно в нем Павел IV видел самого ненавистного противника, а папа искал



ему всюду соперников. Во имя этой вражды папа призвал к себе еретиков-протестантов, чтобы противопоставить их ревностным католикам войска герцога Альбы. В ее имя Караффа, враг всех прежних злоупотреблений папского деспотизма, довел могущество своих презренных племянников до такой высоты и злоупотреблений, какого не было даже в предшествующие правления пап. Никогда внутренняя лживость увлечения религиозными девизами, которые вызвали кровавые войны и бесчеловечные казни в тогдашней Европе, не была так очевидна, как в этой борьбе: неумолимый Альба, трепетавший от мысли о папе, когда ничто не заставляло его дрожать, все-таки осаждал Рим, и, целуя с умилением туфлю побежденного первосвященника, использовал все силы, чтобы ослабить его могущество. Фанатик папа называл ангелами, спустившимися с неба, войска протестантов, пришедших на помощь Риму, и разрешал своим племянникам грабить народ. Протестанты ландскнехты и протестанты швейцарцы сражались за господство католического короля Испании в Италии и за папу Римского. Павел IV в этом столкновении увидел, что все его планы разрушены. Ему пришлось подчиниться господству испанцев в Италии, а также признаться перед священной коллегией, что он допустил жестокие злоупотребления в церкви. Он изгнал свою родню, и его племянники были казнены при его наследнике, так что Караффа были последним княжеским домом в Италии, возвысившимся через родство с римскими первосвященниками. Неудача Павла IV перечеркнула и попытки пап приобрести европейское политическое влияние. С тех пор им пришлось ограничиться государственным значением в сфере своих владений и лишь духовным влиянием в остальном католическом мире. Средневековой идеал папы, повелителя государей, был уничтожен навсегда.

Из предыдущего видно, что вопрос о реформе церкви, так долго занимавший средневековых мыслителей, привел в своих двух отраслях к печальным результатам: реформаторы, отделившись от прежней церкви, впали в схоластические споры о тонкостях, не доступных пониманию, и вернулись к теократии со всеми ужасами инквизиции. Консерваторы же создали для борьбы против новизны орудие, кото-

рое испугало даже приверженцев старой церкви своим губительным действием. Требования истины и справедливости не были удовлетворены ни там, ни здесь. Для мыслящих людей обе партии могли представлять интерес лишь тем, что служили опорой для борьбы за какие-либо человеческие начала против других преобладающих эгоистических элементов.

Как мы видели, был один элемент, который в Шпейере, а еще решительнее в Аугсбурге в 1555 году, противопоставил религиозному вопросу себя, как высшего элемента. Это был государственный элемент. В XVI веке он сливался с личностью государей, и религиозные партии, для успешной полемики против этого господствующего над ними начала, не могли найти лучшего орудия, как подвергнуть понятие о государстве более тщательной критике. А так как их давили господствующие личности государей, им пришлось полемизировать с точки зрения народовластия. Таким образом, религиозная борьба дала повод к возвращению мысли довольно революционного характера. Это случилось со стороны протестантов, так как их наиболее притесняли. Но не следует думать, как думают до сих пор многие писатели, что существовала какая-то логическая связь между Реформацией и политическим либерализмом. *Логической* связи между ними не было и быть не могло, но была связь *историческая*, а точнее – сближение интересов двух, *совершенно различных* партий, хотя стремления одной из них принадлежали *целиком* прошедшему, а другой – будущему. Догматы Реформации не имели ничего общего с политикой, и она стала случайным орудием либерализма лишь потому, что реформаторов притесняли государи, стремившиеся к неограниченной власти. Этот поворот в реформационном движении, совершившийся в секте, пришедшей к женеvскому инквизиционному деспотизму, придал кальвинизму историческое значение, которого сам по себе он не имел. Этот поворот принадлежит следующей эпохе.

Гуманизм, осуществивший средневековое желание узнать древность, как мы видели, окончил свою роль. Соперником ему стали национальные литературы. Италия имела уже в прошлом образцы формы, которые своей красотой подавляли современность. Если

средневековое величие Данте слишком отходило от задач этого периода, то его лирика определялась традицией Петрарки, его литература новелл — «Декамероном», а шуточная эпика — «Роландом». Последний оказывал самое значительное влияние на рассматриваемую эпоху, но подражатели Ариосто не были оригинальны даже в частностях. И «Влюбленный Роланд» Берни (1541), и «Джироне» Аламани, и «Амадис» (1559) Бернардо Тассо — лишь переделки готового материала. Ни духовные стихотворения Виктории Калонны (1548), ни патриотическая лирика изгнанника Аламани († 1556) и паписта Джудичьони († 1541) не могут быть причислены к первостепенным произведениям. Количество стихотворцев этого времени, вследствие обработки стиха предшествующими писателями, было так велико, что в 1559 году было издано собрание стихотворений 50 дам (*nobilissime e virtuosissime Donni*). Из многочисленных итальянских сатириков упомянем в особенности Пьетро Аретино (1492-1557), одну из самых характерных личностей рассматриваемого времени. Одаренный замечательным талантом, остроумием и пониманием, он был лучшим драматическим писателем своего времени как в своей трагедии, так и в своих комедиях, которые можно поставить рядом с комедиями Маккиавелли. Он понял, что литература, при содействии книгопечатания, — это сила, перед которой могут трепетать самые могучие власти, и что умный литератор, вооруженный своим пером, занимает экономическое и общественное положение, достаточно выгодное, чтобы не нуждаться в постоянных покровителях, не входить в какую-либо партию и стоять независимым деятелем во имя правды вне всяких личных партий. И Аретино достиг этого независимого положения. Императоры, короли, папы, герцоги осыпали подарками и почестями этого незаконнорожденного литератора. Он чуть не стал кардиналом, он гордо рассылал государям медаль со своим изображением и подписью *il divino Aretino*. Этому искусству подчинить себе, во имя ума и таланта, все общественные власти, способствовало то внимание, которым пользовался Пьетро Аретино в кругу современных ему литераторов и художников, что доказывалось его обширной перепиской. Во всех других отношениях, это был самый презренный человек. Едва ли кто соеди-

нял такой блестящий и разнообразный талант, как Аретино, с таким циничным пренебрежением к самым элементарным требованиям самоуважения. Он использовал литературу, как безразличное оружие, для всякой лести и клеветы, для провозглашения себя свободным служителем истины и самых грязных побуждений чувственности, невыносимых даже в *тогдашней* Италии, для духовных песен и самого бесцеремонного осмеяния всякой святыни. Он открыто продавал свою похвалу и молчание тем, кто мог их купить, и грозил пасквилями тем, кто не мог этого сделать. Свое независимое перо и богатства, им доставляемые, он использовал лишь на обжорство и животный разврат. Он не раз подвергался жестоким побоям и рисковал жизнью из-за едкой сатиры, но она не была проводником какой-либо идеи, а оружием личной мести, личного раздражения во имя самых низких побуждений. В Пьетро Аретино вполне выказалось могущество литературы, как общественного оружия, но с такой же ясностью становилось понятным, что нравственное достоинство литератора, а не степень его таланта, сообщают литературе ее высокое общественное значение, что талант презренной личности может доставить ей влияние, но в то же время унижает литературу вообще, лишая ее возможности благотворно действовать на общество.

Гораздо значительнее, чем в Италии, были явления национальной французской литературы. Мы уже упоминали о той ее партии, которая, под влиянием гуманизма, отреклась от формы старой французской литературы, и положила начало французскому псевдоклассицизму, который должен был иметь неплохое будущее. Но наряду с этим ложным направлением в рассматриваемую эпоху было и другое, несравненно более живое, хранившее в себе традиции свободной средневековой новеллы и сатиры, объединявшее эти традиции с новым материалом, доставленным изучением греко-латинских классиков. Замечательно, что произведения этой литературы стояли вне религиозных партий, раздиравших Европу, насмешливо относясь к их борьбе. Под прямым влиянием Лукиана писал Бонавантюр Дэперье свои «*Cymbalum mundi*» (1537), так же проникнутые элементом неведения, как и произведение его первообраза. Это произведение, осуж-

денное католиками и гугенотами, сожженное рукой палача, было истреблено так хорошо, что едва могли найти потом один экземпляр для его восстановления. Автор, гонимый повсюду, окончил свою жизнь самоубийством в том самом году (1544), когда выходил «Второй ад» книгопродавца Долэ, где была осмеяна французская магистратура, что привело через два года (1546) автора на костер. Дэперье оставил и собрание новелл, появившихся одновременно (1558) с новеллами его покровительницы, Маргариты Валуа. До самой ее смерти (1549), ее двор в Нераке был убежищем многих гонимых за веру или неверие, и умеренные католики, развитые гугеноты и либертины не раз пользовались покровительством сестры Франциска I, всегда остававшейся вне борьбы религиозных партий. Конечно, на обоих упомянутых сборниках новелл слишком ясно видно влияние Боккаччо, которому авторы значительно уступают в таланте, но многочисленные издания обоих сборников в XVI веке показывают, как соответствовали эстетическим потребностям общества эти полусатирические, несколько вольные, а иногда и довольно грязные рассказы с примесью нравственных сентенций.

Впрочем, все французские произведения этого времени бледнеют перед громадной эпической сатирой Франсуа Рабле (род. ок. 1495, † ок. 1553), где беспощадная насмешка гениального автора поразила все классы тогдашнего общества, все партии, спорившие о мечтательных благах, когда реальные вопросы сами собою возникли перед обществом, требуя ответа. Рабле не принадлежал ни к какой традиции. Его Гаргантюа, Пантагрюэль, Панюрж, брат Жан и многочисленные аллегорические личности, оживленные его мыслью, столь же мало восходят к традиции аллегории «Романа розы», как и к Овидию. Ум в высшей степени самостоятельный и творческий, он переработал в нечто только *ему* принадлежащее античные и средневековые литературные приемы. Безобразию схоластического учения он противопоставил изучение природы; магистратуру Франции он осмеял и в лице невежественных ее представителей, и в лице кровожадных раминограбисов. Бичуя женевских инквизиторов, он столь же смело нарисовал ряд картин, где католицизм выступал со всеми карикатур-

ными чертами монастырской жизни, жирной иерархии и обоготворения пап. Наконец, в виду бесконечных войн, вызываемых хищничеством европейских государей, прямо назвал подвиги Александра и Цезаря грабежом и разбойничеством, осмелел героев-завоевателей в картине загробного мира и вложил в уста циника Панюржа слова: «Эти черти-короли, точно телята, ничего не знают и ни на что не годятся, кроме как на то, чтобы их бедные подданные страдали, чтобы свет волновался войнами для их злого и противного удовольствия». Кровавой борьбе мнений, деспотизму пыток и казней Рабле противопоставил идеальный девиз аббатства Телэм: «Делай, что хочешь», продолжая традицию веротерпимости, указанную Мором, и совершенно чуждую практике общества, окружавшего Рабле. Замечательно, что, несмотря на желчные нападения многочисленных и ожесточенных врагов, Рабле нашел возможным с третьей книги «Пантагрюэля» (1546) объявить свое имя. Он сделал это в то самое время, когда зажигал костер для Долэ, который своим изданием «Пантагрюэля» еще больше настроил против себя власть. Франциск I, Генрих II и даже папы покровительствовали беглому монаху-медику, который сделал из своего Гаргантюа такого идеального монарха-пастыря народа и так забавно описывал приключения Панюржа. Рабле удалось в фанатичное правление Генриха II издать (1453) и четвертую книгу, но остальное появилось после его смерти, и может быть, никакое покровительство не спасло бы автора от преследований за резкие выходки, заключающиеся в пятой книге «Пантагрюэля». Хотя, по-видимому, кое-что в ней следует приписать другому перу, воспользовавшемуся тем, что Рабле был уже недоступен наказанию. Его гениальная сатира, несмотря на ее многочисленных хвалителей, лишь потому до сих пор менее читается и ценится, чем многие другие, несравненно слабейшие произведения, что именно после Рабле французский литературный язык претерпел столь сильное изменение, что современному читателю его произведения представляются гораздо более трудными, чем итальянский язык Данте, писавшего за два века до Рабле. Но «Пантагрюэль» остался не только весьма важным источником мысли и культуры Франции в половине XVI века. Он и в эстетическом отно-

шении остался одним из произведений, где богатство живых типов и сатирическое творчество не было превзойдено никем после.

Автор «Пантагрюэля»<sup>1</sup> был не только литератором. В его фантастической сатире высказывается глубокая эрудиция по предмету естествознания, показывающая, что он стоял на одном уровне в этом отношении с лучшими представителями науки в середине XVI века. И действительно, как медик, Рабле оставил по себе известность: Монпелье долго хранило его красное платье, в которое должен был облекаться каждый новый бакалавр на своем последнем экзамене. Сохранилось также предание о его первом диспуте по медицинской ботанике, о его превосходном объяснении Гиппократовых и некоторых его открытиях.

*Наука*, вот было знамя, к которому сознательно и бессознательно примыкали лучшие умы эпохи. Гуманизм, как почитание древней красоты, выдыхался всюду: он должен был ждать оживления в новой форме от науки. Преобразование церкви и общества не удалось ни соборам, ни папам, ни Лютеру, ни Кальвину. Чтобы поддержать католицизм, соборам пришлось подчиниться папам. Чтобы остаться кем-нибудь, папам пришлось отказаться от своего гордого идеала повелителей мира. Лютеранизм пришел к безжизненной схоластике, а кальвинизм — к теократическому деспотизму. Ни в одном из этих элементов не было своей жизни, богатой будущностью, и всех их давило растущее преобладание королевской власти с хищническими стремлениями. Невольно насмешка или утомление пробирались в трезвые умы, насколько это было возможно при подобном жалком состоянии самых видных общественных вопросов. Все чаще обращались к личному наблюдению, самостоятельной критике, вне всех авторитетов. Это делали уже спокойно без шарлатанских замашек Парацельса, и результаты получались блестящие. Простой ремесленник, цирюльник, крестьянин, нищий, опираясь на упорный труд, собственное мышление, становились во главе современной науки. Громаднейшие авторитеты древности — Птолемей и Гален — были несостоя-

---

<sup>1</sup> Гаргантюа и Пантагрюэль / Перевод Н. М. Любимова. — М., 1961.

тельными перед спокойной критикой Нового времени. Великие математики древности уступали новым аналитикам. Сознание собственных сил росло в Европе. Молодые умы обращались к сферам занятий, обещавшим столько в будущем, и представители враждебных партий почувствовали необходимость опереться на эти новые силы. Математика и естествознание получили видное место в школах иезуитов, в то время как кальвинизм, для успешной борьбы с государственной властью, проникался во Франции и Англии политическими началами, становился знаменем для вопросов жизни. Точное знание природы, критика общественных форм – таково было требование будущего, и потому предшественников Нового времени в эту эпоху приходится искать не на престолах, не на кафедрах проповедников, не среди художников и литераторов, а среди скромных тружеников науки.

Именно в эпоху Рабле медицина получала значительную помощь от успехов анатомии. В Париже кафедра медицины в Королевской коллегии перешла в 1550 году от Гвидо Флорентийского к Жаку Дюбуа (1478-1555), получившему европейскую известность под именем Сильвиуса. Его искусство рассечения трупов и хорошая терминология для сосудов и мышц сделали его школу одной из первых в Европе. Его мысль об инъекции сосудов цветными жидкостями была правильно осуществлена лишь позже. Из его школы вышел Шарль Этъен († 1564), сын Робера I, и брат Анри, известный своими изданиями анатомических рисунков, трудами по анатомии скелета и связок, своим различением серого мозгового вещества от белого, а также венной крови от артериальной настолько, насколько и французским изданием «*Maison rustique*»<sup>1</sup>. Учеником Дюбуа был и Сервэ, о судьбе которого мы говорили выше. Но самым значительным его учеником был основатель новой анатомии и один из самых заметных предшественников Нового времени – Андрей Везалий (1514-1564).

В Падуанском университете, последнем убежище умирающего аввероизма, 23-летний фламандец Андрей Везалий вступил на кафедру анатомии и хирургии, которую после него занимали достойные

---

<sup>1</sup> Charles E. *L'agriculture, et maison rustique*. – Paris, 1572.



его наследники — Габриэле Фаллопио и Фабрицио Аквапенденте. Как и другие, он начал комментировать Галена, но чем тщательнее он его комментировал, тем больше убеждался, что знаменитый медик II века неточно передает анатомию человека, что он рассекал не человека, а обезьяну. С четвертого курса Везалий отрекся от Галена, и с разных концов Европы хлынули в Падую внимательные ученики, услышавшие, что молодой профессор, демонстрируя на трупе, опровергает шаг за шагом неприкосновенный авторитет Средневековья. Везалий читал то в Падуе, то в Болонье, то в Пизе и, наконец, несмотря на отговоры ученых друзей, издал в 1543 году свое большое сочинение «О строении человеческого тела» (*De humani corporis fabrica*)<sup>1</sup>, положившее начало современной анатомии и бросившее перчатку всем рутинерам — поклонникам Галена. Располагая анатомией почти по плану Галена, Везалий в каждом вопросе сначала излагал состояние науки до него, затем собственные наблюдения и, наконец, делал вывод о настоящем положении дел. Он отметил у Галена 200 ошибок и, несмотря на неизбежные неточности при таком огромном труде, установил метод и все главные основания анатомического познания человека, особенно в отношении скелета.

Как и ожидали друзья Везалия, его книга вызвала самые желчные нападки. Смущенный многочисленностью обвинений, император Карл подверг книгу Везалия просмотру богословов, а в Саламанке был поднят вопрос (1555), можно ли христианам рассекавать трупы. Везалия осыпал ругательствами его стареющий учитель Дюбуа, но самые сильные возражения пришли, как оно и следовало, от анатомов, которые воспользовались методом самого Везалия для того, чтобы развить науку дальше, и использовали свои успехи, невозможные без труда Везалия, на то, чтобы перечеркнуть значение реформы, им произведенной. Личное наблюдение при внимательном рассечении и препарировании трупов, т. е. именно метод Везалия стал орудием дальнейших успехов. С его помощью римский профессор Бартоломео Евстахий († 1574) противопоставил нормальному человеку анатомии

---

<sup>1</sup> Vesalius A. *De humani corporis fabrica libri septem*. — Basileae, 1543.

Везалия, с одной стороны, многочисленные индивидуальные отклонения строения, а с другой – генетическое изменение форм при развитии органов. Эта полемика дала начало изучению аномалий, эмбриологической анатомии и сравнительной анатомии, не говоря уже о многочисленных дополнениях к анатомии человека вообще. Труды Евстахия оказали бы гораздо больше влияния на ход науки, чем они имели в действительности, если бы огромный анатомический атлас, изготовленный им в 1552 году, не остался неизвестен на протяжении полутора веков. Менее резко, чем другие, напал на Везалия его преемник на падуанской кафедре, Габриэле Фаллопио († 1562). Он, как пишут, рассекал даже живых преступников, осужденных на смерть, и сделал в анатомии многие дополнения, исправив недосмотры своего знаменитого предшественника. Везалий получил в Испании возражения (1561) Фаллопио и поторопился ему ответить, не имея под руками даже черепа в богомольном Мадриде Филиппа II, но возражение не застало Фаллопио в живых, и Везалий был приглашен снова на кафедру, которую занимал в своей молодости. Смерть вследствие кораблекрушения прервала его труды. Но труды этих трех великих анатомов установили науку человеческого строения, и их наследники могли смело приступить к важнейшим *физиологическим* задачам, так как *анатомические* задачи требовали лишь дополнения в подробностях. Ученик Везалия, Реальдус Колумбус, оспаривает у несчастного Сервэ честь открытия легочного кровообращения (1559).

Наряду с этими теоретиками науки, ее успехам содействовал и великий практик Амбруаз Парэ (1517-1590), вышедший из лавки цирюльника в то самое время, когда хирурги приобретали во Франции (1545) ученые права и вытесняли из своей среды цирюльников. В Германии в это время вся хирургия была в руках цирюльников, и их занятие считалось бесчестным. Парэ стал реформатором хирургии, как вследствие своего открытия, что раны от огнестрельного оружия не ядовиты, так и вследствие введенной им перевязки артерий вместо прижигания при ампутациях, не говоря уже о многочисленных частных улучшениях, введенных им в хирургию. Кроме того, он, своим сочинением об огнестрельных ранах (1545), стал основателем фран-

цузской научной литературы, так как это было первое ученое сочинение, напечатанное на французском языке. Именно благодаря Парэ из учебников исчез латинский язык. Его небольшая «Хирургия» (1564) стала руководством для большинства хирургов. Хотя Парэ, плохо образованный и мало знакомый с литературой, относился с крайним уважением к авторитетам Гиппократ и Галена, но и его деятельность была результатом того самого начала, которое должно было лечь в основу нового европейского развития, а именно – результатом личного опыта и критической оценки наблюдаемых фактов.

Рядом с великим хирургом, чуждым ученого образования, следует поставить имя другого, еще более гениального его современника. Так же как и Парэ, лишь силой своей мысли и энергией характера, Бернар Палисси из положения бедного ремесленника вырос до первостепенного художника, стоявшего наравне с Челлини, и до того светлого взгляда на природу, который сделал горшечника Палисси предшественником Кювье и Гумбольдтов. Впрочем, нам придется говорить о Палисси преимущественно в следующую эпоху, тогда как первая и большая часть его жизни (род. около 1570) прошла в упорной борьбе с бедностью и попытках найти разноцветную глазурь для фаянсовых изделий, что составляло необходимую материальную основу для художественных подражаний природе с помощью глины, покрытой глазурью. Трудясь без всякой ученой подготовки и чьей бы то ни было помощи, Палисси в этот период своей жизни накопил те многочисленные наблюдения в области химии, геологии и физики Земли, которые ставят его в ряд первостепенных естествоиспытателей. Подавление восстания, вызвавшее республиканское произведение Ла-Бюэти, дало и Палисси более широкое поле деятельности. Оно привело коннетабля Монморанси в местность, где кровожадный и хищный министр Генриха II смог познакомиться с изящными *rustiques figulines* Палисси. Он построил ему мастерскую для украшения своего замка и дал опору для будущего, тем более грозного для Палисси, что тот в это время принял кальвинизм и стал одним из его проповедников.

К этой же эпохе относятся многочисленные труды по изучению природы. Личности, которые в предшествующие периоды посвятили

бы себя эрудиции по древней или схоластической литературе, а скорее всего — богословию, теперь неудержимо стремились к наблюдению природы. Эти наблюдения накапливались в обширных сочинениях, большей частью компилятивного характера, с редкими проблесками обдуманного и ясного метода. Подобные компиляции *действительных* наблюдений служили прекрасным материалом для будущих исследователей, которые должны были внести в наблюдения природы более систематический взгляд. Георг Бауэр (Агрикола, † 1555), о котором мы говорили раньше, издал (1546) свои знаменитые сочинения по металлургии и минералогии, которые долго оставались классическими, много раз издавались и послужили основой для развития новой европейской металлургии и минералогии. Валерий Эбервеин (Кардус) за свою недолгую жизнь (1515-1544) успел стать известным ботаником и фармакологом. Еще более замечателен в этой области был Леонгард Фукс (1501-1566), который своей полемикой против арабских авторитетов в ботанике, и особенно — точностью рисунков растений в своем главном сочинении (1542), дал надлежащее направление ботанике. Во многих местах (особенно в Италии) возникали ботанические сады. Изучение рыб привлекло внимание нескольких замечательных ученых этого времени. Почти одновременно (1551-1555) напечатали в этой области свои труды Белон (1518-1564), приятель Рабле — Рондлэ (1507-1566) и итальянец Сальвиани (1514-1572). Но самой характерной личностью в этом отношении был Конрад Геснер (1516-1565), охвативший своей обширной деятельностью не только все царства природы, но почти все области человеческого знания. Его первые труды<sup>1</sup> принадлежали ботанике, как и его последнее сочинение, изданное двести лет спустя после его смерти. Его зоологическое сочинение<sup>2</sup> Кювье считал основой современной зоологии, несмотря на полное отсутствие метода и алфавитный порядок, принятый Геснером для животных. Впрочем, в последующих извлечениях из большого сочинения (1553-1560) Геснер использует группировку

---

<sup>1</sup> Gesner C. Enchiridion historiae plantarum. — Paris, 1541.

<sup>2</sup> Gesner C. Historiae animalium. — Paris, 1551-1558.

видов в роды (genus) и даже собирает иногда несколько родов в высшие группы. Он оставил сочинение и по минералогии<sup>1</sup> (1565), впрочем, уступающее сочинению Агриколы, и небольшой труд по фармацевтике<sup>2</sup>, причем сам на себе испытывал лекарственное действие растений. Вне этих трудов по естествознанию Геснер издал громадную компиляцию «Всеобщей библиотеки»<sup>3</sup>, где дал полный список всех известных авторов (существовавших в его время или потерянных), писавших на трех ученых языках – латинском, греческом и еврейском. У Геснера название сочинения сопровождается кратким отчетом о его содержании и критическим отзывом. В 1555 году Геснер напечатал «Митридата», то есть алфавитный список 130 известных в его время языков, как древних, так и новых. Кроме того, он издал несколько переводов древних авторов, участвовал в нескольких изданиях греческого, латинского словарей, и в своем «Письме о горах»<sup>4</sup> выказал довольно замечательное поэтическое понимание красот природы. Ему принадлежат и первые опыты использования гекзаметра на немецком языке. По обычаю того времени, Геснера называли новым Плинием, но если его сочинения не уступают по эрудиции труду Плиния, то надо заметить, что Геснер, вечно нуждавшийся, не имел ни рабов, ни секретарей, которые бы трудились за него. Он прожил меньше Плиния, а написал несравненно больше, выказав в своих сочинениях немало критики и стремления к личным наблюдениям, которые и в голову не приходили римскому консуляру.

Италия в эту эпоху была особенно замечательна своими математиками. Как Палисси добывал себе неутомимым трудом и наблюдательностью место среди первых ученых, так сделал и Николо Тартаглия (+ 1559). Изуродованный французами при разорении Брешии (1512), из-за бедности не выучивший азбуку до 14 лет, он в 30 лет сделал первое существенное математическое открытие новой Европы –

---

<sup>1</sup> Gesner C. Johannes Kentmanns Mineralienkatalog. – Paris, 1565.

<sup>2</sup> Gesner C. Thesaurus Euonymi Philiatr. – Paris, 1552.

<sup>3</sup> Gesner C. Bibliotheca Universalis. – Paris, 1545-1549.

<sup>4</sup> Gesner C. Lettre sur l'admiration de la montagne de Gesner. – Paris, 1541.

решение кубических уравнений (1530-1535), над которыми на протяжении пятнадцати веков трудились математики. Начало этому открытию было положено в начале века (ок. 1505) малоизвестным Сципио Ферро, преподававшим в Болонье (1496-1525). Его ученики, пользовавшиеся его открытиями, но не понимая их, вызвали Тартаглиа на состязание, которое привело ко вторичному открытию формулы для корней кубических уравнений и ее распространению. Впрочем, Тартаглиа не напечатал этой формулы ни в одном из своих сочинений, где было положено начало научной теории полета снарядов (*Scienza nuova*<sup>1</sup>, *Quesiti et Invenzioni diversi*<sup>2</sup>) и заключалось немало замечательных открытий по чистой математике (*General trattato*<sup>3</sup>). Это была эпоха, когда итальянские математики посылали друг другу вызовы с герольдами, когда ученые турниры при пособии радикалов и кривых линий были весьма обычным явлением. Конечно, многие старались при этом скрыть оружие, которое доставляло им победы, и Тартаглиа принадлежал к этому числу. По крайней мере, лишь этим можно объяснить то упорное молчание, которое он хранил о своем открытии на протяжении четверти века, так что приходится радоваться некоторой бессовестности его соперника, обнародовавшего это открытие, не смотря на торжественную клятву молчать о нем, данную Тартаглии.

Этим соперником был знаменитый Джироламо (Иероним) Кардано (р. 1501), самая замечательная часть деятельности которого принадлежит рассматриваемой эпохе и представляет самую оригинальную смесь средневековых тенденций мысли с ее новыми задачами. И ему пришлось, при всей жажде литературного бессмертия, при неустомимом труде и обширном знании, ждать до 36-го года, пока нашелся издатель его сочинений. Ему пришлось бороться с нищетой, презрением рутинеров, с собственными беспорядочными влечениями и предрассудочной мыслью, пока его книга «О великом искусстве» (*Ars*

---

<sup>1</sup> Tartaglia N. *Scienza nuova*. – München, 1550.

<sup>2</sup> Tartaglia N. *Quesiti et Invenzioni diversi*. – München, 1554.

<sup>3</sup> Tartaglia N. *General trattato*. – München, 1560.

magna)<sup>1</sup> не поставила его в первом ряду современных ему математиков. В это же время его слава, как медика, дошла до Шотландии, сделав его дорогим гостем в Париже и Лондоне, а его философские произведения (*De Subtilitate*<sup>2</sup>, *De rerum varietate*<sup>3</sup>) сделали его имя популярным среди образованных читателей. Впрочем, как медик, Кардан не оставил следа в истории, если не считать указание им практических ошибок в современных ему способах лечения. В философии Кардан принадлежал к разряду мыслителей, которые сохранили средневековые приемы мистического мирозерцания, хотя и не считали нужным связывать себя средневековыми авторитетами. Старинное число стихий он уменьшил до трех. Психическую деятельность человека возвел к двум началам: душе, умирающей вместе с телом, и божественному духу, единому для всех людей. Вся природа для него проникнута жизнью, которая тождественна с небесной теплотой. Поэтому все вещи находятся в симпатической связи, и человек может, при помощи экстаза, сновидения или в истолковании знамений, узнать тайны этой всеобщей симпатии вещей, предвещающей ему будущее, связанной со всей его деятельностью. Для Кардана это было не только теоретическое воззрение, но совершенно практический элемент жизни. В своих трудах, как и предприятиях, в общественной и семейной деятельности, он постоянно наблюдал знамения, ими руководился, был окружен миром видений, в которые искренно верил. В его учении старый фетишизм первобытного человечества выплывал наружу накануне развития новой Европы, как бы для более ясного доказательства, что ряд метафизических верований, чуждых природе, мог только на время заслонить от человека сознание ее непосредственного влияния на него. Вся метафизика порфириев, августинов, аквинатов оказывалась мало влияющей на развитие человеческой мысли. Ее призраки, разлетевшись, оставляли человека почти на той же ступени понимания мира, на которой люди стояли в доисториче-

---

<sup>1</sup> Cardano G. *Ars magna*. – München, 1545.

<sup>2</sup> Cardano G. *De Subtilitate*. – München, 1551.

<sup>3</sup> Cardano G. *De rerum varietate*. – München, 1557.

ский период. Этот возрожденный фетишизм оказался серьезной подготовкой для научного периода европейской мысли, так как, при всей своей рассудительности, он требовал внимательного наблюдения и объяснения наблюдаемого, т. е. индуктивного и дедуктивного способа мышления над *реальными* явлениями. Оттого, несмотря на странность мирозерцания Кардана, он смог стать на видное место в ряду предшественников Нового времени. Это было именно в области математики, где он впервые понял значение символических выражений (отрицательных и мнимых), вывел способ решения уравнений далеко за пределы, которые были достигнуты древними математиками, и в особенности внес в общий капитал знания, как стройное целое, те отрывочные завоевания в алгебре, которые составляли секрет учеников Ферро и Тартаглии. Здесь Кардану содействовал его ученик Феррари († 1565), уже в 18 лет известный преподаватель. Феррари, профессор в Болонье, умер рано, в 43 года. Он оставил по себе известность одного из замечательнейших математиков своего времени и обозначил своим именем один из важных успехов алгебры, хотя и не оставил ни одного сочинения. В естественных науках Кардан, искавший в природе фантастические силы и знамения, конечно, не мог сделать многого. Тем не менее, он пытался путем опыта определить плотность тел и вес воздуха, рассматривал холод как отсутствие жара, проводил опыты над магнитом и пытался применить свое знание к изобретению разных полезных машин. Впрочем, то, что можно найти полезного в этом отношении в сочинениях Кардана, совершенно отрывочно, не превосходит приобретений, сделанных и средневековыми учеными. Так что из-за средневековых тенденций, сковывавших мысли Кардана, он добился успеха лишь в области математики.

В одно время с Карданом трудился над математикой и астрономией мессинец Мауролико (1496-1575). В 1540-м он написал обширную математическую энциклопедию, объединявшую всех замечательных математиков и астрономов прежнего времени, многочисленные трактаты по всем отраслям чистой и прикладной математики. Но эти сочинения большей частью погибли, а сам он при жизни напечатал весьма немного, и, судя по сохранившимся сведениям, обширная



математическая эрудиция «нового Архимеда» (как называли его современники) не привела его к особо новым результатам.

Гораздо важнее был для математики современник Кардана, Штифель, сочинение которого по алгебре (*Arithmethica integra*<sup>1</sup>) заключало многие из современных алгебраических обозначений и даже первые шаги к теории логарифмов.

Но значение всех этих работ бледнело перед великим трудом фрауэнбургского каноника, – трудом, появление которого совпало с годом смерти автора (1543). Около тридцати лет Коперник писал свое сочинение, почти готовое к 1530 году. Его известность распространялась среди ученых Европы, несмотря на его скромную и уединенную жизнь. Уже в 1536 году кардинал Шомберг попросил его обнародовать свои открытия. В 1541 году было напечатано письмо астронома Ретикуса, заключающее главные черты великой теории Коперника. С нетерпением ждали истинные учения труда «нового Птолемея». Издателем сочинения «О движении тел небесных» в 1543 году выступил Озиандер, содействовавший появлению в печати многих трудов Кардана, тот самый Озиандер, который вызвал, как мы видели, ожесточенные богословские споры своими особыми воззрениями. Насколько путешествие Колумба произвело революцию в географии, настолько книга Коперника произвела революцию в астрономических воззрениях ученых. И до Коперника было несколько человек в истории, предполагавших, что Земля движется, но они ограничивались предположениями, догадками, следовательно, их мнения относятся к философии, а не к науке. Может быть, Аристарх Самоский сделал больше, но его сочинения до нас не дошли и даже не сохранились в каком-либо подробном извлечении. Польский каноник первым сделал философское *представление* о движении Земли научным *понятием*: он предпринял оценку его вероятности сравнительно с другими предположениями. Доказал, что оно объясняет факты, наблюдаемые астрономами, давая возможность своим преемникам поверить, исправить и дополнить свою теорию в тех частностях, в которых она была недоста-

---

<sup>1</sup> Stifel M. *Arithmethica integra*. – Nürnberg, 1544.

точно. Конечно, при всем огромном значении сочинения Коперника, следует признаться, что оно еще не вполне принадлежало новой науке. Во имя авторитета и эстетических соображений, он допускал круговую форму движения для небесных тел, как единственно возможную. Даже вращение Земли около оси Коперник защищал на совершенно не научном основании различия естественного движения от насильственного. Согласно историческому закону Конта, научное понимание небесной механики не могло предшествовать научному пониманию механики вообще, а во время Коперника Галилей еще не родился. Поэтому метафизический элемент должен был занимать еще много места в сочинении польского астронома. В книге «*De revolutionibus*» выказывается характерная черта сильных умов XVI века: не имея достаточного материала, как и упражнения для чисто научных исследований Нового времени, они смело использовали философскую догадку и даже свидетельство авторитета наряду с научной критикой, не различая строго вероятности этих приемов. Невольно, под общим давлением времени, они предоставляли научным соображениям все больше места, ограничивая гипотезы и цитаты, насколько было возможно. Кроме того, они руководствовались эстетическими соображениями по простоте и гармонии в природе несравненно больше, чем их предшественники — схоластики, чуждые всякого чувства стройности, или их последователи — эмпирики, осознавшие, что эстетическим соображениям вовсе не место в научном выводе. Из указанных трех особенностей, первая связывает великие умы рассматриваемой эпохи с предыдущим периодом, вторая делает их предшественниками Нового времени. Последняя же составляет характерную черту эпохи, когда обожали Платона и Цицерона, когда именно красота древнего мира привлекала к нему, когда Рафаэль, Тициано, Дюрер находили повсюду покровителей, а в красоте мадонн высказывалась настолько же оппозиция против средневекового католицизма, насколько она высказывалась в насмешке Маккиавелли или пламенной проповеди Лютера. Прославленное сочинение Коперника не произвело сначала никакого шума, как и не встретило особого про-

тивоедействия. Лишь позже оно подверглось осуждению церкви, и было внесено в «Индекс».

Заметим, что в это время появились первые карты (1554) Кауфмана (Меркатора) (1512-1594) с улучшенной системой проекций, а Герберштейн издал (1549) первую карту России.

В тот самый год, когда появилась книга о движении светил, в Париже были напечатаны два сочинения, привлёкшие гораздо больше внимания большинства личностей, считавших себя учеными. Это была логика, пытавшаяся заменить логику Аристотеля (*Dialecticae institutionis*) и резкое нападение на знаменитого стагирита (*Arestotelicae animaduersiones*). Они принадлежали сыну крестьянина, Пьеру Ла-Рамэ (Ramus), заявившему про себя раньше (1536) дерзким тезисом, что «все, сказанное Аристотелем, — ложь». Нападения на средневекового учителя были не новостью, но никто еще не высказывал их так безусловно и решительно. Озлобление схоластиков дошло до того, что они обратились к власти. Франциск I назначил диспут и окончил дело указом, который запретил Ла-Рамэ преподавать философию и вообще порицать Аристотеля. Ла-Рамэ занялся математикой, стал во главе Прэльской коллегии и поставил ее так высоко, что снова вызвал неудовольствие университета. Смерть Франциска принесла Ла-Рамэ не только свободу преподавания, но и место профессора в Королевской коллегии (1551), имевшей к концу жизни Франциска 12 кафедр. Несмотря на противодействие университетских схоластиков и на новые процессы о праве преподавания по своему методу, влияние Ла-Рамэ было значительным. Он был предшественником Нового времени именно по своей попытке сблизить философское преподавание с положительной наукой и изящной литературой, перенимая у великих писателей и великих ученых образцы правильного мышления. Как реальный мир должен был стать основой знания, так реальная жизнь должна была указать потребности школ. Религиозный вопрос был враждебным элементом для Ла-Рамэ, также он стал временной помехой для всех других рациональных начал развития в Европе того времени. Для дополнения характеристики времени заметим, что в той же Королевской коллегии занимал кафедру еврейского

языка (1539-1563) визионер Постель, в учении которого смешивались апокалиптические предсказания с мистической уверенностью в высшие силы, ему данные.

Средневековые элементы присутствовали и в деятельности самых лучших представителей этой эпохи. Тем не менее, одновременное появление в разных сферах мысли личностей с определенным пониманием новых требований времени показывало, какую силу приобретало реальное воззрение на мир и жизнь в то самое время, когда фантастические задачи стояли на первом плане, и богословы заглушали своими ожесточенными спорами все остальное, а государственная власть стремилась эксплуатировать все элементы жизни. На кафедрах гремели ругательства проповедников, костры зажигались во всей Европе для еретиков, войны государей разоряли народы, а средневековые права задыхались под давлением самодержавных владык. Сравнительно с этим стуком и громом, очень тихими и мало заметными кажутся труды Коперника, Везалия, Кардана, Тартаглии, Палисси, Парэ, Геснера, Ла-Рамэ, но в них скрывались несокрушимые начала будущего. Их сила заключалась в том, что они росли и укреплялись, несмотря на все препятствия. Их противники невольно прибегали к этим началам, как только могли сделать это без очевидной опасности для своих стремлений. Что касается элементов, игравших первые роли на сцене эпохи, то достаточно было присмотреться к их развитию, чтобы заметить, как пусто содержание фантастического элемента, зажигавшего костры по Европе! Как неизбежно государственная власть должна была в своем быстром развитии встретить противодействие в тех самых элементах, на которые она опиралась, но которые не могли терпеть ее безусловного преобладания.

Вне движения, охватившего Европу в эту эпоху, стояло Московское царство. Сконцентрировав все силы Руси под рукой Ивана Васильевича Грозного, оно раздавило ханства Казанское (1552) и Астраханское (1554), оттеснило крымчан (1559) и готовилось вступить в борьбу с западно-европейскими силами в Ливонии и Польше. Это столкновение должно было привести к сознанию необходимости новых начал и для Московской Руси, которая именно в то время, когда

начинала эту важную для себя борьбу, думала успокоиться на *своих* средневековых началах, закрепленных в «Стоглаве»<sup>1</sup>, «Судебнике»<sup>2</sup> и «Домострое попа Сильвестра»<sup>3</sup>. Их дополняла личная деятельность Ивана Васильевича с его византийско-монгольским идеалом владыки. Рационалистические попытки Башкина и Косого были раздавлены. Против любимой литературы народа – апокрифов – начиналось гонение... Боярам, которые не могли ужиться под рукой московского царя, оставались на выбор казнь или бегство в Литву. Бродячее население казаков росло на окраинах Руси и пробовало искать путь на Дальний Восток.

1868 г.

«Отеч. записки», №№ 8, 9 и 10.

---

<sup>1</sup> Стоглав. – Казань, 1862.

<sup>2</sup> Судебник Царя и Великого князя Ивана Васильевича. – СПб., 1768.

<sup>3</sup> Голохвастов Д. Домострой благовещенного попа Сильвестра. – М., 1849.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аарон – 208  
 Абеляр П. – 153, 180  
 Августин – 472, 480, 513  
 Аверроэс (Ибн Рушд) – 176  
 Авиценна (Ибн Сина) – 332  
 Агамемнон – 272  
 Агасис Ж. Л. Р. – 333  
 Агрикола Г. – 495  
 Адриан, император – 94  
 Аккерман Л. – 363, 379  
 Альберт Великий – 474, 475, 476, 476  
 Амафиний – 92  
 Амори Шартрский – 174, 180  
 Анаксагор – 145  
 Анвер – 63  
 Анджулли А. – 336, 366, 371-375, 399  
 Антонович М. А. – 39, 41, 141  
 Апелът Э. Ф. – 161  
 Аполлон – 99, 117, 272, 481  
 Апулей – 102  
 Араго Ф. Ж. Д. – 82, 83  
 Аристотель – 96, 97, 148, 150, 151, 154, 155, 157, 164, 170, 176, 184, 198, 331, 332, 465, 472, 476, 487, 495, 524, 529, 567  
 Арно А. – 199  
 Арнольд Брешианский – 182  
 Арсеньев К. И. – 61  
 Архимед – 150, 164, 467, 499, 565  
 Афанасий, св. – 156  
 Баньо – 315, 378, 381  
 Байрон Д.Г. – 142, 143  
 Бар – 69  
 Бауэр Б. – 526, 560  
 Беме Я. – 185  
 Бен – 74  
 Беренгарий Турский – 180  
 Беркли (Берклей) Д. – 279  
 Бернар Клервоский – 153  
 Берту С.А. – 74-75  
 Бетховен Л. – 377  
 Блан Л. – 210, 216  
 Блеквель (Блеквелл) Р. – 74  
 Блиньер, де – 289, 315, 378  
 Боден Ж. – 111, 113-115, 131  
 Бойль Р. – 190  
 Боккардо Д. – 293, 349, 372  
 Бокль Г.Т. – 211, 219, 235, 247, 253, 257, 265, 278, 371, 395  
 Бонелли Д. – 71, 74, 77, 79  
 Бонье – 74, 75  
 Борелли Д.А. – 191  
 Брандес Г. – 145  
 Бруно Д. – 185, 487  
 Буало Н. – 200, 201  
 Буассе – 315  
 Будда (см. Шакья-Муни) – 272  
 Булэ – 155  
 Бунзен В. – 66-70  
 Бурде – 315, 378  
 Бушен А.Б. – 389-390, 393-394  
 Бэкон (Бакон) Р. – 148, 155, 158, 162, 164, 175, 177, 182, 194, 195,

- 197, 199, 201, 205, 247, 397, 465, 472, 474, 499
- Бэкон Ф. – 191, 193
- Бюхнер Л. – 376
- Вагнер А. – 395
- Валерий Максим – 94
- Вальтерсгаузен А. С. – 354
- Ван Гельмонт Я. Б. – 202, 203, 206
- Ванеус – 395
- Ванини Д. Ч. – 185
- Варрон – 92
- Ватсон К. – 294
- Вашро Э. – 145
- Вейгель Э. – 185
- Вернер А.Г. – 330, 334-336, 343, 527
- Виргилий – 143, 154, 471, 479
- Виссарион (Бессарион) – 482
- Вольней К.Ф. – 218-219
- Вольтер – 201, 211-214, 216, 226, 234
- Вырубов Г.Н. – 246, 291, 293, 297, 318, 325, 336, 365, 367, 381, 387, 391, 393-395, 402
- Вэра – 371
- Гален – 150, 156, 467, 471, 477, 501, 524, 527, 555, 557
- Галилей Г. – 60, 89, 158, 179, 183, 190, 207, 252, 469, 499, 566
- Галлей Э. – 61
- Галль Д. – 336, 377
- Ганимед – 110
- Ганно М. – 251
- Гарвей У. – 190
- Гарстен – 293
- Гассенди П. – 184
- Гегель Г. В. Ф. – 144, 145, 155, 251, 251, 257, 369, 371-372, 455
- Гейне Г. – 65
- Гексли Т. – 357
- Гемист Плитон – 184
- Герар – 408
- Гербарт И. – 369
- Герберт (Папа Сильвестр II) – 181, 466, 473
- Гердер И. – 208, 239, 242, 246, 258
- Герике, фон О. – 190
- Геркулес (Геракл) – 62, 136-137, 139, 382
- Герри – 395
- Гершель У. – 61-65, 252, 336
- Гете И.В. – 142, 143, 207, 462
- Геттнер Г. – 210
- Гиббон Э. – 95, 235
- Гизо Ф. – 159, 257, 546
- Гиппарх – 150, 164, 467, 474, 489
- Гиппократ – 150, 467, 501, 555, 559
- Гольбах П. А. – 289
- Гомер – 93, 102, 107, 137, 463, 471, 494, 529
- Гопкинс – 353
- Гораций – 143, 169, 529
- Горо – 145
- Гроций Г. – 158
- Гуго Сен-Викторский – 172-173

- Гук Р. – 191  
 Гукер В.Д. – 357  
 Гус Я. – 468  
 Гюго В. – 142, 44  
 Гюттон Д. – 74  
 Да Винчи Л. – 343, 465, 467, 469-498, 501, 511, 518, 527, 529  
 Данте – 468, 479, 486, 490, 551, 554  
 Дарвин Ч. – 346, 351, 357-359  
 Д'Аррест Г. Л. – 60, 63  
 Д'Ейхталь Г. – 289  
 Д'Орбиньи А. Д. – 160  
 Деви Г. – 74  
 Декарт Р. – 155, 158, 183, 190, 195-197, 205, 209, 247, 277, 467, 572  
 Декли – 86  
 Демокрит – 145  
 Диодор Сицилийский – 92, 93, 531  
 Дионисий Галикарнасский – 92, 93  
 Диоскорид – 342  
 Дженерелли Ч. – 332, 333, 335  
 Драгоманов М.П. – 363, 405, 408, 413, 414  
 Дрейпер Д. – 406, 407, 414  
 Дюваль Э.В. – 155  
 Дюма А. – 54  
 Евгения, императрица – 70, 76  
 Евклид – 150, 473  
 Еврипид – 91  
 Жавори А. – 196  
 Жерсон Ж. – 153  
 Жоффруа-Сент-Илер Э. – 357  
 Жюсье Б. – 86  
 Санд Жорж – 54  
 Зевс – 71, 120, 132, 133, 134, 137, 382, 481  
 Зенон – 185  
 Зороастр – 272, 384  
 Иеремия – 377  
 Иисус Христос – 478, 490, 494, 524, 533  
 Иннокентий – 142, 491, 492, 502  
 Иоахим Флорский (ди Фиоре) – 174, 237  
 Ирвинг – 251  
 Ирмонон – 408  
 Кадок, св. – 154  
 Казабон И. – 155  
 Казелли Д. – 70, 74-77, 79  
 Кампанелла Т. – 185, 187-189, 205, 487  
 Кант И. – 155, 162, 208, 242-247, 277, 336, 337, 370, 464  
 Капет Г. – 412  
 Кардано Д. – 185, 467-469, 562-565, 568  
 Карл Великий – 344  
 Карл V – 515  
 Карл VIII – 502, 505  
 Кассини Ж. – 61  
 Кастелли И.Ф. – 61, 190



- Кателино Ж. – 381  
 Кацвини М. – 332  
 Каций – 92  
 Кеплер И. – 116, 158, 190, 244,  
     252, 276, 397, 469  
 Кетле Э. – 62  
 Кеттле Э. – 395  
 Кирхгоф Р. – 66  
 Конгрив Р. – 289  
 Кондорсе М. Ж. А. Н. – 218, 228,  
     230-235, 246, 247, 258  
 Конт О. – 148, 160, 224, 227, 234,  
     251, 253, 266, 271, 286-291, 293-  
     294, 301, 310, 316, 325, 347,  
     365, 368, 370, 373, 376, 400,  
     402  
 Констан-Ребек Б. А. – 289  
 Конфуций – 223, 440  
 Коперник Н. – 182, 189, 207, 252,  
     467, 527, 565, 568  
 Котта Б. – 350, 363, 366, 368, 399  
 Кузен В. – 144, 145  
 Лавуазье А. – 66, 86  
 Ламарк Ж. Б. – 343, 346, 357  
 Ламберт – 62  
 Ламотт Фук – 142  
 Лаплас П. – 252, 336, 337-339  
 Лафит П. – 289  
 Лаццаро Моро А. – 332, 335  
 Леверрье – 252  
 Лейбниц Г.В. – 146, 191, 202-204,  
     206  
 Ленорман – 385  
 Лесевич В.В. – 404  
 Лессинг Г.Э. – 208, 236-238  
 Либри – 397, 498, 499  
 Ликург – 94, 125  
 Липсий Ю. – 184  
 Листер Д. – 191, 332  
 Литтре Э. – 257, 288, 289, 290-  
     293, 296, 310, 315, 317, 363, 365,  
     376, 378, 381, 383, 385, 386,  
     401-403, 405, 407, 411, 414  
 Литтров И.А. – 141, 165  
 Лиэ Э. – 353  
 Ложель О. – 290  
 Локк Д. – 155, 162, 208, 212  
 Ломбраль – 376  
 Лоран Ф. – 209, 241, 257, 263, 364,  
     375, 377, 378  
 Лукиан – 97, 101, 110, 509, 552  
 Лукреций – 92, 171, 502  
 Лундаль – 62  
 Людовик – 66  
 Людовик XIV – 208, 219  
 Лютер М. – 142, 153, 157, 183, 468,  
     507, 509, 512, 513, 516, 519, 524,  
     526, 529, 534, 536, 555  
 Льюис Г.Г. – 91, 223  
 Ляйэлль Ч. – 265, 267, 277-282,  
     286, 292  
 Магомет – 125, 272  
 Мадлен де Сент Анж – 161

- Макиавелли Н. – 185, 511  
 Маколей Т. Б. – 462  
 Мальбранш Н. – 198-199, 209  
 Мальпиги М. – 191  
 Манжен А. – 83-88, 90  
 Мариано Р. – 371  
 Мартино Г. – 289, 293, 492  
 Марш Г. – 238  
 Маттиоли А. – 342  
 Матье К.Л. – 219-220  
 М.В. (псевдоним) – 53, 55, 59  
 Мейер Т. – 61, 463  
 Медлер И.Г. – 61  
 Мессье Ш. – 61  
 Местр де Ж. – 85  
 Милль Д. С. – 166, 165, 257, 266,  
 278, 280, 289, 291, 293, 294,  
 302, 309-313, 318, 351, 355  
 Мильтон Д. – 158  
 Минос – 94  
 Минуций Феликс – 99  
 Митра – 94-95, 110  
 Михайловский Н.К. – 363, 400,  
 404  
 Мишле Ж. – 88, 178  
 Моисей – 172, 208  
 Монтень М. – 184, 541  
 Монтескье Ш. Л. – 235  
 Монтруи – 381  
 Монтюкла Ж. Э. – 397  
 Мор Т. – 187-189  
 Морзе – 70, 73-74, 76, 78-79  
 Мори А. – 126, 363, 399  
 Моцарт В.А. – 310  
 Мур А. – 142  
 Мэн де Бيران – 144  
 Наполеон I – 89, 142  
 Николай Кузанский – 185  
 Нодье Ш.Ж. – 82, 83  
 Ноэль Ж.Б. – 381  
 Нума – 94  
 Нэпер Н. – 116  
 Ньютон И. – 161, 191, 207, 208,  
 212, 244, 252, 397, 462, 467  
 Овидий – 143, 150, 532, 553  
 Одиссей – 155  
 Ориген – 103  
 Островский Н. – 60  
 Орфей – 134  
 Палисси Б. – 343, 466, 559, 568  
 Панцакки Э. – 372  
 Папен Д. – 397  
 Парацельс – 185, 187, 205, 467-  
 469, 524-527, 555  
 Парвиль, де – 66, 79, 81  
 Паскаль Б. – 65, 89, 190, 199, 467  
 Перикл – 150, 466  
 Перро Ш. – 200, 206  
 Пифагор – 110, 223, 465, 494  
 Плато – 338  
 Платон – 34, 96, 105, 107, 108, 110,  
 145, 155, 171, 184, 187, 198, 384,  
 494, 529, 566  
 Плиний – 34, 171, 464, 561  
 Плутарх – 97, 100, 102, 105, 109  
 Полишинель – 82

- Помпонаций П. (Помпонат) – Сенека – 171  
 494, 508, 511, 512, 529  
 Порфирий – 185, 471, 495  
 Пристлей Д. – 235  
 Прометей – 70-73, 115, 382-385  
 Прудон П.Ж. – 257, 261-262  
 Пюизе, де Г. – 212  
 Пыпин А.Н. – 31, 141  
 Пэдж Д. – 361  
 Рабирий – 92  
 Раденгаузен К. – 257, 267, 268  
 Радю – 70  
 Раушер И.О. – 363, 378, 379  
 Рей Д. – 495  
 Рейсс И.Ф. – 71, 79, 80  
 Рейх Ф. – 69  
 Реклю Е. – 339, 353, 354  
 Ренан Э.Ж. – 282-284  
 Ренувье Ш. – 257, 263  
 Риттер К. – 69, 145  
 Робен П. – 289, 381, 447  
 Роберти, де Е. В. – 404  
 Робине – 289  
 Розенкранц К. – 371  
 Ройе К. – 44, 363, 399  
 Ромул – 93, 152  
 Росс, лорд – 64, 65, 252  
 Россини Д. – 70, 76  
 Руссо Ж.-Ж. – 88, 214-217, 422-  
 427, 434, 439, 442, 453  
 Руссло Ж. – 145  
 Санкторио С. – 190  
 Сведенборг Э. – 151  
 Серапион Афинский – 97, 99, 100,  
 106  
 Серапис – 110, 351  
 Сиербуа – 315  
 Сизиф – 91  
 Симон – 145  
 Сичилиани П. – 372  
 Скотт В. – 142  
 Сократ – 97, 467, 494  
 Соттини Д. – 371, 372, 363  
 Софокл – 150  
 Спенсер Г. – 257, 262, 265, 266,  
 267, 290, 296, 301, 303, 315-  
 318, 334  
 Стенон Н. – 332, 335  
 Стирлинг Д. – 371  
 Страбон – 43, 331, 333  
 Струве О. – 62  
 Стюпюи И. – 381  
 Тарквиний – 94  
 Тацит – 217, 363, 405  
 Телезий Б. – 185  
 Теофраст – 369  
 Тибулл – 143  
 Тит Ливий – 92, 93  
 Томсон У. – 353  
 Торричелли Э. – 89, 190  
 Траян – 154  
 Трибулэ А. – 142  
 Турель – 251  
 Тюрго А.Р.Ж. – 213, 218-222, 224-  
 227, 233, 234, 246, 247, 249

- Уатт Д. – 89  
 Уордсворт У. – 142  
 Уэвель В. – 141, 161-165, 179-180  
 Фаллопио Г. – 342, 557  
 Фаррар Ф.В. – 342, 363, 399, 400  
 Фейербах Л. – 254, 287  
 Феокрит – 150  
 Фигье Л. – 161, 176, 463-468, 470, 498  
 Филипп II – 547  
 Фиорентино П. А. – 372  
 Фихте И. Г. – 251, 293, 369  
 Фичино М. (Фицин Марцил) – 184, 495  
 Фишер К. – 145  
 Фогельзанг Г. – 265  
 Фома Аквинский (Аквинат) – 172  
 Фонтельне – 62  
 Фонтенель, де Б. Л. Б. – 201  
 Фохт К. – 319  
 Фракасторо Д. – 343, 523  
 Франклин Б. – 89  
 Фрауэнгофер Й. – 67  
 Фуку Ф. – 142, 362, 363, 396, 397, 399  
 Цецилий – 99  
 Целлер Э. – 145  
 Цицерон – 91-94, 96, 136, 171, 479, 495, 566  
 Шакья-Муни (см. Будда)  
 Шам (де Ноэ А.) – 74  
 Шаррон П. – 184  
 Шатобриан, де Ф.Р. – 257  
 Шварц Б. – 89  
 Швенкфельд К. – 185, 533  
 Шеллинг Ф.В.Й. – 144, 251, 257, 369  
 Шиллер Ф. – 144, 251, 257, 369  
 Штраус Д. – 289  
 Эдип – 155  
 Эвгемер – 107  
 Эли де Бомон – 336, 346, 349, 351  
 Эмиль – 18, 217, 417, 421-423, 425, 427-437, 439, 444, 445, 447, 448, 453  
 Энгель И.Х. – 395  
 Эпикур – 92, 185, 198, 289  
 Эпиметей – 70-72  
 Эрдан А. – 289  
 Юм Д. – 162

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абсолют – 403
- Абсолютное – 238, 257, 275-277, 329, 377, 439
- Автор – 52, 286, 328, 498
- Авторитет – 98, 100, 105, 109, 139, 145, 153-154, 157-159, 176, 179-182, 184, 192, 198, 205, 211, 250, 270, 299, 331-332, 346, 360, 371, 397, 423, 435, 442
- Академия – 62, 72, 155, 185, 467, 493, 495, 535
- Аксиома – 295, 297, 315
- Аллегория – 553
- Алхимия – 488
- Анализ – 66, 69, 70, 246, 252, 260, 268, 294, 318-319, 321, 334, 368, 370, 393
  - анатомический – 269
  - качественный – 488
  - критический – 294, 372-373, 489
  - научный – 259
  - предварительный – 254, 287, 404
  - спектральный – 60, 66, 68-70, 252, 404
- Анатомия – 117, 319, 361
- Антропоморфизм – 98, 101, 102, 105, 122, 129
- Апология – 99
- Аппарат – 67-68, 70, 72-76, 78-80, 249, 269
- Аристотелизм – 184, 477, 487
- Артисты – 55, 80, 83
- Астрология – 119, 208, 266
- Астрономы – 61
- Астрономия – 160, 163, 252, 304-305, 447
  - абстрактная – 309
  - конкретная – 309, 322-323
- Атеизм – 102, 104-105
- Атеисты – 98, 102
- Атмосфера – 113, 243, 320, 324, 340, 351
- Безнравственность – 91, 522
- Библиография – 90, 160, 291
- Бином Ньютона – 191
- Биология – 253, 305, 317
- Благо – 71, 92, 100, 233, 409
  - общее – 221
  - человечества – 382
- Благодать – 172, 513, 520
- Благочестие – 100
- Бог – 103, 105, 187, 199, 203, 266, 487, 547
- Боги – 102, 103-104, 107, 110, 122-125, 128-130, 133-134, 136-138, 142, 244, 382, 481
- Богословы – 509, 534, 537, 539, 543, 568
- Божество – 124-125, 136-137, 224
- Ботаника – 84, 86, 320, 323, 361, 463
- Ботаники – 560

Будущее – 93, 100, 117, 120, 132,  
137-138, 140, 175, 186, 214, 220,  
249, 253, 257, 266, 386, 405,  
415, 448, 474, 490, 552, 563

Быт – 420

- животных – 88

- крестьянский – 393

- материальный – 255, 261

- народный (народа) – 274, 281,  
392

- общественный – 55, 186, 392,  
430

Бытие – 199, 203, 242, 277, 295-  
296, 344, 373

Варварство – 109, 186, 212, 235,  
511, 528

Варвары – 407

- их нашествие на Римскую  
империю – 409-411

Вера – 102, 103, 211, 214, 548

- народная – 103, 108, 139

- христианская – 533, 548

Верования – 91, 98, 141, 147,  
169, 456, 487

- религиозные – 93, 105, 108,  
520

- языческие – 91, 95, 102, 109,  
120, 129

Верующие – 104

Вещество – 68, 85, 123, 342, 477

Власть – 114, 121, 441, 504, 541,  
554

- духовная – 108, 568

- католическая – 478

- светская – 110, 471, 485, 546,  
566, 568

Вода – 201, 269, 333, 349, 355,  
397, 477

Возрождение – 292, 410, 487,  
488, 491, 493, 501, 539

- человечества – 183, 203, 225,  
238

- эпоха – 156, 183, 412

Воля – 243, 440

- внемировая – 246

- всеобщая – 245

- свободная – 243

- своя – 94

- частная – 179, 245

- человеческая – 224

Воображение – 52, 114, 116, 118,  
121, 135, 139, 468, 488

Воспитание – 189, 217, 222,

237, 318, 418-419, 424, 426, 429,  
434, 438

- естественное – 437

- общечеловеческое – 435

- прогрессивное – 386

- рациональное – 440

- свободное – 421-422, 435

Вопрос – 54, 57, 59, 104, 128,

137-138, 142-148, 150, 153, 155-  
158, 164, 170, 174, 187, 197, 202,  
205, 209, 215, 217, 226, 233-236,  
241, 246, 249, 253, 262, 266,

272, 274, 279, 282, 284, 305, 307

- исторический – 405

- научный – 61, 65, 70, 84, 86, 89, 112
- философский – 46
- Вселенная – 207
- Вулканисты – 335-336
- Газеты – 52, 76
- Гегельянизм – 278
- Гений – 66, 126, 177, 202, 211, 283, 357, 479, 494
- Герменевтика – 249
- География физическая – 320
- Геогения – 324, 325, 336, 344, 345
- Геогнозия – 320
- Геологи – 342, 344-345
- Геология – 321-322, 323-325, 330, 332-333
- Геометрия – 190, 302, 463, 473, 493, 527
- Гидравлика – 500
- Гидростатика – 190
- Гигиена – 60, 70, 84
- Гипотеза – 325, 338-339, 345, 353-354
- Грамматика – 412
- Группы – 229, 230, 234, 235, 239, 250
- наук – 301, 320, 322, 328, 435
- явлений – 304, 320
- Движение – 64, 80-81, 117, 237, 262, 278, 351, 500
- вперед – 240
- звездное – 61, 63
- Земли – 61, 267, 324, 350, 487
- метафизическое – 274
- мысли – 179, 251
- научное – 159, 191, 257, 468
- небесных тел – 60, 337
- общества (общественное) – 95, 153, 167, 219, 378, 456, 516
- планетное – 60, 338, 474
- подземное – 351
- политическое – 182, 507, 514
- социальное – 388, 495
- спутников Юпитера – 190
- умственное – 101, 178, 379
- частиц – 219, 300, 340, 349
- религиозное – 154, 520, 530
- Действительность – 56, 104, 108, 114, 120, 206, 208, 214, 275-276, 296-301, 314, 322, 334, 348, 421, 439, 508, 558
- Деспотизм – 95, 223-224, 480, 492, 504, 518, 535, 542, 549, 554
- Деятельность – 55, 70, 101, 121, 147, 154, 172, 203, 211, 253, 259, 286, 327, 333, 354, 356, 361, 377, 397, 424, 454, 473, 498, 560
- научная – 101, 211, 461
- умственная – 111, 205, 247, 264, 266, 267, 271, 284, 313
- Диалектика – 250
- Дикари – 113, 122, 135, 194, 215, 217, 247, 265, 274, 436
- Дикость – 235, 406, 410, 532
- Динамика социальная – 260
- Диссертация – 160, 363
- Доводы – 83, 106, 109, 199, 310, 394

- Доверчивость – 176
- Догмат – 144-145, 173, 180, 471-472, 482, 502, 517, 520, 533, 536, 540, 542, 550
- традиционный – 209, 487, 536
  - транссубстанции – 181
- Догматики – 195
- Доказательство – 97, 99, 106, 109, 159, 167, 170, 209, 228, 253, 467, 522
- опытное – 313
  - отвлеченное – 313
- Доктрина – 254, 403-404
- мистическая – 185
  - мистико-физическая – 251
- Достоверность – 273, 383
- Древность – 91, 100, 192, 198, 200-201, 217, 267, 273, 283, 383, 410, 469, 484, 504, 548
- Душа – 101, 103, 134, 210, 487
- Естествознание – 84-85, 305, 554
- Естествоиспытатели – 208, 463
- Железный век – 188
- Женщины – 54, 133, 450
- их отставание в умственном развитии – 52-53, 57-58
  - медики – 55
- Жертвы – 94, 122-127, 173, 436, 439
- Жизнь – 54, 56, 58, 71, 88, 98, 114, 123-124, 126, 143, 146-147, 152-155, 162, 167-168, 207, 214, 248, 255, 358, 434, 435, 530, 548, 552
- древняя – 123, 152, 253
  - европейская – 207, 462, 470, 507, 511
  - историческая – 212, 284, 406
  - общеорганическая – 260
  - общественная – 145, 168, 260, 388, 460, 495
  - полная – 282
  - практическая – 56
  - умственная – 236
  - частная – 199
  - человеческая (человечества) – 96, 114, 124, 242, 253, 262, 362, 385
- Жрецы – 115, 118, 120-121, 123
- Журналы – 292-293, 371, 379, 399, 464
- Заблуждение – 88, 90, 96, 238, 263, 270
- Завет Ветхий – 174
- Новый – 172, 174, 510, 512
  - Третий – 174
- Загадки – 66
- Задачи – 141, 212, 235, 242, 246, 254, 315, 319, 360, 377, 425, 444, 460, 496, 529, 544, 558, 568
- Законы – 170, 188, 228-229, 260, 304, 317, 415
- гидростатики – 190
  - естественные – 389
  - жизни – 457
  - математические – 252



- механические – 207
- природы – 85, 437
- развития – 227, 317, 389, 445
- социологические – 389, 393
- тяготения – 190, 304, 397
- физики – 456
- Застой – 61, 172
- Звезды – 58, 64, 66, 321, 350
- неподвижные – 61
- Землетрясения – 328-329, 332, 352, 476
- Земля – 60, 68, 132, 158, 204, 225, 228, 242, 322, 328, 331, 361-362, 450, 474, 500, 513, 527, 565
- происхождение ее – 338, 345, 347, 361
- Знание – 116, 139, 140, 148, 155, 192, 197, 240, 242, 256, 278, 296, 300, 313, 495, 508, 537, 556
- опытное – 564
- позитивное (положительное) – 246, 254, 263, 275, 278-279, 287
- Золотой век – 169, 188, 214
- Зоология – 320, 361
- Идеал – 215, 241, 262-263, 403, 422, 425, 427, 436, 471, 478-480, 488, 493, 505, 516, 519, 545, 549, 555, 569
- личности – 255
- нравственный – 144, 423, 442
- общества – 283, 502
- политический – 485, 522
- положительный – 508
- христианский – 507, 544

- Идеализм – 145, 536
- Идея – 55-56, 81, 88, 92, 102, 135, 145, 152, 167, 169, 171, 178, 186, 189, 196, 204, 208, 214, 232, 271, 276, 288, 322, 336, 400, 408, 472
- положительная – 296
- преемство – 144
- прогресса – 167-168, 172, 173, 178, 187-189, 191, 197, 199, 202, 205-206, 210, 212, 217, 246
- развития – 258, 285, 439
- философская – 368
- Иерархизация – 324
- Извержения вулканические – 328-329, 332, 352
- Изобретения – 61, 72-74, 89, 176, 188, 193-194, 253, 272, 330, 442, 500
- Империя – 95, 98, 100, 110, 150, 235, 363, 405, 408-409, 412-413, 468, 472-473, 528
- Карла Великого – 412
- Монтесумы – 527
- Индивид – 227, 322, 344
- Индукция – 163
- Инстинкт – 87, 179, 238, 240, 243-244, 279
- естественный – 214, 443
- личный – 261
- самосохранения – 261
- социальный – 261
- Инструменты – 64, 489
- Интеллигенция – 283, 371, 388, 415

Интерес – 85, 87, 96, 130, 142,  
 168, 183, 378, 381, 387, 420, 425,  
 430, 432, 436, 462, 464, 468-  
 470, 481, 486, 515, 528, 544, 550  
 - духовный – 523, 530, 544-545  
 - жизненный – 153, 511  
 - к философии – 290, 293  
 - материальный – 391, 456  
 - мирской – 103, 548  
 - народа – 523  
 - научный – 117, 458, 461, 519,  
 522  
 - общественный – 372, 421, 544,  
 550  
 - общечеловеческий – 56, 61,  
 93, 522  
 - политический – 516, 522  
 Искусство – 87, 144, 384, 495,  
 500, 532  
 - в значении умения –  
 118, 121, 193, 231, 508, 556  
 - его прогресс – 193  
 Исследование – 256, 259, 267,  
 273, 277, 309, 347, 349, 370,  
 374, 390-391, 396, 477  
 Истина – 139, 171, 177, 199,  
 213, 232, 238, 255-256, 297-298,  
 317  
 - абстрактная – 301  
 - научная – 177, 302, 304  
 - религиозная – 508  
 - сверхъестественная – 537  
 Историки – 93, 142, 153-  
 154, 156, 211, 406-407

История – 132, 142, 147, 150,  
 167-168, 185, 193, 548  
 - аскетов – 145  
 - всеобщая – 165  
 - Европы – 159  
 - идей – 147  
 - культуры – 147  
 - науки – 148-149, 159-161, 163,  
 165  
 - прогресса – 168  
 - религии – 147  
 - философии – 144, 146  
 - цивилизации – 142, 147, 159  
 - человечества – 145  
 Истребление людей – 267  
 Катаклизмы – 348, 351  
 Катастрофа – 167, 170, 344, 413  
 Католичество – 157, 172, 181,  
 185, 189  
 Кафедра – 482, 556, 568  
 Качества – 202, 410  
 Классификация наук – 300,  
 318, 369  
 Климат – 240-241, 391, 393,  
 430, 476  
 Книги – 59, 82-84, 86, 89-90,  
 177, 227, 349, 363, 365, 373, 396,  
 400, 405, 408, 411, 422, 442,  
 448, 451-452, 454, 463  
 Книгопечатание – 155, 220,  
 267, 482, 529  
 Комедия – 82, 522, 551  
 Контизм – 255, 288  
 Контисты – 401, 403

Кора земная – 319, 349  
 Космогония – 328  
 Красноречие – 88  
 Критериум (критерий) – 156, 298, 299  
 Критика – 103, 110, 273, 374, 400, 464, 489, 525, 537, 556  
 - историческая – 249, 273, 414, 463, 472  
 - научная – 177  
 - новейшая – 156, 249-250  
 - ученая – 108  
 - чистая – 110  
 Критики – 249  
 Культ – 94, 102, 108, 110, 124, 126, 128-129, 132, 135-137, 139, 144, 173, 175  
 Культура – 109, 141, 147, 463, 496-497, 528, 543, 554  
 Легенды – 329, 383, 481  
 Лекция – 59, 83, 159, 363, 399, 432, 467, 519, 525  
 Литература – 175, 182-183, 185-186, 199-200, 214, 279, 292, 294-295, 309, 314, 318, 334, 362-363, 365  
 Личность – 238, 240, 289, 427, 429, 444, 456, 458, 463, 480, 483, 485, 488, 491, 540, 548, 550, 560  
 Логарифмы – 190  
 Логика – 221, 281, 473, 567  
 Ложь – 82, 376, 567

Люди – 82, 91, 96, 101-102, 133, 136, 158, 163, 170, 174, 177, 191, 194, 198-199, 203, 209, 211, 218, 225, 228, 231, 241, 243, 250, 278, 280, 310, 348, 353, 368, 403, 418, 431, 440, 442, 444, 460, 469, 511, 521, 529, 533, 543, 563  
 Магия – 111-112, 114-115, 118-121, 126, 139  
 Масса – 193, 339, 340, 354, 356, 376, 384  
 - материи – 64, 337, 339  
 - народная – 115, 118, 169, 252, 282, 283, 482  
 - фактов – 336  
 Математика – 160-162, 164, 175, 185, 191, 202, 304-306, 317, 368, 403, 462, 465, 473, 489, 522, 527, 556, 561-565, 567  
 Материализм – 56, 295-296, 495  
 Материалисты, материалистки – 55-56, 460  
 Материал – 117, 136, 147-148, 195, 250, 252, 254, 329, 334, 336, 356, 360, 365, 381, 446, 464, 472, 474, 478, 495, 507, 510, 512, 524, 551, 566  
 - исторический – 144, 147, 164  
 - научный – 148, 161, 165, 302-303, 395, 415, 425, 490, 560  
 - природы – 121  
 - социологический – 259

- биографический – 461
- Материки – 332, 335
- Машины – 75, 89, 175, 269, 500
- Медики – 58, 155
- Медицина – 52, 55, 58, 156, 477, 556
- Метаморфозы – 130, 150, 341
- Метафизика – 221, 251, 276, 292, 296, 333-334, 367, 374-375, 424
- греко-римская – 151, 277
- греческая – 563
- индийская – 275
- итальянская – 363, 372
- немецкая – 278
- Метафизики – 232, 276, 279, 287, 327, 333-334, 363, 372, 375, 415, 424
- Метод – 148, 193, 235, 256, 279, 298, 309, 313, 315, 335, 345, 395, 402, 407, 419, 424, 426, 452, 468, 470, 473, 489, 497, 512, 547, 557, 560, 567
- метафизический – 278
- научный – 170, 399
- обучения – 452-453
- опытный – 195, 252, 258, 373
- положительный – 315, 345, 395
- социологический – 386
- Методика – 148, 165, 451
- Микроскоп – 70, 175
- Минералогия – 323
- Мир – 63-64, 83, 85, 102-103, 113, 114, 126, 145, 145, 162, 174, 186-187, 191-193, 203, 207, 217, 219, 226, 236, 242, 247, 255, 265, 274, 278, 310, 312, 322, 361, 370, 375, 406, 422, 450, 478, 488, 504, 512, 518, 529, 544, 554
- аугсбургский – 545
- высший – 115, 151, 242
- греко-римский – 97, 471
- древний – 93, 110, 150-152, 154-156, 199, 363, 383, 406-408, 411, 479, 481, 488, 505, 529, 531, 566
- интеллектуальный – 64, 193, 427
- католический – 480, 549
- лучший – 203-204, 214
- материальный – 193, 315
- мусульманский – 149
- неорганический – 163-164, 269, 323
- новейший – 154
- новый – 151-152, 156-158, 408, 496-497, 540
- нравственный – 315
- образованный – 250
- окружающий – 271, 471
- органический – 155, 163, 476
- первобытный – 347
- средневековый – 152, 154, 156
- цивилизованный – 383
- языческий – 95, 109, 135, 142, 154, 480, 530
- Мировоззрение – 330, 399, 525
- научное – 276, 330

- схоластическое – 511
- теологическое – 42, 276, 328
- Миросозерцание – 118, 146-147, 166, 168, 182, 199, 205, 207, 255, 257, 261, 403, 437, 456, 472, 537
- древнее – 172
- классическое – 182
- легендарное – 250
- метафизическое – 271, 287, 329, 343
- мистическое – 256, 563
- научное – 250, 255, 258, 279, 287
- новое – 185, 326
- отжившее – 236
- положительное – 251, 271-272, 287
- современное – 249
- супранатуральное – 250, 295-296
- теологическое – 271, 273-274, 287, 384
- традиционное – 189, 206, 208-209, 250, 254-255
- туманное – 167
- Мистика – 175, 178, 522
- Мистики – 178, 478
- Мистицизм – 111, 122, 173, 174
- Миф – 70, 71, 105, 108, 110, 144, 244, 329, 363, 382-383, 485, 507, 528
- Мифология – 105-108
- древняя – 102, 105, 208
- языческая – 98

- Мнение – 70, 91, 178, 192, 199, 280, 318, 347, 357, 364, 375, 393, 406, 408, 411, 414, 442, 476, 477, 533, 538
- общественное – 207
- Монада – 203
- Мораль – 221-222, 314-315, 377, 384-385, 391, 402, 409, 422, 442
- Море – 241, 269, 320
- Мудрость – 102, 129, 174, 186, 187, 471, 479, 529, 548
- Мусульмане (магометане) – 58, 319, 515
- Мыслители – 110, 113, 145, 146, 155, 158, 170, 188, 195, 198, 199, 202, 206, 208, 209, 210, 219, 235, 247, 257, 261, 287, 310, 323, 370, 387, 415, 473, 480, 487, 512, 529, 545, 563
- Мысль – 52, 54, 59, 86, 97, 98, 106, 112, 117, 124, 138, 139, 143, 145, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 164, 165, 170, 180, 183, 186, 191
- европейская – 153, 157, 178
- научная – 164
- общественная – 141
- человеческая – 158, 176
- чистая – 158
- Мышление философское – 180, 197, 206, 274
- Наблюдение – 189, 191, 193, 207, 224, 228, 230, 236, 239, 244, 251, 253, 258, 263, 271, 296,

330, 332, 361, 366, 398, 437, 455  
 - астрономическое – 338  
 - метод изучения явлений – 329  
 Набожность – 97, 100, 102  
 Наводнение – 328, 332, 388  
 Напластование – 323, 349, 350  
 Направление – 56, 61  
 - движения мысли – 197, 207, 252, 85, 110, 138, 179, 184, 191, 196, 215, 254, 323, 338  
 - научное – 185  
 - общества – 55  
 - планет – 62, 247, 265, 339  
 - позитивизма – 314  
 - прогресса – 205  
 - развития – 282  
 - схоластическое – 180  
 - философии истории – 256, 279  
 Народ – 91-95, 99, 103, 109, 118, 121, 123-129, 135-142, 149, 152, 154, 161, 169, 172, 181, 188, 206, 207, 211, 213, 217, 219, 222, 223, 225, 232, 407, 430, 458, 479, 481, 507, 539, 549  
 Население – 58, 93, 110, 225, 230, 384, 389, 393, 410, 412, 490  
 Наслоения – 335, 549  
 Натурализм – 184, 274  
 Натуралисты – 160, 171, 333, 357  
 Наука – 361, 367, 373, 381, 386  
 - абстрактная – 309  
 - высшая – 305, 317, 386  
 - геологическая – 345

- греческая – 384  
 - естественная – 305  
 - индуктивная – 162, 164  
 - конкретная – 366, 369  
 - математическая – 221  
 - медицинская – 555  
 - моральная – 221  
 - непогрешимая – 299  
 - новейшая – 366, 383, 399  
 - опытная – 388  
 - положительная – 368, 375, 386  
 - популяризация – 82  
 - современная – 394  
 - социологическая – 387  
 - специальная – 59  
 - физическая – 320  
 Нация – 152, 223, 232, 270, 371, 435, 494, 498  
 Начало – 71, 74, 87, 111, 338, 384, 412, 422, 455, 476, 482, 487, 499, 508, 509, 510, 524, 531, 541, 552, 557, 562  
 Невежество – 60, 61, 86, 96, 102, 167, 200, 212, 213, 219, 232, 234, 247, 265, 273, 282, 391, 447, 512  
 Неверие – 91, 92, 93, 96, 100, 102, 481, 530, 553  
 Неверующие – 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109  
 Неоплатонизм – 145, 184, 185, 487  
 Непознаваемое – 296

Нептунисты – 335, 336  
 Нововведения – 96, 186  
 Номинализм – 180  
 Номиналисты – 146, 151, 277  
 Нравы – 109, 220, 224, 413  
 Нравственность – 264, 269, 386, 391, 394, 409, 442, 443, 511, 522, 535, 548  
 Нужда – 451  
 «Обозрение» (журнал Литтре и Вырубова) – 291, 365, 373  
 Образование – 10, 49, 59, 101, 157, 208, 209, 210, 214, 215, 268, 283, 340, 342, 343, 350, 355, 448, 559  
 - духовное – 182  
 - классическое – 283  
 - научное – 308, 364  
 - общественное – 282  
 - реальное – 84  
 - светское – 182  
 - человеческое (гуманное) – 182  
 Образованность – 172, 187, 212, 214, 231, 239, 510  
 Обряды – 93, 94, 95, 102, 108, 112, 114, 117, 120, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 491  
 Обсерватории – 60, 62, 70  
 Обучение – 412, 425, 426, 439, 445, 447, 451, 452, 453, 510  
 - общества – 412, 413  
 Общественность – 261

Общество – 32, 48, 54, 58, 96, 114, 144, 147, 168, 178, 186, 199, 211, 217, 227, 266, 282, 289, 305, 368, 394, 409, 411, 412, 420, 420  
 - европейское – 326, 511, 522  
 - новое – 384  
 - образованное – 200, 364  
 - организованное – 245  
 - римское – 94  
 - современное – 55  
 - средневековое – 413  
 - языческое – 411  
 Обычаи – 92, 94, 109, 123, 125, 128, 141, 144, 145, 147, 156, 229, 230, 247, 324, 561  
 Объект – 266, 298, 313, 316, 375, 376, 386  
 Объяснение – 67, 81, 91, 104, 106, 149, 159, 221, 259, 271, 276, 287, 301, 306, 320, 352, 363, 373, 375, 382  
 - аллегорическое – 105, 110  
 - вымышленное – 346, 347  
 - естественное – 343  
 - ложное – 147  
 - научное – 354  
 - супранатуральное – 287  
 - физическое – 107  
 - эмпирическое – 386  
 Океан – 157, 296, 335, 349, 351, 353, 356, 434, 490, 496, 497, 528, 545  
 Описание – 68, 73, 86, 88, 118, 131, 225, 239, 328, 437, 475, 523

Опыт – 298, 299, 302, 303, 315, 317, 331, 336, 360, 361, 375, 426, 432, 437, 446, 452, 455, 459, 472, 499  
 - как метод изучения явлений – 373  
 - социологический – 388, 389  
 - физический – 389  
 Оракулы – 101, 108  
 Ораторы – 92, 483, 507, 531  
 Ортодоксия – 173, 174, 177, 178, 182, 209, 250  
 Ортодоксы – 174, 176  
 Откровение – 104, 105, 107, 174, 237, 257, 271, 273, 508, 513  
 Открытия – 113, 119, 140, 156, 164, 176, 185, 190, 196, 200, 207, 221, 235, 249, 256, 263  
 Относительное – 167, 197, 276, 298, 465  
 Очевидность – 195  
 Ошибки – 298, 311, 368, 375, 395, 402  
 - историческая – 410  
 - коренная – 321  
 - физиологическая – 410  
 Палеонтология – 320, 323, 332, 341, 357, 359  
 Пантеизм – 180, 277, 295, 487  
 Партия – 96, 99, 459, 470, 483, 510, 513, 542, 543, 550  
 - политическая – 100, 158  
 - правоверная – 101, 543, 550, 552

Перевоороты – 162, 178  
 - земные – 186, 200  
 - научные – 189  
 - религиозные – 182  
 Периоды – 207, 226, 251, 270  
 - доисторический – 471  
 - исторический – 183  
 - метафизический – 224  
 - минувший – 250, 319  
 - научный – 224  
 - развития – 274, 330  
 - теологический – 224  
 Писатели – 94, 148, 208, 258, 258, 265, 294, 311, 366, 371, 375, 461, 487, 551  
 Письмо – 160, 220, 231, 366, 428, 565  
 Планета – 190, 322, 338, 349  
 Платонизм – 184, 487  
 Поверхность Земли – 201, 340, 350, 352, 354, 359  
 Позитивизм – 160, 255, 286, 288-294, 310, 316, 326, 363-366, 370-380, 399-405, 414-416  
 Позитивисты – 289, 296, 309, 311, 325, 363, 365, 373, 377-379, 386, 400, 403  
 Познание – 318  
 Познание – 196, 219, 278, 316, 374, 419, 457, 526, 557  
 Полемика – 200, 315, 363, 527, 533, 558  
 Политеизм – 93, 95, 101, 135, 273, 384, 406, 409



Политика – 91, 97, 156, 170, 187, 220, 234, 264

Политическая экономия – 221, 253

Понятие – 57, 94, 99, 113, 127, 128, 151, 177, 189, 163, 184, 299, 318, 325, 361, 370, 439

- отвлеченное – 329

- предельное – 295

- умозрительное – 246

Порядок – 101, 201, 228, 254, 264, 295, 325

- вещей – 101, 325

- естественный – 299, 445

- метафизико-теологический – 336

- науки – 377

- социальный – 392

- старый – 233

Поэзия – 70, 150, 182, 200, 328, 413, 487, 508

Поэмы – 85, 92, 155, 479, 490, 493, 505, 508, 523

Поэты – 55, 97, 99, 150, 187, 480, 493, 514, 529, 532, 542

Правда – 54, 82, 85, 173, 236, 239, 374, 394, 405, 415, 418, 427, 462, 465, 507

Право – 61, 108, 110, 210, 303, 326, 401, 467, 471, 478, 491, 540, 544

- крепостное – 412

- римское – 155, 479

Правовереие – 95, 96, 98, 99, 100, 101, 107

Правосудие – 87, 240

Практика – 72, 79, 433, 500, 554

Предание – 91, 93, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 137, 147, 157, 162, 166, 169, 225, 230, 273, 382, 419

Предмет – 64, 85, 94, 99, 103, 113, 122, 134, 137, 153, 445, 448, 450, 451, 455, 462, 468, 470, 480, 498, 511, 530, 555

- утвари – 84, 135

Предрассудки – 60, 86, 109, 141, 145, 188, 200, 211, 232, 233, 348, 397, 423

Представление – 109, 112, 119, 132, 147, 157, 166, 189, 205, 225, 275, 309, 427, 439, 522, 565

Преподавание – 53, 145, 162, 432, 446, 451, 456, 519, 539, 567

Привычки – 60, 83, 143, 147, 156, 159, 345, 386, 431, 456, 460, 463, 473, 508, 511, 512, 516, 521, 524

Принцип – 78, 131, 170, 205, 208, 214, 225, 241, 253, 297, 407, 424, 444, 480

- антропологический – 424, 425

- государственный – 545

- единства природы – 360

- метафизический – 426

- научный – 81, 424, 425

- неизменности – 276, 285

- объективный – 313

- положительной философии – 312, 321, 389, 480
- прогресса – 201, 220
- субъективный – 313
- философии – 177
- Природа – 82, 89, 103, 111, 116, 121, 140, 185, 191, 188, 194
- вещей – 193
- ее изучение – 184, 191, 177
- нравственная – 185
- человека (человеческая) – 158
- Причина – 194, 196, 197, 198, 202, 206, 211, 216, 218, 219, 220, 223, 226, 230, 233, 243, 264, 266, 275, 288, 294, 302, 310, 316, 322, 330, 335, 343, 346, 352, 373, 387, 390, 410, 435, 442, 457, 511
- Проверка – 81, 256, 315
- Программа – 149, 160, 165, 168
- Прогресс – 52, 61, 70, 114, 168, 172, 186, 193, 205
- жизненный – 204, 406
- идея – (см. Идея прогресса)
- искусства – 201, 216, 222
- исторический – 188
- личности – 238
- материальный – 85
- науки (научный) – 171, 177, 178, 196, 202, 217, 287, 375
- нравственности (нравственный) – 240
- определение – 227

- общества (общественный) – 213, 227
- промышленности – 229, 264
- разума – 221, 223, 231, 241
- религиозный – 175, 188-189
- социальный – 171, 178, 211, 240
- умственной деятельности – 172, 222, 272, 330
- философский – 177
- человечества – 173, 197, 201, 261
- Произведения – 69, 102, 143, 153, 225, 357, 427, 466, 471, 488, 495, 499, 508, 518, 523, 532, 551, 563
- Промышленность – 158, 171, 201, 218, 221, 229, 230, 234, 264, 361, 377, 298
- Просвещение – 97, 101, 202, 208, 210, 232, 528
- эпоха – 246
- Пространство – 293, 309, 313, 322, 335, 337, 339, 349, 474, 485
- Процесс – 89, 271
- дыхания – 89
- кровообращения – 89, 536, 558
- судебный – 213, 234, 510, 512
- Прошедшее – 84, 175, 195, 196, 200, 212, 237, 250, 459, 550
- Психология – 148, 313, 314, 375, 385, 456
- Публика – 60, 61, 77, 79, 80,

142, 165, 289, 427, 463

Публицисты – 211

Работа – 60, 62, 76, 78, 355,

392, 396, 399, 464, 531

- внутренняя – 278, 350

- мысли – 191

- научная – 500

- умственная – 175

- человека – 362, 423

Рабство – 98, 176, 284, 413, 509,  
541

Развитие – 112, 114, 115, 121,  
123, 130, 135, 143, 145, 161, 165,  
168, 174, 179, 203, 221, 227, 256,  
297, 501

- духовное – 116

- жизни – 206

- Земли – 330, 332, 334, 361

- интеллектуальное – 158, 281,  
283

- историческое – 146-147, 159,  
167

- личное (личности) – 241, 269,  
271, 543

- науки (научное) – 159, 165,  
317

- общества (общественное) –  
168-169, 261

- положительной философии –  
292

- прогрессивное – 167, 168, 191,  
317

- умственное – 143, 168

- цивилизации – 144

- человеческое (челове-  
чества) – 111, 148, 159, 164, 189

- экономическое – 158

Разум – 53, 94, 97, 99, 101, 103,  
105, 109, 112, 167, 173, 181, 184,  
187, 195, 198, 205, 207, 211, 213,  
214, 217, 219, 220, 223, 226, 229,  
232

Раскол – 413, 478, 483

Рассудок – 97, 232, 346, 348,  
519

Рационализм – 95, 106, 108,  
180, 197

- мистический – 95

Рационалисты – 95, 106, 107,  
180, 197

Реакция – 54, 256, 511, 513

- идейная – 513

- химическая – 75

- религиозная – 91, 94, 531, 546

- языческая – 95

Реализм – 180, 375, 413

Реалисты – 146, 151, 277

Революция – 210, 219, 462, 565  
- английская – 257

- французская – 257

Регресс – 166, 167, 263, 374

Режим – 418, 421

- бонапартовский – 291

- католико-феодальный – 412

- умственный – 254

Результаты – 62, 68, 70, 79, 80,  
116, 120, 148, 167, 170, 222, 227,  
432, 438, 439, 440, 455, 458,

460, 474, 543, 547, 549, 555,  
 559, 565  
 - критики – 108, 463  
 - научные – 462, 473  
 - положительной философии –  
 112  
 - работы – 197, 228  
 - развития – 234  
 - сил – 440  
 - умственной деятельности –  
 251  
 - философии – 104  
 Реки – 201, 240, 331, 339, 355,  
 362, 496  
 Религия – 266, 279, 376, 478,  
 487, 492, 508, 513, 515, 520, 537,  
 543, 545, 547  
 - естественная – 221  
 - положительная – 376, 403  
 - фузионическая – 251  
 - христианская – 413  
 - эвадианская – 251  
 - языческая – 91  
 Ретроградство – 283  
 Реформация – 156, 183, 267,  
 413, 455, 470, 507, 516, 535, 550  
 Рутинa – 60, 129, 444, 446, 530  
 Самостоятельность – 127, 424,  
 457, 483, 503, 514, 518, 531, 548  
 - женщины – 54  
 Свобода – 95, 98, 174, 176, 203,  
 205, 209, 214, 215, 219, 223, 226,  
 232, 240, 245, 256, 258, 280,  
 315, 419

- воли – 240  
 - исследования – 207, 223  
 - мысли – 180  
 - печати – 280  
 - слова – 280  
 - совести – 280  
 - умственная – 186  
 Секта – 223, 506, 511, 537, 544,  
 550  
 - бегунов – 86  
 Силы – 56, 63, 85, 91, 97, 175,  
 228, 268, 295, 365, 510, 511, 513,  
 525, 539, 541, 551, 564  
 - вулканические – 354, 356, 360  
 - непунические – 356, 360  
 - органические – 360  
 Символ – 107, 123, 125, 128,  
 130, 134, 481  
 - философский – 179  
 Система – 264, 269, 270, 275,  
 278, 309, 328, 337, 339, 373,  
 377, 387, 406, 418, 422  
 - Вселенной – 189  
 - гелиоцентрическая – 183, 189,  
 190, 246  
 - геоцентрическая – 189  
 - знания – 303  
 - католическая – 270  
 - Конта – 255, 289-291, 366,  
 370, 402  
 - Коперника – 190  
 - метафизическая – 288, 295  
 - мироздания – 189  
 - научная – 325, 336, 373

- научно-философская – 404
- планетная – 265
- позитивная – 288, 290, 309, 321, 326, 367, 369, 377
- положительной философии – 366
- религиозная – 105
- Солнечная – 337
- социальная – 270, 287
- трансцендентальная – 251
- умственная – 270
- унитарная в химии – 252
- фантастическая – 415
- философская – 295, 313, 373, 376, 404
- Сказания – 105, 106, 126, 328, 329
- Сказки – 79, 94, 213
- Скептики – 99, 530
- Скептицизм – 182, 184, 530
- Словесность изящная – 412
- Смысл – 100, 105, 108, 118, 129, 135, 167, 434, 443, 448, 452, 495, 511, 515
- Современность – 142, 158, 178, 462, 522, 543, 550
- Сознание – 139, 145, 168, 203, 239, 248, 257, 287, 425, 429, 460, 478, 484, 500, 514, 522, 529, 556, 563, 568
- Солнце – 62, 63, 68, 69, 132, 133, 190, 247, 474, 527, 528
- Сомнение – 58, 65, 91, 97, 114, 116, 120, 158, 190, 195, 198, 210, 250, 263, 275, 280, 288, 321, 326, 330, 353, 359, 382, 391, 395, 400, 413, 424
- Состояние – 189, 203, 215, 220, 223, 225, 229, 231, 235, 248, 258, 262, 271
- газообразное – 338
- естественное – 218
- интеллектуальное – 470, 471, 148, 256
- метафизическое – 271, 274
- науки – 170, 557, 235, 284, 303, 348
- общества (общественное) – 182, 216, 259, 265
- положительное – 271
- первобытное – 216, 329
- скрытое – 327
- современное – 271, 326, 344, 360
- социальное – 265-266
- твердое – 339, 353
- теологическое – 271, 274
- физическое – 269
- Социология – 253, 258, 305, 336, 381, 386, 388, 396, 403, 407, 438, 447
- Спектр – 66-70
- Спектроскоп – 67, 70
- Спиритуализм – 98, 105
- Спор – 114, 181, 200, 202, 256, 277, 311, 323, 386
- вулканистов с нептунис-тами – 336

- реалистов с номиналистами – 146, 151, 413  
 Сравнение – 63, 92, 98, 107, 113, 142, 167, 172, 199, 216, 235, 258, 263, 270, 277, 283, 355  
 Средние века – 150, 153, 157, 164, 175, 178, 180, 206, 342, 351, 406-407, 411, 413, 463, 471, 474  
 Статика социальная – 260  
 Статистика – 363, 394, 395, 402  
 Статьи – 111, 121, 168, 247, 262, 279, 284, 293, 315, 327, 358, 366, 387, 400, 404, 415, 463  
 Стенография – 71  
 Стоики – 91, 105, 106, 107, 108  
 Стоицизм – 184  
 Страсти – 82, 87, 102, 113, 115, 121, 129, 154, 182, 210, 217, 222, 261, 267, 275, 325, 336, 460, 481, 487, 536, 548  
 Субъект – 298, 313, 316  
 Суеверие – 60, 93, 98, 102, 104, 108, 116, 119, 129, 136, 213, 222  
 Суждение – 98, 192, 202, 214, 235, 246, 251, 282, 364, 369, 378, 400, 409, 416, 424, 428  
 Суша – 320, 331, 335, 348, 351, 355, 437  
 Сущность – 120, 157, 168, 193, 203, 215, 221, 256, 274, 328, 374, 379, 395, 422, 439, 457, 472, 480, 502, 508, 535, 547  
 Сфера – 85, 97, 113, 116, 119,

175, 199, 337, 339, 352, 365, 381, 386, 390, 435, 439, 457, 458, 461, 469, 473, 479, 499, 507, 526, 549, 556, 568  
 Сфероиды – 338  
 Схоластика – 145, 153, 179, 267, 275, 277, 298, 413, 471, 480, 486, 525, 536, 555, 566  
 Схоластики – 177, 184, 476, 479, 567  
 Тайны – 66, 85, 323  
 - природы – 171  
 Творчество – 89, 116, 143, 317, 555  
 Тезис – 88, 200, 242, 277, 281, 421, 494, 512, 521, 567  
 Теизм – 277, 369  
 Телеграф – 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 89, 377  
 Телескоп – 63, 175, 190, 339  
 Телефон – 71, 80  
 Тело – 68, 125, 133, 137, 314, 385, 419, 563  
 - животных – 89  
 - социальное – 383, 408  
 - сферическое – 338  
 Теологи – 185, 236  
 Теология – 105, 107, 119, 162, 175, 177, 180, 199, 204, 206, 236, 272, 275, 279, 367, 369, 377, 384, 409, 415, 438, 526  
 - естественная – 162  
 - рациональная – 107  
 Теория – 108, 112, 258, 314, 317,

325, 328, 331, 334, 336, 345,  
 360, 397, 402, 410, 417, 422,  
 425, 437, 440, 444, 476, 500,  
 520, 522, 565  
 - Вернера – 335  
 - вечного круговращения – 271  
 - геогении – 325, 345, 360  
 - государства – 158  
 - знания – 148, 162  
 - катаклизмов – 346, 357, 359  
 - круговращения – 166  
 - метафизическая – 251, 346,  
 349  
 - морали – 314  
 - научная – 117, 252, 317, 332,  
 398, 425  
 - нептуническая – 334  
 - откровения абсолютного –  
 257  
 - общая – 226  
 - права – 155  
 - прогресса – 218, 224  
 - Руссо – 426  
 - света – 191  
 - тяготения – 309  
 - установления науки – 321  
 - физическая – 317  
 - философская – 157, 158, 162  
 Теософия – 185  
 Технология – 84  
 Толпа – 94, 131, 133  
 Торговля – 94, 158, 182, 220,  
 225, 388, 503  
 - мировая – 220

Традиция – 110, 145, 156, 161,  
 197, 211, 329, 382, 409, 411, 418,  
 422, 434, 466, 469, 473, 480,  
 488, 497, 517, 531, 551  
 Труд – 9, 18, 22, 46, 61, 65, 88,  
 96, 105, 142, 238, 247, 255, 293,  
 310, 318, 328, 343, 357, 366, 381,  
 395, 399, 403, 405, 414, 436,  
 451, 461, 463, 469, 474, 490,  
 498, 500, 522, 555  
 - грубый – 269  
 - женский – 53  
 - научный – 65, 151, 241, 293,  
 414, 487  
 - телесный – 230  
 - тяжелый – 234, 281  
 - умственный – 172, 175  
 - физический – 252, 436, 509  
 Трудности – 55, 62, 196, 200,  
 235, 364, 392, 411, 444, 452, 470  
 Туманности – 60, 63, 64, 255,  
 277  
 Ум – 270, 272, 274, 276, 287,  
 292, 325, 327, 330, 333, 338,  
 342, 346, 366, 370, 378, 379,  
 383, 398, 409, 414, 419, 431,  
 436, 442, 445, 446  
 - женщин – 54  
 - немецкий – 278  
 - человеческий – 278, 279, 300,  
 331, 336, 374, 415, 452  
 Умозрение – 199, 250, 271, 275,  
 276, 277, 279, 284, 289, 294,  
 332, 375, 390, 415

Университет – 144, 419, 434,  
 477, 487, 495, 502, 510, 519, 525,  
 530, 533, 539, 544, 556, 567  
 Уровень – 129, 444  
 - знаний – 264  
 - развития – 111, 283  
 - толпы – 129  
 - умственный – 409  
 - цивилизации – 283  
 Учение – 141, 146, 153, 155, 170,  
 174, 179, 184, 189, 198, 246, 317,  
 327, 345  
 - богословское – 157  
 - Гольбаха – 289  
 - Конта – 271, 288, 294, 310, 311  
 - метафизическое – 151, 251,  
 330  
 - мистическое – 173, 251  
 - научное – 290  
 - новое – 172  
 - общественное – 159  
 - о прогрессе – 233  
 - опытное – 207, 252  
 - ортодоксальное – 209  
 - отвлеченное – 254  
 - позитивное – 272  
 - теологическое – 244, 330  
 - супранатуралистическое –  
 333  
 - философское – 158, 295  
 - Эпикура – 289  
 Ученые – 60, 62, 82, 142, 151,  
 177, 181, 249, 323, 333, 342, 347,  
 461, 465, 467, 481, 489, 500, 518,  
 558, 565

Учителя Церкви – 177  
 Фазисы (фазы) – 168, 197, 210,  
 294  
 - Венеры – 190  
 - Луны – 190  
 - метафизики  
 (метафизические) – 330  
 - общественного развития –  
 212, 218, 234, 261  
 - положительные – 279, 327  
 - разума – 287  
 Факты – 230, 234, 250, 259,  
 278, 328, 392, 462, 543  
 - аномальные – 254  
 - действительные – 298  
 - исторические – 223, 234  
 - общие – 227  
 - социальные – 393  
 Фантастическое – 540  
 Фантазия – 54, 77, 113, 121, 146,  
 241, 328, 332, 378, 454  
 Физика – 84, 158, 160, 162, 175,  
 191, 252, 447, 456, 457, 473, 559  
 Физики – 66, 68, 74, 80  
 Физиология – 89, 190, 259, 302,  
 313, 368, 402, 411, 437, 446, 456,  
 457, 500  
 Филиация – 160, 273, 275  
 Филология – 253, 361, 397, 469,  
 517  
 Философия – 96, 144, 185  
 - гегелевская – 251  
 - глубокая – 278  
 - истории – 141, 145, 242, 248,



257-259

- мистическая – 107
- науки – 163, 164, 301
- научная – 255, 256, 259
- новейшая – 145, 197, 285
- положительная – 92, 288, 291-294, 296, 300-303, 309
- позитивная – 159, 251, 287
- супранатуральная – 295
- схоластическая – 181
- традиционная – 37
- умозрительная – 196
- шеллинговая – 251
- Философы – 97, 145, 539, 224, 406
- греческие – 408
- Форма – 65, 93, 106, 110, 141, 144, 147, 171, 178, 221, 237, 250, 428, 446, 471, 472, 478, 480, 488, 505, 507, 525
- жизни – 155, 270, 344, 358
- Земли – 320, 324, 355
- земной коры – 324, 356
- идеи – 173
- культа – 139, 144
- мирозерцания – 147, 261, 274
- научная – 221
- неорганическая – 240
- органическая – 240, 342
- ортодоксальная – 250
- откровения – 237
- правления – 229
- развития – 171, 178

- религиозная – 110
- системы – 146, 275, 288
- средневековая – 156
- сухая – 238
- условная – 238
- утонченная – 282
- цивилизации – 144
- Формулы – 85, 114, 130, 144, 173, 299, 406, 411, 415, 446, 460, 487, 502, 562
- алгебраическая – 241
- прогресса – 406
- Характер – 84, 91, 105, 112, 116, 122, 123, 129, 169, 171, 178, 189, 212, 216, 227, 240, 253, 271, 274, 289, 321, 357, 360, 379, 393, 415, 418, 426, 432, 440, 445, 454, 461, 470, 487, 499, 504, 534, 560
- абстрактный – 318
- геологический – 322, 325, 329
- женщин – 55, 59
- индивидуальный – 241, 338
- народный – 266
- научный – 322, 325, 447
- подготовительный – 314
- позитивизма – 293, 373
- умственной деятельности – 247-248, 264
- философский – 260
- эмпирический – 169, 438
- Химики – 69, 236, 361, 488, 489
- Химический процесс – 76, 489, 526

Химия – 86, 158, 160, 162, 236, 252, 302, 367, 398, 403, 447, 456, 463, 525, 559  
 Христиане – 99, 181, 492, 503, 521, 537, 557  
 Христианство – 95, 110, 480, 492, 540  
 Церковь – 180, 481, 507, 509, 510, 512, 514, 517, 529, 532  
 Цивилизация – 141, 143, 146, 149, 153, 159, 212, 222, 225, 228, 241, 247, 249, 255, 260, 265, 283, 318, 371, 384, 390, 396, 406, 408, 503, 521, 528, 544  
 - арабская – 151  
 - высокая – 234, 466  
 - греко-римская – 95  
 - греческая – 406  
 - древняя – 110, 172, 179, 188, 225, 235, 406, 411, 471  
 - европейская – 270, 488, 544  
 - истории (см. История цивилизации)  
 - наша – 216, 235, 274, 395  
 - новая – 225, 532  
 - русская – 393  
 - языческая – 110  
 Частицы – 68, 155, 196, 203, 219, 300, 337, 339, 340, 349  
 Человек – 83, 88, 102, 111, 113, 116, 122, 124, 130, 135, 140, 156, 168, 177, 188, 193, 206, 211, 217, 220, 222, 228, 237, 240, 311-315, 322, 328, 334, 350, 361, 377,

383, 396, 399, 405, 413, 417-419, 421, 423, 426, 431, 433, 434, 440, 451, 460, 492, 502, 517, 528, 540, 557, 563  
 Человечество – 71, 156, 172, 188, 194, 208, 220, 225, 228, 235, 240, 255, 267, 280, 385, 406, 602  
 Человечность – 87, 240, 263, 422, 434, 548  
 Читатели – 71, 84, 88, 119, 144, 150, 163, 192, 246, 258, 281, 287, 292, 294, 303, 308, 310, 315, 318, 320, 324, 328, 337, 346, 352, 358, 364, 366, 369, 382, 386, 391, 395, 400, 411, 414, 416, 425, 437, 445, 451, 465, 470, 501  
 Чувства – 53, 55, 56, 59, 95, 102, 108, 113, 126, 129, 132, 182, 190, 210, 214, 218, 222, 243, 261, 265, 273, 298, 384, 435, 440, 443, 450, 458, 503, 524, 530, 541, 566  
 Чувствительность – 56  
 Чудеса – 66, 94, 100, 110, 115, 120, 137, 138, 189, 207, 272, 333, 348, 497  
 Чудо – 66, 79, 117, 178, 179, 207, 234  
 Шар земной – 232, 319, 353, 528  
 Школа – 108, 110, 144, 149, 151, 162, 164, 181, 196, 328, 339, 341, 371, 405, 414, 419, 420, 445, 453,

- 472, 477, 487, 494, 501, 510, 519, 530, 536, 544, 548, 556
- Кювье – 346, 349, 351
- научная – 265
- неоплатоническая – 106-107
- позитивная – 233, 271, 366, 374, 376, 401, 406-407, 411, 413-414
- положительная – 247, 257
- рационалистов – 107
- романтиков – 142
- Экзегетика – 249
- Экзегеты – 249, 256
- Эклектизм – 144-145, 288
- Эксперимент – 388, 517
- Электричество – 77, 80, 317, 397
- Электрический ток – 80
- Элементы – 68, 143, 147, 148, 154, 160, 163, 179, 183, 185, 231, 246, 263, 297, 301, 313, 315, 361, 375, 383, 413, 451, 455, 458, 460, 477, 488, 525, 530, 550, 563, 568
- жизни – 146, 167, 284, 537, 568
- исторические – 153, 159, 459
- культуры – 292
- личные – 455-456
- научные – 344, 360, 462, 529
- приспособления – 270
- прогресса – 180, 226, 246, 286
- реформационные – 185
- социальные – 263, 377, 378
- теологические – 384
- химические – 69
- христианские – 409
- цивилизации – 157, 221, 247, 521
- явлений – 111, 121, 302
- Эмпирики – 194, 566
- Энергия – 511, 520
- Энциклопедисты – 249
- Энциклопедия – 83
- Эпикуреизм – 184
- Эпоха – 201, 267, 273, 406, 468, 470, 493, 523
- Возрождения – 154, 155, 156, 160, 179, 183
- доисторическая – 225, 231
- историческая – 225
- первобытная – 231
- переворота – 233
- переходная – 189
- прогресса – 234
- революционная – 267
- средневековая – 179
- Эстетика – 314
- Эффект – 80, 397, 428
- Явления – 55, 64, 111, 115, 117, 119, 128, 138, 140, 162, 199, 221, 315, 316, 319, 320, 331, 333, 338, 341, 348, 352, 361, 370, 373, 394, 397, 399, 400, 414, 430, 452, 457, 472, 476, 491, 515, 523, 525, 544, 552, 562, 564
- анатомические – 259
- астрономические – 338, 354
- атмосферные – 117, 320

- геологические – 239, 331
- динамические – 259
- естественные – 140, 224, 243, 333, 337, 342
- жизненные – 300
- исторические – 152, 154, 164, 179
- космологические – 68, 106
- научные – 149, 165
- общества (общественные) – 158, 258
- политические – 152, 159
- природы – 113, 121, 127, 158, 500
- прогресса (прогрессивные) – 167, 168, 240
- психологические – 140
- регрессивные – 167, 223
- сверхъестественные – 273
- сложные – 304
- социальные – 265
- социологические – 376
- статические – 259
- физические – 106, 138
- экономические – 159
- Язык – 73, 100, 103, 137, 141, 156, 220, 289, 349, 377, 407, 478, 495, 531
- арабский – 175
- варварский – 100, 529
- греческий – 175, 482, 489, 494
- еврейский – 175, 510
- живой – 84, 349
- латинский – 175, 195, 495
- письменный – 230, 231
- разговорный – 229, 231
- романские – 412
- русский – 294, 400
- сирийский – 150
- французский – 195, 208, 532
- Языкознание – 478
- Язычество – 95, 99, 107-110, 172
- Язычники – 100

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Крупнейший украинский позитивист.....	5
<b>Женщина и медицина.....</b>	<b>52</b>
<b>Научные вести.....</b>	<b>60</b>
<b>Популярные книги.....</b>	<b>82</b>
<b>Древняя языческая реакция</b>	
I. Неверие и религиозная реакция .....	91
II. Правоверы.....	95
III. Примирительные философы.....	101
IV. Сравнение двух партий.....	107
<b>Что такое магия?.....</b>	<b>111</b>
<b>Историческое значение науки и книга Уэвеля.....</b>	<b>141</b>
<b>Очерк развития идеи прогресса.....</b>	<b>166</b>
<b>Философия истории на научной почве.....</b>	<b>248</b>
<b>Позитивизм после Конта.....</b>	<b>286</b>
<b>Общие геологические вопросы и их решения.....</b>	<b>328</b>
<b>Новейшая литература позитивизма.....</b>	<b>363</b>
<b>Эмиль девятнадцатого столетия.....</b>	<b>417</b>
<b>Роль науки в период Возрождения и Реформации</b>	
1. Биография и история.....	455
2. Европа в половине XV века.....	471
3. Книгопечатание (1450-1477).....	482
4. Новый свет (1477-1509).....	491
5. Протестантизм (1509-1536).....	506
6. Предшественники Нового времени (1536-1559).....	528
 Именной указатель.....	 570
Предметный указатель.....	577
Содержание.....	601

*Научное издание*

Серия «Антология украинской мысли»  
Основана в 2007 г.

**Лесевич Владимир Викторович**

**Сочинения**  
в четырех томах

**Т. 1**

Научный редактор В. А. Волкова  
Технический редактор Е. В. Буданова  
Художественный редактор и  
компьютерная верстка  
А. Ю. Паламарчук  
Художник Р. Д. Абдурахманов

Подписано в печать 28.07.2013. Формат 60х84/16.  
Бумага офсетная. Печать ризографическая.  
Усл. печ. лист. 35,34. Тираж 100 экз. Заказ № 733.

ООО «Издательский дом  
Мелитопольской городской типографии»  
Св. ДК №1509 от 26.09.2003 г.  
72312, г. Мелитополь, ул. К. Маркса, 21/23.  
Тел./факс: (06192) 6-74-43

Отпечатано  
ЧП Гапшенко В.А.

## **Антология украинской мысли**

Серия, предложенная читателю, включает в себя философские сочинения украинских мыслителей. За время существования самостоятельного украинского государства в обществе еще только пробуждается интерес к отечественной философии, и серия «Антология украинской мысли» будет способствовать его укреплению.

В рамках серии планируется издать наиболее интересные и оригинальные сочинения выдающихся представителей украинской философской мысли, начиная со времени ее становления и завершая современностью. Особое внимание будет, несомненно, уделяться последним трем столетиям.

Планируется издать труды представителей романтизма и Просвещения, а именно – Я. Козельского, П. Лодия, Й. Шада и др.

Несомненно, будут издаваться наиболее значимые сочинения профессоров Киевской религиозной школы, таких как П. Авсеньев, С. Гогоцкий, И. Михневич, В. Карпов, П. Кудрявцев, О. Новицкий, И. Скворцов и др.

Кроме того, в рамках серии выйдут сочинения представителей университетской философии конца XIX – начала XX в., соответственно, В. Зеньковского, А. Козлова, Г. Челпанова и др.

**Серия «Антология украинской мысли»  
предлагает:**

В серии вышли:

П.П. Кудрявцев. Абсолютизм или релятивизм?  
П.И. Линицкий. Основные вопросы философии.  
Об умозрении и отношении умозрительного  
познания к опыту.

Н.Я. Грот. Сочинения. Т.1

В.В. Лесевич. Сочинения. Т.1

Готовятся к изданию:

И.Г. Михневич. Сочинения.

О.М. Новицкий. Сочинения.

С.С. Гогоцкий. Сочинения.